



Меир Шалев ФОНТАНЕЛЛА



Меир Шалев  
ФОНТАНЕЛЛА



Ж

ИЗДАТЕЛЬСТВО



проза еврейской жизни



מאיר שלו

פונטנלה

# Меир Шалев

# Фонтанелла

Роман

*Перевод с иврита  
Рафаила Нудельмана  
и Аллы Фурман*



Москва 2009

УДК 821.41  
ББК 84(5Изр)  
Ш18

המחלקה לקליטת עלייה  
מס' 20 תיפה 1  
ת.פ.ג.ג.  
9064  
9318/1



Israel Lottery Council  
for the Arts

*Книга издана при поддержке комиссии по культуре  
израильской Государственной Лотереи*

МОСКВА ИЕРУСАЛИМ  
ЮСТЫ КУЛЬТУРЫ G GESHAJIM

*Издательство благодарит за поддержку  
The Institute for the Translation  
of Hebrew Literature, Israel*

*Серия основана в 2005 году*

**Оформление серии А. БОНДАРЕНКО**

Первое издание на русском языке

ISBN 978-5-7516-0830-9 («Текст»)

ISBN 978-5-9953-0045-8 («Книжники»)

Fontanelle—Copyright© Meir Shalev, 2002

The edition is published by arrangement with the Deborah Harris Agency and Synopsis Literary Agency

© Р. Нудельман, А. Фурман, перевод, 2009

© «Текст», издание на русском языке, 2009

## ВСТУПЛЕНИЕ

Ястреб шел широкими кругами, разглядывал с высоты своего круженья просторный двор, сверял то, что видит, с тем, что помнил. Скользил взглядом по столам и стульям, белевшим на маленькой лужайке, — ее летняя зелень была ему хорошо знакома. Всмотривался в старого пса, развалившегося под красной гуявой, — названия дерева он не знал, но помнил, что оно единственное такое на всю деревню. Потом снизился над стенами, которые скрывали нас от людских глаз, но не от обитателей неба.

Мгновенье парил на месте — черные лезвия крыльев вырезаны в слепящем блеске летнего неба, хищные когти то втягиваются, то расправляются в ленивом раздумье. Вот так и у нашего Аупы, стоило ему вспомнить о семействе Шустеров, всегда сжимались его огромные пальцы, извещая нас, что он собирается в очередной раз помянуть их матерей, их отцов, все постыдные обстоятельства появления на свет их самих и всё то, что он, Давид Йофе, сделает с ними, «когда придет их черед». Но может, у птицы они втягивались и расправлялись

просто так, безо всякой причины? Не знаю, мне ни разу не удалось заглянуть в глубины ястребиных раздумий.

Теперь ястребу уже слышны были нестройные звуки, хотя он не знал, что это здравицы в честь именинника, гул пожеланий и мелодия скрипки, и виден был высокий мальчик в синем васильковом венке, стоящий в окружении родичей и родителей, наряженных в белые праздничные блузки и рубашки. Но так как все они — мальчик, и пес, и гуявы со скрипкой, и венки, и родители с дядьями и стульями [«дед и бабка, тетя с дядей в полном праздничном наряде»]\*\* — никак не походили на желанную добычу, он описал медленный круг и стал удаляться, все выше взмывая на волнах теплого воздуха и снова озирая сверху свои владенья.

Время, великий несправедливец, назначает своим жертвам разные судьбы: *что смерти — смерти, что памяти — памяти* [что в память — на жизнь, что на смерть — на забвение]. В те далекие времена низкая гряда холмов, что сегодня исчерчена полосами красной и оранжевой черепицы, подступала к западной окраине деревни голыми серовато-желтыми склонами. Строй кипарисов — сегодня они уже срублены —

\* Из стихотворения «Открывайте ворота» поэтессы и писательницы Кади Молодовской (1894–1975), писавшей на идише. (*Здесь и далее примечания переводчиков.*)

\*\* Как объясняет далее сам автор, он помещает между квадратными скобками *варианты* основного текста, родившиеся по ходу работы над романом, а между угловыми — пришедшие ему в голову *комментарии* к тексту. Курсивом в тексте выделено всё, что связано с Библией и объяснено в приложении в конце книги.

## ВСТУПЛЕНИЕ

зеленел тогда у их подножья. Широкое шоссе, идущее от перекрестка, где в те дни мирно дремала маленькая железнодорожная станция, а сегодня грохочет торговый центр, тогда было проселочной дорогой, тянувшейся через поля и овраги, и по ней медленно ползла вдаль черная точка, взглядевшись в которую ястреб распознал нагруженную телегу и впряженную в нее лошадь, шагавшую так неспешно, будто она располагала всем временем мира, а дорогу давно уже знала наизусть.

Впереди, среди чемоданов и ящиков, сидели худощавый мужчина и молодая женщина. Левая рука женщины держала поводья, правая — левую руку мужчины. Его левая — в ее правой, в его правой — темно-зеленая бутылка вина. Брюки цвета хаки с остро заглаженной складкой, такая же наглаженная светлая рубашка вздувается над худобой тела, загорелая лысина сверкает над умным, до времени морщинистым лицом. А женщина — мальчишеский пробор разделяет коротко стриженные черные волосы, растрепанная короткая челка, сероватая мужская рабочая рубашка. И цветастая юбка — взволнованное поле анемонов.

Хамсин начала лета стоял над нашей Долиной\*. Душные запахи раздавленных стеблей и перемолотой в пыль земли поднимались из-под колес и кружились

\* Речь идет об Изреельской долине, тянущейся от хребта Кармель вблизи Хайфы в глубину Израиля, к озеру Киннерет. Эта плодородная равнина была местом зарождения многих первых израильских кибуцев и мошавов, вроде того поселения, о котором рассказывается в романе.



в медленном жарком танце. Далекие цикады усердно пилили пустоту. Земля, как обычно в такие дни, пылала. Воздух, как обычно в такие дни, дрожал над нею, будто шептал о любви [будто возвращал ей ответы]. Лошадь пересекла ручей по просеке, которую Апуа годы назад, серпом и мотыгой, проложил в высокой стене тростника, свернула на восток и двинулась вдоль другого берега. Пожилой лысый мужчина что-то сказал. Молодая женщина рассмеялась. Мужчина поднес бутылку к губам, сделал последний глоток и швырнул ее на край пшеничного поля. Ястреб услышал слабый хлопок лопнувшего стекла, и в то же мгновенье — «чик-чак», как говорят в нашей Семье, — на земле сверкнули тысячи темно-зеленых глаз. Раскрылись и погасли, пока он пролетал.

Дорога свернула, прорезала поле с юга на север, раздвоилась. Лошадь выбрала левую ветку, ту, где сегодня розовато-серой полосой кирпичей и асфальта тянется главная улица квартала шикарных вилл, которые мой отец, если б не умер, назвал бы, наверно, «бидонвиллами для богачей» или как-нибудь в этом духе: безвкусное нагромождение арок, столбов, лимонных кипарисов, конечно, а также карликовых кокосовых пальм — тех уродцев, которые я продаю десятками. Стена целует стену, окно выплескивается в окно, а по субботам — гости и мангалы.

Отсюда дорога подымалась к нашей деревне, и ветер, тянувший с северо-запада, играл женской юбкой, наполняя темно-алую глубину анемонов

## ВСТУПЛЕНИЕ

белизной раскаленного воздуха. Этот ветер и сегодня просыпается каждый день в то же самое время и долго потом блуждает по городским улицам, всякий раз удивляясь заново высоким зданиям в центре — куда более высоким, чем те прежние деревенские дома, что еще хранятся в его памяти.

В тот день мне исполнилось пять лет, и этот мой день рождения праздновали так же, как все предыдущие. На моей голове синел сплетенный матерью васильковый веночек. Мои щеки были влажными от поцелуев множества Йофов (так именуют себя в разговорах все члены нашего семейного клана). Бесчисленные поздравления взлетали и носились в воздухе, как веселые трясогузки. Но угощение тем не менее стыло на столах. Мама подала гостям одну лишь «здоровую пищу», что на ее языке означало — растительную: изъеденные червями фрукты (она категорически против опрыскивания растений химикалиями), овощи, выращенные на навозе (она категорически против искусственных удобрений), безвкусный и грубый хлеб из цельной пшеницы («питание — это не вопрос удовольствия»).

Накануне вечером она сообщила нам с отцом, что намерена поставить на столы еще и кашу из «квакера»\*: «Это очень здорово и полезно! Незачем отравлять Семью пирогами!»

\* «Квакер» — кукурузные хлопья одноименной фирмы.

Слово «пирог» она произнесла на свой особый лад, и наши с отцом натренированные уши тотчас различили в нем вредоносность белого сахара, мерзость просеянной муки, смертельную желтизну яиц, извивы масляных змей — всё то, что она называла «яды». Любой пирог был для нее злым умыслом, граничащим с преднамеренным убийством, но мой отец, у которого слова «здоровая пища» напрочь отбивали всякое влечение — к еде вообще и к моей матери в частности, — на этот раз не стерпел:

— Меня не интересует, что это очень полезно! Это безвкусно, это скучно, это нелепо! И это день рождения Михаэля, Хана, не твой!

Острота лезвия сверкала в запятой, врезанной им после моего имени, а по другую сторону от восклицательного знака сожженным полем чернела разъяренная пустота.

— В день рождения моего мальчика не будут подавать квакер! Слышишь?!

Вопреки своему обычаю, отец рассердился и, как обычно в минуту гнева, избегая ссоры между «я» и «ты», перешел на безличное третье лицо множественного числа, к неким таинственным третьим лицам, которые подают к столу злосчастный «квакер».

«Очень полезный» «квакер» был беспощадно изгнан из праздничного меню, зато лексикон наших семейных фраз пополнился еще одним выражением — теперь оно будет заприходовано и каталогизировано, чтобы позднее прозвучать снова и снова, всякий

## ВСТУПЛЕНИЕ

раз преобразованное в соответствии с требованиями момента: «на похоронах моего мужа не будут присутствовать его цацки», «на пианино моей жены не будут играть чужие люди» и так далее в том же духе, — подобно всем прочим йофианским оборотам речи со всеми их производными, следствиями и расширениями. Но отца это не удовлетворило. Сейчас он прохаживался среди приглашенных, его пустой левый рукав колыхался на ветру, а правая рука украдкой предлагала всем желающим маленькие тайные сосиски.

Фотоглаз семейных торжеств скользит по двору с востока на запад, по горизонтально-медленному развороту памяти: вот Апупа, мой дед, тогда еще большой и сильный, с могучими руками и белой бородой, наливает гостям шнапс собственной очистки. Вот две половинки его братьев («Кто их звал?» — ворчит он) вежливо сидят в стороне: рады приглашению, недоумевают: чем заслужили? неужто улыбнется им счастье и Апупа даже удостоит их словом или взглядом? А вот моя бабушка Амума, тогда еще живая, — декламирует в мою честь, как и на каждом дне рождения: «Славный год у Хомяка, шерсть блестит, отъел бока, веселится, распевает, день рожденья свой справляет...»\* Гирш Ландау сидит, как всегда, рядом с ней, сжимая в руках гриф скрипки. Мой двоюродный брат

\* Из стихотворения израильской поэтессы Анды Амир-Пинкерфельд (1902—1981).

Габриэль по прозвищу Цыпленок, а также Пуи, или Петушок, совсем еще маленький и тощий, дергает каждую проходящую женщину за подол и плаксиво просит: «Покорми... покорми...» Рядом с ним лежит его старый инкубатор <не рассказать ли прямо здесь, что он был недоноском? и насколько подробно?>, в котором он давно уже не нуждается, но в отсутствие которого тотчас впадает в панику.

Только дядя Арон, прозванный у нас Женихом, — тот самый, что соорудил инкубатор для Габриэля и змеевик для шнапса Апупы, а также усовершенствовал наши плуги, изобрел солнечный бойлер и придумал глушители для тракторов, револьверов и насосов, не считая того нового примуса для британской армии, без которого, как мы, Йофы, не устаем напоминать, фельдмаршал Монтгомери никогда бы не победил фельдмаршала Роммеля во время Второй мировой войны, — только он один не изменился. Такой же, каким пришел к нам в детстве: низкорослый, смуглый, вечно смущенный и полный благодарности, ковыляет на хромой ноге, замышляет свои новые замыслы, тревожится своими всегдашними тревогами и неотступно думает о Пнине, своей жене, навеки закрывшейся в их доме.

Летний был день — горячий, сухой и белесый от зноя. Приятный запах пыльных кипарисов и скошенной травы стоял в воздухе. Большая хищная птица со светлыми крыльями и темными полосками на брюхе («Ястреб-змееяд, — сказал отец, указывая одной

## ВСТУПЛЕНИЕ

рукой, — он охотится на змей») проплыла над нами, поглядела и удалилась. Время, в котором многие из Йофов видят своего прямого родственника, текло совсем рядом с нами, медленное и могучее, терпеливо вылизывая свои берега. И вдруг старый пес поднялся, словно расслышав слова отца, и начал с неожиданным усердием облаивать черную змейку, неспешно ползшую вдоль каменной дворовой стены.

Подобно всем деревенским старикам, страшащимся, что их вышвырнут из дома за ненадобность, он доказывал свою полезность, одновременно кося в нашу сторону озабоченным взглядом и проверяя, впечатляют ли нас его преданность и героизм. Положение дел было тогда таково: наш нынешний городок был еще деревней, а в деревне — как в деревне: дровосек, резник и «алте захн»\* поджидали возможных заказчиков на спуске дороги, а все жители, животные, растения и орудия каждодневно проверялись: ты работал? ты дал приплод? ты принес какую-нибудь пользу?

— Оставь меня, — взмолилась змея, — дай мне проползти по своим змеиным делам.

Но никто ее не услышал, потому что, подобно мне, она тоже прошептала это лишь про себя.

Гости посмотрели на змею, а потом встревоженно повернулись к дяде Арону. Ведь он тоже, во многих отношениях, пес Апуны — пес верный и послушный, горящий желанием выполнить, что положено по долгу

\* Алте захн — «старые вещи», обычный возглас старьевщика (*идиш*).

и должности. И точно — вот он поднимается из-за стола, виляет хвостом, который невидим глазу, но угадывается по выражению лица, берет длинную мотыгу, прислоненную к стволу гуявы, и направляется к змее.

— Не убивай ее, Арон! — крикнул мой отец. — Это безвредная змея. Дай ей уйти!

Но Жених и пес — один подбодряемый страхом другого [каждый, желая угодить общему хозяину] — продолжали подступать к стене, и змея, трезво оценив новую ситуацию, решила, что с нее достаточно. Сразу двое услужливых, которые хотят за ее счет отличиться перед хозяином, — это уже было чересчур для холоднокровной рутины ее змеиной жизни. Прижавшись головой к земле, она поползла прочь, стремительно извиваясь между убегающими ногами родственников и падающими ножками стульев, и мгновенно достигла той скорости молний, что обычна для черных змей.

Пес мчался за ней с оглушительным лаем, Жених бежал за ним, размахивая мотыгой, а я — в новых сандалиях, в белой рубашке и в своем васильковом венке — бежал за ними обоими. Но змея скользнула в сторону сеновала и тонкой черной струйкой протекла вдоль бетонных кормушек для коров. Четко помню: черно-белые головы взволнованно поднимаются над своей зеленой трапезой, откатываются волной страха. Железные ошейники — большой испуганный ксилофон — перезванивают по коровнику от края до края.

## ВСТУПЛЕНИЕ

За коровником были тогда ворота, а за ними большая куча навоза. Старый пес, знавший границы «Двора Йофе» не хуже самого Апуны — оба они дважды в день заново помечали эти границы, и оба на один и тот же манер, — остановился здесь, как вкопанный. Последний взлай (как заключительная точка сюжета), энергично-показное царапанье когтями по земле — и вот он уже возвращается к своему повелителю, и к своей обычной позе, и к почесыванию («Хороший пес!») за ушами, а затем — потягивание, ленивый зевок и сладкая дрёма старика, принесшего пользу и опять заслужившего отсрочку.

Я — нет. Всего пять лет мне исполнилось в тот день, но я был самый высокий в детском саду, ловкий и сильный. Уже тогда Апуна назначил меня личным телохранителем моего двоюродного брата Габриэля. По годам Габриэль был мне ровня, но, к огорчению деда, оставался ребенком маленьким и слабым.

Змея услышала звук моих шагов, свернула вправо и помчалась вдоль курятника для несущек. Помню: хлопающие в ужасе крылья, всполошенное кудахтанье, смрад и перья, взвившаяся пыль забивает мне ноздри. Змея метнулась в сторону нашего небольшого сада. Ветки хлещут по моему лицу, сучья трещат под моими ногами, листья шуршат в моей памяти. Но она ползет дальше, к тайнику за садом, туда, где большое хлебное поле ждет первой жатвы. Сегодня здесь тянутся, я уже говорил, кварталы вилл, но тогда там росла пшеница. В последнем усилии змея скользнула мимо маминой



овощной грядки: страшные неопрысканные помидоры, бледные худосочные витамины, распятое, потрясенное Чучело, распахнувшее руки с криком «Стой!», — и тут в желтой пшеничной стене раскрылась узкая и быстрая щель, и верткая черная вермишелина пропала в ней, мгновенно всосанная в жадный, жаждущий рот. Щель захлопнулась и исчезла, и уже не угадать, где она была, но я все еще слышу шорох чешуек о стебли, а качающиеся колосья <белая шея женщины, спрятавшей руку в зеленое платье> выдают, где проползает понизу исчезнувшая беглянка: шуршание шершавой кожи, изгиб черного тела, наклонившийся и отпрянувший стебель.

Мальчик я был любопытный, а смелости, ловкости и уверенности во мне было много больше, чем в том мужчине, которым я стал сегодня. Несмотря на страх наказания и знакомую быструю дрожь в макушке — мое обычное предчувствие беды, — я бросился в гущу колосьев. Колючие стебли хлещут по лицу и шее, лезвия листьев рассекают руки — но все впустую: то ли она уползла, моя змея, то ли притаилась, а может, нашла себе лазейку в земле — только опять ее не видно и не слышно.

Я останавливаюсь. Сердце колотится, легкие раздуваются. Затих, наострил уши. Подпрыгнул. Голова поворачивается-смотрит, глаза распахнулись-глядят: огромное пшеничное море. Нежные, желтые и, по ребячьему росту, бескрайние волны колосьев окружают крохотный островок моего тела. Это сегодня

## ВСТУПЛЕНИЕ

я знаю, что там было каких-нибудь тридцать «дунэмов» — Апупа говорил не «дунам»\*, а «дунэм», — но тогда, на пустынных детских просторах моего сознания, наше поле расстиралось от дней творенья и до хребтов тех далеких голубых гор, которые поднимались на горизонте и кольцом замыкали наш мир. Много раз потом я ходил сюда — нырнуть, и лежать на дне этого моря, и ждать прихода дремоты. Надо мною небо — огромным пустым горбом, тонкие кисточки колосьев перемешивают голубизну, соколы парят в ней, подвешенные на невидимых паутинках. Мои глаза на миг закрывались, совсем как сейчас. И вот она снова — осторожная, нежнее прежней, дрожь в макушке, и вот оно снова, забвение, и я погружаюсь, медленно-медленно, и тону в его волнах.

И вдруг, как это часто случается с малышами, а со мной и сегодня (ровно пятьдесят лет прошло с того дня), меня заполнила тяжелая усталость. <Стоит подумать о различии между «заполнила усталость» и «навалилась усталость». Может быть, дело в том, что первая образуется [накапливается] внутри тела, а вторая наваливается на него снаружи?> Я погас, как придавленная пальцами свеча. Волнения праздничного дня, новые сандалии, подарки, погоня, смоченный в шнапсе палец, который отец дал мне облизать, пока мама не видит, — все это качало и

\* Дунам — единица площади в землях бывшей Османской империи; 1 дунам равен 1000 кв. м.

клонило меня все ниже и ниже. Я медленно опустился на землю и тотчас провалился в сон.

\* \* \*

Меня зовут Михаэль Йофе. Не Йафэ, а Йофе. Мы, Йофы, педантично подчеркиваем эту разницу. «Есть Йофе, и есть Йафэ, — говорим мы. — Они с “а” а мы с “о”». А моя тетя Рахель добавляет: «Мы Йофы, а они Йафы»\*.

Я родился в 1947 году. Моя мать, Хана Йофе, — невыносимо агрессивная проповедница здоровья и вегетарианства, мой отец, Мордехай Йофе, — консультант по цитрусовым, потерявший руку в одной из операций Пальмаха\*\* и изменявший матери направо и налево, если можно так сказать об изменах человека, у которого нет левой руки. Однажды, в редкую минуту бесстрашия, я спросил ее, почему она вышла за него замуж, и она, в редкую минуту размягченности, улыбнулась: «Потому что он тоже был Йофе и мне не пришлось менять фамилию».

\* Игра слов: на иврите «йафэ» (с ударением на последнем гласном) — это также прилагательное «красивый», «хороший».

\*\* Пальмах (акроним словосочетания «плуггот махац» — ударные роты, *иврит*) — первые еврейские оборонительные боевые подразделения, созданные в Палестине в 1941 году и позднее влившиеся в Армию обороны Израиля.

## ВСТУПЛЕНИЕ

Мама у меня — женщина сильная, непреклонная, костлявая и худая. Старость не согнула ее, и, как все фанатичные вегетарианцы, она жаждет и других людей наставить на праведный путь. С утра до вечера она произносит проповеди, сверлит всех гневными, обвиняющими взглядами и донимает тем, что мой отец называл «каплепадом»: Кап! — «необходимо тщательно пережевывать пищу». Кап! — «необходимо есть только неочищенный рис». Кап! — «необходимо отказаться от чая и кофе». Кап! — «необходимо налегать на фрукты». «А всего вреднее для жизни — кап! кап! кап! — это смешивать белки с углеводами!»

Отец посмеивался над этими ее «необходимо» и «вредно». Он говорил, что, если бы Десять заповедей писал не праотец Моисей, а прамаменька Хана, там стояло бы: «Убивать вредно», «Красть вредно», «Необходимо уважать своих родителей». Но за его беззлобными поддразниваниями дрожало раздражение и шевелилась усталость. Трудно жить с человеком жестких принципов, а еще труднее — с тем, кто всегда прав. Вначале он пытался ее игнорировать, потом пробовал спорить: «Кофе ведь тоже растение, разве нет?» — а затем призвал себе на помощь всевозможные способы защиты: стал придумывать тайники для мяса и сосисок, тренировать и оттачивать чувство юмора, потом собрал гарем из других женщин, а под конец взял и ушел, до срока. У языка есть богатый запас слов для обозначения смерти: помер, погиб, скончался, преставился, испустил

дух, приказал долго жить, опочил вечным сном, отошел к праведникам, возлег с праотцами, переселился в лучший мир, уснул навеки, кончил земное существование, сложил голову, скапутился, окочился, загнулся, протянул ноги, отбросил копыта, отмучился, отдал Богу душу и многие-многие другие, — но на всем этом широком поле нет ничего более подходящего для смерти моего отца, чем «ушел». Именно так он умер, и именно таким, уходящим, я вижу его с тех пор — со спины. Идет по полю своей легкой прямой походкой, слегка наклонив тело набок, как все однорукие, идет и удаляется — уходит.

Мать, которая ела так много моркови, что от ее зорких глаз ничто не могло укрыться, дала всем его возлюбленным общее презрительное прозвище «цацки», а также уничижительные персональные клички, которые у нее всегда следовали за словами «эта его»: «эта его Убивица», «эта его Корова», «эта его Задница», «эта его Плевалка». Последними, кто получил у нее это прозвище, были «цацки», впервые обнаружившиеся только на его похоронах, — там они собрались тесной печальной кучкой и больше, чем мою мать, удивили друг друга. Сильный, добрый запах апельсиновых корок исходил от них, и я недоумевал: «Неужто они заранее договорились об этом?» Потому что так всегда пахла его ладонь при жизни. Когда он возвращался по ночам, я всегда чувствовал

## ВСТУПЛЕНИЕ

этот запах, он шел от той единственной руки, которая скользила по моему лицу.

— Ты спишь, Михаэль?

— Да.

— Тогда поговорим завтра. Спокойной ночи.

Родителей отца я видел только на фотографиях. Они умерли еще до моего рождения. Но родителей матери я знал хорошо. Наш дом, как и дома всех других членов Семьи, был построен на их земле, во «Дворе Йофе», как по сей день называют просторный двор, который раньше располагался в центре кипевшей жизнью деревни, а сегодня наглухо закрыт — окружен колючей живой изгородью темной малины, красных бугенвиллий и ползучих роз, обнесен стенами из камней и кактусов и взят со всех сторон в осаду высокими белыми жилыми домами, автомобильными стоянками, шумными улицами и магазинами.

Бабушка — Мириам Йофе, «Аума», как ее называли в Семье, и «Мама», как ее называл муж, — уже умерла. Дед — Давид Йофе, Апуа для Семьи и Давид для жены, — еще жив. Был он раньше большим и могучим, шумным и задиристым, а сегодня съежился до карликовых размеров, вечно дрожит от холода, и от всех его былых примет остались только огромные ладони да «куриные мозги». Это его качество я взял в кавычки, потому что так всегда говорили о нем его жена и дочери — старшая, моя тетя Пнина, по прозвищу Пнина-Красавица, и вторая, ее сестра-

близняшка, моя мать Хана, которая родилась на три минуты позже сестры и с тех пор ей этого не простила. Третья их дочь — тетя Батия, которую ее сестры презрительно прозвали «Юбер-аллес», потому что она вышла замуж за немца из живших тогда в Стране поселенцев-«тамплиеров»\*, во Время второй мировой войны эмигрировала с мужем в Австралию. Я никогда ее не видел, но их дочь, по имени Аделаид, много лет спустя приехала погостить в Страну, и у меня с ней завязалась короткая и утомительная любовная связь, которая кончилась с ее возвращением домой. У Апуны и Амумы была еще и четвертая дочь — моя тетя Рахель, у которой я иногда ночью и тогда слушаю ее воспоминания и истории вперемешку с цитатами из Черниховского\*\*.

Муж Пнины-Красавицы — тот самый дядя Арон по прозвищу Жених. Он технический гений, припадает на одну ногу, и обе эти особенности наполняют мою тетю Рахель счастьем, потому что дают ей возможность называть зятя «Прославленный колченог», как ее любимый Черниховский называл бога-кузнеца,

\* Тамплиеры — здесь: члены «Храмового общества» («Темпельгезельшафт»), возникшего в Германии в середине XIX века и в конце XIX — начале XX века создавшие ряд колоний в Палестине и несколько «Немецких кварталов» («Мошава Германит») в ее городах.

\*\* Черниховский, Шаул (1875—1943) — еврейский поэт, один из основоположников современной ивритской поэзии и мифологии, был очень популярен среди молодежи раннего Израиля.

## ВСТУПЛЕНИЕ

хромого Гефеста. Как и Гефест, наш семейный прославленный колченог тоже женат на красивой женщине, которая изменяла ему, и, как и тот, он тоже «понимает больше любого настоящего инженера», и его изобретения кормят нас уже многие годы. Я говорю «нас», потому что Апула, обеспокоенный тем, что у него нет наследника, потребовал от будущего зятя подписать бумагу, что взамен за разрешение жениться на Пнине он обязуется всегда заботиться о ее сестрах и обеспечивать всю Семью.

«Наша Пнина была красотка, а наш Арон был хромой и кроткий, — рассказывала мне тетя Рахель с той своей размеренно-рифмованной мелодичностью [с той своей особенной плавной мелодичностью], которая любую ее историю делала сказочной, — и он поспешил согласиться, чтобы скорее на ней жениться». Но они не успели еще пожениться, как произошла ужасная вещь — Пнина забеременела от чужого мужчины. И пока все Йофы стояли, окаменев от потрясения, произошла вещь еще более ужасная — наш дед, которому было более чем достаточно четырех дочерей и который изголодался хотя бы по одному сыну, заставил ее родить и забрал мальчика себе.

Это и был мой двоюродный брат Габриэль, на голову которого Семья возложила самый большой венок ласковых имен: все зовут его «мизинник», и «зибеле», то есть «младшенький», и «семимесячный», по-русски и на идише, а дед, как я уже говорил, называет его еще «Пуи», то есть «Петушок» по-румынски.



После родов Пнина-Красавица все-таки вышла замуж за Арона, но с тех пор живет взаперти в своем доме. Одни говорят, что это Жених не позволяет ей выходить, чтобы ветер и солнце не испортили ее красоту, а другие говорят, что она сама вынесла себе приговор, но «так или так» (этот оборот вычеканила бабушка, и все мы пользуемся им и после ее смерти), а Жених выполнил свое обязательство и позаботился обо всей Семье: построил всем нам отдельные дома и финансировал все наши свадьбы и учебы, а сейчас, когда состарился и забота для него — уже не взятый на себя долг, а вторая натура, он придумывает и копат для всех нас подземную систему складов, убежищ и кладовок, колодцев с водой и емкостей для горючего, а возможно, даже и туннелей на случай «страшного несчастья».

— Иди знай, — говорит тетя Рахель, — что именно он там делает у себя под землей...

Однако время от времени Жених появляется из-под земли — лицо сморщено, как у вылезшего из норы крота, ослепленные глаза прикрыты козырьком ладони, — появляется и громко объявляет: «Вот увидите, скоро...» Так он начинает: «Вот увидите, скоро... — а мы, хихикающие индюки, хором повторяем за ним знакомое продолжение: — в этой стране случится страшное несчастье».

Тетя Рахель, как я уже сказал, — четвертая дочь Аумы и Апупы. Всё у нас делается по ее указанию, по ее слову всё приходит и всё уходит, и это главенс-

## ВСТУПЛЕНИЕ

тво в Семье она унаследовала от своего отца еще при его жизни. Ее муж, которого в семействе Йофе прозвали Парень, погиб в Войне за независимость через несколько месяцев после свадьбы, и, поскольку Рахель не могла уснуть в опустевшей постели, она стала, как сомнамбула, бродить по ночам с закрытыми глазами в поисках пары. После нескольких неловких происшествий Семья назначила дежурства, и всех нас, парней и мужчин, начали по очереди посылать — и по сей день посылают — к ней на ночлег.

Задыхаясь в ее объятьях, дурея от духоты — Йофы укрываются одеялами из пуха (мы называем их «пуховиками»), а Рахель еще добавляет к ним фланелевую пижаму своего погибшего Парня, — я узнавал от нее историю нашей Семьи и в оставшееся мне время еще расскажу многое из услышанного: и то, что я рад вспомнить, и то, что надеюсь забыть [то, что я помню, и то, что, несмотря на все усилия, уже не забуду].

Пятьдесят пять мне исполнилось сегодня: у меня легкая астма, я женат на бой-бабе по имени Алона и, подобно многим другим Йофам, стал отцом двух близнецов. Мой сын Ури даже ленивее меня — почти весь день он валяется на кровати, погруженный в свой ноутбук, в свои книги, в бесконечное ожидание той женщины, которая «однажды придет» к нему, и в бесконечное прокручивание одного и того же фильма «Кафе “Багдад”». А моя дочь, Айелет, *рука ее на всех и рука всех на нее*, хотя и не в библейско-исмаилит-

ском смысле этой фразы, деятельна, как ее мать, но сребролюбива и сластолюбива куда больше нее и уже оставила дом и открыла собственный паб — «Паб Йофе» — в Хайфе. И оба они, Ури и Айелет, огромные, как исполины, смотрят на меня и обмениваются хитрыми улыбками, как двое кукушат, которых подкинули в мое гнездо чужие руки.

У Алоны нет прозвища. Прозвища, грязь и сплетни не прилипают к ней, и «царапин», как Айелет называет то, что ранит душу ее отца, у нее тоже нет. Но «в качестве компенсации» — этим выражением мы тоже часто пользуемся: «Дедушка туго соображает, но в качестве компенсации у него слабое воображение», — в качестве компенсации у нее хорошая интуиция и ясный ум. И поэтому годы назад, когда даже тем, кто не хотел понимать, уже ясно было, что наша деревня, невзирая на романтические остатки былых садов и огородов да немногих кур, еще сохранившихся в качестве истинно деревенской детали, неизбежно станет городом, Алона ушла с работы в районном муниципалитете и открыла собственное дело — небольшой садовый питомник. Она назвала его «Сад “Йафэ”» и поставила на перекрестке, у главной дороги, большое объявление:

### Сад «Йафэ»

Рассада, оборудование, поливка

Готовая трава для газонов

## ВСТУПЛЕНИЕ

— Почему вдруг Йафэ с «а», а не Йофе с «о»? — спросил я.

— Потому что в данном случае, разнообразия ради, это не фамилия, а прилагательное и потому что не все в мире крутится вокруг вас, а только кое-что! — ответила она. — А сейчас вставай и за работу, Михаэль, за работу! Хватит разлагаться в постели и задавать глупые вопросы.

Я рассмеялся. Алона выучила и усвоила все выражения семейства Йофе. Я встал и взялся за работу. У меня есть старый «форд-транзит», на который я грузу трубы и саженцы, и есть рабочий, которого привел мне Жених, и я уже собрал вокруг себя небольшой, но преданный круг клиентов: новые жители городка, любители домашних садиков, из тех, что в последнее время покупают жилье по всей округе.

И, как и у большинства Йофов, у меня тоже есть прозвище. Но мое прозвище — тайное, это имя любви. Женщина — не Алона, моя жена, и не Аделаид, моя кузина, и, понятно, не Хана, моя мать, но любимая мною больше всех их троих, — эта женщина даровала мне его, и только она пользовалась им, и только наедине, чтобы никто не услышал.

«Фонтанелла» — вот мое имя в устах любимой. Так она называла меня в те дни, когда я тайком пробирался в ее дом, так и сегодня, когда она тайком пробирается в мою память. «Фонтанелла» — это маленький фонтан, но во многих языках это слово означает также мягкую точку, темечко, родничок — испуган-

ное, трепетное место на верхушке черепа у младенца. У всех людей этот родничок зарастает уже в годовалом возрасте, и я, в свои пятьдесят пять лет, женатый, отец двух детей, задающий глупые вопросы, — единственный в мире человек, чья фонтанелла все еще открыта.

Казалось бы, это уязвимое место, и потому оно должно вызывать беспокойство. Но я, через мою открытую фонтанеллу, ощущаю тепло и холод, различаю свет и тьму, фильтрую факты и воспоминания и, как собаки, слышу ею такие высокие и низкие звуки, которые человеческое ухо услышать не может. А порой мне даже удается с ее помощью кое-что предсказать: пол будущего ребенка, например, или результаты выборов и — с особенно большой точностью — перепады погоды и любви, а также — кто будет жить и кто умрет и другие будущие события попроще, которые вначале очень смешат Алону («Ты бы лучше угадывал лотерейные билеты»), а потом, несмотря на все ее сомнения и насмешки, сбываются.

И еще у меня есть привычка: когда Алона не смотрит на меня, я прикасаюсь к своей фонтанелле кончиками пальцев, осторожно нажимаю на нее и тогда вспоминаю ту женщину, которая спасла мне жизнь и дала мне мое имя. Мой родничок дрожит под волосами, точно маленький барабан под пальцами, и, притронувшись к нему, я вспоминаю ее руки, которые несли меня тогда, ее бегущие ноги, пылающее пшеничное

## ВСТУПЛЕНИЕ

поле и снова ощущаю прохладу воды, в которую она меня погрузила.

Ее пальцы скользят по моим обгорелым волосам, анемоны горят на ткани ее юбки, губы говорят:

— Смотри, твоя фонтанелла еще открыта.

И я вспоминаю ее шепот:

— Это знак того, что Бог тебя любит.

И ее смех:

— Ну, если уж Бог, то я подавно.

И ее объятье: притягивает, отстраняет, смотрит, снова прижимает к груди. Тогда она была молодой женщиной, почти двадцати одного года, а я — маленьким мальчиком, ровно пяти лет, но в потоке медленно катившегося времени я вырос и возмужал, а она состарилась и умерла.

Подытожу-ка я все, что сказал, подытожу и на том успокоюсь. Итак, меня зовут Михаэль Йофе. Мои дед и бабушка, Давид и Мириам Йофе, родили Пнину-Красавицу и мою мать Хану, ее близняшку, и потом Батию-Юбер-аллес, а под конец тетю Рахель, которая рассказывала мне истории и не могла спать одна. Пнина на седьмом месяце беременности родила Габриэля, отдала его отцу, вышла замуж за Арона и закрылась в своем доме. Батия, со своим мужем-немцем, вынуждена была уехать в Австралию и там родила нескольких детей, одна из которых, Аделаид, в течение нескольких недель любви занимала мое сердце и терзала мое тело. Моя мать Хана, ставшая вегетарианкой, вышла замуж за Мордехая Йофе, который

изменял ей со всеми своими «цацками», но, очевидно, один раз переспал и с ней тоже, потому что она родила меня. А я женат на Алоне, у нас есть близнецы Ури и Айелет, а также садовый питомник.

И еще я должен заметить — а может, предостереечь, — что некоторые из Йофов, как женщины, так и мужчины, отличаются странным изъяном: после кормления грудью, извержения спермы или сильного кровотечения они ненадолго теряют память <в дальнейшем нужно представить молоко, кровь и семя как некие средоточия души и жизни> — и, действительно, я не раз, поранившись до крови или завершив «любовный акт» (омерзительное выражение, которым пользуется моя мать и которое, к моему ужасу и отвращению, усвоила также Алона), вдруг обнаруживал, что из моей памяти исчезли какие-то события, лица, номера телефонов и даже отдельные слова. Вдумчивый читатель легко заметит это, а что до читателя, не способного думать, то я не намерен тратить на него ни своих слов, ни своей спермы.

Теперь, расставив всё по местам, я смогу, наконец, рассказать свою историю. И тот из читателей, кто заблудится в лесу, который я собираюсь вырастить вокруг него, чтобы провести затем среди деревьев, поступит разумно, если возьмет себе за правило время от времени возвращаться назад, к этой главе, чтобы найти свое исходное место, настроить компас и вернуться обратно на тропу. А если он не захочет

## ВСТУПЛЕНИЕ

вернуться, пусть возьмет себе другую книгу, приятнее и интереснее моей. Но может быть, он поступит еще лучше, если вообще бросит читать и вместо этого приласкает свою возлюбленную. А если читатель этот женского пола, пусть отложит мою книгу и обнимет своего любимого.

Тут, однако, напрашивается вопрос: а что делать тем читателям, в чьей постели этого нет? На это я отвечу встречным вопросом: чего этого — супруга или супруги? Или, как в моей постели, — тело для объятий есть, а нет — любви?

\* \* \*

Славный год у Хомяка  
Шерсть блестит, отъел бока,  
Беселится, распевает,  
День рожденья свой справляет.

Так декламировала Амума тогда, в тот день рождения, когда мне исполнилось пять лет и я гнался за змеей в пшеничном поле, так декламирует Алона сейчас, в этот день рождения, когда мне исполнилось пятьдесят пять и я сижу спокойно.

Время, как и все Йофы, в конце концов берет свое: Анда — так моя бабушка фамиллярно называла поэтессу Анду Амир-Пинкерфельд, написавшую стишок про Хомяка, — давно уже умерла, и сама Амума тоже



уже умерла, но Алона еще жива, и моя мать тоже еще жива, так как она вегетарианка и потому здорова, а если умрет, то я даже не знаю, какое из множества слов, описывающих смерть, лучше подойдет к описанию ее смерти: она не переселится в лучший мир, потому что там к столу подают мясо *шор-а-бора*, и не возляжет с праотцами, потому что она и с собственным мужем едва ли возлежала. Нет, наверно, самым подходящим словом для смерти вегетарианки будет «неожиданность», а для моей матери даже «обман» — разве что случится невозможное и она умрет от болезни.

Всё меняется: деревня стала городом, и, невзирая на понятную тоску по «тем временам» («Все знали всех, никто не запирал дверь, и у всех была взаимопомощь», — тоскливо вздыхает Жених над книгами мемуаров, а мы снова переглядываемся, улыбаясь), я должен признать, что как город она лучше, чем была. Апуа с годами стал маленьким, как ребенок, и холодным, как труп, и лежит теперь в старом инкубаторе моего двоюродного брата Габриэля. А сам Габриэль, начавший жизнь как недоносок, стал высоким и сильным и сейчас сидит на траве рядом с Гиршем Ландау, скрипачом, и со «Священным отрядом» — тремя его друзьями с той поры, когда все мы служили в армии в одной части.

Время торжествует: пятьдесят лет прошло и все, кроме него и моей матери, изменились. Что до него, то оно по-прежнему плывет широко и неторопливо,

## ВСТУПЛЕНИЕ

а что до нее, то она по-прежнему костлява, худа и здорова, и оба они по-прежнему всегда правы. А мой отец уже не спорит с ней, потому что его здесь нет. Прежде своего срока умер, прежде моего времени ушел.

Сбоку сидят мои близнецы, Ури и Айелет, перешептываются и пересмеиваются, и их мать делает им замечание. Заметив, что она отвлеклась и не смотрит на меня (редкое и короткое мгновение, которым надо воспользоваться) и что гости, которых она пригласила на мой день рождения, заняты друг другом (триста энергично жующих прихлебателей, выбранных из тысяч, ею любимых, и десятков тысяч, ей знакомых), я торопливо кладу палец на свою открытую фонтанеллу и слегка нажимаю на нее — потому что это мой второй способ успокоиться и забыть.

— Прекрати, Михаэль! Это опасно, ты слышишь!

У нее глаза Аргуса. Ничто не может укрыться от ее взгляда. Когда-то я был для нее «любимым», но за долгие годы ее глаза перестали затуманиваться, а пальцы — ласкать, и начали только высматривать и прощупывать. Желание сменилось заботой, объятья — запретами и оградами. Губы, когда-то кусавшие, пьянившие, глотавшие семя и слюну, теперь выплевывают наставления и замечания. В последнее время ее недовольство вызывает тот и сам по себе неприятный факт, что я пачкаю одежду больше обычного.

— Что бы ты ни делал — работаешь, ешь, читаешь, изменяешь мне или просто разлагаешься в постели, — чистым ты все равно никогда не остаешься.

Но когда я предлагаю ей подбить Ури и Айелет обзавестись семьями и родить ей внуков, чтобы она могла изливать свои воспитательные страсти на них, она смеется:

— Мне не нужны внуки, у меня есть ты.

Ее глаза шарят по моему лицу, ее руки обнюхивают мою кожу, ее вопросы шарят в моей памяти, перебирая ее содержимое — имена, даты, номера, места. Если что-то забыто, значит, я недавно пролил где-то кровь или — что куда вероятней и много хуже — сперму. А поскольку оба эти действия я в ее присутствии делаю редко, она усаживает меня на стул, становится сзади и устраивает мне допрос:

— Назови мне телефон нашей дочери?

— ...

— Тогда, может быть, ты хоть имя ее вспомнишь?

— ...

И поскольку я использую право на молчание, мы переходим к следующему этапу — проверке на супружескую верность:

— У кого это ты уже побывал, Михаэль?

— ...

— Какая это «цацка» высосала из тебя память?

— ...

Я встаю в приступе отвращения, чтобы уйти раньше, чем прозвучит ее и мамино омерзительное выра-

## ВСТУПЛЕНИЕ

жение «любовный акт». Но Алона преграждает мне дорогу и выстреливает:

— Ты совсем как твой отец. Ты мне изменяешь! У тебя есть тайник!

— Ты ошибаешься, — говорю я громко и раздраженно, но, как та змея, лишь в душе. — Ты ошибаешься, Алона, я не похож на своего отца. У меня, к счастью, две руки, на одну больше, чем было у него. И у меня двое детей, на одного больше, чем было у него. И у меня нет, к сожалению, его чувства юмора. И вопреки твоим подозрениям у меня нет никакого тайника и я не хожу ни к какой «цацке» и ни к какой соседке. И я никогда не изменял тебе. Наоборот, Алона, когда я с тобой, я изменяю той женщине [изменяю памяти моей любви].

Я мог бы сказать ей то, что посоветовала мне Айелет: «Скажи ей, что ты сдавал кровь и потому забыл». Но зачем? Вместо этого я снова кладу палец на свою открытую фонтанеллу, обвожу ее край — и вот она уже здесь, во всей своей красоте и молодости, та женщина, что спасла меня из огня, окунула в прохладную воду, дала мне имя и жизнь и обрекла на нескончаемую тоску, пожизненные воспоминания и горькую страсть. Моя рука вспоминает ее руку, моя боль вспоминает ее улыбку, мой палец следует за ее пальцем, обводящим *устье колодца* на моей голове: тогда, в первый раз, в запахе дыма и огня, — вот он, ее палец, осторожно барабанит по испуганному кожно-

му лоскутку, что прикрывает мой родничок, вот они, ее тогдашние слова:

— Смотри, твоя фонтанелла еще открыта...

Собачьим своим слухом слышу я эти голоса, недоступные обычному человеческому уху, — низкие звуки моей памяти, высокие звуки ее любви.

— Что с тобой будет, в конце концов? — Теперь Алона уже кричит. — Ну скажи сам?!

— «Почему гав?» — спрашиваю я ее, то бишь — на что именно ты лаешь?

И поскольку гости-Йофы понимают мой ответ, а остальные гости понимают ее крик, все выпрямляются, смотрят, облизывают губы и ждут. Несмотря на способность предвидения, которой я наделен, я уже не отвечаю на вопросы, которые начинаются со слов «что будет», а тем более если об этом спрашивает моя жена и если ее вопросы относятся ко мне. И вообще — чем больше времени нагромождается на мои плечи, тем реже рождаются у меня предвидения и тем чаще вместо них приходят воспоминания. Так мне даже удобней. Ведь между предвидением и воспоминанием, в сущности, нет особенной разницы, если не считать обратного направления взгляда. Оба рождаются из внутренней потребности, из пылающего огня, который не дает покоя. Оба готовы, Бог весть почему, выдержать смехотворные и совершенно излишние проверки доказательством. Оба пытаются проникнуть в иные времена, и обоим это не всегда удается. И вообще — чего тут ходить вокруг да около: оба они

## ВСТУПЛЕНИЕ

борются с огромным, древним, лежащим у их истоков соблазном — обмануть, замаскировать, выдумать, сочинить. Факт: не только ложные пророки — лживые мемуаристы тоже живут среди нас! В любом доме, в любой семье есть такие, а уж в моей семье особенно — все Йофы только тем и занимаются, что сравнивают варианты: что произошло в действительности? Что произойдет? Кто — как всегда — виноват? Кто кого предупреждал — как всегда — заранее? И самое главное, кто — как всегда — был прав? И кто никогда не признает, что он ошибся?

Каждая семья издает свои звуки: громовой хохот, бульканье кастрюль, сдавленное рыданье, «шшш...», и «шу-шу...», и «ша... ша...», и ритмичные скрипы кроватей, и ночные шаги, и гневные вопли, и любовный шепот, и условные призывы. А наши звуки, йофианские, — это всегда протесты: «Нет, это было не так!» — и крики: «Я вам говорил (говорила), что так и будет!» — и выдох местоимений: «он», и «она», и «они», и «я», и «ты»,

И тот, кто слышит эти звуки, уже понимает: это идут Йофы. Семья Йофов, большая, «счастливая, пока не будет доказано обратное», — идет, едет, летит, над скалами, над горами, вот корова, вот птица — <«Одинокая птица на крыше», — так называла себя Аму-ма> — вот стук колеса, тоскливый вопль паровоза, красный выкрик перекрестка.

«Привет...» Мы машем им из окна — полям, домам, безымянным водителям, привет... — их наплы-

вающим лицам, бледным пятнам на шлагбаумах, — и поезд несется, и все громче кричит паровоз, и «Айелет, эй, едет дале-о-ко, куда-то в неведомый край»\*, — и предсказания, прогнозы, пророчества, предчувствия, точно столбы электропередачи, летят на нас, и отступают назад, и уже мельтешат за нами, от предстоящего конца времен и до самой этой минуты, и пока мы изумляемся им, они становятся реальностью: порывы ветра, перекаты гор, удар в лицо — и вот уже удаляются, и исчезают, и раньше, чем ты понял, Михаэль, — ты понял? — становятся воспоминаниями, наполняются тяжелой радостью сбывшегося — и оседают в душе.

\* \* \*

Так и припомни, говорю я себе, припомни точно и по порядку: сначала — запах, скользкий, как шелк, он появляется и подступает, густеет и обволакивает, точно темный мешок. Затем — *голос тонкой тишины*: писк перепуганных мышей, чешуйчатое шуршание удирающих ящериц, отчаянные призывы жаворонят. А потом, за всем этим, — еле слышное, наползающее со всех сторон шевеление: шершавый шорох горячей пшеницы, жуткий шелест, который мне уже никогда

\* Из стихотворения «Девочка Айелет» уже упоминавшейся выше идишской поэтессы Кади Молодовской.

## ВСТУПЛЕНИЕ

не забыть. В его начале — далекий шепот, его продолжение — разрозненные хлопающие взрывы, затем они становятся всё отчетливей и сильнее, а в конце всё сливается в оглушительный рев.

Пожар.

И тогда: страшный вопль: «Папа!» — рвется из моего ожившего и тут же задохнувшегося рта. На праздничную белую рубашку сыплются коричневые хлопья пепла. Черные дыры с багровыми краями расползаются в отступающей белизне ткани.

«Папа!»

Я оглянулся. Сероватые, с красными прожилками, стены огня и дыма приближались ко мне отовсюду, по всему желтому пшеничному простору. Помню, я рухнул на землю, свернувшись как зародыш, прикрывая руками макушку. За считанные секунды пламя охватило всю ширину поля, и огонь уже начало сносить на восток.

«Михаэль...» — лаял старый пес Аупы, прыгая, как безумный, на краю горящей пшеницы. Хотел показать, что от него и тут есть толк, но помчаться ко мне боялся.

«Михаэль...» — звали несомые ветром далекие голоса родителей, дядьёв и теток. Они, которые зачили нас и рожали, растили и воспитывали, сплетали нам венки и поздравляли, теперь, слепые и беспомощные, издали зывали о помощи.

«Михаэль...» — протрубил могучий голос Аупы, бесполезный, как его сильные руки, глупый, как его



истыканные гвоздями башмаки, нелепый, как его заткнутый за пояс кнут-курбач, «на случай всякого случая», — и чем это поможет ему теперь против языков пожара?

«Михаэль...» — позвала черная змея, вернувшаяся откуда-то к моим окаменевшим ступням. Заманила меня сюда, а сейчас вернулась — спасти?

Я хотел было встать и побежать за ней, но внезапный порыв ветра перебросил правое крыло пламени прямо через меня. Я повернулся и упал, пойманный в западню, задыхающийся, окруженный высокими, скачущими, оранжево-огненными плясунами. Пять лет было мне тогда: слишком мал, чтобы понимать, слишком слаб, чтобы убежать, но и слишком молод, чтобы потерять надежду. Только годы спустя я осознал, что день моего рождения угрожал стать днем моей гибели. Смерть, хоть и придвинулась совсем близко, казалась мне тогда далекой и непостижимой, но боль, и страх, и удушье были ощутимы, и даже слишком хорошо. Так хорошо, что достаточно одного воспоминания, чтобы и сейчас, спустя много лет, тотчас протянуть руку к аптечке за ингалятором от удушья, моим неразлучным спутником с той самой поры.

Бешеный, пламенный, завораживающий танец уже окружал меня со всех сторон. Помню: дым пожара разрывает мне грудь, его рев распирает мою голову. Считанные шаги отделяют меня от его протянутых огненных пальцев, и, несмотря на их ослепительный

## ВСТУПЛЕНИЕ

блеск, я чувствую, что меня заливают тьма, но не охватывает снаружи и не заполняет все вокруг, а растет откуда-то изнутри. Потом тьма во мне опускается, и я уже плыву в ней и снова кричу: «Папа!» — и тогда прямо из огня появляется женщина.

Незнакомая женщина, молодая, высокая, почти голая — серая блуза изъедена огнем (несмотря на страхи и боль, я удивился: женщина в мужской рабочей блузе), обнаженная грудь покрыта копотью и сажей. Обгоревшая шапка коротких черных волос и остатки цветастой юбки вокруг бедер.

— Где ты, малыш? Где ты?

— Я здесь! — крикнул я, приподнявшись.

Новая стена дыма разделила нас. Ее крик:

— Кричи громче! Я тебя не вижу!

— Я здесь... Я здесь... — изо всех сил заорал я, и она снова появилась из пламени и устремилась прямо ко мне, ни на секунду не замедляя бега. Наклонилась, схватила меня длинной рукой — и вот уже меня подняли и несут сквозь стену огня на другую сторону поля.

Сколько времени прошло — не знаю. Может быть, всего несколько секунд, может — час или минута. Рев пожара затих, и теперь я слышал только ее хриплое дыхание, стоны боли, мои и ее, напряженные удары ее сердца. Черно-белые комья крошились под ее ногами. Шипящие кучи золы огненно раскалялись от дуновения ее бега. Я помню руку, охватившую меня вокруг живота, пальцы, впившиеся в мое тело. Ее левая

пятка ударяла по моему бедру, ее ожоги выжигались в моей коже, — и вот мы уже миновали стену камыша, и я брошен в вади, в его мутную, прохладную воду, и лежу рядом с этой чужой женщиной.

Она лежала на спине — руки и ноги раскинуты, кашляющий рот судорожно втягивает воздух, грудь поднимается и опускается в тяжелом дыхании — и вдруг повернула ко мне голову:

— Я тебя слышала...

Странный акцент был у нее, похожий на акцент Гирша Ландау, скрипача. Ее глаза, ее губы были совсем рядом с моими. Ее пальцы погладили мою голову, задержались на мгновение, натолкнулись на просвет между костями макушки, уловили и осознали неожиданность. Она улыбнулась:

— Смотри, твоя фонтанелла еще открыта.

Слово «фонтанелла» я тогда не знал, но сразу понял, о чем она говорит. За ее головой метнулась вниз крылатая тень. Ястреб взмыл снова, черная змейка извивалась в его когтях.

Послышался мужской крик, чужой и тревожный:

— Аня! Аня! Где ты, отзовись!

Молодая женщина встала, стекая водой, пеплом и грязью, подняла меня на руки и перешла вади. За камышами открылись мне лошадь и телега. Худой старик с загорелой лысиной, в светлой отглаженной рубашке и в брюках цвета хаки, сидел на ней, курил сигарету и ждал.

## ВСТУПЛЕНИЕ

Ее руки, поднимающие меня на телегу, ее победная улыбка:

— Я же говорила тебе, что слышу мальчика, он кричит из огня.

И он, улыбаясь:

— Ну, Аня, так теперь он твой.

\* \* \*

С той ночи, когда мы с Габриэлем вернулись из Иерусалима и я начал записывать всё это, члены Семьи начали выражать свои мнения.

Рахель, из бездны своей постели, и отец, из бездны своей могилы, поощряли меня: «Очень хорошо».

Мать, ползая среди кочанов своей органической капусты, сказала, не глядя: «Надеюсь, Михаэль, что это первый шаг на твоей новой дороге, которая будет правильной и во всех других отношениях».

Жених спросил, пишу ли я «под копирку», потому что «бумаги иногда разлетаются или пропадают».

Айелет завела себе новую привычку — стоять за моей спиной, читать из-за моего плеча, задавать вопросы и делать замечания, Алона переполнилась любопытством и подозрением, а Ури, во всем такой отличный от меня, единственный из всех понял, что речь идет не о романе и не о книге воспоминаний, а об отце, который сам себе Шахерезада и Султан одновременно, и о рассказе, который не что иное, как длинное про-

щальное письмо. Из мужской солидарности, которой я от него не ожидал, он принес мне старый компьютер, в котором установил новый текстовый редактор («конец чернилам и перьям, отец, даже коров уже доят сегодня машиной»), объяснил основные команды, ввел в память мой личный секретный код и заклил меня «делать копии как можно чаще», потому что компьютер, при всей своей феноменальной памяти, «во всем остальном полный болван, инфантил и к тому же идиот».

И еще он дал мне совет относительно самого процесса письма.

— В компьютере очень легко стереть и легко добавить или изменить, — сказал он. — Так легко, что ты иногда решаешь и делаешь раньше, чем подумаешь. Поэтому я тебе советую: если у тебя есть две формулировки и ты не знаешь, какую выбрать, запиши обе, возьми второй вариант в квадратные скобки и иди дальше, вернешься к ним потом. А если тебе придет в голову какая-то идея, не имеющая отношения к данному месту и моменту, просто запиши ее, обозначь угловыми скобками и продолжай. Потому что иначе забудешь.

— Просто угловыми скобками? — переспросил я.

— Они заметны. Потом, когда кончишь, компьютер найдет тебе все эти квадратные и угловые скобки, и тогда сиди себе, выбирай на досуге, думай над всеми этими «зачем» и «почему» и решай, что да и что нет.

## ВСТУПЛЕНИЕ

<Надо решить, объяснять ли наши семейные выражения, и если да, то где и как.>

— А если я не успею?

— Почему бы тебе не успеть, отец? Ты куда-то спешишь?

— А зачем мне секретный код? — спросил я. — В этой семье и так достаточно секретов.

— Так лучше, отец, — сказал Ури и поднялся. — Так лучше, поверь мне.

Часами, днями, неделями он лежит у себя в комнате в компании своих книг и своего лэптопа. Иногда он гасит свет и слушает музыку, и тогда на его щеке заметна та «сверкающая-в-темноте-бороздка», которую Амума передала ему в наследство через меня [которую я передал ему от Амумы], а потом в несчетный раз смотрит фильм «Кафе “Багдад”», тоже на экране лэптопа, который лежит у него на животе, как кошка. Комната не закрыта. Можно войти, он не возражает. Можно завести с ним разговор. Иногда он отвечает — одним из тех своих «Ну-ну», которые бесят Алону, потому что в этом слове достаточно изменить мелодию, чтобы приспособить его для тысячи ответов, а она не достаточно музыкальна, — но чаще не отвечает вообще. Это не равнодушие. Просто Ури не способен заниматься двумя делами сразу. Когда он сосредоточен на чем-то одном, то глух ко всему остальному. В армии он служил полтора года, был, понятно, специалистом по секретным кодам, а потом однажды взял и уволился, под каким-то пустяшным предлогом.

Жених был потрясен. Не разговаривал с ним несколько месяцев, угрожал, что вычеркнет его из списка «получающих довольствие» и ничего не даст «этому типу, который увиливает от армейской службы», ни теплой рукой не даст, ни холодной\*. Но Ури пришел домой, лег на кровать и сказал, чтобы его оставили в покое, только сообщили, если придет та женщина, которую он ждет, и сразу открыли бы ей ворота, не устраивая никаких проверок на входе.

За несколько считанных дней я понял, насколько он был прав в отношении кода. Неожиданное появление компьютера и те часы, которые я стал проводить за ним, вызвали раздражение Алоны, и всякий раз, когда я обращался к Ури за помощью (я сразу же обнаружил, что пути запоминания у Йофов составляют полную противоположность путям запоминания у компьютеров, — что уж говорить о путях забывания), моя жена становилась еще более подозрительной и ревнивой, чем прежде: «Почему ты спрашиваешь только его? Я тоже могу тебе помочь. Нет такого текстового редактора, который я бы ни знала». Она тут же начала находить для меня срочные работы в саду, и пока я послушно там ковырялся, пыталась влезть во внутренности моего компьютера и извлечь оттуда мои секреты. Наличие у меня личного кода

\* «Ни теплой рукой не даст, ни холодной» — юридическое выражение, означающее прямую передачу наследства еще при жизни передающего («теплой рукой») или посмертное наследование по завещанию («рукой холодной»).

## ВСТУПЛЕНИЕ

она расценила как предательство. Впрочем, от меня, сказала она, «нельзя было ожидать ничего иного». Что касается Ури, то она, надо признать, была слегка удивлена, «однако Ури всегда был сыном своего отца, да и Айелет, в сущности, тоже». Но компьютер?! От компьютера она такого не ожидала никак. Казалось бы — прибор как все приборы, жужжит себе, с вилкой, проводами и выключателем, а вот поди ж ты, в противоположность холодильнику, и плите, и стиральной машине, которые знают свое место, «у этого, видите ли, есть претензии».

В отличие от Апуны, который в подобных обстоятельствах просто разбил бы наглый «струмент» одним ударом кулака, моя жена сделала вид, что пренебрегает обидой, но тайком предприняла неуклюжие попытки взлома. Зная, насколько глубоки и непредсказуемы глубины моего забвения, она решила, что я выберу код, который не так-то легко забыть. Она безуспешно перепробовала десятки разных вариантов, которые по прочтении (сын своего отца наказал компьютеру фиксировать все такие попытки) даже растрогали меня. Там были, понятно, имена всех женщин, которые были у нее на подозрении, но вдобавок на экране то и дело прорастали вдруг мои любимые растения: шафран и шалфей, анемон и мак, нарцисс и кассия, а также имена и прозвища членов Семьи — целое поле слов, которое можно было бы назвать «Секреты и любви Михаэля по мнению его жены».



Ей не пришло в голову попробовать цифровой код, и ей не пришло в голову попробовать свое собственное имя.

— Не пришло в голову? А ты не подумал о такой возможности, что она просто боялась? — спрашивает за моей спиной Айелет.

— Боялась? Твоя мать? Чего? — пишу я ей в ответ.

— Боялась обнаружить, что ты не выбрал ее имя для своего кода, — объясняет она.

<Оставить эти разговоры с девочкой в окончательном тексте или выбросить?>

Она вспыхивает:

— Конечно, оставить! А ты как думал?!

Айелет не знает кода, который выбрал мне Ури. Но каждый раз, когда она приходит навестить меня и видит, что я сижу за компьютером, она становится сзади, наклоняется, читает слова по мере того, как они появляются на экране, и делает мне замечания. Некоторые вещи я пишу, потому что она здесь, а некоторые — по той же причине — не пишу. «Так или так», но когда она здесь, во мне поднимается невыносимая ярость, а когда ее нет, я жду ее прихода.

Еще не зная, что она здесь, я уже ощущаю ее присутствие. Не то чтобы я улавливал его или ухватывал, даже через мою фонтанеллу, — наоборот: это ощущение присутствия произрастает из нее самой и лишь потом материализуется в пространстве. Вначале — ее волосы и дыхание, знобящее мой затылок. Затем — ее зубы, за мгновение до того, как они вонзятся в мою

## ВСТУПЛЕНИЕ

шею. А иногда — надеюсь, что случайно, — я ощущаю также груди моей дочери, ее Цилю и Гилю, как она их называет, когда они вдруг жалят мое плечо, и ее вопросы — ножи в мою спину:

— Что это — «в начале любви»?

— Где?

— В третьей строчке сверху — «есть что-то такое в самом начале любви, что будет поддерживать ее потом в течение всей последующей жизни».

— Таким, — шептала мне Рахель, — было тело моего Парня, которое уже рассыпалось в прах.

И такой, сказал я себе тогда, пока моя тетьа говорила, и повторяю сейчас, когда моя дочь спрашивает, такой была та длинная рука, которая схватила меня и вытащила из пламени. И таким был тот палец, Анин палец, когда он играл с мягкой точкой на своде моего черепа, и те губы, Анины губы, уголки которых не переставали радостно подпрыгивать во время этой игры, и тот запах, Анин запах, который остался на моей голове и губах и прилип к моему лбу и ноздрям, и с тех пор им пахнет мой рот, и мой пот, и мои воспоминания, и мои сны, и каждый мой вдох.

— Я ухожу, — объявляет Айелет. — Ты печатаешь ужасно медленно.

Пальцы медленнее мысли, а также памяти, а мои пальцы к тому же еще застыли от той езды с Габриэлем. На его мотоцикле, из Долины в Иерусалим, к ней, в больницу, в ее последнюю ночь.

Именно так, Михаэль, снова наказываю я себе, именно так нужно вспоминать: без страха, без стыда, а самое главное — с юмором, «с насмешкой на устах», как говорила Хана семерым своим сыновьям перед тем, как отправляла их, одного за другим, на смерть. Моя мать, принадлежа к содружеству женщин по имени Хана, у которых есть принципы и которые всегда правы, очень симпатизировала той Хане и прославляла ее в каждый вечер Хануки.

Отец говорил:

— Снова эта история о Хане, которая убила своих детей?

Мать говорила:

— Она дала им вечную жизнь.

Отец говорил:

— В этом ты права. Уже две тысячи лет прошло, а мы всё еще говорим о ней и о ее несчастных маленьких шахидах, которые послушно делали всё, что наказывала им мать.

Мать говорила:

— Если бы все думали, как ты, еврейский народ сегодня бы уже давно не существовал.

Лицо отца говорило:

— Если весь еврейский народ был такой, как ты, может, оно и не стоило хлопот, — но голос его бормотал только: «Безумная женщина», а его глаза искали мои глаза.

## ВСТУПЛЕНИЕ

Я посылал ему слабую улыбку, которой едоки мяса сигналият друг другу в затруднительном случае, и не спрашивал, какую Хану он имеет в виду.

Потому что с таким семейством, как твое, Михаэль, снова напоминаю я себе, у тебя нет выхода. Надо вспоминать с той же безоглядностью, с какой выпирает дичок посреди ухоженного сада: среди всех этих вылизанных фрезий, барвинков и георгинов, вдруг — тонкоробристый прямой бедринец, упрямый каперс, небритый куст кассии.

— Что это? — испугался мой клиент, молодой симпатичный мужчина из Тель-Авива, купивший себе дом в том пшеничном поле, которое теперь стало жилым кварталом. — Что это за палочки-колючки ты мне здесь посадил?

Его жена улыбается, а я иду к своему «форду-транзиту», приношу вилы, втыкаю и вырываю, не рассказывая ему о том, как цветет и как пахнет кассия. «Полицейский инспектор, — как говорят Йофы, — не нуждается в причине»: сад — его, вкус — его, деньги — его, а я — в моем возрасте уже нет лишних минут на объяснения, а тем более на обсуждения и споры.

Так-то, Михаэль. А в том, что касается памяти, тебе есть у кого поучиться. В семействе Йофов все помнят всё. Кто с удовольствием, а кто с болью, кто с легкостью, а кто с усилием, кто — витиеватыми буквами тысяч историй, а кто — одним сгорающим свитком. Запоминают события, заучивают семейные легенды, хранят прозвища и выражения, которые со време-

нем становятся нашими паролями и кодами причастности. В других семьях берегут первые ботиночки младенцев и локоны их кудряшек, все эти крупички пыли, вокруг которых планетами уплотняются воспоминания. У нас память выращивает побеги, пускает стержневые корни и, подобно некоторым вызывающим зависть растениям, сама оплодотворяет себя, производя и рассеивая по воздуху свои семена. А то, что запомнилось, уже не забудется. Если не сегодня, сразу после «любовного акта», — вспомнится завтра. Если не сейчас, после кормления, — подождет до следующей беременности. Если не будет признано как факт — вернется как догадка. А если какое воспоминание даже потеряется или будет выброшено — кто-нибудь непременно найдет вместо него другое, и замесится на нем новая выдумка (вот, уже текут, текут сладкие слюнки и полнится восторгом черепная полость!) и тоже присоединится к официальным семейным историям.

Тетя Рахель сочиняла нам всем, молодым членам Семьи, которые спали в ее кровати, немало таких историй, а я, в свою очередь, сочинял их для Ури и Айелет. Когда они были маленькими и любили слушать сказки, они делали вид, что верят мне. Но когда немного подросли, то потребовали, чтобы я перестал рассказывать им глупости. Сейчас, уже взрослые, они просят, чтобы я снова рассказывал им тогдашние мои легенды из жизни Семьи, и даже поправляют меня — Ури с традиционным йофианским ворчанием: «Нет, это было

## ВСТУПЛЕНИЕ

не так», а Айелет с криком: «Папа, это не так, перестань!» — если я упускаю какую-нибудь деталь или выдумываю что-либо новое.

Иногда я выхожу из обнесенной стенами крепости «Двора Йофе» и отправляюсь в Хайфу, а то и совсем за границу — в Тель-Авив, иногда я набираюсь смелости, смотрю прямо в глаза проходящей мимо женщины — она мне чужая, и я ей чужой — и говорю ей — это я, который всего раз в жизни был за границей, с Алоной в Италии: «Помнишь, Юдит, как мы встретились тогда, в Брюсселе, когда ты сошла с поезда не на той остановке?»

Если она улыбнется: «Мне кажется, что вы спутали меня с кем-то другим», — я извиняюсь: «Простите...» — и удаляюсь.

А если она промычит: «Что?...» — или издаст любое иное «ммуу...» удивленной коровы, я извиняюсь: «Простите, я, наверно, спутал вас с кем-то другим...» — и удаляюсь. И если она хмурит брови, предупреждая, что сейчас позовет мужа, или товарища, или брата, а то и всех этих троих неандертальцев сразу, — я и тогда извиняюсь и удаляюсь.

Но если она смотрит мне прямо в глаза и говорит: «Опять ты забыл. Это было не так, это было в Амстердаме, и ты просил меня померить для тебя платье», мое сердце замирает в груди, а если она к тому же добавляет: «И ты еще сказал, что свет в этом городе такой приятный и мягкий, а я сказала, что нужно пойти в музей Анны Франк, а ты сказал, что предпо-

читаешь поесть селедку на улице, хотя маринованная селедка твоей бабушки лучше», у меня от радости подкашиваются ноги.

И тогда она, как всегда, улыбается и уходит, а я, как всегда, бухаюсь в канал Принсенграхт. Жалею: зачем мне нужен был весь этот разговор? Удивляюсь: а что бы случилось, заведи я его на самом деле, а не только в своем воображении? Возбуждаюсь: а в ее воображении тоже?

Так или так, но в нашем семействе каждый имеет свой способ запоминать, вот только, как я уже сказал — сказал ли? — забываем мы, на время, все одинаково: когда льется кровь, когда извергается семя, когда каплет молоко. «И поэтому, — смеется мой отец, — старики у вас помнят лучше молодых, а старухи — лучше молодух».

«У вас», — говорит он, не «у нас», потому что мой отец, хотя его фамилия тоже Йофе, родом из «внешних родственников» — тех, которые присоединились ко «Двору Йофе» посредством женитьбы и никогда не получают там полного гражданства: Парень тети Рахели, Жених тети Пнины, и он, Мордехай Йофе, который пролил больше крови и спермы, чем все Йофы, взятые вместе, но при этом ничего не был.

— Ты бы мог стать одним из нас, Мордехай, — слышал я, как говорила ему мама, — если бы только прекратил эти свои насмешки.

## ВСТУПЛЕНИЕ

— А мне это и не нужно, Хана, — услышал я его ответ [услышал я его капающий яд], — мне достаточно быть одним из тебя.

Терпение, Михаэль, снова говорю я себе сейчас, черпая смелость у предметов, которые собрал перед собой до того, как начал писать, — у карандаша и у бумаги, у пачки «Драмы»\*, которую привезла мне Айелет из того самого Амстердама («если ты куришь одну сигарету в два дня, то хоть скрути ее сам»), у дисков для копий, которые купил мне Ури, у старой бритвы, которую дал мне муж Ани, а наточил Жених, той бритвы, у которой лезвие толщиной в одну металлическую молекулу.

— Осталось не так уж много времени, — сигнализирует мне моя фонтанелла той слабой неуверенной морзянкой, пророчества которой относятся ко мне, а не к другим. У нее есть разные сигналы — свой для зародышей, которым предстоит родиться (этакие пульсации, медленные для мальчика, быстрые для девочки, можете представить себе тот дикий барабанный бой, который еще до беременности Алоны приготовил меня к появлению на свет Ури и Айелет), свой для той беременности, что была у нее сразу после них и кончилась выкидышем (далекий глухой саксофон, поющая дюна, как будто мертвец напевает в своей могиле), свой для ожидаемой смерти (быстрая острая дрожь, привстающие на макушке волосы при

\* «Драма» — сорт табака для закрутки.



виде ничего не подозревающей жертвы) и свой для смерти неожиданной (глухое, слегка болезненное жужжание). Есть у нее и сигналы, касающиеся моего персонального будущего, — вышеупомянутая слабая морзянка.

Теперь писать, Михаэль, терпеливо и честно писать, и улыбаться, и если нужно — даже «размазать соплю по носу» (так Йофы описывают нежелательное раскрытие семейных тайн), но писать и не сдаваться. Смешить себя, помнящего, и тебя, вспоминаящего. Знать, что эта семья — моя семья, это отражение — мое отражение, это слабое, сожженное, продырявленное тело, Михаэль, — твое тело, мое.

\* \* \*

На вопрос: «Кого ты больше любишь, папу или маму?» — который у других детей вызывает смущение, я всегда отвечал без запинки, громким голосом и указующим, уверенным перстом: «Его!» Так я чувствовал при его жизни, так и сейчас, когда он уже ушел, а она еще жива.

Я помню тот период моего детства, когда я, возмущенный и беспомощный, сражался, не желая признать, что моя мать не совсем нормальна, — насмешливое «цидрейте»\*, по словам ненавидимых нами

\* Цидрейте — ненормальная (*идиш*).

## ВСТУПЛЕНИЕ

Шустеров, или «мутра»\* — знак уважения и симпатии в устах Жениха, который называл так особенно заядлых упрямцев. Даже после того, как я вынужден был про себя признать, что дело обстоит именно так, я продолжал отрицать это перед другими, и даже сейчас, в этот сладостный миг, мои пальцы не знают, как им закончить предложение «Моя мать ненормальная» — точкой или вопросительным знаком. Потому что точка — это вроде окончательного подбивания счета, а я не из тех, кто мстит и сводит счета. Ограничусь поэтому предложением: «Моя мать ненормальная» — без всякого знака.

Я не знаю, то ли она помешалась от вегетарианства, то ли стала вегетарианкой, потому что была не вполне в себе, или же эти два качества просто находятся в той любимой Рахелью корреляции, когда свойства и признаки ходят парами, вроде куриных мозгов и зычного голоса. Может быть, придурь и вегетарианство тоже любят ходить рука об руку, и как только встречаются в одном человеке, так сразу, вне себя от радости, падают друг другу в объятия?

Так или так, но есть люди, которые любят помешанных, и есть такие, которые нет. Я — нет. В качестве единственного нормального человека во всем семействе Йофе (это не комплимент самому себе, а простая констатация факта) я не люблю ненормальных, даже если это моя собственная мать.

\* Мутра — гайка (*иврит*).

Ненормальные и помешанные смущают меня и лишают покоя. Рядом с ними я чувствую себя как возле клетки с обезьянами в зоопарке. И те и другие похожи на людей, но, в сущности, и те и другие не люди. И вообще, когда границы между вещами не совсем ясны, как, например, женщина, которая одновременно мужчина, дядя, который также верный пес, или дедушка, который одновременно младенец, я испытываю неудобство — мне хочется тут же воздвигнуть стены и обозначить границы.

Отец смеялся. Когда он смеялся, его правый глаз сужался, а обрубок руки со странной веселостью подпрыгивал в пустом рукаве.

— Это не совсем так, — говорил он мне. — Есть женщины, которые одновременно мужчины, и они прекрасные женщины. Я желаю тебе такую. Что же касается обезьян, на которых ты не любишь смотреть в зоопарке, так тут нет вопроса, похожи они на людей или нет. Они похожи, но на тех людей, которых мы не любим.

— Смейся, Мордехай, смейся, — бросила ему как-то тетя Рахель на одном из наших пасхальных сидеров\*, или наших обрезаний, или во время какого-то другого йофианского события, когда каплет кровь и «чашки в опасности», а алкоголь и воспоминания смешиваются с «компотом». — Смейся. Это всё, что

\* Седер — порядок проведения еврейской пасхальной трапезы, а также сама трапеза.

## ВСТУПЛЕНИЕ

ты умеешь делать: не страдать. Не окунать руки в дерьмо. Только стоять в стороне и смеяться.

И он, человек с мягким взглядом и пустым рукавом, дождался, пока свояченица закончит свою маленькую инвективу, и ответил:

— Ты, наверно, имеешь в виду «не окунать руку в дерьмо», Рахель, не так ли?

Мило улыбнулся, встал со стула, подошел к цветочному горшку и демонстративно выплеснул в него немного чая из своей чашки. Все Йофы имеют привычку заполнять чашку до самого ободка, а мой отец — нет. Он свою чашку заполняет на три четверти и ставит ее на край стола, специально чтобы все в тревоге протягивали к ней руки, произнося пароль: «Чашка в опасности!»

Моя мать тоже не любит обезьян, но только шимпанзе и по другой причине. У нее с ними личный счет, который, как и прочие ее личные счета, тоже чужд обычной человеческой логике. Годами она приводила нам шимпанзе в пример и как образец для подражания:

— Так похожа на человека, а питается исключительно зеленью, листьями и фруктами, совершенная вегетарианка, а сил у нее при этом, как у пяти мужчин, жрущих мясо.

Так она не уставала повторять, пока однажды в газете не появился рассказ о том, что группу шимпанзе сфотографировали в Африке, когда они охотились на других обезьян, терзали их и даже разрыва-

ли на куски, а потом с большим аппетитом сожрали пойманного в зарослях несчастного олененка. На этом Хана Йофе прервала все свои отношения с лживыми, лицемерными шимпанзе, но не раньше, чем провозгласила, в полном соответствии с принципом логически порочного круга, к которому апеллируют все верующие и все глупцы во всех религиях, что именно пожирание мяса как раз и развратило бедных шимпанзе, подорвало их шимпанзиные нравственные устои и превратило в лицемеров и обманщиков.

С чего это всё у нее началось? Как и у многих других детей — с зарезанной курицы. Амума, вообще-то женщина мягкая, собирая яйца у своих кур, вела точные записи, и всякая несушка, не достигавшая требуемой производительности, получала у нее прозвище «курица, которая не старается» — ее резали, ощипывали и варили.

— Кто не хочет, пусть не смотрит! — объявляла Амума, и моя мать, навидавшись, как «курицы, которые не стараются», кружатся и разбрызгивают кровь по всему двору, падают и дергаются, пока последние частицы жизни не покидают их тело, решила больше никогда не есть мяса.

Другие дети по прошествии одной-двух недель возвращаются к мясному горшку, но с Ханой Йофе произошло тогда то, что по сей день именуется у нас — с торжественностью, требующей пары кавычек, — «чудом мигрени», а в варианте Рахели, ее млад-

## ВСТУПЛЕНИЕ

шей сестры, — чудом кувшинчика с «квакером»\*, — по той причине, что по прошествии восьми дней питания зеленью, бобовыми и фруктами Хана Йофе «вырвалась из когтей мигрени, которая мучила ее с самого детства». Эти последние слова я тоже поставил в кавычки, потому что, как и «галут»\*, «яды» и «укорененная семья», это тоже мамины слова, и она произносит их с такой торжественностью, что кавычки завиваются вокруг них даже в ее речи.

— Глупости! — сказала мне Рахель в одну из моих первых ночей в ее постели. — У твоей матери не было никакой мигрени. Ее боли были куда хуже: с одной стороны, у нее болела Пнина, которая всегда была удачнее и красивее, чем она, а с другой стороны, у нее болела Батия, которую отец любил больше всех других своих дочерей.

Иногда у Рахели рождаются фразы, который напоминают мне стихи из Библии — праотца Яакова, например: *«Пойду и увижу его, пока не умру»*, или рассказ о *Рице, дочери Айи*, которая сидела все лето возле повешенных своих сыновей *«и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью»*.

\* Чудо кувшинчика с «квакером» — насмешливое обыгрывание так называемого «чуда кувшинчика с маслом». Согласно легенде, когда победоносные отряды Иегуды Маккавея освободили Храм от власти царя Антиоха Эпифана (164 год до н.э.), там нашелся лишь маленький кувшинчик с маслом для богослужения, однако этого кувшинчика чудесным образом хватило на целых восемь дней.

\*\* Галут — изгнание, диаспора (*иврит*).

А иногда наоборот: я нахожу в Библии стихи, напоминающие мне истории Рахели, — рассказ о сынах Божьих, например, сошедших к дочерям человеческим, или о маленькой девочке из земли Израильской, — так что я уже не знаю, кто сказал о ком — Библия о той несчастной девочке или Рахель о своей сестре Батии, что пошла за своим «Гитлерюгендом» (так, с полным пренебрежением к правилам немецкого языка, называют Йофы ее немецкого мужа) и сегодня живет в Австралии, которую моя мать называет «чужбиной» и «галутом».

— А как же с тобой, — спросил я Рахель, — ведь и ты была ее сестрой?

— Я четвертая дочь. Я никого не интересовала! — И ее старческая улыбка опять скользит по моему затылку. — Но твоя мать, Михаэль, решила стать вегетарианкой просто для того, чтобы завоевать немного внимания и придать себе побольше важности.

Ее пуховое одеяло, ее слова, ее объятие, фланелевая пижама ее убитого мужа окутывали меня в темноте.

— У тебя приятное тело, Михаэль, почти такое же, как было у моего Парня. — Сейчас она замолчит на мгновение, как замолкает каждый раз, когда вспоминает его, потом придет в себя и продолжит: — Я люблю, когда приходит твоя очередь спать со мной.

Я уже говорил, что все Йофы накрываются «пуховиками» — одеялами из гусиного пуха. Особо дис-

## ВСТУПЛЕНИЕ

циплинированные из нас, самые педантичные и образцово-показательные, продолжают спать под этими пуховиками до середины лета, потом на неделю заменяют их тонкими пикейными одеялами, тут же начинают неудержимо дрожать от стужи, клацать зубами и страдать бессонницей и уже двадцать первого июня, как только дни начинают укорачиваться, с облегчением говорят: «Зима приближается!» — и возвращаются под свои пуховики. Даже Жених, которого раздражают «всякие люксы», вроде хождения к маникюрше, жеванья «чинги» (так он называет жвачку), покупки лотерейных билетов и прочих «испорченных обычаев», которым удается проникнуть в закрытый «Двор Йофе», — и тот укрывается пуховым одеялом, и даже у моей матери, по мнению которой любая избалованность вредит здоровью, зато утренний душ — это хлеб насущный, есть такой пуховик, который наверняка стоил жизни доброму десятку несчастных гусей, — но моя мать, как я уже сказал, принадлежит к разряду вегетарианцев во имя собственного здоровья, а не вегетарианцев во имя сострадания к животным.

Итак, мы с тетей Рахелью погребены в общей могиле под ее широким пуховиком, а вокруг нас развешаны чертежи, таблицы и отчеты, касающиеся инвестиций, фондов и акций. И я уже так привык к ним, что моя открытая фонтанелла видит их даже в полной темноте — все эти биржевые диа-



граммы, взлетающие и падающие кривые, колонки названий и цифр. На оси «игрек» ее графиков откладывается, как это обычно принято на бирже, стоимость «бумаг», но ее «иксы» вовсе не означают даты — иногда это среднемесячные значения температуры на прибрежной равнине, иногда — количество дорожных аварий на дорогах Страны или число заболеваний нильской лихорадкой, а то и частота повторений фразы «мы ни в коем случае не можем допустить» в речах очередного министра обороны. И если кто-нибудь спрашивает ее, почему так, она объясняет, что мир построен на корреляциях, и именно их — а не причины — следует прежде всего выявлять. Потому что, вопреки расхожему мнению, действительно важны именно корреляции, а не причинные связи.

— Но при чем тут министр обороны? — сердится Жених, которого пребывание под землей сделало весьма нетерпеливым, и Рахель с раздражающим спокойствием говорит:

— Очень даже при чем.

— Как это? Почему при чем?

— Потому что какая у него морда, так он и выглядит.

И Жених злится, потому что эту йофианскую логику невозможно прошибить.

Короче, ночами Рахель спит со своим очередным гостем — если угодно, с очередной жертвой, — а

## ВСТУПЛЕНИЕ

днями лежит и смотрит на чертежи на своей «Стене акций»\*.

— Смотрю, смотрю, — так она говорит, — пока у меня не появляется озарение!

И когда у нее появляется «озарение!», она тут же начинает звонить в неопознанные банковские объекты и втолковывать им свои приказы и инструкции. А если кто-нибудь входит к ней как раз посередине такого «озарения!», она нетерпеливо машет на него рукой:

— Тише, я зарабатываю для Семьи.

Заработанные деньги Рахель передает Жениху, потому что «всё началось с гонораров за его изобретения», а Жених, в соответствии со старым договором с Апупой, делит их на всех членов Семьи. Правда, улыбается она, все его примусы и плуги не внесли даже пятой части того, что принес ее бизнес, но она ценит Жениха и жалеет, а иногда даже называет «официальным кормильцем семейства Йофе» — обида в нашем понимании, но комплимент — в его. «Так или так», но он с большой торжественностью дает ей пустые чеки, испачканные сажей и машинным маслом и подписанные древним, сине-фиолетовым химическим карандашом — «Арон Ландау»,

\* Стена акций — иронический намек на Стену Плача, или Западную стену, — часть стены вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, уцелевшая после разрушения Второго храма римлянами в 70 году, место молитв, символ веры и надежд многих поколений евреев.

«Арон Ландау», «Арон Ландау», а она вписывает в них имена получателей, назначает суммы и возвращает ему — раздать.

Вернусь к своей матери и к началу ее вегетарианства. В нашей деревне жил тогда человек по имени Натан Фрайштат, который был пацифистом, вегетарианцем и коммунистом одновременно — «вегетарианцем из соображений пацифизма и коммунистом из соображений здоровья», по его собственному определению. Кроме того он был еще столяром и радовал деревенских детишек симпатичными деревянными игрушками. В качестве коммуниста он рассказывал им воспитательно-развлекательные истории о детстве Сталина, а в качестве вегетарианца вел в деревенском листке постоянную рубрику под названием «Перекормленный бык и растительная пища». Я помню кое-что из того, что он там писал, потому что вырезки из этого листка подшивались и хранились в нашем доме. «Пять маленьких перекусов в день предпочтительнее, чем три больших еды, — утверждал Фрайштат, — а еще лучше три маленьких перекуса».

Каждый вечер этот Фрайштат рассказывал своей жене длинные истории и всегда начинал их словами: «Ты помнишь, Юдит...» — а со временем стал произносить такие же длинные речи перед каждым, кто, на свое несчастье, попадался ему на пути, и всегда начинал их со слов: «Послушай-ка сюда...» На деревенских собраниях он призывал выпустить кур из кле-

## ВСТУПЛЕНИЕ

ток, чтобы они несли яйца во дворе, «на свободе», и требовал от каждого владельца дойной коровы подписи под обязательством «ни при каких условиях» не отдавать ее на убой.

Сам он не держал никакой живности, кроме гигантского кипрского осла по прозвищу Дылда.

— Это был особенный осел, — рассказывала мне Рахель. — И просто как осел, и в силу того чувства солидарности, которое он испытывал по отношению к своему хозяину, — это был осел-вегетарианец, но если вдуматься, Михаэль, то видно, что это и так одно и то же.

Фрайштат очень гордился этим своим ослом и подчеркивал, что никогда его не запирал и не бил, а привязывал только в те дни, когда Дылда был возбужден, и то — по его собственной просьбе.

Летом этот Фрайштат ходил в резиновых сандалиях, вырезанных из старых шин, а зимой — в деревянных сабо без задников, и всё для того, чтобы не пользоваться шкурами «несчастливых животных». А по ночам он спал в своем саду, покачиваясь в гамаке — «в объятьях моих друзей-деревьев», — и хотя спал голым, никогда не простужался, а комары, которые нападали на всех людей и животных и сводили их с ума, его облетали стороной и не дырявили его кожу ни единым укусом.

Он был так здоров, что не умер от какой-нибудь болезни, а погиб в автокатастрофе, и не в глубокой старости, а в сорок два года, «ибо так судьба любит посту-

пать с теми, кто слишком умничает». Но подобно всем верующим, ждущим вознаграждения еще при жизни, Фрайштат тоже не принял в расчет возможность преждевременной смерти и не потрудился оставить завещание, если не считать заносчивого указания, что он завещает свое тело науке. Его указание было выполнено, и спустя несколько дней из медицинского колледжа пришло восторженное письмо, в котором говорилось, что наука никогда еще не видела таких чистых кровеносных сосудов, такой сверкающей печени и таких розовых легких. Деревенский комитет распорядился вывесить это письмо на доске объявлений, где оно превратилось в скромный объект паломничества, вызывая возбуждение и гордость, отзвуки которых проникли даже сквозь стены «Двора Йофе». Апуца, который обычно держался подальше от деревни, прослышал об этом, спустился к доске объявлений, прочел письмо и по возвращении подытожил всё это событие медицинским диагнозом, который тоже вошел в каталог наших семейных выражений: «Этот Фрайштат после смерти был здоров совсем как при жизни». До сих пор, кстати, в Семье идут споры, следует ли считать этот диагноз внезапным проблеском Апупиного остроумия или еще одним доказательством «куриности» его мозгов.

Безмерна была радость Фрайштата, когда однажды к нему спустилась «дочь самого Йофе собственной персоной» и попросила проинструктировать ее в первых шагах по пути вегетарианства. Она получила от

## ВСТУПЛЕНИЕ

него книги и брошюры, начала проращивать семена бобовых и пшеницы на ватных подстилках, которые постепенно ширились все больше и больше, и тогда же энергично взялась за два занятия, которые немедленно вызвали и по сию пору вызывают раздражение всей Семьи, — читать проповеди и нравоучения окружающим и бесконечно считать их жевки: десять жевков справа — потом одиннадцать слева — «потом закрываем глаза и рот ровно на шесть секунд, сосредотачиваем все свое внимание на нашем друге и благодетеле слюне, пока она разлагает для нас крахмалы пищи, — и тогда глотаем».

Амума умоляла дочь успокоиться, Пнина, Батия и Рахель заявили, что ее подсчеты жевков вызывают у них «квас», что на языке Йофов означает то, что обыкновенные люди называют «отвращением» или «тошнотой», — но Апупа, именно он, встал на ее защиту. Он поднялся во весь свой рост и провозгласил, что «в эти дни, когда Двор Йофе уже окружен домами Шустеров и других паразитов и бездельников, надо особенно ценить людей, имеющих твердые принципы»,

И, как все верующие, моя мать тоже имеет своего бога. Ее бога зовут доктор Роберт Джексон, он врач-натуропат, живет в Америке и написал книгу под названием «Всегда здоров». Историю доктора Джексона я слышал много раз, потому что родители каждый вечер перед сном рассказывали мне какие-нибудь истории. Отец читал мне всевозможные книги, из которых я помню в основном «В стране толстых и

в стране худых»\*, рассказы о животных Киплинга и сказки братьев Гримм. Эти сказки он рассказывал на свой особенный лад: «Ни в каком царстве, ни в каком государстве не жили ни Король, ни Королева, и не родилась у них совсем не красивая дочь...»

Рахель рассказывала мне истории из Библии и из греческой мифологии. А Аня, спасшая меня из огня, читала мне стихи, но всегда из одной и той же книги под названием «Откройте ворота» идишской поэтессы Кади Молодовской. И при этом всегда читала, вернее, декламировала наизусть одни и те же стихи: о бедном пастухе, у которого не было ни козы, ни палки, «только зеленые подушки-лужайки», о девочке по имени Дина с ее китайскими глазами и о плаще *Парваимского золот*а — это слово очень забавляло меня, — а чаще всего о девочке Айелет, у которой на глазах были слезы, а на губах улыбка. Я помню, как весело она распевала:

Этот плащик не стареет,  
Год от года красивеет, —

как смеялась, когда читала:

— Ты, Перец, козел! —  
Он ему закричал.  
— Идешь голозадый,  
А плащ потерял! —

\* «В стране толстых и в стране худых» (по-французски «*Pataoufs et Filifers*») — детская книга французского писателя Андре Моруа (1885—1967).

## ВСТУПЛЕНИЕ

и как толкала меня пальцем под ребра или гладила им мою открытую фонтанеллу:

А все остальное,  
Дыру за дырой,  
Получите строем,  
За первым второй.

Иногда она читала мне какую-нибудь строчку прямо на идише, чтобы меня рассмешить, потому что я всегда думал, что на идише говорят только старики. Но когда она возвращалась к девочке Айелет:

Шесть лет уже девочке нашей,  
Попробуй теперь ее тронь —  
Голубеньким зонтиком машет  
И кудри горят, как огонь, —

мы оба печалились:

И хочется Айелет  
Умчаться птицей прочь,  
Покуда день алеет  
И не настала ночь.

А мама не печалилась и не смеялась, не гладила и не толкала — только читала и читала мне книгу доктора Джексона «Всегда здоров». Кадю Молодовскую она не знала, «Сказки просто так» Киплинга, по ее мне-



нию, не заслуживали внимания, а читать мне детские сказки она отказывалась «принципиально!» — то есть в силу своих принципов: домик ведьмы в «Гензель и Гретель» весь состоял из «ядов», а Красная Шапочка, судя по вину, маслу и пирожкам, которые она несла в корзинке, была для бабушки куда опаснее волка. Но книга ее доктора Джексона странным и поразительным образом тоже излучала причудливое и пугающее очарование сказки, и я даже сегодня с непонятным для самого себя удовольствием вспоминаю многие из ее фраз и поучений:

«Действительно ли Создатель хотел взвалить на культурное человечество, этот венец Своего творения, так много бед и болезней?!»

«Когда мы завариваем чай кипящей водой, из него выделяется ядовитый алкалоид».

«Непереваренный крахмал есть не что иное, как яд».

А особенно я помню фразу, которая так полюбилась отцу, что он повторял ее с искренним одобрением на каждой йофианской трапезе: «Соус от жаркого стоит на одном уровне с обыкновенной мочой».

«Яды» — самое частое слово в лексиконе вегетарианства, и моя мать, принадлежа к строжайшим его блюстителям, внесла сюда свой лингвистический вклад:

«Белый яд» — это сахар и соль (которыми сам доктор Джексон в свои греховные дни злоупотреблял свыше всякой меры).

## ВСТУПЛЕНИЕ

«Желтый яд» — это масло (доктор Джексон мазал его тогда на хлеб, который при этом лишался жизненной силы всякого произрастающего семени).

«Синий яд» — это табачный дым (к которому доктор Джексон был тогда весьма привязан).

«Черный яд» — это кофе (доктор Джексон каждый день вливал в свою утробу не меньше восьми чашек).

«Красный яд», корень зла и законный супруг масла, — это «мясо несчастных забитых животных».

Не удивительно поэтому, что доктора Джексона в конце концов поразили тяжелейшие болезни и он лишился всех своих сил. В сорок один год он «уже стоял на краю разверстой могилы»: у него выпали восемь зубов, кожа сморщилась, тело увяло, левый глаз ослеп, правое ухо оглохло.

— И как это мальчик засыпает после всех твоих ужасных рассказов? — заметил отец из кухни.

«С большим трудом, — продолжала мама читать воспоминания несчастного доктора, — поднимался я на три ступеньки моего жилища на первом этаже, вынужденный держаться за перила. И вот однажды появилась в моем приемном покое женщина, молодая и красивая, решительная и смелая ...»

— Прочти эту строчку еще раз, — сказал я.

«Женщина, молодая и красивая, решительная и смелая», — снова прочла мама с раздражением, поскольку у этой строки не было никакой связи с вегетарианством.

Молодая и красивая, решительная и смелая женщина принесла с собой больного младенца «весьма жалкого вида». Доктор Джексон осмотрел его и сказал женщине следующее:

— Вы должны позаботиться о том, чтобы питание вашего ребенка соответствовало способности его органов поглощать и переваривать пищу и чтобы удаление отходов происходило у него регулярно и основательно. Сосредоточьте внимание на этих основных правилах теории здоровья, и он вырастет и расцветет, как полевой цветок.

«Когда я кончил говорить, женщина снисходительно посмотрела на меня и спросила, насмешливо разглядывая мою жалкую худобу: «Господин доктор, а в каком возрасте эти принципы уже перестают действовать?»»

— Всю ту ночь доктор Джексон вспоминал слова этой молодой женщины, — торжественно сказала мама, переходя к описанию «нового порядка жизни», к которому он приговорил себя уже назавтра: ледяной душ на рассвете, растирание грубым полотенцем, изнурительная зарядка против окна, открытого настежь даже в самые холодные зимние дни, «энергичные упражнения», предназначенные для «сжигания остатков пищи, еще не покинувших тело».

Наряду с описанием раскаяния и обретения новой веры, значительная часть книги доктора Джексона была, как это принято во всех жизнеописаниях праведников, посвящена воздаянию, полученному еще

## ВСТУПЛЕНИЕ

на этом свете. К шестидесяти годам доктор Джексон стал таким здоровым и крепким, что довел до изнеможения группу профессиональных велогонщиков, отправившихся с ним в дальний пробег. А в восемьдесят лет — так продолжала свой рассказ мама, и два ее пальца, как две ноги, быстро скачут по моему пуховику, поднимаясь по невидимым ступенькам, — он взобрался на пятидесятый этаж мемориала Вашингтона и обогнал при этом «компанию молодых парней, которые свалились, задыхаясь и без всяких шансов на успех, уже на восемнадцатом этаже».

— Это были не просто молодые парни, — заметил отец. — Это была сборная Соединенных Штатов по легкой атлетике.

— Не надо преувеличивать, Мордехай, — сказала мама. — Молодые парни, этого достаточно.

— Кстати, — заметил отец, — во многих высотных зданиях Америки есть лифты.

— У природы нет лифтов! — возмутилась мама, захлопывая «Всегда здоров».

— У природы нет также зданий в пятьдесят этажей.

— При чем тут лифт?! — воскликнула мама. — Он специально поднимался по лестнице! Пешком! Показать им!

— Это не здорово так нервничать, Хана, — сказал отец.

Она, закипая:

— Пятьдесят этажей в восьмидесятилетнем возрасте!

Он, не уступая:

— Это выходит чуть больше полуэтажа за год. Не Бог весть что.

Сейчас и я начинаю смеяться, а мама закипает все-меро яростней. Вот так это: мы пытались привыкнуть к ней и простить ее, но она привыкнуть к нам никогда не привыкла и простить нас уже не простит.

— Будь я кольраби, — сказал я ей однажды, — ты бы, наверно, обняла меня с большей радостью.

И тогда она сказала, повернув ко мне сурово-праведное лицо благочестивых вегетарианцев:

— Жизнь, Михаэль, это дело принципов и правил, а не объятий и радостей.

Отец не среагировал, но моя фонтанелла задрожала от его злости.

— Бог с ней, с люцерной, которую она жует из принципа, Бог со мной, с которым она спит по правилам, но так отстраниться от своего ребенка?! — слышал я потом, когда он разговаривал с соседкой.

Итак, вот вам типичное послеобеденное время в нашей семье: «она» (моя мать) возится в огороде, «ребенок» (я) вернулся из дома Ани, «он» (отец), идет в свой тайник с мясом, то есть к соседке («Убивице», по определению матери), а в воздухе плывут запахи соуса, апельсиновых корок, чеснока и любви — удивительно ли, что я вырос единственным нормальным человеком в семействе Йофе?

## ВСТУПЛЕНИЕ

\* \* \*

После пожара мама согласилась повести меня в медпункт, но не позволила, чтобы мои ожоги мазали мазями. Она лечила их своими лекарствами, «компрессами» на вегетарианском языке: марлевыми салфетками, пропитанными эфирными маслами и вонючими травяными настоями, — и накладывала на них тонкие до прозрачности ломтики цветочных бутонов и корней, а иногда свежий толченый чеснок, полоски картофеля и огуречные шкурки.

— Только сейчас ты надумала добавить к нему овощей?! — заметил отец. — Овощи добавляют до того, как кладут шашлык на огонь.

Но, несмотря на насмешки отца и гневные пророчества сестры в медпункте, растительные настойки подействовали прекрасно, и через несколько дней, уже выздоровев и снова начав ходить в детский сад, я увидел спасшую меня молодую женщину, которая шла мне навстречу, возвращаясь из магазина с веревочной сумкой в руке.

Целый букет странных и незнакомых ощущений разом расцвел в моем теле. Рот высох. Колени ослабели. Сердце, которое еще не знало, какие штуки выделяет любовь с такими полнокровными органами, как оно, смутилось настолько, что перестало биться. Я впервые увидел ее после пожара и впервые почувствовал то, чего устаивался с тех пор еще только три раза, — будто какой-то сосуд рвется между грудью

и животом и заливает слабеющую, растворяющуюся диафрагму. Если это не была любовь, уже тогда, то что это было?

Вот она: новая рабочая блузка сереет на ее теле. Новая юбка с новыми анемонами обвивает ее ноги. Волосы, сожженные, как мои, подстрижены точно так же, и былой их пробор исчез. Мои волосы обстригла сестра в медпункте. А ее?

Похоже, она заметила меня первой, потому что, когда я ее увидел, она уже сияла улыбкой мне навстречу, и я приближался к ней по дрожащей светлой дорожке, которую ее взгляд — луна над морем — плеснул к моим ногам. Она остановилась, глядя на меня, и, когда я, всё более замедляя шаги и всё плотнее закрывая глаза, приблизился к ней вплотную и застыл, села рядом со мной на землю. Не наклонилась, как обычно наклоняются к детям взрослые, с наигранной улыбкой и склоненной головой, этакое *говори-раб-мой-ибо-слушает-тебя-Бог-твой*, а села по-настоящему, скрестив ноги.

Ее рука гладила мою голову: два пальца, указательный и средний, каждый со своей стороны, прошли вдоль средней линии черепа и в том месте, где я ожидал, — остановились.

— Я приходила к вам домой, навестить тебя, но твоя мама не дала мне войти, — сказала она. И тем хорошо знакомым мне, ханжески-агрессивным тоном женщин, которых зовут Хана и у которых есть нерушимые принципы (отец тоже иногда подражал этому

## ВСТУПЛЕНИЕ

тону, но у него получалось хуже, чем у этой молодой женщины), продолжила: — «Большое спасибо, что вы спасли моего мальчика, но сейчас он лежит с компрессами».

Подражание было точным, и я смутился. По какому праву эта женщина насмехается над моей матерью и почему я присоединяюсь к ее улыбке?

— И еще я принесла тебе шоколад, — добавила он, — но твоя мать сказала: «Это яд, заберите его обратно».

У нас обоих еще оставались красные пятна легких ожогов и белые бинты перевязок на ожогах более тяжелых. Но у меня на животе был еще один «нешрам» — звание, которое она сама ему присвоила через несколько дней, когда обнаружила меня под миртовым забором у ее дома — я подсматривал, как они с мужем убирают снятый ими дом и чистят свой двор.

Дом этот, кстати говоря, принадлежал столяру Фрайштату, тому самому, который помог матери в ее первых шагах на поприще вегетарианства, а потом погиб в автомобильной катастрофе. Поскольку его жена, та самая Юдит из «Ты помнишь, Юдит...», сбежала от него еще при его жизни и детей у них не было, а родственники не явились и после его смерти, этот дом перешел в собственность деревенского комитета и теперь был сдан Ане и ее мужу.

Она двигалась по двору, как буря, собирая и волоча, таща и швыряя. А он — старый мужчина (по всем



моим расчетам, моложе нынешнего меня) — срезал сухие ветки с полумертвых плодовых деревьев, копал и удобрял ямы для посадки новых деревьев, рыхлил потрескавшиеся от сухостоя грядки и заменял сломанные черепицы. Над его умным лицом сверкала загорелая лысина. Я сразу увидел, что он относится к той породе мужчин, о которых Жених одобрительно говорил, что они «не пачкаются во время работы». У него были толковые руки, а своими движениями он напоминал тех старых мастеровых, у которых увядание мышц замаскировано опытом, а медлительность — умелостью.

Я наблюдал за ними до тех пор, пока мужчина не сказал:

— Я спущусь в центр, Аня, купить брызгалку для сада.

Когда он скрылся на спуске дороги, а я уже собрался переползти на более удобный наблюдательный пункт, молодая женщина вышла за ворота и решительно направилась прямо к месту моего укрытия.

— Идем, — взяла она меня за руку, которая будто сама собой поднялась ей навстречу. — Идем, я хочу посмотреть на тебя.

Внутри ее дома. Среди раскрытых ящиков и коробок, кухонной посуды, выглаженной мужской одежды, висящей в ряд на вешалках, и цветастых платьев и юбок, брошенных прямо на пол, — я стою на столе, пятилетний, выпрямившийся во весь рост. Ее рука расстегнула пуговицы на моей рубашке. Два ука-

## ВСТУПЛЕНИЕ

зательных пальца и один большой коснулись меня. Распахнутая ткань чуть колышется на груди.

— Теперь повернись.

Ее руки и глаза прошлись по моему телу. Два пальца просунулись между кожей и резиновой полоской коротких штанишек, которую продела мама: протолкнула английскую булавку по длинной темной норе внутри ткани, вытащила, связала, сказала: «А сейчас оденься, Михаэль», — сунула палец и проверила, не слишком ли тесна резинка, потому что «это может помешать системе пищеварения в ее работе».

Два Аниных пальца ничего не проверяли, только просунулись и немного приспустили штанишки — и как будто широкая косая полоса открылась там, не тронутая огнем. Вся кожа вокруг была красноватой, кое-где уже облезла, а эта полоса оставалась белой и чистой.

— Вот он, твой не-шрам, — сказала она. — Здесь была моя рука.

Даже сегодня, если я поднимаю рубаху и слегка приспускаю пояс — когда никто не видит, я делаю это нередко, — я вижу его. И сразу же: тут была ее рука. Тут — ее ладонь. Пятьдесят лет прошло с тех пор, и тот, кто не знает об этом светлом пятне, уже не может его различить. Но я, который знает, — вижу и чувствую. Я уже не различаю, что я чувствую острее: границу моей боли («Дойдет только досюда и не двинется дальше», — сказала ее рука) или нежность ее губ, целую-

щих меня в том самом месте, тогда и там, стоящего против нее на столе, целующих и спускающихся туда, где распухает, когда у тебя поднимается температура и отец говорит «давай пощупаем у тебя желёзки».

— Как тебя зовут? — спросила она.

Я испугался. Амума, рассказывая мне и Габриэлю историю о том, как человек в раю дал имена всем животным, сказала, что так он получил господство над ними. «С помощью Имени», — засмеялась она, и я хорошо это запомнил — и потому, что это выражение удивило меня, и потому, что Амума тогда уже нечасто смеялась.

— Как тебя зовут? — повторила Аня свой вопрос.

Я молчал. Я знал, что она хочет сделать меня своим.

— Я знаю, как я буду тебя звать, — улыбнулась она. — Я буду тебя звать «Фонтанелла». Это имя только я и ты будем знать.

— Михаэль, — сказал я поспешно.

— Михаэль — красивое имя, и так будет называть тебя твоя мама. А я буду называть тебя «Фонтанелла».

Я ощутил улыбку в этом «е», прозвучавшем, как «э».

— Фонтанелла, — тихо произнес я про себя, прикоснувшись пальцем к своей макушке.

Странное это было слово, нелегкое для пятилетнего языка, требующее от него некоторой акробатики: коснуться зубов, прижаться, освободиться, погладить, произвести звонкий звук, оттолкнувшись от нёба. Но с тех пор, как я услышал его впервые — тогда, в вади,

## ВСТУПЛЕНИЕ

обожженный, мокрый и обнятый ею, — я уже много раз повторял его про себя: в тайнике своего сердца, как привык в присутствии людей, или одними губами, как привык в одиночестве. Во дворе и в поле, днем на улице и ночью в постели. И научился произносить его правильно — как она, с легкой улыбкой. Но уже тогда, несмотря на свой малый возраст, я почувствовал, что кроме общего свойства имен — упорядочивать мир и успокаивать его обитателей, — в этом имени присутствует также любовь.

Она расстегнула свою рубашку:

— Вот мои ожоги.

Ее руки снова обняли, прижимая меня к обнаженной груди — ожоги к ожогам.

— Я Аня. Запомни и не забывай.

И сняла меня со стола. Я стоял меж ее ног, и все мое тело болело от ожидания. Я знал, что сейчас она снова коснется меня там, притронется к моей фонтанелле, которая ждала и дрожала, открытая ей навстречу.

— Это знак, что Бог тебя любит, — сказала она и прикоснулась.

Уже тогда, в детстве, я знал, что, если хорошенько прислушаться к этой дрожи, можно узнать, что произойдет в будущем. Но до того дня я предсказывал только приближение хамсина, заморозки, приход дождя с гор. Я был полезен в основном лишь в вопросах жатвы и стирки да еще время от времени поражал окружающих тем, что находил пропавшие вещи. Однажды, когда Жених потерял своего «маленького

шведа» и чуть не сошел с ума от отчаяния, отец послал меня на поиски. Сначала я поворачивался во все стороны, прислушиваясь к своей фонтанелле. Потом пошел по правильному направлению, ощущая на макушке «холодно-горячо», и в углу коровника, в том месте, где маленький шведский ключ выпал из кармана своего хозяина, сказал: «Здесь» и «Вот он», и отец обрадовался: «Я же вам говорил, что он может! Он находит всё на свете!»

<Не всё. Только то, что я хочу. Я не нашел Амуму, когда она спряталась в бараке, и не нашел Аню за все годы, прошедшие после их изгнания.>

Но сейчас я видел картинки любви. И Аня, как будто прочитав мои мысли, вдруг наклонилась и поцеловала меня в макушку, в самое «устье колодца», как это не раз делал отец.

*<И усилились воды, и поднялись чрезвычайно, и покрыли вершины гор любви. >*

— Я Аня, — повторила она, снова выпрямилась и поднялась, застегивая пуговицы на своей рубашке. — Запомни и не забывай.

Многие годы прошли с тех пор. Время вложило в меня немного опыта, чуток понимания, несколько тонких слоев знания. И эта тройца, с насмешливостью трех старых психологов, допытывается сейчас у меня:

— Михаэль, сколько же лет тебе было тогда? Пять? Шесть? Что ты знал тогда о любви?

А что я знаю о ней сейчас? А что знаете вы, высокоуважаемые специалисты по человеческой ду-

## ВСТУПЛЕНИЕ

ше, — Знание, Опыт и Понимание? Ничего вы не знаете, кроме фактов: что я обложил осадой ее дом; что я измерял шагами его периметр; что я прижимал уши к его стенам, лежа под ними; что я сверлил их взглядами, пока они не растворились и дверь стала прозрачной. И всё это, господа почтенные, я проделал, совершенно-ничего-не-зная-о-любви.

\* \* \*

Отец сказал о докторе Джексоне, что он «не травит живое, а живет травой», и заявил, что ему подозрительны миссионеры любого толка. По его мнению, всякий миссионер стремится лишь к одному — основать себе общество друзей по несчастью.

Сам он ел в меру, курил в меру, пил чай и кофе в меру и работал тоже в меру. Он был умеренным во всем этом не потому, что так решил или кому-то мстил, и не потому, что имел на этот счет какую-то систему мнений и убеждений, а лишь в силу уверенности, что не следует слишком пристращаться, предаваться или воздерживаться и не нужно придерживаться никакой теории.

*Держись за одно и не отнимай руки от другого,* — читал он мне — он, бывший разведчик Пальмаха, — и комментировал: «Не искать дорогу, а сосредоточиться на ходьбе».

А мама, которую, как и всех других вегетарианцев, постельные прегрешения беспокоили меньше застольных, лишь слегка докучала ему разговорами о всех его возлюбленных, зато непрерывно и нудно капала ему на мозги своими разговорами о пережевывании — кап — переваривании — кап — выделении — кап, — которыми капала и на мои детские извилины. И поскольку мы оба отказывались ее слушать и затыкали уши не только в переносном, но и в буквальном смысле этого слова, она видела в нас не только грешников, но и глупцов и порой, в минуту жалости, называла нас слепыми, которым нужен поводырь.

В шесть лет, когда я уже начал понимать, что у меня есть способность иногда предвидеть будущее, я всякий раз, когда мне сигнализировала об этом моя фонтанелла, предостерегал отца, что мать собирается выйти на розыски. Но в одну из весенних суббот, которая в нашей семейной хронике именуется «черной», я ошибся. В тот день я проснулся поздно, и мама, которая даже по субботам вставала на рассвете, чтобы не пропустить самоистязание «холодного душа поутру», уже всю занималась чисткой. Запах спрятанных отцовских сосисок достиг ее носа. Она открывала шкафы, вытаскивала ящики и выбрасывала наружу всё, что в них было, при этом ни на минуту не прекращая лекцию о «травоедах и жвачных» с цитатами из врачей-натуропатов.

## ВСТУПЛЕНИЕ

— Открой рот! — закричала она, увидев меня. — Я требую от тебя немедленно открыть рот!

Я не спорил. Не напрасно у нас о каждом настойчивом требовании говорят: «Ханеле требует». Я задрал голову и разинул рот. Я был уверен, что сейчас она начнет искать у меня в зубах и найдет преступную крошку шницеля. Но нет — на этот раз она всего лишь хотела продемонстрировать отцу «строение клыков человека», самой природой не приспособленных для пожирания мяса. После этого она оттолкнула меня и перешла к «этому вашему порочному обычаю беседовать, — так она сказала: беседовать, — во время еды», Ее лицо побагровело, ее развитые волчьи клыки обнажились. Отец сказал ей, что она выглядит немного не так, как должны выглядеть травояды и жвачные, и предупредил ее, что «раздражение, Хана, — это самый опасный яд, он вредит здоровью даже больше, чем пожирание мяса».

Только этого ей не хватало. Тотчас вспыхнула грандиозная ссора, в воздухе стали мелькать прозвища, упреки и сосиски. Швырялись обиды, тарелки и воспоминания. Благодетельные комочки слюны разбрызгивались в разные стороны вместо того, чтобы помогать нам разлагать крахмалы. Выделялись резкие желудочные соки. И в заключение мама закрылась в спальне с теплой, успокаивающей чашкой настоя ромашки — а может быть, крапивы с медом, — наполненной, как принято у нас, до самых краев.



На это раз отец тоже вышел из себя. Дно его терпения обнажилось. Не помог даже его добрый юмор. Он больше уже не мог мириться с броней ее законов, уздой ее правил, с возмущенно-праведными взглядами, что посылались в его сторону каждый вечер поверх ее миски с зернами хумуса («прекрасный альтернативный источник белков»).

Он выпрямился, как человек, принявший решение, вытащил из тайника свою колбасу, которую ей так и не удалось найти, вышел из «Двора Йофе» — не через главные ворота, а через лаз, который я прокопал, чтобы выходить по нему к дому Ани, — и пошел спрятать ее у соседки-Убивицы. Никто не мог тогда предположить, что события развернутся так, что из простой хранительницы колбасы она станет вскоре его любовницей — второй по счету и первой по важности.

Уже в тот вечер он снова пошел к ней — поблагодарить, а через полчаса вернулся с куском салами в руке и позвал меня присоединиться. Мы сидели на старой тракторной шине, валявшейся на задах «Двора Йофе». Отец демонстративно закурил «Люкс» (до тех пор он позволял себе грешить и склонять к греху только под покровом ночи) и приготовил мне и себе преступную еду: разломал халу (два колена сжимают, единственная рука отрывает) и налил пиво «Нешер», а я нарезал помидор и колбасу.

Мы сидели рядом, наслаждались маленьким и демонстративно-ядовитым пиршеством, солили от души и не считали жевков.

## ВСТУПЛЕНИЕ

— Еда, в сущности, такое приятное и простое занятие, — рассуждал отец, — что просто нездорово поднимать вокруг нее такой большой шум. — И шепнул про себя, словно утверждаясь в какой-то новой вере или надежде: — И то же самое любовь.

А потом мне:

— Я нашел твою дыру в заборе. Это через нее ты ходишь к этой девушке? Которая спасла тебя?

— Да.

— Тебе у нее приятно?

Я смущенно улыбнулся.

— Это хорошо, когда у мальчика есть взрослый друг или подруга. — Он протянул мне свой стакан пива. — Хочешь попробовать, Михаэль? Это немного горько.

Я и сегодня не люблю пиво, а тогда, в шесть лет, я просто отшатнулся.

Отец улыбнулся:

— Так откуда же ты знаешь, что она выходит на поиски?

— Это жужжит у меня в голове, — сказал я.

— Где?

— Здесь.

Его палец присоединился к моему, коснулся моей фонтанеллы. Я не отпрянул. И не испугался. Только опустил и приблизил к нему свою голову — с доверием и любовью. Отец был первым, кто заметил, что моя фонтанелла не желает закрываться, и его, в отличие от матери, это очень позабавило. Он не раз

поглаживал меня там, и я чувствовал, что и ему, а не только мне это доставляет странное удовольствие. Он мог неожиданно, без предупреждения, подойти и сказать:

— Давай посмотрим, Михаэль, может быть, эта твоя дырка в голове уже закрылась?

Он и Аня гладили меня там совершенно одинаковым образом: легкой раскрытой ладонью, мизинец и безымянный палец с одной стороны, указательный и большой с другой, средний посередине, скользят вдоль черепного шва, пока не достигают мягкого, обходят вокруг, осторожно надавливают и отпускают.

Он смеялся:

— Я чуть не упал в этот твой колодец.

Прижимал ухо:

— Я слышу твои мысли.

Рассказал мне маленькую историю:

— Через это отверстие Бог вкладывает младенцам ум. Если оно у тебя еще открыто, тебе, видно, ума пока не хватает.

И поцеловал меня там:

— Сейчас я высосу у тебя всё, что там уже есть, Михаэль.

Мама сказала:

— Прекрати эти игры, Мордехай, это опасно.

— Я уверен, что у доктора Джексона всегда найдется какой-нибудь квакер, чтобы закупорить человеку его разум, — ответил он.

## ВСТУПЛЕНИЕ

Но на самом деле в словах мамы было больше отвращения, чем беспокойства. Она никогда не гладила меня там, а когда мыла мне голову, терла вокруг, а потом наливала немного шампуня в мою ладонь, говорила всегда те же три слова: «Там-помой-сам» — и выходила, оставляя меня с резью в глазах и незакрытым черепом.

\* \* \*

Иногда к нам приходят дальние родственники, незнакомые Йофы, — стучатся, кто сердито, кто смущенно, в ворота, просят разрешения войти. Амума, когда была жива, впускала их, терпеливо выслушивала их рассказы, обновляла их словари семейных выражений и даже извещала о смене наших кодов и паролей. Но Апупа, неутомимый охотник за самозванцами, *шесть локтей и пядь* сплошной подозрительности и высокомерия, выходил к ним за ворота и первым делом пренебрежительно спрашивал, относятся ли пришедшие к настоящим Йофам, или они из тех Йофов, которых мы не выносим и которые нагло пишут свое имя через «а», не говоря уже о самых худших из них, которые произносят свое «Йофэ» как «красивый» с ударением на «е», что вызывает у него, Апупы, отвращение. Однако даже после этого первичного отсева незаконных претендентов положение оставшихся легче не становилось. Апупа зада-

вал им всяческие вопросы и требовал от них полной осведомленности и доказательств — подобно тому, как Рахель, нынешний сфинкс «Двора Йофов», делает это сегодня, через установленный на стене домофон: «Значит, ты из Йофов? А с какой стороны? Откуда твои родители? А бабушка и дедушка? Откуда именно из России? А какой суп вы едите? Чем вы укрываетесь? И летом? А “чего не хватает Ханеле”? Ну, и что вы говорите в начале каждой трапезы? И у кого “поехали трусики”?»

Клан Йофе огромен, у него есть несколько центров и много кругов. Есть Йофы из «Двора Йофе», что в Долине, то есть мы, те, которые скрываются за стенами своего двора и если и смотрят на остальной мир, то с удобной позиции — сверху, с высоты холма. Есть Йофы из Иерусалима, компания более утонченная и образованная, чем наша, которая, в свою очередь, делится на две — тех, что из Еврейского университета, которые тоже смотрят на остальных Йофов свысока, и вторую, религиозную часть, обособленную и закрытую, как наша, которая и на своих университетских родичей смотрит сверху вниз. Рахель, которая соревнуется с ними, кто больше съест «острого» — чеснока, хрена, перца, аджики и прочих ужасов, к которым она приучена с младенчества, — утверждает, что это высокомерие у них — от «какого-то важного ребе Йофе», украсившего весь их род с самого начала, а также от того, что они считают себя единоличными обладателями секрета «супа-горячего-как-кипяток»,

## ВСТУПЛЕНИЕ

который всегда требует Апуца, — такого горячего, «чтобы ложка погнулась».

И еще есть Йофы из Герцлии, которые тоже рожают близнецов, пьют из чашек, наполненных до краев, и спят под пуховыми одеялами, — они тоже смотрят на остальных Йофов сверху вниз, потому что состоят в родстве с неким «русским генералом Йофе», еще со времен революции, но та высота, с которой смотрят на людей эти Йофы, говорит Рахель, не высота земли, или образования, или веры, а высота ассигнаций, и большинство из них «сущие кабачки», то есть «годятся и в компот, и в жаркое». С одним из них моя Айелет даже закрутила роман, не зная, что он тоже из Семьи, а через несколько дней, когда удосужилась спросить, привела его в наш «Двор Йофе» — «Смотрите, что я нашла! Настоящего Йофе! У себя в постели!»

Красивый парень, с чувством юмора, и Айелет — уже после того, как и этого выпроводила восвояси, — рассказывала, что он-то «как раз знал большинство наших выражений, и разгадывал все загадки, и имел все наши признаки». Но Рахель всё равно подозревает герцлийских Йофов в том, что они не настоящие, а «бракованные», — потомки тех, что просочились и присоединились к Семье многие годы назад с помощью хитрости и денег, просто у нас уже нет теперь времени и сил, чтобы это расследовать и доказать.

Две половинки братьев Апуцы, родившиеся у его отца от второй жены, тоже появлялись у нас иногда:

низкорослые, мускулистые, худые, но тяжелые, похожие друг на друга, как человек и его отражение. Апуа демонстративно их игнорировал, но Рахель, которая относилась к ним спокойней и снисходительней, чем ее отец, говорила, что по причине их малости и сходства и поскольку каждый из них составляет половину Апуы, мы можем, «как по гуманитарным, так и по арифметическим соображениям», считать их обоих вместе за одного целого брата, законного и терпимого во всех отношениях.

Эти братья породили целые толпы потомков, и я помню, еще с детских времен, как они въезжали в деревню стадом пикапов (каждый на четырех ведущих колесах), высыпались из машин, как зерна из мешка, и рассчитывались по тройкам, готовясь подняться к нашему двору на вершине холма. Впереди шли две половинки братьев, за ними — их плодовые, тяжело дышащие жены, которые составляли источник силы своих мужей, потому что были перманентно беременны и поэтому, в отличие от других Йофов, никогда ничего не забывали (у них, кстати, было специальное словечко для этого своего постоянного состояния — не «забеременела», а «влипла»: «Я снова влипла с первого раза...» — «Это потому, что у тебя там не матка, а липучка какая-то...»), а за ними — рой потомков, сыновей и дочерей, которые тоже уже выросли и начали влипать и рожать еще и еще потомков, все, как один, с тяжелыми челюстями и сросшимися бровями.

## ВСТУПЛЕНИЕ

Их маленькие, мускулистые тела энергично подпрыгивают на коротких, сильных ногах, они раздвигают воздух своими низкими покатыми лбами (обычный йофианский лоб — высокий, что, впрочем, не всегда означает, будто он скрывает то, что должен скрывать обычный высокий лоб), их обезьяньи челюсти тянут голову вперед и вниз, и все они нагружены пакетами с едой, ящиками с питьем и свернутыми пуховыми одеялами, потому что не хотят — смущенно улыбаясь, говорят они — быть обузой для хозяев.

Они сразу же посылали старших детей поработать в наших садах и полях и наказывали им сразу по возвращении облиться водой из шланга в коровнике и натянуть себе палатки во дворе, потому что в доме недостаточно места, а на деревянной веранде дядя Давид по утрам обувает ботинки, а дядя Давид, дети, по утрам не очень-то любит видеть людей, а точнее, он их не любит видеть в течение всего дня, а также вечера и ночи тоже.

На их лицах уже утвердилось то выражение страха и почтения, которое, по их мнению, следует приготовить к встрече с самым главным из Йофов. Но Апупа, невзирая на постоянные просьбы Амумы («это твои братья. Давид, веди себя с ними хорошо»), просто их не замечал, а если был в особенно хорошем настроении, то замечал и хмурился.

Так или так, но каждый раз, когда они приезжают, я снова вспоминаю истории, которые у нас о них рассказывают: как один из них повесил керосиновую



лампу на муху, которую принял за гвоздь, и в результате сжег сеновал и как после каждой ссоры — как минимум, дважды в месяц — они спешат на могилу матери, распить там бутылку шнапса, захмелеть и помириться. И еще есть про них рассказ, касающийся и меня: когда я был ранен во время военной службы, обе половинки братьев и несколько их взрослых потомков кинулись в больницу, чтобы сдать для меня кровь, «ибо настоящему Йофе, — сказали они врачам, — нельзя переливать чужую кровь». И когда в больнице им сказали, что для таких опасений нет никаких медицинских оснований, они ответили: «Мы говорим не о медицине, мы говорим о семейной памяти».

Увы, из-за сильного волнения и семейной преданности они забыли заранее сговориться, кто из них не будет сдавать кровь, чтобы повести машину обратно. Они все протянули руки, все сдали кровь и все разом лишились памяти. «Два с половиной дня они гуляли по всему Северу, не помня, как их зовут и куда они должны вернуться», — смеялась Рахель. Кончилось тем, что над ними сжалился друг-пограничник, обративший внимание на колонну пикапов, которая циркулировала туда и обратно по забытой Богом дороге возле Хорпиша. Он опознал их по номерам машин и вызвал их жен, которые, в отличие от своих мужей, никогда ничего не забывали, потому что были перманентно беременны.

И есть также выцветающие остатки семейства Йофе в далекой прибрежной Натании, ведущие

## ВСТУПЛЕНИЕ

начало от «какого-то важного русского физика», и мой отец, хотя он решительно отрицал это, был как раз родом оттуда. Но эти Йофы всё больше отдаляются от нас и уменьшаются в числе, и, если кто-нибудь из них появляется в нашем Дворе, он пробуждает во мне одно лишь раздражение, потому что ни на йоту не напоминает моего отца. А кроме того, существуют еще кое-где совсем маленькие йофианские семейки да там и сям пара-другая Йофов-одиночек — совсем старый, удрученный жизнью кибуцник из приватизированного донекуда кибуца; кривоногий хозяин продуктовой лавки из Каркура [из Хадеры, из Пардес-Ханы]; водитель грузовика, в коротких штанах и с таким же коротким фюзом\*; профессорша, специалистка по древним языкам, страдающая анорексией, <нужно упомянуть, что некоторые из этих персонажей существуют, по всей видимости, только в семейном воображении> — и они тоже приезжают иногда наведаться, их томит потребность уладить старые разногласия, и сообщить о своих победах, и сбросить то, что накопилось, и заполнить то, что опустело, — ибо «одиноким Йофе — все равно что мертвый человек», — и потому, как говорит Ури, они приезжают «сделать три “апа” — ап-грейд, бэк-ап и ап-ту-дейт».

\* Здесь: быстро воспламеняющийся; fuse — запал, фитиль (англ.).

Некоторых таких Йофов, из тех, что когда-то в свой черед спали у тети Рахели, мы помним еще молодыми. Другие пропадают на месяцы и годы и появляются только по особым случаям. Почти вся Семья явилась на похороны Амумы, много родственников собралось, когда один из герцлийских Йофов погиб при взрыве террориста-самоубийцы, и я полагаю, что, когда умрет Апупа, приедут все, и тогда, по предложению Ури, можно будет произвести инвентаризацию Йофов и, возможно, также взять у них образцы ДНК и прикрепить к их шеям передатчики.

«Так или так», но, несмотря на взгляды свысока, и несогласие, и взаимное высокомерие, иерархия семейства Йофе ясна всем и каждому и находит свое выражение в реальности: все приходят навестить нас, Йофов из Долины, а мы не навещаем никого. И когда ворота «Двора Йофе» открываются настезь и весь клан собирается вместе, обнаруживаются не только втершиеся в наши ряды самозванцы и лицедеи, но также пары подлинных близнецов — например, в Герцлии есть одна Йофа, очень похожая на мою маму, точная ее копия за вычетом вегетарианства, а один из ее маленьких детей, хотя у него еще не выросли усы и он пока никого не убил, очень похож на отца Апупы на старых фотографиях. А у моей Айелет обнаружился еще один близнец, причем в отличие от Ури, ее настоящего близнеца, поразительно на нее похожий — настоящий двойник мужского рода, который родился у религиозных Йофов из Иерусалима и

выглядит, как красивая, но слегка чокнутая девица, которая маскирует свой пол рыжей бородкой и золотистыми пейсами.

— Стоило мне его первый раз увидеть, как у меня тут же поехали трусики, — громко шепнула она мне однажды, когда он вошел во двор со своими родственниками. — Я умираю его уложить, чтобы он меня отщекотал своими пейсами до самого конца.

— Так уложи, — сказала тетя Рахель не менее громким голосом.

— А то я под него не лезла! — сказала Айелет всё на том же своем уличном жаргоне. — Но он, кажется, до того вылитая я, что тоже трахается только с парнями.

Рахель рассмеялась. Мы с ней оба, чующие речь много лучше, чем все прочие обитатели «Двора Йофе» — она благодаря Черниховскому и Библии, а я благодаря ей, — получаем истинное наслаждение от этих языковых перлов Айелет, но Алона определяет их не иначе как «еще одно слово, которое эта потаскушка принесла с улицы».

За границей тоже есть свои Йофы. В основном в России, в стране исхода нашего. Там, как в старом атласе, расстилаются бескрайние степи, и в этих степях живет большое племя русских Йофе, все члены которого — так рассказывал нам Апупа, когда мы были маленькими, — «высокие, как кедры, сильные, как дубы, и бороды у них еще длиннее и белее моей, и пояса широкие, как простыни, а кулаки большие,

как арбузы, и такие сапоги, что вы, мои ангелочки, могли бы в них спать совершенно свободно».

— Больше твоих? — недоверчиво спросил Габриэль, широко распахнув свои огромные глаза недоноска.

— Точно такого же размера, — сказал Апуа и добавил: — И там, в России, у каждого из них есть свернутый пуховик, который они привязывают за седлом кобылы, и они тоже дают разные прозвища и имена, и пьют из чашек, полных доверху, и едят суп-кипяток, и все они, там в России, тоже живут во дворах, обнесенных стенами.

— Откуда ты знаешь, Апуа? — спросил я.

— Потому что мой отец приехал оттуда! — с важностью провозгласил Апуа, — и в один прекрасный день, вот увидите, все эти Йофы вставят ноги в свои сапоги, подпояшутся своими поясами, запакуют свои пуховики и приедут сюда.

И хотя я знал, что Апуа, по обычаю всех Йофов, сочиняет для нас сказки, я любил этот его рассказ большой любовью и даже сегодня вспоминаю его с Габриэлем, а также с Рахелью, потому что знаю, что это от него, от своего отца, она унаследовала мелодичность своих рассказов и склонность рифмовать, которая повлияла и на меня, хотя незаразным и менее болезненным образом. И каждый раз, когда я пересказываю эту историю, в моем сердце рождается улыбка, потому что я себе представляю, что и они, эти Йофы из России, придумывают какие-то

## ВСТУПЛЕНИЕ

свои йофианские выражения, и у них тоже есть кормящие женщины, потерявшие память, и свои вопросы на проверку родства, и картофельное пюре, которое их рассерженные мужчины выбрасывают из окна, потому что оно не приготовлено должным образом.

И не удивительно, что, когда в Страну двинулась большая алия из России, Рахель скупила телефонные справочники всех районов.

— Русские едут, — сказала она мне, проводя счастливым пальцем по лестнице напечатанных имен, — большой дождь пошел! Ольга Йофе, Алена и Борис Йофе, Григорий Йофе. Наводнение! Хочешь этот, хочешь тот. Вадим, Евгений, Ефим, Леонид, Лидия, Люба, Матвей. Смотри, Михаэль, — Михаэль и доктор Лариса Йофе, видишь?

Моя фонтанелла радовалась. Доктор Лариса Йофе, ухо-горло-нос, а ее Михаэль разлагается в постели и пишет воспоминания.

— Наталия Йофе, Елена Йофе, Соня Йофе, — продолжает читать Рахель. — Вы что, все не вышли замуж или это какой-то Йофе дал вам имя, а потом удрал или умер? Станислав Йофе, Семен Йофе, Лев Йофе.

— Может, позвоним этому Льву и пригласим его переночевать с тобой?

Ури установил ей на компьютер программу телефонных номеров, имен и адресов и, будучи специалистом, добавил к этой программе такое усовер-

шенствование, чтобы она автоматически извещала о каждом новом Йофе, присоединившемся к списку. Только неделю назад Рахель показала мне: приехали Тоня и Фрида Йофе («я уверена, что они близнецы»), и Катерина («у нас уже есть Катерины») — Катерина Йофе. Катя. Екатерина Великая. С огромным расстоянием меж глаз, с чувством юмора и с длинными ногами. И Фаня Йофе, и Маня Йофе, и Таня Йофе.

— Какая она, по-твоему, Фаня Йофе? — Лицо моей тети принимает мечтательное выражение. — Ну, задействуй эту свою дырку на голове, Михаэль, пусть уже от нее будет, наконец, какая-нибудь польза...

— Фаня Йофе, — говорю я, — умеет готовить «сеledку, которая может плавать», ее суп «пылает, как кипяток», так что в нем «гнется ложка», и своих сыновей, Женю и Юру, она пошлет в Технион\*.

А год назад в списке Рахели и в «Пабе Йофе» у Айелет одновременно появился один и тот же человек — Йофе, который прибыл не только из России, но и из рассказов Апупы: лошадиный пояс на животе, кулаки большие, как арбузы, тяжелые рабочие сапоги на копытах, — заказал суп, «очень-очень-очень горячий», попробовал, сказал: «Холодный, как лед» — и отодвинул тарелку.

Айелет сразу бросилась к его столу и спросила, как его зовут.

— Йофе, — сказал он, — а что?

\* Технион — политехнический институт в Хайфе.

## ВСТУПЛЕНИЕ

— Прекрасно, — сказала Айелет, — я тоже Йофе. Айелет Йофе, очень приятно. А ты?

— Дмитрий Йофе. Может, мы родственники?

— Очень может быть.

— Так, может, по этому случаю ты дашь мне работу? Что Айелет скажет, Дмитрий сделает.

Сначала Дмитрий работал уборщиком и охранником и быстро получил широкую известность как человек с хорошим нюхом на дебоширов, мошенников, террористов-самоубийц, алкоголиков и зануд. Когда Айелет спросила, как он их распознает, он ответил:

— Не впускаю людей, у которых «одна щека выше другой».

А недавно он сообщил ей, что водка у нее «чувствует себя одиноко», зашел на кухню и добавил в меню порцию селедки, которая вызвала слезы у нескольких пожилых клиентов и тотчас прославилась на всю Хайфу, а после того, как о ней написал взволнованный кулинарный обозреватель центральной газеты, привлекла в паб также любителей выпить и закусить из самого Тель-Авива.

И когда Айелет рассказала нам о нем, и о более высокой щеке, и о его селедке, «которая плавает стилем кроль», Рахель возжелала увидеть Дмитрия немедленно и безотлагательно. А когда он был приведен пред ее очи, она не могла скрыть волнения. Она подала ему чашку чаю, которую специально не наполнила доверху, и гость презрительно отодвинул чашку,



но не ограничился этим, а задал к тому же насмешливый вопрос: «Сколько стоит полная?» — который тут же был внесен в наш словарь семейных выражений. Затем ему была подана буханка, чтобы он сам себе нарезал, и он прижал хлеб к груди и отрезал в точности так, как мы сами прижимаем и режем. Рахель тотчас попыталась присоединить его к своей коллекции ночующих и даже произнесла: «Так это у нас в семье», но Дмитрий сказал: «Что не обязан, делать не буду».

Так Дмитрий Йофе — мужчина моего возраста, уже успевший побывать командиром батареи «катюш» на русско-китайской границе, и горным инженером на Урале, и преподавателем в техникуме (каком, я не понял), — стал правой рукой моей дочери. Теперь она полагается на него настолько, что время от времени оставляет паб на его попечение, а сама едет навестить нас. Она любит еду Алоны и иногда присоединяется к посиделкам ее «пашмин» — так она называет подруг своей матери, которые собираются на шумные дни рождения, на лекции «только для женщин», на коллективное пение и просто на посиделки. «Пашмины», кстати, — это такие дорогие шали: подруги Алоны их обожают и покупают друг другу\*.

Немножко выпив, они распускаются и просят у Айелет новостей.

\* Пашмина — тончайшая шерсть более высокого качества, чем общеизвестный кашемир; изготавливается из нижнего, почти пухового, подшерстка гималайского горного козла.

## ВСТУПЛЕНИЕ

— Каких новостей?

— Ну, что нового у молодого поколения, — говорит одна из них, о которой Алона когда-то сказала мне, что она «упорно носит одежду своей дочери».

Ури тоже иногда выходит из своей комнаты и заходит на кухню, а когда он еще соглашается на просьбу своей близняшки что-нибудь приготовить, она совсем блаженствует.

— Иди ко мне работать, — предлагает она ему.

Он отказывается:

— Из этого ничего не выйдет, мы не пара для работы.

Ури удивительно готовит маленькие и точные блюда, очень оригинальные по вкусу, и тело Айелет во время еды начинает танцевать на стуле от удовольствия. У нее есть «танец мяса», и «танец салата», и «танец рыбы», и, когда она остается спать у нас, она утром одевается так же, как одевалась когда-то девочкой, — стоя на кровати и подпрыгивая.

— Ты ее сломаешь, — замечаю я ей. — Ты уже большая девочка!

— Для чего у нас есть Жених в семье? — смеется она. — Он починит. Главное, что ты видишь свою дочь счастливой. Тебе это не важно?

Она будит Ури, чтобы попрощаться с ним.

— Приходи готовить у меня в пабе, не забудь! Ту пасту, что отец готовит только для себя, ту, с пережаренным шалфеем.

Он отталкивает ее, сонно улыбаясь:

— Никуда я не пойду. Что, если как раз, когда я уйду, придет та женщина?

— А что с той моей подругой, с которой я тебя познакомил? Ты с ней встретился?

— Встретился.

— Встретился — и что?

— Горячая, как кипяток, но ложка у меня не согнулась.

\* \* \*

Мы с Габриэлем просыпаемся рано, и иногда я захожу к нему и прошу сделать со мной утренний круг на его мотоцикле.

— Маленький и быстрый круг перед кофе, в знак дружбы.

Нам было лет пятнадцать, когда он впервые повез меня на мопеде по полям вокруг деревни, и нам было пятьдесят пять несколько недель назад, когда он в последний раз провез меня от «Двора Йофе» до больницы «Хадасса» в Иерусалиме. На этот раз — ужасной ночью, на своем черно-зеленом «кавасаки-1100», а тогда — чудным утром, на «метчлессе» Шломо Шустера, который Габриэль украл и, поучившись на нем с четверть часа, повез меня по полевым дорогам, и мы оба смеялись, как сумасшедшие, удирая от шустеровского «виллиса», который гнался за нами с воплями и гудками, пока мы не увидели в зеркало скачу-

## ВСТУПЛЕНИЕ

щую кобылу Апупы и Апупу на ней, а потом услышали его рев.

Даже Жених, питающий отвращение ко всем видам транспорта, производимым в Японии, восторгается воздушным фильтром габриэлевского «кавасаки» и признает, что «во всем, что касается всасывания и выхлопа, у этой машины разумный двигатель». Разумный или нет, но мотоцикл действительно очень сильный и быстрый, и я люблю сидеть за широкой спиной моего двоюродного брата, закрыв глаза и напевая внутри шлема. Шлем принес мне Габриэль, и Жених просверлил в нем круглое и аккуратное отверстие, точно в нужном месте, такое же, как то, которое просверлил мне годы назад в моей армейской каске.

— Не сиди мне там, как мешок с комбикормом, чувствуй меня! — кричит Габриэль, и его голос разбивается о шум мотора и прерывается порывами ветра. — Обопрись руками и наклоняйся вместе со мной.

Обычно мы спускаемся на главное шоссе, поворачиваем на запад, поднимаемся по дороге, по которой когда-то спустились дедушка и бабушка, спускаемся по дороге, по которой они когда-то поднялись, и на перекрестке поворачиваем на северо-восток. Быстро проносятся пятна зеленых дубов, Габриэль, опытный и веселый водитель, низко наклоняет свою машину на поворотах, и мой восторженный смех уносится высоко вверх. А когда мы проезжаем мимо маленького мошава, где когда-то располагался Вальдхайм\*, в кото-

\* Вальдхайм — одно из поселений немецких тамплиеров.

ром вырос Гитлерюгенд, женившийся на нашей тете Батии, одна его рука отрывается от руля и похлопывает меня по бедру, говоря, что мы оба думаем об одной и той же женщине.

Алона ждет меня на ступеньках дома, сердится-улыбается:

— Сумасшедшие, разбудили весь город своей выхлопной трубой.

— Это из-за него, — говорит ей Габриэль, а мне: — Иди сделай ей кофе. Что ты за муж?

— Выпьешь с нами?

— Нет, спасибо, я иду будить свою компанию. — И вот он уже всовывает голову в разноцветную палатку своих товарищей и зовет: — Доброе утро, ребята, вставайте продолжить работу Создателя, — и поднимается по четырем ступенькам к деревянной веранде дома Аупы. Раньше там жили дедушка с бабушкой и четыре их маленькие дочки, а сегодня это жилище только для мужчин: Аупы, Гирша Ландау, Габриэля, а в дождливый сезон, когда их вигвам протекает, — также его «Священного отряда».

Каждое утро я варю себе и Алоне кофе с молоком, и у нас есть обычай, по ее мнению «славный», свидетельствующий о том, что она именуется «хорошим супружеством». Не только у Йофов, у любви тоже есть прозвища, и когда разные специалисты и заинтересованные лица начинают называть ее «супружеством» — это знак того, что ее дни сочтены. Так или так, этот наш «славный обычай» состоит в том, что мы

## ВСТУПЛЕНИЕ

вдвоем, моя супруга и ее супруг, пьем наш супружеский кофе из одной огромной двойной чашки, которую одна из Алониных подруг произвела в своем керамическом кружке.

— «Сколько стоит полная?» — спрашивает Алона, в очередной раз доказывая свою осведомленность в новинках йофианского языка. И когда я тороплюсь наполнить чашку до краев, как у нас положено, она говорит: — Я люблю, когда мы пьем так.

— Как так? С молоком?

— Так, вместе: глоток я — глоток ты. — И тут она смотрит на мои штаны и улыбается в отчаянии: — Ну, что мне с тобой сделать?!

— А что случилось?

Ее палец указывает на пятно от кофе:

— Ой, Михаэль, Михаэль... Что бы ты ни делал, чистым ты из этого никогда не выходишь.

Так это сегодня, но в «те времена» каждое утро начиналось со звуков, которые доносились из дома Алуны: глухой звук его шагов, потом тяжелый удар деревянной двери, затем легкий стук сетчатой двери, а после этого — тишина. Замолкали птицы, прекращалось кудахтанье кур, разом обрывалось нетерпеливое мычание голодных телят — появлялся Давид Йофе.

Прежде всего он осматривался вокруг — не обнаружится ли «враг», не успевший удрать или спрятаться. Но никаких врагов, к сожалению, не было видно. Тогда он усаживался на ступеньке, возле своих рабочих ботинок пятьдесят второго размера, стучал ими

по полу, сообщить им и скорпионам, которые «всегда ночью залезают в ботинки», что пришел хозяин. Хлопал по полу твердой плоской ладонью, чтобы ни один скорпион не ушел живым, а потом обувал, и топал, и затягивал шнурки двумя одинаковыми и одинаково работающими руками.

В отличие от бабушки, от Пнины-Красавицы, от моей матери и от Рахели, которые были левшами, дедушка был «двурукий», то есть мог работать обеими руками с одинаковой силой и точностью. Это хорошо знал каждый апельсин, который он сорвал, и каждая корова, которую он доил, и каждый мужчина, которого он бил. Я бы с радостью добавил здесь приятное сочетание слов — «и каждая женщина, которую он любил», — но дедушка любил только бабушку и, как всегда подчеркивала моя мать, «никогда в жизни не прикасался к другой женщине. Ни одной рукой — кап! обличающий взгляд на отца, — ни двумя».

— Мужчина должен носить высокие ботинки и хорошенько затягивать шнурки, — утверждал Апуа, отвергая всякие сандалии, легкие туфли, застежки-молнии и ремешки. — Только так он знает, что нужно работать.

Я любил смотреть на его руки, работавшие, как отражения одна другой, продевающие, затягивающие, завязывающие, поднимающие кирку, седлающие кобылу. Дедушка говорил, что эта его способность, как и высокий рост, — доказательство того, что он из потомков царя Саула, из колена Вениамина.

## ВСТУПЛЕНИЕ

«Вооруженные луком, правую и левою рукой бросающие камни и стрелявшие стрелками из лука — из братьев Саула, от Вениамина», — торжественно цитировал он стих, который когда-то показал ему деревенский учитель, заметив мальчика, умевшего писать, и бить, и бросать камни обеими руками одинаково. Так он рассказывал нам, и боль искажала его лицо, и мы понимали, что он вспоминает Батию-Юбер-аллес, которой — единственной — передал это свойство своих рук и которую любил больше всех других своих дочерей.

А бабушка говорила:

— Царь Саул? Ничего подобного. Наш Давид — он Голиаф.

Таким я видел и слышал его каждое утро, день за днем, все мое детство, кроме того года, с моего пятого и до шестого дня рождения, когда я вставал с закрытыми глазами, одевался с закрытыми глазами и на ощупь шел к дому Ани, чтобы она была первой картинкой нового дня, и кроме того года, от моей бар-мицвы и до четырнадцатого дня рождения, когда Габриэль стал вдруг расти и из маленького Цыпленка стал высоким здоровым парнем и начал просыпаться вместе с Апупой и присоединяться к нему в церемонии надевания высоких ботинок и раздавливания скорпионов, которые никогда оттуда не появлялись. Мое сердце тогда наполнилось такой завистью, что я оставался лежать в постели, видя их закрытыми глазами и открытой фонтанеллой.



Но прежде, когда Габриэль был еще Цыпленком, а Аня еще не появилась, там были только мы — я, Жених и пес. Собакам, кстати, у нас не давали ни кличек, ни имен — каждая из них, по очереди, именовалась «пес», а за глаза — «этот пес». Я, как обычно, стоял у окна своей комнаты. Жених, чья хромая нога, как обычно, утром болела больше, чем после обеда, стоял, как обычно, прислонившись к забору. А пес, как все псы: тело напряжено, морда улыбается, мышцы дрожат от сильной любви и ожидания.

У Апупы был свой метод дрессировки собак: когда у нас появлялся новый щенок, он позволял чужакам входить, но требовал от каждого взять щенка и положить в бочку, что в углу. Щенок вопил там, испуганный и одинокий, минут двадцать, и тогда Апупа подходил, обнимал его и утешал, пока тот не успокаивался. Так вырастали у нас собаки, ненавидевшие чужих и безгранично любившие его.

Окончив шнуровать ботинки, он поднимался и смотрел на нас, переводя глаза с одного на другого. Я возвращал ему взгляд и радостно махал рукой, Жених опускал глаза, и его губы слегка дрожали, пес прыгал, как пружина, мчался к хозяину, подымал зад, танцевал вбок и назад и завывал, как безумный.

Апупа похлопывал его по затылку, и они совершали вторую дневную церемонию: мочились в углах «Двора Йофе», обозначая границы своих владений. Тотчас и я ощущал давление в мочевом пузыре, и, очевидно, Жених тоже, потому что однажды он набрался сме-

## ВСТУПЛЕНИЕ

лости, приблизился к ним и расстегнул ширинку. Пес угрожающе зарычал, а дедушка протянул руку, сжал его член указательным и большим пальцем и сказал: «Ты — нет!»

И всё. Башмаки зашнурованы и затянуты, границы обозначены недвусмысленным «йалла имши»\*, — и даешь на работу, на войну! Потому что кроме земли, чтоб ее пахать, и фруктов, чтобы их собирать, и коров, чтоб их доить, у Апуны были еще ненавистные «враги», чтобы их победить, — наглые соседи, правительственные и местные чиновники, пастухи, загонявшие свои стада на наши поля. И не только люди: он кричал на холодный суп, давил сорные травы, ругался с непослушными животными, боролся со злонамеренностью упрямых инструментов и с кознями приборов.

Это последнее трудно, наверно, воспринять здравым умом и рассудком, но факт: Апуна колодил машины, которые «портились ему назло», ломал ключи в замках, которые отказывались открываться в желательном ему направлении, пинал «струменты», которые не соглашались работать без дружеского присутствия Жениха, и всей деревне был знаком его яростный крик: «Не так!..» — за которым немедленно следовало: «Так!..»

«Не так!» объясняло прибору, что именно, по мнению Апуны, не нужно делать, а «Так!» говорило ему, что, по мнению Апуны, делать нужно. И поскольку

\* А ну, проваливай (*араб.*).

все Йофы — мастера приспособливать любое выражение к дополнительным нуждам, мы пользуемся теперь этими двумя выражениями при любом удобном случае. Ури говорит «Так» и «Не так» своему компьютеру, моя мама говорит это гостям, вовремя не меняющим сторону, на которой они жуют, а Айелет, если верить тому, что она о себе говорит, часто обращается с этими указаниями к своим «кавалерам».

Беда, однако, состояла в том, что не все «струменты» готовы были отступить от тех действий, для которых они были предназначены по своей изначальной природе. Двери, приспособленные открываться «к себе», отказывались открываться толчком «от себя». Косилки не замечали камней, а если замечали, то отказывались поднять в их честь свои ножи. Старый круглый точильный камень Жениха, работавший от ножного привода, все делал «назло» — упрямо хотел вращаться только по часовой стрелке, портил лезвия и брызгал искрами прямо в Аупину физиономию.

— Не так! — кричал он на него. — Так!

И пробовал силой изменить направление вращения.

— Если ты станешь у него с другой стороны, папа, — предложила ему Батия, — ты увидишь, что все получится.

— Я не хочу стоять у него с другой стороны! Я хочу стоять у него с этой стороны!

И поскольку его сильные руки держали камень, а его сильная нога давила на педаль, передача попросту ломалась, а его гнев возрастал всемеро.

Вот кем он был, наш дедушка, — Мужчиной из Мужчин, с головы до ног. Упрямое «М», и хищное «Ж», и презрительное «Ч», и гневное «Н». Не возвращался обратно, не оборачивался. Огромное бычье тело и куриные мозги. Не раскаивался в своих поступках и не проливал слез о содеянном.

— Короче, — продолжала Рахель плести свои рифмы, — человек без сомнений, человек без сожалений, все знал, ни в чем не сомневался, как дураком был, так им и остался.

Он подозревал, он воевал, он захватывал, и он всегда был начеку: нельзя спать на боку, потому что его отец сказал, что это «давит на селезенку и вызывает дурные сны». Нельзя есть «французскую еду» (то есть всё, что не «как куриный суп», не «как пюре», не «как жаркое», не селедка и не овощной салат), потому что его отец сказал, что от этого заводятся глисты. А главное: нельзя дружить с остальными жителями деревни, этими паразитами, гнидами и занудами, потому что «все они клещи», и поэтому категорически нельзя рассказывать им о наших планах на следующий сельскохозяйственный сезон, а особенно нельзя говорить с членами семейства Шустеров, и даже здороваться с ними нельзя, потому что они украли у нас двух жеребят.

Эта кража если и вообще произошлa, то намного раньше моего рождения, а может — и рождения моей матери, но Апупа размахивал своими огромными руками и кричал с вершины холма, как сегодня

ня он вдруг кричит из инкубатора: «Они у нас украли!» — будто это случилось только вчера. И в наш первый день учебы, когда он повел нас в школу — Габриэль, «охотничий сокол», у него на плече, и я, «жеребенок по следам матери», за ними, — он установил новый обычай: мы останавливались возле дома Шимшона Шустера и Апуа кричал: «Выходи, выходи, ворюга, дай на тебя посмотреть!»

Мы с Габриэлем замолкали, прислушиваясь к голосу Шимшона Шустера, дрожавшего за запертой дверью и закрытыми ставнями:

— Сто ты за музик, Йофе, сто у тебя есть только досери? Кто скажет по тебе кадис?

— Слысали этого Симсона, как он говорит? — издевался Апуа.

— Слысали, — отвечали мы, и Апуа, очень довольный, улыбался и говорил:

— Стобы воровать лосадей в темноте, он храбрый, но стобы выйти на солнесный свет — так тут он боиса.

Когда мы доходили до ворот школы, Апуа спускал Габриэля с плеча, брал его тонкую руку и вкладывал в мою со строгим лицом:

— Смотри за ним, Михаэль, да?! За руку до самого его стула в классе! — И тогда его лицо освещалось. — А я вернусь к вашей бабушке, которая так скучает по мне.

Я хорошо помню тот день, но не только потому, что это был первый день учебы. Держась за руки, мы шли, Габриэль и я, в первый класс, и, когда мы вошли,

## ВСТУПЛЕНИЕ

нас ожидала учительница, а с нею — новый директор школы, который с улыбкой поздоровался с нами и торжественно пожал нам ладони.

У него были приятная рука и приятный голос, и его кожа приятно пахла вином и мылом. Остро заглаженные брюки хаки, светлая рубашка вздувается над худобой тела, умное лицо над ней и загорелая лысина, а сквозь радужную оболочку глаз смотрела на меня улыбка его жены.

— Здравствуйте, дети, — сказал он, — меня зовут Элиезер. Я ваш новый директор.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### ПОХОД

Дед мой, Давид Йофе, он же Апупа, по прошествии лет стал, как я уже говорил, маленьким, тяжелым, трясущимся от холода старичком, и от бывшего величия у него остались лишь огромные ладони да куриные мозги. Все заботы о нем взял на себя Габриэль, его единственный внук и мой двоюродный брат, который живет теперь в дедовском доме, вместе со своим «Священным отрядом» и скрипачом Гиршем Ландау. Но «в те времена» всё было иначе: «Священного отряда» не было еще и в помине, Гирш Ландау мечтал об Апупиной смерти, сам Габриэль, сегодня высокий и широкоплечий, был маленьким, испуганным, плаксивым недоноском и рос в большом инкубаторе для цыплят, а Апупа, который сегодня лежит в том же инкубаторе, был шумным и задиристым великаном с грубым лицом старого сатира, каштановой гривой и белой бородой.

— Только сердце у него не изменилось, — сказала Рахель, и ее голос сразу стал мягким, сказочным и напевным. — Как было полно любви, так и осталось полно любви.

Любви к дочерям, этому семени своему, и любви к Габриэлю, Цыпленку, этому своему потомку мужского пола, и самой большой любви — к Амуме, своей жене, той огромной любви, которая со временем лишь углублялась, несмотря на всё быстрее уплывавшие годы, и всё чаще наплывавшие невзгоды, и на все их свары и ссоры, и осталась такой даже сейчас, после ее смерти.

— О чем ты расскажешь мне сегодня, Рахель?

— Всё о том же.

О чем бы Рахель ни рассказывала, она всегда рассказывает о любви. И поэтому история Семьи в ее устах — тоже не что иное, как история любви, а мы, Йофы, в ее рассказах — просто вешалки и веревки, на которых развешаны все эти любовные истории, потому что «так это у нас в Семье». А больше всех других рассказов о любовях разных Йофов она любит рассказывать — и слушать сама — историю «Великого Похода» наших Апупы и Амумы, их похода с «юга» на «север»: вот он, Апупа, — шагает себе и шагает, а вот она, Амума, — восседает на его спине и пальцем указывает, куда ему поворачивать.

Давид Йофе носил подкованные башмаки, и мы с Габриэлем, не без помощи Рахели, думали, что башмаки эти скрывают его раздвоенные копыта. Бороду и усы он расчесывал густым гребнем, спинка которо-



го была черного цвета, а зубья, странным образом, белого. Он подпоясывался широким лошадиным подбрюшником, за который затыкал огромный кнут, на его языке «курбач», учил нас различать «кнут погоняющий» и «кнут догоняющий» и завещал положить этот его курбач с ним в могилу.

— И тогда археолог, который через двадцать тысяч лет найдет его останки, сможет по этому курбачу воссоздать всего нашего Апупу, — сказала Рахель, придя в восторг, когда я, вернувшись из школы, поспешил передать ей рассказ Аниного мужа о французском зоологе по имени Жорж Кювье. Этот Кювье способен был мысленно представить себе — и даже воссоздать — целого динозавра по одной-единственной его кости или даже по одному-единственному коренному зубу.

Я не раз думаю об этой одинокой кости, которой достаточно, чтобы по ней одной понять устройство всего тела, представить его себе и воссоздать. Нашего Апупу восстановят по его кнуту, а может, даже по его воплям о супе: «Холодный, как лед!» — или по его «Так!» и «Не так!», а возможно — как раз по той маленькой мягкой салфетке, которую он всегда носит в кармане, чтобы вытирать ею пот.

Меня восстановят по моей фонтанелле, моего отца — по его отрезанной руке. Не по его торчащему из плеча обрубку, а по всей руке — той, о которой я в детстве гадал, спрятана она, или брошена, или все еще лежит и где — в заброшенном больничном сарае? в банке с формалином? на специальной свалке, куда

## ГЛАВА ПЕРВАЯ. Поход

выбрасывают солдатские ноги, руки и глаза? И что еще важнее — пахнет ли и она апельсинами, как пахнет его правая рука? А если они не найдут эту руку, может, они сумеют воссоздать моего отца из ребра какой-нибудь из его возлюбленных?

Нашего Жениха восстановят по его хромоте. Пнину-Красавицу возродят из ее белизны. Тетю Рахель воссоздадут из фланелевой пижамы ее погибшего Парня. Мою жену Алону восстановить не смогут, потому что она единственная в своем роде и наука еще недостаточно знает о таких существах. Мою мать восстановят по ее прекрасной пищеварительной системе — начиная со здоровых белых зубов и дружественных слюнных желез и кончая стерильно-чистым, послушным кишечником, по работе которого можно проверять часы. Моего Ури вообще не придется восстанавливать, потому что он сам сделал себе бэкапы, Гирша Ландау воссоздадут по бусам, которые носила его жена, а мою дочь Айелет...

— Наконец-то ты и о своей дочери вспомнил! — восклицает она из-за моей спины.

— Ты что здесь делаешь? — вздрагиваю я.

— «Я девочка Айелет, и кудри, как огонь», — радостно смеется она, — чего ты так испугался, папа?

Амума терпеть не могла этот Апупин кнут и его лошадиный пояс. Она говорила, что ее муж «расхаживает по двору, точно петух», а он в ответ презрительно выпячивал губы: «Мужчина должен быть всегда готов!» — а кнут (так он провозглашал) нужен

ему «на случай всякого случая», а то «как бы чего не вышло».

А поскольку пока что ничего такого с ним не случилось и ничего этакого не выходило, то всё сводилось к тому, что он стегал этим своим курбачом стволы деревьев, которые не имели возможности от него увернуться, и насмерть сбивал им полиловевшие от ужаса головки чертополоха.

— Смотри, Габриэль, как настигает кнут догоняющий, — говорил он, посылая курбач в сторону очередной беспомощной жертвы, намертво пригвожденной к земле своими корнями. А порой пытался к тому же заставить плеть, пока она неслась к цели, произвести тот щелкающий звук, какой извлекал из своего кнута арабский дрессировщик, которого он, по его рассказам, видел в детстве в бродячем цирке.

Цирк приехал тогда из Яффо и разбил в их поселке свой шатер, но показал всего лишь одно представление.

— Ну ангелочки, спросите дедушку — почему всего одно?

И мы с Габриэлем:

— Ну, Апуа, почему всего одно?

Потому что отец Апупы, который был «из силачей силач», еще сильнее своего сына, возмутился тем, что дрессировщик не сунул голову в львиную пасть, как это было обещано в афише, а потому выскочил на арену, грохнул несчастного араба об пол, так что размозжил ему колени, и, не ограничившись этим, со страшным

## ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПОХОД

рыком набросился на самого льва. Льва обуял такой страх, что он тут же распался на две половинки, которые бросились в разные стороны, потому что этот лев на самом деле состоял из «двух мошенников-цыган», только в львином наряде, с хвостом и гривой. Увидев это, отец Аупы — который, кстати говоря, работал бондарем на винодельном заводе барона Ротшильда — рассердился уже не на шутку, потому что у него еще оставалось в запасе много сил, а тратить их было теперь уже не на кого. Поэтому он схватил тот стальной прут, который цирковой силач за несколько минут до этого согнул двумя руками в кольцо, пальцами распрямил его, поклонился восторженной публике и ушел с арены.

Теперь тот курбач лежит в шкафу, вместе с платьями Батии и Аумы, а Аупа лежит в старом инкубаторе Габриэля — маленький, дрожащий от холода гномик с белой бородой и огромными ладонями, и порой, будучи в дурном настроении, Габриэль вынимает из шкафа одно из этих платьев и устраивает деду свое «представление». Любой другой мужчина, надень он женское платье, вызвал бы у Аупы отвращение («квас» на нашем семейном языке), — но не Габриэль. Поэтому Габриэль устраивает Аупе «представление», а Аупа улыбается ему из своего теплого инкубатора, который поначалу был приспособлен Женихом для выращивания обычных цыплят и потом переделан для согревания того цыпленка, которого Пнина-Красавица родила не ему и не от него. А сегодня тот же инкубатор согрева-

ет нашего деда, который от старости съезжился, ссохся и уменьшился до вменяемых размеров, хотя его куда труднее согреть, чем всех предыдущих обитателей, а переносить намного тяжелее.

Так он лежит себе там, и время, этот великий утешитель, качает его медленно-медленно — нянька сосунка — и напевает ему такую тихую колыбельную, что услышать ее могут только Йофы с открытой фонтанеллой. Всем остальным Йофам, не говоря уже об обычных людях, кажется, что время молчит.

[Но оно — нет, моя любимая, оно — нет.]

Итак: из всего того, «что-в-начале-любви», из всего того, «что-поддерживает-ее-всю-последующую-жизнь», ничто — ничто! — не может сравниться с «Великим Походом». И как обо всем прочем в истории нашей Семьи, я и об этом походе услышал от тети Рахели. В темноте, под пуховым надгробьем, во фланелевом саване ее погибшего Парня, закутанный в ее постельные подушечки и в ее старое, тряпичное тело, прижатое к моему с отчаянной силой, уже лишенной желаний и надежды.

Когда Йофы говорят «Великий Поход», они имеют в виду то долгое странствие, в которое бабушка с дедом вышли многие годы назад и которое привело нас, Йофов Долины, на наше теперешнее место. Оно началось в тот день, когда молодой Давид Йофе поднял молодую Мириам Йофе к себе на спину, а кончилось здесь, в тот далекий день, когда он спустил ее со спины на этом низком пригорке, где со временем суждено было поднять-

ся «Двору Йофе», которому суждено было со временем оказаться в окружении деревни, которой суждено было вырасти и стать городом, которому суждено было окружить и взять в осаду этот Двор, как армия издольщиков окружает крепость своего феодала.

— Подумать только, — обернулся я к Габриэлю в одну из самых трудных минут «заключительного марш-броска», которым у десантников завершается курс молодого бойца, — подумать только: Апупа прошел куда больше нас, а на плечах у него была Амума, куда тяжелее наших трех ящиков с боеприпасами...

— Но и приятней этих трех ящиков, — сказал Габриэль и протянул длинную руку к моей заднице, чтобы поддержать и подтолкнуть меня на крутом подъеме. В военкомате мне удалось скрыть свою легкую астму, но Габриэль о ней знал.

«Многие странствовали тогда пешком, ходили по всей Стране» — бродили, высматривали место, чтобы пустить корень, спрашивали работу, искали покаяния, торговали вразнос идеями и пророчествами.

<Можно развить мысль Рахели: «Поскольку денег у них не было, их сионизм начинался с бартера, как в натуральном хозяйстве, — идея за идею».>

Страна, сегодня тесная и потная, расстилалась перед ними (а может, им так думалось) коленопреклоненная и благодарная. Такая любимая, что ее называли девственной. Такая девственная, что казалась им пустой. Такая пустая, что они считали ее огромной. Некоторые искали уединения и шли в одиночку,

ругие нуждались в ближнем и шли вместе. Но Апупа и Амума ни в ком не нуждались и ничего не искали. «Они нашли друг друга, и их мир наполнился так, что любая добавка вызывала удушье. Так это у нас в Семье. А вернее, так это было у нас в Семье».

— Когда они шли, — рассказывала Рахель, — он нес ее на спине, а когда они останавливались отдохнуть, он стоял, а она сидела в его тени.

— Воистину идиллическая пара, — заметил я, и Рахель засмеялась своим невидимым в темноте смехом, щекотавшим мой затылок всегда в одном и том же месте. А потом сказала:

— Дед твой — человек простой. Кто-то, наверно, сказал ему, что жениться — это значит взвалить на себя супружеское бремя, вот он и понял это буквально: взвалил ее себе на спину и — давай, Давид! Вперед, в дорогу, йалла!\*

Подробности этого похода вновь и вновь возвращаются к нам, как женщина, которая время от времени возвращается к бывшему любовнику — проверить, сохранил ли он еще силу увлечь и способность возобновить свои права на владение. И, как всякая изустная семейная история, эта тоже имеет несколько вариаций. Но во всех версиях Апупа и Амума вышли в свой поход наутро после свадьбы, и во всех они встретили по пути скрипача Гирша Ландау и жену его Сару отца и мать того будущего ребенка, который потом возьмет себе в жены красавицу Пнину и получит

\* Йалла! — Ну! Давай! (араб.)

## ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПОХОД

прозвище Жених. Но по версии Рахели Амума восседала на спине Апупы всю дорогу, а по версии Жениха — Апупа нес ее только тогда, когда она уставала.

Но, как я уже сказал, одна деталь этого похода не меняется от версии к версии, и это — момент его начала, потому что в каждом походе начало — главная его деталь, тот первый толчок или рывок, та замерзшая временная крупца [та точная молекула времени], что нерушимо стынет в янтаре всех рассказов, — момент, когда Давид Йофе протянул руку к Мириам Йофе и сказал ей те два слова, которые Рахель и я, Алона и ее подруги, Айелет и Ури и Габриэль с его «Священным отрядом» способны повторить и изобразить еще и сегодня: «На меня, на меня!»

— Дело было так, — начинает Рахель с йофианского зачина, который означает: «Все, что вы услышите отныне и далее, — святая правда».

Вдоль улицы тянулась низкая каменная стена. Он помог ей залезть и сесть на шершавый камень, потом повернулся к ней спиной и сделал шаг назад, а когда ощутил, что стоит к ней вплотную, сделал шаг вперед, и в этот момент каждый из нашей йофианской конюшни, каждый на своем месте, и в своих обстоятельствах, и в свое время, говорит своему наезднику: «На меня, на меня!» И Мириам, словно услышав всех нас, прыгнула со стены ему на спину. Ее руки охватили его шею, ее груди прижались к его лопаткам, ее бедра обняли его талию, ее смех сбегал вниз по его затылку. Наш Апупа всегда был одинаков, что в реальности,



что в семейных воспоминаниях, но бабушка Амума всегда двоилась — та, которую знали мы с Габриэлем, была суровой и жестче той, что появлялась в рассказах, даже в ее собственных.

«Н-но!» — воскликнула она и вонзила пятки в его бока. Ни один дикий конь не был еще взнуздан и взят во владение с такой нежностью, любовью и решительностью. Он повернул голову назад, чтобы посмотреть ей в лицо, такое теплое, порозовевшее и близкое, слегка подбросил на спине, чтобы приподнять и упрочнить ее посадку, а затем, даже не обернувшись в сторону тех, что перешептывались и указывали пальцем за их плечами, пошел вниз по мягкому песчаному склону улицы, который вскоре сменился таким же мягким подъемом.

Быстрыми шагами шел он, слегка наклонив голову, а когда вышел из поселка, сцепил пальцы рук на животе, чтобы всаднице было еще прочнее сидеть, и принялся развлекать ее, то прыгая, как лошадь, то взбрыкивая, как осел, то притворяясь, что споткнулся и вот-вот упадет, чтобы она закричала в таком же притворном страхе, обняла его и засмеялась. А она то и дело приподымалась на его руках, как ребенок на плечах у отца, и на каждом перекрестке показывала пальцем: «Туда!»

Дорога шла, поднимаясь-опускаясь, по пескам и краснозему, между живыми изгородями сабр и стенами кипарисов, мимо молодых апельсиновых рощ и старых сикоморов. На каком-то поле на них напа-

ли пчелы, и Мириам испуганно закричала, но Давид выловил тех, что запутались в ее волосах, и строго им выговорил.

— Не беспокойся, мама, — сказал он, — я их знаю. Когда ты со мной, они не причинят тебе зла.

Многие мужчины называют своих жен этим словом, но обычно лишь после того, как те действительно становятся матерями их детей. Давид Йофе называл Мириам Йофе «мамой» с их первой встречи. Кстати, свое семейное прозвище «Амума» она получила от Габриэля, который искажил — а может, улучшил — то «мама... мама...», что не раз слышал от деда, всегда звавшего ее так в те далекие ночи, когда она его уже покинула. Покинула — сначала его постель, потом его дом, а под конец и его жизнь — «оставила одного на том промежутке, что между ее смертью, которая уже пришла, и его смертью, которая еще нет».

— Не было ночи, чтобы я не слышал, как он ее зовет, — сказал мне мой двоюродный брат. — «Мама... мама...» Тихо, шепотом, но внятно и отчаянно.

Когда они вышли на дорогу, что вела на запад, в портовый город Яффо, и кишела поденщиками и арабскими ослами, волочившими корзины с овощами, она сказала, что боится заходить в город к арабам, а еще больше боится, что он начнет демонстрировать перед ней свой героизм. И когда они подошли к маленькому яффскому фонтану Сабиль аль-Набут, из которого в ту пору пили все проходившие мимо, она прижала ладони к его вискам и слегка надавила

на них, чтобы направить его по тропе, что уходила от источника вправо — сначала вдоль оштукатуренной душистой стены, из-за которой выглядывали ветки абрикосовых деревьев и опахала веерных пальм, а потом дальше на север, где за последними домами тянулись пустынные золотистые холмы, поросшие низкими кустами.

Только тут она почувствовала, что он уже приустал. Его широкие ступни утопали в песке, и он даже постанывал порой, взбираясь на зыбкие вершины дюн. Она охлаждала его шею влажным платком, и он улыбался в знак благодарности. Еще несколько таких стонов, и вздохов, и улыбок, еще два больших сикомора, и вот уже их глазам открылись первые дома молодого Тель-Авива — редкие, маленькие строения, затерянные в желтых песках.

Она велела ему остановиться возле группы рабочих, занятых выделкой кирпичей, спустилась с него на землю и договорилась с подрядчиком. В конце рабочего дня Давид получил и отдал ей заработок: хлеб, маслины и головку сыра, а также несколько апельсинов и монет, — а когда зашло солнце и они лежали под прикрытием одного из песчаных холмов, вдруг прибежал какой-то маленький мальчик и принес им половинку арбуза, сладкого и холодного, и исчез раньше, чем они успели его поблагодарить и спросить его имя, так что никто и не знал бы, что он на миг прикоснулся к нашей семейной истории, если бы Апуа вдруг не вспомнил о нем несколько дней

назад и не позвал из своего инкубатора: «Иди сюда, мальчик, иди...»

Поднялась луна, оранжевая и круглая. Давид обнял Мириам, а она улыбнулась и шепнула его любимое: «Ты сделаешь из меня квец» — то бишь «ты меня раздавишь». Ящерица издала тонкий писк и затихла. Три шакала прошли на бесшумных лапах, возвещая, что сейчас что-то произойдет. И действительно, через несколько минут в одном из домиков послышался голос скрипки, и Мириам Йофе, зачарованная этими звуками, поднялась и сказала мужу, что хочет подойти поближе.

Апуа впервые почувствовал тогда, как велика любовь его жены к музыке. Она указывала ему рукой, и он шел за нею — то ли внушающий страх телохранитель, то ли смущенный и любопытный мальчишка, — пока она не остановилась у дома, из которого доносилась мелодия. Через открытое окно они увидели нескольких человек, сидевших на стульях, и играющего для них худого молодого человека с тонкими губами и горбатым носом. Большая девушка со строгим лицом сидела возле него и переворачивала ноты, у нее была очень полная нижняя губа, и свет лампы мерцал и дробился в прозрачно-золотистых бусах ее ожерелья.

Мириам подошла поближе, и Давид увидел, что тот же свет проложил на ее щеках странную и сверкающую влагой дорожку. Он опечалился. Несмотря на куриные мозги, он понял, что, даже если она всю

жизнь будет сидеть на его спине, и спать в его постели, и есть его хлеб, и рожать ему детей, и указывать ему дорогу, у нее всегда будет свой отдельный мир поверх их общего мира — музыка, чтобы в ней укрыться, и тропки, чтобы по ним отступить, и пограничные линии слез, чтобы за ними окопаться. Но, как ни странно, ему была приятна мысль, что он удостоился такой жены, и вместо того, чтобы затревожиться о своем будущем, он лишь благодарно улыбнулся.

Они спали в маленьком углублении между двумя песчаными холмами. Он — на спине, приоткрыв один глаз, она, боясь змей, свернулась на его груди и бедрах и спала так совершенно безмятежно. Наутро они встали до рассвета и двинулись дальше. Вначале шли на запад, а дойдя до моря, повернули на север, держась берега, потому что по влажному песку было легче идти.

Солнце еще не поднялось, но на востоке уже зарозовело. Полная луна, сейчас совсем бледная, собиралась вот-вот нырнуть в море, как вдруг Мириам повернула Давида налево, на узкую серебрянную дорожку, слабо мерцавшую на волнах.

— Понеси меня по ней, — сказала она.

«Он не колебался ни минуты» — повернул и пошел напрямиком в море, как она велела, а Мириам смеялась и пела у него на спине. «И даже когда вода дошла ему до шеи и накрыла с головой», он продолжал идти, пока не почувствовал, что ее руки с силой тянут его за воло-

## ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПОХОД

сы, и не услышал ее детский смех: «Хватит, хватит, Давид, выходи. Выходи, возвращайся!»

Возле мусульманского кладбища, расположившегося на высоком утесе, они миновали верблюжий караван, груженный крупнозернистым строительным гравием, и верблюды посмотрели на Апупу с большим удивлением, потому что никогда в жизни не видели такой тягловой скотины.

— Куда теперь? — спросил он, когда они дошли до ручья Аяркон.

— Я покажу тебе брод.

Она вставила ступни в стремяна его ладоней и поднялась, прямая, как всадник в седле. Так она осматривала берега реки, пока не нашла подходящее место. Они огляделись, убедились, что вокруг ни души, и разделись. Давид собрал одежду вместе с всеми остальными вещами и, держа узел над головой, переплыл на другую сторону. Оставив там вещи, он вернулся к Мириам, которая ждала его голая, белея телом, как цапля в камышах.

— Пока ты плыл туда, — сказала она, — я все думала, что мне делать, если ты не вернешься и я останусь одна.

— Я всегда вернусь, — засмеялся он, — ведь без тебя я не буду знать, куда мне идти.

Она плыла, лежа на воде и держась за его плечи, а он плыл под ней, задерживая дыхание. Его голова была погружена в воду, но уши вдруг услышали мелодию, которую она напевала. Мириам думала, что под водой он ее не услышит, но Давид услышал и вспом-

нил — то была вчерашняя мелодия, которую играл худой скрипач женщине с полной губой и ожерельем прозрачно-золотистых бус на шее.

Его нога ощутила дно противоположного берега. Они вышли на прибрежную траву. Мириам села на солнце, чтобы обсохнуть, а Давид лег, положив голову ей на колени. Ее рука перебирала его волосы, и тело его напряглось.

— Погладь меня по голове, мама, — попросил он.

А Амума сказала:

— Я глажу, Давид, разве ты не чувствуешь?

И гладила, и разгребала пальцами его волосы, как разгребают вилами колосья, и нашептывала ему слова, из которых он не все понял, да и не все услышал. А когда они немного обсохли, она выпрямилась:

— Вставай, Давид, одевайся, пойдём.

— Куда, мама?

— На север, — снова указала ее рука.

— Докуда?

— Пока я не скажу: «Здесь».

— К тому месту, которого ищет ее сердце, доведут их его ноги, — сказала Рахель.

А Айелет, по-за спиной своего отца, сказала:

— Это красивая фраза, теперь ты можешь перейти к другой теме.

Наш Жених любит говорить «по-за...» чем-нибудь: «сидит по-за столом», «работает по-за домом», «не люблю эту привычку Менахема-столяра класть каран-

даш по-за ухом». От него это «по-за» вошло в язык всех Йофов, и Айелет, которая, как и ее мать, наделена острым слухом на семейные выражения, сказала ему как-то, что она работает «по-за стойкой бара».

Жених, который оплачивал ее жилье, а также учебу, брошенную ею теперь на середине, усмотрел в этом нарушение давнего уговора между ним и Апупой.

— Чего это вдруг ты пошла работать? Тебе что, нужны деньги?

— Девушкам всегда нужны деньги, — засмеялась она. — Ублажать парней — это «дорогое удовольствие».

Это выражение она тоже взяла у него. Стоит кому-нибудь из нас купить что-нибудь новое — от ниток и шнурков до машины и пашмины, — как он тотчас спрашивает: «Это дорогое удовольствие?» Но на этот раз он не дал ей сбить себя с пути:

— Тебе что, нужны еще деньги? Почему ты мне не сказала?

— Нет, деньги я нахожу сама, между подушками дивана, там всегда валяется мелочь, выпавшая из кармана какого-нибудь задремавшего Йофе...

— Так что же это за работа у тебя, что девушке нужно работать ночью?

— Это бир-штубе. Пивной бар. Я работаю там по-за стойкой и слушаю разговоры выпивох.

На этот раз он услышал свое выражение и улыбнулся.



— По-за стойкой в бир-штубе? — Он похлопал ее по плечу. — Ты молодчина, Айелет, ты жеда!\*

Берег изменился. Они уже не шли вдоль самой кромки воды. Тропа вилась теперь по серым известковым прибрежным утесам. Они никогда не бывали в этих краях, и мир вокруг, казалось им, постепенно пустел. Еще одна последняя одинокая мечеть, упершаяся в небо пальцем минарета, да развалины древней крепости крестоносцев поблизости, а дальше уже не видно никаких признаков жилья, ни старого, ни нового, — одни лишь изъеденные временем известковые скалы, которые изо всех сил старались выглядеть страшными, но на самом деле радовали глаз и удобно принимали ногу, да медленные колыхания зеленой воды в узких заливах, врезающихся в глубь берега, да мягкие, обманчивые песчаные холмы, то и дело меняющие форму и молча смеющиеся при этом, да бледные ящерицы, перебегающие от одного травяного укрытия к другому, — такие стремительные, что эти перебежки даже не улавливались глазом, а лишь слышались ушам, как скользнувший по земле шепот, и только оставляемые ими следы выдавали их существование.

Кое-где росли кусты — наклонившись, цепляясь за слабую почву. Ветер собрал и прижал маленькие песчаные бугорки к упорству тонких стволиков, покрытых крохотными густыми листочками. Отчаявшиеся

\* Жеда — молодец (араб.).

виноградные лозы ползли по земле, не имея ни поддерживающих, ни направляющих веток. Деревца инжира, взошедшие из посеянных птицами косточек, были странными на вид, потому что приморские ветры вдавили их в землю, сделали низкими, почти карликовыми, а в то же время на ветках этих недоростков раскачивались неприлично большие и сладкие плоды, и от этого они были похожи на маленьких девочек, которые важно покачивают своими преждевременно созревшими грудями.

Амума положила голову на плечо мужа, и он сразу почувствовал, что она заснула, потому что стала тяжелее, а заснув еще глубже, начала бормотать и что-то напевать. Он не понял ее сонный язык, но сердце его расширилось, и легкие раздулись, и, несмотря на ее вес, не только его шаги, но и мысли стали шире и легче.

«И еще годы спустя, на протяжении всей их жизни и даже после Амуминой смерти, он всё время чувствовал ее на своей спине. Ее бедра вокруг своей талии, ее груди, прижатые к его плечам, как две печати».

— Вот так, Михаэль, — сказала Рахель и прижала к моей спине свою старую грудь. — И вот так, — и прижала еще одну такую же. — Вот так и вот так, пятак и пятак.

И дыхание ее он всегда чувствовал на своей шее, обжигающее его затылок.

— Вот так, Михаэль. — И Рахель приблизила рот к моему затылку и жарко выдохнула, прикалывая еще одного подростка к семейному каталогу.

— Вот так. Настолько, что он и сейчас это чувствует, даже после ее смерти. Потому что кожа запоминает жар и место, а также движение и давление воздуха, как веревка помнит место, где на ней завязали узел, и как глаз видит красный цветок мака даже после того, как закрылся.

— Мне приятно вот так нести тебя, мама, — сказал Апуа. Он пытался выразить чувство, которое не мог выразить словами. Я помогу ему немного, потому что все Йофы, несмотря на их ссоры и свары, всегда помогают друг другу: он чувствовал себя, как моряк-первооткрыватель, который, куда бы ни плыл, несет свой маяк на собственных плечах.

\* \* \*

В восемь лет Апуа лишился матери. Полгода спустя какая-то женщина заявила, что беременна от его отца, и заставила того на себе жениться. Беременность оказалась вымышленной, но, видимо, кроме коварства, или, как произносят Йофы, «каварства», именуя этим то, что обычные люди называют житейским расчетом, у этой женщины были еще и какие-то достоинства, и их брак стал фактическим.

Мачеха ревновала Давида к отцу, как женщина ревнует мужчину к сопернице. Бить его она не могла, так как он был мальчик рослый и сильный и, в отличие от других сильных ребят, не решающихся при-

менить свою силу — как я, например, — давал сдачи без колебаний. Поэтому она издевалась над ним, непрерывно осыпала его криками и бранью, поручала непосильные задания, а главное — кормила едой, которая становилась ему поперек горла.

Его отец, как я уже рассказывал, работал бондарем на винном заводе и хорошо зарабатывал там, но возвращался домой поздно, и маленький Давид целыми днями ходил по чужим виноградникам и садам, помогая работавшим там людям, а те взамен делились с ним едой.

Иногда он осмеливался даже постучать в двери какого-нибудь дома. Хозяйки в поселке уже знали его, жалели и порой угощали чем-нибудь вкусным или сладким <связать с его более поздней страстью к мороженому и «сладкому сладкому»>, но Аупа был мальчик гордый и упрямо стремился сам зарабатывать себе на хлеб. Поэтому они поручали ему какую-нибудь работу — чистку кормушек, сбор яиц во дворе, обдирку кукурузных початков или прополку сорняков, — и он всегда добросовестно ее выполнял.

К ночи он возвращался домой и спешил проскользнуть в свою кровать, держась подальше не только от мачехи, но и от отца, который не защищал сына от ее ненависти [которого злила отчужденность сына]. Когда пришли теплые дни, он начал спать в гамаке, который натянул себе возле забора, между двумя цитрусовыми деревьями, потом, на летние каникулы,

нашел себе постоянную работу у одного из крестьян, а в десять лет, когда мачеха родила двух его полубратьев, совсем отбился от дома: спал по коровникам и конюшням и не возвращался больше домой.

В те дни произошло событие, которое золотыми буквами вписано в книгу наших семейных воспоминаний: в винограднике одного из хозяев маленький Апуа поймал вора. По сей день во время семейных сборищ Йофы говорят своим детям, указывая на нашего деда: «А вот он, когда был в вашем возрасте, поймал настоящего грабителя!» Дети посмеиваются, а наш Апуа улыбается им из своего инкубатора и приветливо машет огромной ладонью. Но мы, знавшие его до того, как он овдовел, состарился и усох до нынешних размеров, свято верим всем деталям этой истории: и времени суток, когда это произошло, — «ввечеру», и сорту винограда, о котором речь, — черно-ворованно-сладкий «гамбургский мускат», а главное — тому славному арабскому слову, той единственной «кости Кювье» этого эпизода, по которой я восстановлю его, если забуду: «хурж», грузовое седло, которое кладут на спину животного, чтобы с обеих сторон подвесить к нему две плетеные корзины — те самые, куда вор сложил свою добычу.

Итак: дело было «ввечеру», и Давид Йофе неожиданно выскочил прямо на вора, который складывал грозди «гамбургского муската» в «хурж» на спине своего осла. Вор не испугался и грубо отшвырнул мальчишку, который от удара покатился по земле. Давид, одна-

## ГЛАВА ПЕРВАЯ. Поход

ко, тут же вскочил и молча бросился на противника, получил еще один удар, опять упал и лежа вцепился зубами в ногу вора. Отсюда и далее версии расходятся. Те, которые говорят, что Апупа нес Амуму на спине в течение всего Великого Похода, утверждают, что хозяин виноградника услышал страдальческие вопли, выбежал на шум и схватил грабителя. А те, которые утверждают, что Апупа нес Амуму, только когда она уставала, говорят, что вор успел скрыться, но через три дня вернулся сам, умоляя, чтобы от него оторвали «этого проклятого мальчишку», который намертво сомкнул челюсти на его ноге.

С тех пор слух о нем прошел по всему поселку, и всюду, куда бы он ни приходил, его кормили, и поили, и хвалили за героизм, давали ему одежду, работу и место для ночлега. Его отец понял свою ошибку, пришел к сыну и попросил [потребовал], чтобы тот вернулся домой. Но Апупа отказался, и отец, познавший йофианское упрямство на собственной шкуре, ушел со словами: «Дверь моего дома всегда открыта для тебя» [крикнул: «В таком случае не смей больше показываться у меня в доме!»]

Как бы то ни было, но с тех пор они редко встречались, хотя Апупа не таил зла на своего отца. Иногда, после захода солнца, он подходил к родному забору и долго стоял там, глядя на ворота, словно ожидал, что кто-то выйдет оттуда и позовет его домой. Но когда отец замечал его и спешил к нему со словами: «Иди домой, Давид...» — он поворачивался и исчезал в темноте.

Больше всего он тосковал по тем минутам, когда мать садилась на стул и говорила ему: «Подойди, Давид, положи голову сюда...» — и он подходил и клал голову ей на колени, а она гладила его по голове и хвалила за все, что он сделал.

— Когда он мне об этом рассказал? Когда так раскрылся? Один-единственный раз, в тот день, когда погиб мой Парень, — сказала мне Рахель. — Ведь у нас в семье как: во всем, что касается любви, никто ничему ни от кого научиться не может. Но в том, что касается смерти, и скорби, и траурных обычаев, и тоски, — о, тут можно помочь, даже дать совет можно.

Он обнял ее, как в детстве обнимал Батию («Наша с ним первая и единственная телесная близость», — сказала она), и, хотя ее сердце разрывалось от тоски и боли, она взяла себя в руки и слушала, как он исповедуется перед ней.

«И по еде ее я тосковал, — рассказывал дочери-вдове отец-сирота [старый сирота молодой вдове]. — Не по сладостям и разносолам, а по простой еде, которую она нам готовила, — по ее селедке, которая плавала в маринаде, по ее картофельному пюре, которое она поливала кефиром и посыпала крупной солью и жареным луком, а главное — по ее супу, который она приносила на стол прямо в кастрюле». Она подходила к столу — маленькая, стройная, прямая женщина, я никогда ее не видел, но уверен, что она была маленькой, стройной и прямой, такой же, как Амума, которую я хорошо помню, и как наша Батия-

Юбер-аллес, которую я тоже никогда не видел, но которую порой ощущаю внутри себя: прямое, сильное тело женщины, с одной стороны нагруженное моей тяжелой мошонкой, а с другой — ее маткой и яичниками. Тело, которым, будь я женщиной, обязательно обладала бы она, и, возможно, это была бы та чудесная женщина, о которой говорил мне отец, или, может быть, та, прихода которой ждет сегодня мой сын Ури.

«Осторожней, суп горячий, как кипяток», — говорила мама моего дедушки, ставя кастрюлю на стол и разливая ее содержимое по тарелкам. Эти были ее всегдашние слова, и запах, шедший от жаркой кастрюли, и маленькая церемония, которую она совершала, дуть на каждую ложку, чтобы немного ее остудить, — все это было в глазах маленького Апуны высшим выражением любви, и счастья, и материнства. И когда он немного подрос, то начал сам дуть на суп, хотя теперь это был всего лишь символический акт, вроде того, как если бы человек говорил самому себе «приятного аппетита», потому что к этому времени он уже приучился глотать такой горячий суп, который другие люди остерегаются даже понюхать.

Но когда матери не стало, некому стало и дуть, и дуновение это развеялось, и суп остыл, и материнские ласки и похвалы исчезли тоже, и даже само имя «мама» ушло из этого мира. А точнее — соскользнуло с языка в память, чтобы ждать там другую женщину, к которой оно могло бы заново прилепиться.



Ибо имена и прозвища нуждаются в теле, на котором они могли бы повиснуть, как те гарденбергии и циссусы\*, которые я продаю своим клиентам и которые без стены, или сетки, или ветвей просто ползут по полу, пока не умирают, отчаявшись. Ведь вот: имя «Апуа» все еще живет и здравствует, хотя его обладатель превратился в неприглядного, маленького, мерзнувшего старичка, а вот имя «Амума» уже стало просто понятием. И «Рахель» все еще имя, а «Парень» — уже не что иное, как маленькое облачко, горсть страдания и боли, дождь, что никогда не прольется, сон, вечно убегающий от своего хозяина. И точно так же «Михаэль» — это еще имя, а «Фонтанелла» — уже воспоминание, тайна и тоска.

Итак: через двенадцать лет после смерти матери Давид Йофе встретил Мириам, которой суждено было стать его любовью и женой, и, в отличие от других ему подобных, не стал ни размышлять, ни проверять, ни сравнивать, не начал тренироваться наедине, называя ее «мамой» в тайниках своего сердца, или ждать, пока она родит ему сыновей и дочерей, но сразу же назвал ее «мамой» — в полный голос и в первый же раз, когда к ней обратился.

Она была из новых работниц, из тех, что появлялись тогда, изможденные качкой, духотой и голодом, всякий раз, когда в яффском порту бросал якорь очередной корабль из России. Первый раз он увидел

\* Гарденбергии и циссусы — неприхотливые растения типа ползучих лиан, нуждающиеся в опоре.

ее, когда она шла по улице, второй — когда проходила через виноградник, а третий — когда сидела возле барака, который делила с двумя своими подругами, и латала себе блузку. Она была маленькая, но стройная и прямая, а взгляд у нее был усталый, и тогда Давид Йофе набрался храбрости, подошел к ней с бутылкой вина, которую ему накануне подарил один виноградарь, и, не приготовившись наперед, просто сказал ей: «Это тебе, мама» — и она прыснула со смеху.

Итак, есть слова, с которых начинается любовь и которые будут поддерживать ее всю последующую жизнь, то есть до смерти последнего из любящих [из несущих любовь] [из пораженных ею]. И Апуа, хотя он и не умел произносить такие слова, почувствовал их ушами в ее смехе, а потом затылком в ее дыхании, а потом своими длинными шагающими ногами и своими глубоко вдыхающими-выдыхающими легкими. Сердце его гнало кровь по просторам и глубинам его естества, любимая лежала на его спине, ее тело каждый день вновь заполняло те вмятины, которые оставило накануне, ее бедра согревали его.

Спустилась ночь. Ее голова клонилась к нему на шею, а когда упала совсем, она вздрогнула и проснулась.

— Положи, положи мне голову на плечо, мама. Положи и засни.

Он чувствовал, что его силы не кончатся вовек, что он может идти так всю жизнь, пересечь моря и горы,

*спуститься в Египет и подняться снова, убить льва и медведя, потому что это не просто рассказ, а, как всегда в Библии, поучение и притча. Ее дыхание отмеряло его шаги, его шаги отмеряли биения ее сердца. Вот так — спуститься в яму снежным днем, откатить камень от устья колодца, извлечь ладонями мед, и идти, и есть дорогою, пока лежит ее тяжесть на его спине, пока ее дыхание смягчает жесткое упрямство его затылка.*

— Ты не хочешь отдохнуть, Давид?

— Я отдохну, когда ты скажешь мне: «Стой!»

Большая белая дыра в небе была уже не такой круглой, как накануне. Мириам, немного сонная, сказала:

— Посмотри на луну, Давид. Знаешь, как можно узнать, молодая она или старая?

— Нет.

— Если она похожа на букву «С», значит, она старая. А если с пририсованной палочкой она выглядит, как буква «Р», значит, растущая, молодая.

Он улыбнулся в темноте.

— Ты не спишь, Давид? Почему ты не отвечаешь?

— Конечно, я не сплю, мама, ведь ты у меня на спине и я иду.

Всю ночь они шли, и только когда восток начал розоветь и желтеть, а запад голубеть и серебриться, она сказала ему: «Стой!» — и он остановился, опустил ее на мягкий песок и укрыл легким одеялом из своей сумки. Он положил голову ей на колени, сказал:

## Глава первая. Поход

«Погладь меня, мама» — и уснул, а ее пальцы играли его волосами. Но спустя несколько часов или больше, когда она встрепенулась, солнце поднялось уже на треть неба, и, открыв глаза, она увидела, что ее муж стоит в нескольких шагах от нее и медленно перемещается по кругу, чтобы тело его все время оставалось между нею и солнцем и бросало на нее тень, пока она спит.

\* \* \*

Если вам не по душе привкус ностальгии, который чувствуется в моих словах, вам нужно послушать нашего Жениха. У меня тоску пробуждают разве что босые ноги, да широкие открытые поля, да пара-другая личных воспоминаний, от которых никому ни холодно, ни жарко, зато наш Жених — этого хлебом не корми, дай повспоминать о «прежних днях», и повздыхать о том, «как здесь раньше бывало», и побубнить о «тех временах», когда никто бы здесь «и подумать не посмел о личной выгоде». Стоит и бубнит, а мы, уже ко всему этому привыкшие и все его уже наперед знающие, стоим и переглядываемся, улыбаемся и смеха ради поддакиваем, присоединяясь к его «тогда была взаимопомощь», и «тогда любовь была любовь, а не что-то там такое», и «тогда все друг друга знали в лицо и по имени», а потом злорадно напоминаем ему, что ведь на самом-то деле наш Апупа терпеть не мог

всех деревенских, что построились у подножья нашего холма, и не только никогда им ничем не помогал, но и сам от них никогда не получал никакой «взаимопомощи», и если вообще думал о них, то разве лишь в самом презрительном плане, и хотя действительно знал их всех в лицо и по имени, но величал исключительно бранными кличками, вроде «козел», «поганец», «мошенник», «скотина», а под конец и вообще объединил их всех под кличкой «Шустеры» или «те, снизу», словно все они были члены одной семьи и все до единого — его враги, паразиты и конокрады.

Айелет смеется за моей спиной:

— Может, это от Алупы твоя мама и подхватила все те прозвища, которые давала «цацкам» твоего отца?

Рахель то и дело разъясняет Жениху, что скулить по «тем временам» нужно с разбором, потому что чаще всего эта ностальгия — просто-напросто тоска состарившегося человека по дням своей молодости. Жених не обижается, но и внимания не обращает, только снова принимается поносить всех и всё, что у нас «теперь»: наших теперешних министров с парламентариями, теперешних завсегдатаев кафе и «распущенную молодежь» с ее «теперешним воспитанием», а главное — «все эти американские штучки». «И почему это, — в который уж раз возмущается он, — все эти “люксусы” из Америки чуть появятся, так сразу же попадают к нам в дом?» — имея в виду такие ужасные новшества, как нейлоновые чулки

на ногах у Алоны или вечернее освещение сада, это совершенно очевидное и столь же наглое расточительство «драгоценного» — во всех отношениях — света.

Регулятор, позволяющий бесконечно подробно менять уровень освещения, вызывает его особенное негодование:

— Кому они нужны, эти диммеры?! Если люди зажигают свет, значит, они хотят, чтобы им было светло, а если они тушат свет, значит, они хотят, чтобы им было темно. И всё, и никаких фокусов!

Так он зудит и зудит, и под конец его гнев обращается даже против американских сигарет, которые, в сравнении с английскими «Плейерс» «тех времен», — просто «труха и полова», и тут уж обязательно поднимается кто-нибудь из наших, то ли Рахель, то ли Айелет, а то, бывает, и один из тех Йофов, о которых у нас говорят: «И этот к тебе заявился, и тот к тебе пожаловал», и с невинным видом вопрошает: «Почему гав?» — или, того пуще, напоминает, что ведь и любимая машина нашего Жениха, его «додж-пауэр-вагон», тоже «родом из Америки». Тогда лицо нашего Арона сереет от гнева, и он начинает раздраженно пыхтеть:

— Мой «пауэр-вагон» всю Вторую мировую войну прошел. Вы еще увидите, он и тогда будет ездить, когда все эти ваши японские штучки-дрючки станут как груды металлолома...

Мы даем ему вволю побарахтаться и в этих воспоминаниях, пока он наконец не покидает автомобиль-

ную тему и не выходит по новой на широкий простор «тех времен», когда все умели себя вести, и все — опять — знали всех, и никто не уклонялся от своего долга, и никто не запирали двери. Тут, однако, улыбки гаснут, и Рахель замечает, что на его месте она не стала бы говорить о запертых дверях. Арон в ответ ворчит: «Ничего, ничего, придет время, вы еще все мне скажете спасибо...» — и ныряет в тот подземный город, который он всё копает и копает под нашим двором, и тогда мы все облегченно вздыхаем и переглядываемся со снисходительными улыбками.

Что до меня, то когда я думаю о «тех временах», мне прежде всего вспоминаются долгие, откровенные разговоры с отцом — разговоры, которых у моих детей с их отцом никогда не бывает. Мой Ури не спрашивает и не отвечает, а Айелет, хоть и выпытывает, да и сама рассказывает, и даже больше меня в ее возрасте, но эта ее открытость сродни, скорее, провокации, и рассказы ее больше продиктованы желанием меня подразнить, тогда как наша с отцом взаимная откровенность была порождена любовью и любопытством. И еще мне вспоминается ржавое мельтешенье хвоста рыжей славки, которую я сегодня уже не вижу, и дрозд, который будил меня от полуденной дремы, усердно колотя клювом по раковинам улиток на тротуаре, и те стаи скворцов, что застилали все небо мечущимися черными полотнищами. Все, все они канули в небытие, развеялись, как тот запах цветущих апельсинов, который когда-то пов-

сюду сопровождал человека с начала любой дороги и до самого ее конца, а сегодня сохранился лишь в очень немногих местах — кое-где в долине Шарона, да вблизи аэропорта Бен-Гурион, и еще — напротив большой военной базы в Нахал-Сорек, словно специально для того, чтобы согреть солдатскую душу. И вот еще — в Иерихоне. Мы как-то поехали туда, Алона и я, вместе с несколькими ее «пашминами» и их мужьями, поесть в одном из тамошних ресторанов и отточить наше «шукран»\* на арабских офицантах, и Алона сказала:

— Еда у них, конечно, та еще, но этот запах апельсинов... Ради него я бы хоть завтра пошла сюда на поселение.

И повернулась к своим «пашминам»:

— Помните, я рассказывала вам об отце моего Михаэля, как он натирался апельсиновыми корками, чтобы...

— Кончай, Алона, — попросил я, — он уже умер, хватит сплетничать.

Я встал, гравий скрипнул под моими ногами, и пошел себе поиграть с маленькими Ури и Айелет в саду у небольшого фонтана.

Она исчезла, та былая, широкая скатерть душистых запахов. Так же, как вежливость и «взаимопомощь», и как знакомые лица и имена, и как те бутерброды, что Аня тогда готовила мне в школу — простые бутер-

\* Шукран — спасибо (*араб.*).



броды, которые не напяливали на себя корону царственной полезности для организма и не извинялись за свое вегетерианство, но зато внутри были высланы самой любовью, — я это чувствовал, стоя около нее. Легкими, точными, улыбчивыми руками она нарезала куски хлеба, капала на них оливковое масло, намазывала творог, покрывала тонкими чешуйками чеснока и прикрывала сверху листочками петрушки, призванной, как она говорила, «отбить запах». Увы, морковь, которой неустанно кормилась моя мать, обостряла у нее, видимо, не только зрение, но также нюх и подозрительность, потому что она неизменно допытывалась, что означает странный запах из моего рта, а я, обманывая ее, говорил, что в роще за Народным домом растет дикий чеснок и я натираю им ее бутерброды. Это наполняло ее счастьем, и она рассказывала своим гостям:

— Мой сын Михаэль уже собирает себе травы в полях.

Нет, я не страдаю ностальгией. Я уже писал, что наш нынешний маленький городок нравится мне больше, чем прежняя деревня. Но когда я думаю о «тех временах», мне вспоминается, что наша деревня имела тогда четко очерченные границы и от них отовсюду отходили стиснутые с обочин травой узкие тропы — потому что в те дни все и всюду ходили пешком, — и вот эти воспоминания вызывают у меня настоящую тоску, потому что у меня есть слабость к пешеходным тропам. Грунтовая тропа всегда

отвечает тебе толчком, мягким и упругим, как тело Алоны, когда она была молодой, а мощный тротуар отвечает мне войной, как ее душа сегодня.

И еще я тоскую по летним дорогам с их горячей пылью, тонко перемолотой колесами и копытами, и по дорогам, выложенным камнями, что до блеска отполированы копытами и подошвами, и у меня есть свои догадки о том, где в точности проходил маршрут того «Великого Похода», которым шел мой дед, когда поднялся «с юга» и зашагал «на север», вдоль моря, взбираясь на песчаные дюны и соскальзывая с них вниз, и пересекая русла и болота, а когда рука Амумы указала ему: «Туда!» — он повернул в сторону холмов, и, когда ее губы сказали ему: «Здесь!» — он остановился, и опустил ее на землю, и затенил своим телом. А когда она заснула, он проложил воду, и положил крышу, и покрыл кровлей коровник, и воздвиг стену, и к ее пробуждению Двор был уже готов.

И еще я люблю маленькую тропинку в мамином огороде — ту тропинку, по которой ее огородное Пугало выходит наружу, когда устанет или заскучает или когда ему станет холодно или жарко, и по которой оно возвращается на свое дежурство и на свою деревянную подпорку. И в каждом декоративном саду, который мне доводится разбивать, я обязательно прокладываю такую дорожку, из дробленого базальта или втоптаных в землю каменных плиток. Я помню все эти дорожки — ту одинокую, сверкающую, кото-

рую отцовский язык оставил на спине Убивицы, и те две — тоже блестящие — дорожки слез, которые красивая мелодия скрипки проложила на щеках Амумы, и ту тонкую дорожку в волосах Ани, молодежный пробор, что пересекал густую черную стерню на ее голове и исчезал в короткой растрепанной челке.

И тропы слов я люблю — те, что огорожены *стеной с одной стороны и стеной с другой стороны*, и влекут тебя смыслами и вымыслами, и уводят от того, что относится к делу, направляя к тому, чего вовсе нет, и манят, и обманывают так, что ты уже перестаешь различать, где ловушки ассоциаций, а где пропасти воспоминаний, и тогда я выхожу на эти тропы с жестяной краски и кистью в руке, помечаю их знаками и вычерчиваю для своих детей нашу семейную топографию, как учил меня мой отец: со всеми глубокими колодцами и горными ущельями, со скрытыми сводами и контурными линиями, — чтобы знали, где крутые спуски, а где пологие, — и засеваю для них словами широкие поля, чтобы их тоже мог окружить пожар, заставив кричать и звать на помощь.

И я могу гордо заявить здесь, что кроме десятков садов, которые я разбил, и двух детей, которых породил, и воспоминаний, которые накопил, и этих историй, которые записываю сейчас [в попытке создать правдоподобную иллюзию существования моей Ани], я оставил в мире еще один скромный след — в виде протоптанной мною самим короткой тропинки, которая проходила за деревенскими птичника-

## ГЛАВА ПЕРВАЯ. Поход

ми и коровниками от нашего «Двора Йофе» к дому, где жили Аня и Элиезер. Сегодня от этой тропинки остались лишь несколько едва различимых метров, идущих вдоль стены нашего двора, всё остальное похоронено под тяжестью домов, магазинов и тротуаров, а тогда я находил ее с закрытыми глазами, когда каждое утро шел к Ане, чтобы открыть их ей навстречу.

Способность видеть с закрытыми глазами я обнаружил у себя еще до ее появления, когда, бывало, не просыпаясь, ощущал первый свет зари и, также не просыпаясь, слышал первых утренних птиц, и прошло много времени, прежде чем я понял, что это не сон, а реальность, которую я вижу через свою фонтанеллу, потому что она ничем не затянута и всегда открыта. И даже сегодня я все еще лежу так каждое утро, несколько первых минут, наперед зная, что мне уже не к кому идти с закрытыми глазами, но приурочивая открыть их в самый подходящий момент — когда картина, которая ворвется в мой мозг, будет наиболее соответствовать той, что уже просочилась в него через третий глаз на моей макушке.

Но тогда, с того дня, когда она впервые появилась передо мной в дыму и пламени, я хотел, чтобы моей первой утренней картиной всегда было ее лицо. Сквозь мою фонтанеллу я ощущал свет зари и спустя несколько минут, когда к свету присоединялось первое теплое прикосновение солнца, вскакивал с постели и, не открывая глаз, одевался, застегивал сан-

дали и на ошупь шел за коровник по малой нужде. В отличие от Апуны и его очередного пса, я ходил туда не для того, чтобы обозначить границы наших владений, а из-за мамы, которая сразу заметила мою новую привычку и немедленно запретила мне пользоваться туалетом в доме.

— Ты зальешь мне весь пол! — сердилась она. — Что это за манера — делать пи-пи с закрытыми глазами?! Делай себе во дворе, и подальше, пожалуйста.

И вот так — маленький мальчик с закрытыми и спящими глазами, но с открытой и бодрствующей фонтанеллой — я выбирался из нашего двора и шел к своей любимой. Не по улице, чтобы меня не увидели, а через лаз в стене и по этой своей узкой тропке, проходившей недалеко от того поля, где Аня спасла меня из огня. Я знал, что с тех пор оно давно перепахано, что прошли дожди, что уже проросла новая пшеница и следы пожара давно стерлись с лица земли, но все равно чувствовал горьковатый запах мокрого пепла, и вспоминал крики и пламя, и вот так входил в Анин двор, подходил к ее дому и молча звал ее, называя по имени, но только внутри себя. И вот так — не в обычном порядке вещей, то есть не чувством вначале, не сознанием, что это любовь побуждает меня ко всем этим действиям, а наоборот — через все эти мои действия — я понял, что это любовь.

Согласен — мне было тогда каких-нибудь пять с чем-то лет, но скажите вы сами, вы, которые умнее меня, вы, достопочтенные и законно послушные

люди, вы, взрослые, которым суждено дожить до старости и благородных седин, — если это не было любовью, то чем же это было? Скажи мне ты, дочь моя, с пояса которой свисают скальпы «кавалеров». Скажи мне ты, сын мой, единственный человек, который может проникнуть в мои секреты в мое отсутствие. Скажи мне ты, жена моя, специалистка по вопросам любви, — если это не было любовью, то чем же это тогда было?

Та, вечно горящая на мне, невидимая рубаха, которую я ощущаю на себе и сегодня, была соткана уже тогда. И «не-шрам», оставленный ее рукой на моей коже, тоже уже пылал. И уже тогда я знал: то, что происходит со мной сейчас, станет памятью, а память, она ведь не стирается и не исчезает — если рассеется, снова сгустится, если уйдет на время, снова взойдет. Если потонет — выплывет из пучины.

Дверь открывается. Это Аня выходит мне навстречу. Я чувствую это сводом моего детского черепа. Она называет меня моим новым именем, и я, маленький мальчик с закрытыми глазами и с открытым ей навстречу сердцем, застываю на месте, а потом открываю наконец глаза, и вот она, первая картинка каждого моего дня, — стоит передо мной, улыбается и зовет, а я, с моей открытой фонтанеллой, гол и наг стою перед нею.

Вот так. Еще прежде, чем я повзрослел, и подрос, и потянулся к ее телу, я каждый день, каждую неделю, каждый месяц, весь тот год — зиму и лето, осень и

весну — открывал глаза только ей навстречу. И если это не было любовью, то чем же это тогда было?

\* \* \*

Пройдя еще несколько километров, они вдруг услышали громкую мужскую перебранку и женские вопли, доносившиеся из-за песчаной гряды, поросшей красным раkitником. Мириам тотчас прыгнула со спины Давида, чтобы он мог броситься на помощь. На другом берегу мутного ручья — я подозреваю, что Мириам имела в виду сегодняшнюю речушку Александр, «в те времена» Искандрин, — какой-то чернокожий мужчина в белой галабии\* шарил по карманам низенького худого парня в коротких и широких белых штанах («В брюках клеш», — улыбнулась Рахель) и смешных, выше колен, чулках, пока другой такой же чернокожий держал жертву цепкой хваткой. Высокая крупная девушка стояла поодаль и визжала что было сил.

Апуа тотчас опознал в грабителях мужчин из племени гаварна, которых турки привезли в Страну из Судана. Эти черные люди, нечувствительные к жаре, равнодушные к солнцу и невосприимчивые к лихорадке, жили в любом месте, где рос папирус, — в болотах Хулы, в пойме Иордана, на юге Мертвого моря и в устьях речушек прибрежной равнины. Они насмеха-

\* Галабия — арабская мужская длиннополая рубаха.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ. Поход

лись над москитами, ловили рыбу, доили буйволиц и плели циновки.

Где вплавь, а где вброд, но Давид преодолел наконец течение, все это время не переставая громким криком пугать нападавших. Голос у него был зычный, и чернокожие в конце концов отпустили жертву. Повернувшись к Давиду, они стали что-то ему объяснять, помогая себе при этом широкими взволнованными жестами. Парень и девушка, понял Давид, попросили этих двоих переправить их через ручей, а теперь не хотят платить за переправу.

— Чем я им уплачу? — плаксиво сказал низенький парень. — У меня ни гроша в карманах. Я думал, они просто хотят нам помочь...

Апуа протянул черным монету, дружелюбно хлопал их по плечам тяжелой, внушительной рукой и отослал восвояси.

— Подождите меня здесь, — велел он незадачливым путникам, вернулся на другой берег и перенес через ручей Амуму. Увидев низенького парня, она весело засмеялась:

— Как ты его нашел, Давид?

— Кого?

— Да это же вчерашний скрипач, разве ты не помнишь?

Парень тем временем уже пришел в себя и теперь, увидев, что Давид глядит на него, протянул ему руку, представляясь:

— Гирш Ландау, скрипач. А это Сара, моя жена.



Он даже пристукнул пятками, и все, включая его самого, покатались со смеху, потому что движение было офицерским, а ноги — босыми и никакого звука не произошло.

Теперь и Давид узнал их — худого скрипача с покатою спиной и горбатым носом и его внушительную супругу, что переворачивала тогда для него ноты. Он уже хотел было распрощаться с ними, чтобы продолжить свой путь, но тут Мириам, заметившая, что скрипач с женой все еще несколько перепуганы недавним происшествием, сама предложила им идти вместе.

И вот так получилось, что дальше они уже шли вчетвером, две пары, все время в одном и том же порядке: Апупа, недовольный и слегка раздраженный, впереди, навьючив на себя три сумки и жену в придачу, слева от него и чуть позади — Сара Ландау в золотисто-прозрачных бусах на полной шее, а сзади всех — Гирш Ландау, торопливо перебирая короткими худыми ногами и даже кое-где переходя на трусцу. В руках он сжимал свою скрипку, а глаза неотрывно следили за Давидом и его живой ношей.

— Почему твой муж называет тебя мамой? — спросила Сара.

— Я сама не знаю, — сказала Мириам. — Он называет меня так с нашей первой встречи.

— Странно... — процедила Сара.

— Я тоже так думаю, — откликнулась Мириам.

— А почему он несет тебя на спине? Ты что, беременна? Или больна?

## ГЛАВА ПЕРВАЯ. Поход

— Нет, — сказала Мириам. — Просто я отныне его законная ноша — и по законам раввината, и по законам жизни.

На этот раз Сара промолчала, но шедший сзади Гирш издал странный клохчущий звук, который должен был означать смех, но, так как он запыхался, прозвучал, как завывание.

— Тише, Гирш, успокойся, — остановила его жена и обратилась к Давиду: — Скажи, а если я устану, ты меня тоже возьмешь на спину?

Давид не ответил. Вопросы Сары казались ему назойливыми, особенно последний. Назойливыми и грубыми.

— А тебя можно спросить? — спросила Мириам. — Откуда у тебя такие красивые бусы?

— Это Гирш мне подарил, — сказала Сара с гордостью.

— Я никогда не видела таких камней, — просто-душно призналась Мириам, и Сара торжествующе улыбнулась.

Вечером, на привале, Мириам попросила Гирша сыграть. Но скрипач был, видимо, в тяжелой депрессии, потому что издал лишь несколько жалобных, пилящих звуков, а потом раздраженно отбросил смычок. Но на следующий день он вдруг вспомнил то, что все начисто забыли. Сегодня пятница, сказал он, хорошо бы нам устроить вечером совместную встречу субботы\*.

\* Евреи встречают новый день вечером предыдущего дня (субботу — вечером в пятницу).

Сказано — сделано. Давид отправился в сторону видневшихся вдали холмов — то были уже первые отроги Кармельского хребта, — чтобы собрать там листья дикого чеснока, майорана и шалфея, Сара добавила кой-какие продукты из тех, что несла в сумке, Мириам сварила суп, и они дружно уселись за скромную субботнюю трапезу. Гирш, надо полагать, уже успокоился, потому что после еды сам стал веселить их хасидскими песнями, угостил всех подтаявшими шоколадными «кошачьими язычками» из своих запасов, а потом долго играл им на скрипке.

— Если скрипка получает удовольствие от игры, — сказал он, — то и мелодия получается хорошая.

«А наоборот?» — подумала про себя Мириам.

Давид стал ломать новые сучья для костра, но Мириам сказала, что он мешает ей слушать. И, как обычно при звуках музыки, опять не сдержала слез.

Сара снова полезла в свою сумку и на сей раз вытащила оттуда бутылку вина. От жаркого пламени и крепкого вина их лица покраснелись, глаза зажглись, тела расслабились. Молоды они были все, и детей у них еще не было, и долги не тяготили, и никакие дома с имуществом не привязывали их к месту. Все быстро опьянели: Давид, которому и сегодня одной рюмки достаточно, чтобы налить тело свинцом, тут же задремал, женщины хихикали и смеялись безо всякой причины, а Гирш, который выпил больше всех, вдруг протянул руку к жестяной

кружке Мириам, что стояла, слегка накренившись, быстрым движением выровнял ее и прокричал: «Чашка в опасности!» — на что Мириам ответила таким же возгласом: «Чашка в опасности!» — выровняла его кружку и покатила со смеху, сама не понимая почему.

Костер угасал. Стало холодновато. Гириш вдруг сказал:

— Давайте навсегда останемся друзьями!

И Давид, не открывая глаз, пробормотал сквозь дремоту:

— Давай, только тогда тебе придется порой играть для моей мамы...

Люди меняются, говаривала Амума много лет спустя, и даже ее муж изменился, но некоторые вещи все-таки остаются, какими были. Она, например, с молодых лет любила музыку и продолжала любить ее до самой смерти, а у Апуны «как были куриные мозги, так и остались. Таким он родился, таким и останется».

— А Гириш Ландау, — сказала Рахель, — всю жизнь хотел переспать с нашей Амумой, еще до того, как ее встретил. Он даже сказал как-то, что это судьба ему помешала, сведя ее с Апуной раньше, чем с ним.

— Давайте навсегда останемся друзьями, — повторил скрипач, не обращая внимания на Апу, — навсегда, на всю жизнь. И будем встречаться и навещать друг друга, даже если между нами пролягут реки и моря.

И с этими словами бросил в костер еще несколько веток. Но Давид, который терпеть не мог, чтобы другие вмешивались в дело, за которое он взялся сам, сердито выхватил эти ветки из пламени, молча загасил красноватые огоньки, которые уже облизывали кончики сучьев, поломал всё своими могучими руками и снова вернул в огонь, но уже в других местах и под другими углами. Гирш криво усмехнулся, снова взял свою скрипку и заиграл танцевальную мелодию.

Женщины тут же пустились в пляс и, видя, что Давид все еще сердится, схватили его за руки и подняли силой. Танцевать Апуа не умел, да и не любил. Тело у него было сильное и складное, и обе руки правые, могли работать и вместе, и порознь, а вот танцевать он не умел и не хотел, а сейчас тем более, потому что вино ударило ему в голову. Он смутился, попытался было высвободиться из женских объятий, но только запутался и упал, повалив их обеих на себя. Гирш носился кругами вокруг упавших, играя, как безумный, с такой быстротой, что казалось, будто это несколько скрипачей играют на нескольких скрипках сразу. Давид сбросил с себя женщин и откатился в сторону, пристыженный и еще более сердитый. Больше всего ему хотелось бы сейчас отвести на ком-нибудь душу, да не было на ком.

Гирш вдруг остановился, опустил смычок и крикнул:

— У меня есть еще одно предложение!

## ГЛАВА ПЕРВАЯ. Поход

— Слушайте, слушайте! — с пьяным весельем прокричала Сара. — Слушайте, что скажет моя Гирша!

И сама расхохоталась от того, что спьяну сделала своего мужа женщиной.

— У меня есть предложение, — сказал Гирш и тяжело перевел дыхание. — Если кто-то из нас вдруг умрет, скажем, Давид и Сара, то я женюсь на Мириам, а если наоборот, то Давид женится на Саре.

— Такое вот ужасное предложение, — сказала Рахель, и я удивился:

— Действительно? А почему? — и сел было на кровати, но ее рука толкнула меня назад, лечь рядом. — Что тут такого ужасного?

— Ты не знаешь Гирша. Тебе, наверно, кажется, что он говорил по дружбе и руководился тем гуманным правилом, что ни одного человека нельзя обречь спать в одиночестве — у каждого должно быть рядом тело, за которое можно было бы держаться и к которому можно было бы прижаться в постели. Но у него-то на уме было совсем другое. Не дружба им руководила, и не жалость к человеку, да и у его Сары тоже ничего подобного никогда за душой не было. Гирш Ландау был и остался врожденным ворюгой и паразитом. Он желал жены ближнего своего, а его жена желала мужа жены этого ближнего, и, как все люди такого рода, они готовы были ждать и, ждать, пока не добьются своего. Каким манером эти двое породили такого хорошего человека, как наш Арон, — этого я никогда не понимала...

— Хороший человек? Наш Жених? Я не думал, что ты его любишь...

— При чем тут любовь?! Я его не люблю, но он хороший человек. Это не связано с любовью. Ты что, любишь только хороших людей? Что, жена директора школы, в которой ты учился в первых классах, была хорошая женщина? Ведь их и выгнали-то отсюда из-за нее. А Алону, которая действительно хорошая, ты любишь?

Пухлая нижняя губа Сары Ландау дрожала, а сердце билось так, что другие, казалось ей, не могут не слышать. Но Мириам Йофе только засмеялась:

— Мы еще слишком молоды, чтобы говорить о смерти...

Давид, хоть и пытался протрезветь и собраться с мыслями, никак не мог сообразить, какие последствия могут проистечь для него из неожиданного предложения Гирша Ландау.

— Нет, — отчаявшись сказал он наконец заплетающимся от вина языком. — Нет, у меня есть совсем другое предложение, получше...

— Слушайте нашу Давиду! — пьяно крикнула Сара и снова хихикнула.

— Я предлагаю, — всё так же запинаясь, с трудом выговорил Давид, — пожениться не нам... а нашим детям. То есть, если у вас, к примеру, родится дочь, а у нас сын... значит, поженить их друг с дружкой, и всё. Или наоборот.

— В таком случае, — подхватил вдруг Гирш, — я предлагаю объединить оба наших предложения. Кто за?

И обвел всех совершенно трезвым взглядом. Нацелен он был на свое и упрям и понимал свое превосходство над Апупой, и Давид вдруг, к своему удивлению, обнаружил, что уже стоит во весь свой огромный рост против маленького скрипача и крепко трясет его руку в знак согласия. И обе женщины, хохоча, последовали их примеру, а потом все четыре руки соединились в одно, и все они вдруг замолчали, стоя маленьким смущенным кружком и сознавая, что только что заключили некий важный уговор, хотя он не был ни утвержден вслух, ни подписан на бумаге.

Долгое время никто не мог заснуть. Они лежали рядом, на спине, глаза их буравили темноту, в крови еще бродило вино, желудки были сжаты страхом, как четыре кулака (два маленьких, у Амумы и Гирша, один средний и один очень большой), а в сердцах теснилась путаница мыслей. Мыслей прямых — может ли вдруг и впрямь умереть другой или другая? И перекрестных — а что же тогда действительно будет с женой того или с мужем этой? И побочных — а вдруг это будет моя жена или мой муж, которые умрут? И даже самых страшных — а вдруг это буду я сам или я сама?

Но Апупа, спина и бедра которого горели от тяжести ежедневной желанной ноши и напроочь отвергали даже самую возможность какого бы то ни было обмена, — Апупа думал еще и о другом, и его эти его мысли поднимались и прорастали из его тела, вились, точно колючий вьюнок, и обвивались вокруг тела Мириам, как живая изгородь, и поэтому он повернулся к ней, с



силой прижал к себе и тихо проговорил: «Спокойной ночи, мама...» — в надежде, что она ответит, как обычно: «Ты сделаешь из меня квец», — но она молчала, и он впервые с начала их похода вдруг почувствовал грусть и какую-то тревогу. Даже до него дошло то, что Рахель сказала мне многие годы спустя, — что отныне этот их дурацкий уговор свяжет их невидимой, но прочной нитью, и не только обе пары, обеих женщин и обоих мужчин, но также каждого из мужчин с каждой из женщин и наоборот. И он в первый раз за все время «Великого Похода» уснул раньше жены и проснулся в ужасе: ему приснилось, что к нему сильно прижимается чье-то чужое тело, и, резко открыв глаза, он действительно увидел, что *вот, рядом с ним Сара*, и оттолкнул ее от себя, и заснул снова. А утром, проснувшись совсем, увидел, что Мириам уже не спит, а раздувает небольшой костерок из вчерашних, еще багровеющих головешек. Потом она свернулась на его груди, как всегда, и сказала:

— Погрей меня, Давид, пока закипит чай.

— А где остальные? — спросил он, подозревая, что ему приготовили какую-то очередную ловушку.

— Они встали рано утром и ушли, — сказала Аму-ма. — Гирш сказал, что, может быть, сумеет выступить в Зихрон-Яакове и собрать немного денег.

— Так оно и лучше, — сказал Апу-па, в душе которого мало-помалу воскресали воспоминания о вчерашней разгульной ночи, разъясняя причину теснившей его сердце тоски. Аму-ма молча налила ему горячий чай.

## Глава первая. Поход

Весна приближалась. Зимние анемоны и нарциссы уступили место розовым стебелькам льна и бессмертников, которые у нас называли «кровью Маккавеев»\*, желтизне и аромату первых метельников и отцветавших кассий. Мимо прошел бредущий откуда-то издалека караван ослиц, тащивших соль на восток, в Заиорданье, а по дороге им то и дело попадались встречные пешеходы — то друзья с Кармея в своих круглых шапочках, с густыми белыми усами, что так нравились Давиду, то пастухи из соседней Сабарины, сверлившие их гневными взглядами.

— Туда! — вдруг сказала Мириам, указывая сразу несколькими пальцами влево от главной дороги.

Несколько часов спустя их глазам стала открываться наша Долина, доселе скрытая за низкими холмами. Давид галопом сбежал с одного из этих холмов, с разгона взлетел на другой и застыл:

— Смотри, мама! — и указал огромным радостным пальцем на широкую ровную скатерть, что расстилась внизу под ними.

— Наш Апула не был человеком гор, — сказала Рахель. — В нем не было ни гибкости, ни хитрости. Ни горных ущелий, ни узких террас. Он любил широкие и открытые пространства, и любая расщелина в скалах вызывала у него подозрение — а что она скрывает? Уж конечно, не голубей.

\* Маккавеи (они же Хасмонеи) — руководители национально-религиозного восстания в Иудее (167—142 годы до н.э.), направленного против греческих правителей и эллинизированной еврейской верхушки.

Палец Амумы указал ему на тропу, что тянулась внизу, по краю этой широкой равнины. Апупа пересек рощу оливковых и рожковых деревьев и пошел вдоль гигантских холмистых пальцев, которыми горы вцепились в землю, пока Амума не сказала ему, решительно и твердо:

— Присядем здесь.

Она вытащила из своей сумки головки сыра, маслины и инжир и плеснула немного масла на жестяную тарелку, чтобы макать в него хлеб. Солнце уже зашло. Вдали послышался первый лай шакалов. Где-то запыхтела, заухала сова. Когда Айелет и Ури были еще маленькие, я как-то взял их послушать ночных птиц, и они испугались совиного голоса. Я рассказал им, что эту сову называют сипуха, потому что у нее сиплый голос, и что когда я был в их возрасте, нас приводил сюда директор нашей школы — которого, кстати, звали Элиезер, дети, а жену его звали Аня, и они жили недалеко отсюда, там, где сейчас строят новый магазин «Сделай сам», — и он тоже приводил нас сюда, чтобы послушать ночных птиц.

— И вы боялись? — спросил Ури.

— Нет. А Элиезер сказал, что хотя эту сову называют сипуха, но ее нужно было бы называть пыхтюха, потому что она пыхтит.

— А собаку тогда нужно было бы называть гавкуха, — немедленно загорелась Айелет, — потому что она гавчит.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПОХОД

И, захохотав от радости, стала бегать, прыгать и кружиться с восторженными криками: «Гавкуха! Гавкуха!» Ури молчал и только смотрел на сестру восхищенными глазами.

— У этого Элизера была лысина, блестящая, как луна, — сказал я, а Ури вдруг произнес задумчиво: «Какое красивое имя — Аня...» — и я обрадовался, что ночь скрывает выражение моего лица, потому что одно дело — повторять любимое имя в уме и молча перекачивать его на кончике языка и совсем другое — вдруг услышать его со стороны, из уст твоего сына.

И вдруг у меня вырвалось:

— Она спасла меня во время пожара.

И рассказал им всё. Малы они были тогда и быстро всё забыли, но я рассказал им всё: и о ползшей по земле змее, и об огне, и о молодой женщине с красивым именем Аня, и о том, как мы бежали, и о воде в вади.

— А где она сейчас? — спросила Айелет.

— Они уехали через несколько лет после этого.

— И ты любил ее? — вдруг спросил Ури.

— Чего вдруг? Мы просто сказали ей большое спасибо...

Но правда состояла в том, что через несколько недель после пожара, когда я уже совсем выздоровел, семейство Йофе решило устроить в честь Ани «благодарственную трапезу». Это торжественно-кисловатое название дала предстоящему событию моя мать. Идея принадлежала Амуме, и маму она не обрадовала, но

поскольку она сама всегда боролась за всё, что «необходимо» и «правильно», то поняла, что и этот жест правилен и необходим, и потому спорить не стала.

Опять наглаживались недавние белые блузки и рубашки, опять были вынесены во двор стулья и расставлены тарелки и рюмки, опять были наполнены фруктовые вазы и спрятаны вредные сосиски, и снова Рахель вмешалась в приготовления и произнесла свое постоянное: «Почему пудинг? А вдруг придет кто-то, кому нравится компот?» И, как каждым летним днем, в деревенском небе опять появился ястреб. В сущности, кроме змеи и огня, собрались все герои пожара — а также несколько Йофов из других мест. Мы никого не приглашали, но слухи разнеслись, и некоторые из нашего клана захотели увидеть чужую женщину, спасшую их единокровника от верной смерти. А сейчас увидели и удивились: длинные ноги, которые так быстро и сильно двигались среди пламени, тут натыкались на ножки стульев, сильные руки, с орлиной точностью выхватившие меня из огня, теперь выронили тарелку на траву, пальцы, так быстро обнаружившие мою фонтанеллу, вдруг запутались в ноже и вилке.

Элиезер похлопал меня по плечу, пожал руки всем Йофам, которые один за другим протянули ему свои руки, и кончил тем, что нашел общий язык с Женихом.

— В деревне говорят, — сказал он ему, — что ты соорудил маленький перегонный аппарат...

Дядя Арон от удовольствия даже покраснел — точнее, полилсвел, как это бывает у людей с темной кожей, когда они краснеют, — тут же побежал в дом, чтобы притащить свою самогонную установку, и стал объяснять интересующемуся гостю основные принципы ее работы. Интересующийся гость, со своей стороны, не ограничился теорией, а перешел от принципов к практике и, усевшись на стул, начал проверять продукт теории на деле. Одна медленная рюмка исчезала в его тощем теле следом за другой медленной рюмкой, не оставляя в нем ни малейшего следа. Его движения оставались все такими же уверенными, лысина и глаза — такими же сверкающими, а вопросы и замечания — такими же дельными и толковыми.

Ая смотрел на Аню. Она сидела, опершись спиной на ствол красной гуявы и скрестив ноги на земле, и вдруг сказала:

— Иди ко мне, Михаэль, садись здесь, рядом.

Глаза Йофов буравили мою спину. Я подошел к ней, встал между ее ног и протянул свои ладони к ее ладоням.

— Садись, — развернула она меня затылком к себе, — вот так... — И я сел в растворе ее ног, спиной к ее груди.

Тишина напряглась и углубилась. Лицо моего отца было само любопытство. Моя мама и дядя Арон покраснели. Амума смущенно улыбнулась. Анина рука обняла меня и прижала.

— Обопрись, — сказала она и шепнула мне на ухо: — Теперь мы с тобой будем всегда так сидеть.

Я засмеялся и вздрогнул от струйки теплого воздуха, дунувшего из ее рта в мое ухо, и тогда ее пальцы забрались под мою рубашку:

— Приятно?

\* \* \*

Во сне, а может быть, засыпая, Амума с Апупой услышали еще один новый и странный звук: далекий рев ослов, очень необычный и волнующий этой своей необычностью. Таким пленительным был этот отдаленный хор, что трудно было решить, слышали они его на самом деле или он им только приснился, а если приснился, то не сбылось ли с ними древнее желание всех влюбленных — увидеть вместе один и тот же сон. Так или иначе, когда многие месяцы спустя Амума с Апупой услышали рассказы местных бедуинов о стаде ослов, которые сбегали в болота, нашли там убежище от людских побоев и совсем одичали, они переглянулись с улыбкой.

На рассвете они встали, раздули тлевшие угли и выпили чаю. Апупа поднялся и стал в свою обычную стойку. «На меня, на меня!» — сказал он, а Амума вспрыгнула ему на спину и сказала:

— Давай, Давид, вперед. Хватит нам кочевать и скитаться. Пора найти место, построить дом и основать семью.

## Глава первая. Поход

На широкой открытой равнине, вдали от худого скрипача и его полной жены, от его странных предложений и ее сверкающих бус, к Апуе снова вернулась привычная радость жизни. Он то и дело подбрасывал и раскачивал свою любимую, потому что ему хотелось услышать ее смех, а она, положив ему ладони на виски, направляла его по тропе, что шла в направлении железной дороги, пересекая ее, и за ней переходила через русло ручья Кишон, а там чуть поднималась в гору и исчезала за холмами, где, видно, встречалась с главной дорогой, идущей из Хайфы в Назарет. Но, еще не дойдя до Кишона, они вдруг заметили странный обоз, который выполз из тени холмов Шейх-Абрека, словно отделился от этого «города мертвых»\*, и шел теперь наперерез тропе, по которой шагали Апуа с Амумой. То были четыре больших тяжелых телеги, каждую из которых тянули четыре вола. Одежда и лица мужчин, сидевших на телегах, выдавали нездешнее происхождение. Еще несколько людей такого же нездешнего вида шли рядом в сопровождении могучего пса, близнец которого лежал на последней телеге и смотрел назад, на дорогу.

Амуа выпрямилась, опершись одной ступней на ладонь мужа, а потом даже поднялась во весь рост, держась за его поднятую руку, и стала рассматривать идущих с таким же любопытством, какое они сами с

\* «Город мертвых» — возле Шейх-Абрека в 1920-х годах были обнаружены первые древнееврейские захоронения в пещерах.



Апупой явно вызвали у этих людей. На них смотрели непривычно светлые глаза, на них указывали удивленные пальцы, только и слышно было, что «ах», и «вас», и «ист», и «дас». И тогда Амума, видевший в детстве поселенцев-темплиеров из Шароны и Вильгельмы\*, когда те приходили в их мошав, и даже пару раз сопровождавший своего отца в эти поселения, объяснил Амуме:

— Это немцы-колонисты, наверно, из Хайфы...

Возчики остановили волов, и один из них спросил на иврите, куда идут путники.

— Построить себе дом, — ответила бабушка на смеси идиша и немецкого и опустила со своего наблюдательного пункта на спину Апупы.

— Мы тоже, — сказал немец. — Мы идем в Вальдхайм, а вы?

Мириам заглянула сверху в возы.

— Полно камней, — сказала она Давиду. — Строительные камни, и на каждом написан свой номер.

Апупа буркнул:

— Скажи им, что нам уже пора итти, — и, чтобы подкрепить свои слова, копнул землю носком башмака, заржал и затопал, как конь. Сидевшая на переднем возу немецкая женщина — волосы подстрижены шлемом, лицо заостренное, как у волчицы, — вдруг улыбнулась неожиданной улыбкой, тут же перешедшей в смех. Невеселым и резким был этот смех, первый после долгого молчания, как поняло чуткое ухо.

\* Шарона и Вильгельма — поселения немецких тамплиеров в Палестине.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ. Поход

Пес, сидевший на последнем возу, тяжело спрыгнул на землю, присоединился к своему двойнику, и они вдвоем залаяли гулко и сердито, а маленький мальчик на руках у женщины испуганно заплакал.

— Ша, Иоганн, ша, — сказала женщина.

Горькая складка пересекала ее лоб, складка, которая не раз появляется на лбу людей, переживших беду, отделяя своей резкой чертой то, что было, от того, что есть.

— Откуда ты? — спросила ее Амума. — И где отец твоего ребенка?

Но так как Амума — совсем как я, унаследовавший от нее эту особенность, — обратилась к чужой женщине только в уме, то и немка не услышала ее и не удостоила ответом. Лишь оглядела пронзительным взглядом, которым вдовы с горькой судьбой смотрят на молодую счастливую пару — женщину, у которой есть муж, и мужчину, который несет любимую женщину.

С минуту они смотрели так друг на друга. Никто не произнес ни слова. А потом молодая женщина громко рассмеялась, поудобнее устроилась на плечах мужа и пришпорила его босыми пятками, и Апуа опять заржал и пустился вдаль широким шагом. И пока немецкие возчики покрикивали на своих усталых волов, а их псы беспокойно поднимались из уютной тени под телегами, двое путников уже далеко ушли по близкому мелкому руслу.

Вскоре они совсем потеряли друг друга из виду, и большой ястреб, все это время паривший в небе, развернулся, спланировал к склонам Кармеля, слился с серым фоном хребта и тоже исчез.

— Ты кто? — спрашивает Рахель моего сына в те редкие разы, когда он появляется на свет из своей пещеры, а она — из-под своего одеяла и они встречаются во дворе, как два медведя после зимней спячки.

— Я сын Михаэля и Алоны, а ты?

— А я Рахель, глава семьи.

— Неплохую должность ты себе отхватила.

— А тебя как зовут?

— А я Юваль, очень приятно.

— Юваль с мягким «л» или твердым?

— Юваль с «у» и Юваль с «п».

Они смеются.

— А ты симпатичный мальчик, — говорит Рахель. — Как это тебя еще не послали ко мне ночевать?

Раз в несколько дней кто-нибудь приходит к нему посоветоваться, как защитить компьютер от вирусов. Предлагали арендовать для него машину, чтобы он приезжал к заказчикам, когда им потребуется, но у него нет водительских прав. Он взял три урока вождения и бросил:

— Не нравится мне это. Не может быть, чтобы такое опасное дело было таким скучным.

То и дело к нему звонят люди, прослышавшие о нем от знакомых. «Документ» у них пропал с экрана, исчез «текст» или «файл», потерялось «все, что я написал», — по названию беды я угадываю серьезность беспокойства. Они звонят, раздраженные, отчаяв-

шиеся, изумленные предательством компьютера, который считали своим верным другом: «Ведь он там, внутри, мой материал...» — а вот, не желает выйти.

Ури отказывается ехать к ним.

— Я ни к кому и никуда не езжу. Скажи им, пусть приезжают со своим компьютером сюда, — говорит он мне, когда я появляюсь в его комнате с телефоном в руке и говорю:

— Это один из тех несчастных, к тебе...

— Когда прийти? Когда хотят. Я всегда здесь.

Какой у них выход? Они приходят — со стыдом и тревогой на лице, с компьютером — этой собакой, укусившей хозяина, — в руках. Ури втыкает в него свои жала и провода — пуповину телефона, нервные волокна «мышки», инфузионную трубку электропитания, — так что компьютер становится похожим на умирающего, что лежит на операционном столе, потом нажимает на кнопку, и, пока компьютер стонет, жужжит и просыпается от сна, он сплетает пальцы, громко хрустит суставами, потирает руки, как картежник перед тем, как тасовать карты, и перебирает воображаемые клавиши, видимые только ему одному. А затем принимается работать, и когда он работает, то разговаривает с компьютером примерно так, как Апула разговаривал с новой и строптивой кобылой — тихо-тихо, чтобы она ничего не заподозрила, и успокоилась, и поняла бы, что с ней произошло, только после того, как всё будет кончено: удила

уже протянуты у нее во рту и колени наездника уже прижаты к ее брюху.

— Под каким названием ты его сохранил? — спрашивает он.

И через несколько минут поднимается.

— Это? — указывает он на экран. — Это то, что у тебя пропало?

— Но как?! — восклицает человек. — Как ты это сделал?

— Magic, — говорит Ури и переводит: — «Мэджик». Ты принес дискеты? Сделай копии. Сейчас же. Под двумя названиями. И дома первым делом напечатай.

А иногда, поздно вечером, я слышу из его комнаты пронзительный свист, которым радио закачивает свои дневные передачи. Нет, он не спит. Книга лежит у него на груди, глаза открыты, он читает.

В комнате застоявшийся воздух и нехороший запах. Когда я расталкиваю его, он встряхивается, смотрит на меня и улыбается:

— Что случилось, отец, почему ты не спишь?

— Ты будишь весь дом, — шепчу я. — Выключить тебе радио?

— Да.

Его глаза блестят, белеют в темноте.

— Ты не спишь?

— Все в порядке, отец, я не хочу, чтобы эта женщина застала меня спящим, когда придет.

Эта фраза выводит Алону из себя.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ. Поход

— Что за глупости! — пыхтит она над супружеской чашкой кофе. — Какая женщина? Чего вдруг она придет? Я ему вызову самого дорогого психолога, вот что я сделаю...

И тут из окна слышится его голос:

— Мне не нужен дорогой психолог, мне нужна дешевая женщина.

Именно так. Сонно и насмешливо.

Кроме сыновнего безделья (по мнению Алоны, я виноват и в этом, но у меня нет ни времени, ни желания с ней спорить), я не передал своим детям ничего — ни посредством обучения, ни тайными путями наследственности. Ни ума, которого у меня нет, ни практической сметки, в которой я сам нуждаюсь, ни чувства юмора, полученного ими напрямую от моего отца, который, видимо, пропустил меня по пути к ним, ни творческих способностей, которые пропустили всё наше семейство по пути к кому-то другому, потому что среди Йофов есть земледельцы и судьи, есть генералы и врачи, есть бизнесмены, ремесленники, чиновники, раввины, ученые, инженеры, бездельники и даже учителя, но нет ни музыкантов, ни художников, ни поэтов, ни фотографов.

Я не что иное, как барьер, который нужно преодолеть, камень в ручье, которого касается нога, чтобы перепрыгнуть с берега на берег, самое большое — скромный переносчик генов. Подобно тому как я получил некоторые свойства от Амумы через ее дочь, так и я сам передал своим близнецам высокий рост и красоту

моего деда Апуны. А Айелет получила от меня вдобавок еще и душу моего отца, которого ей так и не довелось узнать, — его юмор, его слегка избыточное влечение к противоположному полу.

А также откровенность. В пятнадцать лет она с гордостью вошла в нашу спальню.

— А ну, посмотрите, что у меня наконец выросло. — И не успели мы с Алоной понять, как она уже задрала свою широкую майку:

— Цилия и Гиля — правда, одинаковые.

Алона засмеялась, я смутился, а наша девочка Айелет начала собирать вокруг себя ухажеров. Тетя Рахель — моногамная, навеки верная, к которой после смерти ее Парня не прикоснулся ни один мужчина, — прозвала было ухажеров моей дочери «женихами», как и подобало той, у кого стихи и переводы Черниховского постоянно лежат возле кровати, но Арон с неожиданной ревностью и решительностью упрекнул ее: «В семье Йофе есть только один Жених — я», — и поэтому Рахель переименовала их в «кавалеров» и теперь очень веселится всякий раз, когда Айелет приводит к нам очередного такого «кавалера».

— Она так радуется, так лучится, она такая красивая, — улыбается Рахель. — Я еще не видела ее дважды с одним и тем же кавалером... — Тут она слегка розовеет. — Наконец-то хоть кто-то в этой семье радуется жизни. Жалко, что мы не все такие.

Мой отец — и моя дочь. Его рука — на всех, и все руки — на ней, и наоборот, и снова всё сначала. Помню,

годы назад, когда мы с Габриэлем были на курсах разведчиков в армии и нас учили тому, на чем специализировался мой отец в Пальмахе, — топографии и ориентировке на местности, Габриэль сказал, что мой отец собрал вокруг себя так много женщин всего лишь для того, чтобы определить свое точное местоположение в мире по максимально большому числу обратных азимутов\*. Но Айелет не нуждается в азимутах — ни в прямых, ни в обратных. Ее место в мире ей точно известно: куда она ни пойдет, мир идет с ней и собирается вокруг нее. И в отличие от моего отца, который прокрадывался к своим женщинам тайком, она приводит своих «кавалеров» к себе домой и делает это открыто.

Каждый из членов клана Йофе имеет свое отношение к нашему Двору. Амума постановила, где он будет построен. Апупа огородил и укрепил его. Жених копает под ним убежища и туннели, чтобы однажды «мы все сказали ему спасибо». Батия соорудила у себя в Австралии его копию. Пнина заключена в нем, а Рахель руководит им. Алона принимает в нем «пашмин», своих восторженных подруг. «Совсем как Страна Израиля в прежние годы!» — восклицают они, а Айелет использует «Двор Йофе», чтобы очаровывать им своих мужчин. Раз-два в месяц большие ворота Двора распахиваются настежь, внутрь врывается городской шум, а вместе с ним — маленький грузо-

\* Обратный азимут — азимут направления, обратного направлению на Солнце.



вой «рено» моей дочери с новым «кавалером» внутри. Гордая и возбужденная, слегка раскрасневшись, она ведет его по двору. Ее ноги подпрыгивают, руки показывают, толстая живая жила, унаследованная от Апуны, пульсирует на длинной крепкой шее, полученной от матери. Ее соски даже в жаркие дни жалят блузку.

Очередного «кавалера» ведут на экскурсию по географическим и хронологическим просторам «Двора Йофе».

— Это наш дом, а там — садовый питомник моих родителей, «Сад Йафэ», так они его называют, но это не по нашей фамилии, мы Йофе с «о», а это Йафэ без. А вон там дом Апуны, бабушки моего отца, главного Йофе, я тебе о нем рассказывала, сейчас он немного болен и живет там со своим старым товарищем, Гиршем-скрипачом, и с дядей Габриэлем и его друзьями, я тебе рассказывала и о них тоже. Вон тот вигвам — это их. «Кавасаки»? Правда, вещь! Это мотоцикл дяди Габриэля, тысяча сто... Представляешь! Ему пятьдесят пять, а он ездит на таком чудовище. Иногда он и меня сажает, и мой отец тоже ездит с ним на разные похороны. А там дом тети Пнины, самой красивой женщины в мире, но мы ее не показываем. А вот эта куча земли — это вырыл дядя Арон, ее муж. Он копает нам тут подземное убежище. Этот старый барак? С душем возле стены? Это длинная история, но душ — он мой. Амума и Апуна жили в этом бараке первое время, а потом там был склад инструментов и мастерская, а

также семейная камера номер 400\*, представляешь?! А потом Амума умерла, и там поселился Гирш Ландау, наш скрипач. Пришел сюда ради нее, она умерла, а он остался.

«Кавалер» несколько ошеломлен. Он смущенно улыбается. Не каждый день судьба выбрасывает человека на берега такого острова — сущая Тасмания, по виду и по времени, этакий Мадагаскар вымерших душ и странных порождений памяти.

Айелет довольна.

— Это моя бабушка, — указывает она на мою мать, которая несет овощи со своего огорода или толкает свою вонючую тачку с удобрениями. — Бабушка у нас вегетарианка, она сама выращивает себе салат. А там, возле «форда-транзита», — это мой отец. Мама хозяйничает в питомнике, а он у нее — садовый работник. Привет, папа! — кричит она — Я как раз рассказываю о тебе.

— Привет, Айелет! — Садовый работник ее матери подходит к ним, демонстрируя вежливость. — Как дела?

— Хочешь познакомиться с моим новым другом?

Я пожимаю ему руку, слышу и тут же забываю имя. Какая разница — ведь скоро и он попадет в ящик с коллекциями моей дочери и будет лежать там рядом со своими предшественниками: деревянный настил

\* Этот номер носит камера для арестованных женщин, служащих в армии, в израильской военной тюрьме в Црифине.

под ним, стеклянная крышка над, булавка пронзает живот и спину.

— Ну, скажи, — правда, он симпатичный?

— «А чего не хватало Ханеле», которого ты приводила на прошлой неделе? Они у тебя все симпатичные.

Через несколько дней, когда она пришла одна, я сказал ей:

— Такой жестокости не было даже у моего отца.

— Брось говорить о жестокости, папа. Я их не выбрасываю. И даже не покидаю. Я их утешаю, укладываю, осторожно закрываю им глазки, укрываю одеялом и иду себе дальше.

— Записку ты тоже вкладываешь? Вид и род, дата и место? — спрашиваю я. — И что, привязываешь к ручке, как новорожденным, или к большому пальцу ноги, как в морге?

— Ну, ты даешь! — смеется она. — Да ты не беспокойся за них. Мои объедки очень популярны в Хайфе и в Тель-Авиве.

— Когда, наконец, у тебя появится что-то серьезное?

— Не светит, па.

Несомненность близкой отставки делает «кавалеров» моей дочери ревнивыми. Они ревнуют не только к ее телу, но, главное, к ее времени. Они сражаются со слишком долгими телефонными разговорами, с ее визитами к друзьям, они требуют для себя то время, которое она проводит на работе, злятся, когда она слишком долго ест. Как мой дед, моя дочь тоже сердит-

ся, когда «суп холодный, как лед», и как-то раз один из ее «кавалеров» взорвался прямо посреди еды:

— Не понимаю, почему нужно есть такой горячий суп?! Ведь это занимает столько времени!

— Много я видела странных вещей в своей жизни, — ворчала потом Алона, — но впервые вижу мужчину, который устраивает сцену из-за горохового супа...

Но я чувствую к ним жалость. Кто лучше меня знает, как жестоко и быстро проходит время, непрерывно укорачиваясь и демонстрируя свое начало и конец одновременно? Ведь даже ко всем своим квадратным и угловым скобкам у меня нет времени вернуться.

< Кстати, по аналогии со «скоростью звука» и «скоростью света» можно было бы представить себе также «скорость времени» и «скорость памяти». Определив промежуток между воспоминанием и тем чувством, которое оно вызывает, можно измерить прошедшее между ними время, как измеряют расстояние по промежутку между молнией и громом. >

Один из «кавалеров» вызвал у меня подозрение, что он женат. Он несколько раз выходил из дома во двор и вел тихие разговоры по мобильнику. Слов я не слышал, он был ко мне спиной, но нетерпеливые шаги во время разговора, опущенные плечи, склоненная голова, моя насторожившаяся фонтанелла — всё указывало, что сейчас он лжет. Кого он обманывал — компаньона или жену?

Я пошел заглянуть в его машину. Из щели между сиденьями на меня глянула маленькая золотоволосая кукла, смущенная, как будто застигнутая на месте преступления.

— Айелет? С женатым мужчиной? Ты сошел с ума? — кричала на меня Алона.

— Может быть, он не женат, но дочь у него есть, это точно. Я видел ее куклу в машине.

— Она может получить любого парня, которого захочет. Зачем ей женатый мужчина? Чтобы оставаться одной в субботу?

— Не беспокойся за нее. Я уверен, что для субботы у нее есть холостяки.

Раз в неделю Габриэль и его «Священный отряд» собирают у всех нас списки заказов, берут мой «форд-транзит» или уводят «ситроен траксьон-авант» Жениха, если тот в очередной раз спустился под землю, и потом возвращаются, нагруженные продуктами. Если закупки делаются в Хайфе, я присоединяюсь к ним, чтобы навестить Айелет в ее пабе. Иногда я езжу с самим Женихом, но тогда он ждет меня снаружи в своем «ситроене» все то время, что я беседую с дочерью. В паб он ни ногой!

— В наше время в такие пабы ходили только английские солдаты и еврейские проститутки!

— Конечно, женатый, а что? — сказала Айелет. — Из тех, которые знают, что почем и почему, и уже с самого раннего детства, — и, когда я не прореагировал, засмеялась: — Ты потрясен?

— Потрясен? — сказал я. — С чего мне быть потрясенным? Что я, рав Овадия?\* Председательница нашего славного женского движения «Наамат»? Я просто не хочу, чтобы тебе было больно, вот и всё.

— Больно, папа? Мои? Почему? Это им больно, не не, — и налила стакан вина, — выпьем за женатиков, а?

— Хватит, Айелет, — сказал я. — Я достаточно наслушался историй о женатых мужчинах и свободных девушках и о том, для кого это плохо кончается и кто в конце концов остается с носом.

— Аллё... — Она вдруг стучит суставом пальца по моей голове, и я отшатываюсь, испугавшись близости ее пальца к моей фонтанелле. — Аллё, па... Я ведь тебе уже говорила — брось ты эти свои номера. Женатые мужчины — это же просто подарок. Они довольствуются немногим, они до смерти хотят доставить удовольствие, они трогательны, они благодарны, а если, не дай Бог, в них влюбляются, они тут же смотрят на своих жен, и вопрос снимается с повестки дня.

Мой отец — вот что она такое. Мой отец, восставший из могилы. Смерть явно пошла ему на пользу. Он уже шести лет, но его не тронь, и кудри у него, как огонь, и у него выросли Циля, и Гиля, и новая рука.

\* Рав Овадия Йосеф — известный израильский религиозный деятель, создатель и духовный руководитель ультра-религиозной партии ШАС.

— И женатые не остаются, — смеется она отцовским смехом. — Они должны вернуться домой. Поэтому можно встать утром, как встают все цивилизованные люди.

— А в субботу, когда они оставляют тебя одну?

— В субботу отдыхают, папа. Даже Бог отдыхает в субботу, а я работаю тяжелее, чем он. А если у тебя, — добавляет она драконово жало к моему молчанию, — если у тебя есть какая-то царапина в твоей семейной жизни, то не вали на меня, «извини и пожалуйста».

И когда я продолжаю упрямяться в своих заботах, она вдруг заявляет, что при всем том у нее тоже есть принципы, «и ты, наверно, удивишься, но есть мужчины, к которым я не прикаснусь даже на необитаемом острове, даже кончиком палки».

— Вот как? Кто же это?

— Мужчины без чувства юмора, скряги, скупые, в общем, все, у кого отсохла задница.

— Что? — «Отец с царапиной» несколько оживляется. — Не понял!

— Мужчины, у которых отсохла задница, что тут непонятного?

— И к каким еще?

— Что «к каким еще»?

— К каким еще ты не прикаснешься даже на необитаемом острове и даже кончиком палки?

— А... Ну, скажем, к мужчинам, которые нетерпеливы к детям, к мужчинам, которые слишком срываются со своей женской стороной...

— Что?

— Сегодня есть новые термины, папа: это такие слишком чувствительные мужчины, и такие мужчины, которые не способны давать, и мужчины, которые срослись со своей женской стороной вместо моей...

На этот раз я смеюсь, высвобождая также тот смех, который сдержал в себе раньше из-за «отсохшей задницы», и Айелет, довольная произведенным впечатлением, продолжает:

— Кто еще? Я не выношу мужчин с бородой, но без усов, и еще — лысеющих кредиторов, а больше всего таких лысых с конскими хвостами на затылке — от этих меня совсем воротит.

— Я вижу, у тебя тоже есть парочка царапин?

— У меня? «У девочки Айелет и кудри, как огонь»? Работа у меня есть. Никаких царапин. Давай, Айелет, вкальвай! Эй, Дмитрий, иди сюда, помоги мне сменить бочку, а ты, па, посмотри, посмотри, какая у тебя работающая дочь, только сначала вынеси стакан пива нашему Жениху. Если ему его принципы мешают войти ко мне сюда, пусть хоть снаружи выпьет.

<«Скорость времени» — это между «видят голоса» и «слышат виды». Память и реальность можно рассматривать как энергию и массу сознания. Память, удаляющаяся быстрее света, может поменять местами причину и следствие и в результате изменить реальность.>



По Долине бродили тогда и многие другие люди, кто в одиночку, кто семьями, словно бы присматриваясь к Стране, а на самом деле ища себе поводыря. Завидев Давида с Мириам на спине, они начали прибиваться к ним — сначала двое, потом трое, четверо, неуверенно, с опаской, и так мало-помалу сбилась небольшая кучка людей, все время шедших за ними следом. Амума заметила их раньше, чем Аупа, потому что ее чувства были острее, чем у него, а наблюдательный пункт — повыше, и поначалу не рассказывала ему о них, чтобы не вызвать его раздражение, даже несколько раз прикрывала ему глаза ладонями, будто бы в шутку, играючи, но в какой-то момент и его глазам открылось, что за ними следует целая компания. Он торопливо опустил, почти сбросил Мириам на землю и помчался к ним, размахивая руками и крича, чтобы они не смели приближаться. Но мужчина, способный нести на плечах жену, — это соблазн, перед которым трудно устоять, в нем ощущается уверенность и надежность, а особенный это соблазн для таких людей, какими были эти — усталые, потрепанные долгими скитаниями, всего страшившиеся, жившие в вечной тревоге и беспокойстве, не находившие, кто бы сказал им: «Туда» или «Здесь».

Так понемногу образовалась не совсем обычная процессия: впереди Аупа с Амумой на плечах, а за ними, в нескольких стах метрах, — растянувшаяся по

дороге цепочка измученных мужчин, озабоченных женщин да детишек, которые не переставая ныли и хныкали, потому что боялись Апуны, который уже не ограничивался угрозами и бранью, но начал отпугивать нежеланных попутчиков камнями.

Мириам, однако, не обращала на них внимания. Всё ее тело было наполнено тревожным предчувствием близости цели. Время от времени она выпрямлялась, упираясь в стремена мужниных рук, а иногда снова становилась ему на плечи, балансируя с неожиданной акробатической гибкостью, и внимательно разглядывала все кругом. И под конец вдруг решительно указала ему на какой-то низкий холм, хотя и сама потом, даже много лет спустя, рассказывая нам об этом, не могла объяснить, чем он привлек ее внимание. Холм оказался дальше, чем она думала, но, подойдя к нему, они обнаружили, что за ним протекают целых два ручья — на берегах одного росли невысокие пальмы, берега другого были скрыты зарослями тростника.

И тут, словно само собой, у нее вырвалось долгожданное: «Здесь, Давид!» — которое остановило Апуна и завершило Великий Поход.

— Сходи, — сказал он, предлагая ей руку как поручень, и бедро как ступеньку.

Он глянул на ручьи, потом поднялся по пологому склону на вершину холма, увидел цепочку людей, поднимающихся за ним, и в гневе бросился им навстречу, требуя, чтобы они немедленно спустились, он собира-

ется построить здесь свой дом и не желает, чтобы они селились поблизости.

— А сто это зносит «поблизости»? — нагло вато спросил один из стоявших перед ним «привязавшихся».

— Поблизости — это если я буду видеть дым из ваших труб, — отрезал Апуа.

— Но это не васа одного территория! — возмутился человек. — Это наса обсая территория!

Странное у него было лицо — одна щека выше другой. С ним были его беременная жена, девочка лет трех, грудной младенец, который уже сейчас обещал вырасти писаным красавцем, и глубокий старик отец, который непрерывно раскачивался в молитве, — длинный, худой, в высокой черной шляпе и черном капоте до земли.

— Как тебя зовут? — спросил Апуа.

— Симон Сустер, — сказал человек, и Амума прыснула, заразив своим смехом всех остальных. Апуа, однако, не засмеялся, и Шимону Шустеру тоже было не до смеха: Апуа навис над ним и с силой толкнул. Шустер упал, и смех тут же оборвался. Люди сгрудились вокруг упавшего, испуганные, смущенные, перешептываясь. Старик отец помог сыну подняться и подошел было к Апуе, но Амума остановила его.

— Идите вниз и селитесь там, у подножья, — сказала она. — Достаточно близко, чтобы чувствовалось соседство, и достаточно далеко, чтобы можно было дышать.

— И вот так, без утверждения бюджета, без обсуждения на комиссиях, без приглашения видных шишек, без церемоний и речей, возникла наша деревня, — сказала Рахель. — Конечно, в юбилейной книге и на каждой «Годовщине Основания» они рассказывают всякие небылицы, но на самом деле эта деревня началась не так, как все остальные. Внизу, у «шустеров», придумали себе идеал, и устав, и историю поселения. Но у нас, наверху, «Двор Йофе» начался так, как всему положено начинаться: мужчина, который несет на себе женщину, и женщина, которая говорит ему: «Здесь». И поле с пальмой, и ручей и холм, и щека на животе, и пальцы в волосах.

Шустеры спорили и кричали, танцевали и пели песни по ночам, посылали «шнореров»\* и принимали представителей, получали пожертвования и финансирование. А Апуа в это время ставил палатку, тащил воду, рубил кусты и тростник, захватывал и столбил земли. Несколько недель спустя он исчез и через два дня вернулся домой с телегой, нагруженной строительными материалами, с двумя ослиами, шедшими позади телеги, с идущей рядом с ними большой собакой и с маленьким светловолосым мальчиком, сидящим на спине одного из волов. В телеге были также коробки с семенами, ящики с рассадой и большой

\* Шнорер — попрошайка (*идиш*). Здесь: презрительное прозвище людей, которых еврейские общины Палестины посылали к евреям Запада выпрашивать пожертвования и которые сделали это занятие своей профессией и средством заработка.

джутовый мешок, из которого Апупа вытащил пуховое одеяло.

— Это телега тех немцев, которых мы встретили по дороге, — сказала Амума. — Та телега, в которой они везли камни.

— Они мне ее одолжили, — сказал Апупа.

— А ослы? И строительные материалы?

— Я у них купил.

— Откуда у тебя деньги?

— Они там строят дом, из тех камней, с номерами. Я немного помог им, и они продали мне в кредит.

— А мальчик?

— Ты его не помнишь? Его зовут Иоганн. Он доставит телегу обратно.

— Один? Ему же еще нет четырех.

— Волы сами знают дорогу, а собака будет охранять, — объяснил Апупа. — Так сказала его мать.

Амума свела волов к ручью, накормила и напоила Иоганна и собаку и отправила их всех домой. А Апупа, эта рабочая бригада в составе одного человека, снова взялся за дело — построил деревянный барак и земляную печь, выкопал ямы для посадки деревьев, а главное, занялся любимым своим занятием — помечать границы. Где — длинными рядами стрелок морского лука, которые Амума выкопала на склоне холма, где — столбами заборов, а где — и просто мощными струями мочи. Ему не мешало солнце, он не боялся ни зверей, ни людей, а свой хлеб он сдабривал дикими травами. Топот его башмаков выгонял полевых мышей из их

нор и шакалят из их убежищ. Он давил змей, топтал скорпионов, и даже наглые гиены уже учуяли новый запах и не приближались к его владениям.

Каждый вечер, когда он возвращался с поля, Аума встречала мужа одним и тем же постоянным и любимым его возгласом, который он и сегодня, маленький и замерзший, иногда вспоминает и выкрикивает из своего инкубатора. «Не входи, Давид, пол еще мокрый!» — кричала она, а потом подавала ему кормовую смесь — для ослов и суп, горячий, как кипяток, — для него. А после еды он рассказывал ей, что сегодня сделал, ложился щекой ей на колени и просил: «Погладь меня по голове, мама», и она проводила рукой по его голове, перебирала каштановые волосы, гладила и хвалила.

Прошли недели, и на холме начали появляться незнакомые ей люди. Они были разными, но всех их объединяла любовь к супу, горячему, как кипяток, и такая же кипучая воинственность. И у всех были длинные ноги и высокий покаты́й лоб.

— Длинные ноги говорили о том, о чем вообще говорят длинные ноги, но лбы — это уже было другое дело.

Вскоре Аума усвоила, что в клане Йофов существует четкое разделение: у одних определяющей является высота лба, а у других — его покатость. Одни говорили, что они «из иерусалимских Йофов» или «из хайфских Йофов», а другие — что они из Йофов Одессы, Черновиц, Москвы или Макарова. Недолгое

время спустя она уже научилась различать их издали — черная точка, а то и две или три приближались по широкой равнине, на которой совершенно невозможно было оценить ни время, ни расстояние: иногда далекие точки приходили через час, иногда близкие — через три дня. Но в конце концов все они неминуемо превращались в очередных Йофов, которые поднимались на холм и говорили: «Мы пришли помочь».

У Апуны не было времени для дотошных и глубоких проверок. Он давал гостю нож и буханку и говорил: «Нарежь». Все Йофы, как я уже говорил, когда речь шла о Дмитрие, работнике Айлет, режут хлеб, прижав его к груди, и тот, кто обращался к помощи стола или, того хуже, доски для резки, получал свой хлеб в качестве пайка на дорогу и отсылался туда, откуда пришел. Те же, кому позволялось остаться, пахали в поле, копали каналы для поливки и дренажа, рыли ямы для посадок и фундаменты для коровника и стен. А по вечерам они садились вместе и занимались тем, чем все Йофы занимаются по сей день: ели, кричали и рассказывали истории. <В каком-нибудь другом месте нужно использовать сравнение Рахели, что истории у нас передаются из рук в руки, как ведра с водой при пожаре.> Они обновляли семейные выражения, сравнивали воспоминания, и люди снизу, из деревни, уже знали, что голоса, доносящиеся из «Двора Йофе», — это голоса семейные: протесты, и крики, и недовольное сопее-

ные, и бесконечные «он», и «она», и «они», и «я», и «ты», и споры о том, что произошло на самом деле, а что должно было произойти и как, и кто, как всегда, виноват, и кто, как всегда, был прав.

— Теперь они там, внизу, знают, кто такие Йофе! — крикнул однажды ночью Апуца, и Амуца сказала ему:

— Не беспокойся, Давид, они знают это с первой встречи.

Из маленького палаточного поселка внизу тоже доносились звуки — иногда пение, иногда игра на аккордеоне, которая вызывала слезы на глазах Амуцы и настораживала ее уши, иногда стук по пустым жестянкам, а порой ссоры, и надо всем этим тянулась нескончаемая нить молитвы, бормотанье старого Шустера, единственного верующего в деревне.

«Я не понимаю, — говорила про себя Амуца. — Еврей должен молиться три раза в день, а этот молится с утра до вечера, не переставая».

А Апуце говорила вслух:

— Спустишь, Давид, посмотри, что у них происходит. И может, отнесешь им от меня немного семян, чтобы посадили овощи?

— Они меня не интересуют, — отказывался Апуца.

— Мы не можем жить в одиночестве, — говорила Амуца. — Хорошие или плохие, но это наши соседи.

— Мы не в одиночестве, мама. У меня есть ты, а у тебя я, и иногда заглядывают родственники.



Амума сама спустилась к соседям, принесла им семена овощей, а вернувшись, сказала:

— Ты не поверишь, Давид... — и рассказала ему, что старый Шустер произвел простой подсчет и нашел, что за неимением миньяна\* он должен каждую молитву повторять по десять раз, — теперь ты понимаешь, почему он молится все время без перерыва?

Апупа презрительно фыркнул.

— Дураки и паразиты, — сказал он и вернулся к своей работе.

— Он не мучился их душевными муками, — рассказывала Рахель, — не участвовал в их спорах, не писал и не читал статьи в их «Деревенском листке». День за днем он работал, а ночь за ночью лежал со своей женой, молясь, чтобы она родила ему сыночек.

— Раньше всего — трех сыночек, — говорил он, — а потом, когда здесь появятся парни, которые смогут ее защитить, — еще и дочку. Казачку. Принцессу.

Он обнимал Амуму, а она смеялась: «Ты делаешь из меня квеч» — и кусала его плечо, чтобы никто не слышал ее стонов. «В те времена» еще не знали, что можно жить вместе без страсти и без детей, и «любовь была любовью, а не чем-то там таким». Тело Апупы не знало усталости, и тело Амумы начало плодиться и размножаться.

\* Миньян — число взрослых (старше 13 лет) мужчин, необходимое для любого еврейского богослужения (10 человек).

## ГЛАВА ПЕРВАЯ. Поход

— А что с твоей любовью, па? Что с той женщиной, которой ты каждый раз касаешься лишь кончиком фразы, пугаешься и сразу переходишь к чьей-то чужой истории?

— Это мое дело, Айелет. Ты можешь стоять за моей спиной, но не вмешивайся, пожалуйста.

И время тоже появилось — далекая черная точка, ставшая тонким ручейком, который, вопреки всем законам гидравлики, взобрался наверх, на наш холм, сильно толкнулся в наши ворота и вошел. Вошел, расширился, стал рекой, доказавшей, что она тоже настоящая Йофа, — и так уже и осталось. Иногда мне кажется, что прошло уже три тысячи лет с тех пор, как Аня поцеловала мой «нешрам», а иногда — что только один час. Иногда я, шестилетний, сижу в «нашей позе», меж ее расставленных ног, ощущая ее грудь своим затылком, а иногда я — старый русский Йофе. А с тех пор как она умерла, несколько недель назад, в Иерусалиме, я — мертвый Йофе.

Я смотрю на свою жену — в зеркало ее глаз, на часовые стрелки ее рук, на утекающий песок ее тела — и сдаюсь. Как мой дед на колени своей матери и своей жены, так я кладу голову на ее колени и жду похвалы и ласки. А утром, за общей чашкой кофе, свидетельствующей о счастливом браке, я терпеливо выслушиваю ее жалобы: на слишком длинный «красный» нового светофора на нашем перекрестке, и на отсутствующий там правый поворот с желтой мигал-

кой, и на плохие указатели, — но время от времени, к великой моей радости, она перестает заниматься городскими недостатками и рассказывает мне о себе: о том, как она «сердится на зеркало», и как взгляды встречающих мужчин проходят сквозь нее, потому что им уже не за что зацепиться и не на чем удержаться, и это уже не те взгляды сверху донизу, которыми ее обшаривали, когда она была «молодая и красивая», — не вонзавшийся взгляд, и не скользящий, не ласкающий, не испытующий, не раздевающий и не обволакивающий, — и она показывает, с помощью двух пальцев и двух рук, те места, куда вот так смотрели на нее в прошлом мужские глаза: трапецию, в вершинах которой уголки глаз и уголки губ, и треугольник, в вершинах которого — острия сосков и холмик лобка.

— Вот так оно, — говорит она. — Сначала качания превращаются в обвевания: взгляд, вместо сверху вниз, скользит справа налево, потом он начинает равнодушно блуждать, а под конец мы все становимся видящими, но невидимыми. Прозрачными.

— Кто это «мы»? — спрашиваю я. — Все женщины или только ты и твои «пашмины»?

— И те, и другие.

— Если тебя это утешит, то мы тоже, — сказал я.

— Кто это мы? Все мужчины или только Йофы?

— Все мы.

— А ты помнишь, Юдит? — спрашивает она меня, потому что такой фразой все Йофы приглашают друг

друга к совместному путешествию по воспоминаниям, и я смеюсь. Юдит Фрайштат давно сбежала, Натан Фрайштат давно умер, но та его фраза осталась в нашем лексиконе. — Ты помнишь, Юдит, как мы встретились? Как ты шел за мной по полю и каким было твое первое слово?

Я смеюсь. Мы с Алоной женаты уже тридцать лет. В некотором смысле она уже больше Йофа, чем я сам. Но каждый раз, когда она пользуется одним из наших выражений, я испытываю удовольствие.

— Конечно, помню, — говорю я. — Всё было очень формально. Ты спросила, как меня зовут, а я спросил, как зовут тебя.

Алона делает глоток из общей чашки.

— Холодный, как лед, — говорит она и гладит мою руку.

Тридцать лет мы женаты, и тридцать из этих лет — хотя она и не верит — я не спал ни с одной другой женщиной. Тридцать лет, а мое удивленное тело все еще, как прежде, пробуждается ей навстречу, — но как автомат. Как чиханье аллергика на восходе солнца, как волосы, встающие дыбом от угрозы, как наш «друг-слюна» навстречу пище.

— Грех тебе жаловаться, — успокаивает она меня. — Судя по тому, что я слышу от моих «пашмин», каково им в постели, так ты еще можешь благодарить Бога.

Каждый вечер мы снова располагаемся в постели друг подле друга в соответствии с тем, что она назы-

вает «фэн-шуй по Иегуде Галеви»\*, — она на востоке, в очках на носу, я на западе, с намерением читать или решать кроссворды, — но каждый вечер мое тело снова пробуждается ей навстречу.

— Успокойся, Михаэль, — говорю я себе, опасаясь того, что сейчас произойдет, — другие мужчины страшатся, что их не поддержит их тело, а я вот здесь, стоя по стойке «смирно», напрягшийся и готовый к бою, с тревогой жду, присоединится ли ко мне мое сердце? Выпорхнет ли и моя душа и пойдет ли передо мной, как оруженосец перед Голиафом, или мне снова придется выйти в бой одному?

Я люблю эту голубую пару слов: «выпорхнула душа» — вылетела, отлетела. Как пара васильков в желтом поле смерти. Мне чужда в них не только одиночество и тоска, но и полная, до окончательной гибели, самоотверженность, и разделяет их не поле словесных могил, а пара цветков — между отлетом души и полем любви.

И действительно. Моя душа вылетает. Но лишь навстречу природе, и рассказам, и воспоминаниям, а главное — навстречу моему отцу, навстречу Ане, которая лежит на спине, вытянув одну ногу и подо-

\* «Фэн-шуй по Иегуде Галеви» — автор насмешливо совмещает модное учение, содержащее правила размещения предметов в доме для их «лучшего влияния» на жизнь людей, и знаменитую фразу испано-еврейского поэта Иегуды Галеви: «Я на Западе, а сердце на Востоке», производя из них своего рода «иудейский фэн-шуй»: расположение тел супругов в постели в соответствии с «глубоко сионистской» фразой Галеви.

гнув другую, — ее взгляд витает между цикламенами и ноготками, легкий ветерок обвеивает ее лицо, а я лежу рядом, на боку, щекой у нее на коленях, ее пальцы играют моими волосами, а когда я поворачиваюсь, чтобы лечь поудобней, я вижу, что моя голова почти укрыта шатром ее платья. Я чувствую ее улыбку. Я расту навстречу ее телу. Я слышу бормотанье, сонный шелест слов, словно лепет снов. Я слышу: ...девочка Айелет, и зонт голубеет... ни угла, ни кола, ни двора... все игра... фонтанелла... Под тем углом, что я лежу, мне видно чистое прямое бедро, сходящееся там со своим двойником, и цветенье куста, и одуряющий сумрак тела.

Ты помнишь, Юдит? Ты помнишь, Михаэль? Ты помнишь, отец? Меня, твоего сына, при жизни твоей и после твоего ухода? Ты помнишь, Рахель? Ты помнишь, Габриэль? «Так это у нас, у Йофов», — когда помнят, то помнят всё, но когда забывают, не забывают ничего. Только тот, кто теряет кровь, или кормит грудью, или изливает семя, тот забывает, но и тогда лишь на несколько часов передышки.

Конечно, эта особенность выгодна прежде всего мужчинам. Да и полезна тоже им, прежде всего. Но у нас, у Йофов, она, как ни странно, передается как раз через женщин. Бабушка Амума раз в месяц, в свои «проклятые дни», становилась совсем беспомысленной, казалась растерянной и потерянной. Все эти несколько дней она выражала свои желания и мысли только движениями пальцев и поворотами головы, да еще

словами — «сейчас», «это» и «еще». Не помнила, с чего начала фразу, не знала, зачем встала со стула, не соображала, где находятся вещи и посуда, названия которых были ей совершенно незнакомы. В те недели, что они были в походе, Апуа не замечал этого, потому что в дороге все время происходят какие-нибудь перемены, каждый день и даже каждый час, и уже нельзя знать, что выпало из действительности, а что укрылось от глаза и что потерялось из памяти. И в первый год жизни на холме он тоже не следил за такими тонкостями — из-за большого количества работы. Но потом, когда они уже жили упорядоченной жизнью, на одном месте, и у них были крыша, и пол, и кухня, и кровать, он с раздражением обнаружил эту странность, потому что первым, что она забыла, были его любимые блюда. В куриных мозгах Апуа хранилась очень простая картина мира, и в этой простой картине любимая еда была признаком любви, а блюда, приготовленные не по его вкусу, — признаком уменьшения этой любви. И когда Аума забеременела, Апуа обнаружил, что ситуация хуже, чем он себе представлял, потому что в течение девяти месяцев беременности Аума ни один день не страдала от потери памяти, но блюда, которые она ему готовила, раздражали его так же, как раньше.

Но так или так, а на втором месяце этой беременности из болот, что за холмом, появилась внезапно

«странная и прелестная пара»: она — костлявая и долговязая ослица, он — маленький слепой араб, оба очень старые и усталые, а за ними прыгал маленький веселый ослик с мягкими кудряшками, нежными веками и большими ослиными глазами.

Старый араб был разносчиком писем. Поскольку он был слеп, чиновник на почте читал ему адреса и номера, и он их все заучивал на память. Новые имена «Давид и Мириам Йофе» сообщили ему, что в Долине появился новый поселок, и он нашел его с помощью ослицы, принадлежавшей, как о том свидетельствовали бледные полосы на ее коричневой шкуре, к стаду диких болотных ослов, сохранившемуся еще с тех незапамятных времен, когда в нашей Долине жили дикие слоны, зебры и бегемоты.

Старый почтальон и ослица доставили конверт, на котором было написано только «Изреэльская долина». Сара Ландау писала, что они с мужем живут в Тель-Авиве, что она «скучает дома» и хочет открыть магазин кухонной посуды, а Гирш «работает чиновником, а ночью играет на скрипке» и пару дней назад подарил ей еще одну нитку бус из золотисто-прозрачных камней, что свидетельствует о его любви, и что она хотела бы знать, как они себя чувствуют, есть ли у них там, на Севере, музыка, помнят ли они их уговор, и если уж речь зашла об уговоре, то не собирается ли кто-нибудь из них умереть, потому что у нас — тут можно было услышать сожаление в ее голосе и уви-



## МЕИР ШАЛЕВ. ФОНТАНЕЛЛА

деть ее толстую нижнюю губу, — потому что у нас еще нет.

Но самое главное, писала она, не родилась ли у вас случайно дочь, потому что она, Сара Ландау, две недели назад родила сына, его имя Арон, но они называют его «Жених».

Аума улыбнулась. Она угостила пришедших хлебом и водой, сыром с маслинами и ослиным кормом и, пока они ели, написала ответное письмо подруге, а потом отдала его почтальону и отправила его и ослицу прежде, чем Апуа вернулся с полей.

«Я беременна, — писала она — Давид думает, что я рожу ему сына, но я знаю, что скоро рожу невесту вашему Жениху».

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### ЖЕНИХ

Пнина, «Красавица Пнина», старшая дочь деда и бабушки, была первой из «четырех насмешек судьбы» — так Рахель называла трех своих сестер и себя. Ровно через три минуты после появления Пнины судьба усмехнулась вторично и родилась моя мать Хана, Пнинина близняшка, а за следующие три года появились еще два сюрприза — Батия и сама Рахель.

Мужчины типа Алупы обычно стыдятся, когда им выпадает такая необоримо невезучая череда дочерей. Стыдятся и обвиняют всех, кого только можно обвинить: своеволие Творца [своеволие судьбы], своеволие супружеской матки — только не себя. Не то — Давид Йофе. О Боге и судьбе он не задумывался, а Амуму винил только в одном: в еде, которую она варила. Что же до Пнины и Ханы, то их рождение, напротив, пробудило в нем великую гордость и страстное желание. Гордился он тем, что у него

тоже родились близнецы, как это принято у всех мужчин из семейства Йофе, и эта его гордость была так велика, что он посадил в честь своих близняшек аллею кипарисов, которая спускалась от ворот «Двора Йофе» к самому подножью нашего холма и сегодня именуется Аллеей Основателей. А возникшее у него страстное желание состояло в еще более жгучем теперь стремлении побыстрее обрести потомка мужского пола — и всем, кого это удивит, я хочу сказать, что на самом деле в такой двойственности нет никакого противоречия. Вполне можно гордиться чем-то одним и одновременно еще более страстно желать чего-то прямо противоположного, и такие гордость и желание могут сосуществовать в одном и том же человеке и в одно и то же время. Одно — как постоянное ощущение радости, другое — как постоянная боль.

В деревне, понятно, слышались насмешливые голоса, и неприязнь Апуны к деревенскому люду теперь объясняли тем, что ему попросту стыдно перед соседями. Нельзя было ошибиться сильнее. Апуна чурался жителей деревни с той первой минуты, когда они потащились за ним в Долину, а что касается стыда, то он вообще никогда и ничего не стыдился: ни того, что сделал, ни того, что подумал, ни того, что породил, ни того, что хотел. Рождение четырех дочерей подряд он понял единственным доступным ему образом: видимо, что-то испортилось в его теле, том большом, точном и сильном теле,

которое верно служило ему с преданностью рабочей скотины, ни разу не сказало ему «не хочу» и ни разу не сказало ему «не могу» — ни когда нужно было работать, ни когда нужно было спать, вынюхивать следы или оценивать расстояние, ни когда надо было сражаться, ни когда надо было взвалить на себя супружескую ношу. И вот надо же — как раз в том деликатном, том таинственном вопросе, где не нужны ни силы, ни усилия, ни решимость, — как раз тут оно его подвело.

Поэтому не стыд он ощущал, но беспокойство, а таких людей, как он, сам факт беспокойства пугает больше его причины — подобно тому как очень сильных людей охватывает страх, когда они вдруг чувствуют боль, или любовь, или усталость, или еще что-нибудь, что напоминает им лязг ножниц и улыбку Далилы. Но в одном мы все в семье уверены: он отнюдь «не поспесил укрыть стыд в глубине дусы», как говорили о нем «нижние» Шустеры, — по той простой причине, что в душе его не было никаких глубин.

Втупору Шустеры уже верховодили в той маленькой деревне, что разрасталась у подножья холма. В полном отличии от «Двора Йофе», слаженного и огороженного с продуманной тщательностью, эта деревня возникла как бы сама собой, без всякого плана [без всякой направляющей руки], «и росла, как сорняк, расплываясь во все возможные стороны». Этакое неряшливо разбросанное, невнятное скопление домов, в котором

разве лишь большие ястребы, то и дело кружившие над ним, могли углядеть подобие чему-то законченному — ну, скажем, половинке большого круглого гумна. Не архитектор планировал его, не строительные комиссии регулировали развитие, а одни лишь эмоции жителей да строение рельефа: любовь прокладывала здесь тропки, ненависть воздвигала заборы, а склоны и канавы теснили поля. В точности как объясняла мне Рахель: «Это взаимные страхи диктовали им расстояния, это их опасения рыли подвалы, и это голод и неуверенность торопили их строить коровники». А дед, отвращение которого к соседям со временем лишь усиливалось и углублялось, в одиночку «работал — и ел — за пятерых»: пахал, и сеял, и расширял, и закрывал бетоном и трубой верхний ручей, и прокладывал границы своего двора, и обозначал их ползучими розами, кустами малины, тяжелыми телами кактусов, огромными камнями и широкими канавами. Осенью у него повсюду цвели длинные ряды Амуминого морского лука, разгораживая поля и делянки, а его заборы, которые сейчас окружают двенадцать драгоценных дунамов «Двора Йофе», не дающих покоя всем нынешним подрядчикам и посредникам, уже тогда начали постепенно расти вверх и вширь, воздвигая вдоль себя шпалеры колючих растений, пока не превратились в конце концов в нынешние могучие оборонительные валы.

— Ты что, готовишься к войне? — спросила Аума, видя, как он вызывает себе на подмогу еще и еще Йофов, роет еще и еще ямы, заливает бетон, вбивает столбы.

— Человеку нужна стена, чтобы он точно знал, что здесь его, и чтобы другие знали, что здесь его, и чтобы он мог себе делать что хочет не на виду у других и без их замечаний. А сейчас, — нагнул он каштановую гриву, — погладь меня, мама, и скажи: «Какие красивые стены».

Несколько лет спустя, когда деревне утвердили бюджет на строительство водонапорной башни, деревенский комитет начал забрасывать Апупу письмами и требованиями, напоминая, что согласно всем законам бюрократии, логики и природы эту башню нужно построить как раз на территории «Двора Йофе», потому что именно в этом дворе находится самая высокая точка деревни. Не буду вдаваться в детали последующих событий, скажу лишь, что, хотя «Двор Йофе» в ту пору уже был обнесен стенами и его большие ворота уже закрывали все входы и выходы, но все те Йофы, которые раньше приходили помочь Апупе обосноваться на холме, были немедленно призваны и поголовно мобилизованы снова, так что в результате, если подытожить всю эту историю с надлежащей краткостью, наша деревня оказалась единственным в Стране населенным пунктом, весь комитет которого два месяца находился в гипсе, а водонапорная башня была построена на самом низком, а не на самом высоком месте.

И еще одна тревога томила сердце Апупы — грыз его страх, который очень сильные мужчины всегда

испытывают перед тем будущим, что расстилается по другую сторону их смерти: кто позаботится о семье? кто защитит? Ведь зятя, понятно, будут «не нашей крови», а на дочерей «нельзя положиться».

А третьим его страхом был страх перед одиночеством. Мужчина, у которого есть сын, пусть даже один-единственный, знает, что он не одинок.

— Это как солдаты в бою, — объяснял он нам с Габриэлем много лет спустя, перед тем как мы пошли в армию. — Ты полагаешься на своего товарища и знаешь, что товарищ полагается на тебя.

И я, который пошел в армию, хотя моя фонтанелла предвещала мне дурное, знал, что, несмотря на эту туманную и тяжеловесную формулировку и на все свои куриные мозги, Апуа прав. Я понял, о чем он говорит: обо всех нас, о мужчинах, о тех существах, что отлиты по одной и той же модели и с одной и той же простотой, которым по себе знакомы пути печали, и напор спермы, и жар нетерпения и которые на своем опыте испытали бурление крови, радость мышц и прочность костей.

— Мужчина, у которого есть только дочери, — сказал Апуа, — ему, конечно, грех жаловаться. От дочерей ему будет и любовь, и совет, и присмотр, и ласка, они скажут ему, что делать, и куда идти, и где остановиться, они передадут его семя дальше, «отныне и в поколениях», и подадут ему суп, горячий, как кипяток, но всё это — одни сплошные догадки и загадки. Поди знай, как такая дочь устроена, поди

пойми, как она действует. Чего она вдруг смеется, насколько она любит, на что она сердится и по какой причине надулась. Что с ней происходит, когда она встает, и почему она вдруг падает на пол.

Даже мой отец, который любил женщин и чувствовал себя хорошо и спокойно в их обществе, говорил, что «женщина, конечно, существо замечательное, гениальное, чудесное, это самое великое изобретение Божье, но... — и тут он тоже вздыхал, — но она не такая, как мы, Михаэль, она очень не простое изобретение Божье».

Когда мы вели эту беседу, я был уже юношей, и отец, возможно, понял, как далеко Аня уже зашла со мной, и очень точно сформулировал для себя мое, еще смутное, ощущение — что мы с ним оба изменяем одной и той же женщине: я — моей матери, а он — своей жене, каждый по-своему, но с одинаковым гневом и по аналогичным причинам.

— Женщины — дело сложное, — сказал он, — и все они вместе, и каждая в отдельности. И у них всё не так, как у нас, когда ты знаешь, что делает каждый твой орган. У них всё работает по-разному. Бог сотворил их так, что они слышат глазами, нюхают ушами, чувствуют вкус пальцами и видят губами, и ты, с твоей дыркой в голове, может быть, даже сможешь это понять.

Мы сидели на двух камнях возле вади, вблизи того места, где Аня когда-то окунула меня в воду, вынеся из огня.



— И ты еще увидишь, Михаэль, когда ты будешь с женщиной, — вначале ты придешь в восторг, насколько продуманно устроены люди, что их тела соединяются с такой удивительной разумностью, а потом успокоишься и начнешь понимать, что это только у женщин всё построено с умом, и что только у них всё устроено разумно, и что их любовь, память, пот, страсть, мысль, кишечник — всё другое и всё загадочное. Они не только отличаются от нас, от мужчин, — они, каждая, отличаются от каждой другой, и каждая отличается от той, которой она сама была четверть часа назад.

<В другой раз он сказал, что, вопреки рассказу о создании Евы из ребра Адама, на самом деле это мужчина — орган в теле женщины, и поэтому мужчина, у которого нет женщины, — просто бессмысленный кусок мяса, а женщина, у которой нет мужчины, она, как и он, мой отец, — калека с обрубком.>

— Это интересно, но я не уверен, что ты прав, — говорю я, а отец смеется:

— Послушайте, послушайте этого опытного человека!

— Чего стоит опыт? — отвечаю я ему. — Ведь ты же сам сказал, что они все совершенно разные.

Отец встает, потому что сейчас взойдет заря и он должен вернуться в свою могилу, встает и говорит:

— Ты знаешь, что я не такой, как твоя мать, которая всегда права. Я — совсем нет. Но ты еще увидишь, Михаэль, что в этом, разнообразия ради, я таки да.

«Ты увидишь»? Мужчине пятидесяти пяти лет, который подводит итог своей жизни, говорят «ты еще увидишь»? Но отец уже поворачивается и уходит, как он ушел и тогда. Все удивлялись: от чего он умер в таком молодом возрасте? У мамы был на это очень ясный ответ, но только я знал правду: отец умер потому, что потерял интерес. Вот он, удаляется — его спина, его плечи, его легкий шаг — и уходит опять. Возвращается к своему покою. Ведь у него еще при жизни была эта способность — витать над «Двором Йофе» и смотреть на нас оттуда. Тем более сейчас, когда он умер. «Так это у нас в семье». У меня, например, есть способность отойти в сторону и вести диалоги с самим собой. У моего двоюродного брата Габриэля есть способность исчезать под маскировочными сетями его платьев. У дяди Арона и моего сына Ури есть способность сосредоточиться и уединиться, у одного — в подземных норах, у другого — в кровати с переносным компьютером, и с книгами, и с женщиной, которая однажды придет. Но Апупа, как и его дочь Батия и моя дочь Айелет, не был одарен ни одним из этих качеств. Бурный и неистовый, защищал он себя и нас, семя его, своей тяжелой работой, криками, возведением стен, рождением детей и обозначением границ.

— Наша Амума любила быть беременной, — сказала Рахель. Сама Рахель, кстати, никогда не была беременной, но размышляла над этим так много, что родила несколько объяснений: «Во-первых, она люби-

ла быть беременной, потому что не любила терять память, а во-вторых (эти слова я просто цитирую, не понимая их смысла), потому что беременность — это для нас, для женщин, наш мужской этап, когда мы наконец-то движемся по прямой, вперед. Не крутимся, как всегда, по нашим обычным кругам, а идем прямо, от начала до конца».

Когда Пнина и Хана начали сосать грудь, Амуме охватила такая забывчивость, что она, бывало, сидела в комнате и ждала, чтобы Апуа вернулся с полей и сказал ей, кто она сама и что это за два свертка, которые только что высосали из нее память. К счастью, Апуа понял, что на такое тело, как у нее, нельзя возложить кормление двух ртов одновременно. Он пошел на бедуинскую стоянку, шатры которой раскинулись за нашими холмами, и привел Амуме оттуда кормилицу. Кормилицу звали Наифа, ей было восемнадцать лет, и она кормила своего третьего сына.

Сегодня эта былая стоянка стала большой арабской деревней, прилегающей к южному кварталу нашего маленького города. Она обеспечивает горожан магазинами, которые открыты в субботу и в праздники, лучшими во всем районе зубным и детским врачами, ночными воплями двух муэдзинов, чьи часы не согласованы друг с другом, а также вкусными овощами, похитителями автомобилей, землемерами и рабочими. А кормилица Наифа с того времени стала настоящей Йофой. Единственная настоящая Йофа

из неевреев. Она знает все наши семейные выражения, воспоминания, рецепты и пароли, и хотя сама не ест нашу пищу, но варит ее лучше, чем любая другая Йофа.

Ее муж, приятель Аупы, уже умер. Ее старший сын, который вместе с ней кормил семью и со временем послал всех своих младших братьев и сестер учиться, всё еще пасет стадо. У нее две дочери-учительницы, три сына — совместные владельцы четырех грузовиков, и внук Иад, доктор наук, историк, который часто появляется на телевидении и ругает сионизм, и Наифа, приходя каждый раз на семейные праздники к Йофам, говорит, что она очень им гордится.

К появлению своей третьей девочки Амума была готова заранее: Наифа стояла в изголовье, на полу были нарисованы мелом стрелки, к посуде и шкафам были прикреплены записки с названиями, а из соседнего кибуца был привезен новый тамошний врач, доктор Халед, чтобы помогать роженице.

Аупа ждал снаружи и, когда доктор вышел и сказал ему, что родилась третья дочь, вошел, поцеловал бледную жену, которая не узнала его из-за потери крови, посмотрел на крошечную девочку, у которой кудряшки горели, как огонь, и сказал:

— Назовем ее Батия.

А потом вышел во двор, вырыл канаву между двумя лимонными деревьями и сказал Наифе, чтобы, когда кончит кормить, попросила своего мужа пойти ключам племени гаварна и принести ему от них циновки.

Спустя несколько дней, когда Амума пришла в себя и вышла во двор, она увидела, что между двумя лимонами залит бетонный пол и повешены стены из циновок, а к центральному столбу прикреплена водопроводная труба, которая всё объясняла: Апупа строил наружный душ.

— Что ты здесь строишь, Давид? — спросила она.

— Я строю себе угол, — сказал он. — Мужчине с тремя дочерьми уже нужен свой угол.

— Угол?! — Она ударила по циновке с внезапным, испугавшим Апупу гневом, незнакомым и неожиданным. — Угол?! Весь этот закрытый двор — твой угол. Все поля, весь этот дом — твой угол. Мое тело — это твой угол. Вот еще новости... угол!

Апупа, потрясенный ее вспышкой, поднял сбитую циновку с земли.

— Не такие углы, мама, — сказал он. — Просто угол для мужчины. Что тут непонятного? Место, чтобы положить в нем пару вещей, место, чтобы побриться в нем без одежды, помыться и потом стоять, и капать, и сохнуть на воздухе.

Он снова навесил циновку, поставил в этом своем углу стул, полку и маленький шкафчик, положил в него принадлежности для мытья и бритвенный прибор, установил шест для чистой одежды и вбил гвозди для грязной и для полотенец. И каждый день, возвратившись с работы, первым делом шел теперь в свой угол, мылся в слабой струе и долго стоял и капал на ветру, пока тело его высы-

хало, а потом шел, чистый и веселый, ужинать с женой и дочерьми — с Пниной, которая еще не выказывала никаких признаков будущей красоты, с Ханой, которая в свои два года еще не была вегетарианкой, но уже имела принципы, и с маленькой Батией, которая из-под свода груди своей кормилицы глядела на отца золотисто-зелеными, смешливыми, возбуждающими глазами и пленила его сердце.

\* \* \*

Своей первой улыбкой Жених, как рассказывают, улыбнулся не отцу или матери, а большим часам на стене. Когда он плакал, Сара предлагала ему грудь, давала соску, тряпку, бутылку, погремушку, куклу — но его ничего не успокаивало. Он орал часами, и Гирш Ландау, который начал в те дни играть в оркестре и приносить домой немного больше денег, убегал из дому с криком: «Этот ребенок погубит мой слух!»

Через несколько дней в доме Ландау появился один из соседей — пожаловаться на вопли и плач. Он глянул на младенца, который к тому времени уже посинел, на игрушки, разбросанные вокруг колыбельки, и сказал:

— Извините меня, что я вмешиваюсь, госпожа Ландау, но по лицу вашего ребенка я вижу, что это мальчик серьезный. Почему вы даете ему играть с глупостями?

Сосед был сантехник, а заодно чинил примусы и керосиновые лампы, и не успела Сара открыть рот — она впервые в жизни получила совет, вместо того чтобы дать его самой, — как сантехник вытащил из кармана своего комбинезона маленький шведский ключ, слегка поиграл им перед глазами ребенка, и тот с поразительной точностью протянул руку, схватил ключи умолк, будто его плач потушили выключателем. Сара Ландау была большой специалисткой по коллекционированию родственников и правилам вежливости, а также по удалению пятен и переработке пищевых отходов, но тут она поняла, что ей еще многому нужно учиться, хотя и не поняла, что в этот самый момент на ее глазах решилась судьба ее сына и в каком-то смысле — также судьба его отца и ее самой.

А сосед тем временем спустился в свою мастерскую и вернулся, неся старые рабочие инструменты, испорченные краны, трубки с резьбой на конце и тому подобные игрушки для серьезных детей. Он притупил и сгладил каждый острый конец, который мог бы поранить или порезать, Сара ошпарила подарки кипятком, как того требуют религиозные правила, помыла и «чисто-начисто» высушила все эти железяки, и после этого на семью Ландау снизошли тишина и покой. Маленький Арон играл ключами и клещами, бил молотками по деревянным доскам и через короткое время уже соединял отрезки труб и привинчивал к ним краны такими опытными и умными пальцами, что Сара начала верить в переселение душ и даже

искать в старых газетах, не умер ли полгода назад где-нибудь поблизости какой-нибудь слесарь или сантехник.

Раз в несколько дней сосед навещал их, спрашивал: «Ну, как поживает наш маленький инженер? Вода из кранов уже течет?» — и протягивал малышу новые подарки. Арон больше не плакал, его мать была счастлива, и единственным недовольным был Гирш, потому что с воцарением тишины и покоя у него уже не было повода уходить каждый день из дома.

Когда Арон немного подрос и начал ползать, он расширил круг своих исследований на все домашние приборы, инструменты и механизмы. Его любопытство разбивало тарелки, срывало занавеси, калечило замки. «Но вершиной всего была его попытка натянуть струны отцовской скрипки с помощью плоскогубцев, полученных на первый день рождения».

«Они закрыли его в детском загончике, но он, не долго думая, нашел, как открыть засов и выйти». А когда на загончик навесили замок, он вскрыл его английской булавкой от своих пеленок, выполз на кухню, и через несколько минут его мать уже бежала за ним вдоль дорожки из разобранных деталей мясорубки и нашла сына на улице, где он лежал в луже черного моторного масла под припаркованной машиной. «Даже ей, со всеми ее познаниями и опытом в деле удаления пятен, не удалось его отчистить, — сказала Рахель и улыбнулась. — И с тех пор он такой темный».



Все эти рассказы этиологического свойства регулярно прибывали во «Двор Йофе», вложенные в конверты, которые доставлял слепой арабский почтальон на своей полосатой болотной ослице. Но вот однажды послышался вдали тяжелый шум и на горизонте появился движимый паром огромный трактор на железных зубчатых колесах. Он медленно полз по прямой в нашу сторону и через несколько дней исчез. Когда оставленные им клубы дыма и пара рассеялись окончательно, выяснилось, что этот шумный трактор проложил дорожную трассу, а еще через две недели он вернулся снова, на этот раз волоча за собой огромный бетонный каток. Затрамбовал, засыпал измельченным базальтом, уплотнил и исчез насовсем.

Маленький, дряхлый, дребезжащий автобус начал навещать нашу деревню. Летом — раз в два дня, зимой — только после конца дождей, как минимум спустя неделю. Правда, дедушка говорил, что на своей лошади да по скрытым болотным тропам он запросто обгонит любую машину, идущую по новой дороге, но это было не более чем хвастовство. Автобус приезжал и уезжал, возил людей и пакеты и однажды выплюнул из себя Сару и Гирша Ландау, которых Амума и Апупа не видели уже многие-многие годы. Сара спросила маленького мальчика, где тут «Двор Йофе», и тот сказал ей «на версине» и указал на вершину холма.

— Как тебя зовут? — спросила она.

— Сломо, — ответил он.

Сара взяла его за подбородок, показала ему, как выдыхают воздух между зубами для буквы «ша» и куда ставят челюсть и язык для буквы «эс», и «это был единственный в истории Шустер, который потом говорил, не шепелявя».

Супруги Ландау взобрались на холм по кипарисовой аллее в честь Пнины и Ханы, и несколько минут барабанили по большим воротам, пока бабушка не услышала их и не открыла. Улыбка счастья и радостной неожиданности озарила ее лицо. У нашего Апуны не было потребности в гостях, ему было достаточно своей работы, своего двора, своего угла и своей любви к жене. Но Амума нуждалась в звуках, и в словах, и в других лицах и в душе уже понимала, что Апунины стены — не только крепость и дворец, но также тюрьма и монастырь.

Скрипач не изменился. Тело его осталось худым и высохшим, нос всё тем же горбатым крючком нависал над тонкими губами, только движения стали немного более нервными, но глаза были такими же голодными и жадными, как в те дни, когда он шел следом за Амумой, а она сидела на мужниной спине. Зато Сара Ландау растолстела. У нее все еще были высокие и веселые бедра, и та же толстая верхняя губа, и прежняя хитрая улыбка, но талия уже потерялась в слое жира, и мясистая подушечка до времени вспухла у основания затылка. Две новые нитки бус висели на ее шее, тоже из тех таинственных, прозрачно-золотистых камней, которые муж

неизвестно откуда время от времени добывал для нее.

— Мы приехали посмотреть на невесту, — сказала она.

С болью и радостью увидел Гирш, что Амума, сама того не зная, очень похорошела. Маленькая она была и тонкая, как и раньше, но работа и дочери влили в нее силы, а такие силы, подсказало ему сердце, это украшение для женщины.

Сара и Гирш поглядели на Пнину и Хану, и Гирш сказал, что они не приняли в расчет, что будущая невеста может оказаться одной из двух близняшек.

— Эта выглядит намного более удачной, — указала Сара на Пнину.

— А чего не хватает Ханеле? — рассердилась Мириам, не сознавая, что этими словами она вводит новое и важное выражение в семейный лексикон.

— Уговор есть уговор, — сказала Сара, — а Пнина родилась первой.

К вечеру Апуа вернулся с полей, и после того, как он помылся в своем углу, они сели вчетвером за стол, начали есть и рассказывать друг другу были и небылицы, проверяя — без лишних слов, в основном взглядами и ударами пульса — достоверность воспоминаний и действенность соглашений.

— А где жених? — спросил Апуа. — Почему вы его не привезли?

Скрипач усмехнулся и сказал, что мальчик мог за время поездки разобрать автобус. Сара запротестовала:

— Что за глупости ты говоришь, Гирш! Ребенок еще мал, а дорога тяжелая!

— У кого же вы его оставили? — спросила Амума.

— У соседа.

Гирш машинально отодвинул чашку Апуны от края стола и произнес свое прежнее предупреждение: «Чашка в опасности». Обе женщины засмеялись, но в душе Апуны пробудилась тревога. Ему показалось, что Сара и Гирш скрывают от них своего сына — может быть, из желания утаить какой-нибудь порок или дефект, — и когда Гирш вытащил бутылку вина, он отказался выпить. Но когда Амума попросила Гирша сыграть, Апуна слушал, как тогда, во время Великого Похода, наклонив свою большую голову и напоминая льва, который силится разгадать какую-то загадку.

Смычок скрипача взлетал и опускался, его губы улыбались, полоска «кошачьих язычков» растворялась на языке. С той давней ночи, когда Апуна сунул ему руку в знак их уговора, сердце его не затихало. Предсердия пульсировали в такт вариантам: «Если в одной семье... а если в другой семье... тогда этот... или на этой...» — а желудочки вытацовывали надежду, что если кто-то и умрет, то это будут Сара и Давид, и тогда Амума будет принадлежать ему.

В душе Сары Ландау, которая отлично понимала, о чем размышляет сейчас ее муж, бушевали свои, но сходные надежды. Давид Йофе не понимал ничего. А Мириам Йофе, сама наивность, — радовалась. И не только она, весь поселок радовался приезду четы Ландау:

вечерние звуки скрипки с воздушной легкостью одолели все стены и заборы и поплыли вниз, скользя по склону холма, а на завтра, когда Амума и Сара спустились в деревенский магазин, гостья начала стрелять во все стороны замечательными советами, которые экономили хозяйкам деньги и облегчали им работу во дворе, в постели и на кухне. У Сары были острый язык и масса смешных и острых рассказиков, которые веселили угрюмых и усталых деревенских женщин, и еще годы спустя в деревне говорили, что это от нее, от своей матери, Жених унаследовал свои небывалые технические способности, а наш ветеринар даже использовал его в качестве иллюстрации интересного принципа «диагонального наследования» — когда бык наследует качество своего семени не от отца, а как раз от матери, а корова, напротив, наследует надой и качество молока не от матери, а от отца.

Гирш и Сара со своей стороны с удовольствием ели в деревне то, чего у них не было в городе: яйца прямо из-под курицы, творог прямо от коровы, фрукты и овощи прямо с дерева и с грядки. Все это приносили Саре деревенские женщины, собиравшиеся на встречи с ней в доме Шустера. Она обучала их всем секретам «хорошей домашней хозяйки» — экономии, эффективности, притворству, тому, как вывести пятна от грязи или от повидла, от масла или от крови и как повторно использовать то, что «вы наверняка выбрасываете, дорогие подруги», и объясняла им все скромные ухищрения бедности, и смешивала для них мази из лимона

и пепла для чистки кастрюль и сковородок, а под конец провозгласила: «А главное, дорогие подружки, запомните — и в деревне надо сохранять женский облик!»

В следующие свои посещения она привезла своим поклонницам книги и журналы, которые были посвящены не семенам и плугам, а другим, но ничуть не менее важным и насущным сторонам жизни, а также разным маленьким и секретным нуждам, которыми «хорошая домашняя хозяйка» воздает себе за свой тяжкий труд, и «всяким люксам», которые в деревне трудно было достать и даже запрещалось называть, — вроде привозной косметики, тонкого белья, специальной соли для отбеливания зубов, поддельных украшений. Но вершины славы она достигла, когда посоветовала Шустерам развесить в комнате их богобоязненного деда зеркала, чтобы у него наконец образовался миньян и он перестал бы молиться один за десятерых и тревожить соседей и коров своими нескончаемыми завываниями.

С точки зрения Апуны, всё это было нарушением установленных правил и границ. Несколько раз он с тревогой замечал, что ворота его двора не закрыты наглухо, и, проверив однажды, что происходит за ними, обнаружил, что ноги Сары Ландау и ее деревенских поклонниц уже протоптали запретную тропу между вершиной холма и домами деревни. Кровь его вскипела. Но еще вреднее оказалась скрипка Гирша. Вначале жители деревни открыли ей окна своих домов, потом стали выходить наружу, а затем начали

взбираться на вершину холма и стояли там, за стенами «Двора Йофе», уши торчком, шеи вытянуты, пока наконец Амума не поднялась с криком: «Так больше нельзя!» — и открыла большие ворота.

Жители деревни толпились у входа. Поначалу они тарасились, робко и с любопытством, точно вассалы-арендаторы у входа во дворец своего сеньора, потом, осмелев, стали втягиваться внутрь, и первыми — женщины, потому что, в отличие от мужчин, не учуяли запах, которым была помечена территория самца-повелителя. Они пошли напрямиком к жилому дому и принялись заинтересованно разглядывать кухню и спальню, а тем временем их мужчины осторожно, трепеща крыльями ноздрей, обходили двор. Они разглядывали сколоченный на славу коровник, осматривали рабочий инструмент, оценивали дойных коров, чья блестящая шерсть и дружелюбные морды свидетельствовали не только о здоровье, но также об уходе, в котором присутствует не одно лишь понимание и толк, но и доброе отношение. И только теперь они вдруг поняли, каков он на самом деле, хозяин этого закрытого «Двора на вершине». Поняли, что за его мрачностью, драчливостью и приписываемой ему глупостью скрываются завидное трудолюбие и такие силы, каких никогда еще не видывали на всем просторе Долины. Эти люди низин были воспитаны в духе взаимопомощи и коллективного труда, в которых есть, конечно, своя привлекательность и благородство, но которые склоняют также к определенной расслабленности и лени, — а сейчас они

вдруг увидели возможности индивидуального усилия в их высшем проявлении. Но одного они все-таки не поняли — что за всем этим стоит Амума. Что всё это сделано ради нее. Что вечером Апупа получит от нее свое пюре с луком, сделанное так, как он любит, что ночью она скажет ему: «Положи голову, Давид» — ей на колени или на живот, и он обнимет ее, и услышит ее «ты делаешь из меня квеч», и почувствует, как ее пальцы гуляют в его львиной гриве, и она скажет ему, куда идти и где остановиться.

А надо всеми этими сложностями жизни всё плыла и плыла в воздухе музыка Гирша Ландау — успокаивая, приглашая, смягчая скрежет упрямых замков и утишая скрип сердечных осей. И губы невольно начинали улыбаться. И глаза начинали сверкать. А ноги сами начинали танцевать. Апупа негодовал: его двор, храм его труда, стал танцевальным залом. К счастью, однако, он решил не ссориться с бабушкой у всех на глазах, тем более что слеза уже ползла по ее щеке и эту дорожку уже невозможно было скрыть. Ни от Апупиных глаз, ни от глаз Гирша, ни от глаз людей, ни даже от ее собственной кожи, которая уже ощутила и покраснела. Дедушка пронес ее через всю Страну, построил ей дом и подарил дочерей, но играть он, увы, не умел, а если пробовал петь — «даже вороны умоляли перестать».

Глаза скрипача прыгали от Апупы к Амуме и от Амумы к Саре. Неприметно для него самого и помимо его желаний смычок объяснял всем слушателям



выражение его лица, которое было отзвуком музыки. Лишь несколько дней спустя, когда деревенские люди осознали и поняли то, что видели, они начали судить, и рядить, и высказывать предположения и даже осмелились довести их до сведения самого Апу-пы. Но тут произошло неожиданное: Апу-па, от которого все ждали, что он использует наконец свой курбач, нисколько не встревожился. «Он артист, — отшвырнул он сплетню. — Артисты — это особое дело».

— Гирша Ландау, — сказала Рахель, — я терпеть не могу. Если тебя интересует мое мнение, то я считаю, что он был и остался человеком небезопасным и невыносимым, и я понятия не имею, почему мой отец терпел его, а сегодня даже симпатизирует ему. Может быть, потому, что отец, со всеми его сумасбродствами, и кулаками, и криками, — человек хороший, а Гирш, со всей его музыкой и скрипкой, — человек низкий и дурной. Он всегда ненавидел нашего отца и в то же время преклонялся перед ним. Не мог дождаться, когда Апу-па наконец умрет и оставит ему свою жену, но в то же время хотел, чтобы Арон женился на Пнине и чтобы кровь наших семей смешалась.

\* \* \*

Раз в год Жених надевает праздничную рубашку — его худое темное тело прорисовывает прозрачные тени в белизне ткани — и едет на старое кладбище в Хайфе,

к могиле какого-то человека по имени Леон Штайн. Этот Леон Штайн был резчиком по металлу, изобретателем и инженером и в начале двадцатого века придумал несколько вещей, самых важных, по мнению Жениха, в истории еврейского народа.

— В том числе, — язвит Алона, — все наши Десять заповедей, великий «Устав мошавного движения» и тот знаменитый фильтр, который этот Леон изобрел для садовых насосов.

Поздним вечером Жених возвращается с могилы своегомессии, озабоченный и раздраженный: «Могила запущена! Еврейский народ не уважает пионеров сионизма!» — и, как каждый год, рассказывает мне, что соратники и ученики установили на могиле Леона Штайна фильтр его имени, который защищает насосы от попадания песка и позволяет удвоить и утроить урожай апельсинов, «и если ты посмотришь на это дело под правильным углом зрения, Михаэль, то поймешь, что именно благодаря этому фильтру стало в конечном счете возможным создать Государство Израиль».

Я не спорю. Ведь и его собственное изобретение, тот скромный примус, что подогревал суп для Апуны, тоже в конечном счете стало причиной великих событий, предрешив исход сражения Монтгомери с Роммелем в Западной пустыне, а тем самым — и исход всей Второй мировой войны. Но даже мое энергичное согласие не успокаивает Жениха. «Это банки его угробили, нашего Штайна, — ворчит он, — и все эти

теперешние чиновники, которые только и знают, что пить кофе в своих канцеляриях».

Когда я был мальчишкой, он не раз брал меня с собой, когда ездил по деревням на починки. Мы отправлялись на его «пауэр-вагоне», во многом — копии его самого: «Оба мы старые и простые, работаем на низких оборотах...» И вдруг — сюрприз! — в прославленном колченогом инвалиде проскакивает веселая искра: «И еще нам обоим достаточно, если роса капнет нам на свечи, — и всё, мы уже не можем тронуться с места».

Во Вторую мировую войну этот «додж-пауэр-вагон» служил машиной «скорой помощи» в американской армии. Сначала он кочевал с одного фронта на другой, потом был передан армии Его Британского Величества, докатил с ней до Палестины, где его списали и в конце концов отдали Жениху. Тот вернул машину к жизни, отладил ее, заделал дыры и покрасил. Особенно старался он стереть большие красные кресты на капоте, крыше и дверях. Но серебристую сирену на крыле, большую, как ведро для дойки, оставил. «Пауэр-вагон» со своей стороны ответил ему долгими годами верности и стараний.

На том месте, где раньше в кузове лежали раненые солдаты, Жених установил рабочий стол в виде стальной доски с размещенными на ней тисками, маленьким токарным станком и вертикальной дрелью. Сбоку он поместил сварочный аппарат, точильный камень, труборез и резьборезчик, а также другие рабочие инс-

трументы, названий которых я не знаю и многие из которых он придумал сам.

— Смотри, — сказал он с гордостью и открыл задние дверцы.

Этого было достаточно. Чудесный шум послышался внутри кузова. Точильный камень, токарный станок, сварочный аппарат, дрель и ящики инструментов сами собой двинулись на нас по блестящим скользким направляющим. Рабочий стол расставил ноги, прихватил по дороге тиски и стал снаружи. Потом Арон включил старую сирену, и вокруг нас начали собираться местные жители: женщины с домашними ножницами и ножами, дети с восхищенно распахнутыми глазами, мужчины с перекошенными на пахоте лемехами, испортившимися компрессорами, забившимися опрыскивателями и заевшими гайками.

Я помню, как он объяснял одному из хозяев:

— Когда гайка тебе сопротивляется, не стоит уговаривать ее словами или набрасываться силой. Она тебе не подруга и не родственница. Прежде всего надо заставить ее насторожиться. Ты делаешь шаг назад, ты смотришь на нее — обрати внимание, смотришь не угрожающе, но решительно, чтобы она поняла, кто здесь хозяин, — и потом ты снова подходишь к ней. Если ты колеблешься, она тебе не поддастся, если нажмешь слишком сильно — она сломается. Понял? Смотри — вот так!

Только повзрослев, я понял, что Арон хитрил со мной так же, как со своими клиентами, и что все эти

действия имеют целью не столько встревожить гайку, сколько вдохновить человека, сражающегося с ней. Но тогда всё это было доказательством того, что Арон не только Жених, но и волшебник.

Он проверял наточенный кухонный нож, проводя лезвием по твердой подушечке большого пальца, уже исчерченной линиями прежних маленьких порезов, и улыбался небольшой толпе, собравшейся вокруг «пауэр-вагона» и глазевшей на его работу. В воздухе разворачивался блестящий хвост сверкающих искр. Точильный камень становился кометой.

— Нельзя, чтобы глаза были только с небом и землей каждый день и с луной каждую ночь, — говорил Жених. — Глазам нужно что-нибудь острое, быстрое, сверкающее, чтобы они получали удовольствие.

И вообще, он любит ножи. Ножи, по его мнению, были первыми орудиями, которые создал человек, «а с того момента, как мы начали создавать орудия, мы стали мастеровыми людьми».

— Но это не так! — сказал я. — Первым орудием был каменный молоток. Так сказал Элиезер.

— Элиезер? Кто это Элиезер?

— Директор нашей школы.

— Это, случаем, не муж той твоей симпатичной подружки, которая вытащила тебя из пожара? Тот лысый, что любит выпить? Ты ему вот что скажи на следующем уроке, твоему Элиезеру: а что такое молоток, если не очень тупой нож?

Я был поражен. Мне было тогда лет семь-восемь, и никто до тех пор не называл Аню «симпатичной» и, уж конечно, не «твоей подругой», во всяком случае, не в разговоре со мной. Я был поражен и самими словами, и тем, что произнес их именно Арон.

— Дядя Арон сказал, что вы ничего не понимаете. Что такое молоток, если не очень тупой нож?

— Скажи своему дяде Арону, — засмеялся муж моей симпатичной подружки, — а что такое нож, если не очень острый молоток? — Улыбнулся и подозвал меня поближе, чтобы никто не слышал. — Приходи к нам и тогда, когда я дома, — сказал он. — Я могу показать тебе кое-что интересное.

Спустя несколько лет, когда я спросил Аню, почему он относился ко мне так хорошо и великодушно, она объяснила, что он всегда хотел познакомиться с другими мужчинами, которые в нее влюблялись.

— Что значит «познакомиться с другими мужчинами, которые в тебя влюблялись»? Я же был тогда совсем маленький, — сказал я с высоты своих взрослых пятнадцати лет.

— Он очень умный человек, — сказала она. — Все думали, что ты приходил из благодарности. Были также самозванные психологи, которые говорили, что сын Ханы Йофе нашел себе новую мать. Но Элиезер в первый же твой приход сказал мне: «Этот ребенок, Аня, которого ты вытащила из огня, влюбился в тебя, как мужчина влюбляется в женщину».

Вопрос затачивания не переставал волновать мысль Арона. Только несколько дней назад он вдруг выскочил из убежища, которое копает для нас под землей, и бросился ко мне, сильно обеспокоенный:

— Где тот нож, который я когда-то сделал для твоего отца, чтобы он мог резать салат одной рукой?

— У Айелет в пабе. Она нарезает им ростбиф.

— Ну, если он у нее, тогда всё в порядке. Просто я не хочу, чтобы мои ножи разбегались куда попало. Скажи, а те два, которые я дал тебе и Габриэлю перед армией? Эти где?

— Они у него, оба.

Его мечтой было заточить лезвие до толщины в одну молекулу:

— Нож должен резать только своим весом, руке остается вести его, как ведут скрипичный смычок или, скажем, хорошую авторучку, на которую даже нажимать нельзя, нужно просто указывать перу его путь на бумаге.

Как и мой отец, Арон разговаривал со мной, как со взрослым, но отец о любви, а он о работе.

— Мужчина должен умереть у своего верстака, — провозгласил он. — Слесарь — с электродом в руке, столяр — с пилой, врач — со стетоскопом. Как царь Саул упал на свой меч, так мы должны умереть каждый со своим инструментом в руке.

— Мужчина должен умереть со своим инструментом в руке, — сообщил я вечером у семейного стола.

Отец и мать почти задохнулись. Она от возмущения, он от смеха.

А иногда, по дороге обратно домой, Арон сворачивал свой «пауэр-вагон» к деревне, что когда-то называлась «Вальдхайм» и в которой когда-то жили немцы, и показывал мне, где жил их слесарь, а где пекарь, а где священник, а где кузнец, и подвозил меня также к их кладбищу, где знал почти всех. Именно там, кстати, он научил меня читать «иностранные буквы». Медленно-медленно, по буквам, читали мы имена на памятниках: Франк, Штехер, Шмидт, Линкер, Олдорф, этот был кузнец, этот мясник, «а этот, — говорил Жених, — выращивал хумус».

Я смеялся — что немцам до хумуса?

— Когда они решали что-нибудь сделать, — говорил Жених со всей серьезностью, — они делали это самым наилучшим образом, и не важно, колбасы это, которые они привезли с собой оттуда, или хумус, который открыли для себя здесь. Есть они его не ели, но выращивать выращивали, и еще как. Лучше всех евреев и арабов, вместе взятых.

И потом указал на одну из могил и сказал:

— А вот это — дядя того немца, который женился на твоей тетке.

Я хорошо помню эти слова. Моя фонтанелла распахнулась им навстречу, а поскольку моя фонтанелла — не только дырка в голове, но также глаз и ухо, колодец и зеркало, и умеет чувствовать вкус, и немного нюхать и немного осязать, то эти слова показались мне и началом истории, и концом заве-



щания, и печеной картошкой, и чернеющим входом в пещеру.

«Рейнгардт», — прочел я, медленно-медленно, букву за буквой.

\* \* \*

Большая ссора между Амумой и Апупой — та ссора, и ненависть, и разрыв, которые обрушились на них, когда Батия вышла за Гитлерюгенда, а Пнина неожиданно забеременела, — всё это было в те дни еще далеко. Поначалу между ними пролегли лишь самые простые и обыкновенные семейные трещинки, из тех, что обычно зарастают и потом открываются снова и снова, но это их не встревожило, потому что между ними было то, «что бывает в начале любви и потом поддерживает ее целую жизнь». Она лишь сердилась на него за простоватость, за вспыльчивость, а главное, потому, что со времени Похода не переставала его любить. А Апупа, у которого и раздражение было простоватым, сердился на себя, что не умеет играть на скрипке, и на Амуму, как я уже говорил, из-за еды, которую она варила.

— Твоя еда делает мне квас! — кричал он.

В наборе ощущений Апупы еда обладала вкусом любви, а в его словарном наборе, напомню, слово «квас» имело смысл чего-то тошнотворного, не «квеч» и не «квоч», а именно «квас», — как тот русский напи-

ток коричневато-бурого цвета, который Дмитрий начал готовить и продавать в «Пабе Йофе».

Понятно, что, как и многие другие йофианские выражения, слово «квас» давно уже употребляется у нас не только в своем первоначальном смысле. Жених, например, называет так и «теперешнюю молодежь», и «средства информации», и правительственных министров вкупе с армейскими начальниками и «этими ослами из кнессета» — выражение, которое он где-то услышал и присвоил с большим воодушевлением, — а также всевозможных делегатов, которые раньше именовали себя «лидерами сионизма», а сегодня превратились в «жалких еврейчиков»: «Взошли в Страну, чтобы стать свободным народом, а теперь стонут, как стонали в галуте». Алона пользуется словом «квас», когда рассказывает о мужьях некоторых своих «пашмин», а я называю этим словом тех дизайнеров, которые то и дело появляются в «Саду Йафэ» со своими клиентами и дурят им головы разговорами о «средиземноморском аромате на пространстве вашей террасы», а также тех клиентов, которым подавай лимонные кипарисы, миниатюрные пальмы и эти огромные модные глиняные кувшины, что так и кренятся набок с томным вздохом: «Ах, нас только что сбросили с древнеримской триремы прямо в пучины кейсарийской гавани...»\*

\* Насмешливое обыгрывание моды на античные древности. Когда Палестина находилась под римским владычеством, Кейсария была ее главным портом, и на дне кейсарийской гавани до сих пор находят древние кувшины и монеты. \*

— А саженцы маслиновых деревьев у вас есть?

— Масличных? — Я подчеркиваю окончание. — Да, есть.

— Эта маслина, она растет быстро? Когда она вырастет?

— Когда мы все уже умрем, — говорю я с удовольствием.

— Может быть, у вас есть уже выросшая, большая маслина?

— Нет, у нас нет уже большой маслины. А вы не хотите посадить молодой саженец и смотреть, как он растет у вас в саду?

— Нет, у меня нет времени так долго ждать.

— А если мы найдем вам уже выросшую, большую маслину, какой вид вы предпочитаете?

— Вид? Какой еще «вид»? Маслина — это маслина. Достаньте мне какое-нибудь старое дерево от арабов. Деньги не проблема.

— Все-таки скажите, сколько вы готовы уплатить.

— Раньше вы скажите, сколько это мне будет стоить.

— Три-четыре тысячи за двух больших маслин.

Я получаю удовольствие от этих издевательств над языком.

— Включая доставку и ямы?

— Нет, — вмешивается Алона, — это отдельно, но зато мы дадим вам бесплатно речную гальку, для вашего палисадника....

Это наш с Алоной «квас». Но Апупин «квас» относился лишь к пище, которую варила Амуна.

— Для рабочей скотины, которая ела только картофельное пюре, куриный суп, селедку и овощной салат, он был привередлив, как французский граф, — сказала Рахель. — Бедная мама готовила его идиотское пюре в точности так, как он любил, — с жареным луком, с маслом и кефиром, с крупной солью, которую он любил чувствовать на зубах, — и я не забуду, как она ставит тарелку на стол, делает этот свой один шаг назад, смотрит на него и ждет.

Апуа нюхал тарелку.

И если нос говорил ему, что она приготовила это пюре вчера, а сегодня только подогрела перед едой, он вставал, хватал кастрюлю и выбрасывал ее через окно. Буквально так.

И с тех пор, перед каждой едой, даже в дождь и в холод, окна у нас в кухне всегда открыты, и обо всем, что могло быть хуже, мы говорим — что мы говорим, Михаэль?

И тут мы с ней произносим — хором, в темноте, с одинаковой интонацией, насмешливостью и любовью: «Пюре пропало, но окно спасено». Эту фразу Йофы по сей день произносят всякий раз, когда случается беда, которая могла бы обернуться катастрофой. Например, когда Айелет в очередной раз калечит свой маленький грузовой «рено», который купил ей Жених, а сама, как обычно, выходит из этого без царапины.

По правде говоря, кулинарные требования Апуы были такими же простыми, как он сам, такими про-

стыми, что он не понимал, почему Амуме не удается их выполнить. Свою селедку, например, он любил со сметаной и с зелеными яблоками. Если Амума нарезала яблоки тоньше обычного, он кричал: «Твоя селедка сладкая, как компот!» — а если толще: «Твоя селедка не может плавать!» Но самый большой скандал он подымал вокруг супа, простого куриного супа, приготовленного вечером в пятницу, в канун субботы, из недельной «курицы, которая не старалась».

Мама, в редкую минуту разговорчивости, рассказала мне, что годы назад, «когда я была девочкой меньше тебя, Михаэль», Апуа как-то рассердился на Амуму, то ли из-за супа, то ли из-за огурцов, которые она сделала маринованные, а не соленые, а может быть, по какой-нибудь другой причине, которая ничего не прибавляет и ничего не умаляет, потому что «полицейский инспектор, как известно, не нуждается в причине». Он с гневом покинул дом, вышел со двора, спустился с холма и быстрым шагом пересек Долину. А поскольку гнев еще не покинул его тело, он тем же махом поднялся по крутой тропе, ведущей к *Мухраке*, и только там, приустав и поостыв, решил, что находится достаточно далеко от дома, чтобы никто не услышал, как он извиняется. Он нагнулся, спрятал голову внутри куста и прошептал: «Прости, Мириам, прости...» — но тут же выпрямился и крикнул «так, что его слышали до самой Хайфы», что он «уже возвращается домой» и придет очень голодный, «так ты, женщина, поставь кастрюлю супа!».

Он крикнул именно этими словами, потому что у нас, в семействе Йофе, не варят и не жарят, а «ставят кастрюлю» и «бросают на сковородку», и его крик, соскользнув по крутому спуску и достигнув Долины, не впитался в землю, а разошелся по всей поверхности этой большой равнины широкой шумной волной. И в результате вся история кончилась тем, что не только наша Аума поспешила «поставить кастрюлю», но то же самое одновременно сделали еще сотни других женщин на просторах Долины: все они бросились ощипывать кур, мыть морковь и нарезать лук, проливая слезы и проклиная каждая своего мужа.

Никто не понял, на что он рассердился.

— Ведь суп не может быть горячее своей температуры кипения, — уговаривал его Гирш Ландау, став свидетелем нескольких таких ссор.

— И уж конечно, не может быть горячее тех своих братьев, которые в памяти, — добавила Рахель.

Что до Аумы, то она сжимала губы до белизны, сдерживалась изо всех сил и выискивала всё новые способы удовлетворить его желание: томила кастрюлю на огне до последнего мгновения, обваривала тарелку кипятком, прежде чем наливать в нее суп, не снимала с курицы кожу, чтобы суп был жирнее и остывал медленней.

— Чего он хочет? — жаловалась она с выражением курицы, «которая таки-да старается». — Что еще я могу сделать?

Но Апупа продолжал свое: зачерпывал ложку, которая «не гнулась от жара», смотрел на нее с выражением «квас», отхлебывал и бурчал:

— Холодный, как лед!

Вермишель и злость делали бурчание Апупы неразборчивым, и крошка Батия увековечила его: «Холодный, как лёд» — в виде загадочного слова «Холокалё», которое со временем стало йофианским паролем, вроде «приятного аппетита», — теперь его произносят в начале каждой трапезы все Йофы, а также некоторые из «пашмин», которым Алона пересказывает наши семейные выражения, — оно их смешит, потому что они не понимают, какой глубокий смысл заключен в этом слове.

Я никогда не мог уразуметь, как это человек, носивший свою любимую на спине, может ссориться с ней из-за глупых мелочей вроде температуры супа. Но Рахель сказала, что для ее отца температура супа никоим образом не была мелочью. Потому что при всем его росте и силе Апупа остался ребенком, потерявшим мать, и он тосковал по той незабываемой, любимой материнской еде, которая насытила бы не только его тело, но также душу и сердце. Насытила бы, и согрела, и успокоила, и утешила — «простая психология простого человека».

— Он не просто так называл ее мамой, — сказала Рахель, — и не просто так устраивал ей все эти скандалы. И если, по-твоему, все это мелочи, то, пожалуйста, скажи: о чем тогда вообще спорить? О больших,

серьезных вещах? Нет! Только о тех маленьких, что лишь немного мешают любви, но зато показывают, какая она хрупкая и ранимая. Потому что если мы будем спорить о серьезных вещах, мы просто умрем.

Британские власти\* прокладывали в то время всё новые дороги по Долине. К нам протянули электрическую линию, в поселке развернули небольшой полицейский участок, и вместо слепого арабского почтальона и его ослицы в Долине начала появляться почтовая машина, которая заглядывала и к нам тоже. А слепой почтальон придумал продавать мороженое. Он ходил по деревням с новым ослом, который был тем маленьким жизнерадостным осленком, что раньше приходил со своей матерью, а теперь стал уже сиротой, рослым и печальным, и от наследия предков сохранил лишь светлые полосы, знание болотных тропинок и склонность реветь именно по ночам.

— Какой симпатичный осел он был, с этим своим «хуржем» — ванильное мороженое справа, шоколадное — слева. — И тетя Рахель облизала губы. — Никто не знал, откуда он пришел, этот слепой араб, и куда он уходит, и кто делает это мороженое, а главное — как это они целый день крутятся на солнце, а мороженое у них не тает.

\* С 1918 по 1948 год Палестина, по мандату Лиги Наций, находилась под британским управлением, которое с годами становилось всё более антиеврейским, что, вместе с необходимостью защищаться от арабских погромщиков, привело к созданию подпольных отрядов еврейской самообороны и к их борьбе против англичан.



Араб ходил по всем улицам деревни, звонил в маленький колокольчик, кричал «бозо!.. бозо!..» и на наш холм поднимался только в конце. Осел поднимал копыто и стучал в ворота, и Апупа спешил к нему отовсюду, где бы он в это время ни находился. Он открывал ворота и угощал осла морковкой или кусочком сахара. У него в кармане всегда были деликатесы для животных: какой-нибудь фрукт или овощ для ослов, быков и кур, кусочек сухого мяса для собак и диких кошек, которых он встречал в поле. Слепому арабу он наливал стакан холодной воды, покупал у него изрядную порцию мороженого и звал своих девочек.

Пнина ела деликатно, «как принцесса ест икру». Хана — которая тогда еще не открыла для себя вегетарианство и опасности, таящиеся во всевозможных ядах, — уничтожала свою порцию со страстью и жадностью. Рахель не любила мороженое. А Батия, которая унаследовала от отца его любовь к сладкому, ела с большой сосредоточенностью, медленно чмокала и раздумывала над каждой молекулой.

— Не фрукты, — не раз кричал Апупа, когда Амума подавала ему на закуску грушу или яблоко с медом. — Дай мне сладкого сладкого! — И Батия, тогда двух- или трехлетняя, тоже уже стучала ложкой по столу и кричала с ним вместе: «Сладкого сладкого!»

Раз в несколько дней нападала на этих двоих та безумная страсть к сладостям, о которой Айелет говорит: «Заторчало у них на сладкое», — и когда родилась Рахель, стало окончательно ясно, что из всех четырех

дочерей Батия единственная будет маленькой и изящной, как мать, но упрямой и воинственной, как Апупа. Иными словами, ей достались два качества, которые любит в дочери всякий отец: тело от его жены, а душа от него самого. Проще говоря: его душа в ее теле. И что тут ходить вокруг да около: то, чего желает себе каждый мужчина в качестве любимой. Как и он, она держала, и ударяла, и писала, и работала что правой, что левой рукой одинаково. Как и он, кричала и сбрасывала со стола блюда, которые ей не нравились, и ела пенку на молоке, пренебрегая отвращением матери и сестер. Как и он, ссорилась с бессловесными вещами, если они не выполняли ее желаний.

Мы с Габриэлем и собакой еще не успевали выйти, а она уже просыпалась вместе с отцом, и пока он сидел на своей деревянной веранде, колотя воображаемых скорпионов и шнуруя с симметричной силой свои рабочие ботинки, она уже ходила по двору, осматривала каждую деталь в каждом углу и звала: «Иди посмотри, папа», и «Что-то здесь испортилось, папа», и «Кажется, кто-то пробовал здесь залезть к нам, папа» — точь-в-точь, как одна из тех маленьких и чутких собачонок смешанной породы, которых крестьяне выращивают во дворе, чтобы они своим лаем призывали к делу большого и глупого сторожевого пса. И хотя телом она была меньше всех других сестер, но вскоре начала выходить с отцом в поля. Как он, пахала, и сеяла, и косила, и в десять лет заслужила прозвище «катруз», на языке отца — землепашец.

К вечеру они вместе возвращались с поля. У Ханы уже был тогда свой огород, где она работала после возвращения из школы и до захода солнца, Амума и Пнина, окончив работы в доме и во дворе, сидели на веранде, пили чай и следили за отцом и сестрой, поднимающимися с полей. Издали они иногда казались двумя черными жуками — один большой и тяжелый, другой — маленький и юркий — носился кругами вокруг него. А иногда они казались одной большой точкой, которая, приближаясь, становилась большим мужчиной, несущим на спине маленькую девочку.

— Он берет ее на спину, — говорила Пнина.

— Она заслужила, — сказала Амума, — она тяжело работала.

— Как брал тебя.

— Она помогает ему, а я уже совсем не легкая.

Когда они входили, Апупа забрасывал руку назад, хватал дочь за воротник рабочей блузы, поднимал, как поднимают малого щенка, и переносил вперед, к себе лицом. Иногда даже немного встряхивал ее в воздухе, чтобы она завизжала от удовольствия, а потом обнимал. Батия смеялась: «Ты делаешь из меня квеч», — и он спускал ее на землю. Потом они шли помыться. Батия в душ в доме, Апупа в свой угол из циновок. Страхнув капли и обсохнув на ветру, он одевался и с шумом подымался на четыре деревянные ступеньки, чтобы Амума услышала и крикнула его любимую фразу: «Не заходи, Давид, пол еще мокрый!» Он ждал, а потом они входил в кухню вмес-

те — босые, вымытые и усталые, — чтобы получить свой обед и крикнуть: «У меня квас!»

— Возьми и меня к себе на спину, — говорит Айелет.

— Еще чего!

— Тогда дай потрогать.

— Что? — пугаюсь я.

— Твою дырку, в голове.

— Кончай с этим, Айелет!

Наученный опытом, я встаю и поворачиваюсь к ней. Она уже не первый раз пытается добраться до моей фонтанеллы, этого моего заповедного уголка, правда очень маленького, но во всех возможных смыслах — моего. Запретного для касания, для ощупывания, для игры и для вторжения.

— А почему своему отцу и той своей подруге ты позволял?

Я отступаю, а Айелет продвигается ко мне. На таком расстоянии ее преимущество в росте становится реальным и угрожающим. Ее длинные руки размахивают, тянутся, стремятся к моему темени.

— Кончай с этим, Айелет!

— Как она назвала эту дырку? Фонтанелла?

— Ни в коем случае. Кончай с этим! — Сейчас я уже кричу.

— Я покажу тебе мои Цию и Гилю.

Меня охватывает отвращение:

— Они меня не интересуют. Показывай их своей матери. А сейчас выйди!

— Они тебя да интересуют. Они близняшки, значит, они из твоей семьи, а не из ее.

— Выйди, я говорю тебе! Выйди!

— Тогда возьми меня на спину, как Апупа брал бабушку и твою тетю Батию.

— Если бы мы были наоборот — я его размера, а ты ее, может быть, это было бы возможно.

— Ты не хочешь поднапрячься для своей дочери?

— Оставь меня, Айелет, пожалуйста.

— Тебе грустно, папа?

Я снова усаживаюсь на стул, поворачиваюсь к экрану компьютера, спиной к дочери.

— Может быть, придешь ко мне в паб и подхватишь себе девочку?

— Айелет, хватит!

Она снова за мной, опирается на мое плечо, заглядывает и читает эти самые слова: «Коснись моей головы, Айелет, выше, посредине, тут, это то, что ты искала? Ты чувствуешь?»

Ее глаза читают, направляют ее палец, он движется вокруг моей фонтанеллы, скользит к ее краю.

— На тебе можно играть, как на пустом бокале, папа, — говорит она.

— «На тебе можно играть, как на пустом бокале, папа», — пишу я.

— На тебе можно играть, как на пустом бокале, папа! — восклицает она. — Тебе приятно?

«Тебе приятно?» Ури ошибся. Пиши я ручкой, эти слова выдавали бы дрожь.

- Нет.
- А так? — Она нажимает, очень осторожно.
- Так мне стирает память.
- Почему вы назвали меня Айелет?
- Не назвали, это только я.
- Почему?
- Потому что это красиво.

\* \* \*

Мой отец хотел «жить в свое удовольствие»: есть, любить, отдыхать, смеяться, работать, наслаждаться. А мать, которой все эти понятия, а главное — удовольствие, были чужды, шпыняла его угрозами и укоризнами: «ты обманываешь свое тело», «тело помнит все, что ему сделали!», «ты еще уплатишь ему с процентами, как ростовщику!».

У тела моего отца было несколько очень приятных воспоминаний. Отец говорил:

— Главное, что я не обманываю твое тело, — и дружелюбно улыбался.

Мать покидала комнату — кап! — с выпрямленной спиной — кап! — в ярости — кап! — и он тоже покидал комнату, шел к моему лазу и через него выходил к Убивнице.

— Ханеле всегда требует, — говорила Рахель. — Как Господь Бог. Оба они всегда требуют и оба всегда правы.

А Хана говорила, что Рахель — «девушка простая», со смехом повторяла фразу из их детства, которую та говорила по пятницам, когда они помогали Амуме готовить на субботу: «Может быть, придет кто-нибудь, кто любит компот?» — и постоянно заканчивала, что, родись Рахель на грядке, она была бы кабачком. Кабачок — овощ послушный и простой, объясняла она, принимает любой вкус и любое требование, «немного похож на баклажан, но менее интеллигентный».

Но, несмотря на всю свою неколебимую правоту и вопреки ее познаниям в овощах, которые проникли даже в мир ее метафор, на сей раз она ошибалась. В послушном кабачковом сердце Рахели набухали дикие ростки ожидания — мнительные, медлительные, толстокожие, — которые не расцветают по требованию земледельца, не приобретают вкус по рецептам поваров и, уж конечно, не выполняют тех надежд, что возлагают на них вегетарианцы.

— Ей уже было семнадцать, а она еще сосала палец, — вспоминала мама с презрением в голосе и «квасом» в наклоне шеи. Не эстетическая или дентальная сторона сосания пальца беспокоила ее, а тот факт, что, сося палец, «мы вводим в заблуждение слюнные железы». Так она сказала, и отец немедленно с ней согласился, объявив, что Рахель нарушает категорический запрет: *Не изливать слюну впустую.*

Амума и Апупа тоже не выносили привычку младшей дочери сосать палец, и, когда все их попытки

отучить ее окончились впустую, Гирш предложил им попросить помощи у его жены.

— Она даже меня отучила, — усмехнулся он.

Сара намазала большой палец Рахели вонючей мазью и привязала ей руку к боку, но и это оказалось впустую. В конце концов они решили, что выхода нет, придется прибегнуть к той жесточайшей мере, которая были тогда в ходу против неисправимых сосателей пальца, и смазали большой палец девочки смесью сливочного масла и давленого острого перца «шат».

Апуа поставил возле нее стакан холодной воды, Амуа сбежала в поля, чтобы не слышать ее воплей, а Рахель сунула палец в рот, чуть застонала, поморгала, и изумление, исказившее ее лицо, сменилось радостной улыбкой. К вечеру она прикончила всю смесь, и Апуа, очень развеселившись, попросил у Ханы посадить в огороде, который он ей выделил, «заодно и несколько острых перцев для малышки».

Даже сейчас, состарившись, Рахель иногда сосет палец, особенно когда смотрит на диаграммы и таблицы на своей биржевой «Стене Акций». Ее левый большой палец во рту, пальцы правой нетерпеливо барабанят по телефонной трубке, а глаза ищут странные корреляции, вроде роста и падения акций в отношении к проценту влажности на прибрежной равнине или к количеству морганий телеведущего.

— Это помогает мне понять. — Она вынимает палец изо рта (иногда он зеленый, иногда красный, в зависимости от цвета аджики, в которую она его окуну-



ла) и звонит, раздавая указания. — Сейчас не мешай, Михаэль, — говорит мне легкое движение ее нетерпеливой руки, — сейчас я зарабатываю для Семьи.

Моя мать утверждала, что ее младшая сестра никогда не сказала ничего интересного, не написала ничего интересного и, как она подозревает, никогда не подумала ничего интересного. Правда, ее фраза: «Может быть, придет кто-нибудь, кто любит компот» — вошла в словарь семейных выражений и в пожирании острых перцев тоже есть своеобразная прелесть вегетарианского самоистязания, но за вычетом этого Рахель была обыкновенным ребенком и, в отличие от своих сестер, не демонстрировала никаких качеств, заслуживающих упоминания: не была такой красивой и послушной, как Пнина, или такой всегда правой, как Хана, или такой самостоятельной и решительной, как Батия. В сущности, у нее не было таких свойств, которые суммируют человека в одном слове, подобно бирке над его головой [подобно свойству, с которым он будет сражаться всю свою жизнь или покорится и даже сделает его своим знаменем].

Годы спустя, когда Аня расспрашивала меня о членах моей семьи, я объяснил ей некоторые из наших имен и выражений и рассказал несколько семейных историй: об Апуе, носившем Амуму на спине, о том, как моя мать стала вегетарианкой, о Красавице Пнине, которая не выходит из дому, о Юбер-аллес, что вышла замуж за немца и ушла с ним в изгнание, и о Рахели, которая не может спать одна, и в один прекрасный

день меня тоже пошлют спать у нее. Я рассказал ей множество историй, в надежде, что она встанет и разделенется, но Аня не разделась, только засмеялась и сказала: «А Рахель — моложе всех, но ума палата: поиграться вместо кукол пригласила брата». Этих стихов я не знал, но по их мелодии понял, что и они принадлежат Каде Молодовской, да и из самого цитирования тоже, потому что Аня читала мне или декламировала наизусть только стихи Молодовской.

Не вызывая ни в ком особого интереса, училась Рахель жить тихой жизнью кабачка: уже в четыре года сама научилась писать и читать и долгие часы проводила за размышлениями, за сосанием пальца, за чтением, за длительным рассматриванием, развлекавшим ее сестер: «Она заучивает на память потолок» — и пугавшим ее мать: «Кто женится на девушке, которая все время смотрит в землю?»

Но когда ей исполнилось шесть лет, произошло некое событие, доказавшее, что в любом человеке, даже самом обыкновенном и предсказуемом человеке-кабачке, скрывается «игральная кость» неожиданности. Поэт Шауль Черниховский приехал тогда в гости в школу, и Рахель сплела ему маленький венок из полевых цветов, спрятала у себя в ранце и, когда поэт остановился возле учеников, выстроенных в его честь у входа в деревню — «в белых блузках, с флажками и, поскольку он был врачом, также с подстриженными и чистыми ногтями», — вырвалась из удивленной группы, прошагала прямо к нему и поднесла ему свой подарок.

Директор школы <выяснить, как его звали>, учителя, ученики и особенно ее соклассница Шошана Шустер, назначенная поднести Черниховскому официальный букет от школы и уже изобразившая на лице застенчивую улыбку, которой она научилась после длительных тренировок в зеркальной комнате своего дедушки, — все застыли на месте. Но поэт, то ли потому, что понял, то ли потому, что нет, поднял Рахель на руки и поцеловал в обе щеки.

— А может, так и лучше, — сказал тогдашний директор школы <Яков Левитов?>. — Что, если бы доктор Черниховский спросил Шошану Шустер, как ее зовут? Сусана Сустер ославила бы насу деревню на всю Страну.

Ты помнишь, Юдит, нашего Левитова? Крупный человек, любитель петь и есть, с громким смехом и миндалевидными глазами, «узкими-узкими, как у настоящей китаянки». Через годы после той истории он заболел болезнью, которую «в те времена» никто не осмеливался назвать настоящим именем. Даже моя бабушка, любившая точность в словах, не посмела сказать «рак» о своей болезни. В «те времена» у людей была взаимопомощь, любовь была любовью, а не чем-то там таким, детей учили вежливости, но рак и Бога их настоящим именем не называли\*.

\* Еврейская религия запрещает называть Бога его «настоящим именем», вместо этого употребляется просто «а-Шем», то есть «Имя». Например, «барух а-Шем» означает «слава Богу».

Свой аппетит Левитов сохранил, но тело его исхудало, смех стал пугающим. Я помню, как однажды он пришел в огород моей матери, его бывшей ученицы, посоветоваться с ней по вопросам питания и здоровья.

— Хана, — сказал он, — я не верю в такие вещи, но ты моя последняя надежда.

Она была с ним так жестока, что трудно поверить. Вместо того чтобы дать ему какую-нибудь диету из чеснока и ромашки, которая вселила бы в него надежду, она сказала ему, что из-за «запущенности», до которой он себя довел, даже вегетарианство его уже не вылечит. И, не удовлетворившись этим, добавила:

— Надо было думать об этом раньше, а не вести безответственный образ жизни.

Левитов сказал:

— Извини, Хана, я не буду больше тебя беспокоить, — и ушел, а спустя несколько недель приехали Элиезер и Аня: он — чтобы заменить умершего директора, а она — чтобы вынести меня из огня. Вот вам: своей смертью Левитов спас мою жизнь, а я почти забыл его имя.

Усы Черниховского щекотали шею Рахели, приятный запах исходил от его седых кудрей и щекотал ей ноздри. Он спросил, как ее зовут, и предложил:

— Не говори «Йофе», говори «йафэ», потому что ты девочка красивая, а в Стране Израиля говорят на правильном иврите!

Она ответила ему:

— Но мы Йофе с «о»! — И тогда Черняховский засмеялся и погладил ее по голове. Слишком еще маленькая, Рахель влюбилась в поэта любовью безысходной и безнадежной и, зная, что он больше никогда не приедет в их деревню, надолго поселилась в школьной библиотеке, чтобы переписать его стихи себе в тетрадь. Медленно-медленно, высунув язык, заучивая до последней запятой стучащим от волнения сердцем. Слишком маленькая, чтобы понять все слова и найти все ответы, она с тех пор знала на память многие из его стихов и до сих пор может декламировать их без запинок и ошибок.

В тот год время снова вернулось из своих дальних странствий и, заявившись проверить, что происходит во «Дворе Йофе», обнаружило, что Батия работает с отцом, ест с ним мороженое и науськивает его на врагов, Рахель переписывает стихи, Хана выращивает овощи, а Пнина помогает матери, говорит с ней о музыке, а летние праздники, Песах и Суккот, проводит с Ароном, приезжающим в деревню, чтобы работать, учиться, играть с девочкой, которая станет его женой, и знакомиться с правилами и выражениями семьи, которая будет его семьей.

— Это хорошо, что он приезжает, — говорил Аппа. — Заработает себе здесь загар и мышцы и станет настоящим Йофе, совсем как мы все.

Но Жених, несмотря на свое пылкое желание, не стал «как мы все». В загаре он не нуждался, будучи

темным от природы, и мускулы не у нас нарастил, а принес с собой из дому — не те упругие, точеные мускулы, что у крестьянских сыновей, а простые, практичные мышцы мастерового человека, которые не перекатываются под кожей и не выставляют напоказ свои вздувшиеся жилы, но зато «имеют разум», как он сказал мне сам во время одной из наших поездок с редким для него и неожиданным горделивым выражением лица: у них есть разум, и уставать они не устают, и умеют работать сами, чтобы мозги «тем временем» могли думать о следующем действии.

<Было у него еще одно выражение, не вошедшее в наш семейный лексикон, но тоже говорившее о серьезности, с которой он относился ко времени: он постоянно говорил «Захвати назад» — в смысле «Никогда не иди с пустыми руками». Например: «Ты в курятник? Захвати назад косу из сарая», чтобы каждая клеточка времени была использована полностью и не было «специальных хождений». К тому же разряду относится его заявление, что всегда нужно что-нибудь делать, пока греется чайник, а не ждать, сложа руки, пока он закипит. «Знаешь, сколько времени за жизнь люди проводят в ожидании чайника? Годы работы зря пропадают!»>

В более короткие праздники — Пурим, Шавуот, Хануку и Рош-а-Шана — Пнина ездила к нему, в Тель-Авив. Алупа провожал ее на деревенскую автобусную станцию, которая была тогда просто деревянной скамейкой возле магазина, и ждал с ней прихода автобуса. Автобус, пыхтя и качаясь на изношенных рессорах,

въезжал в деревню, громко сигналил. Апуа открывал дверь, входил, хлопал по плечу пассажира, уже сидевшего за спиной водителя, и приказывал ему освободить место: «Извини и пожалуйста, ты будешь сидеть вот тут». Он усаживал Пнину на освободившееся место и наставлял водителя не сводить с нее взгляда.

«Ты не на дорогу смотри, а в зеркало! — наказывал он ему. — И если у девочки станет квас от езды, так ты останови, чтобы она могла сойти и освободиться», а в Хайфе «переведи ее своими собственными руками» в тель-авивский автобус «ипусти внутрь только после того, как увидишь своими собственными глазами, что шофер знает, что она из семьи Йофе, и убедишься, что этот шофер ответственный человек!».

Жених и его отец ждали Пнину на автобусной станции в Тель-Авиве, благодарили ответственного шофера, и гостя радостно выходила к ним, растроганная видом такси, уже заказанного в честь ее приезда Гиршем Ландау.

— Наивная девочка, — сказала Рахель. — Он ведь такси заказывал только для того, чтобы она потом рассказала об этом своей матери.

Тель-Авив приводил Пнину в восторг. Ее рот, глаза и уши — всё распахивалось ему навстречу. Она любила его гомон, его улицы. Его витрины, его платья и костюмы, двигавшиеся по тротуарам. Это был другой мир. Мир, в котором у мужчин гладкие ладони, а женщины не ломают ногти, выскребывая куриные кормушки.

— Она всегда возвращалась оттуда с горящими глазами, — сказала Рахель, — и когда доктор Гаммер отчаялся во всех диагнозах и каплях и спросил ее: «Скажи мне, Пнина, может быть, ты знаешь, почему в деревне у тебя нет воспаления глаз, а в Тель-Авиве есть?» — она ответила: «Это очень просто — здесь я моргаю, а в Тель-Авиве я нет».

— Синее море, и белый песок, и чистые дома, — сказала она Саре Ландау в ответ на вопрос, что она любит в Тель-Авиве.

— Наш дом очень чистый, — сказала Сара, и легкая обида шевельнулась в ее голосе.

— Я знаю, — улыбнулась Пнина, — я имею в виду дома, чистые снаружи.

Сара Ландау не поняла, о чем она говорит, но Гирш понял и повел ее к светлым домам с чистыми линиями в стиле Баухауз, построенным на бульваре Ротшильда и на маленьких улицах, ему параллельных и его пересекающих.

— Такие красивые, такие красивые, — повторяла Пнина.

Эти здания наполняли ее покоем и печалью. Женщина в красивом платье, проходившая мимо, вызывала у нее счастливую улыбку. Море учащало ее дыхание и высветляло румянец на ее щеках и шее. Все обращали внимание на тот факт, что Пнина бледнеет, когда другие краснеют, но никто, в том числе и Гирш Ландау, не догадывался, что эта бледность — первый признак ее будущей красоты, как



те первые барашки пены, что появляются на гребне волны перед тем, как она разбивается о берег, и, уж конечно, никто не знал, что она предвещает ее судьбу.

— На море, — просила она снова и снова.

В Долине, которая тогда была куда шире и больше, чем сегодня, она никогда не видела такого чистого и спокойного простора, не ограниченного ни холмами, ни домами, ни деревьями, ни заборами, а лишь могучим, спокойным, надежным вселенским сводом.

Сара Ландау повела ее на набережную — где маленькую Пнину не переставала удивлять неуловимость горизонта, который то стоит на месте, то уходит куда-то [то он есть, то его нет] [сейчас он черта, а через мгновенье облако], — и там провела с ней беседу о «разных вещах, которые должна знать женщина»: как посылать приглашения и кого сажать рядом с кем за столом, «который тебе, Пнинеле, придется накрывать, когда у тебя с Ароном будут дом и семья».

Пнина слушала, но не запоминала ни слова, потому что бусы на шее Сары Ландау, в которых раньше было лишь две нитки золотисто-прозрачных камней, теперь насчитывали уже четыре их ряда.

— Можно мне потрогать? — спросила она.

— Конечно, — сказала госпожа Ландау.

Пнина прикоснулась к камням — они были гладкими, на удивление легкими и, когда ударялись друг о друга, издавали неожиданный глухой звук — не

драгоценных камней, а деревянных шариков. Пнине показалось, что они обожгли кончики ее пальцев, но она не могла понять, жаром или холодом.

— Какие они приятные, — сказала она.

— Это Гирш их мне подарил, — сказала госпожа Ландау.

— «Это дорогое удовольствие?»

— Очень дорогое.

— Он купил их в магазине?

— Таких камней нет в магазине, — сказала госпожа Ландау с гордостью, — это особые камни.

Гирш тоже уделял время Пнине. Освобождался ради нее от репетиций, беседовал и гулял с ней, показывал разные места и людей. Обычная его горечь развеивалась в ее присутствии. Уголки губ успокаивались. Видно было, что общество девочки ему приятней общества жены.

— Ты так похожа на свою мать, — сказал он, и один уголок его губ вдруг опять задрожал, — но ты будешь красивее ее.

— Я не похожа на нее, — удивилась Пнина. — Батия похожа. Батия — копия мамы.

Гирш улыбнулся и ничего не сказал. Он повел Пнину в магазин одежды и купил ей там подарок: некую странную одежду, большую по размеру, которая вошла в йофианскую семейную историю под названием «балахон». Это был не плащ, не жакет и не платье, а, по словам Сары, «тряпка, о которой мудрецы так и не решили, что она такое».

— Сейчас этот балахон уродлив, но когда Пнина будет красивой, он тоже станет на ней красив, — сказал Гирш.

И еще он купил ей и Арону газированную воду и мороженое.

— Жалко, что нельзя принести немного Батии, — сказала Пнина и рассказала ему, что слепой продавец мороженого уже не приходит в деревню. Шимшон Шустер однажды поймал его и сказал, что арабы не должны показываться в деревне, пусть идет отсюда и не смеет больше возвращаться. Слепой мороженщик притворился также глухим, и тогда Шустер разозлился еще больше. Он побежал, принес из инкубатора бутылку керосина и облил им ящики с мороженым. С тех пор слепого араба уже не видели в наших местах. Аупа искал его, спрашивал прохожих, кричал, что «Шустер дорого заплатит и за это тоже!» — но Батия была умнее и практичнее, чем он. Она знала, что осел, даже если не вернется с хозяином, придет сам, чтобы получить у нас привычный кубик сахара, — знала и ждала.

Гирш повел детей в кафетерий, где он обычно встречался со своими друзьями. Это была шумная и веселая компания — музыканты и поэты, любившие пить, и кричать, и смеяться, и спорить. Арон тихо сидел на стуле, крутя в пальцах лежавший у него в кармане шарикоподшипник, глядел на проезжающие машины, закрывал глаза и что-то шептал про себя.

— Что ты там бормочешь, Арон? — спросил Гирш.

— Названия машин.

Вокруг засмеялись.

— Я люблю, чтобы у вещей были имена, — сказал мальчик серьезно.

Это заметили также Амума и Апупа. Когда Арон приезжал в деревню, у него в кармане всегда были химический карандаш и блокнот, и он выпрашивал название каждого нового для него предмета, вещи и человека. Если ему показывали какой-нибудь рабочий инструмент, он с большой серьезностью выяснял, как этот инструмент называется. Если ему пели детскую песенку: «А у нас машина, белая, большая...» — он тут же допытывался: «Какая машина? “Мак-дизель” или “Уайт”?» Если ему говорили: «Это яблоко “ранет”, это груша “спадона”», он аккуратно записывал. Если его познакомили с человеком, он повторял его имя несколько раз, пока не запоминал. По вечерам он сидел и заучивал записанное в тетрадке, а потом подавал записи Апупе и просил:

— Проверь меня, Давид, извини и пожалуйста.

Амума и Апупа смеялись. Сара Ландау наставляла сына: «Веди себя вежливо и не забывай говорить “извини” и “пожалуйста”!» — и Арон понял это буквально. А что касается имен, то, возможно, Амума рассказывала и ему, как рассказывала своим дочерям (и как, спустя время, своим внукам, мне и Габриэлю), любимую историю о первом человеке и об именах, которые он давал животным. Но даже если не рассказывала, нет сегодня слова, более ненавистного

Арону, чем слово «это». Если кто-нибудь говорит ему: «Дай мне это», он сердится: «Что это за “Это”? У каждого “Этого” есть имя!» И все мы смеялись, когда он вернулся из своего первого и единственного посещения недавно появившегося в нашем городе магазина «Сделай сам», украшенного плакатом: «И всё это ты сможешь сделать сам, своими руками!»

— Что это за «всё это»? — цедил он сквозь зубы. — Откуда мне знать, какое «всё это» я смогу сделать сам своими руками?

Я тоже пошел в новый магазин, но по другой причине — он был построен на том месте, где раньше стояли такие знакомые мне дом и сад, а перед дверью дома была красная бетонная площадка с цветущим индийским альмоном\*. Молодая женщина сидела там, положив ноги на стол, рядом с солеными палочками, и говорила, не отрывая глаз от книги: «Я слышу тебя, Фонтанелла, и я знаю, что это ты».

Я предполагаю, что любовь Жениха к точным именам происходит из того же источника, который питает его любовь к четкой и точной специализации рабочих инструментов.

— Когда ты подходишь к делу с неправильным или неподручным инструментом, материалы тут же напрягаются, болты перестают вывертываться, а гвозди пугаются и гнутся, — сказал он мне однажды.

\* Индийский альмон — лианоподобное тропическое растение, цветы которого, появляясь белыми, с возрастом розовеют, а затем становятся красными.

Сапожник, который подступит к подошве с тупым шилом или рубанком столяра, «не только испортит кожу, он испортит с ней отношения». И заевшая гайка, если ты начнешь ее откручивать не тем ключом или «этим вашим “ледерманом”»\*, она тут же скажет: *«Умри душа моя с филистимлянами»*.

К его семидесятилетию Алона купила ему в подарок «этот ваш “ледерман”», совершив этим роковую ошибку. Я предупреждал ее заранее, Ури сказал ей: «Ты еще пожалеешь, мама, это не для него». И Айелет тоже сказала свое постоянное: «Big mistake, мама, big mistake... Ты даже не понимаешь, что ты делаешь». Но Алона заупрямилась.

Жених взял маленький пакет, взвесил его на руке и прежде всего спросил:

— Это дорогое удовольствие?

Все рассмеялись, а он раскрыл пакет и не сумел скрыть своего «кваса».

— Что это? — проворчал он. — Нож для лилипутов?

— Это рабочий инструмент, для тебя.

— Рабочий инструмент? Для чего он годится? Это игрушка для женщин. Это ни для чего не годится.

— Что ты говоришь, Арон, — обиделась Алона, — такие ножи сегодня считаются вершиной мужественности...

— Пусть твои тельавивцы покупают себе такое. Нам не нужна мужественность. Работа нам нужна.

\* «Ледерман» — торговая марка ножей и других инструментов.

Он с негодованием поднялся, вышел, быстро хромая, и вернулся со своим ящиком инструментов. Открыл и выбросил все содержимое на пол:

— Не суй нос, где ты ничего не понимаешь. Вот чего стоит твой «ледерман», смотри, — вот это ключи для труб «Риджид», один прямой и один угловой, а вот это гаечный ключ «Гацет», а это молотки «Федингхауз» и «Стенли» и плоскогубцы «Рекорд» — ты что-нибудь слышала об этих фирмах? И шведский ключ «Баку», и отвертки «Сэдвик», и метр «Стенли». Видишь? Разве я покупаю тебе на день рождения маникюрный прибор? Нет? Так и ты не покупай мне рабочие инструменты. Сиди себе со своими подругами и говори с ними о ваших глупостях.

— Ладно, Арон, — сказала Алона, — больше я тебе ничего не куплю. Ты можешь спокойно возвращаться в свою яму.

— Когда-нибудь, — он собрал свои инструменты в ящик, — вы все еще скажете мне спасибо за эту яму, и ты тоже.

— Если ты останешься в ней навсегда, я скажу тебе еще большее спасибо.

Пнина ела творожный пирог, пила чай с лимоном и слушала шумные разговоры людей из компании Гирша, которые стремительно перебрасывались рифмами и соревновались между собой в словесных играх и цитатах. Гирш Ландау сказал своим друзьям, что придет время, когда «эта-очень-молодая-особа» будет красивой женщиной и выйдет замуж за его

сына. Но все они — поэты и музыканты, художники и артисты — были очень заняты собственной персонею, рассказывали вульгарные анекдоты о семейной жизни и не видели, что ей предстоит стать красивее всех произведений, которые кто-нибудь из них когда-либо создал, или создаст, или сыграет, или нарисует, или напишет в будущем.

Один из них высокомерно спросил ее, какую музыку «девочка любит слушать», и Пнина с детской абсолютной серьезностью ответила:

— Я люблю слушать долгое и чистое «ля» на трубе.

Воцарилось странное смущение. Когда они вернулись домой, Гирш спросил ее, что она имела в виду. Пнина сказала:

— Я имела в виду, что слушать долгое и чистое «ля» на трубе — это как стоять против зеркала.

Гирш разволновался:

— Стань против меня, Пнина, я сыграю тебя.

Но Пнина не могла стоять спокойно, а Гирш — как и многие исполнители, играющие на смычковых инструментах, — был человек желчный, с расшатанными нервами, и сердце его, особенно в отсутствие дирижера, билось аритмично. Через пять минут он отбросил смычок и закричал:

— Не двигайся, Пнина! Как можно тебя сыграть, когда ты все время двигаешься?!

Пнина испугалась и убежала к Саре, та успокоила ее и, как обычно, дала совет: пусть девочка не стоит, а сидит перед ее мужем.



И вот так случилось, что то же самое время, которое здесь, у нас, во «Дворе Йофе», уже замышляло недоброе для Пнины и ее будущего, в Тель-Авиве подарило Гиршу Ландау мгновенья счастья и надежды с этой же девочкой: его жена и сын были заняты своими делами — одна всегда замышляла какую-нибудь глупость, другой всегда собирал или разбираал какую-нибудь глупость, — а он играл перед этой девочкой, что родилась у женщины, которую он любил, и мужчины, чьей смерти он ждал, и думал о том, что вот — красота, еще сложенная в ней, как крылья дремлющей бабочки, раскрылась сейчас перед ним на один пророческий миг, присев на звуках его скрипки, но, придет день, будет принадлежать его сыну.

Он молился, чтобы его мальчик вырос и научился жить рядом с таким счастьем и красотой, и радовался, что будущее сына не пущено на самотек, а закреплено нерушимо на прочных основах их уговора. Есть уговор, успокаивал он себя, а Давид Йофе — человек честный и правдивый.

Пнина привезла с собой в деревню специальные, особо прочные кожаные шнурки для отца и маленькие подарки для матери и сестер.

— Там знают, что ты из Йофе? — спросил Апуа.

— Я не уверена.

Она рассказала о городе и его чудесах и об Ароне, чьей женой она однажды станет.

— Он уродина, — сказала ей Батия. — Он похож на обезьяну.

— Ты тоже уродина, — сказала Пнина.

— Так не выходи за нас замуж. Ни за меня, ни за него.

Но Пнина любила Арона, любила ездить к нему и радовалась, когда он приезжал к нам на летние каникулы. Она даже залезала на забор смотреть, как появляется и приближается автобус, и пока Гирш с Сарой еще только поднимались вверх по холму, она уже торопила отца открыть ворота:

— Чтобы не стучали и не ждали снаружи, как попрошайки!

— Поцелуй Пнину, — говорила Сара Ландау сыну.

Но маленький Жених, в коротких штанишках хаки, в высоких рабочих ботинках и рубашке хаки с закатанными рукавами, перекладывал в левую руку привезенный ящик с инструментами, нерешительно пожимал руку невесты, говорил: «Что нового?» — и отправлялся заниматься другими делами.

Он двигался по двору с ненасытной методичностью мангусты в птичнике, жадно рассматривал приборы, сельскохозяйственные машины, инструменты и механические устройства, проверяя, разбирая и собирая все, что попадалось ему на глаза. Супруги Ландау, опасаясь, что он причинит беспокойство и ущерб, бросали опасливые взгляды на Апупу и упрашивали сына прекратить, но Апупа восторгался любопытством мальчика, а еще больше его способностями и усердием и позволял ему разбирать и собирать все, что было в доме и во дворе.

Жених испортил немало приборов и вещей, но, испортив, начал их чинить и в процессе починки стал улучшать и совершенствовать. Когда он придумал примитивный предохранительный клапан и установил его на одной из водопроводных труб в коровнике, Апупа так восхитился и обрадовался, что отступил от своих принципов и спустился с ним в деревню, чтобы показать его специалистам — кузнецу Шульману, сапожнику Гольдману и столяру Меламеду.

Деревня росла. Апупа давно уже не пользовался главными восточными воротами «Двора Йофе», равно как и северными и южными. Все знали Амуму, которая приходила за покупками в деревенский магазин, и ее дочерей, учившихся в местной школе. Но Апупа выходил на свои поля только через задние ворота и через них же и возвращался. Имен деревенских жителей он не знал, поскольку они непрерывно плодились и размножались, и потому максимально расширил ненавистное имя «шустеры», чтобы оно включило как можно больше «врагов».

На этот раз он вышел через главные ворота, спустился по аллее молодых кипарисов, и Арон, тогда еще молодой, прыгал рядом с ним. Деревня была потрясена. Мужчины высыпали на улицу, всматриваясь изумленным взглядом из-под козырька руки. Женщины выглядывали из окон, вытирая руки о передники. Апупа косился на Арона, который шел точно как он и точно как он не отвечал ни на чей

взгляд. Они прошли прямо к нужному месту: к сапожнику, к столяру и к кузнецу, — чьи мастерские находились друг возле друга, за молочной фермой.

Со всей надлежащей вежливостью и уважением Апуа попросил, чтобы Арону разрешили время от времени сидеть у них и смотреть.

— Кто тебе этот паренек? — спросили они.

Апуа сказал:

— Когда-нибудь он женится на Пнине и будет моим мальчиком.

— Пусть будет в добрый час, — сказали столяр, кузнец и сапожник.

\* \* \*

Батия была права. Через несколько месяцев после происшествия с керосином и мороженым осел появился снова, на этот раз один, с тем напряженно-стеснительным выражением лица, по которому все лакомки мира с легкостью опознают друга друга, точно так же, как узнавали друг друга «цацки» моего отца.

Батия угостила его яблоком, вымазанным в меду, и, не говоря ни слова, забралась ему на спину. Осел спустился по западному склону холма, перешел вادي в том месте, где оно поворачивало на юг, и пошел через Долину по извилистому пути, которого никто из Йоффов или жителей деревни не знал и даже искать

не отваживался. Долгие часы шли они в полном одиночестве по топким болотистым просторам, пробиваясь сквозь всё более высокие и густые заросли, среди которых вилась их узкая тропа, едва угадываемая порой, как это бывает со звериными тропами, по клочкам шерсти, зацепившимся за колючки, а порой становившаяся узким туннелем в зеленой чаще. В таких местах Батия сходила с осла, и дальше он шел впереди, вынюхивая запах своей матери, а она шла за ним, запоминая дорогу и оставляя то тут, то там свои знаки — где ломала ветку, где связывала вместе несколько стеблей камыша.

Наконец осел дошел до мелкого русла, спускавшегося в Долину с севера, из поросшей дубами седловины между двумя невысокими холмами. Вдали виднелась маленькая деревня, настолько непохожая на нашу, что Батия с трудом могла поверить, что она существует на самом деле. Мощеные улицы шли среди красивых каменных домов, колокол подавал голос с заостренной церковной башни, на вершине которой вертелся флюгер в виде петушка, а жители — к удивлению Батии — работали в поле в отглаженных брюках и белых рубашках.

Они миновали большое зеленое поле хумуса, стебли которого обжигали щиколотки. Осел показал ей копытом, чтобы она шла скрытно, кустами, а сам неторопливо пошел впереди, мимо большого двора фермы, что стояла на восточном краю деревни. Во дворе работала сурового вида костлявая немка с

волосами, подстриженными шлемом, и высокий белоголовый мальчик помогал ей. Два больших пса лежали в тени забора и не отрывали взгляда от идущих. Осел и Батия обогнули дом большим кругом и спустились вниз к соседнему дому. Из него вышла женщина, улыбнулась при виде осла и вынесла ему мороженое.

Только к утру вернулась Юбер-аллес домой, и только чудо спасло ее и осла от топких болот или одной из гиен, что тогда еще нападали на людей и смеялись по ночам. По возвращении она увидела мать, окаменевшую от страха, и отца, который хлестал курбачом куда попало, не помня себя от беспокойства и тревоги, Апупа никогда не бил дочерей, но сейчас замахнулся и хотел было ударить самую любимую из них. Но Батия, отражение его жены и копия его души, стала против него:

— Но, папа, почему ты так сердишься? Теперь я знаю, откуда осел приносит мороженое.

<Думаешь ли ты иногда о ней, о твоей любимой дочери? Знают ли твои куриные мозги, что ее муж получил свое наказание? Отдаешь ли ты себе отчет, что она по-прежнему там, вдали от всех, в изгнании, а ты, дрожащий от холода гном, гниешь здесь в своем инкубаторе?>

Он поднял ее на воздух, поставил на бетонную стенку коровьей кормушки, повернулся к ней спиной и сказал: «На меня!» Батия прыгнула ему на спину и крикнула: «Пошел!» — но Апупа проворчал:

— Мы сейчас не играем, Батинька, — и открыл ворота. — Показывай куда.

— Мы пойдем туда поесть мороженого?

— Нет, — сказал Апуа, — сейчас мы пойдем туда посмотреть, говоришь ли ты правду. И если ты обманываешь, плохи твои дела!

Он галопом спустился по склону холма.

— Показывай дорогу, — повторил он.

Хотя она была его дочь и грудей у нее еще не было, чтобы обжечь его спину, но ее тело было до жути похоже на тело матери, и памятная указующая рука Амумы была до жути похожа на маленькую ручку, что сейчас указывала ему путь. Однако, в отличие от матери, Батия не прижималась и не засыпала у него на плече, а вонзала пятки ему в бока и непрерывно пришпоривала.

Один Бог знает, как они одолели болота. Юбераллес не увидела ни одного из тех знаков, которые оставила для себя, но каждый раз, когда говорила «направо», или «налево», или «прямо», это было правильно, и, когда несколько часов спустя Апуа сказал: «Мне обжигает ноги», она поняла, что они дошли до зеленого поля турецкого горошка.

Низкие облака заволокли небо, и сквозь рассеянную в воздухе муть неясно проступала белизна хорошо знакомых Апуе каменных домов немецкой деревни, куда он раньше приходил по главной дороге, а не через болота. Той деревни, с историей которой предстояло сплестись истории его семьи. Они обогнули

дом с двумя сторожевыми псами, и Апупа убедился, что его дочь говорит правду.

\* \* \*

У кузнеца Шульмана был подмастерье, который никогда не помнил, куда он положил свои инструменты.

— Милостиво поступил с ним Господь, благословенно имя Его, — говорил Шульман, — когда положил его яйца в мошонку, иначе и они бы потерялись.

Арон, стесняясь задавать вопросы, поинтересовался у Апупы, что Шульман имел в виду, и Апупа сказал ему, что мастер должен находить любой инструмент с закрытыми глазами, «как мужчина находит сам знаешь что».

Спустя несколько дней, когда Апупа тайком заглянул в записную книжку Арона, он нашел там не только это объяснение, но также замечания по поводу плохого развода зубцов ножовки у Меламеда и по поводу кузнечных мехов Шульмана, которые, из-за ограниченного хода их педали и излишнего изгиба на пути потока, хуже подавали воздух и требовали больше усилия, а также по поводу сапожной колодки Гольдмана, которая вынуждала сапожника стучать под неэффективным углом. В ту пору, не имея сегодняшнего богатого опыта, Арон еще не мог это сформулировать, но уже чувствовал, что рабочий инструмент должен быть продолжением руки.



Апупа прочел все это и исполнился радости. Он понял, что ему вскоре придется искать для мальчика более серьезных учителей. И действительно, через несколько недель Гольдман, Шульман и Меламед поднялись во «Двор Йофе» и сказали Апупе, что ему лучше отдать своего будущего зятя к немецкому кузнецу в Вальдхайме. Не то чтобы он им надоел, наоборот, но там он сможет получить больше, чем они могут ему дать.

И вот так тот осел, что когда-то был кудрявым осленком, потом почтовым ослом, а потом разносчиком мороженого, удостоился еще одной должности. Раз в неделю вешал ему Апупа на шею кожаный кошелек с несколькими монетами, сажал Арона ему на шею и посылал к немцам учиться ремеслу. Через два дня осел возвращал Жениха в деревню и привозил вместе с ним коробку нерастаявшего мороженого. Арон был счастлив. В Вальдхайме были порядок и чистота, настоящие плуги, сбри и машины, а также рабочие и земледельцы, которые выглядели и вели себя, как настоящие мастера своего дела, а не «артисты в роли пионеров-первопроходцев» в театре «Габима»\*, как называл Гирш Ландау «нижних» Шустеров, вызывая этим громкий смех Апупы.

\* «Габима» — израильский национальный еврейский театр, ныне играющий в Тель-Авиве, возник из белостокской труппы Цемаха, которая в 1917 году стала московским театром-студией под руководством Вахтангова и эмигрировала в Палестину после заграничных гастролей 1926 года.

Тут Жених увидел также первый и единственный во всей Стране токарный станок с ножным приводом, придуманный Готхильфом Вагнером, и даже сподобился увидеть самого Вагнера. Тот приехал в Вальдхайм на машине, и его встречала целая делегация в составе мэра, священника и главы соседнего немецкого поселения по имени Бейт-Лехем\*. Жених пришел в такой восторг, что вместе с немцами, работавшими в кузнице, вытянулся при виде гостя и даже поклонился ему в точности так, как кланяются немцы, чем удивил не только всех присутствующих, но также и самого себя.

Он и поныне вспоминает тот день с тем же волнением, но уже со смешанными чувствами и бурей в душе. Потому что, с одной стороны, Готхильф Вагнер был непревзойденным специалистом, но, с другой стороны, он ненавидел евреев и во время беспорядков 1920-х годов\* даже учил арабов готовить мины и бомбы. И когда, много лет спустя, уже по окончании Второй мировой войны, люди Пальмаха устроили ему засаду на дороге, остановили его машину и хладнокровно убили, Жених

\* Бейт-Лехем — одно из немецких поселений в Галилее (не путать с городом Бейт-Лехем, он же знаменитый Вифлеем, под Иерусалимом).

\*\* С началом возвращения евреев в Палестину начались непрерывные вооруженные нападения арабов на еврейские поселения, сопровождавшиеся убийствами и грабежами. Они особенно участились в 1920-е годы, с установлением британского правления, и достигли апогея в зверском погроме 1929 года в Хевроне.

несколько дней ходил как безумный, то вздыхая: «Он был гений...» — то бросая: «Так ему и надо!» — и всё это на одном дыхании. А когда он вдобавок узнал, что на маузере нападавших был установлен специальный глушитель его, Жениха, собственной выделки, у него даже вырвался крик.

Но в тот день, когда он, еще мальчиком-подмастерьем, впервые увидел Вагнера, Жених разволновался, как невеста под хупой, и семейная легенда — то бишь всё та же Рахель — рассказывает, что от большого волнения он даже споткнулся о железную палку и раздробил себе лодыжку. Однако, по правде говоря, он сломал себе лодыжку без всякой связи с Вагнером, и не в Вальдхайме, а у нас во «Дворе Йофе», и не от большого волнения, а потому, что споткнулся о железный прут, который кто-то — Апуца, конечно, — оставил валяться на земле.

— У немцев, — сказал мне сам Жених много лет спустя, — такого бы не случилось. Потому что у немцев, — объяснил он, — каждая вещь была на своем месте. — И рассказал, что в средневековой Германии каждый подмастерье кузнеца носил большую серьгу. И эта серьга была для него не только предметом гордости, но также источником больших неприятностей, потому что стоило подмастерью что-нибудь испортить или проштрафиться, как хозяин вырывал у него эту серьгу и выгонял из кузницы с порванным ухом. — Так ты сам скажи мне, Михаэль, такие оставят железный прут валяться на земле?

Перелом, вначале казавшийся простым, из тех, которые у всех детей, как правило, легко зарастали, в случае Жениха осложнился из-за того, что тель-авивский доктор, «большой специалист», желая показать свое превосходство над нашим деревенским доктором Гаммером, сумел убедить Гирша и Сару, что ногу нужно снова сломать, чтобы потом заново срастить ее должным образом, и всё это вместе привело к тому, что Арон начал хромать. Сначала обычной хромотой, заметной лишь утром, когда суставы еще затекли и затвердели с ночи, и вечером, когда они болят от усталости, затем хромать по-настоящему, и, в конце концов, он стал тем, кого моя мать, оглашая инвентарный список наших семейных страданий и подвигов, неизменно именовала «тянущий ногу».

— Один мой зять убит, муж потерял руку, сын был ранен, брат его жены погиб, другой зять тянет ногу... — так она с гордостью говорит своим «гостям» за стаканом морковного сока, искусно избегая уточнять обстоятельства ранения Жениха — пусть гости думают, что и он был ранен на войне, — и стараясь не вдаваться в обстоятельства ранения ее сына (меня, конечно), который по такому торжественному поводу убил одного из товарищей по части.

«Боль с болью сложилась», как говорят у нас в семье о сильных болях. Хромота не только замедлила рост Жениха, но и заставила его замкнуться в себе, так что он теперь часами сидел один и все это время чертил, считал и раздумывал. Отныне он начал свой

собственный Великий Поход, но не с юга на север, а от юности к зрелости, а оттуда к старости, притом не с одной женщиной на спине, а с целым семейством сразу, — шел, не отклоняясь ни влево, ни вправо, заботясь, обеспечивая, выполняя свои обязательства, возмущаясь, снова и снова оплакивая «те времена», снова и снова повторяя: «Не для того воевали мы в Войне за независимость, не для того учили новых иммигрантов, чтобы так выглядело теперь наше государство», — снова и снова восклицая: «В этой стране скоро случится страшное несчастье!»

Уже в больнице, закованный в гипсовый корсет, охвативший половину его тела, он придумал такое автоматическое корыто, которое животные смогут включать сами, нажимая на него своим носом. В двенадцать лет он спроектировал и построил модель совершенно нового плуга — на пружинах, которые поднимают и проносят лемех над камнями и булыжниками, чтобы он не застрял и не сломался, и с таким узким и легким трубчатым каркасом, что одной лошади было достаточно, чтобы пахать на каменистых склонах. А в тринадцать лет изобрел механический домкрат, который одним перебросом рукоятки переводился с подъема на перемещение и был так прост, что казался не серьезной технической новинкой, а каким-то удивительным фокусом.

— И все это твой сын изобрел здесь, у меня во дворе, — кричал Апула на Гирша Ландау. — А там, в твоём Тель-Авиве, одни только ваши спекулянты, которым

## ГЛАВА ВТОРАЯ. ЖЕНИХ

нужны одни только деньги, и ваши «люксы», которые стоят денег, и ваши девки, которые шляются с англичанами только ради денег, и ваши шлёнские\*, которые придумывают никому не нужные слова, и даже не ради денег, а просто ради одного хвастовства.

\* \* \*

Свой огород моя мама получила от отца, когда ей исполнилось двенадцать. Ватные поля, на которых она проращивала свою фасоль, пшеницу и горох, уже заняли к тому времени почти всю площадь деревянной веранды и половину кухни, и все с облегчением вздохнули, когда она объявила, что к бат-мицве «требует себе» участок земли.

Апупа дал ей полоску целины вблизи дворовых стен, снаружи, между садом и полем пшеницы, семь с половиной соток замечательной земли, потому что раньше там стоял наш первый курятник и почва насквозь пропиталась куриным пометом. Натан Фрайштат, как я уже рассказывал, помогал ей советом, а Ог, или Дылда, его гигантский кипрский осел, — в подготовке почвы: сначала съел колючки и сорняки, затем задрал хвост и добавил свой свежий вклад

\* Намек на Авраама Шлёнского (1900—1973), замечательного ивритского поэта и переводчика, создавшего целый ряд неологизмов, которые обогатили современный иврит.

в удобрения, а под конец впрягся в культиватор и тянул.

— Вегетарианцы любят помогать друг другу, — смеялась Рахель.

Мама сажала овощи и, поскольку ее доктор Джексон запрещал опрыскивание химическими веществами, полола грядки пальцами и вручную вычищала гусениц и жучков между листьями.

— Она ползала там, как огромная черепаха. Все время на коленях. В большой соломенной шляпе на голове, только ступни ног и кисти рук выглядывают наружу.

Через несколько месяцев ее колени поразил таинственный лишай, ужасно ей докучавший и отталкивающий на вид, и Амума начала таскать ее по разным врачам. Сначала к тем врачам, к которым Хана соглашалась ходить, и прежде всего — к одному знаменитому гомеопату из тамплиеров, по имени Минценмайер, у которого была аптека в Немецком квартале в Хайфе и который умел извлекать из плодов клещевины неядовитый сок, эффективное средство против приливов у женщин переходного возраста, — а затем к прославленному бедуинскому целителю, который жил у входа в маленькое вади, подымающееся от долины Бейт-Натуфа к развалинам Йодфата. Этот завоевал известность особой микстурой, приготовленной из мягких желтых перегородок внутри плода граната, — молодые женщины приходили к нему под покровом ночи, потому что двадцатиминутного сидения в

тазу с этой микстурой было достаточно, чтобы вернуть себе девственность без необходимости в операции.

Но поскольку в двенадцать лет у мамы еще была первозданная девственность, а от приливов она тоже еще не страдала, только от лишая, то в конце концов она согласилась пойти на прием к доктору Гаммеру, и тот послал ее к врачу в Эйн-Харод, симпатичному человеку, который рассказывал занимательные истории и был известен во всей Долине своими докладами о целебных достоинствах сыра. Но и он не вылечил ее от напасти, и в конце концов это удалось только моему отцу, Мордехаю Йофе, появившемуся в деревне через несколько лет после того, когда девочка-вегетарианка Хана Йофе стала уже «взрослой девушкой», а «лишай проник ей почти до костей», — но к этой истории мы еще придем в свое время. Пока же я вернусь к маминному огороду.

Этот огород был такой биологически естественный и такой биологически чистый, что привлек к себе также множество других вегетарианцев — птиц, дикобразов, тлей, диких свиней, гусениц и зайцев. Явился и слепыш, который усердно копал в нем свои ходы и натворил много подземных бед, но хуже всех были летучие насекомые — эти прибывавшие изда-лека усталые и счастливые пилигримы, которые всю свою короткую жизнь посвятили паломничеству в мамин замечательный огород.

Это нескончаемое нашествие насекомых привело в конце концов в тому, что в один прекрасный день дере-



венский учитель природоведения заметил в самом центре нашей деревни жука, который, насколько он знал, был «эндемичен для восточных склонов Хермона». Этот жук отдыхал, явно собираясь с силами перед тяжелым последним подъемом по склону нашего холма. Три дня природовед полз следом за этим жуком, не отрывая от него взгляда, а на четвертый день, когда тот взобрался наконец на куст помидоров и начал пировать, встал с колен, огляделся и обнаружил, что находится в огороде своей ученицы, окруженный множеством самых разных и незнакомых ему насекомых, которые покинули свой обычный далекий ареал, «и полетели, и поползли, и побежали к огороду твоей матери, чтобы отведать там последнюю в мире неопрысканную еду, отлюбить, отложить яйца и умереть».

Учитель пришел в неопишное волнение и восторг и немедленно разослал пылкие письма всем заинтересованным лицам, извещая их, что «энтомологическое богатство в огороде госпожи Ханы Йофе превосходит все то, что хранится в коллекциях зоологического факультета Берлинского университета». Он даже объявил, что нужно пригласить в этот огород профессора Боденхаймера, чтобы тот смог обновить свой знаменитый «Справочник сельскохозяйственных вредителей». Но затем Батия застучала природоведа в тот самый момент, когда он вернулся в огород ее сестры и обрывал капустные листья в поисках редких гусениц. Она громко залаяла, и Апупа, примчавшись на лай, поймал наглеца, тайком вторгшегося в его владения.

Редко посещавший деревню, он не узнал учителя и велел несчастному приготовиться к тому, что сейчас его отнесут в коровник, закатают в навоз и выбросят за стены двора.

Учитель в ужасе закричал: «Йофе! Я учитель твоей дочери!» — и тогда Алуца, в неожиданном приступе милосердия, привязал его к большому деревянному кресту, воткнутому в середине огорода, и сказал:

— Ладно, от навоза откажемся, но за причиненный ущерб ты сейчас отработаешь.

Хана нашла его там через несколько часов, смутилась и хотела освободить. Но учитель, очарованный изобилием насекомых и потрясенный возможностями исследования, которые предоставляла ему новая должность, попросил и получил разрешение остаться привязанным к палке. Хана надела ему на голову рваную чалму и парик из соломы, воткнула бутылку с водой в карман, чтобы он не высох от солнца и жажды, и хотя учитель стал в результате единственным пугалом в Стране, которое умело также опознавать вредителей, но и он не смог их прогнать. Ни он, ни моя мать. Ее зеленый перец с аппетитом пожирали гусеницы, а ее помидоры искалывали клювами скворцы, пока не пришел дядя Арон, который установил ловушки и натянул защитные сетки.

Под этими сетками расцвела также ее любовь к Мордехаю Йофе, появившемуся в деревне через несколько лет. Бледный и худой, с ампутированной рукой и разбитым сердцем, он для боевой службы

уже не годился и был послан в деревню учить основам разведки взводных командиров Пальмаха на занятиях, которые проводились тогда в пещере на одном из холмов.

Сверкнуло ли солнце в ее волосах, когда он увидел ее впервые? Сказала ли она что-то такое, что пленило его сердце? Прорвала ли единственная в жизни улыбка броню ее принципов? Не знаю, но факт — увидев Хану Йофе, мой отец воспылал любовью, а когда он сказал ей, что и его зовут Йофе, — вздрогнуло и ее сердце. В первый и, очевидно, в последний раз.

\* \* \*

Когда Пнине исполнилось пятнадцать лет, пророчество скрипача начало сбываться. Но изменение это не сразу стало очевидным глазу и уж подавно сознанию, и не всем удалось опознать первые приметы ее красоты, которая исподволь пробуждалась, и созревала, и проявлялась в ней, расправляя те крылья, которые один лишь скрипач провидел заранее.

Одно дело, объяснила мне Рахель, когда красивая малышка постепенно становится красивой девушкой, которая затем вырастает в красивую женщину, или, скажем, в каком-то месте появляется вдруг изумительной красоты женщина, ошеломляя всех вокруг уголками губ, и линией талии, и улыбкой, и поход-

кой, — и совсем другое дело, когда просто малышка становится просто девочкой, а потом обыкновенной девушкой, и вдруг из нее выплескивается красота, которой до сих пор не было и в помине. Постепенно, сначала лишь с определенного угла и в определенные часы, потом одному лишь пересохшему горлу и сжавшейся от изумления диафрагме, и только под самый конец — взгляду и разуму становится ясно, что это существо, на наших глазах высвобождающееся из своего кокона, — это и есть то, что называют «красивая женщина».

Но самым удивительным было то, что первым, кто различил эту красоту, оказался старый Шустер, ибо это именно он, увидев однажды, как Пнина проходит по улице, выбежал из дома в своем черном, до полу, капоте, тряся длинной белой бородой, и бросился напрямик к ней, а когда она, увидев его, застыла от удивления, посмотрел на нее и начал ужасно дрожать, и в ответ на вопрос Пнины, нужна ли ему помощь, в свою очередь задал ей вопрос: не хочет ли она увидеть себя сразу со всех сторон и десять раз одновременно?

Пнина изумилась, потому что старый Шустер был единственным религиозным человеком в деревне и к тому же таким ортодоксом, что никогда не заговаривал ни с девочками, ни с женщинами, а если существо женского рода само обращалось у нему, то пугался настолько, что тут же потуплял глаза и отступал на шаг назад, прикрывая рукой шевелиющиеся губы, так что

его с трудом можно было расслышать. Но его вопрос, когда она его переварила, пробудил в ней любопытство. Она посмотрела направо и налево, повернулась назад, никого не увидела и сказала, что согласна.

Старик провел ее через заднюю калитку дома Шустеров и завел в персональную синагогу, которую построил там для себя. Тут Пнина сразу убедилась, что слухи, ходившие о нем в деревне, были верны. Действительно, стены комнаты были покрыты зеркалами, которые многократно удваивали того, кто стоял в ней, чтобы у старого Шустера всегда был наготове миньян для молитвы.

Она огляделась вокруг, увидела его самого и девять его дряхлых отражений и спросила: «А где же тут я?» И тогда старый Шустер, взволнованный ее присутствием в его синагоге и чудом, которому предстоит сейчас совершиться, начал говорить без передышки, как это делают многие волнующиеся люди, когда хотят успокоиться, и стал рассказывать ей, что вначале, как и положено по законам оптики, все эти десять молящихся, и он в том числе, были абсолютно похожи друг на друга, но после нескольких первых недель совместной молитвы у них начали появляться различия. Сначала различия в росте и чертах лица, а еще через несколько месяцев — «чтоб я так был здоров, Пнинеле», — также и различия в поведении.

Вскоре вспыхнула первая ссора, ибо несколько его отражений опоздали на молитву, потом конфликты между членами миньяна стали каждодневны-

ми, а в одну из суббот поднялись со своих мест двое, которые и прежде уже вызвали его подозрения, и заявили, что их ущемляют в числе «вызовов к Торе»\* и что им дали плохие сидячие места, и тогда трое других отражений встали тоже и объявили, что им не по нутру Шустеров вариант молитвы и что напев у в этом варианте тоже не тот, что был у них дома.

Пнина, которая никогда раньше не бывала в синагоге, не поняла, о чем он говорит, и, к своему разочарованию, всё еще не видела себя вдесятеро умноженной и красивой, как он обещал ей за несколько минут до того.

— Я надеюсь, что вскоре все они успокоятся, — сказала она, — и что у вас больше не будет споров.

— Что ты говоришь, Пнинеле?! — вскинулся старый Шустер. — Нет, нет, пусть не успокаиваются! Зачем, чтобы они успокоились? Так я чувствую, что у меня наконец-то есть настоящая синагога, как было в нашем местечке.

Пнина решила не вдаваться далее в тонкости религиозных чудес и напомнила ему его обещание. Старик опомнился. Он показал ей, куда направить глаза, — и тут свершилось нечто удивительное. Девять ее отражений действительно предстали пред ее очами: часть из них она видела спереди, часть сзади и часть

\* В определенные дни недели в синагогах вызывают читать Тору наиболее уважаемых людей, а также тех, в чьей жизни произошли важные перемены (включая мальчиков, которые только что прошли обряд бар-мицвы).

в профиль, и все они были в точности как она сама — красивые и удивленные.

Старый Шустер вздохнул. Колени у него подгибались, руки искали опоры. Десять Пнин поглядели друг на друга и тут же начали кружиться на месте, чтобы разглядеть друг друга со всех сторон, и, когда каждая из них завершила оборот, все они разом засмеялись, вытащили десять шпилек и разом распустили волосы. Старый Шустер прошептал: «Нет, Пнинеле...» — и опять «Нет...», — но было уже поздно: послышался высокий ровный звук, чистый и протяжный, и не успела настоящая Пнина понять, что произошло, зеркало напротив нее расколосось надвое, и осколки его посыпались на пол. И сразу вслед за ним лопнули зеркала за ее спиной, и отражения на боковых стенах тоже рассыпались на сверкающие осколки. На мгновенье Пнина испугалась, что она сама тоже сейчас рассыплется, но тут один из осколков впился ей в лодыжку. Она вскрикнула, вырвала стеклянную занозу, посмотрела на нее и увидела в ней обломок самой себя.

На выходе из синагоги ее ждали многие из жителей деревни, которые услышали громкий звук лопнувших зеркал и горестные вопли старого Шустера и прибежали посмотреть, что там случилось. Она прошла меж ними и опять увидела свою красоту в их глазах [свое отражение, вспыхивающее в их глазах], которые впервые увидели и осознали ее красоту. Только сейчас поняли мужчины, почему в последнее время, куда бы они ни шли, ноги несли их именно через школьный двор

и всегда перед началом занятий, или в их конце, или на большой перемене. А женщины поняли, почему их точно в те же часы настигают боли в животе и в голове. Что же касается семейства Йофе, где была зачата, родилась и выросла эта девочка, то оно, как всегда, поняло происходящее после всех и, как всегда, лишь с помощью наглядной демонстрации, потому что Пнина, вернувшись домой, прошла прямо к шкафу, открыла его, и балахон, который когда-то купил ей Гирш Ландау, стал вдруг нарядным и изящным, радостно засиял ей навстречу и, как будто скользнув, охватил ее тело.

Родители посмотрели на нее, потом друг на друга, и в ту же ночь слух пошел кругами, и делегации всех и всяческих Йофов начали прибывать и взбираться, а когда и они были ослеплены, начались обычные семейные споры: кто узнал первым? И кто предвидел заранее? И когда такое случилось в прошлом? И у кого? У него? У этого?! А он, вообще-то, настоящий Йофе?

И ухажеры тоже начали собираться, и их родители стали засылать сватов, но Пнина была предназначена Арону, и даже теперь, когда ее красота превратилась из пророчества в факт, ни в чем не изменила ни своих обычаев, ни своих предпочтений. Она продолжала навещать его в Тель-Авиве и, когда друзья Гирша Ландау, легкомысленные, как все люди искусства, пытались ухаживать за ней, по-прежнему не обращала на них внимания, хотя они шли безотказными, как правило, путями: предлагали ее нарисовать, обещали написать ей стихи, сыграть для нее, посвятить ей свои



произведения. Но Пнина, которой красота даровала также неожиданную взрослость, только улыбалась и отказывалась. Жених со своей стороны ничем не обнаруживал, что заметил ее новую красоту. Но внимание, оказываемое ей другими, явно смущало его, и его лицо выражало смесь гордости, растерянности и тревоги.

Недоумение, и раньше сопровождавшее эту пару, теперь усилилось. Все спрашивали друг друга: что нашла такая девушка, как Пнина, в таком парне, как Арон? И поскольку любовь нередко удивляет и самих влюбленных, сам парень тоже задавал себе этот вопрос. И она тоже недоумевала про себя, и даже больше других, ибо была единственной, кто знал, что ее любовь к Арону не уменьшилась. Так или так, но вид этой очаровательной, светлой и чистой девушки, когда она выходила из ворот «Двора Йофе» и спускалась вниз по кипарисовой аллее в сопровождении ковылявшего рядом с ней темноватого кузнечного подмастерья, остался одной из самых волнующих картин в памяти нашего маленького приятного городка, нашей бывшей деревни, чью летопись не столь уж часто оживляют такие волнующие чувства и неожиданности.

\* \* \*

«В те времена» ковры анемонов и россыпи нарциссов подходили совсем близко к деревне. Первые

поражали глаз — своей красотой, вторые — носы своим запахом. Сегодня от тех зимних цветов остались только редкие застенчивые кучки на краях далеких полей да несколько пестрых лоскутов между холмами. Но весной к ним присоединяются горлицы и васильки, розовый лен, анютины глазки, маки и лютики. Прошел дождь, земля нарядилась в зеленый бархат, засверкала разноцветными точками, и Алона повела нашу семью на пешеходную прогулку среди холмов. Утро было слегка облачное, что обычно предвещает потепление.

Отдохнем от прошлого, господа! Хлебнем немного настоящего. От шероховатостей памяти — к успокоительной глади сиюминутности. Вот Алона — она идет впереди, сияет счастьем, гордится своим достижением: шутка ли, вытащила сына из его комнаты — «встань уже, оставь этот свой компьютер, хватит разлагаться в постели». Оторвала мужа от его стола — «что ты там всё время пишешь, как монах в подземелье». Позвонила в бар и вытащила из его преисподней свою дочь — «пусть твой Дмитрий пойдет за покупками, а ты погуляй с нами, подыши немного чистым воздухом, а то ты всё глотаешь там у себя дым с пивом вперемешку».

Большинство клиентов моей Айелет приходят в «Бар Йофе» из-за нее. Напитки всюду одни и те же, кроме нескольких коктейлей, рецепт которых составляет интеллектуальную собственность того или иного паба, и стулья всюду — те же стулья, так

что все эти места, как сказала мне сама моя дочь, отличаются друг от друга только двумя вещами: людьми и едой. Еда меня не интересует, и я в ней ничего не понимаю, но что касается гостей, то у Айелет собирается неплохая компания молодежи и стариков, женщин и мужчин, белых и синих воротничков. «Все, как у нас: и этот к тебе заявился, и тот к тебе пожаловал, и все знают друг друга в лицо и по имени». И в доказательство качества своего заведения рассказывает, что наряду с поэтами, «которые пьянеют с одного глотка», и парочкой «снобов из телевидения», а также несколькими красотками из тех, фотографии которых регулярно украшают газетные разделы светских сплетен, у нее собирается, например, компания «боевых ветеранов из России», предмет ее гордости, которые приходят к ней, увешанные медалями времен Второй мировой войны, и пьют так, будто у них каждый день — это Девятое мая.

— Что такое Девятое мая?

— День победы во Второй мировой войне. Ты не знаешь, папа? Я на тебя удивляюсь.

— Почему я должен знать? А ты откуда знаешь?

— Каждый Йофе должен знать. На той войне у нас погибли двое дядей, оба полковники. Ой, с ума сойти, сколько анемонов... Смотри, эти синие какие высокие.

Анемон, который в это время уже отцветает и встречается все реже, я люблю особенно — за сме-

лость, за красное бесстрашие его сердца. Еще царит зима с ее холодом и грязью, а он уже зацветает, выпрастывается что есть сил из мерзлой земли, возвращает мир к жизни и даже готов чистосердечно [с трогательной откровенностью] выдать свой возраст — растущим ото дня ко дню расстоянием между лепестками венчика и листьями чашечки. Когда они отцветают, я иду собирать их семена. Бархатно-красные венчики уже завяли и повисли. Набухшие завязи лопнули. Семена, закутанные в мягкие ватные волокна, раскрылись и ждут милости ветра. Я собираю их, смешиваю с влажным песком и высеиваю в моем цветнике, а когда мне попадается покупатель или покупательница, которым я симпатизирую, устраиваю им сюрприз: прячу эти семена в дальних уголках их сада, не доступных поливке.

— Что это такое? — спрашиваю я через год-другой, делая удивленный вид.

— Понятия не имеем, просто вдруг расцвели, — отвечают они, обрадованные неожиданной милостью, которую им даровала природа. — Правда, красивые?

— Только не слишком поливайте летом, — советую я, — чтобы не сгнили клубни.

От огромных россыпей нарциссов, которые покрывали Долину «в те времена», теперь осталось лишь несколько полянок. Могучие трактора волокут за собой сегодня большие плуги, лемеха которых уходят в землю намного глубже, чем у прежних малень-

ких, слабеньких бисоков\*. Проходя борозду, такой лемех выворачивает наружу все луковицы, и многие из них погибают от опрыскивания. Остальное попадает в пасти экскаваторов. Каждый раз, когда я вижу землемеров, втыкающих в землю свои колья или щиты с надписями «Здесь строит такая-то фирма», я выхожу на спасательные операции. Как вороны, что идут следом за плугом, выклеывая дождевых червей и улиток, так я иду за этими экскаваторами, а еще лучше — за день, за два перед ними. Иду, смотрю, наклоняюсь, высвобождаю луковицы гладиолусов, клубни цикламенов, анемонов, асфоделей и лютиков, собираю и закапываю их у себя. Когда расцветут, может быть, напомнят обо мне детям.

— Видишь все эти цветы? — скажет дочка моей Айелет своему «кавалеру», который тоже еще не родился. — Это мой дед принес их с полей.

А для нарциссов я прошу у Жениха одолжить мне свой «пауэр-вагон» и, если он мрачнеет, говорю:

— Если ты мне не доверяешь, вылезь из своей ямы и отвези меня сам.

В назначенный час он запирает вход в свое подземное царство и, не полагаясь на меня, приносит еще вилы, лопату и мотыгу.

— Ну, что слышно, Арон? — спрашиваю я.

— Слышно. Что уже может быть слышно?

\* Бисок — вид плуга, распространенного в первых еврейских поселениях.

Ночью, когда я сплю возле своей читающей жены или не сплю возле своей рассказывающей тетки [не сплю возле дремлющей жены или сплю возле грезящей тетки], я слышу как он копает там, внизу. Иногда это настоящий шум — глухие удары кирки или злобное жужжанье землеройной машины, такой металлической медведки его собственного изобретения: маленький сильный уродец с электрическим мотором, фиксированными передаточными числами и зубчатыми колесами, которые венчают стальную головку. А иногда это шум, который слышит только моя фонтанелла, порой — в сопровождении картинки.

— Сколько часов в день ты копаешь?

— Сколько нужно.

Под землей время не чувствуется. Тут всегда та же прохлада, и та же темнота, и та же тишина: ни птичьего голоса, ни будничных звуков, ни красок восхода, ни запаха цветов. Здесь вечные сумерки — ни тебе полуденного солнца, ни вечернего ветра. Так оно всегда тут, в этом прохладном чреве [в его Ноевом ковчеге] [в его «Наутилусе», который никогда никуда не отплывет] [здесь, в могиле, где ему никогда не поставят табличку или памятник].

Я никогда не спускался к нему туда. Жених запирает стальную крышку своей норы — и входя, и выходя.

— Это опасно, — сказал я ему. — А вдруг с тобой что-нибудь случится там, внутри? Как мы пробьемся, чтобы спасти тебя?

— Не случится, — говорит он, а когда я спрашиваю: «Откуда ты знаешь?» — отвечает: — Потому что это не запланировано.

— А что у тебя запланировано?

— Спасти семью.

— Брось, Арон, — смеюсь я. — Ты ведь уже подготовил нам всё что нужно, на любой возможный случай. Газ, и воду, и бензин, и еду, и деньги, а двор наш окружен стенами, и у тебя в распоряжении пять ветеранов, пусть стареющих, но из отборной части, и у Габриэля есть оружие и боеприпасы, которых хватит и на Танзим\*, и на целую интифаду.

— Этого не достаточно.

У него там уже несколько уровней, сказал он мне с гордостью, и он передвигается между ними по системе лестниц. И на каждом уровне у него есть рельсы, и он сидит на деревянной доске с роликами и тянет себя канатом, из помещения в помещение. А иногда он спускает туда Апупу, чтобы помог, потому что в своем нынешнем состоянии Апупа приспособлен для рытья больше любого другого существа, даже слепыша и крота, поскольку при крохотном теле своей старости он сохранил огромные руки своей юности, а Жених сделал для него лопаты, топоры и кирки короче обычных, чтобы он мог орудовать ими в тесном пространстве туннеля.

— Он смеется над всеми вами, — сказала Айелет, — он вовсе не роет убежище. Он построил себе там дво-

\* Танзим — палестинская боевая организация, возглавившая первую интифаду.

рец, со всеми «люксусами», против которых так возражает наверху: нюхает травку, смотрит развратные американские фильмы, трахает девочек и делает себе маникюр.

— А как же насчет еды? — интересуется Ури.

— Его туннель доходит до дома Наифы, и она спускает ему на веревках «кишке»\*.

А может, она права, и Жених, спустившись в свое подземное царство, снимает с себя испачканную рабочую одежду, входит в огромный зал — дорогие бассейны с мрамором, бархатом и светом, — окунается в надушенную воду, надевает сиреневый шелковый халат и смотрит каждую ночь «American beauty»? Может, его туннели уже доходят до торгового центра? А может, он построил себе там точную подземную копию «Двора Йофе» — один к одному, двенадцать гектаров подземной площади — со всем, что есть у нас наверху, кроме неба? Сдомом, что ждет Апупу, и Гирша, и Габриэля, и с верандой, только без вида на простор? И с индейским шатром для «Священного отряда», и домом для меня и для Алоны, и домом для Рахели, и баракком, и стенами, и запертый домом для Пнины, и огородом для Ханы — с чучелом, но без овощей?

— Так что ты там для нас вырыл, Арон? Дом? Убежище? Скажи правду!

Но Жених свое:

\* «Кишке» — традиционное еврейское блюдо, пустая кишка животного, наполненная овощной или мясной начинкой.



— Вы еще все скажете мне спасибо.

Дряхлый «пауэр-вагон» едет медленно, собирает за собой хвост гудящих, как на свадьбу, «тойот» и «нисанов» в роли шаферов, а Арон смотрит на новые дороги, которые «прокладывают портачи», жалуется на мост, построенный на соседней развязке: «Даже слепой увидит: подрядчик мерзавец, обманывает на железе, а кто-то в муниципалитете имеет с этого свой книпеле\* под столом», — и на тех водителей, которых «пришло время вообще убрать с дороги».

— Недавно, — рассказывал мне Габриэль, — мы поехали с ним в очередной раз в Хайфу, и он ехал, как обычно, медленно-медленно, не очень-то обращая внимание на идущих за ним, и на светофоре какой-то нервный водитель начал на него орать, и тогда он очень спокойно открыл окно, посмотрел на него и сказал ему эту свою дурацкую фразу: «Какая у тебя морда, так ты и выглядишь!» Ну, ты же знаешь этих нервных типов, их больше всего заводит, когда им говорят что-то такое, чего они не понимают. Он сразу же выскочил из своей машины и трахнул кулаком по нашему «Пауэр-вагону»: «А ну, выходи, говно ты это-кое, я счас твою мать поймею!» — и тогда вся моя команда как выскочит наружу через заднюю дверь, и все разом платья задрали: «И меня тоже... И меня... Я первый...»

— Так точно и было, — подтвердил Жених, хотя по лицу его было видно, что он еще не решил, кто хуже,

\* Книпеле — кошелечек (*идиш*), здесь — взятка.

жулики или отряд Габриэля. И тут же начал свое обычное — что «в те времена» на всю нашу Долину и Галилею «у англичан было всего трое дорожных полицейских, “трафики” мы их называли, и чтоб ты знал, Михаэль, эти трое навели здесь такой порядок, что никто не осмеливался нарушать. Самое большее, когда мы с Красавчиком-Шустером приезжали иногда на Чек-пост\* на его незарегистрированном “метчлессе”, так мы ждали, чтобы пришел грузовик, и пока “трафик” его проверял, нам удавалось проскочить. А сегодня даже пятьдесят патрулей со всеми их радарами, и сиренами, и мигалками не помогают, все равно каждый водит и ведет себя, как ему вздумается. Так что удивляться, что вокруг сплошные преступления и взятки».

— По-твоему, все эти неприятности от Чек-поста?

Мы едем в сторону большого одинокого кипариса, что возле памятника в конце квартала. Тут асфальт кончается, и мы выходим на полевою дорожку. Жених хороший механик, но водитель так себе, а дорожку к нарциссам совсем не знает, поэтому готов отдать мне руль, чтобы мы не застряли в грязи.

— Посмотри на всех этих, — показывает он на соседний торговый центр, — посмотри на этих брат-

\* Чек-пост — трехсторонний перекресток, соединяющий жилые районы Хайфы с ее промышленной зоной и северными пригородами; свое название получил от контрольно-пропускного пункта, располагавшегося здесь во времена британского мандата.

ков, на эти блестящие волосы торчком — вон они, вываливаются, как дерьмо, из экскурсионных автобусов, — посмотри на их головы, Михаэль, как они перекрасились в блондинов, все эти черные, — как будто сразу по морде не видно, откуда родом их папы и мамы...\*

— Арон, — удивляюсь я, — что за разговоры? Я никогда не слышал, чтобы ты говорил о цвете людей.

Арон — человек планов и расчетов, и ему важны точность и имена.

— Не делай из меня расиста! — говорит он — Я лично темнее большинства людей в Государстве Израиль. Дело не в цвете. Дело в том, как они держатся. Как они себя ведут. Ты посмотри на их подружек, как они все время орут и прыгают вокруг своих патлатых кавалеров, а у самих животы, как у жирной телки, от этого ихнего попкорна, который они жрут пудами! И вдобавок с голым пупом наружу... — И тут его злость вспыхивает, как войлок от запаха огня. — И это не только они! Это все! Это вообще! И эти наши безработные, которые не хотят работать, и наши богачи, которым только «люксусы» подавай, и эти «вернувшиеся к Торе», все эти мерзавцы, которые бегают теперь

\* Намек на смуглых и черноволосых сефардов (евреев — выходцев из арабских стран, в основном — Марокко, Туниса, Йемена), которых многие из светлых, а порой и светловолосых ашкеназов (евреев — выходцев из Европы) зачастую считают «евреями второго сорта».

к нам сюда, окунаться в источник возле кибуца. Почему «мерзавцы», ты спрашиваешь? — Он почти кричит на меня, хотя я ничего не спрашивал. — Потому что говно — это говно, и сколько ты его ни окунай в источник, оно не перестанет от этого вонять. Я уважаю религиозных людей. Я очень ценил старого Шустера, хотя его семья украла у нас двух жеребят. Мне нравятся люди, которые направляют свою жизнь на что-нибудь одно. Это как разница между костром на пикнике и огнем от сварки.

Ответственный за воду в кибуце, рассказал он мне, чуть успокоившись, попросил его сходить с ним к источнику, глянуть и посоветоваться по поводу утонувшего насоса. «Так это говно, эти хасиды, они чуть в рукопашную с нами не полезли! Это, видишь ли, уже «их источник»! Это их миква! Святое место! Ну, тогда этот парень из кибуца вызвал по мобильнику нескольких ребят — из тех, что работали у них в поле, таких, знаешь, которым только дай подраться, — и ты бы посмотрел, как эти говнюки начали заискивать: «Иди, брат, иди к нам, окунись тоже, сделай доброе дело, брат...»»

И тут же снова начал орать: «Какой брат? Этим я брат?! Мало мне, что за мои налоги им растят детей, так я им еще должен быть братом? Зачем? Чтобы у нас было еще больше этого дерьма и их раввинов-паразитов, которые продают людям святое масло. Ты только посмотри на них! Весь день только и делают, что окунаются в источник и расстилаются на могилах!»

— Йофы из Иерусалима тоже, — сказал я. — Ездят на гору Мерон и в Умань\*, целуют мезузы и расстилаются на святых могилах.

— Тоже дерьмо! Только наши дерьмо, а те — говно. Но почему ты всё время хочешь всё уравновесить, Михаэль? И почему ты всё время делаешь из меня расиста? Это же не так!

Теперь он немного успокаивается, дышит, и морщины у него на лбу тоже успокаиваются.

— Мы, евреи, — цитирует он слова, которые услышал однажды в своем «Парламенте пальмахников» и с тех пор повторяет до оскомины, — как удобрение: когда нас рассеивают по земле, мы удобряем, но когда нас собирают в одну кучу, мы становимся кучей дерьма. Эта страна не выстоит! Это дело рассыплется! Сейчас остается только думать, как нам сделать государство в следующий раз. Как и с кем.

— Даже во время твоей Войны за независимость были такие, и даже тогда некоторые уклонялись от службы, — сказала, снова всё уравнивая. — Среди сефардов многие погибли тогда в боях, а многие настоящие блондины в то же время сидели в кафе «Пильц» в Тель-Авиве. Отец мне рассказывал. Сидели там и любезничали с девушками.

\* Гора Мерон (в Северном Израиле) и Умань (на Украине) — места захоронения двух еврейских мудрецов: Шимона бар Йохая, которому приписывается авторство главной кабалистической книги «Зохар», и Нахмана из Брацлава; эти два места являются центрами массового паломничества религиозных евреев в наши дни.

На этот раз глаза Жениха вдруг наполняются пугающей влажностью, слезы растворяют сажу, скопившуюся под веками, прокладывая черные ручейки краски по щекам, голос прерывается и дрожит от обиды:

— Это ты на меня намекаешь? Ты обо мне говоришь? Да, я не был на поле боя, из-за этой хромой ноги меня не взяли, но я свое вложил...

И в этот трогательный момент я улыбаюсь и даже чуть не смеюсь, потому что буквально слышу, как Айелет и Ури, хотя их здесь нет, шепчут за ним продолжение: «...это мои мины остановили людей Каукжи»\*, или «...это мои взрыватели подняли в воздух мост Бнот-Яков», или историю о тех его старых огнеметах, которые армия «не зря после Шестидневной войны вытащила снова со складов Музея Хаганы\*\*», потому что иначе не могла выскрести террористов из их ук-рытий».

И вот, поскольку свою часть соглашения с Апупой он уже выполнил, обо всех нас позаботился, как обязался, и уплатил, как обязался, за наше обучение и дома, за

\* Каукжи, Фаузи (1890—1977) — руководитель арабских отрядов, нападавших на еврейские поселения в Палестине во время арабского восстания 1936—1939 годов, участвовал в антибританском восстании 1941 года в Ираке и после провала бежал к Гитлеру, был офицером вермахта и немецким агентом в Палестине, а после создания Израиля возглавил «Арабскую армию освобождения», которая была пропущена иорданцами в Палестину, но разгромлена израильянами.

\*\* Хагана — еврейские подпольные вооруженные отряды в Палестине, созданные в 1920 году, из которых выросла Армия обороны Израиля.

наши бар-мицвы и бат-мицвы, за свадьбы для живых и за памятники для мертвых, то сейчас ему действительно ничего не осталось делать, кроме самой большой заботы — что будет, если вспыхнет война. «Не врагов я боюсь, я боюсь нашего собственного жулья». Поэтому он копает, к этому он готовится, и мы все еще скажем ему спасибо.

— И дело тут совсем не в «правых» или «левых». Те чума, а эти холера, и для меня что Шуламит Алони, что Геула Коэн\*, они обе для меня одно и то же. Ты помнишь, Юдит, как эта Геула бушевала в кнессете после мира с Египтом? Как будто ее муха укусила. Порвала вожжи, помочилась на оглобли и убежала в поля.

Недалеко от Кфар-Баруха, в том месте, где раньше было большое искусственное озеро, Долина возвращается к своей первозданности: несколько гектаров болот и зарослей, нутрии, дикие кабаны и веселые зимородки, а в камышах осторожно шагают цапли, подбирая лягушек и рыбешек. А если прислушаться, особенно с закрытыми глазами, можно услышать далекий рев диких ослов.

Районный совет прокладывает здесь несколько дорог, и, поскольку их трассы уже размечены и вскоре здесь появятся трактора и катки, я вырываю там нар-

\* Алони, Шуламит и Коэн, Геула — израильские общественные деятельницы, олицетворяющие противоположные, но равно фанатичные политические лагеря — крайне левый и крайне правый.

циссы. Чем старше нарцисс, тем глубже он сидит в земле <совсем, как наш Жених> — и как только я вижу длинные листья и высокие стебли соцветий, я понимаю, что мне предстоит прокопать больше полуметра, чтобы добраться до луковиц. Я кладу их, вместе с комьями тяжелой мокрой земли, в захваченную с собой картонную коробку, и, когда мы едем обратно, эти нарциссы наполняют пропитанное бензином нутро «пауэр-вагона» такой пронзительной свежестью, что раскалывается голова и слезятся глаза. И тогда Жених наконец прекращает свои жалобы, и старые пятна крови сами собой исчезают с обивки, а повисшие в воздухе старой кабины всхлипывания Пнины и стоны ее родовых схваток, которые слышит только моя фонтанелла, оседают совсем.

— Ты уже перепутал все рассказы, — ворчит Жених. — В больницу мы с ней ехали в «транзит-аванте». Ты что, думал, я повез свою Пнину рожать на этом своем страшилище?

\* \* \*

На день сорокалетия Апуны дочери приготовили для него представление, а супруги Ландау приехали со своим сыном из Тель-Авива. Гирш играл, Амума поплакивала, а Жених, тогда еще подросток, улыбаясь редкой улыбкой, объявил, что «хватит спорить о температуре супа», и положил на стол коробку со своим



подарком. Это был карликовый примус, который он сумел избавить от двух извечных примусных недостатков — запаха и рева.

Аума налила порцию супа для Аупы в металлическую миску, поставила ее на новый примус, и все были счастливы: Арон, потому что обрадовал своего будущего тестя. Аума, потому что булькающие пузыри свидетельствовали, что горячее этого супа уже ничего быть не может. И Аупа, потому что маленький примус еще раз подтвердил, что он выбрал самого лучшего мужа для своей дочери и самого лучшего зятя для себя самого.

Несколько дней он озабоченно расхаживал, напрягая свои куриные мозги, и наконец объявил, что пришло время построить для семьи настоящий дом, из бетона и камня, а маленький деревянный барак, в котором они жили до сих пор, отдать Жениху под мастерскую. «Для работы и для проектов».

Сам Аупа в проектировании нового дома не участвовал.

— Решите все сами, — сказал он, — а когда надумаете, скажете мне, что нужно сделать.

Для себя он хотел только большую деревянную веранду, которая смотрела бы на холмы и поля. Арон сразу же занялся схемой прокладки труб и электропроводки в будущем доме, Аума планировала, как его разгородить внутри, а Сара Ландау послала к нам своего знакомого строительного инженера из Хай-

фы — помочь с фундаментом и каркасом. Это был высокий и худой холостяк, которого сама Сара неизменно называла «инженер Флоренталь» — даже в разговорах, никак не связанных с его профессией: «Инженер Флоренталь, сколько вам сахара в чай?» или «Инженер Флоренталь, вам будет удобнее вот в этом кресле», пока Рахель не высказала предположение, что «Инженер» — это не профессия инженера, а его собственное имя.

«Инженер Флоренталь» поведал Саре Ландау, что в проект дома включена также отдельная комната для ее сына. Она тут же встревожилась: «Но что будет с его школой?» Однако Гирш, который тоже понял, что должно произойти, очень обрадовался: его сын будет больше времени проводить во «Дворе Йофе», и в результате он сам сможет, не вызывая подозрений, умножить частоту своих визитов туда, играть для Амумы и видеть ее слезы. А сам Арон, как будто в оправдание отцовской радости и материнских опасений, бросил школу, совсем оставил Тель-Авив, переехал к нам и стал нашим прорабом. Всем, кто его спрашивал, он отвечал, что приехал только на время строительства, а затем вернется в гимназию. Но все понимали, что он приехал, чтобы остаться. Он привез с собой маленький чемодан, ящик инструментов и полевую раскладную кровать с деревянными ножками, металлическими коленками и брезентом, висящим, как на сносках, и Амума торжественно вручила ему — ощущение церемониала витало при этом над ними обоими, и Жених очень расчувствовался — настоящий йофианский пуховик.

Муж Наифы привез из Дженина целую хамулу\* специалистов — строителей, штукатуров и опалубщиков, споры которых были так похожи на наши споры и голоса которых были так похожи на наши голоса, что маленькая Рахель сказала: «Ая не знала, что есть Йофы-арабы». И, несмотря на молодость прораба, дом был построен с рекордной быстротой. А когда работы по дому были завершены, Арон превратил барак в свою мастерскую и установил для себя отныне постоянный распорядок: днем — помогать во «Дворе Йофе», работать и совершенствоваться у немецких мастеров, чинить приборы и инструменты по всей округе, а ночью — сидеть, и чертить, и думать, и стирать начерченное, пока голова не свалится на грудь.

Но на этом история не закончилась. У англичан были тогда шпионы и доносчики по всей Стране, и слух о примусе, изобретенном Ароном Ландау для Давида Йофе, достиг и их ушей. Прошло немного времени, и в нашем дворе появилась целая делегация: два офицера интендантской службы, старый военный повар, один рядовой солдат и два инженера. На одном из инженеров были вельветовые брюки, на другом — шотландская юбка, но, несмотря на эту одежду, всем было ясно, что они тоже из армии, потому что они жевали жвачку на диво согласованными жевками, словно какой-то армейский внутренний метроном командовал им: «Нале-во! Напра-во! Нале-во!» Хана смотрела на них с умилением. Сама жвачка, конечно, вызывала у нее

\* Хамула — род, семья, компания, ватага (араб.)

отвращение, но это энергичное и размеренное жевание наполняло ее вегетарианское сердце восторгом.

Увидев, как молод изобретатель, инженеры были потрясены, и тот, что в юбке, которого, кстати, звали Джордж Стефенсон\*, угостил Арона жвачкой: «Have some chewing gum, lad», но Жених отказался. Он не будет жевать «чингу» — так он заявил, — это американский обычай, вредный и непристойный.

Они попросили у Арона примус, сфотографировали его, измерили и взвесили, поочередно поместили его в пять разных видов ранцев, заставили солдата с примусом на спине бежать, лежать, ползти и катиться, потом проверили, как он горит при разных видах горючего, при южном и при западном ветрах, записали время закипания, изучили, может ли солдат понять, как с ним обращаться, и сколько времени надо потратить на его обучение, пока поймет. Наконец они успокоились, и Арон, у которого не было нужных для массового производства условий, начал ездить каждый день в мастерские британской армии в Хайфе. Он получил там превосходные рабочие инструменты, работал с самыми лучшими специалистами и вместе с ними придумывал, как улучшить свой примус. Он приобрел среди них новых товарищей и однажды вечером даже принес домой анекдот, который рассказал ему один английский слесарь-поляк, а он записал в своей записной книжке и осмелился по секрету рассказать Апупе.

\* Стефенсон, Джордж (1781—1848) — английский изобретатель, создатель первой в мире железной дороги.

— Старый мужчина, он как примус, — прочел он по записи, серьезно и старательно. — Если в нем осталась хоть одна капля — головка еще горит. — Поднял голову от записной книжки и смущенно улыбнулся, когда Апуа засмеялся.

В любой горелке наиболее важные части — каналы, что подают горючее и воздух, а также пустоты в головке. После того как они были усовершенствованы и отполированы, и вес примуса уменьшился, и синева его пламени углубилась, а жар увеличился, были изготовлены несколько десятков опытных образцов таких примусов, которые затем отправили в самые разные подразделения английской армии. А когда эти образцы прошли все испытания — в разных климатах, и на разных высотах, и в разных руках, — молодого изобретателя вызвали на окончательную встречу на военной базе в Курдани. Апуа и Гирш Ландау, в сопровождении адвоката тель-авивского симфонического оркестра, поехали с ним.

— Авторские права — это авторские права, — сказал адвокат оркестра развеселившемуся английскому полковнику, — и не имеет значения, примус это, «Смерть и девушка»\* или канцелярская скрепка.

Только после того, как они вышли из кабинета, полковник заметил, что молодой изобретатель слег-

\* «Смерть и девушка» — адвокат оркестра имеет в виду, скорее всего, знаменитую фортепьянную сонату Шуберта, а не сходное по названию произведение А. М. Горького или одноименный фильм Поланского.

ка хромает, а его глаза жадно обшаривают огромную свалку старых военных машин, скопившихся на базе в ожидании очереди на переплавку. Он спросил мальчишку, как бы в шутку, не хочет ли тот взять себе «кого-нибудь из этих покойников», и грудь Арона чуть не лопнула от волнения. Он с усилием кивнул, указал на старую военную машину «скорой помощи» и выдавил: «Эту».

— Хороший выбор, — сказал полковник. — Это Dodge Power Wagon WC44, машина, подобной которой нет, если, конечно, кому-нибудь удастся вернуть ее к жизни.

У нас не было тогда денег на тягач, и поэтому на-завтра Апупа вернулся в Курдани, нагруженный толстыми веревками и цепями и ведя за собой двух волов, одолженных у немецких приятелей Жениха. Семейная легенда рассказывает, что быки тащили «пауэр-вагон» от лагеря Курдани до деревни, а когда при подъеме на холм их сил не хватило, Апупа сам впрягся между ними, вбил еще пару копыт в землю, и так они вместе, общими усилиями и дружно мыча, затащили «пауэр-вагон» в наш двор. Но Рахель говорит, что это и на самом деле легенда, потому что «в действительности было так: Апупа помогал им, честно толкая сзади, а не таща с ними спереди».

Жених починил «пауэр-вагон» и вернул его к жизни, а что касается примуса, то изобретение Жениха претерпело еще несколько необходимых изменений, а потом британская армия начала оснащать им своих

## МЕИР ШАЛЕВ. ФОНТАНЕЛЛА

солдат. В результате каждый британский солдат в Западной пустыне\* получил возможность съесть свой утренний «Полный Монти», то есть полный горячий завтрак согласно знаменитому меню фельдмаршала Монтгомери: яйцо с сосиской, фасоль и картошка, полоски бекона и все прочие «яды», — и это привело к четырем важным результатам: довольные солдаты Монтгомери победили подавленных солдат Роммеля в бою при Эль-Аламейне, евреи Страны Израиля были спасены от немецкого вторжения и верной гибели, Жених получил гонорар от правительства Его Величества, а по окончании войны Арон Ландау женился на Пнине Йофе.

\* Западная пустыня — пустыня к западу от Нила, где сосредоточились британские войска, отступившие в Египет под напором армии Роммеля. Оттуда они начали затем свое контрнаступление, увенчавшееся победой при Эль-Аламейне (ноябрь 1942 года), разгромом Роммеля и полным изгнанием немецких войск из Северной Африки, что, в частности, окончательно ликвидировало угрозу вторжения нацистов в Палестину.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### ВРЕМЯ

Летними днями, когда отец исчезал из дому, а мать принимала своих «гостей» или возилась в огороде, я шел к Ане и мы уходили гулять. Я встречал ее на середине тропы, которую протоптал за время утренних походов к ней, и оттуда мы шли в «наши места». В сады — посмотреть на цветенье слив, густое, белое, которое она любила больше всего. В апельсиновую рощу — поискать птичьи гнезда, глянуть, какие яйца уже треснули, а из каких уже вылупились птенцы. На железнодорожную станцию, к эвкалиптам — посмотреть, как нахальные кукушки подселяются в гнезда к воронам.

К нашему пшеничному полю мы тоже ходили. Сколько лет уже прошло, а по его краям все еще чернели ожоги былого пожара, и по другую сторону всё так же мелко бежала мутная водица вади, в которую Аня окунула меня тогда. Аня пританцовывала и скакала на ходу, взлетала в высоком прыжке, как большая песча-



ная кошка, кричала и размахивала длинными руками, передразнивая чибисов, которые угрожающе пикировали на нас и пронзительно кричали. Иногда она даже швыряла в них маленькие камешки и комочки земли.

— Не бойся, Фонтанелла, я никогда не попадаю.

И однажды, уже перейдя вади и продолжая свой путь к соседским полям, мы вдруг увидели моего отца с Убивницей. Моя задрожавшая фонтанелла ощутила их раньше, чем Анины глаза их заметили, но не успел я повернуться, как ощутил ее напрягшуюся руку и понял, что теперь и она видит. Если описывать этот миг как один из многих в любовной истории семейства Йофе, то я не могу сказать, относился он к плохим или к прекрасным. Но я помню, что моя фонтанелла вдруг задрожала очень сильно, и я думаю, что это было первое в моей жизни ясное пророчество, в котором были также слова и которое выходило за пределы простого ощущения: я ясно увидел моего мертвого отца, лежащего в постели этой женщины.

Но тогда он был еще жив и лежал с ней рядом, и их тела белели на розовато-сиреневом ковре, который соткали для них последние лепестки мальтийской рикотии и первые цветы дикого клевера и льна. Заметив нас, они приподняли головы от удивления. Я тоже был удивлен, но не своим пророчеством и не тем, что сейчас неожиданно увидел, — во всем, что касалось моего отца, те неожиданности, которые должны были бы удивлять, едва произойдя, начинали казаться чем-то вполне естественным, — меня удивило, что его ладонь лежала в ее

руке. То было новое для меня проявление любви. Моей матери отец никогда не давал руку, а когда она сама брала ее — на семейных торжествах, демонстративно и решительно, — он говорил, тихо и сухо:

— У меня только одна рука, Хана, оставь ее мне, пожалуйста.

К счастью, расстояние между нами и белые занавеси сливового цветения, плывшие вперемешку с голубыми занавесями люпина, позволили нам разминуться, не оглядываясь. Отец, и сын, и две женщины, обе чужие-любимые, — все сделали вид, что не видят друг друга, а вечером, когда мы с отцом встретились во дворе, он вел себя так, будто ничего не произошло. Но какой-то новый блеск появился в его взгляде. Он не размышлял — что было бы естественно, — расскажу ли я матери, не просил извинить его за измену — его забавлял внезапно открывшийся ему характер моих отношений с Аней.

Точно ли она их увидела? Не знаю. Она тут же побежала дальше, увлекая меня за собой, но она делала так и во всех других наших многочисленных прогулках. Пробежав еще немного, она бросилась на землю, легла на спину и потянула меня на себя, и вот я уже млею от прикосновения ее руки, медленно скользившей под моей рубашкой, и моя голова уже лежала на ее животе. И хотя я любил ее так, как любят молодую мать, и как любят старшую сестру, и как любят подругу по детским играм, но уже тогда и даже много раньше, в какие-то неожиданные, неясные мгновенья, моя любовь к ней вдруг становилась любовью мужчины и страстью к женщине.

Мой мозг еще не образовал тогда гроздь надлежащих нервных клеток, тело не приготовило еще необходимый костяк, еще не нарастило на него нужные мышцы — но какой-то жар уже обжигал мои чресла, и дыхательное горло превращалось в жаркий и мягкий прут, казалось прораставший прямо из диафрагмы. Мне хотелось прижать грудь к груди, живот к животу, вжать все мое тело внутрь всего ее тела, под моей фонтанеллой вздымались подземные воды, и одно лишь слово подходило для них — любовь. Картины, которые мне рисовались при этом, не так уж отличались от того, что мы с ней делали обычно: игры и прогулки, бег наперегонки, шутивная борьба, объятия и ласки, — но моим глазам эти картинки представлялись весьма необычными: они как будто соскальзывали на меня откуда-то с высоты небес, легкие, невидимые, не нуждаясь в свете, медленно крутятся и снижаясь. Я помню их приземления — ту быструю дрожь, что вдруг проникала сквозь свод моего черепа, — а когда они уже становились видимыми моим глазам, то виделись им как бы откуда-то изнутри, возбуждая и кружа мне голову больше, чем любая картина, видимая обычным путем.

Была у нее привычка — шептать мне в уши фразы, вначале ясные и простые, и вдруг все согласные растворялись, и слова сходили на нет, исчезая, как поливочная вода в садовой канавке, и хотя слышно еще было, что это слова, но их уже невозможно было понять, даже моей фонтанеллой.

— Скажи еще раз, — умолял я, напрягая не только слух, но и осязание, и обоняние, и зрение, а она опять:

— Ты помнишь, Фонтанелла, как мы шли тогда с тобой, и я ниоткуда... — И вот, мелодия еще длится, а слова ее уже распадаются на невнятно тянущееся Н, и неслы́шно шепчущее Ш, и почти непонятное П, и любовно ласкающее Л, и мягко млеющее М, и вся фраза тоже куда-то уплывает, уходит, и тонет, и журчит себе тихо-тихо где-то под землей, а потом вдруг — из тишины — снова всплывает: «... Мальчик ты мой».

— Я мальчик мамы и папы, — сказал я однажды, извещая об этом не только ее, но и себя.

— Давай посмотрим, остались ли еще знаки, — сказала Аня.

Она тогда сидела на стуле, а я стоял у нее между колен. Ее руки и глаза прошлись по моей коже.

— Уже ничего не видно, — сказала она. — Скоро только мы с тобой будем знать.

— Мама и папа тоже знают, — сказал я. — И Апука с Амумой, и вся семья.

— Сейчас они знают, потому что у них нет выхода. Но скоро они забудут.

— У нас в семье ничего не забывают, — сказал я и тут же ощутил, что Элиезер вошел в комнату, и повернулся к нему.

— Нет, это они забудут, — сказал он. — Они забудут, потому что не они спасли тебя. Они стояли и вопили, а Аня вошла в огонь.

— Перестань, — говорит ему Аня. — Прекрати, Элиезер. Немедленно.

И я вспоминаю сейчас ссору, которая вспыхнула однажды между моими родителями. Такую громкую, что я переживал снаружи, пока кончатся крики, как при стрельбе из автомата, которую тоже нельзя прервать, пока не кончится магазин.

— Что он делает у нее все время? Я требую знать, — слышал я ее, а потом его:

— Ша, Хана... Тише...

— Ты думаешь, я не знаю, что он проходит через ее руки утром, и возвращается через ее руки в полдень, и гуляет с ней в полях перед вечером? Что, он не может вместо этого помочь мне в огороде? Какой интерес восьмилетнему мальчику проводить столько времени со взрослой девушкой и какой интерес взрослой девушке проводить столько времени с маленьким мальчиком?

— Тише, Хана... Ша...

— Что «ша»? Почему ты все время говоришь мне «ша»? И почему она не делает себе своего мальчика?

— Хватит! — Его голос крепчает. — Мальчик услышит.

— Вдруг ты заботаешься о своем сыне! С кем он дружит — это, по-твоему, неважно. Что попадает ему в рот — это тебе неважно. Но что попадает ему в уши — это «Ша... Мальчик услышит!».

Он вскипел:

— Что плохого в этой девушке? Вместо того чтобы каждое утро посылать ей букет цветов с благодарностью, ты только ищешь причин для ссоры.

— Его бы спас каждый, кто там проходил.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВРЕМЯ

— Ты так думаешь, Хана? Каждый? Но мы все почему-то только стояли и вопили... Такое можно забыть? Твой отец, и его верный пес, и наш Арон-гаон\*, и бабушка, и тетки, и мы с тобой тоже, его отец и мать, мы тоже стояли и вопили, а в огонь войти — не осмелились. А она, совсем чужая женщина, проезжала мимо — и бросилась.

Мать молчит. В семействе Йофе не любят вспоминать день пожара.

— У него есть дом! — наконец провозглашает она. — А там, извини меня, это не только она. Это ее муж тоже.

— Элиезер? А с ним у тебя какая проблема?

— Какая проблема? Он же алкоголик.

— Не каждый, кто пьет за едой немного вина, алкоголик, — сказал отец. — И потом, он директор школы, это не просто люди с улицы.

Моя фонтанелла умеет превращать звуковые волны в картинку. Я видел, что сейчас она села за стол, что у нее опущена голова, что ее пальцы собирают крошки диетического хлеба со скатерти.

— И это как раз еще одна вещь, которую я требую узнать! — Она снова возбудилась. — Как это такая молодая девушка вышла замуж за такого старикана?

Отец улыбнулся:

— Сначала ты хочешь знать, зачем ей маленький мальчик, теперь ты хочешь знать, зачем ей пожилой мужчина...

\* Гаон — мудрец (*иврит*).

— Ничего я не хочу знать. Я хочу, чтобы он прекратил проводить с ней все время. У него есть дом, и у него есть мать.

— Она симпатичная девушка, — сказал отец, — и Михаэлю, наверно, приятно, что взрослый человек относится к нему так сердечно. Они немного гуляют, я сам видел. Она любит природу, и она не заставляет его считать жевки, а ты, Хана, извини меня, говоришь сейчас, как ревнивая женщина.

— Возможно, мне пришло время говорить, как ревнивой женщине.

— Он твой сын, он не твой муж. — И улыбнулся в ответ на ее молчание. — Он пойдет к ней, а мы проведем хороший вечер дома. — И шепнул ей что-то на ухо.

— Об этом ты должен был подумать до того, как набил брюхо едой за ужином! — выговорила она строго.

\* \* \*

Так лежали мы с ней и в тот день, когда на деревенские поля упал самолет. Мне было тогда лет восемь с половиной, высокие травы стояли вокруг нас, и глаза наши, пасущиеся в небесных полях, следили за пролетавшими цаплями, белизна которых чернела против солнца, и поэтому прошло несколько секунд, пока глаза поняли, что летящая над нами точка — это самолет. Так высоко, что звук не был слышен.

— Это «мустанг», — сказал я ей с гордостью.

Как любой мальчишка Долины, я знал все типы самолетов на соседнем военном аэродроме. Мы видели, как они взлетают и садятся, гоняются друг за другом, пикируют и взмывают. Но этот самолет не пикировал и не взлетал, он летел медленно, и, в отличие от других самолетов, не видно было, чтобы он маневрировал, или гнался, или подстерегал, или даже вообще куда-нибудь направлялся или спешил. Мы смотрели, как он спокойно качается себе там, будто бабочка, веселящаяся на весеннем воздухе, и Аня с улыбкой произнесла:

Фейгелах флайн  
а шуре ланг ви а бан  
ун ибер зай айн аероплан.

— Непонятно, — возмутился я. Тогда я уже знал, что «мейделе Алка мит дер блейер парасольке» — это наша «девочка Айелет с голубеньким зонтом», но эти строчки не понял. И Аня перевела:

Мчатся птички-невелички  
длинным поездом в полете,  
а над ними — самолетик  
в небе высоко.  
Мчатся птички-невелички,  
крылья в воздухе белеют,  
а над ними голубеют  
перья облаков...



И тут, прямо над нами, высоко-высоко в небе, самолет вдруг накренился носом к земле, так внезапно и резко, что это могло означать только страшную аварию или страшное решение. И сразу стал предельно устремленным: понесся круто вниз, сначала по наклонной, потом — уже по вертикали и под конец — бешено крутясь вокруг себя в гигантском штопоре и приближаясь к земле куда быстрее, чем если бы падал свободным падением.

Аня закричала, вскочила и помчалась, а я бежал за нею, никак не в силах ее догнать.

— Подожди меня, — крикнул я.

Но куда мне было до крылатой быстроты ее ног. Далеко за собой я слышал испуганные крики деревенских жителей, тоже заметивших случившееся, а над всеми нами звенел, заполняя воздух, непрерывно нарастающий визг пикирующего к земле самолета, который сейчас тянули вниз не только сила мотора и земного притяжения, но и влажные канаты глаз, в ужасе прикованных к нему.

«Мустанг» рухнул. Огромный цветок огня расцвел и тотчас увял, оставив светлый след в глазу и черный дым в воздухе. Крики за моей спиной приближались и нарастали. Казалось, вся деревня мчалась за нами следом — бегом, на велосипедах, на тракторах, на лошадях и на телегах. Между мной и Аней уже образовалось большое пространство, бегущие, скачущие, едущие — все обгоняли меня, и всё спешило, и несло, и торопилось, и мчалось, и таким застыло в моей памяти:

гулкая дробь башмаков и копыт, запах горящего бензина, вопли людей, стук моего напрягающегося сердца.

Самолет упал в полтора километрах от въезда в деревню, рядом с дорогой, ведущей к полям вдоль ручья Кишон. Сегодня эта дорога стала шоссе, по обеим ее сторонам тянутся декоративные деревья и новые кварталы, и каждый вечер по ней бегут от инфаркта мужчины, белея в темноте голыми ногами, и женщины, высоко задирая локти. Возле кипариса, выросшего рядом с памятником в честь погибшего пилота, они поворачивают и возвращаются, и выражение мучительного усилия на их лицах заставляет меня вспомнить легкую силу Аниных ног, когда она мчалась к тому же месту.

Когда я добежал до упавшего самолета, мне уже пришлось протискиваться сквозь стену людей, сгрудившихся вокруг дымящей, развороченной воронки. Огненный цветок давно погас, самолет полностью сгорел, от пилота даже воспоминания не осталось. Только тяжелый запах висел вокруг, да осколки стекла и металла отвечали искрами нашим поблескивающим глазам, и последние шипящие огоньки отвечали шепотом на наш шепот.

Я нашел Аню. На одно короткое и тайное мгновение она взяла мою руку в свою, сжала и тут же отпустила. Шарик от подшипников вдруг подмигнули мне из сажки и земли. Я наклонился поднять их, увидел и другие богатства — разбросанные пули, провода, ручки и кнопки — и уже хотел было набить карманы трофеями, и другие дети тоже, но тут примчался военный грузовик и с ним несколько джипов с английскими солдатами и

офицерами. Они собрали остатки самолета, побросали на грузовик и уехали.

Мы еще много дней потом то и дело ходили туда всей нашей детской ватагой, вооружившись мотыгами и вилами. Выбирали из земли ручки и трубки, кабели и шарикоподшипники, даже остатки застежки-молнии от комбинезона. А через несколько недель снова приехал военный грузовик, на этот раз нагруженный мешками с цементом и опалубкой. Солдаты и рабочие смешали цемент с песком и с щебнем, пошептались с пожилым мужчиной и плакавшей, не переставая, женщиной, залили бетоном большой деревянный прямоугольник и поставили на нем памятник.

\* \* \*

Через девять лет после той истории с Рахелью и ее букетом поэт Шауль Черниховский умер в монастыре Сен-Симон в Иерусалиме. Сразу же поползли омерзительной змеей подлые слухи: намекали, будто у изголовья своей кровати умирающий повесил распятие, доверительно нашептывали, будто в последние минуты возле него стоял христианский священник, по секрету сообщали, что его тело было тайком перевезено в больницу «Хадасса», что в Иерусалиме, на Сторожевой горе.

Рахель не обращала внимания на эти сплетни. В газете «Давар» было напечатано, что поэт будет похоронен в Тель-Авиве, и, зная, что родители не позволят

ей поехать на похороны, она приготовила себе накануне вечером еду, положила в ранец, а утром помогла, как обычно, Амуме в доме и во дворе и отправилась в школу, но миновала школьные ворота и пошла дальше. На главной дороге она вытащила из ранца балахон Пнины, взятый накануне тайком из шкафа, надела его и вместе с ним обрела что-то и от красоты сестры.

— Как он выглядит, этот балахон, что вся семья только и говорит о нем?

— Странная тряпка, но по-своему красивая.

— Как плащ из парваимского золота? — спросил я.

Моя тетка смерила меня тяжелым взглядом:

— Ты слишком много времени проводишь у нее, Михаэль.

Она подняла руку. Машина остановилась, и Рахель, которой балахон сестры и цель поездки придали важность и смелость, сказала потрясенному водителю: «В Тель-Авив, пожалуйста» — вошла, села на заднее сиденье и больше не произнесла ни слова.

Улица Бен-Иегуды, по которой шла похоронная процессия, была забита людьми. Рахель нашла себе место и ждала. Пятнадцать лет было ей, и, когда гроб приблизился, она заметила, что рядом с ней стоит девочка ее возраста и тоже плачет. Они обменялись взглядами, и обе поняли, что не одна маленькая девочка поднесла Черниховскому букет цветов и не одна маленькая девочка помнит его усы на своей шее.

Когда она вернулась домой, Апуа обрушился на нее со своим страшным: «Где ты была?» — и запер ее в бара-

ке. Но наутро солнечный луч проник через щель между досками, и при его свете Рахель написала письмо своей новой подруге. Через ту же щель она позвала Батию и передала ей листок, чтобы та положила его в конверт и отправила по адресу. Вскоре между нашей деревней и Тель-Авивом образовался двусторонний почтовый поток. Рахель и ее новая подруга непрерывно обменивались трогательными посланиями, которые изобиловали выражениями чувств и длинными цитатами, и безупречная грамматика этих посланий вкупе с искусно вплетенными в них художественными образами позволяли каждой из них понять, что не одна маленькая девочка переписывала в свою тетрадку стихи Черниховского.

Спустя несколько месяцев девушка из Тель-Авива приехала в гости. Она оказалась худенькой, среднего роста, узкоплечей и плоскогрудой, но с таким потрясающе огромным задом, подобного которому в наших местах не видели никогда. Зад был роскошный — высокий, круглый и плотный, а талия над ним такая тонкая, что платье гостьи восходило к ней, как на гору — все выше и выше и там наконец сужалось, натягивалось и задиралось, неизбежно открывая при этом ее ноги выше колен.

— Как это ты ни разу не рассказала нам об этой заднице? — шепотом удивилась Батия.

— Заткнись, мерзавка! — таким же шепотом ответила Рахель.

Каждые несколько минут девушка из Тель-Авива быстро и укоризненно одергивала бунтующее платье

и, даже если рядом с ней никого не было, улыбалась виноватой улыбкой, словно это и не ее зад вообще, а вот — прицепился и делает с ней все, что ему вздумается. Чистой и милой была эта улыбка и открывала маленькие и красивые зубы, почти до половины заросшие розовыми деснами. Этот ее зад произвел такое огромное впечатление на наше семейство, что все ощутили какую-то утрату, когда он вернулся в Тель-Авив вместе со своей хозяйкой. Казалось, «Двор Йофе» разом опустел и даже несколько потускнел. А Пнина, по поводу которой никому бы не могло прийти в голову, что ее интересуют подобные вещи, сказала со вздохом:

— Жалко, что мы не попросили ее оставить эту задницу здесь.

Через несколько недель, когда Рахель сообщила, что собирается в Тель-Авив к своей подруге, Батия сказала:

— Передай привет Заднице.

Рахель, обычно застенчивая и покорная, рассердилась и сказала: «Я вижу, что эта задница засела у тебя в голове», а Батия, быстрая, как змея, ответила: «Лучше так, чем наоборот, как у тебя».

Рахель, будучи хоть и моложе, но выше и сильнее сестры, в гневе набросилась на нее, пытаясь повалить на землю, но не успела даже толком схватить ее, как уже получила три чувствительных, быстрых, как укусы змеи, удара. Но старшие сестры разняли их, а из поездки в Тель-Авив Рахель вернулась совсем уже умиротворенной и даже объявила:

— Задница тоже передает вам привет.

Я, кстати, увидел эту Задницу много позже, чем услышал о ней. Лет шесть мне было тогда, и Рахель впервые взяла меня на церемонию Дня памяти павших солдат на горе Герцля в Иерусалиме. И пока военный кантор завывал там с умелой профессиональной скорбью, я — как, впрочем, и большинство других скорбящих — сосредоточился на этих необыкновенных ягодицах, о которых годами слышал в семейных рассказах и которые вдруг обрели для меня реальность, воплотились, так сказать, в плоть и кровь и теперь радостно дрожали от полноты жизни, в то время как их обладательница, сама Задница, содрогалась в рыданиях над могилой нашего Парня, — и этот контраст впервые явил мне тогда воочию всю сложную глубину отношений между именем и его обладателем, между воображением и действительностью.

А иногда Задница приезжала в деревню. Сходила на автобусной остановке возле магазина и поднималась ко «Двору Йофе», оставляя за собой дружелюбную, или насмешливую, или восторженную толпу — равнодушным не оставался никто. Однажды она приехала в новом широком платье из гладкой блестящей ткани, которую все деревенские женщины щупали с восторженным шепотом: «Парашютный шелк», а дома у нас вытащила из чемодана еще одно такое же, дала его Рахели и шепнула ей что-то на ухо. Ночью они вдвоем прокрались к водосборному бассейну в роще, и я, прокравшись за ними следом, подсмотрел их игру: они приподняли свои платья так, что юбки раздулись, как

зонты, а подолы собрали и зажали между ногами — и так поплыли, хохоча, на этих двух огромных воздушных пузырях из парашютной ткани.

Луна серебрила воду, и вдруг, сквозь смех, и мерцания, и брызги, я услышал имя моего отца, скользнувшее по воде с легкостью плоского камешка, и с замершим, каменеющим сердцем понял, что Задница рассказывает Рахели, что уже переспала с ним, и какой он симпатичный, и как он умеет делать одной рукой то, что другие мужики не способны сделать двумя, — «и между прочим, тебе, Рахель, тоже стоит попробовать его при случае, хватит тебе заниматься своим любимым делом, растить паутину между ногами», — и как зря он тратит себя на эту принципиальную Ксантиппу\*, которая ест его поедом дома.

\* \* \*

Итак, что же у нас есть на данный момент? Есть наша Семья, семейство Йофе, не обо всех тайнах и кодах которого я уже рассказал и не обо всех расскажу. Есть у нас «Двор Йофе», обнесенный каменной стеной. И еще есть у нас маленький приятный городок, который взял этот двор в осаду, окружив его армией своих любопытных глаз, завистливых сердец и жадных до наживы рук. И не проходит дня, чтобы одна из

\* Ксантиппа — жена Сократа, заслужившая славу вздорной и сварливой женщины.



таких рук не постучала к нам в ворота: то подрядчик, ищущий землю для строительства, то делец, которому вскружил голову запах выгодной сделки, и вот они являются, жмут на кнопку интеркома, кричат, и Рахель отвечает: «Нет, уважаемый, это место не для продажи. Нет, уважаемый, ворота не откроются. Да, уважаемый, у нас есть адвокат. Его телефон? Записан в телефонной книге. Его имя? Оно тоже записано в телефонной книге. Да, уважаемый, я абсолютно серьезна».

Приходят также чиновники — из министерства финансов и из муниципалитета. Прослышали, что дедушка сильно сдал, и вот уже их ноги спешат, руки тянутся к налоговым бумагам, глаза высматривают возможность конфискации.

Приходят кинорекламщики, которые рыщут в поисках «локейшн» для ролика о новом сорте йогурта: какой-то бывший «кавалер» рассказал им о нашем дворе и они милостиво готовы подумать над такой возможностью. А в последнее время стали появляться также устроители свадеб: у них есть пара, которая готова дорого заплатить за свадьбу в таком месте, «в атмосфере Эрец-Исраэля еще с тех времен». Эти особенно любы Габриэлю. Так любы, что он выходит к ним и заодно выводит с собой также весь свой «Священный отряд».

— Никаких проблем, — говорит он. — При условии, что мои друзья тоже примут участие.

— Какие еще твои друзья? — Лоб отца невесты морщится от подозрительности.

— А вот эти.

— Эти?

— Да, эти. Они и поют, и танцуют, и еще варят к тому же, а вот этот хочет также быть шафером.

Приходят туристы и экскурсанты, из тех групп, что в каждый уик-энд выплескиваются из большого разноцветного автобуса с надписью «Экскурсии Натании», или «Экскурсии Хедеры», или «Экскурсии Беэр-Шевы», или «Экскурсии Афулы» и собираются вокруг экскурсовода с его мегафоном, в который тот тут же начинает вываливать на них свои «кариозы», как Йофы называют истории из прошлого, или «древние новости», как называет их Жених.

Медленно-медленно поднимаются они по аллее среди кипарисов, которые Апупа посадил в честь рождения своих дочерей-близняшек, и экскурсовод объясняет им, что вот эту замечательную аллею посадили основатели города в первую годовщину своего выхода на землю, и с тех пор она так и зовется их именем. «А отсюда, через просвет между этими двумя зданиями, вы можете увидеть: вон там проходил в старину поезд Долины, а вот там были болота».

С постепенно слабеющей решимостью стучат они в ворота нашего двора, а потом их счастливы и востроглазы обнаруживают интерком, спрятанный в листьях плюща на стене.

— Да? — спрашивает Рахель.

Они бы хотели, если можно, войти, пожалуйста.

— Зачем?

Они интересуются историей поселенчества, они слышали, что это место представляет интерес, они бы хотели его осмотреть.

Тетя Рахель разглядывает просителей, на экране ее внутренней домовой телесети они сереют этакими маленькими, выцветшими, заинтересованными фигурками. «Нет, извините, мы не хотим, чтобы к нам заходили. Нет, нам не говорили, что это какое-то важное место. Нет, мы не открыты для посещений. Это частный двор. Нет, девушка, о нашем дворе нельзя сделать статью. Нет, мы не изготавливаем керамику, не продаем лекарственные растения, не массируем ароматическими маслами, не торгуем мебелью из Индонезии и шальварами из Гоа, не играем ирландскую музыку. Нет, коврами мы тоже не занимаемся. Дарбука? Что это? Нет, и этим тоже. Кто я? Я медвежонок “Нет-нет”. Извините, меня уже зовут, и дегустации “Мерло” у нас тоже не проводятся. Сад Йафэ? Туда вход с параллельной улицы, сзади, там есть большая вывеска. Очень заметная. Вегетарианка? Ее номер телефона на воротах. Позвони ей, и она назначит тебе встречу. Почему я такая? Это не только я, мы все такие в нашей семье».

Только люди определенного сорта способны смягчить мою тетку. Те, что приходят к Ури спасти пропавший файл.

— Парень-компьютерщик? — Ее голос чуть округляется-смягчается. — А что случилось? У тебя пропало любовное стихотворение? Часть нового романа? Ах, маленький рассказ? Весь, с начала и до конца? «Как

сухая трава, как поверженный дуб, так погиб мой народ»\*. Что? Нет, я просто так, не беспокойся, он поможет тебе, и он здесь, но он спит и... Да, я знаю, что скоро полдень, но он все равно спит. Такой вот эгоист. «Тих, как воды озера, и засыпает в полдень»\*\*. Ты не знаешь? И стихов Фрэнсиса Жама тоже?\*\*\* Ну и писатели у нас пошли теперь. Абсолютные невежды. Разбудить его? Будь ты Черниховский, я бы его разбудила, но я думаю, что ты — нет. Подожди у ворот, там есть маленькая скамейка в тени, сядь и отдохни, а когда наш юноша проснется, мы скажем ему, что ты здесь. А ты себе тем временем напиши новый рассказ или новое стихотворение, я оставила под скамейкой бумагу и ручку. Нашел? Ну, до свиданья.

И еще есть у нас на данный момент один престарелый дед с четырьмя состарившимися дочерьми: одна вечно ползает по огороду, вылавливая гусениц и жуков, другая *плачет на реках австралийских*, третья заперлась в своем доме, а четвертая лежит в кровати, перед своей Стеной Акции.

А кроме того, у нас есть Габриэль с его «Священным отрядом», и садовый рассадник Михаэля, то есть мой и

\* Первая строка знаменитого стихотворения Хаима Нахмана Бялика (1873—1934), перевод В. Жаботинского.

\*\* Слегка измененная строка из элегического стихотворения израильской поэтессы Рахели (1890—1931): «Такова я — тиха, как воды озера».

\*\*\* Жам, Фрэнсис (1868—1938) — французский поэт, прославился лирическими стихами, навеянными очарованием родных Пиренеев.

Алоны, то есть моей супруги, наш райский «Сад Йафэ», как же иначе. И две пленные принцессы у нас есть — «додж пауэр-вагон», который еще ого-го, и «ситроен траксьон-авант», который просто великолепен. Кстати, «давайте не забудем», как говорит Рахель: любители машин, эти самые настойчивые ухажеры, тоже к нам приходят. Пробуют залезть на забор: «Мы слышали, что тут есть... нам только посмотреть... ты уверена, что он не продает?» Нет, ни в коем случае, эти машины не для продажи.

И наконец, есть у нас один старый барак, и несколько домов, и опустевший коровник, и «дед и бабка, тетя с дядей в полном праздничном параде, внуки с правнуками дружно на колясочке жемчужной...». Правда, бабка уже умерла, отец уже ушел, Парень уже убит, и Жених тоже в земле, нет, не похоронен, только копает, потому что «очень скоро здесь случится большое несчастье». А если мы не проливаем кровь, не выплескиваем семя и не кормим молоком, то у нас остаются еще и воспоминания, а в них холмы и равнины нашей Долины, и в далях болотных разбой комариный, печальный полуночный вопль ослиный, и женщина едет верхом на мужчине, а еще есть у нас, как же иначе, семейных выражений словарь, который мы с детства зубрим, как букварь, и семейные коды, которые положено знать, и узлы, которые непременно нужно связать, и нужно нам швы поскорей приметать, в тетрадке почиркать и роман почитать, так что запомни всё, малышка, и мигом марш в кровать!

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВРЕМЯ

А хныкать, Айелет, тебе не к лицу, — уже подъезжает телега к крыльцу: телега-пролетка, колеса на спицах, в ней лысый старик и красotka-девица...

Опиши все это, Михаэль, опиши! Ты же у нас единственный нормальный человек в Семье. Опиши победное «V» ее раскинутых ног — прямых, сходящихся там, вверху. Опиши ее грудь и твою голову на ее груди. Опиши ее губы, их запах на твоем лице. Ее руки — движущиеся и останавливающиеся. Ее пальцы возле устья колодца — гладящие, перебирающие.

Перед вечером я выхожу, спускаюсь по Аллее Основателей до ее соединения с улицей Первопроходцев, там поворачиваю налево и дохожу до мини-маркета Адики, маленькой лавки на углу. Адика — человек сообразительный. На бетонной площадке перед своим магазином он поставил белый пластиковый стол и несколько стульев, и по вечерам тут собирается добрая дюжина иностранных рабочих — китайцев и румын. Это тоже примета, что деревня уже стала городом: наличие китайцев и румын говорит о строительстве, сельскохозяйственных рабочих привозят из Таиланда. Они беседуют, каждый на своем языке, но непрерывно и весело, и то и дело заказывают полулитровые бутылки пива «Нешер», которые Адика продает им с большой скидкой. А иногда они подымают взгляд на другую сторону кипарисовой аллеи, где сидят молоденькие филиппинские няньки со своими подопечными старухами, теми, что пользуются ходунками, и теми, которых Ури называет «Hell's Yentels», «Чертовы

бабуси», поскольку они передвигаются на инвалидных электромобилях.

Филиппинские няньки согласовывают между собой время этих вечерних прогулок, чтобы использовать их для совместных посиделок. Вначале я думал, что они привозят сюда несчастных старух помимо их воли, но это не так. Те тоже ждут этих встреч, и собираются на них с воодушевлением, и тоже участвуют в шумно-смешливом разговоре. Некоторые из них говорят на английском, беглом среди филиппинок, некоторые на иврите, который филиппинки уже немного понимают, а несколько на идише, который филиппинки не понимают совсем. Но обилие языков не помогает и не мешает. Все говорят и бормочут, шепчутся и смеются, и все одинаково счастливы.

Только одно заставляет их умолкнуть, и это — появление, раз в две недели, моей матери, старше их всех на многие годы. Она вдруг вылетает из-за крутого поворота улицы и пронесится мимо нас широкими быстрыми шагами, толкая по подъему холма свою тачку удобрений. Ее губы сжаты, глаза устремлены, здоровые ноги крепки и дыхание спокойно, как дыхание доктора Джексона после пятидесяти этажей бегом по ступенькам. У нее живая и гладкая кожа, упругие и сильные мышцы, и справедливость перед ней оруженосцем.

А что там делаю я? Я здесь потому, что Адика хранит в своем мини-маркете принадлежащую мне пачку «Ноблесс». Как тот тайный запас мяса, который мой отец хранил в доме Убивицы, и как личная бутылка

вина, которую клиенты Айелет хранят у нее под стойкой. Я не настоящий курильщик. Эта привычка не хороша для астматиков, даже таких легких, как я. Но одна сигарета в день дарует мне желанное головокружение, а когда мои боли «складываются одна с другой», она куда лучше, чем целая пластинка «оптальгина».

Это я, кстати, открыл еще в больнице, после ранения. Габриэль приходил туда ко мне со своим «Священным отрядом», выталкивал мою кровать на открытую веранду, и там мы с ним подолгу трепались вдвоем: я курил принесенную им тайком сигарету и, затуманенный дымом, расспрашивал, что нового в части, — а потом он устраивал мне «санитарный день» — один из «священных» торжественно брил отросшие щетинки на моем подбородке, другой состригал мне ногти на ногах, третий, внутри комнаты, чистил маленькую прикроватную тумбочку: прочитанные книги забирал, новые клал, выбрасывал уже заплесневевшие «кошачьи язычки», которые принес мне Гирш Ландау, и менял засохшие цветы на новые. И еще в расписание их визита входила моя полная обмывка, и с ними эта процедура была совершенно свободна от того смущения, которое вызывали у меня глаза сестер, и тех мучений, которые доставляли мне их руки. При всех их добрых намерениях и опыте у этих женщин было недостаточно сил, и их попытки сдвинуть меня причиняли мне боль. А ребята Габриэля были сильными и точными, и их движения были синхронны, как у зеркальных отражений.



Когда они раздевали меня или даже просто приподымали мое тело, чтобы вытащить и поменять грязную простыню и подстелить клеенку и полотенце, мне не было больно, и я не стонал под их руками, как под дрожжащими от напряжения руками сестричек.

Большая клеенка натянута на моей кровати, два дымящихся таза — один с мыльным раствором, другой с чистой водой — поставлены у моих ног, две ширмы расставлены. И вот я уже лежу, обнаженный, и четыре мокрые и теплые намыленные тряпки проходят по моему телу, и сразу же за ними движутся такие же мокрые, но капающие чистой водой. Еще две руки моют мне голову над третьим тазом, ощущая мою фонтанеллу, не говоря ни слова, но остерегаясь.

А однажды — примерно через месяц после того, как «в-тебя-стреляли-и-ты-стрелял-обратно», — когда мое тело было в очередной раз погружено в эту приятность, и в доверие, и в благодарность, голос Габриэля спросил, не «беспокоят ли меня» медсестры.

— Конечно, беспокоят. Даже ночью будят, чтобы я принял снотворное.

Я лежал голый, с закрытыми глазами, вода с мылом капала с моего тела. Две осторожные руки — чьи? — мыли мою голову, еще две — чьи? — массировали мои ступни.

— Я не о таком беспокойстве говорю, — сказал Габриэль.

— Тогда о каком?

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВРЕМЯ

И вдруг на меня легла еще рука. Не на голову, и не на грудь, и не на ногу, и не на руку, и не на плечо. На языке Йофов это место имеет специальное название, которым я тоже воспользуюсь здесь из скромности: рука легла «тама». Именно «тама».

Я хотел открыть глаза и посмотреть, но еще одна рука, спокойная и приятная — чья? — уже легла на них, и еще рука, доверенная, укрыла мою фонтанеллу, а мои запястья оказались в двух других руках, мягких, безымянных и решительных.

Чьих? Не знаю, но голос, голос Габриэля, сказал:

— Об этом.

Рот мой не ответил, но третья рука ощутила мой ответ, и седьмая рука присоединилась к ней, и через несколько секунд я услышал смех Габриэля. Засмеялся и я, но глаз не открыл:

— Я упомяну это в своем завещании.

А через несколько часов, когда я очнулся от сна и забытья, моя кровать уже вернулась в палату, и я был весь пустой, и чистый, и сухой, и пахучий, как те новые приятные простыни, на которых я лежал.

\* \* \*

В детстве мы иногда ходили пешком в «Немецкое село». В ту пору там уже жили другие люди, и его переназвали на израильский лад, но мы называли его так, как еще говорили у нас в деревне: «Вальдхайм».

Многие из каменных домов были снесены, и на их месте появились маленькие сохнутские домики\*, покрытые бетонной черепицей и набрызганной штукатуркой. Но церковь с петушиным флюгером все еще стояла на своем месте, как стоит и сейчас: озирается вокруг, зовет горласто и вздувает крылья.

А между церковью и коровником — еще несколько старых домов, среди которых самое интересное — большое подворье возле коровьего загона.

— Сюда ходила твоя тетя Батия, — сказал мне однажды Жених, без моего вопроса. — Вначале покупала мороженое у соседей, а потом, я в те дни сидел у кузнеца и не обратил внимания, завела дружбу с Иоганном Рейнгардтом, сыном фрау Рейнгардт, что жила в этом большом доме. Тут было их хозяйство, и образцовое, я тебе скажу. И вот так, с этой вашей йофианской страсти к мороженому, к вашему «сладкому сладкому», всё у них и началось.

Фриц Рейнгардт, отец Иоганна из Вальдхайма, проникся идеями тамплиеров еще в молодом возрасте. Он был уроженцем земли Вюртемберг, в Германии, и у них был там конный двор, где выращивали рабочих лошадей, стяжавших его семье немалую славу. Ближе к концу девятнадцатого века он так укрепился в тамплиерской вере, что покинул землю Вюртемберг и родную Германию, отправился в далекую Палестину

\* Еврейское агентство (Сохнут), принимая в Израиле новых иммигрантов, поселяло их в наскоро построенных бараках, вагончиках и прочих временных жилищах.

и присоединился здесь к группе немецких поселенцев в Хайфе. Вначале он работал в тележной мастерской Карла Апингера, а спустя несколько лет основал, вместе с несколькими своими немецкими друзьями, сельскохозяйственную ферму под названием «Нойгардтхоф», напротив арабской деревни Тира.

Там, на берегу моря, в нескольких километрах к югу от выступа Кармельского хребта, росли у него плодовые деревья, нагуливали жир свиньи, паслись молочные коровы, тянулись аккуратные посадки сладкого винного винограда, которому соленые морские ветры придавали особый вкус. Я могу представить себе этот вкус, потому что несколько лет назад, во время путешествия, которое Алона организовала для нас двоих — хитром, умном и расчетливом, как и все остальные ее действия, — она повезла меня в Лигурию, что в Италии, и там я пробовал вино, благословленное такой вот соленостью — тонкой, приятной и непривычно новой для нёба.

Это был мой первый и единственный раз за границей. Поездка — точная и великолепная, какую только Алона может спланировать и реализовать: маленькая сверкающая машина, оснащенная навигатором, ждала нас в аэропорту. Маленькие сверкающие деревни ждали нас меж гор. Маленькие сверкающие кофеварки ждали нас в кафе, и сама Алона, не маленькая и не сверкающая, но забавнее, и сладострастнее, и умиротвореннее, чем обычно, смеялась, делала больно: почему только здесь? почему только сейчас? — издевалась: как это мой чемодан всегда прибывает с самолета раньше,

чем твой? — докладывала: я кончила с мурашками на ступнях, кончила без мурашек на ступнях, не кончила вообще, «на следующий раз попрошу лимон», — что на йофианском означает: «Могло быть и лучше», — и поссорилась со мной только один раз: когда я искал в местном телефонном справочнике фамилию Йофе.

— Откуда у них могут быть Йофы в Портофино и в Чиавари? И может, хватит уже с твоими семейными безумствами? Отпуск — это не только от работы, Михаэль, отпуск это и от семьи, особенно от такой, как у тебя.

Поехали. Алона справа, навигатор впереди, оба хорошие и хорошие, не скачут на моей спине, но ведут меня точно «туда» и останавливают меня точно «тута». Узкие извилистые дороги Лигурийского побережья мне нравились, водить я люблю и умею, и в виноградниках «пяти стран», покрывающих крутые спуски до самого моря, я пил местные десертные вина. Тогда-то я и вспомнил о винах семьи Рейнгардт из Нойгардтхофа, которые никогда не пил, но вкус которых, созданный и настоящий во мне семейными рассказами, был, наверно, очень похож на того их итальянского брата, что той ночью, в гостинице, вылился из смеющегося рта Алоны в мой удивленный рот:

— Я увидела, что оно тебе понравилось, и купила нам бутылку в кровать.

Семья Рейнгардтов, как и остальные тамплиерские семьи, прибыла в Эрец-Исраэль, чтобы ускорить приход Мессии. Так объяснил мне дядя Арон, знавший многих из них лично. Они хотели обустроить Святую

землю и возродить ее вместо нас, «ибо видели, что мы ничего не делаем для Спасения».

Жених улыбнулся редкой своей улыбкой и сказал, что немцы не поняли одной важной вещи: мы, евреи, так наслаждаемся ожиданием Спасения, что вовсе не хотим его ускорять.

— И еще одну важную вещь они не приняли в расчет, — издевался мой отец, — что Мессия — он не немец, как они. Он, как мы, еврей, а у нас время — не время, и час — не час. И так случилось, что немцы назначили с ним свидание, прибыли в Страну, ждали и ждали, а он — труба не прозвучала, осел не проснулся... Не пришел.

На фоне Востока — медленного, пылающего, покорного власти раскаленного, недвижимого воздуха, жестоким капризам судьбы, тяжелой руке воспомианий — эти пришлые немцы с их отшлифованной до блеска практичностью резко выделялись из всех. Хотя их привела сюда сила мечты, они не утратили ни обычной для них ясности разума и разумности рук, ни своей способности к точному и методичному планированию — короче, всего того, что вселяет благоговение и страх в сердца забитой, раболепной восточной бедноты и что со временем навлекло на них погибель, ту погибель, которую уже тогда мог различить понимающий глаз: она таилась в их красивых домах, в их дерево- и металлообрабатывающих мастерских, в чистых, построенных на славу коровниках и овощехранилищах, в современных, европейских рабочих инструментах. Дядя Арон, которому для вынесения человеку приго-

вора достаточно глянуть на его ящик с инструментами, высоко ценил всё это. Он снова и снова вспоминал мастера металлообработки Готхильфа Вагнера и инженера Шумахера, который построил железную дорогу в Стране Израиля. «Со времен римского нашествия эта страна не видела такого порядка и такой добросовестности», — говорил он. И не только среди ремесленников и инженеров, среди простых крестьян тоже. Но мой отец сказал, что немцы, как всякие люди дела, были лишены необходимой толики фатализма, а как верующие не обладали правильного вида безумием. Слишком много планов и порядка, закона и правил — и слишком мало безумия солнца и гроба, камня и ножа, без которых в этих краях никто выжить не может.

Однако Жених, которому подобные умствования казались пустой тратой времени, заявил, что арабы «как были, так и остались полными бездельниками», а у евреев вся энергия уходит в темперамент, они «слишком восторженны и слишком ленивы» и что ему «жалько, что мы не научились у них, у немцев, и не объединились с ними».

«Всё из-за Гитлера, — вздыхал Жених. — Он разбудил в наших тамплиерах злых бесов, которые дремлют в каждом немце, и привел в конце концов к их изгнанию отсюда. Если бы не он, они могли бы быть сегодня хозяевами этой страны, а мы, — тут его глаза мечтательно заволоклись, — могли бы попивать сегодня доброе пиво в бирштубе в Вальдхайме, вместо того чтобы в четыре часа утра слушать вопли муэдзинов из деревни Наифы».

— Прекрасно, Арон, — сказала Рахель. — Насколько я понимаю, Гитлер тебе не нравится лишь тем, что из-за него у тебя нет бир-штубе в Израиле. Так позволь тебе напомнить, что, если бы англичане не вышвырнули их отсюда, мы бы все поехали по железной дороге твоего инженера Шумахера отсюда и до самого Освенцима.

А моя мать, которая не была немкой, но в душе которой тоже дремало немало бесов, суммировала провал поселенчества немецких тамплиеров в Стране Израиля своим вечным утверждением, что они слишком увлеклись потреблением «красного яда», «желтого яда» и «белого яда» и что ни англичанам, ни Пальмаху совершенно незачем было выгонять их отсюда, поскольку «от такой дрянной пищи они всё равно вымерли бы через два поколения».

Случилось так, что один молодой араб, из богатой христианской семьи в Хайфе, набросился на девушку из Немецкого квартала в городе. Несколько дней он ходил за ней, двигаясь по золотому следу, который оставляли в воздухе ее волосы, и в конце концов протянул также руку и прикоснулся. Девушка закричала, нападающий исчез, двое немецких парней ринулись за ним, поймали и затащили в свой «Народный дом». Там над ним свершили быстрый суд, выволокли на главную улицу района, заголили задницу и отстегали кнутом.

Обида была страшной. Немцы и в обычные-то дни относились к арабам презрительно, именуя их не иначе как «Bakschischhungriges Gesindel» — сброд, которому только бакшиш подавай, а это событие еще более усили-



ло напряженность. Высеченный парень был отправлен к родственникам в Бейрут и больше не возвращался в Страну, но мстительные вспышки начали разгораться по всей округе. На Немецкий квартал в Хайфе напасть не решались, но однажды ночью арабы деревни Тира спустились к Нойгардтхофу с намерением спалить его дотла. Фриц Рейнгардт вышел к ним навстречу, и в перестрелке был убит один из нападавших. Следующей ночью арабы Тирь вернулись отомстить. Немцы снова вышли им навстречу, и Фриц Рейнгардт был убит пулей в сердце.

Иоганн Рейнгардт был тогда маленьким мальчиком. Через несколько дней после смерти отца мать объявила ему, его брату и сестре, что намерена покинуть Нойгардтхоф и переселиться в новое место, которое называется Вальдхайм, — немецкий поселок, основанный за несколько лет до того по другую сторону Кармельского хребта.

— Там хорошие люди, — сказала она, — и у них мы построим себе наш новый дом.

Но никто не мог себе даже представить, какими сильными были любовь, и гнев, и тоска, из которыхросло это ее решение, и с каким предельным педантизмом она его реализует.

Хозяйственный дом в Нойгардтхофе был построен из пиленых известняковых камней, и фрау Рейнгардт пометила каждый камень тремя цифрами, означавшими его место в ряду, место ряда в стене и место стены в здании. Потом она наняла нескольких рабочих в Немецком квартале в Хайфе, чтобы разобрали ее дом

на отдельные камни, балки, черепицы и черно-белые напольные плитки и перевезли всё это на новое место. Так, сказала она, можно будет снова построить дом, в котором жила с мужем, — не новый, а тот самый дом.

Если бы я могла, сказала она, я сама брала бы эти камни по одному на спину и ходила бы пешком из Нойгардтхофа в Вальдхайм, туда и обратно.

— Сил у меня достаточно, — заявила она, — и любви тоже, но жизни моей для этого не хватит.

— Такие они, немцы, — сказала как-то моя мать, когда мы говорили о Юбер-аллес, о Батии — ее сестре, которая спустя двадцать лет вышла замуж за Иоганна Рейнгардта и поехала за ним в Австралию. — Когда они практичны, они пытаются оставаться романтичными, а когда романтичны, не забывают быть практичными.

И тут же начала страстно спорить с отцом о разнице между романтичностью и практичностью и, что еще хуже и сложнее, — о разнице между романтической практичностью и практической романтичностью, и кто наделен тем, а кто этим — в человечестве вообще, а главное — в нашей семье в частности.

Один за другим, от фундамента и до стропил, все камни были разобраны, очищены от остатков бетона и сложены аккуратными стопками на земле. А когда рабочие рассказали в Хайфе, чем они занимаются, на помощь семье подключилась вся хайфская община тамплиеров. Они собрали деньги, Карл Апингер, тележный мастер, у которого работал покойный, приспособил и наладил четыре особо крепкие телеги, немецкие дерев-

ни Вильгельма и Шарона дали по восемь пар волов каждая, а из Немецкого квартала в Иерусалиме прибыли еще несколько парней и два сторожевых пса, большие и тяжелые, как телята.

Поскольку рядом с Нойгардтхофом проходила железная дорога, камни уложили на грузовые платформы. Колея поднималась на север, вдоль береговой полосы, что между Кармелем и морем, изгибалась у белеющего края горы, поезд прошел рядом с причалом, который немцы построили для своего кайзера, приезжавшего посетить Святую землю. Вдова, которая раньше вручила машинисту паровоза несколько монет, высунула руку и платок из окна, и послышался громкий гудок. Арабы, немцы и евреи стояли по краям дороги и смотрели на нее, кто с ненавистью, кто с симпатией, а кто с удивлением.

На железнодорожной станции в Хайфе вагоны прицепили к паровозу, везущему поезд Долины, и перевели на ее пути. Поезд Долины шел по другой, северо-восточной стороне Кармеля — он пересек Кишон, миновал древние курганы у подножья Мухраки и оставил груженные камнями вагоны на станции Тель-Шамам. Там рабочие разгрузили их, сложив аккуратными блоками, поставили возле них охранника и начали переправлять на телегах в Вальдхайм.

Продуманно, как обычно, запрягли немцы в каждую телегу четырех волов и разместили на каждой правильный груз камней: чтобы не слишком мало, но чтобы и не слишком напрягать и изнурять животных. Весна

уже закончилась, и грязь в Долине — большой враг телег — уже высохла. Дороги вернулись к своей летней свежести и были дружелюбны и удобны. А сама колонна, в отличие от других колонн, знакомых Стране, — паломников и солдат, чужестранцев и искателей приключений, — была небольшой, спокойной и преследовала цели одной-единственной семьи. Дорога от Тель-Шамама к Вальдхайму то поднималась, то опускалась, колонна двигалась медленно, тяжело, методично, добросовестно, что так редко бывает в этой стране, которой нет дела до любви, если только это не любовь к ней [которая предпочитает фанатиков и безумцев людям, работающим по плану] [которая предпочитает развалины храмов камням дома, знающим свое точное место]. <История которой слишком длинна, а терпение коротко.>

Вблизи Кишона на них налетели вооруженные бедуинские всадники. Двое иерусалимских парней выхватили дальнобойные и точные маузеры, но фрау Рейнгардт запретила им стрелять. Она знала, что отныне ей предстоит ездить по этой дороге туда и обратно, и не хотела вызывать новые конфликты и начинать новую цепочку мести. Поэтому она ограничилась тем, что послала вперед одного из псов, который бросился на всадников сбоку и, в отличие от местных собак, подымающих оглушительный лай с безопасного расстояния, приближался молча, издавая лишь тихое, грудное ворчание, ясно давая понять — этим своим тяжелым бегом, угловатым наклоном головы, а главное — полным молчанием, — что встреча будет опасной, и нападавшие, почувствовав,

что мышцы лошадей под ними затрепетали от страха, перекрикнулись, попятились и повернули.

Волы пересекли Кишон и отсюда пошли на северо-восток, по широкой долине, что между Джедой и Шейх-Абреком, и, когда немцы начали подыматься по пологому склону, они вдруг увидели впереди странное существо — не то гигантского горбуна, не то огромный гриб, неожиданно открывший в себе способность ходить, — издали различить было невозможно. Однако путь этого странного существа шел наперерез маршруту колонны, и вскоре стало понятно, что это просто рослый мужчина, несущий на плечах молодую милovidную женщину.

Они остановились и с интересом оглядели поклажу друг у друга: молодая пара — нумерованные камни в телегах, вдова Рейнгардт — молодую улыбчивую женщину на плечах мужчины. Тут же возникли предположения, обмен взглядами и словами, и тогда молодая женщина шепнула что-то на ухо мужу, громко рассмеялась и вонзила голые пятки ему в бока. Мужчина улыбнулся, заржал конем, заревел ослом и быстро зашагал в сторону холмов Джеды.

Дорога немцев поднималась полого, покинула Долину, изогнулась по плоскому оврагу меж холмов. Церковная башня Вальдхайма мелькала перед ними, как маяк, среди спокойно-зеленых дубовых волн, покрывавших склоны. Медленно, последним напряженным рывком, поднялись волы на южную сторону поселка, почуяли знакомый запах людей, подобных

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВРЕМЯ

своим возчикам, и животных, таких же, как они сами, и начали радостно реветь, а псы поддержали их тяжелым глухим лаем.

Как усталые, но довольные паломники, добрались волы наконец до церкви и повернули направо, вдоль улицы между молодыми кипарисами. Метрах в двухстах оттуда, за домом священника, ожидал участок земли, купленный вдовой: на западе он смотрел на Кармель, на востоке — на Сафурию (Ципори) и Назарет, с юга открывался вид на соседнее немецкое поселение Бейт-Лехем и просторы Долины, а с севера — на лесистые холмы.

Крестьяне Вальдхайма распрягли измученных волов, накормили и напоили. Их жены организовали еду для фрау Рейнгардт, ее детей и спутников. Мясник из Бейт-Лехема прислал сосиски для гостей и остатки для сторожевых псов. А после сытной трапезы, и отдыха, и благодарственного хорового пения к приехавшим присоединились также несколько местных парней, все вместе разгрузили камни и уложили их по номерам. А потом вдова нагрнула свои телеги продуктами местного производства, чтобы продать их по возвращении в Тель-Шамам.

Груженные педантично помеченными камнями и романтическими воспоминаниями, приходили телеги в Вальдхайм и нагруженные ходкими овощами, фруктами и колбасами возвращались за новым грузом. Так двигались они все лето, и последние камни привезли, когда Мухрака, у них за спиной, уже закуталась в тучи первой осенней бури. Вдова молилась Ниспосылающему дождь, чтобы помешкал, и молила волов поторопить-

ся, и Он, как и они, с готовностью откликнулся на ее просьбы. Первый дождь прошел только после того, как в Вальдхайме был разгружен последний камень, и фрау Рейнгардт непредвиденно расхохоталась и вполне предвиденно расплакалась от облегчения и радости. Детей она поселила в комнате, предоставленной ей соседской семьей Унгер, и уже на завтра прибыл в коляске из Хайфы еще один необыкновенной важности доброволец: инженер Шумахер, строитель железных дорог, собственной персоной.

Фрау Рейнгардт расстелила перед ним планы своего прежнего жилья, и инженер Шумахер спросил ее, хочет ли она сохранить ту же ориентацию дома или только его деление. Вдова ответила, что хотела бы, чтобы окно, смотревшее в Нойгардтхофе на восток, было и здесь обращено к востоку, а веранда, глядевшая на море, и здесь видела бы закат, и инженер Шумахер указал рабочим, где выкопать фундамент нового дома, чтобы получилась точная копия прежнего во всех отношениях и направлениях.

Здесь не задували морские ветры, но и здесь немцы растили виноградники и выращивали свиней и коров, и достаточно было фрау Рейнгардт вспомнить мужа во время выжимания винограда, чтобы слезы выступили у нее на глазах и скатились в чан и вино снова обрело тот самый, забытый солоноватый вкус.

А годы спустя, те самые годы, за время которых Батия была зачата, и родилась, и выросла, и достигла своих семнадцати лет, в один прекрасный день, когда Арон

сидел у немецких мастеровых, обсуждая с ними проблемы насосов, а Батия, как обычно, пришла купить мороженое у соседнего семейства Унгер, юный Иоганн Рейнгардт перепрыгнул через забор своего дома и позвал ее, еврейскую девушку, пойти с ним пометить мандрагоры. Она не поняла, о чем речь, но пошла с ним, и они вместе спустились к дубам.

Была весна. Лес был наполнен запахами, цветами, последним брачным щебетом птиц и первыми зовами птенцов. Деревья уже покрылись новой листвой: светло-зеленой — таворского дуба, пурпурно-зеленой — фисташков. Возносились к небу последние асфодели, листья мандрагор росли в ширину, лютики пришли на смену анемонам на их боевом посту. Батия шла по лесу так, как отец учил ее ходить по полю, — с палкой в руке, «на случай всякого случая», — и, как и он, время от времени взмахивала своей палкой и отсекала голову какому-нибудь чертополоху. Иоганн держал в левой руке пучок тонких коротких камышинок и время от времени наклонялся и втыкал один из них в землю.

— Так я отмечаю мандрагоры, — объяснил он, — и через полтора месяца приду собирать их плоды.

— А для чего тебе камышинки? — спросила Батия. — Чтобы найти их?

Иоганн был парень молодой, но умел сохранять дистанцию. Ту дистанцию, которая вызывает сердечную приятность на обеих ее концах — достаточно близкую, чтобы проявиться, слишком далекую, чтобы представлять угрозу.



— Когда мы с тобой придем сюда снова, — сказал он, — мы найдем их по запаху. А стебли скажут нам, что это мои мандрагоры, — и он показал на другие мандрагоры, которые уже были помечены другими искателями, арабскими пастухами из Хильфы и Табаша.

— И вы доверяете друг другу? — спросила Батия.

— Иначе как можно жить?

— У нас говорят, что от плодов мандрагоры можно сойти с ума, — сказала Батия. — Можно даже умереть.

— А можно и полюбить, — ответил Иоганн, — так написано у вас в Танахе\*. — И после короткого молчания добавил: — Яд находится только в кожице и в зернах, а чтобы сойти с ума, достаточно запаха.

Они улыбнулись одновременно.

— Ты их ешь? — спросила Батия.

— Я делаю из них ликер. Это полезно для любви, а также для беременности.

— Кто тебе всё это рассказал?

— Ваш Танах и арабские сказки, — сказал молодой немец.

<Все сильнее становится ощущение, которое было у меня в детстве, что было бы куда лучше, если бы моя мать вышла замуж за Арона, Пнина за Иоганна, а Батия за моего отца.>

\* Танах — аббревиатура слов: «Тора», «Невиим», «Ктувим», обозначающих на иврите составные части еврейской Библии (Пятикнижие, Книги пророков и исторические Писания).

Чем взрослее становились дочери Апуны, тем сильнее становились его тревоги и все больше — надежды, которые он возлагал на Арона. Он вдруг заделался практичным и начал регистрировать все изобретения Жениха в Патентном бюро мандатных властей, а поскольку сам изобретатель был еще слишком молод и не проявлял понимания и интереса к доходам и правам, Апуна принялся слегка натаскивать его также в денежных вопросах.

В этом отношении между ними всегда было полное согласие. Оба предпочитали конкретное и осязаемое. Оба выбирали вещи, которые можно потрогать, измерить и увидеть «взаправду глазами». Но у Апуны был еще один критерий, которому его научил в детстве отец: никогда не доверять людям, у которых «одна щека выше другой».

И вот однажды, жарким летним днем, когда Пнине и Арону исполнилось уже семнадцать лет, Апуна пригласил Жениха для серьезной беседы. Я отчетливо представляю себе, как они сидели в кухне напротив друг друга: огромный, красивый, сильный мужчина с буйной каштановой гривой и смуглый молодой парень, хромым и уродливым, — один прихлебывает «суп, горячий, как кипяток» и вздыхает от наслаждения, а другой ждет его первого слова.

Апуна спросил Жениха, известно ли ему об «уговоре», который он заключил многие годы назад с его

родителями, и тот кивнул. Апуа спросил, хочет ли он жениться на Пнине, и Жених полиловел и, чтобы не отвечать немедленно, глотнул большую ложку супа, забыв, что под кастрюлей горит его примус, а поскольку боялся выплюнуть, проглотил кипяток, простонал «да», и слезы боли брызнули у него из глаз.

Апуа наклонился к нему, как наклоняются к младенцу, когда делают ему «баран-буц», но медленней и без той улыбки, и, когда его лоб почти коснулся лба Жениха, сказал:

— Послушай, Арон, я охотно выполню этот уговор, но у меня есть условие.

— Какое? — спросил Жених.

— Чтобы ты со своими изобретениями помогал семье.

— Я помогу... — смутился Жених. — Конечно, я помогу. Семья — это семья.

— Семья — это семья, — сказал Апуа, — но и помогать — это помогать. Помогать — это не только в горячий сезон, или одолжить рабочий инструмент, или дать стакан сахару, если на кухне кончился сахар. Кроме твоей Пнины, здесь есть еще три девочки. Одна — ее ничего не интересует, кроме ее овощей. Другая — дикарка, а третья целыми днями читает стихи. Я не знаю, каких бездельников они приведут с улицы. Помогать — это дом, и одежда, и школа для детей, даже если они не твои, помогать — это всё, что нужно, чтобы продолжить семью.

Жениху было, правда, всего семнадцать, но в таких делах мозги его работали весьма упорядоченно. Он ска-

зал будущему тестю, что должен на несколько минут выйти из комнаты, сел на деревянной веранде и посчитал, как делал обычно в любом и всяком деле, необходимое время, расстояние, работу и затраты. А кроме того, будучи профессионалом с некоторым опытом, включил в свой расчет также трату сил, износ материалов и необходимый размах.

— Хорошо, я сделаю все, что нужно! — сказал он Апуе, вернувшись в кухню, и повернулся, собираясь уйти.

— Куда это ты идешь? — спросил Апуа. Жизнь научила его бороться и угрожать, и неожиданная легкость сделки вызвала у него тревогу.

— В мастерскую, — сказал Жених. — У меня много работы.

— Раньше кончай суп!

Жених присел, проглотил две ложки и поднялся.

— Ты, когда работаешь, — сказал он Апуе, — ты всегда работаешь кругами. Осень и зима, весна и лето, и снова пахота, и уборка, и посев, и покос, и снова подрезка, и посадка, и дойка, и уборка. Но я — у меня уже сейчас есть план на всю жизнь, отныне и до конца, по одной прямой, и что не произойдет сегодня, завтра оно уже не вернется. Поэтому у меня нет времени для супа и для разговоров, я иду работать.

Я помню волнение, охватившее меня, когда я услышал эту историю впервые. Мне было лет шестнадцать, и смысл этих слов, как мне кажется сейчас задним числом, относился также к надвигавшемуся

изгнанию Ани. Я понял, что слова Арона были сказаны не только в отношении Апуны, но и в отношении всех людей вообще. В те дни я еще не знал известного деления людей, которое с тех пор стало банальным, — на тех, кто движется кругами, и тех, что движутся вперед, по прямой. Но я уже чувствовал, что мне предстоит выбрать между покорными и бунтовщиками. И прошло еще несколько месяцев, пока я понял, что Аня не вернется, что Апуна, хоть он большой и сильный мужчина, не что иное, как раб, а Арон, трудяга, навек приколотивший себя, как мезузу, к косяку двери нашей семьи, — человек свободный.

Что касается Пнины, то она не возражала. Ей было хорошо с этим парнем, выбранным для нее еще до рождения. А Рахель, у которой было особое отношение к «прославленному колченогу», ответила на мои долгие и путаные расспросы коротким и гневным: «Уж лучше так», — а когда я спросил: «Лучше, чем как?» — сказала, что лучше так, чем терпеть судьбу других красивых женщин, которые, прыгая с веточки на веточку, остаются в конце концов в одиночестве, — «а теперь хватит уже об этой истории и хватит ковыряться в ранах и сдирать с них корку! Кончай копать в дерьме, Михаэль, говори по делу!».

Но не только Арон любил Пнину, Пнина тоже любила его, и признаки ее любви были подобны маленькому облачку перед сильным дождем — правда, знакомые до отвращения, но зато проверенные и надежные, которые способен увидеть и понять каждый, даже и не наде-

ленный открытой фонтанеллой: замолкание сверчков на обочинах ее путей, взблеск ее глаз при виде любимого, их затуманивание от прикосновения к нему, особый трепет ее диафрагмы в преддверии смеха и то, что в те дни еще искали в любви <и что сегодня в любви уже не ищут>, — сердечная и душевная преданность и готовность пожертвовать ради любви и своими силами, и самолюбием, и временем.

— Странное слово — прикосновение, — сказала Рахель, когда я поделился с ней моими размышлениями. — С одной стороны, оно звучит секущим, как коса, с другой стороны, кажется мягким, как сено. Что же касается самоотверженности, то «давайте не забудем», Михаэль: когда говорят о любви, важно знать, чем ты готов пожертвовать, что ты готов дать, кроме ухаживаний и подарков. Как насчет всей жизни? Что насчет какой-нибудь части твоего тела? В буквальном смысле, Михаэль, — вот так же, как мой отец понял слова «взвалить на себя супружеское бремя», может быть, так же надо понимать и слова: «Отдать руку и сердце». Это не просто прогулка ручка за ручку на закате. Может быть, если бы твой отец отдал свою руку твоей матери, а не нашему государству, они потом жили бы лучше? И кстати, что ты думаешь о том, что происходит здесь у меня на стене? Нет ли у твоей открытой макушки какого-нибудь хорошего биржевого предсказания?

Нет, ни по поводу акций, ни по поводу денег, ни по поводу выигрышных лотерейных номеров моя фонта-

нелла ничего предсказать не способна, но знамения порой танцуют на ней, как яростная толпа босоногих провидцев, бьющих в свои барабаны, и тогда ее пророчества передаются мне не словами, а дрожанием кожи под их пятками и палками, и еще — звуками, и вздувающимися пузырями, и давящей тяжестью, набухающей под кожей черепа так, что мне порой трудно различить: давит она изнутри меня наружу или снаружи вдавливается в меня, как порой нам трудно различить, что обожгло нас — пламенный жар или стылость льда, несемся мы в потоке времени или стоим на его берегу? Иногда моя фонтанелла действует по методу *«вот, наступают дни»*: будто мы стоим, а будущее несется нам навстречу. А иногда — по методу окончательной остановки: *«в конце света»*, *«в последние дни»*. А иногда время стоит, а нас несет вдоль него. Так или так, но, несмотря на мои скромные предсказания, у меня нет библейских и йофианских претензий на «Я же вам говорил!».

Отец, из осторожности, и мать, из недоверия, пытались скрыть эту мою особенность. Но в большом роду Йофе слух обо мне распространился так же, как распространялись все прочие слухи. Религиозные Йофы из Иерусалима во время своих редких визитов устремляли на меня уважительные взгляды, герцлийские Йофы говорили в моем присутствии об экономических планах, пытаюсь прочесть выражение моего лица. А дядя Арон рассказывал мне о каждой новой возникшей у него в голове придумке или о проблеме, с которой он

сражался, и вдруг спрашивал: «Ну, Михаэль, что ты об этом думаешь?» — а я, ничего не понимая в технике, говорил только: «Всё в порядке» или: «Второй вариант». И он спрашивал: «Ты уверен?». И я отвечал: «Да» — и оказывался прав.

И еще я с детства знал, что женщина, спасшая меня из горящего поля, станет моей любимой, но тут уже мне трудно сказать наверняка, потому что и более великие, чем я, пророки затруднялись различить между пророчествами и желаниями. Вначале, маленьким мальчиком, я воображал себе очень определенное объятие: когда глаза, и губы, и бедра найдутся на одной высоте — смелый и взрослый вариант «Кто первый прибежит...»\*. А потом, как это бывает с юношами, я часто представлял себе, как будто вхожу в нее, и мне было ясно, что первой моей женщиной будет именно она.

Как многие юноши, раздумывал и я — истинны ли те чувства, которые я возвращаю в своих душе и теле? Я помню, что рассказал об этом отцу и он засмеялся и сказал, что его тоже в детстве беспокоили эти вопросы и «ты еще удивишься, Михаэль, как просты ответы на них».

Он был откровенен больше, чем принято между родителями и детьми, особенно в то время. И он сказал мне, что, когда я буду впервые с женщиной, меня удивит сила наслаждения и разочарует его простота.

\* «Кто первый ко мне прибежит» — распространенная в Израиле детская игра.



Но я, хотя только лишь становился подростком, уже пережил к тому времени несколько лет любви. Всего пять лет мне было, когда я встретил свою любовь, и с тех пор мои дни проходили в ее свете и в ее тени, и я уже понимал, что простоты здесь не будет. Не у меня. Не с ней. Я знал, что она будет «той женщиной», и предвидел, когда, и где, и как, и почему. И поскольку наши ноги идут в то место, которое мило и желанно нашему сердцу, и в полной уверенности, что так оно все и покажется, — покатился и я.

С Алоной все просто. Иногда она отвечает мне, а обычно нет. Иными словами, глаза ее еще продолжают читать новую книгу: ее «пашмины» пригласили писателя на лекцию, и теперь она должна быть «в курсе», — и ее руки еще продолжают отталкивать мои от себя, но они уже не так решительны, и на лице уже блуждает намек на улыбку, и тело уже немного изгибается так, чтобы она могла подвинуться ко мне задом.

И тогда я говорю ей: «Алона», а она, погруженная в какую-то из идей, посетивших ее в эту минуту, говорит мне: «Что?» — и я говорю ей: «Ты знаешь, что я люблю в этот момент? Сознание, что сейчас, максимум через несколько минут, я буду внутри тебя», а она говорит: «Не ты, Михаэль, не ты весь, только немножко тебя». И я улыбаюсь и ласкаю ее красивое тело, очень красивое, надо признать, которое еще не решило, что оно предпочитает на первое: поглаживание по спине или «любовный акт».

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВРЕМЯ

— «Не для того мы сражались в Войне за независимость», чтобы каждый раз, когда мы ложимся в кровать, это кончалось поглаживанием по спине.

— Нет, а для чего?

Она вдруг выпрямляется, опираясь на локоть, демонстрирует мне профиль самки пеликана, весьма довольной своей участью, рассматривает новые вены на приподнятой и слегка отставленной ноге и говорит:

— Проверь только раньше, погасил ли ты свет в кладовке и запер ли двери.

И всё. Лампы погашены, и двери заперты, и твое колесо покатилося в яму, и вот уже «немножко тебя» съезживается и опадает, и желание удовлетворено, и муравьишки возвращаются на тропы своего обыденного труда.

Но с Аней я знал. Знал, что в обозримое время, и знал, как, и когда, и где, и чувствовал, как она растит меня навстречу этой минуте, читает мне стихи Кади Молодовской, берет меня с собой в поля, трогает мой «не-шрам», сидит со мной «в нашей позе», проверяет меня и ждет меня — с улыбочивым любопытством, с терпеливым желанием, которое, она знает, будет удовлетворено. Ибо хотя Аня не родила меня, но она даровала мне жизнь, и, хотя она не была мне матерью, я был ее собственностью, и, хотя она не была и уже не будет моей женой, она царила и все еще царствует в моем сердце, властвует на высотах моей души и повелевает в подвалах моей памяти.

Моя мать — женщина костлявая и высокая. Сомнения не гложут ее, и даже сегодня, в старости, у нее худое и сильное тело и неколебимо-стойкая душа. В сущности, чем она старше, тем лучше становится ее здоровье. По моему, причина тут в том, что она набирает все больше часов вегетарианства. Но тетя Рахель, не такая здоровая, как ее сестра, и в силу разных старых счетов не желающая признать ее правоту, говорит:

— Дело не в том, что Хана здоровее других стариков, просто они болезненнее.

Раньше у нас были двое соседей, которые поставляли ей удобрения. Один выращивал овец, и Хана привозила с его двора овечий навоз — мелкие и твердые катышки, которые медленно разлагаются и действуют в течение целого года. Другой держал большой птичник для несущек, и оттуда она привозила куриный помет, более острый. Но поскольку по прошествии многих лет оба они умерли, а наследники, как это обычно в деревне, превратившейся в город, сломали птичники и овчарни, выкорчевали деревья и продали землю по участкам, теперь моя мать вынуждена тащить свои удобрения от третьего старика, живущего на другом конце города.

Возраст этого старика не знает никто.

— Может, восемьдесят, а может, и все сто семьдесят, — говорит Рахель, которая называет его «бобыль бессмертный», — человек, смерти которого никто не

ждет, включая его самого. И поскольку речь идет о старике типа: «Пока я жив, на моей земле спекулянты не построят ни одного своего дома», — у моей матери нет причин для тревоги: что бы ни случилось, удобрение у нее будет всегда.

И поэтому раз в две недели, всегда в пятничный полдень, наш маленький, нарядный, жирненький и избалованный город снова переживает вторжение моей жилистой, высокой, спартански-пуританской матери. Она открывает обитые железом деревянные ворота «Двора Йофе», задерживает дыхание, предчувствуя встречу с выхлопными газами машин и дымом ресторанных мангалов, сощуривает глаза, вспоминая жрущих и пьющих, которых ей предстоит увидеть, — и затем решительно хватается за рукояти своей старой тачки, на дне которой давно уже не железо, а неразделимый сплав помета и ржавчины, и начинает спускаться по кипарисовой аллее.

Она стремительно проходит мимо старух моложе себя, что сидят в инвалидных колясках, в компании своих филиппинок, а я, с удовольствием выкуривающий там свою дневную сигарету, вжимаюсь в пластиковый стул Адикки, пытаюсь укрыться — мужчина пятидесяти пяти лет! — от ее недремлющего глаза. Она видит меня, ничего не говорит, но устремляет взгляд на Шимшона Шустера — конокрада, недавно сраженного инсультом. Сиделка привезла его к другим сиделкам и старушкам, и вот он сидит там — голова бессильно упала на грудь, правая рука висит. Через

полчаса один из китайских рабочих поднимается с места и, не говоря ни слова, перевозит Шустера к столу мужчин, что на противоположной стороне аллеи. Они открывают ему бутылку пива, отказываются взять у него плату, которую он протягивает слабой левой рукой, и наливают ему в стакан. Потом помогают ему выпить, вытирают подбородок, и через несколько минут, как я вижу по их движениям и выражению лиц, там уже завязывается беседа: «Чинг, и чанг, и ли, и лу, и ацакоец», — потому что в своем нынешнем состоянии Шустер понимает китайский точно так же, как и иврит.

Отсюда моя мать спускается к главной улице, проходит мимо гастрономов, магазинов посуды, компьютеров, подарков и одежды, и ее тачка оставляет длинный хвост зловония у входов в банки и цветочные магазины. И все это именно в полдень и именно в пятницу, когда кафетерии полны людей, а магазины покупателей и по тротуарам текут потоки желающих других посмотреть и себя показать. Она проносится мимо школы и дома культуры, проталкивает свой вонючий груз среди женщин, толпящихся возле «Ализы и Ниры» или «Рики и Рины» и других мест, о которых никогда не знаешь, парикмахерские это или кондитерские, и оставляет след из загаженных перьев на красных плитках тротуаров. Ее фигура уже знакома всем, даже витринам, так и ждущим ее отражения в своем стекле, и припаркованным машинам, которые она умышленно царапает. Прохожие усмеваются,

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВРЕМЯ

совсем как тогда, в дни моего детства, когда она шагала с той же скоростью и с той же самой тачкой и все дети в классе говорили мне шепотом: «Вон твоя чокнутая мама», а потом, набравшись смелости, добавляли: «А твой отец трахает вашу соседку». Все знают ее, но никто не знает, что кипарисы Аллеи Основателей были посажены в день ее рождения и что настоящие основатели здесь — не разные Шустеры, чьи портреты висят на входе в здание муниципалитета, а ее родители — отец, который прыгал и ржал, как лошадь, и мать, которая сидела на нем верхом, прищипывая его своими пятками и указывая ему дорогу своим протянутым пальцем: «Туда», и «Туда», и «Туда», всё «Туда», а потом: «Здесь!»

Но моя мать, здоровая и прямая старуха, не тоскует по прошлому, не опасается будущего, не жалуется и не ложится ни на кого обузой, даже на меня. И это хорошо, ибо она не вызывает симпатии ни в чьем сердце, включая сердце ее сына. Я был бы рад относиться к ней лучше, даже любить ее по-настоящему, как все нормальные мужчины, вроде меня, должны любить своих матерей, но матери, которые не готовят своим сыновьям еду, а подают «пищу», и не рады услышать, что еда вкусная, а все время считают их жевки и периодически проверяют крошки, застрявшие у них в зубах: «Что это, Михаэль, ты “елмясо”?!» — кричит она, а когда она кричит, «ел» и «мясо» у нее соединяются, — нет! такие матери не предназначены для сыновней любви.

<Успокойся, Михаэль! Вдохни поглубже. Походи по комнате. Ложись на кровать. Ударь кулаком по матрацу. Не только в речи, как я обнаружил, — на письме тоже нужно подгонять длину и музыку фраз к ритму вдохов и ударам сердца.>

Я пытался ее любить. Я пытался быть любимым ею. Но каждый раз, когда я подходил к ней и просил разрешения, как это принято у йофианских мужчин, положить голову ей на колени или на живот, чтобы она погладила меня рукою, она, сама того не чувствуя, слегка отодвигалась. И вот так получилось, что в конце концов я отказался от нее, а поскольку детям нужна четкая шкала в любом деле, а главное, в любви, я перепробовал остальных членов семьи, выбрал отца, поставил его на вершину и с того момента любил его сознательно, охотно, всеми своими силами и всем своим существом. Совсем так, как он сам учил меня перед тем, как я пошел в армию: когда перед тобой есть цель, ты должен быть направлен только на нее, изо всех сил, весь — как палец и курок, как глаз и прицел, — и не важно, молодая это женщина, спасающая тебя из огня, или выстукивание вот этих строк, или кто-то стреляющий в тебя, или твой отец, твоя плоть и кровь.

Я мог выбрать дядю Арона, но у меня нет с ним кровной связи, и в моем отношении к нему признательность смешана с жалостью. Я мог выбрать Апуу, с которым у меня есть кровная связь, но со времени нашего младенчества он предпочел Габриэля, а пока я вырос и простил, прошло время, и теперь, при всей жалости и

понимании, какие я могу пробудить в себе, он уже не тот дед, которого я хотел бы любить. Из любопытного и забавного животного он превратился в надоедливого и трясущегося от холода гнома, и Габриэль со товарищи заботятся о нем, беседуют с ним и кормят его: большая ложка подносит кипящий суп к отверстию, распахивающемуся в белой бороде, собирает остатки с углов губ, возвращается в тарелку, и все это повторяется вновь и вновь. И Айелет приходит и заглядывает к нему в инкубатор, как заглядывают к младенцу в коляску: «Какой сладкий дедушка... Сколько ему лет?.. А что он уже умеет делать?» И она, и они всячески развлекаются за его счет: повязывают ему бантики на шею и заплетают тоненькие эфиопские косички в бороде, а однажды даже накрасили ему губы и показали в зеркале, как он выглядит, и Апупа расплылся в невообразимом умилении. Один из «священных» сшил ему шелковую рубашечку и вышитое пальтишко, напялил на голову дамскую шляпку, и вот так они выводят его на те безумные шествия, которые иногда организуют. В такие дни большие ворота «Двора Йофе» распахиваются настежь, и Габриэль, его «Священный отряд» и Апупа — в инкубаторе, положенном в большую ручную тележку, — спускаются в центр города. Иногда они выходят в форме сестер милосердия или нарядившись балеринами в пачках, другой раз — приклеив себе усы и надев длинные полосатые трусы, а еще как-то раз один из них изображал из себя льва с большой гривой и прыгал через горящий обруч, который его приятель



держал в одной руке, другой рукой подгоняя его ударами курбача и производя те хлещущие, громоподобные щелчки, которые никогда не удавалось извлечь самому владельцу этого кнута.

Кстати, недавно Апуа даже согласился участвовать в праздновании «Выхода поселенцев на землю», которое бойкотировал все прежние годы. Когда мы с Габриэлем были детьми, этот день отмечали народными танцами, развевающимися юбками и пышными снопами, громкоговорители, спрятанные среди ветвей, взхлеб пересказывали воспоминания отцов-основателей, время от времени вдруг сбиваясь на устрашающий попугайный свист, а Апуа, тогда еще огромный и сильный, сидел на деревянной веранде своего двора, наливался злобой и кончал тем, что залезал на стену со страшным ревом:

— Это было не так, врете вы всё, поганцы!

Его слова громом раскатывались над деревней, и мне он тогда казался Циклопом из стихов Гомера и Черниховского, швыряющим в море целые скалы, но так и не причиняющим людям никакого вреда.

И вот сейчас, когда «Выходу на землю» исполнилось восемьдесят, а ему самому уже больше ста, Апуа вдруг объявил, что примет участие. Взволнованный мэр спросил, нужно ли позаботиться о транспорте для господина Йофе. Поинтересовался, соизволит ли господин Йофе сказать что-нибудь. Намекнул, что может сохранить для господина Йофе место среди самых уважаемых граждан города в первом ряду. Но Габриэль

сообщил ему, что господин Йофе прибудет собственными силами, «а там уж посмотрим, как оно пойдет». И вот, в тот самый момент, когда школьники в чинных белых рубашках и синих штанах, жуя «чингу», шли нестройной толпой по главной улице, ворота «Двора Йофе» распахнулись и оттуда вышла и двинулась вниз по Аллее Основателей самая большая из всех йофианских процессий. Впереди шел «Священный отряд» — все в черных костюмах и блестящих цилиндрах, — толкая перед собой ручную коляску со старым инкубатором, в котором восседал сам господин Йофе, усмехаясь, и наслаждаясь, и помахивая своим курбачом, за ним следовала длинная процессия других Йофов, собравшихся в честь события со всей Страны, замыкал ее Габриэль, который вел древний «пауэр-вагон» на первой скорости, чтобы соответствовать скорости процессии, а за машиной ползла платформа, на которой располагался наш оркестр: Гирш Ландау с его скрипкой, рояль «Бекштейн», о котором речь впереди, и еще один приятель Габриэля («Гомо из Лондона», как прозвала его моя мать), который сидел на круглом стульчике и перебирал клавиши.

Потрясение было страшным: Давид Йофе, который держал свой кнут над всей Долиной, прошел через всю Страну с женой, сидевшей у него на спине, присвоил себе источник и твердой рукой захватил вершину холма и большую часть земель к югу и к западу от него, и вот, пожалуйста, — процессия «гомиков» везет его в инкубаторе для кур. Люди цокали языками и покачива-

ли головой, видя его в таком состоянии, и вспоминали великана, заправлявшего в семье могучей рукой, которая вот чем стала сейчас. Шустеры хихикали, Йофы тоже, и только Жених, оставшийся дома, кипел — но не знал, на кого излить свой гнев.

Что же касается женщин семьи, то Амуму я уже не могу любить, потому что она умерла.

— Жаль, — говорит Рахель, — жаль, что ей не довелось увидеть своего мужа сегодня, уж наверняка получила бы удовольствие.

Пнина заперта в своем доме и в себе, а с тетей Рахелью я спал так много раз, что мы с ней уже не что иное, как бесполое наполнение двух старых фланелевых пижам, и при всей симпатии, которую я питаю к ней и к ее рассказам, мне трудно видеть в ней объект для любви.

Я не раз размышлял насчет Юбер-аллес, моей изгнанной тетки, но я никогда ее не видел и не обменялся с ней ни словом. И сейчас я припоминаю, как однажды, во время одного из семейных обедов, моя мама сказала что-то мерзкое о муже своей сестры, «нацисте», и отец, у которого по любому поводу, касающемуся семьи матери, было какое-нибудь замечание, сказал:

— Не страшно, всякому еврею нужен какой-нибудь нацист в семье, чтобы научиться с легкостью их опознавать.

— Я не думаю, что евреи в Освенциме затруднялись в опознании нацистов, — сказала мама тем мрачно-

сухим тоном, который придают ее голосу национальное наследие и правильное пищеварение.

А иногда мы с Габриэлем берем дедушку на прогулку — прогулка по Стране, в парадном строю, — как Габриэль берет меня на свой «кавасаки»: «Давай сделаем круг, Михаэль, немного прогоним тебе кровь по сосудам», — и как Ийад, внук Наифы, этот арабский историк, враг сионизма, берет меня время от времени в поле — нарвать почки акувы\*.

Вооруженные острыми ножами, мы едем в дикое поле, местонахождение которого я не открою, ибо так заклил меня Ийад. Несколько часов мы ходим там, срезаем почки и мягкие стебли с молодых колючих кустов, и каждый из нас приносит домой полный мешок. У Ийада очищает их «женщина», а у меня их очищает моя половина нашей супружеской пары. Я чищу, зову Ури, который несколько минут варит их на пару, приправляет чесноком, оливковым маслом и лимонным соком, пробует и улыбается. Вот вам последовательная редукция удовольствия: три часа собирания, два часа очистки, три минуты варки и полминуты блаженства.

Алона тоже выводит меня со двора, но это не прогулки, это бегство. Она говорит: «Идем уже, я задыхаюсь здесь среди ваших стен, нужно выйти» — и я иду. Я люблю кино, театр я люблю меньше.

\* Акува — колючее растение, соцветие которого содержит один плод с большим семенем. Распространено в широкой полосе от Кипра до Закавказья.

— Не то чтобы я пренебрегал театром, — говорю я Алоне, которая описывает меня своим подругам как «человека некультурного», — просто мне неловко за артистов, что они должны всё это проделывать.

А больше всего я опасаясь сборищ для хорового пения с «пашминами» и их мужьями, не говоря уже об ужасе всех ужасов — народных танцах. Я почему-то хорошо танцую, но Алона предпочитает танцевать с другими мужчинами, и тогда я оказываюсь вынужден приближаться, даже притрагиваться к чужим женщинам, чего я не могу вынести.

А иногда мы «идем к друзьям», то есть опять-таки к тем же «пашминам», и когда я возмущаюсь: «Снова к твоим подругам, с теми же шаялами и теми же мужьями?» — она отвечает: «Опять к моим подругам, потому что у тебя, Михаэль, нет своих друзей».

— Но почему они хотя бы не меняют своих идиотов-мужей?

— Почему они их не меняют? По той же причине, что я не меняю тебя. Ты хочешь знать почему?

— Нет.

— Потому что это уже, в сущности, ничего не меняет.

А иногда я еду один в «Паб Йофе».

— Ты сегодня не на кухне? — спрашиваю я Дмитрия.

— Сегодня я охранник, — улыбается он. — Может, придет какой-нибудь из тех, что любят взрываться в ресторанах.

— Присядь здесь, папа, — указывает мне моя дочь, — пей себе спокойно и не разговаривай с рабо-

чими. Есть селедка, которую Дмитрий вчера приготовил, настоящая поэзия, с хлебом и с оливковым маслом, и перестань подсматривать за девицами. Не бойся, они подойдут к тебе сами.

— Чего вдруг они подойдут ко мне? — пугаюсь я. — Я не хочу, чтобы они подходили.

— Здесь «пик-ап бар», папа, поисковое место, здесь девушки тоже подходят знакомиться.

— Поисковое место?

— Для тех девушек и парней, которые ищут.

Неисповедимы пути наследственности. Если бы это было возможно, Айлет родилась бы у моего отца и у Габриэля, а может быть, у Убивицы и у Батии.

Я сижу там, погружаюсь в пьяный шум паба, понимаю, что при всем своем уважении к диагнозам моего сына я все-таки предпочитаю дорогого психолога любой девушке, и в которой уже раз дивлюсь способности моей фонтанеллы вылавливать фразы разговоров из общего гама. Мужской голос говорит: «Но завтра я хочу пойти в зоопарк», а женский отвечает: «Останемся дома, я буду любимым животным, какого ты захочешь». Потрясенный, я оглядываюсь вокруг, слова еще звучат в моем мозгу, но глаза не могут определить, за каким столом они были произнесены.

Я не привык пить. Мне достаточно одного стакана вина или скромной порции «Маргариты», которую готовит мне дочь:

— Возьми. Женский напиток. Специально для тебя.

Я пью и смотрю на нее, на ее милое лицо, плывущее за баром, наливающую, подносящую, подающую сигналы официанткам, похлопывающую по плечу Дмитрия, улыбающуюся тому или другому клиенту.

— Кто бы поверил, — проворчала как-то моя мать, — что через три поколения после того, как мой отец поселился в Долине, его правнучка будет наливать пъяницам в трактире в Хайфе.

— Кто бы поверил, — ответил я ей, — что через три поколения после того, как твой отец выпил и согласился на тот уговор с Гиршем и Сарой Ландау, кто бы поверил, что когда-нибудь их несчастный сын будет зарабатывать на всю его семью, а его правнучка — сама на себя.

\* \* \*

День свадьбы Пнины и Арона все приближался, и первый конфликт уже вспыхнул. Апуа настаивал, чтобы молодые остались жить во «Дворе Йофе», потому что Жених нужен ему поблизости. А Пнина заявила, что хочет жить в Тель-Авиве. Спор этот, однако, был сущей ерундой в сравнении с тем смятением, что вызвали отношения Батии и Иоганна Рейнгардта, которые становились все более близкими и вскоре породили сплетни по всей Долине. Водители, лоточники, сплетницы-сойки, партийные функционеры, скототорговцы, инструкторы по коровникам и птични-

кам — все, кто перемещается и кочует, слушает и пересказывает, — все они увлеченно занимались своим любимым делом, распространяя слухи во все стороны, кроме той, где находился Апуа, потому что его они боялись.

В нашей Долине, так объяснила мне Рахель, нет ничего более быстрого, чем слухи, или, в ее формулировке: «Наша Долина — единственное в мире место, где скорость звука больше скорости света» — <Это можно связать с тем, что я уже упомянул о скорости времени и скорости памяти>, — и добавила, что это не единственное в наших краях противоречие между законами слухов и законами физики, ибо у нас, кроме того, слухи достигают своей максимальной скорости не тогда, когда движутся по прямой, а когда распространяются по самым извилистым путям.

Прошло немного времени, и Давид Йофе услышал всё, что ему полагалось услышать, а именно что в то время, как другие девушки работают, или учатся, или шушукаются с подружками, его дочь видят у немцев в Вальдхайме, иногда в компании немецких девушек, иногда в компании немецкого юноши, а иногда одну, среди дубов, когда она пасет немецких гусей и свиней и две огромные немецкие собаки трутся о ее ноги, как кошки.

Апуа выскочил из дома, как был, не задержавшись ни на единую минуту. Прыгнул на лошадь и помчался в Вальдхайм, а доскакав, направился напрямиком к ферме, что располагалась на восточной окраине посел-



ка. Доносившиеся из дома звуки пианино прервались. Окно распахнулось, захлопнулось, дверь открылась. Вдова Рейнгардт вышла ему навстречу, жилистая, мрачная, сильная. Тяжелая работа, одиночество и аскетизм сделали ее лицо сухим, обглоданным и угловатым. Она молча встала перед Апупой: груди — два конуса, волосы шлемом.

— Я тебя знаю, — сказала она. — Я видела тебя двадцать лет назад.

— Я ищу твоего сына, — сказал Апупа.

— У меня их двое.

— Того, что увивается за моей дочерью, — сказал Апупа.

Вдова подбоченилась тем вызывающим движением, которое свойственно крестьянкам во всех местах и во все времена.

— Не беспокойся, — в ее голосе слышалась насмешка, — мы тоже не хотим пачкать руки об еврейскую невесту.

— Скажи ему, чтоб поберегся! — сказал Апупа и похлопал по шее своей лошади, как бы сообщая — разговор окончен.

— Мы не боимся ничьих угроз, — сказала немка, и тотчас, как будто ниоткуда, появились два пса — внуки тех давних, запомнившихся ему, — которые уловили презрение и жесткость в теле и голосе хозяйки и тотчас материализовались из теней в углах двора. Один, как его надрессировали, стал за лошадью, вне пределов достижимости ее копыт, второй — прямо перед ее носом.

— Мы не женимся на еврейках, и не боимся угроз от евреев, и не любим видеть евреев, скачущих на лошадях, — продолжала фрау Рейнгардт. — Ты сейчас сойдешь с седла и вернешься домой, как положено еврею, — пешком. А лошадь получишь обратно, когда на следующей неделе вернешься сюда пешком и попросишь прощения.

Собаки начали глухо рычать, и лошадь, которой был понятен язык животных, нервно переступила на месте. Апупа почувствовал, как страх растет в ее животе и поднимается к поверхности кожи. Он прижал колени к ее ребрам, передавая ей свою уверенность, а потом оттянул ее на полкорпуса назад, поднял свою тяжелую палку и с размаху опустил на спину стоявшего сзади пса. Послышался громкий треск дерева и костей. Вырвался короткий жуткий вой и тут же замер.

Второй пес бросился на него и впился в стопу. Хватка его челюстей была ужасной, но на Апупе были его рабочие башмаки, толстые и обитые гвоздями. Он вытащил из седельных ножен свой нож, наклонился и вонзил его в широкий затылок, между двух первых позвонков. Пес упал замертво, а Апупа толкнул свою лошадь вплотную к вдове.

— Здесь, в Стране Израиля, — сказал он тем торжественным тоном, который будем слышать и мы, когда в будущем он и Хана, его дочь, будут не раз рассказывать эту историю, — здесь, в Стране Израиля, евреи будут скакать на лошадях и не будут просить прощения.

И вот еще одна физическая аномалия, имеющая отношение к скорости распространения слухов

в нашей Долине. Здесь, у нас, особенно сразу после полудня, когда ветер поднимает пыль и катит колючки, слова летят даже быстрее, чем произносятся. Когда Апупа вернулся домой, его любимая дочь уже ждала отца на ступеньках. Ее глаза сверкали, как у него, вены на шее вздулись, как на его шее. Но прежде, чем ей удалось сказать что-нибудь, он, еще в седле, наклонился и схватил ее за кудри. Вонзил пятки в лошадиное брюхо, потащил дочь за волосы в сарай, бросил внутрь и запер дверь.

— Будешь сидеть там в темноте, — крикнул он через дощатую стену, — пока не забудешь своего немца. А если будешь устраивать еще фокусы, я обрежу тебе волосы! Слышишь?! Волосы я тебе обрежу и выброшу вон из семьи!

Батия не ответила, но через два часа, когда двор уже тонул в темноте, Амума пришла в сарай дать ей поесть. Она открыла дверь, но там не было обычной духоты и темени. Через дыру, проделанную в деревянной стене, проникал свежий воздух, две выломанные доски лежали в стороне, и леденящее кровь сияние исходило от золотого руна, что лежало на рабочем столе.

«Я сама обрезала себе волосы и сама выбросила себя из семьи», — написала Батия на записке, приколотой головной шпилькой к золоту ее волос.

А под гвоздями, державшими доски, висела ниточка маленьких насмешливых букв: «Куриные твои мозги. Не запирают арестанта вместе с рабочим инструментом».

Обнаружив, что сарай взломан и пуст, Амума бросилась к дочерям и сообщила им, что их сестра «убежала в одной рубашке» и «надо присмотреть за отцом, чтобы он не наделал глупостей». Она боялась, что Апупа бросится в Вальдхайм и сгоряча поубивает там всех, но Батия знала своего отца лучше, чем Амума — своего мужа. Давид Йофе объявил всему большому семейству Йофе, что его дочь умерла, и попросил распространить это сообщение. Он даже спустился для этого в деревню и прикрепил траурное объявление на доске у супермаркета, и, хотя никогда не был религиозным и не выполнял ни одной заповеди, на этот раз отрастил траурную бороду, которая удивила всех не только самим ее появлением и скоростью роста, но также своим цветом: ему еще не было пятидесяти, и сил он еще не растратил, у него были крепкие зубы и каштановые, как в молодости, волосы на голове, а борода выросла белая, как снег, и это был первый признак всего предстоявшего.

Побег Батии был начальным в череде других скандальных происшествий, и вскоре Апупа оказался в эпицентре бури, которая может выпасть только на долю отца таких дочерей, как у него: через несколько дней после побега сестры Пнина сообщила, что хочет отложить «на несколько дней» свою свадьбу с Ароном, а будучи спрошена, сколько составляют эти ее «несколько дней», сказала: «Начнем, а там увидим». А Рахель, младшая из сестер, вернулась из очередной поездки к Заднице и с той же своей пос-

тоянной кабачково-серьезной наивностью, но более упоенным голосом — тем, который, как тут же определила Амума, рвется изо рта, отведавшего первый поцелуй, — объявила: «У меня есть парень».

И поскольку она произнесла эти слова серьезно и поскольку побег Батии и поведение Пнины и без того достаточно накалили страсти, Амума не выдержала и закричала: «Что значит парень? Что, у него нет имени?» — а потом: «Достаточно у нас неприятностей и без этого твоего парня!» — и голос ее был полон гнева, отчаяния и слез:

— Почему в этой безумной семье всё должно случаться одновременно? Ну почему? Ты что, не можешь подождать?..

Что осталось сегодня от этого анекдота? Осталась страшная горечь, из которой родилась ненависть Амумы к мужу и ее отчуждение от него, что еще более углубило его боль и укрепило его упрямство, и остались тоска, и изгнание, и разлука, и осталась белая борода, так и не сбритая с того самого времени. По сей день в нашей семье спорят, что горше — судьба Пнины, что живет взаперти, или Батии, что живет вдали, или их родителей, которые уже никогда больше не спали в одной постели.

— Меня, конечно, забыли, — сказала Рахель. — То, что мой Парень вскоре погиб, это им не важно. То, что происходит с кабачком, это не важно и не страшно.

Амума повторяла свое «убежала в одной рубашке», а Апуа отсидел семь дней траура на полу и всем

Йофам, приехавшим его успокоить, сообщал, что не примет «ее» обратно, даже если она приползет на четвереньках.

Тридцать дней растил он свою белую бороду, а когда пошел в «свой угол», чтобы ее сбрить, слышался крик, который до сих пор звучит в наших воспоминаниях и рассказах: «У меня ушло отражение!»

— Мое отражение пропало! — кричал он — У меня исчезло лицо! Посмотрите в зеркало — видно только белое!

Хана, Пнина и Рахель поспешили в угол. Они отодвинули циновки, прикрывавшие душ, и Апупа открылся им в своей могучей наготе, с покрытым пеной лицом, стоящий против жестяного зеркала, подвешенного к стенке шкафа.

— Но вот же ты, папа, — сказала Рахель, — вот ты в зеркале. Белое — это пена и борода. Вот твои глаза и вот нос.

— Я ничего не вижу! — И Апупа сел, внезапно почувствовав ужасную слабость. — Это только вы видите.

И объявил, что сейчас, потеряв дочь, отражение и любовь жены, он остался совсем один.

— Перестань говорить глупости, папа, — сказала Хана. — Ты не один. Мы с Пниной здесь с тобой.

Апупа погладил ее по голове, сполоснул лицо, вытерся, оделся и несколькими ударами кулака сломал «свой угол».

В последующие годы оба они, и он, и Амума, уплатили сполна, полновесной ценой любви, здоровья и мести. Она свалилась под двойным ударом побега Батии и несчастья Пнины, которое уже подстерегало за воротами Двора, а главное — под стонущим бременем собственной ненависти. А он — его сердце стало таким жестким от горечи и таким тяжелым от раскаяния, что втянуло в себя все его тело и тепло души и в конце концов сделало его таким, как он выглядит сегодня: холодный, как труп, тяжелый, как свинец, маленький, как младенец. А две другие дочери — что ж: Хана все больше замыкалась в своем огороде, а Рахель — в своей любви. Она не замечала растущего отчуждения Амумы, потому что с появлением Парня, так она мне сказала, разом проросли все семена, ожидавшие в ее теле: вся ее привлекательность, ум, страсть и любовь.

— Твоя мать назвала меня «кабачок»? Ну, вот, пожалуйста, кабачок расцвел, — рассмеялась она.

«Одиннадцать лет назад я подарила букет Черниховскому, — писала она Заднице, — а сейчас получила от него в подарок твоего брата».

Брат и сестра приехали навестить нас, и, поскольку Рахель снова представила его как «моего Парня», нам так и осталось неизвестным его имя. Вначале мы называли его «Парень Рахели», а потом просто «Парень», с большой буквы, а он со своей стороны удивил всех в конце трапезы тем, что, когда ему предложили на сладкое пудинг, сказал: «Но я люблю компот».

Ночью неожиданно прошел первый летний дождь. Алона, лежит, по своему обыкновению, на спине, широко раскинув ноги, дышит тихо и глубоко, со спокойствием хозяйки мира, и говорит:

— Хорошо, что ты их не посеял. Сейчас бы они сгнили.

— Кто?

— Семена тех анемонов, что ты насобирав.

— А те, что посеялись естественным путем, на природе? — спрашиваю я ее. — Разве они не гниют сейчас в земле?

— У природы свои цели, и свой ритм, и свое время, — говорит она. — А мы, люди, спешим увидеть результаты. Хотим увидеть что-то раньше, чем умрем.

Неужели ей удалось взломать мой код? И когда я молчу, она добавляет:

— Что природа? Ты живешь сейчас на природе? На природе сейчас идет дождь, все животные мокнут до костей, а ты здесь со мной, под неестественным одеялом, под неестественной крышей над головой.

Я подымаюсь и гляжу в окно. Платье из капель серебрится под фонарем, и две фигуры, одна белая, одна темная, медленно бредут по двору. Это Пнина и Арон возвращаются со своей ночной прогулки, наполняя мне сердце грустью. Пнина красива, как в дни своей юности, но ее походка — походка женщины ее возраста.



— Куда ты идешь? — спрашивает Алона.

Я не отвечаю ей. В кухне я потихоньку капаю несколько капель оливкового масла на ломоть хлеба, намазываю творог, посыпаю грубой солью и откусываю очищенный зубчик чеснока. Так я подкрепляюсь. И потом, подкрепившийся, возвращаюсь к Алоне и растягиваюсь возле нее.

— Ты ел чеснок...

— Да.

И сразу пытаюсь спасти положение с помощью цитаты: «В общем, я понимаю, что насчет перепихнуться нечего и думать, так?»

Грубые слова неприятны мне, но эта фраза — концовка очень любимого Алоной анекдота, а «перепихнуться» предпочтительнее «любовного акта». Но она, вместо того, чтобы улыбнуться, вдруг сердится:

— Ты всё испортил. Надо было думать об этом раньше. Теперь от тебя воняет, как от грузчика на рынке.

И вот я воняю себе в одиночку в неестественной кровати под неестественной крышей, и рядом со мной неестественная женщина, укрытая одеялом, которое естественным образом принадлежит гусям, а не мне, думаю о смерти Ани и узнаю капли: ту, что ударяется по черепице, ту, что барабанит по жести, ту, что падает на землю, ту, что слышна лишь моей фонтанелле, так ощутимо, что моя голова инстинктивно отдергивается, и ту, что опускается на сухой лист, и ту, что ударяет по мокрому листу, и ту, что падает с полновесным и глухим «плюхом» прямо в лужу, и ту, что течет

по Жениховым трубам для сбора и заготовки, которые он проложил здесь несколько лет назад. Привез во «Двор Йофе» экскаватор, выкопал большой колодец возле западной стены, обложил его стены толстыми полиэтиленовыми листами, которые сварил друг с другом одной из своих древних горелок, и установил систему водостоков и труб, которая собирает и проводит к нему каждую каплю дождя, падающую с крыши нашего дома. Точно такой же огромный колодец, как тот, из нержавеющей стали, бак для горючего, что закопан в другом углу двора. Почему из нержавеющей стали? Потому что раньше это была использованная цистерна молоковоза, которую дедушка приобрел, чтобы ему не нужно было идти каждое утро на деревенскую молочную ферму и видеть там Шустеров. Он поставил эту цистерну на колеса во дворе, и Жених построил для нее систему охлаждения, а когда Рахель подсчитала, что никакой надой не окупит Апуе эти капиталовложения, он сказал ей, что готов что угодно уплатить за то, чтобы сразу же с утра не видеть Шустеров.

После того как Амума умерла, а Апуа лишился сил и Рахель ликвидировала коровник и продала коров, Жених отмыл цистерну, закопал ее в землю во дворе, и она стала баком горючего для аварийного положения, и теперь у нас есть резервуары с запасом бензина, запасом воды и запасом газа, а также большой дизельный генератор, который Арон тоже давно уже привез и установил, и система подземных

туннелей и укрытий, которые он роет сейчас, — и все они ждут своего часа, потому что кто знает, что будет завтра и на кого можно будет положиться, но уж безусловно не на это правительство, а уж на этот народ и подавно, и очень скоро, говорит Жених в тысячный раз — а мы, в тысячный раз, смеемся и продолжаем вместе с ним, — «здесь произойдет ужасное несчастье», и тогда — подымает он черный палец, а мы все кудахчем следом за ним, — и тогда «вы все еще скажете мне спасибо».

Вокруг — маленький и красивый городок, весь из плиток и асфальта, и падающий на него дождь — не что иное, как один сплошной, стелющийся шорох. А здесь, во «Дворе Йофе», как и «в те времена», царят порядок и отдельность: каждая капля докладывает, куда и на что она упала. И иногда выхожу наружу, на дождь, и стою и жду, пока такая капля упадет на мою фонтанеллу. Тогда я слышу слабый гром, за которым следует молния, в обратном обычному порядке и притом не электрическая, а болевая. И тогда, если ветер не слишком шумит, мне удастся услышать и более далекие капли, чем эти, — капли, которые падают в другом времени и в других местах: на мягкость диких цветов в саду, на миртовый забор вокруг ее дома, и те, что падают на ее свежую могилу в Иерусалиме, и те, что падают на каменный памятник летчику — когда-то он был в центре поля, а сегодня прячется в тени кипариса на самой окраине шикарного квартала вилл нашего маленького городка.

Подобно рабочим пчелам в улье, Йофы освободили Арона от всех работ и забот, чтобы он мог заниматься изобретательством. А Жених, со своей стороны, не отдыхал и не покладал рук: размышлял и чертил, планировал и проверял и благодарил Бога и своих родителей за то, что дали ему такого замечательного тестя, который снял с него все заботы, связанные с ведением дел и счетов.

В конце недели траура по Батии Жених починил пролом, который она сделала в стене сарая, и вернулся к своей работе. Послюнив кончик своего карандаша, он вообразил, а затем изобразил образцы новых, усовершенствованных плугов, кранов, клапанов и инкубаторов. Придумал новые всасывающие насосы, новые нагнетательные насосы, новые безопасные брудеры\* для цыплят и еще одну, совсем маленькую металлическую вещицу, поглядев на которую никто не мог бы сказать, что это такое и зачем оно нужно, но которое на самом деле было прототипом первой в мире конической передачи.

Иногда он отправлялся, как он это называл, в «посещения на дому». Водительских прав у него еще не было, но «трафик» британской полиции подстерегал нарушителей только на шоссе, а его «пауэр-вагон» хорошо проходил и по грунтовым дорогам в полях. Арон даже

\* Брудер — устройство для обогрева выведенных в инкубаторе птенцов домашних птиц.

изобрел себе простое устройство для самовыручки — этакий широкий ремень, что наматывался на завязшие в грязи колеса. Годы спустя мы с Габриэлем взяли его с собой в армию, где эта новинка произвела сильное впечатление.

Эти его «посещения на дому» родились, понятно, из нужды в деньгах, но еще более — из его убеждения, что правильный путь к изобретению начинается не с идеи, а с потребности. Даже суповой примус для Апуны он изобрел лишь после того, как услышал, как Амума кричит на мужа:

— Так встань из-за стола и ешь свой суп прямо из кастрюли на плите!

И поэтому каждый раз, когда его звали что-нибудь починить в том или ином доме или хозяйстве, он расспрашивал крестьянина о расписании его работы, о распорядке и потребностях его самого и его жены. Так он выяснял, что людям нужно, в чем их проблемы, чего им не хватает, — и только тогда садился за стол, чтобы подумать и придумать.

Сообщение Пнины о желании отложить свадьбу его совсем не беспокоило. Напротив — отсрочка даст ему еще немного времени для изобретений, и он сможет заработать еще немного денег, чтобы стать более достойным женихом для своей невесты. Именно тогда родилось у него целое семейство устройств поджигания для самых разных целей — в печах пекарен, в полевых кухнях и в горелках для уничтожения вредителей в птичниках, — основанных на знаниях, которые он при-

обрел в мастерских британской армии, когда доводил там до ума свой походный примус для супа.

Не прошло и нескольких недель, как «Двор Йофе» посетили двое людей из Хаганы, и с этого времени Арон начал проектировать также глушители, осколочные мины и взрыватели замедленного действия. Но кульминацией его тогдашнего творчества стал новый гидравлический резак, который он изобрел несколько лет спустя, уже будучи женат на Пнине: этот резак работал на таком малом количестве гидравлической жидкости, что она умещалась в его полый ручке, а для приведения его в действие достаточно было маленького поршня и «такой простой передачи, — усмехался он, — что, когда она получит известность, даже пятилетняя девочка сможет резать железные прутья одним нажимом своей маленькой руки и многие другие изобретатели будут рвать на себе волосы». А если к нему приставали с вопросом, когда же мы наконец удостоимся увидеть этот резак, он заявлял, что опытный образец у него уже готов и работает, но, чтобы запустить его в массовое производство, необходимы материалы более высокого качества, чем ныне существующие, иначе челюсти резака не выдержат огромную силу давления.

Кто никогда не приставал к нему, так это тетя Рахель, которая, напротив, принялась широко распространять слухи о новом приборе, стараясь придать им аромат доверительности, и начала тайком продавать будущие права на этот резак, причем в каждый дого-

вор не забывала записать оговорку насчет «достаточно прочного металла». Так постепенно у нас сложилась небольшая ежегодная церемония, существующая и по сей день: ворота «Двора Йофе» открываются, в них медленно втягивается вереница шикарных лимузинов и Габриэль, оценив каждую из них насмешливым взглядом, указывает затем на дряхлый «пауэр-вагон» и спрашивает наше: «А чего не хватает Ханеле?» — и потом все эти адвокаты, металлурги, техники и инженеры пробираются между старыми плугами и телегами, уклоняются от нападений гусей, оставшихся у нас с тех дней, когда Апуа кормил Габриэля белками из гигантских яиц, и Жених берет образцы привезенного ими металла, уносит для проверки в свою мастерскую, появляется снова и говорит: «В следующий раз попрошу лимон», а Рахель объясняет: «Металл недостаточно прочный».

— Нельзя ли узнать, что это ты там проверяешь? — злобно поинтересовался однажды кто-то из специалистов.

— Я проверяю, достаточно ли он прочен.

— А нельзя ли узнать, как именно ты это проверяешь?

— У меня есть метод.

И вот так он по сей день продолжает размышлять над этим своим резакom и возможностями его улучшения — точно так же, как он бесконечно продолжал размышлять над способом заточки лезвия до толщины всего в одну молекулу, который нашел лишь недавно, и

как Пнина бесконечно продолжала откладывать дату их свадьбы.

А раз в неделю, в среду после обеда, он садился в свой «пауэр-вагон» и ехал через поля в Вальдхайм. Там он сидел в бир-штубе, потягивал пиво с немецким кузнецом и его рабочими, рассказывал истории о кузнечных мехах, судачил о токарных станках, учился и учил новым вещам. И уже в конце траурной недели по Батии позвал его Апупа к себе для беседы.

— Когда ты поедешь к своему немецкому кузнецу, — сказал он (новая белая борода придавала его лицу неожиданную разумность), — поинтересуйся, что там происходит с девочкой. — И сразу же добавил: — И не говори никому ни слова, особенно ее матери.

А Амума, которая тоже знала, что Арон по-прежнему ездит в Вальдхайм, начала с тех же слов: «Когда ты поедешь к своему немецкому кузнецу... — но потом продолжила: — ... Возьми кое-что для девочки ».

И сразу же добавила:

— И не говори никому ни слова, особенно ее отцу.

В течение нескольких недель Жених докладывал Амуме и Апупе, порознь и по секрету, об их дочери, рассказывал каждому из них по мере своих способностей и по мере их потребности и был достаточно умен, чтобы понимать, что они не будут сравнивать сказанное одному со сказанным другой, а затаят, каждый и каждая, в своем сердце. Но потом, пока Амума советовалась с ним, как ей организовать тайный визит,



который она задумала, Юбер-аллес и ее Гитлерюгенд сорвались с места и исчезли.

По наказу Аупы и по просьбе Амумы Арон принялся разыскивать их следы, расспрашивая о них всех знакомых немецких кузнецов, рабочих, подмастерьев и барменов. Все они, как один, сказали, что парочка сбежала из-за вдовы Рейнгардт, которая непрерывно оплакивала своего связавшегося с еврейкой сына и двух погибших от руки еврея псов. Но в отношении местонахождения Иоганна и Юбер-аллес мнения разделялись: были такие, что видели их в Вильгельме, тогда как другие заметили их в Шароне, между тем как третьи клялись, что они живут в Немецком квартале в Иерусалиме, а кое-кто даже утверждал, что беглецы почему-то объявились в кибуце Мишмар а-Эмек.

Однако не одно лишь семейство Йофе — британская разведка тоже начала в то время расширять свои поиски в немецких поселениях. За несколько лет, прошедших со времени прихода Гитлера к власти, многие из тамплиеров стали его приверженцами. Немало их сыновей уехало на родину, чтобы вступить в немецкую армию, тогда как другие начали учить арабов изготовлять бомбы и мины. В их поселках можно было увидеть нацистские флаги, на рукавах появлялись свастики, слышались приветствия «Хайль Гитлер», возникали нацистские партийные ячейки.

Арон обратился за помощью к своему другу Джорджу Стефенсону — английскому инженеру, жующему «чингу» и одетому в юбку, который со времени супового

примуса продолжал часто нас навещать. Он всегда приезжал на своем черном «ситроене траксьон-аванте», вызывавшем восторг всей деревни, и всегда привозил Жениху какой-нибудь презент — редкий, дорогой или новый рабочий инструмент, — излагал ему проблемы из их общей области и даже пробовал заинтересовать задачами, выходящими за пределы техники и прикладной механики.

Стефенсон был любителем поэзии и природы, читал наизусть многие стихи, знал и рисовал птиц, но все это не интересовало Арона. Не заинтересовал его даже комплект свистков и дудочек, которые англичанин спроектировал и выточил собственноручно и которые способны были воспроизвести звуки ухаживания, предостережения и бедствия всех птиц Страны Израиля. Только «ситроен траксьон-авант» интересовал его всеерьез. Но когда однажды ему стало известно, что этот Стефенсон — родственник того Джорджа Стефенсона, создателя паровоза «Ракета», который положил начало паровым железным дорогам, его восхищению не было границ. Даже стеснительная улыбка английского инженера и его робкое замечание: «Незаконный поток...» — не охладили восторг Арона, ибо кровь — это то, что считается, совсем как у нас в Семье.

В начале Второй мировой войны англичане огородили Вальдхайм и Бейт-Лехем, построили там казармы из красного кирпича, в которых поселили охрану, и превратили их в закрытый лагерь в преддверии высылки жителей из Страны. Все это время Стефенсон про-

должал разыскивать Батию и каждый раз возвращался с новыми сообщениями и слухами в руках. Однажды он рассказал совсем уж фантастическую историю, что Иоганн находится в Египте, в Эль-Аламейне, в немецком подразделении Пальмаха, а Батия, чтобы быть как можно ближе к нему, открыла в Александрии лавку мороженого. Но куда бы Жених ни приезжал проверить, оказывалось, что его свояченица с мужем или еще не прибыли, или уже были и уехали, и в конце концов всем пришлось признать победу реальности: любимая дочь Апуны исчезла, и его боль стала такой сильной и мучительной, что в его присутствии о ней нельзя было даже заговорить, потому что достаточно было простого упоминания о Батии, чтобы у него на коже раскрывались гнойные трещины.

\* \* \*

Только через пять лет после нашей женитьбы обнаружила Алона мое открытое темечко. Мы тогда сидели на кухне у моей матери, пригласившей нас на один из летних вариантов «правильного ужина» доктора Джексона, то бишь такой еды, после которой, «если бы все люди ели ее вечером, мир наутро был бы намного лучшим местом».

К чести доктора Джексона надо сказать, что он не делил мир на правых и заблуждающихся и его «правильный ужин» предоставлял верующим свободу

выбора, слегка смущавшую мою мать, — например, выбора между «зеленым салатом с хлебом из цельной муки с хумусом» и «четвертью кило персиков с десятью — двадцатью очищенными миндалинами». Алона выбрала миндаль, потому что была на восьмом месяце беременности, а я — хлеб с хумусом, чтобы не умереть с голода через полчаса после еды. Что бы ты ни выбрал, ужин всегда подавался не позже восьми вечера, чтобы «не затруднять тело перед сном», и не содержал никакого питья, потому что оно «разрезает желудочные соки» и стимулирует «пищеварение с помощью бактерий» вместо «пищеварения с помощью энзимов».

Тишина царила за столом. Мама ела молча, чтобы не мешать «нашему другу-слюне». Алона молчала, чтобы не мешать матери в «первичном разложении углеводов». Я молчал, потому что мне не было с кем и о чем разговаривать. И только мой отец говорил, вернее — насмеялся:

— Что это значит «десять — двадцать миндалин», Хана? Что за распушенность? Надо было установить точно — двенадцать миндалин, пятнадцать или девятнадцать.

Его голос немного потускнел и пригас, как это иногда бывает с теми, кто ушел, — но я, который и себя слышу через свою фонтанеллу, хорошо его различал.

— Глупости, — ответила ему мама, жуя со сжатыми губами, — надо прислушиваться к организму. Организм сам решает, сколько он хочет между десятью и двадцатью.

— Организм — последний, на кого можно полагаться, — возмутился отец. — Дай ему сегодня самому решать по поводу миндаля, завтра он решит, что ему хочется черного кофе или белого яда, а то и обниматься с чужими женщинами в саду.

Так он предупредил, растаял в воздухе и снова исчез.

После ужина я убрал посуду со стола, а обе женщины, моя мать и моя жена, начали говорить обо мне, а точнее, о моих порочных привычках. Хотя я присутствовал там собственной персоной, обо мне говорили в третьем лице — «он», — и, когда они обсудили «его» питание, «его» одежду, а также «его» усердие и «его» образование — то и другое нуждается в улучшении, если не в коренном преобразовании, — Алона сообщила, что «в последнее время у него появилась перхоть в волосах», а мама сказала: «Ты хорошо сделаешь, Алона, если помассируешь ему голову оливковым маслом».

На этот раз «его» фонтанелла не задрожала, а застыла, как лед.

— Нет нужды, — сказал я поспешно. — Я не хочу никакого масла в волосах.

«Он» готов подойти к медсестре в амбулаторию, там наверняка найдется что-нибудь против перхоти.

Тут они заметили мое присутствие и даже обратились ко мне во втором лице. Мама сказала:

— Сестра вотрет тебе в голову какой-нибудь яд, который проникнет в мозг.

А Алона добавила:

— Ладно, я помассирую тебе голову оливковым маслом.

— Не так сильно, — сказал я через несколько минут, уже дома. Но она дважды надавила на мое темечко, не обратив внимания, и мое тело содрогнулось, сдерживая крик.

— Что случилось? — спросила она.

— Ничего.

На третий раз она почувствовала. Ее пальцы, которые думали, что знают каждую складку, и выпуклость, и впадину в моем теле, на минуту задержались, удивились, вернулись снова, прошлись вдоль разделительной линии на моей макушке и с силой нажали на темечко.

Искры посыпались у меня из глаз, слезы боли втекли в носовую полость.

— Что это? — испугалась женщина, жившая со мной уже пять лет. — Ты знаешь, что у тебя дырка в голове?

— Это не дырка, — сказал я. — Это мое темечко.

Испуг прошел. Его сменило раздражение:

— Чего это вдруг у тебя открытое темечко? С каких это пор?

— Всегда. У каждого младенца есть такое.

— Что значит?

Если я еще раз услышу это их «что значит?» — я встану и уйду.

— У каждого младенца есть такая дырка, — сказал я. — Сколько раз нужно тебе повторять?

— Прекрасно, Михаэль. Но у каждого младенца это закрывается.

— А вот у меня не закрылось. Ты можешь гордиться, твой муж — единственный в мире человек, у которого голова осталась открытой.

— Ты ходил к врачу?

— К врачу? Чего вдруг? Я записался в очередь к штукатуру.

Алона враз превратилась в мою мать:

— Не вижу ничего смешного. Это опасно и нездорово.

— Алона, — я сбросил ее руки со своей головы, швырнул пропитанное маслом полотенце через плечо, встал и повернулся к ней, уже закипавшей от ярости, — я живу с этой дыркой уже больше тридцати лет, и пока ты не попробовала всунуть туда внутрь палец, мне не угрожала никакая опасность.

— Это не только опасно, это еще и противно, — сказала она.

— Так не трогай!

— Я и не собираюсь трогать, но сейчас я знаю, что это там.

Тишина напряглась, как проволока, неожиданно преградившая путь. «Супружество в опасности».

— А почему мне до сих пор не рассказали? — спросила она через несколько минут.

— Кто это «не рассказали»?

— Ты, например. Твоя мать. Твоя семья. Почему никто не сказал мне, что это не закрылось?

— Тебя обманули, — известил я ее. — Тебе подсунили испорченного мужа. Но ты можешь меня вернуть, у Йофов есть гарантия.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВРЕМЯ

— Не люблю я эти ваши йофианские штучки. Все семейство у них обязательно перфект, а если кто-нибудь не совсем перфект, так они скрывают.

— Йофы скрывают? Новое дело. У нас все открыто, все известно, все секреты вываливают прямо на пол.

— Не интересуют меня ваши секреты. Меня интересует, что я беременна и это может перейти по наследству.

— Тогда у тебя будет то, чего хочет каждая женщина, — муж и дети с дыркой в голове. Ты сможешь заглядывать к нам внутрь и знать о нас все. — И поскольку она не ответила на шутку, я попытался смягчить ее суровость: — Это не так уж важно, Алона, правда, большую часть времени я этого даже не чувствую.

На ее лице отразилась тревога:

— А когда да?

Когда я чувствую запах гари, когда я иду по полю, когда я вижу девочку Айелет с голубеньким зонтиком и пшеницу в пламени, когда черные змеи скользят меж моими ногами, а огонь жжет мое тело, когда я кладу голову, а там уже нет плеча и груди, «и когда моя голова у тебя между ног! — кричу я в пересохшем сердце, — и твой запах наполняет мой нос, и это не-по-хо-же!».

Ни на Аню, ни на Анин запах, ни на Анино тело. Ничто не похоже, ничто не сравнимо.

— У меня есть еще кое-что, о чем тебе не рассказали.

— Да? Что?

— Мой не-шрам.

— Что-что?



— Место, где у меня нет шрама от пожара.

— У тебя нет никакого шрама от пожара. У тебя есть только шрамы от пуль из армии, и их я как раз люблю.

— Ты не понимаешь. Шрамы от пожара уже исчезли, а не-шрам остался.

— Хватит болтать глупости, Михаэль! — Она отворачивается от меня, ее огромный живот колышется. Алона забеременела точно тогда, когда хотела.

— Я влипла с одного раза, — сообщала она с гордостью, не зная того, что уже знал я, — что у нее в животе близнецы.

Родились Ури и Айелет. Алона проверяла их каждый день, и когда их фонтанеллы закрылись — раньше у него, потом, со сжимающим сердце запозданием, у нее, — наконец успокоилась. Но моя открытая фонтанелла все еще не дает ей покоя. Несколько дней назад она вдруг сообщила мне, что говорила с «врачом-специалистом», мужем одной из «пашмин», как же иначе, «и он будет очень рад осмотреть нашу голову».

— Нашу? Дырка в моей голове тоже часть супружества?

— «В здоровье и в болезни, в радости и в беде»\*.

— Нет нужды осматривать, — сказал я. — В пятьдесят пять лет уже поздно что-нибудь исправлять.

Иногда она помахивает передо мной пачкой страниц, напечатанной статьей:

\* Слова из текста свадебной клятвы, произносимой под хупой.

— Уривыташил для меня из Интернета. Судя по тому, что здесь написано, ты должен был умереть в пять лет.

Меня наполняет веселье.

— Ты даже не знаешь, насколько ты права.

— Ты знаешь, как это называется по-иностранныму? — спрашивает она.

— Нет! — Я пугаюсь. — Я не знаю.

— Фонтанелла, — улыбается она. — Кто бы мог поверить, что у такой противной вещи будет такое красивое название.

— Это имя любви. — Я сажусь. — Помни и не забывай!

— Ты знал, Михаэль, что у индусов есть поверье, что оттуда вылетают души праведников?

— Попробуй организовать движение в защиту женщин, у мужей которых не заросло темечко, — предложила ей Айелет несколько лет назад, услышав, как она рассказывает «пашминам», что Йофы всучили ей мужа с дырявым черепом.

И не только рассказывает. Однажды она сообщила мне, что ее «пашмины» «хотят потрогать». Я тут же почувствовал старую хватку грудной астмы. Положил вилку в тарелку, принял «вентолин» и пошел к Габриэлю и дедушке. Гирш Ландау играл на деревянной веранде, «Священный отряд» что-то варил, тяжелая железная кастрюля качалась над костром.

— Ты ужасно выглядишь, — сказал мой двоюродный брат. — Что тебе дать поесть, что тебе выпить? Мясa полегче? Винца покрепче? Рассказать тебе исто-

рию? Сделать тебе рукой? Сыграть тебе представление?

Единственный нормальный человек в семействе Йофе. Вот что я такое. Единственный нормальный в семье.

\* \* \*

Габриэль и я были призваны одновременно и служили в одной части. Я помогал ему в чтении карты и запоминании координат, а он подталкивал меня на крутых подъемах и тащил «МАГ»\* и ящик с боеприпасами. Оба мы спали в палатке, выделенной для разведчиков, но вскоре я заметил, что Габриэль проводит всё больше времени с тремя новыми товарищами — юношей из Иерусалима, который в начале службы был религиозным, и двумя красавцами кибуцниками из долины Бейт-Шеан, которые были похожи друг на друга и на самого Габриэля и на удивление хорошо умели играть, и варить, и бегать, и стрелять, и петь на два голоса. В части их вскоре начали называть габриэлевской «командой голубых», потому что их отношения не ограничивались обычными проявлениями мужской солдатской симпатии — дружескими потасовками с их общей кучей конечностей, голов и криков, а также прикосновениями, похлопываниями

\* «МАГ» (полное название FN MAG 58) — бельгийский автомат, находящийся на вооружении израильской армии и войск НАТО.

и прижиманиями в холодные ночи, — и всем стало ясно, что здесь не просто дружба. Когда наш сержант начал было насмеяться над религиозным иерусалимцем и даже попытался однажды раздеть его возле флагштока, Габриэль и двое остальных из его команды устроили этому сержанту «темную», закончившуюся сломанной ногой. Военной полиции не удалось найти виновников, но в части знали всё, что нужно. Габриэль и его команда были приговорены к неделе ареста и принудительным работам на территории лагеря, а замкомроты, который после освобождения из больницы хотел было вернуться в часть, нашел дверь в свою комнату заключенной.

По окончании боевой подготовки, когда условия нашей армейской жизни улучшились, а требования к дисциплине ослабели, «команда Габриэля» не переселилась из палаток новобранцев в корпуса «стариков». Двое кибуцников привезли вигвам, заостренный и веселый, как колпак гигантского клоуна, с развевающимся на верхушке разноцветным флажком, и установили его под большим эвкалиптом возле интендантства.

На этот раз я не ревновал. Палатка Габриэля и его товарищей была открыта для меня в любое время, так же как и дружба ее жильцов, и в те ночи, когда мы не были заняты тренировками или не выходили на задания, я навещал их там, если меня приглашали на трапезы, которые они готовили в подвешенной над огнем железной кастрюле, или прислушивался из окна своей комнаты к их смеху, шутливым играм, песням и бесконечным беседам.

А однажды в субботу Габриэль привел своих товарищей во «Двор Йофе», и я получил удовольствие от реакции моих родственников. Апуа не понял того, что видели его глаза, Гирш Ландау и мой отец улыбались, Жених помрачнел еще больше, моя мать была так потрясена количеством мяса, которое ела команда, что не уловила ничего другого, а Рахель рассказала им о «Священном отряде» из города Фивы, что в древней Греции\*. Эта история так им понравилась, что, вернувшись в лагерь, они воткнули на входе в палатку табличку: «Священный отряд» — и объявили всем и каждому, что отныне и впредь их команда будет называться именно так.

Многое прошло с тех пор, а название «Священный отряд» до сих пор сохранилось в истории части. В отличие от всех наших товарищей, которые после регулярной службы разбрелись по разным разведывательным подразделениям в резервных частях, Габриэль и его отряд свою резервную службу тоже несли в регулярных частях и даже сегодня, уже освобожденные от службы, иногда выходят к машине, ожидающей их у ворот, и исчезают на один-два дня, никто не знает, с какой целью.

\* «Священный отряд» — отборный отряд из 300 воинов древнегреческого города Фивы, состоявший из гомосексуальных любовных пар, присягнувших в верности над могилой Июлая, возничего и возлюбленного Геракла. Прославился исключительной доблестью. После ряда побед отряд целиком погиб в битве с армией македонского царя Филиппа (отца Александра Македонского) в 338 году до н.э.

О той ночи, когда все стреляли во всех и Габриэль нашел меня среди камышей и пальбы и вынес оттуда, я расскажу позже. Но ей предшествовало другое происшествие, еще более укрепившее мою любовь к нему. Я четко помню дату и место — в последний день Шестидневной войны, по дороге из Баниаса в Кунейтру\*. Накануне вечером мы отправили в тыл раненых, собрали пленных, опознали и укрыли лица мертвых и начали подниматься длинной колонной на восток, домой. Но, не пройдя и двух километров, колонна вдруг остановилась. Наши ребята немедленно сняли каски, распустили пояса, а некоторые даже разули ботинки и растянулись на обочине поспать. Солдаты умеют отличить, когда речь идет о короткой остановке, а когда о длинной. Габриэль сразу же погрузился в одну из своих глубоких дремот, свойственных многим недоноскам, а мы, его «Священный отряд» и его двоюродный брат, остались в своих двух джипах, испытывая некоторое беспокойство. В частях, которым по их природе положено непрерывно передвигаться, любая неожиданная остановка вызывает тревогу.

\* Речь идет о городах на северо-востоке Израиля. Баниас расположен у подножья Голанских высот и до 1967 года принадлежал Сирии, после Шестидневной войны был присоединен к Израилю. Кунейтра — к востоку от Голан — тоже была занята израильскими войсками, но в начале войны Судного дня (октябрь 1973 года) ее захватили сирийские войска. После разгрома Сирии в этой войне Кунейтра была покинута ее жителями и стала центром демилитаризованной зоны.

Внезапно мы услышали впереди странные пугающие звуки, которые никто из нас не мог опознать. Габриэль мгновенно проснулся.

— Пошли, — сказал он мне, вскочив. — Посмотрим, что там происходит.

А своему отряду велел подобрать нас потом, когда возобновится движение.

Голова колонны застряла перед узким арочным мостом из базальтовых камней, переброшенным через скалистое ущелье. На середине моста лежала корова и громко мычала. Жалкого вида дамасская корова, намного тощее толстых коров «Двора Йофе». Задние ноги у нее были раздроблены. Похоже, она наступила на мину, положенную сирийскими солдатами при отступлении, и сейчас стонала от боли, замолкая только для того, чтобы через силу втянуть в себя воздух. Ее выпученные глаза смотрели на солдат с мольбой и мукой.

— Нет выхода, — сказал Габриэль, — надо ее пристрелить и убрать с моста.

И, повернувшись к беспомощно стоявшим водителям, стал выяснять, у кого из них есть буксировочный канат. Но пока он спрашивал, на месте происшествия появился вдруг запыхавшийся сержант одного из батальонов. То был бычьего склада человек, его начищенные ботинки поднимали за собой маленькие облачка пыли, а грузный объем тела был укрыт хорошо подогнанной, новехонькой маскировочной формой, одинаково плотно прилегавшей и к мощной груди, и к тон-

ким ногам. На плече у него болтался новый трофейный «калашников», девственно вороненого отлива, в то утро впервые, видимо, вынутый из ящика, с серебристым штыком на конце.

— «На случай всякого случая», — шепнул я двоюродному брату.

— «Может, придет кто-нибудь, кто любит компот», — ответил Габриэль.

Сержант не задержался ни на мгновение. Проложив себе дорогу среди людей, столпившихся на мосту, он сорвал с плеча «калашников», бросился на корову и воткнул штык в ее окровавленный зад.

— А ну вставай! — завопил он. — Вставай! Вали отсюда! — И принялся раз за разом втыкать свой штык в растерзанную смесь красного мяса и белых костей. — Ты нам мешаешь!

У него был тонюсенький голос, смехотворный для такого большого и опасного тела. Корова замычала еще громче и попыталась встать на передние ноги, но тут же свалилась, а сержант все продолжал танцевать над ней, то наклоняясь, то выпрямляясь и раз за разом тыча в нее штыком и вопя своим пронзительным голо-сом кастрата: «Убирайся сейчас же, скотина!»

Даже мы с Габриэлем, выросшие рядом с коровником, никогда не слышали такого страшного сто-на. Нам было знакомо нетерпеливое мычание коровы перед дойкой, мучительное мычание рожающей коровы, ее тоскливое мычание, когда у нее забирали новорожден-ного, тревожное мычание коровы проданной, ведо-



мой навстречу судьбе, и те короткие глухие мычания, влажные выдохи и глубокие хрипы, которые издают коровы, видя, как умирает одна из них и ее тело увлакивают в дальний лесок, — всё это мы знали. Но мы никогда еще не слышали такого тоскливого, страшного стоны, полного боли, беспомощности и бесконечного ужаса.

Солдаты, стоявшие вокруг, растерянно отворачивались, перешептываясь друг с другом и, видимо, опасаясь сержанта, форма и поведение которого свидетельствовали о тяжести его руки. А тот тем временем перебежал к голове коровы, расставил ноги, уперся руками в бока и наклонился над ней с неожиданной гибкостью. «Вставай, скотина!» — снова завопил он, и корова посмотрела на него почти закрывшимися глазами сквозь длинные ресницы, ее рот слегка раскрылся, розово-красная струйка слюны потекла меж ослабевших челюстей, и голова повалилась. Сержант снова замахнулся штыком, но на этот раз уже не опустил, потому что Габриэль бросился на него и оттолкнул в сторону с такой силой, что сержант упал.

Его бычье лицо побагровело. Тело сжалось, чтобы вскочить и кинуться. Но Габриэль прыгнул первым, ударил, выхватил из его рук «калашников» и взвел курок. Все замерли от испуга, а сержант тоненько завизжал:

— Уберите его отсюда, он хочет меня убить, он сумасшедший!..

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВРЕМЯ

— Не волнуйся, — сказал Габриэль. — На такую мерзость, как ты, я пулю тратить не буду.

Подошел к корове, присел рядом с ней, осторожно похлопал по затылку, который уже знал и изогнулся, и выпустил очередь в ложбинку за ухом.

Водитель броневика подал ему конец каната, и Габриэль обвязал им ее рога.

— Двигай! — крикнул он. — Двигай давай!

Сержант, все еще сидя в пыли, крикнул:

— Дай мне свои данные, солдат! Ты слышишь?!

Но колонна уже двинулась, и появился «Священный отряд», и дальше события развернулись, как в балетном представлении: один из весельчаков Габриэля наклонился над сержантом и повязал ему на лицо большую цветную тряпку, второй нагнулся и шепнул ему на ухо: «Это для тебя лично», а третий стал перед ним, нагнулся и поцеловал его через ткань прямо в губы. А когда сержант, плюясь и ругаясь, сорвал наконец тряпку с лица, он увидел только группу хохочущих водителей, уже заводивших свои машины.

\* \* \*

В первый день каждой недели Элиезер появлялся в школе, как луна в полнолуние, — сверкая до блеска выбритой лысиной и гладкими, чисто выбритыми щеками. В течение недели его волосы снова отрастали и лысина теряла свой блеск, но в начале следующей недели он снова появлялся — сверкающий и свежевобритый.

Недельную церемонию бритья, которая происходила каждую субботу после обеда и всегда на «Красной площади», я видел не раз. «Красной площадью» они торжественно именовали вход в свой дом: крытую площадку размером в четыре на пять метров — а может, меньше? дом уже разрушен, а детская память всегда укрупняет реальность, — которую Элиезер назвал так потому, что гладкий бетон здесь просвечивал красным, и черепичная крыша краснела над ним, и душистый багровый индийский альмон карабкался по ее столбам. Тут Аня читала книги, тут мы пили чай с лимоном, и тут она брила своего мужа. Иногда я подсматривал за ними из-за живого забора, потому что любил и все еще люблю удовольствие от подглядывания, но обычно сидел в это время с ними и запоминал каждую деталь: он сидел в центре площади, голова выглядывает из дырки, которую Аня вырезала в середине старой простыни, стакан с выпивкой рядом. Она готовила таз с горячей водой, кружку с мылом для бритья, кисточку, два полотенца и поверх всего этого — бритву. Не бритвенный прибор с отвинчивающейся ручкой, того типа, которым бреются Йофы, а настоящую, опасную бритву — ту, которую правят на кожаном ремне и которая производит приятный шелест, когда скользит по бороде или затылку.

Ее руки ходили вокруг его головы широкими плавными движениями, то горизонтальными, как будто она чистила яблоко, то вертикальными, как чистят огурец. Она не пропускала ни густые седеющие щетинки боро-

ды, ни редкий пушок на макушке, ни желтовато-редкие волосинки, проросшие по краям его лысины.

— Когда ты вырастешь, Михаэль, я буду брить и тебя, — сказала она вдруг, не глядя в мою сторону, чтобы я знал, что она чувствует мое присутствие, даже когда не смотрит на меня. Когда с нами был кто-нибудь третий, она всегда называла меня Михаэль, но когда мы были одни, только вдвоем, она и я, — пользовалась нашим тайным именем.

Бритва завораживала меня: своей целеустремленностью, легкостью, простотой. Жених как-то сказал мне, что нож — а бритва, со всем к ней уважением, относится к семейству ножей — это первое из орудий, призванных усилить человеческую руку. Он добавил также, что увеличение силы — это вполне легитимное использование прорех в законах природы, и разделил ножи по их видам — режущий, бреющий, пронзающий, секущий, рубящий, колющий, расчленяющий, — и, пока он говорил, я расхаживал по этому маленькому полю слов, которое мне и в голову не пришло бы посеять, а тут оно вдруг выросло вокруг меня само по себе. А еще важнее, сказал Жених, что, в отличие от блоков и кранов, нож увеличивает силу за счет собирания ее в одной точке.

— Это как линза, — сказал он, — фокусирующая линза, так что всем ясно, каково намерение. Понял, Михаэль?

Он со стоном присел на край стола и вытянул вперед больную ногу тем движением, которое со времени моего армейского ранения вошло и в мой репертуар.

— В жизни нет подарков. Для всего надо работать. Только одно дано нам даром и навсегда — и это сила притяжения земного шара.

Солнечный свет приходит и уходит, ветер возникает и затихает, любовь ударяет и исчезает, морские волны набегают и откатываются, реки меняют свою мощь и свое русло — но сила притяжения «всегда здесь, и всегда неизменна, и будет всегда».

— И есть у меня мечта, — признался тогда Жених, — чтобы в один прекрасный день появился гений, не просто человек с хорошими руками, как я, а настоящий гений, который сумеет сфокусировать силу притяжения, как линза фокусирует солнечные лучи, а бритва силу руки.

— Так почему это твоя мечта, если этот гений не ты?

— Мечта в том, чтобы быть там. Стоять возле него и видеть.

Аня кончила брить мужа, положила ему на голову большое полотенце и принялась тереть, пока он не начал стонать и смеяться под мягкой тканью. Когда она снова открыла его, он выглядел мальчиком с порозовевшей кожей.

— Помнишь, Михаэль, — спросил он, — что я рассказывал вам в школе о «кости Кювье», по которой можно воссоздать целого динозавра?

— Да.

— А ты помнишь, что я дал вам написать сочинение на тему «Моя кость Кювье»?

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВРЕМЯ

Конечно, я помнил. Габриэль написал тогда, что его кость Кювье — это маленькое полотенце с запахом Апуны, а я написал, что моя кость Кювье — это имя «Йофе». Я не мог написать о моей настоящей кости Кювье, потому что директор школы обычно вызывал учеников прочесть свои сочинения перед всем классом, а я не хотел, чтобы знали, что у меня есть открытая фонтанелла, и тем более не хотел, чтобы знали, что жена директора школы называет меня ее именем.

— Скажи мне теперь, Михаэль, — сказал директор школы, играя бритвой жены, — какая «кость Кювье» у меня?

— У вас? — Я смутился.

— Твоя печень, — сказала ему Аня. — Твоя разрушенная алкоголем печень.

— Чего вдруг печень? Моя «кость Кювье» — это ты.

— А какая «кость Кювье» у меня? — спросила Аня.

— Он, — сказал ее муж, указывая на меня. — Придет день, и мы оба умрем, сначала я, а потом ты, Аня. Я исчезну насовсем, но тебя смогут воссоздать из этого мальчика.

Через несколько дней после того, как их изгнали из поселка, ко мне подошел один из Шустеров, с которым Элиезер часто играл в шахматы, вручил мне его бритву и сказал:

— Он просил меня передать тебе это в подарок.

И из прорези бритвы выпала маленькая записка:

«Фонтанелла, ты большой молоток, прими это, от ее мужа, с симпатией».

Как-то вечером в нашем дворе появился Джордж Стефенсон, пошептался с Ароном и тут же уехал. Жених пошептался с Амумой, и та подошла к кровати мужа, разбудила его и велела ему взять ее на спину.

— Куда? — Горло и сердце его затрепетали, одно сжимаясь от любви, другое расширяясь от надежды.

— Батия в Вальдхайме, — сказала она, — я хочу увидеть ее в последний раз.

— Батия умерла.

— Она не умерла, Давид, — сказала Амума. — Она жива, и этой ночью англичане вывезут их в хайфский порт. Если ты не отвезешь меня туда, я пойду сама.

Апуа встал, оделся, вышел на веранду, надел башмаки и затянул шнурки, спустился по четырем ступенькам, стал к ней спиной и сказал, как тогда:

— На меня, на меня.

Она взобралась, как тогда, ему на спину, и обняла, как тогда, его шею, но, несмотря на все «как тогда», показалась ему тяжелее, чем он помнил, и груди ее тоже были тяжелы и мертвы на его коже. Сердце его наполнилось печалью. Оба они были еще слишком молоды, чтобы обвинять в этом старость. Апуа ждал взмаха ее руки, чтобы указала ему дорогу, но рука не поднялась. Он спустился через поля, чтобы их не увидели в деревне, пересек шоссе недалеко от поста английской полиции, обогнул невысокий скалистый отрог вблизи того места, где тогда стояла палатка Наифы и ее мужа, и

перешел ущелье, на склоне которого годы назад встретил обоз телег, груженных камнями.

— Надо было мне тогда поубивать их всех, — проворчал он, ожидая, что Амума вдруг скажет: «Ты помнишь, Юдит...» — или: «Ты помнишь, Давид...» — а может быть, даже потреплет его по волосам. Но Амума молчала. Она не уснула, он чувствовал это, потому что голова ее не опустилась ему на плечо и ее дыхание не было сонным. Она просто молчала, настороженная, тяжелая, чужая.

Он свернул с мощеной дороги, поднимавшейся к Вальдхайму с юга, потому что там дорогу преграждали шлагбаум и часовой, и прошел широким полукругом через дубовую рощу, что на холмах к западу от поселка. Его уверенные шаги возбудили у Амумы подозрение, что он не первый раз пробирается в Вальдхайм ночью. А он тем временем свернул с тропы и поднялся по склону, покрытому анемонами, такими красными, что они были видны и в темноте, и спустился по маленькому темному оврагу, такому темному, что лишь укол в плечо, который почувствовала Амума, сказал ей, что они идут среди кактусов.

Батия ждала их за проволочной оградой, в том месте, где договорились Жених с немецким кузнецом. Амума спустилась со спины Апуны и стала перед дочерью. Обняться они не могли, но протянули руки сквозь мотки проволоки и сплели пальцы.

Амума сказала:

— Останься, Батинька, оставь его и останься. Англичане позволят тебе остаться.



— Я его жена, — сказала Батия, — «в радости и в горе».

— Отец разорвет проволоку, ты перелезешь, мы пойдем домой.

Батия глянула на спину отца, не повернувшегося к ней.

— Я не брошу его, — сказала она.

Траурная борода Апуны белела в темноте. Его плечи двигались. Может быть, тряслись? Женщины замолчали на мгновенье, ожидая, не обернется ли.

— Ты не одна из них, — сказала Амума.

— Я одна из него, — сказала Батия.

Спустя многие годы я слышал, как моя мать говорила моему отцу эти слова: «Ты бы мог быть одним из нас, Мордехай» — и его мгновенный укус: «Мне достаточно быть одним из тебя». Я подумал тогда: какими красивыми и любящими были эти слова, когда их сказала Юбер-аллес, и какими ядовитыми они выходят сейчас изо рта у отца.

— Они отравят тебе всю жизнь, — сказала Амума. — Они отыграются на тебе за изгнание.

— Иоганн не позволит.

Амума, хорошо знакомая с упрямством как мужа, так и дочери, протянула ей маленький сверток, который принесла с собой, — свидетельство того, что она заранее предвидела результаты разговора.

— Пусть будет у тебя там, — сказала она.

— Что это? — спросила Батия.

— Твой балахон, — сказала Амума, со слезами в горле. — Чтобы у тебя было что-нибудь красивое надеть в изгнании. Попрощайся с отцом.

— Он на меня не смотрит, — сказала Батия. — Для него я умерла.

— Попрощайся с ней, — Амума обошла мужа и встала перед ним, — она уезжает из-за тебя.

Апуа, весь окаменевший, даже не шевельнулся. Быть может, он боялся, что малейшее его движение повлечет за собой крик или какой-нибудь страшный поступок, которого он и сам не может представить себе заранее. Амума вернулась к ограде и снова просунула руку сквозь витки проволоки. Батия схватила руку матери обеими руками. Схватила, прижала и отпустила.

— Прощай, мама, — отступила она назад и исчезла во тьме.

Апуа нагнулся, скорее рухнув, чем наклонившись, а Амума, вместо того, чтобы подняться ему на спину, начала бить его сжатыми кулаками. Но он по-прежнему не двигался, и она сдалась, и снова взобралась на него, и всю дорогу глухо плакала, и не произнесла ни слова.

Два часа спустя, незадолго до восхода солнца, прибыла транспортная колонна британской армии в сопровождении двух танкеток «брен-карьер» и подразделения «анемонов»\*, немцы Вальдхайма и Бейт-Лехема,

\* «Брен-карьер» — легкие гусеничные машины универсального назначения, широко использовавшиеся армиями союзников во время Второй мировой войны. «Анемоны» — так прозвали в Палестине солдат специального британского десантного батальона за их красные береты.

в своей лучшей одежде и с чемоданами, по одному на человека, послушно поднялись на грузовики, и колонна изгнанников двинулась в хайфский порт.

Во «Дворе Йофе», на расстоянии нескольких километров оттуда, Жених получил сообщение, которого напряженно ждал. Рахель, Хана и Пнина тоже уже ждали, готовые и одетые. Не теряя ни минуты, они втиснулись в «пауэр-вагон», и Жених сказал, что сократит путь, пройдя по старой тамплиерской тропе.

— Что с мамой? — встревожились сестры. — Почему ты не берешь ее с собой?

— Она уже попрощалась.

Пошел дождь, освещенный серо-желтыми оттенками восхода. Громоздкую машину то и дело заносило на обочины, поросшие белыми и синими анемонами и лиловыми багряниками. Жених тяжело дышал и потел за рулем, его сердце и руки не могли найти покоя — то ли ехать быстро, чтобы не застрять, то ли не слишком быстро, чтобы не потерять управление. Но, добравшись наконец до главной дороги, они увидели, что действительно догнали колонну. «Пауэр-вагон» тяжело выбрался на шоссе, расшвыривая за собой комки налипшей на шины грязи, и стал сближаться с последними грузовиками. Английские конвоиры просигналили ему, требуя сохранять дистанцию, но Хана, Рахель и Пнина уже выпрыгнули из машины и побежали за колонной, громко окликая: «Батия!.. Батия!.. Батинька!..»

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВРЕМЯ

Золотисто-каштановая голова с отросшими волосами выглянула из-под брезентового полотнища, и в страшных криках сестер послышались слезы:

— Батия, останься... не уезжай!..

— Убирайтесь отсюда, немедленно! — кричали конвоиры.

— Не уезжай, Батия... не уезжай!..

— Сейчас же убирайтесь домой, сумасшедшие!

— Не уезжай с ними!.. Прыгай!.. Не уезжай!..

Батия тоже кричала и плакала, но с грузовика так и не спрыгнула. У Пнины и Рахели уже не хватило сил бежать, и они упали в грязь. Хана пробежала еще несколько десятков метров, но и она отстала, потому что один из англичан выпустил в воздух очередь и крикнул ей, чтобы не смела приближаться. Мы не раз потом слышали эту историю и от нее. Сожаление, прощание, расставание с сестрой — всё это замутило ей память. Что осталось, так это слово «изгнание», да еще ее победа над Пниной и Рахелью, которые «из-за их неправильного питания» утомились после короткого бега, тогда как она, благодаря вегетарианству, могла бы даже обогнать эти грузовики, еще до Хайфы, если бы английские солдаты ей не помешали.

— Хорошо, что доктор Джексон не явился попрощаться с твоей сестрой, — сказал отец. — Он бы, безусловно, вплавь обогнал английские корабли, еще до того, как они прибыли в Австралию.

Юбер-аллес перегнулась через борт грузовика. Ее удаляющийся взгляд исчезал вместе с затихающим криком:

— Не сердитесь на меня... Не забывайте... До свиданья...

Золотисто-каштановая голова скрылась за брезентом. Колонна всё удалялась и вскоре совсем растаяла за поворотом и в тумане. Жених подогнал «пауэрвагон» к трем лежавшим на земле сестрам.

— Нужно возвращаться, — сказал он. — Дождь усиливается, будет очень плохо, если мы застрянем.

А в то же самое время — дождь все усиливался, и колонна все удалялась, и Апупа неистовствовал на сеновале, расшвыривая вокруг сено, разрывая веревки и круша доски, и Амума уже поняла, что чувствует человек, который умер, — в те же ранние утренние часы все крестьяне Долины вышли грабить дома изгнанных немцев. Они прогнали сторожей, взломали дома и коровники, расхватили телеги и плуги, повели за собой лошадей и коров, повезли упряжь и мебель, рабочие инструменты и посуду.

Когда Апупа наконец успокоился, он услышал необычные звуки, доносившиеся из-за стен Двора. Открыв ворота, он увидел, что это Шустеры возвращаются к себе домой, ведя телегу, нагруженную всевозможной добычей, с привязанными сзади четырьмя дородными немецкими коровами.

Шимшон Шустер крикнул:

— Видис, Йофе, сто мы забрали у твоих насистских родственников: пианину, сифоньер, свейную масину, коров и посуду.

Апупа затрясся. Звуки этого пианино, что стояло сейчас на Шустеровой телеге, не раз доносились

до него в те ночи, когда он стоял во тьме возле дома Рейнгардтов, надеясь услышать голос дочери или хотя бы увидеть ее тень. Ни секунды не медля, он отвязал свою лошадь и как был, без узды и седла, направляя ее одними коленями да похлопыванием по затылку, поскакал обратно в Вальдхайм.

На улицах поселка грабители были заняты хлопотливой загрузкой телег, взаимными ссорами и спором с упрямыми немецкими коровами, которые не хотели понимать указаний на иврите и пренебрегали приказами на идише и на арабском. Апупу позвали, крикнули, что хватит на всех, но он даже не оглянулся и проскакал напрямую к усадьбе Рейнгардтов. Все его тело дрожало. У него вдруг возникла странная мысль, что его дочь не ушла в изгнание со своим Гитлерюгендом, а в последний момент все-таки передумала, сбежала, и спряталась, и теперь вот-вот выйдет к нему из какого-нибудь подвала, и он уже видел в мыслях, как он обнимает и прощает и как его дочь, обнятая и прощенная, возвращается к своей семье и к своему народу, и сердце его наполнялось тем волнением, которое у людей с куриными мозгами леденит позвоночник.

Двое парней и женщина копались там на складе. Один из них загородил ему дорогу:

— Это наше! Поищи себе в другом месте!

Апуа отбросил его в сторону и ударил кулаком его товарища. Все трое тут же исчезли, и больше он ни на кого не обращал внимания, только бродил по безмолвным комнатам, протискивался в кладовки,

спускался в подвалы, взбирался на чердаки, осмотрел все места, где дочь может прятаться от отца, и звал ее, стиснув зубы, чтобы другие не знали, что он готов простить.

Но Юбер-аллес, которая упрямо отказывалась участвовать в галлюцинациях своего отца, никак не появлялась, и Апуа, наливаясь яростью, стал бить тарелки, из которых она только вчера ела, и рвать одеяла, только вчера ее укрывавшие. Он ломал двери, которые она только вчера открывала, крушил зеркала, только вчера ее отражавшие и так страшно опустевшие теперь.

Он начал копать в одежных шкафах и вдруг — за миг до сознания — понял всё своим остановившимся сердцем. В одном из шкафов открылась его глазам та «одна рубашка на теле», что была на ней в тот день, когда она бежала из дому. Не воспоминание, не предвидение, не надежда, не что-нибудь из всего того, чем Йофы привыкли облегчать себе примирение с реальностью, а вот эта «одна рубашка на теле», висящая вместе с еще несколькими платьями, которые — так сказали ему их длина, и запах, и талия, и фасон — тоже принадлежали ей все до единого.

Ноги его подкосились. Он зарыл лицо в ткань и вдохнул всем телом. Помни меня, укрепи меня, только один этот раз, шептало ему ее сердце. И, стоя на коленях, он раскинул руки на всю ширину шкафа, а потом сблизил их друг с другом, сгребая в охапку все висевшие там платья. Потом выпрямился, стиснул их все в талии и

так, одной рукой держась за гриву лошади, в другой сжимая добычу, поскакал домой.

Так получилось, что все крестьяне деревни приобрели себе новые телеги и плуги, а также коров, которые были, правда, антисемитками, но не утратили от этого дойность и плодовитость, а мы приобрели кучу старых платьев. И еще годы спустя говорили в деревне, что это было началом распада семейства Йофе, потому что крестьянин, который берет платья вместо лошадей и предпочитает воспоминания плугам, — такой крестьянин обречен.

Вернувшись домой, он показал Амуме свою добычу. Она не сказала ничего, но поняла то, чего не понял ее муж, — свою «рубашку на теле» их Юбер-аллес оставила из мести. С того дня Амума начала надевать платья своей дочери, одно за другим. В первый день куриные мозги Апупы наполнились радостью и волнением, на второй день он начал немного понимать, а через неделю уже почувствовал муки своей сожженной кожи. Он понял, что уже никогда не будет знать покоя. Но он не знал еще, что ждет его впереди.

\* \* \*

И в те же дни, когда Батии уже не стало, а Пнина раз за разом откладывала свадьбу с Ароном «еще на несколько дней», и Рахель то и дело ездила в Тель-Авив, к Хане Йофе появился гость по имени Мордехай



Йофе — человек, которому предстояло стать моим отцом. То был молодой парень, за несколько дней до того поселившийся в деревне, — худой, бледный, еще не вполне оправившийся после тяжелого ранения. Но у него была приятная улыбка, радовавшая всех, кто ее видел, а его инвалидность многим щемила сердце. Есть что-то такое в безрукости, сказала мне как-то Алона — она никогда не видела моего отца, но я не раз замечал, как она рассматривает семейные фотографии, — что воспринимается тяжелее, чем отсутствие ноги или слепота глаза, потому что не знаешь, что печальней: отсутствие этой руки или одиночество ее подруги. «Это как ампутированная грудь», — заключила она.

Так или так, но Мордехай Йофе поселился в пристройке во дворе одной деревенской семьи, и все начали высказывать на его счет всевозможные догадки и рассказывать о нем всевозможные истории.

Выдвигались самые разные предположения касательно тех обстоятельств, при которых он потерял руку, тех мест, где он родился, богатства или бедности его родителей, но главное — относительно женщин, что были у него в прошлом.

Оно и не удивительно. У отца была такая особенность, что любая одежда казалась будто специально для него сшитой, и шаг у него был легкий и спокойный — шаг человека, который, несмотря на всё, простил своему телу. Женщинам хотелось утешить его и расспросить о пережитых страданиях, дети улыбались ему, а что касается мужчин, то некоторые напрягались,

но другие ощущали радость, потому что в их глазах он был посредником, который выходил от их имени на любовные сражения. Он отличался неким особым чувством юмора, и уже тогда, добавляла Рахель, у него был странный взгляд, в котором еще сохранялась прежняя веселость, но уже «подернутая печалью предстоящей разлуки». Все полагали, что он печалится из-за потерянной руки, но на самом деле он вспоминал не свою руку, а любовь, которая была у него когда-то и ушла. То была замужняя молодая женщина, оставившая его после того, как ее муж погиб на фронте.

— Свою пристройку он убрал, как девушка, — повесил вышитые занавески, поставил цветы в вазе и разложил книги стихов.

Вскоре он узнал, что окруженный стенами двор на вершине холма называют «Двор Йофе», по его собственной фамилии. Из любопытства он поднялся туда, нашел ворота закрытыми, постучал и не получил ответа, обошел кругом и увидел высокую и угловатую девушку в огромной соломенной шляпе, которая трудилась в огороде.

— Ты из семьи Йофе? — спросил он.

— А кто это спрашивает?

— Я тоже Йофе. Может, мы родственники?

Хана выпрямилась, сняла соломенную шляпу, оперлась на ручку тяпки со щегольством, неожиданность которого гость даже не мог себе представить, и спросила наглеца, что такое «квас» и что такое «холокалэ».

Мордехай ответил, что первое напоминает ему что-то из Шолом-Алейхема, а второе что-то из «Одиссеи», и Хана, которая не читала ни одной книги, кроме «Всегда здоров» доктора Джексона, вернула шляпу на ее прежнее место и постановила, что, судя по его ответам, он им не родственник.

Мордехай сказал: «Нет, так нет», — и начал полоть с ней между грядок. Только тут она заметила, что у него не хватает одной руки, и смутилась.

Так же ли и ей не хватает его сегодня, как мне? Не знаю. Никогда не спрашивал ее об этом. Но я — уже пятидесяти пяти лет от роду и потерявший отца больше тридцати лет назад, — тоскую по нему по-прежнему, и моя любовь к нему только возрастает. Больше, чем любого другого из знакомых мне людей, его было радостно, даже легко любить. На него приятно было смотреть, к нему приятно было прикасаться, его приятно было слушать, и даже сегодня, когда он мертв, его всё еще приятно вспоминать и о нем легко тосковать. Он умел рассказывать истории, он знал, когда меня обнять, а когда оставить в покое, и, хотя он не был красив, женщины любили его совсем как я: с благодарностью, с радостью, с волнением и с легким предчувствием каждодневной неожиданности.

От него всегда исходил, стелясь перед ним, добрый запах цитрусовой корки. В детстве это меня не удивляло. Как от дедушки исходил запах поля — можно было спрятать лицо на его груди и сказать, какое время года, — а от Жениха запах металла, и карбида, и машин-

ного масла, а от Рахели запах пуха и акций, так было естественно, что от консультанта по выращиванию цитрусовых должно пахнуть лимоном и апельсином. И лишь годы спустя мне открылась правда: отец любил давить и мять в пальцах цитрусовые корки и даже тереть ими лицо и волосы, чтобы их аромат перекрыл те запахи любви, что оседали на нем во время его визитов к «цацкам». Я понял, улыбнулся, и, поскольку нас с ним донимала одна и та же женщина — которую судьба назначила мне в матери, а ему в жены, — и я тоже изменял ей, и тоже научился заметать свои следы, — я его простил.

Вначале я думал, что эти женщины жалели его. Может быть, из-за матери — потому что вся деревня знала, что она спит в отдельной комнате, со всех сторон окруженная своими лечебными растениями, которые всю ночь разлагаются, испуская в воздух «пахучие молекулы».

— Совсем как ты, Хана, — сказал отец, услышав это ее выражение.

— Если ты хочешь сказать, что я тоже выделяю газы, — помрачнела она, — так знай: у меня это разложение клетчатки.

А может быть, они жалели его из-за отсутствующей руки. Ведь и я жалел его иногда, когда он сражался со шнурками ботинок, или с буханкой хлеба, или с пуговицами рубашки и ширинки.

— А вот ты при случае сам попробуй так, Михаэль, — улыбнулся он мне, поймав мой взгляд. — Попробуй, к примеру, надеть брюки одной рукой.

Я пробовал. Не раз и не два и однажды даже попросил маму — не забуду, с каким кислым лицом она согласилась, — привязать мне левую руку к телу. Несмотря на возражения учителя и насмешки товарищей по классу, я ходил так целых пять дней. Но мне действительно не удавалось одной рукой надеть брюки, а поскольку мама отказывалась помочь и даже кричала: «Прекрати свои дурацкие игры!» — он сам помогал мне в этом.

Мы становились друг против друга — моя привязанная левая против его уцелевшей правой, его отсутствующая левая — против моей свободной правой, и я по сей день, стоит Жениху сказать свое: «И была тогда взаимопомощь», вспоминаю эту картину: отец и я, безрукий мужчина и однорукий мальчик, усмеваются, советуют друг другу: «Ты поддержи здесь, а я потяну там» — «А теперь ты тяни отсюда, а я застегну здесь» — «Нет, нет, схвати зубами и работай свободной рукой», а потом с громким смехом и, наконец, без слов, только взглядами да согласованностью движений, которая мне — из-за моей фонтанеллы, — давалась легче, чем ему. Мне казалось, что наши глаза — зеркала, наши руки — отражения и больше ничего не нужно для любви. Ни между отцом и сыном, ни между двоюродными братьями, ни между мужчиной и женщиной, ни тем более между сыном и матерью, той, что спасла его из огня.

Уже тогда я смутно знал, как коротка и печальна дорога от жалости до любви. Но через много лет, на его похоронах, я смотрел на его «цацок» точно так же, как они смотрели друг на друга: не узким, оценивающим

взглядом солдат, и не жадным, изучающим взглядом Пугала с нашего огорода, и не пристальным, немигающим взглядом снайперов и ревнивых мужей, а с дружественным любопытством, с приподнятыми веками, с братским чувством, со взаимным признанием. И я понял, что и этот вопрос, как многие другие, многозначней моих ожиданий и сложнее моего понимания.

Они были совсем разные, эти женщины, — по своему росту, по цвету, по движениям, по силе, — но было между ними некое сходство, как будто они принадлежали к одному и тому же племени, совсем так же, как многие из кибуцников, по словам Айелет, и многие из молодых поселенцев выглядят так, будто родились от одной матери.

Что же касается моих родителей, то я никогда не мог понять историю их любви. Но, будучи ее плодом, много размышлял над ней, обдумывал, проверял в уме варианты и толкования. Ту простую истину, что Мордехай Йофе приехал в нашу деревню и влюбился в Хану Йофе, я не соглашался признать. Но я не мог не замечать его ухаживаний за нею, как явных, так и скрытых, его даров, подносимых открыто и тайно, его забавных — и не столь забавных — попыток, а самое худшее — просьб.

Тетя Рахель, самая умная и самая неопытная во всей семье, сказала мне:

— Дело обстоит так, Михаэль, — пара, в которой один все время просит, а один все время выполняет, это очень хорошо. Пара, в которой один все время про-

сит, а один все время отказывает, это тоже хорошо. Но пара, в которой один просит, а другой взвешивает, выполнить ли, — это плохо. Даже очень плохо.

— Это тоже под твоим девизом: «Так это у нас в семье»?

— Нет, — сказала Рахель, — это подзаглавием: «Наш Кабачок умнее, чем любой мужичок».

Я видел, как он стучится — я осмеливаюсь назвать сейчас то, чего не понимал тогда, — в стены тюрьмы ее души. Видел, как он пытается пробиться через двойные ворота ее правил супружеской жизни: раз в месяц, как только стемнеет, и только на пустой живот.

— Я не удержался и немного поел, так, может, не на мой, а на твой пустой живот? — спрашивал он сквозь скрип кровати и тонкую деревянную дверь. И в ответ ее громовое молчание — ибо «нельзя смеяться над любовным актом».

Сейчас я думаю: что бы случилось, засмейся она хоть раз? Что бы случилось, откажись она от этого отвратительного выражения «любовный акт»? Но нет — моя мать сторонится любого удовольствия: удовольствия от еды, удовольствия от любви, удовольствия от красоты, удовольствия от ласки, удовольствия от ошибки, смеха, неожиданности. Только два вида удовольствия есть у нее, и оба похожи друг на друга. Одно — удовольствие всех «вегетарианцев-из-соображений-здоровья»: доказанная опытом уверенность в том, что правда на их стороне, и второе — общее йофианское удовольствие: «вы еще все

увидите», и не важно что. А поскольку слово «мясо» она обобщала по всем возможным направлениям, то плоть моего отца тоже перестала соответствовать ее вегетарианской пищеварительной системе, или, на его языке: «Она отказалась смешивать мои белки со своими углеводами».

Мы оба рассмеялись. Мне было тогда лет четырнадцать, и отец, который, несмотря на все свои любовные истории и опыт, сохранял в глубине души также древние слои детской наивности, то и дело вел со мной «беседы». В них был неизбежный костяк жизненных правил, но также странное собрание предписаний, источники и причины которых не ясны мне до сегодняшнего дня. Он рекомендовал мне, например, остерегаться женщин, которые говорят: «Я бы положила тебя между двумя кусками хлеба и съела, как бутерброд», «Я бы съела тебя прямо руками» или «Я бы тебя проглотила» — с солью, без соли, все равно, и тому подобные фразы, в которых любовь сопрягается с кулинарией. И хотя за все мои долгие годы у меня были всего три женщины, ни одна из которых не говорила таких слов, и хотя мое время и мой рассказ всё сокращаются и я уже не познаю новую женщину — я не забыл его слов. Я все еще в состоянии готовности, с рукой на курбаче, «на случай всякого случая, не приведи Господь».

И еще я неотступно думал: что он нашел в ней, в моей матери? Ведь в отличие от меня, который был мальчиком, когда другая мать вдруг явилась мне из



огня, взяла меня на руки, подарила мне жизнь, если хотите — родила меня заново, он ведь был уже взрослым парнем и уже любил и был любимым — и тем не менее выбрал ее.

— Давалка у нее, наверно, была замечательная, — говорит из-за моей спины Айелет. — Иначе даже я не понимаю.

— Если тебе не трудно, Айелет, пользуйся этим словом, когда говоришь со своими пьяницами в пабе, а не со мной!

А Рахель говорит, что в этой костлявой башне по имени Хана Йофе жила принцесса, этакая толстененькая веселая пленница, — она выглянула на миг из зарешеченного окна своих ребер, и мой отец заметил ее, к ней устремился и ее возжелал.

<Не забыть его выражение: «Вот хорошее, вот плохое» — похожее на все наши «сколько и почему». Я помню, однажды ночью, крик: «Вот он я, Хана, посмотри, вот хорошее, вот плохое. Сделай свой расчет. Если хочешь, чтоб я остался, я останусь. Если хочешь, чтобы ушел, я уйду. И не беспокойся, мальчика я заберу».>

— Такие у меня сестры, — сказала Рахель, — одна заключена в своем доме, одна — в изгнании, а одна — внутри самой себя.

— А ты? — спросил я.

— Единственная нормальная в семье.

— Ты ошибаешься, — сказала я. — Единственная нормальная в семье — это я.

Печаль, обида и тоска не рассеялись, но немного осели. И время, как истинный Йофе во время беды, тоже пришло на помощь: удлинило дни, укоротило ночи, так это у нас в семье. Но не только время — судьба тоже явилась и, как это с ней не раз бывает, — в образе смертного существа, человека завистливого и враждебного, и не кого-нибудь там смертного вообще, а как раз ворюги и конокрада Шимшона Шустера из ненавистного семейства Шустеров.

Он подошел к воротам двора, и встал перед ними, и начал стучать, и стучал, и стучал, пока Апупа не вышел на веранду и не крикнул: «Кто там?»

— Это я, Симсон Сустер! Открой!

— Чего ты хочешь, ворюга? — крикнул Апупа.

— Я хосу тебе сто-то рассказать.

— Рассказывай. Я слушаю.

— Луссе я расскажу тебе во дворе, стобы не весь мир слысал.

Апупа потянул за веревку, что поднимала тяжелый крюк, и крикнул:

— Входи!

Шустер толкнул потрясенные ворота, пересек двор, удивленный прикосновением его ног, постучал в изумленную дверь, не верящую своему единственному глазу, открыл, храбро крикнул «Салом!» и вошел.

— Раньсе, сем ты поднимес руку, Йофе, — его голос прыгал, как камень, по застывшей глади тишины, —

раньше, сем ты дас мне по морде, выслурай меня, выслурай и поставь свои куриные мозги в положение понимания.

И после короткой паузы и глубокого вдоха сообщил:

— Твоя дось Пнина забеременела от моего сына Одеда, так стобы было в добрый сас и давай скорей сыграем свадьбу!

И то долгое мгновенье, пока мозги Апуны еще приходили в «положении понимания», он использовал, чтобы добавить, что они, семейство Шустеров, думают, что пришло уже время им помириться, и, хотя они ничего никогда не крали, они готовы заплатить за всё.

— Мы уплатим за двух твоих зеребсов, и свадьбу тоже сделаем за нас ссёт, — объявил он, — и поконсим с насей ссорой, сделаем мир, в консе консов.

Одед Шустер был тот младенец, которого несла на руках его мать в тот день, когда Шустеры по следам Апуны пришли к холму. С тех пор он вырос и прославился в деревне и по всей Долине как «Шустер-красавчик», и ирония судьбы состояла в том, что с Пниной они впервые встретились в суде мандатных властей в Хайфе — том самом, где рассматривался иск Апуны по поводу кражи тех самых двух жеребцов.

Встречная жалоба Шустеров, будто Апуна посылал им угрожающие письма, уже была отклонена, потому что судья допросил обе стороны и постановил, что «господин Йофе, несомненно, способен угрожать, но сомнительно, умеет ли он писать». Однако рас-

смотрение исходного йофианского иска по поводу кражи все еще продолжалось. Обе семьи аккуратно являлись на суд в как можно более полном составе, и у обеих было множество родичей, посылавших им подкрепление: мужчин с мотыжными палками, женщин с их ногтями, подростков с камнями в карманах. И поскольку все зорко следили друг за другом и непрерывно высчитывали углы и расстояния, начался также обмен взглядами, которые, как это часто бывает со взглядами, сделались продолжительными, что привело к нескольким стычкам, но также и к улыбкам.

У Шустера был красивый сын. У Йофе была дочь, чья красота уже расцвела. А в деревне, в отличие от города, есть уютные места, гумна, сеновалы, сады и хлебные поля, а также подглядывающие глаза и сплетничающие рты. Кому это знать, как не мне! Ведь эти же глаза подсматривали за нами, и эти же рты говорили о нас. Но что касается Одеда Шустера и Пнины Йофе, то ничего между ними так бы и не произошло, когда бы они случайно не встретились в Тель-Авиве. Чувство близости, обычное у людей из деревни, случайно встретившихся в большом городе, привело их на прогулку по берегу моря, сблизило их руки, потянуло к воспоминаниям и картинам, а там и друг к другу, и даже одногоединственного раза, когда Пнина уединилась с сыном Шустера, оказалось достаточно, чтобы удовлетворить ее любопытство, достаточно, чтобы сделать ее беременной, и достаточно, чтобы об этом стало известно.

Апуа удивил всех. Он не сдвинулся с места — только такая огромная, как у него, сила могла сдержать такое, как у него, могучее тело — и сказал Шустеру, что такие дела не решают «у двери и стоя».

— Ты пойдешь домой, а я приду к тебе через несколько дней с решением, — сказал он.

Но ему не понадобилось и нескольких минут, чтобы гнев залил его мозг, и даже он понял, что никакое решение из него уже не вырастет. Он вышел на деревянную веранду, пожевал свою белую бороду, сел на верхнюю ступеньку, обул башмаки, открыл передние ворота «Двора Йофе» и — «Даешь, на битву!» Но пока он спускался со своего холма, слух уже опередил его. Глаза уже поджидали, языки облизывали сухие губы, сердца бились в ожидании. Апуа не удостоил этих людишек даже взглядом. Одной рукой он вырвал калитку Шустера, одной ногой растоптал деревянные ступеньки, одним ударом распахнул дверь дома — и только тогда обнаружил, что первый раз в жизни забыл дома свой курбач — бедный курбач, который все эти годы жил одним лишь хлестанием колючек и деревьев и ждал именно такого случая, а когда случай пришел — был забыт.

Шуламит Шустер закричала: «Только не по мозгам... Только не по мозгам...» — но Апуа уже набросился и бил. Сначала двумя своими симметричными руками, а потом, когда жертвы попадали на пол, начал действовать и ногами. Семь человек понадобилось, чтобы оттащить его от врагов, которые,

к его большому сожалению и к их счастью, не скончались, а всего лишь потеряли сознание. Но и тогда он не успокоился, потому что не только из-за беременности дочери он рассвирепел, но также из-за того, что кто-то посмел пойти поперек его решения.

— Ты мне не нарушишь мое слово! — ревел он, вернувшись домой, и слюна летела у него изо рта от гнева, и голуби взлетали над коровником от его крика, и уши всей деревни поворачивались в его сторону, чтобы уловить и запомнить его слова. — Ты будешь делать то, что твой отец велит тебе делать!

И поскольку, будучи мужчиной из мужчин, он не поднимал руку на женщин, то он и ее заключил в пристройку, крикнул из-за деревянной стены: «Проститутка!» — и добавил две свои обычные угрозы: изгнание из дома и отрезание волос.

Но в отличие от Батии, которая сама отрезала себе волосы и сама изгнала себя, Пнина боялась отца. Даже сегодня, говорит Рахель, даже сегодня, когда она закрыта в своем доме, а он лежит и дрожит в своем инкубаторе, — «Как это “в своем”?!» — вдруг крикнула она на себя, рассердившись, что у нее изо рта вырвалось слово «свой», — «В инкубаторе ее сына он лежит, в инкубаторе, который построил ее муж для своего мальчика, а он забрал его у нее!» — даже сегодня она боится отца.

— Я вся трясусь, Михаэль, я до сегодняшнего дня вся трясусь от того, что произошло.

Апупа вызвал в деревню Гирша и Сару Ландау, рассказал им, что случилось, и потребовал совместно принять решение. Амума сказала: «Мне уже все равно», — и уселась возле стены пристройки, прижав к себе Рахель, которая запомнила всё это, хотя и была тогда совсем молоденькой. Пнина сидела за стеной, Арон выбрался в тот день с «посещениями на дому», и как можно более далекими, а моя мать продолжала ухаживать за своим огородом, потому что Хана Йофе никому и ничему не позволяла отвлечь ее от работы и от ее ежедневного распорядка.

Сара Ландау, деловая и решительная, как всегда, спросила: «На каком она месяце, наша Пнинеле?» — и когда ей сказали, что на втором, сказала: «У нас в Тель-Авиве есть доктор, который сделает ей аборт».

Но Апупа крикнул:

— Не будет аборта!

Гирш Ландау вскипел и вытянулся во весь свой малый рост.

— Так пусть тогда наш уговор идет ко всем чертям! Мой сын не обязан растить чужого байстрюка.

И тогда дедушка встал и произнес самую ужасную свою фразу — что у него есть «Ришение»:

— Никакого байстрюка, Гирш, твоему сыну не придется растить. Этого байстрюка я хочу взять себе. Я знаю, что это мужчина! У меня есть признаки! Пнина его родит, а я возьму его себе.

Он побежал в пристройку, намереваясь вытащить дочь наружу, чтобы она тоже слышала его «Ришение».

Но Амума поднялась и встала перед дверью, широко раскинув руки:

— Ты не войдешь! Ты ее не тронешь!

На мгновенье все испугались, что Апупа поднимет руку на жену или по меньшей мере грубо оттолкнет ее с дороги, но нет — он остановился, постоял, а потом подошел к закрытому окну пристройки и крикнул так, что его слышали в Хайфе:

— Ты мне родишь этого ребенка, слышишь?! Ты мне родишь его и ты мне отдашь его, а потом ты выйдешь замуж так, как я постановил, — за Арона!

Апупа был тогда в зените своих сил. Долина, так декламировала Рахель, стелилась к его ногам. Облака сползали с гор, истекая дождями, чтобы напоить водою его поля. Коровы его послушно доились во имя его, и щедрой к нему была земля.

— Ты снова рассказываешь стихами, — засмеялся я.

— Не всегда, — сказала она. — Только когда надо немного смягчить жизнь, — и через несколько секунд прошептала: — И воспоминания.

Как будто себе шепнула.

Покорные деревья умножали для него плоды на своих ветвях. Благодарные коровы рожали для него телят, испуганная дочь пекла для него в своей матке сына. С ним нельзя было спорить, ему нельзя было перечить, и Жених тоже знал это и не сказал ни слова.

— Низкорослые, черные, уродливые и хромые мужчины, сподобившиеся такой красивой женщины, не



имеют права предъявлять претензии, — объяснила Рахель.

И Арон проглотил унижение, обуздал свою ревность, и ждал. Сосредоточился, как острое бритвы, на своей цели: изобретать, зарабатывать, заслужить Пнину. Он радовался, что его уговор сохранился, и утешал душу «ситроеном траксьон-авантом», который именно в те дни купил у своего приятеля Джорджа Стефенсона, английского инженера.

За несколько месяцев до того закончилась Вторая мировая война, и Джордж Стефенсон, в своей шотландской юбке и в своем французском автомобиле, приехал попрощаться с Ароном и рассказал ему, что теперь должен вернуться в Англию, потому что вызван командовать тренировочной базой королевских инженерных войск. Арон спросил, что он собирается делать с «ситроеном», и Стефенсон сказал, что хочет продать его как можно дороже. Но, увидев гримасу боли на лице собеседника, сказал, что, если Арон хочет, он продаст ему машину дешевле ее стоимости. У него есть лишь одно условие — чтобы деньги были выплачены не ему и не в один раз, а помесечно, одной женщине из Нагарии, «у которой как раз родился ребенок», — откашлялся он, и теперь она наотрез отказывается его видеть или получать от него помощь.

Что же касается Одеда Шустера, или «Шустера-красавчика», этого сына ворюги и отца «байстрюка», то он сбежал в какой-то кибуц и по прошествии времени стал там, как говорит Жених, «большим махером».

Прозвище «Красавчик» прилипло к нему и в новом месте, но имя «Шустер» он сменил на ивритское, в котором, по его шустеровской глупости, тоже оказалась буква «ш». Мы нередко встречаем это его новое имя в газете, а иногда бывает, что мы с Рахелью лежим в ее кровати и видим, как он вдруг мелькает в какой-нибудь утренней телевизионной программе: красивый статный старик, с загорелым лицом, с густыми серебрящимися волосами, с голубыми глазами и со всё теми же глупыми гладкими речами.

— Он и вправду дурак, — говорит Рахель, — но в качестве компенсации он еще и идиот.

А еще у этого Шустера есть особенность, которой я не видел ни у кого другого, — он носит сразу два обручальных кольца, по одному на каждой руке.

— Наверно, это его жена так требует, — предполагает Рахель, — чтобы, если он одну руку спрячет в карман, другая всё равно бы его выдавала.

Но лично я думаю, что одно кольцо он надел в память о Пнине. Время от времени этот Шустер начинает говорить о «согласениях Осло» и о «нынешних проблемах Израиля», — и тогда мы с Рахелью переглядываемся из наших пухово-фланелевых гробов. И даже Апупа, так рассказывал мне Габриэль, однажды перевернулся в своем инкубаторе и спросил:

— Кто это там в телевизоре? Это не сын Шустера?

И когда ему сказали: «Да», — он воздел к небу две свои могучие симметричные руки и прорычал: «Можешь понюхать у нас в жопе, уж мы-то точно

## МЕИР ШАЛЕВ. ФОНТАНЕЛЛА

знаем, какое ты говно». А потом крикнул: «Эй ты, салом-ахсавник!\* Мы еще помним, как твой отец плеснул керосин в мороженое того несчастного араба из болота!»

А Габриэль ничего не спрашивает, и ничего не говорит, и даже не поворачивает голову в сторону своего родителя.

\* Салом-ахсавник — по-шустеровски искаженное «шалом-ахшавник», как презрительно именуют порой в Израиле членов движения «Шалом-ахшав» («Мир сейчас»), выступающего за скорейший мир с палестинцами.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### МЕСТО

Когда-то было наше место холмом — плоским и голым. Пришел издалека мужчина, спустил с плеч женщину. Поставили вдвоем палатку и курятник, привели коров, и лошадь, и мула, обозначили границы, вырыли дренажные канавы и выжгли болотный кустарник. Потом стало это место деревней, затем — поселком, а поскольку в маленькой стране, как в теле маленького животного, сердце бьется чаще и время бежит по жилам быстрее, то не прошло и трех поколений, как тут вырос небольшой городок, с приятными новыми домами, и аккуратными улицами, и мощеными тротуарами, и его школа уже дважды выиграла, если это кого-нибудь интересует, кубок страны по баскетболу среди юношей, а в то время, когда Айелет Йофе была в роли капитана, а габриэлевский «Священный отряд» — на ролях прыгавших и оравших болельщиц, — также по волейболу среди девушек.

Наш муниципалитет окончил год с минимальным дефицитом, поднял среднюю оценку на выпускных экзаменах по обществоведению и английскому языку и убрал собачьи катышки с городских тротуаров. И в области культуры, так говорят Алона и Рахель, у нас тоже «есть замечательные планы», и всякие разные виды деятельности, и, что еще хуже, — кружки.

В нашем городке уже есть один бомж и две дорожные пробки. А в последнее время здесь появились также перекрестки с круговым движением и цветочными клумбами в центре. И, как повсюду, на въезде в наш городок тоже развернулись приветствия: «Добро пожаловать» для местных жителей и «Welcome» — для туристов. Только во всех других городах эти слова изображены банально-зеленоватыми буквами из карликовой сантолины, а у нас — анютиными глазками всех расцветок. В нашем городе не жалеют усилий: мэр обещал цветы — мэр выполняет обещание.

В нашем городе — «так же, как в Тель-Авиве», с гордостью говорят горожане, — есть всевозможные магазины, и учреждения, и ресторанные залы, и учебные заведения, и два кинотеатра, и кафетерии. И «так же, как в Тель-Авиве», в нем появились светофоры, и каждый четверг наш городской бомж ковыляет среди машин и просит милостыню у водителей. Но сквозь весь этот «шик-блеск», как говорит Рахель, еще проглядывают упрямые остатки «тех времен»: то где-нибудь выглянет вдруг мимоза, а то заголубеют там и сям длинные плети свинчат-

ки — живой забор, что когда-то был в повсеместном почете, а сегодня чуть не вовсе исчез из палисадников. «Это? Да ему двести лет, этому растению, — отказываются клиенты от моих рекомендаций. — И вдобавок оно цепляется к одежде».

А за домами еще можно кое-где увидеть заброшенные земельные участки и запущенные хозяйства, оставшиеся без призора из-за обилия наследников. И мне, которому достаточно одного окаменевшего позвонка или коренного зуба, чтобы восстановить любую вымершую живность-воспоминание, мне хватает какого-нибудь старого ящика от комбикорма, ржавого жала от бороны, тропинки без конца и начала или просто приятного, сухого запаха земли в конце лета, чтобы выстроить себе вокруг них целую картину.

Алона возмущается: «Когда уже здесь наведут порядок, в конце концов? И когда, наконец, весь этот хлам вывезут на свалку?» Она поговорит с мэром, она напишет в местную газету, она обратится в центральную прессу, и вообще она «уверена, что этот обкуренный попрошайка приезжает к нам на такси». Но что до меня, то мне нравятся эти развалившиеся коровники, и покосившиеся курятники, и готовые вот-вот рухнуть дощатые мастерские, и пыльные, извилистые — точно синеватые вены на ее красивой ноге, — окраинные улицы, еще не покрытые городским асфальтом. При этом, напомним, городок наш молод и красив, он весь нарумянен, напомажен, и его накрашенные глаза так и сверкают, — но подо всем этим проглядывают неистребимые признаки старею-

щей деревни: ручей и поле, барак и засохшая пальма. И этим он тоже напоминает мне мою Алону: едва заметные предвестья старости на шелковистой красоте тела — утренняя вяловатость мышц, постанывание бедра, покорная вмятина плоти. Лицо нашего городка раскрашено румянами тротуаров и сурьмой парпетов, выбелено привезенным издалека камнем. Садовники украшают его клумбами, продавцы — витринами.

Иногда, выкурив у Адики свой единственный за день «Ноблесс», я иду немного прогуляться, и тогда под моими ногами вскрикивают воспоминания: мягкий удар сетчатой двери, маленькое облако пыли и ржавчины. Растрепанные, лохматые ковры мальвы и крапивы («Надо сообщить мэру, что его балда-садовник только знает, что брызгать пестицидами», — ворчит Алона). Вот дряхлый дом-упрямец — два высоких жилых дома, как два полицейских, по обе стороны от него, а он ухватился за рога своего двора: «Нет! Только здесь я умру!» А вот старик, ковыляя на двух кривых ногах, зимой и летом втиснутых в стоптанные резиновые сапоги, запрягает своего осла («Ты только посмотри, как эти два чучела тащатся по мостовой») в маленькую повозку (ось старого «виллиса», доски от упаковочного ящика, рама, сваренная из железных уголков) и выезжает на улицу — перевезти несколько коробок яиц и вызвать отчаянные гудки и ругань со всех сторон, совсем как моя мать, когда она идет с тачкой на другую сторону города привезти птичий помет для своего огорода.

И старая гревиллея тоже здесь, и жалкие цитрусовые деревья, а ко всему этому еще вознесется вдруг заглянцем фикусов и голубизной жакаранды, по ту сторону нарядного, щедрого пламени коралловых деревьев и пуансиан, какая-нибудь запыленная казуарина, роняя на землю свои иголки, или поднимется, печально покачивая головой, одинокая вашингтонская пальма.

Будь я экскурсоводом, из тех, что иногда стучатся в ворота «Двора Йофе», я бы поднес ко рту маленький громкоговоритель и сказал своей группе: «Остановись, путник, возле этой одинокой вашингтонии, остановись и послушай ее шелест!» Ведь люди никогда не сажают одну вашингтонию. Их всегда сажают группами: шеренгой или двойной аллеей, ведущей к зданию или памятнику, а чаще парой, как две колонны у входа, как бы говоря: «Здесь царит добрый союз!» Так что не смотри на ее вид и на высоту — одинокая вашингтония говорит, что кто-то здесь умер, бежал, был изгнан, был сражен. Или топор был занесен над ее подругами, а то и над ее единственной напарницей. И почему? Да просто потому, что ее вершина затеняла тот солнечный бойлер, который какой-то болван установил на своей новой крыше. Потому что вздохи сипухи, обитавшей в ее кроне, пугали его жену по ночам. Потому что дождь маленьких черных фиников, падавших к подножью ее ствола — в «те времена» мы называли их «куриными кашками», — своим запахом привлекал мух.

Но в «те времена» и куда меньшего, чем всё это, было достаточно, чтобы заставить дядю Арона тяже-



ло вздохнуть, удвоить свои усилия и утроить производительность своего рытья. «Ибо очень скоро, — как он говорил, — очень скоро здесь произойдет страшное несчастье».

\* \* \*

— У нее была ужасная беременность, — сказала Рахель.

Я глянул на нее, глянул на себя и прыснул со смеху. Старые пижамы, которые мы с ней носим, уже не раздобыть сегодня ни в одном магазине. Жених добывает их у старьевщиков, адреса которых известны только ему одному. Он навещает их на своих старых машинах и заодно привозит оттуда старые керосиновые лампы и примусы, древние разбрызгиватели для аэрозолей, ручные кофемолки и мясорубки. И в ожидании, пока закипит чайник, возвращает всем им молодость и дарит Айебет и Алоне. Моя дочь украшает ими свой паб, а ее мать раздает своим «пашминам» на их дни рождения, которые празднуются, как правило, при большом стечении народа и сопровождаются публичным чтением топорно зарифмованных поздравлений, почти всегда посвященных интимной жизни виновницы торжества, а точнее — импотенции ее супруга.

Фланелевые пижамы, которые носим мы с Рахелью, составляют деталь воспроизводимого нами прошлого, или, если угодно, — своего рода рабочий наряд. Но с Алоной я сплю голый, хотя из-за этого я открыт ее

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. МЕСТО

нападениям, цель которых — систематическое выдирание седых волос, которые «в последнее время начали у тебя расти в разных местах».

— Ну, хватит уже! — то ли смеюсь, то ли кричу я. — Какая тебе разница, есть ли у меня седой волосок на груди?

— Это ужасно, — говорит она. — Это еще хуже, чем седые волосы на голове.

— Кто это видит?

— Это уже я должна тебя спрашивать! — И она набрасывается на меня с энергией, которая годы назад предназначалась для любви, а теперь расшвыривает в воздухе одни только крики и пух.

Но Рахель — не жена мне и не любимая, она просто старая вдова, моя тетя, у которой убит муж и которая не может спать одна, а я в мои пятьдесят пять — все еще тот же посланный к ней когда-то молодой, взволнованный и смущенный племянник, и она улыбается, когда я ложусь в ее постель после душа, и величает меня то «римлянином во фланелевой тоге», то «витазем во фланелевой шкуре», а я с любовью принимаю свою роль — быть для нее телом, за которое она могла бы держаться, принести ей на его крыльях блаженство сна, стать ей якорем, чтобы она снова не пустилась в свои ночные плаванья по просторам деревни. Ибо так это у нас в семье. Помогают. И в большом тоже. Не только когда кончился сахар на кухне.

— Ужасная беременность! — повторила Рахель и вздохнула, и слова выплыли у нее изо рта, без стра-

ха и стыда, огибая айсберги тайн, взбираясь на свод живота, раскачиваясь в плаче и тошноте, слова, которые были бы и у меня, если бы создатель наградил меня той смелостью и честностью, которые есть у нее.

Пнина колотила свой живот кулаками, подымала тяжелые грузы, прыгала с крыши коровника на твердую землю, спринцевала матку растворами, о которых сегодня никто не имеет представления, а в те дни женщины рекомендовали друг другу так, чтобы ни один мужчина не услышал.

Две половинки братьев Апуны послали ему отряд своих потомков, которые не отходили от нее. Три раза они возвращали ее из Хайфы, где она ходила по улице Герцля и ошарашивала встречных женщин вопросом: «Где мне найти врача, который делает аборт?» Не столько сам вопрос поражал их, сколько противоречие между его содержанием и холодной, отрешенной красотой Пнины.

— Это ты-то беременна? — сказала ей одна женщина, тропические подмышки которой распространяли запах пота. — Как на мой взгляд, так ты из тех, что даже в сортир не ходят.

Бледная, отрешенная и тем не менее беременная, Пнина пошла к женщинам соседнего религиозного поселка, чтобы те научили ее какой-нибудь молитве. Но религиозные женщины сказали ей, что все молитвы пишут мужчины, поэтому молитв против беременности нет, все они только за.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. МЕСТО

— Сделай, как мы! — бежали они за ней, когда половинки Апупиных племянников пришли за Пниной и туда. — Сочини себе собственные молитвы, сама!

Иногда Амума видела, как ее старшая дочь сидит молча, не двигаясь, не моргая, не дыша, пока ее пальцы, точно когти хищной птицы, сами собой взлетают над ее животом и вдруг впиваются в него.

— Что ты делаешь?! — кричала она, злясь на собственную беспомощность.

— Я ненавижу их, — сказала Пнина. — Моего ребенка и моего отца, обоих их я ненавижу.

— А Арона? — спросила Амума.

— Арона я люблю.

— Но верность ему ты не соблюла, — сказала Амума.

Пнина молчала.

— А почему не соблюла, один Бог знает, — сказала Амума.

— Один Бог? Я тоже знаю... — И вдруг слова вырвались из нее, теснясь и толкаясь, как овцы: — Потому что я хотела хоть раз в жизни побыть с красивым мужчиной. — И она вдруг начала плакать. — Только один раз. Мне показалось, что мое сердце поднимается к нему вместе с телом, и мы были в Тель-Авиве, в комнате, которая смотрела на море, и пили «Пиммс»\*, как

\* «Пиммс» — популярный в Англии алкогольный напиток на основе джина (или виски, бренди, водки и т.п.) с ароматом ликера и фруктов; входит в состав слабоалкогольного коктейля, который пьют в основном женщины. Носит имя своего создателя Джеймса Пимма.

пара англичан, и я знала: только один раз, голубые глаза и белые простыни, а потом я выхожу замуж за Арона, и я люблю, и я верна, и я всю жизнь...

Ее плач был слабым и тонким. Не тем, что сотрясает тело. Не тем, что слышен вне комнаты. И Амума молчала.

— Ты молчишь, мама? — всхлипнула Пнина. — Только с тобой я могу говорить, и тебе нечего сказать?

— Мне? — сказала Амума. — Что я могу тебе сказать? Что я понимаю? Я никогда не была в гостинице, и я даже не знаю, что такое «Пиммс». — И после молчания, короткого для нее и долгого для ее дочери: — Но я всю жизнь сплю с красивым мужчиной, и дело в том, Пнинеле, что привыкают и к этому. Это не такая уж невидаль. Уж конечно, не такая невидаль, как «Пиммс».

И еще через несколько минут она сказала:

— Но не после того, что он сделал с тобой и с Батией, с тех пор нет — и никогда больше.

И все это время пальцы Пнины, скрюченные и когтистые, пытались прорваться сквозь заслоны кожи и мышц, пленок и слизи, чтобы вырвать из себя зародыш и вышвырнуть его вон — но тот держался за стенку ее матки с упрямством и уверенностью куста каперсов.

— Только не сердись на меня и ты, мама, — сказала наконец она. — Хватит с меня молчания Арона, и криков Апуны, и пинаний его приема в моем животе.

— Он не его, — прошипела Амума змеиным шепотом. — Он твой, и твой муж примет его. Возьми их обоих и беги отсюда!

Но Пнина сидела с закрытыми глазами, считая клетки своего сына, которые ежеминутно делились и удваивались в ее теле, и чувствуя, как время умножает его кожу и жилы и вздувает завязи его органов и тканей. Не только его руки и ноги чувствовала она, их содрогания и толчки, когда она молилась о его смерти, — она видела его колючие глаза, его неясное, загадочное лицо, его улыбку — улыбку дремлющего в ее чреве дьявола.

— У отца с Ароном есть договор, мама, — сказала она. — А у меня больше нет сил.

И надо же — именно в эти страшные дни, когда Батия ушла в изгнание, а Рахель переписывала стихи и мечтала о своем Парне, а Амума с Пниной маялись, как безумные, а Габриэль постепенно рос и созревал, именно в это время моя мать Хана сподобилась некой меры душевного покоя, того приятного покоя, который даруют своим обладателям здоровье, и работа, и любовь. Ее огород цвел, и, хотя ей приходилось делиться его урожаем с вредителями, ей в избытке хватало овощей для себя. И к тому же Мордехай Йофе каждый день приходил ухаживать за ней.

Долина дивилась: почему он выбрал именно ее? Но поскольку все чужаки, что Мордехай наделен особым талантом к женщинам, то в конце концов сошлись на том, что не иначе как он нашел в ней то самое, «чего не хватает Ханеле», что укрылось от их собственных глаз. И всем не терпелось увидеть, чем это кончится. Даже Апула, который в прежних подобных случаях

немедля заперал замешанную в дело дочь в злополучном бараке, на сей раз никак не препятствовал. То ли устал от семейных скандалов, то ли посвятил весь свой невеликий ум внуку, которому предстояло родиться, то ли и сам догадывался, что из всех его четырех дочерей шансы Ханеле понравиться мужчине уже изначально ничтожны, а может быть, просто из уважения к новому ухажеру, который был «героем войны» и к тому же одноруким.

Асама Хана Йофе ответила на ухаживания Мордехая Йофе свойственным ей образом, то есть немедленной попыткой приобщить его к заповедям вегетарианства. Она читала ему лекции, похожие, я думаю, на те, которые читает сегодня тем травоедам, что приходят к ней «для оздоровления». Она распевала ему о «жизненной силе, заключенной в прорастающем семени», и разъясняла необходимость есть овощи разных цветов — красные, зеленые, оранжевые, — но не все одновременно. И конечно же, говорила о великом запрете, о первородном грехе, о первой из заповедей вегетарианства — «не смешивать белки и углеводы».

Отец слушал ее с большим терпением. В ту пору все это казалось ему забавным, а не раздражало, как в последующие недобрые годы.

— Никакой салат не вырастит мне новую руку, — мирно сказал он ей, когда она изложила ему основы правильного питания.

Уже в их первую встречу он заметил лишай, расползшийся по ее бедрам и ногам, а теперь осмелил-

ся даже сказать ей, что может его вылечить. В первое мгновение она помрачнела, потому что не знала, что ее лишай виден чужому взгляду, а в следующее выстрелила:

— Ты? Все врачи, какие только есть, уже пытались, и ни один не смог.

— Как хочешь, — сказал Мордехай. — Но ты можешь гордиться, что, как настоящая вегетарианка, заразилась растительной болезнью.

Мать не знала, то ли обидеться, то ли улыбнуться, то ли проигнорировать его слова, и в конечном счете, так и не выбрав ни одной из этих возможностей, выпрямилась и сказала, что согласна: пусть он попробует, но только немедленно, если он уж так уверен в своей удаче. «Сейчас посмотрим, как ты меня вылечишь!» И Мордехай Йофе вылечил ее. Он сделал это с улыбкой, с легкостью и таким очевидным способом, который не пришел в голову ни одному из ее врачей-натуропатов и обычных врачей: спустился в центр деревни, вернулся, неся банку и щетку, велел ей стоять неподвижно, встал на колени и побелил ей ноги сильно разведенной садовой известью. Потом тотчас облил ее водой из шланга, чтобы не было ожога, а назавтра побелил и облил снова. Ее кожа покраснела, облезла, нарастила новый слой, и через две недели коленопреклонений, побелок, поливаний и поглаживаний мамины ноги засверкали здоровой и гладкой кожей, а ее сердце наполнила любовь.



В один прекрасный день, когда автобус из Хайфы, этот наш ежедневный приятный гость — увы, обладавший ограниченным репертуаром сюрпризов, — остановился на въезде в деревню, из него вышла странная пара: пожилой мужчина и незнакомая женщина. Они обернулись и протянули руки, чтобы поддержать маленькую красивую девочку. У девочки было слишком взрослое для ее возраста лицо и слишком длинные для ее роста ноги, хотя и недостаточно длинные, чтобы самой спуститься по ступенькам автобуса.

Мужчина нес саженец кипариса и канистру воды. Женщина — мотыгу и маленький джутовый мешок. Девочка — школьный ранец на спине. Не заходя в деревню, эти трое пошли по колее, проложенной телегами, которая вела к обработанным полям вдоль Кишона, и тогда мы поняли, кто они. Все, кто жил тогда в Стране, знали, как выглядят осиротевшие родители, идущие к могиле сына. Всем была знакома их походка, наклон головы, ритм дыхания. Все вспомнили, что видели эту пару в тот день, когда устанавливали памятник упавшему летчику, сообразили, что прошел год, и догадались, что эта девочка — младшая сестра погибшего парня.

Слух о приехавших мигом разлетелся по деревне, и многие вышли посмотреть. Родители с девочкой направились к памятнику, а мы, оставшись у дороги,

ждали их возвращения. Все знали, что сейчас отец выроет там яму, мать укрепит в ней саженец кипариса, а маленькая сестричка притопчет землю своими ножками и польет саженец водой, и потом ей накажут запомнить: «Тут погиб твой брат, и это дерево мы сажаем в его память».

Привычные и навидавшиеся, люди смотрели, как они шли, всё удаляясь и уменьшаясь, пока не превратились в три темные точки, которые на долгое время слились с памятником, а потом медленно поползли в обратный путь.

Терпеливы были все стоявшие вдоль дороги, точно деревня наша была населена сплошными пророками, которые загодя знали не только всех действующих лиц, но и предстоящее развитие сюжета: вот они возвращаются, и растут, и снова становятся людьми — мужчиной, женщиной и девочкой, отцом и матерью, что потеряли сына и чей мир погас вместе с ним, и сестрой, которая вырастет и не забудет:

— Каждый год мы будем приходить сюда с тобой, а когда ты вырастешь, а нас уже не будет, ты будешь приходить сюда каждый год с твоими детьми, чтобы они знали, что когда-то, раньше, чем они родились, у них был дядя-летчик и тут он погиб.

Некоторые из деревенских вышли навстречу идущим — пригласить их зайти, отдохнуть, перекусить. Те вежливо отказались, но попросили, если кто будет проходить мимо памятника, пусть польет там, пожалуйста. «Только если не трудно, — прошептали губы

матери, — не нужно ходить специально, только если кто-нибудь случайно будет проходить».

В тот же день Элиезер созвал школьный ученический совет и велел нам назначить регулярные дежурства, чтобы позаботиться о саженце. И с тех пор каждые две недели там случайно проходили двое взволнованных дежурных, которые так же случайно несли маленький гаечный ключ — открыть и закрыть ближайший шибер, — а заодно ведро и лейку, маленький ручной культиватор для рыхления и прополки и раз в несколько недель — удобрение. Только немного, потому что корни еще молодые.

Когда приходила моя очередь, я всегда старался пойти туда вместе с Габриэлем, потому что тогда с нами шел и Апупа. Своего мизиника он сажал на плечо, снаряжение нес в руке, а иногда нес и меня, на второй руке, потому что его плечи безраздельно принадлежали Габриэлю. Мы пололи и разрыхляли, а когда закапывали удобрение, на нас всегда глядел из земли шарик из шарикоподшипника, а полосы рваного алюминия, все еще хранящие тогдашний жар, отвечали звоном зубцам культиватора и шипением — воде из лейки.

Много лет прошло с тех пор, тот кипарис уже вырос и больше не стоит в прежнем одиночестве. Мало-помалу шириясь и приближаясь, наш маленький красивый городок дополз до него, и сегодня этот кипарис стоит на краю одной из улиц одного из новых кварталов, и порой уже слышатся голоса:

— Кому нужна могила прямо возле жилых домов? Дети боятся, вороны устроили себе сборище на этом кипарисе и галдят непрерывно, и вообще это не имеет вида, не говоря уже о том, сколько стоит земля. В чем дело, у нас есть ухоженный военный участок на кладбище, ничего такого не случится, если мы возьмем отсюда немного земли, чисто символически, ведь от этого парня не осталось ни крошки, и похороним там, как положено, а заодно и памятник тоже перенесем.

Но я и сегодня, когда смотрю с вершины нашего холма на этот кипарис, вспоминаю жуткий визг падающего самолета, и тот мой бег за Аней, и ту печальную троицу — сутулящегося отца, шепчущую мать и трехлетнюю сестру. И как мне ни жаль погибшего летчика, мне приятно, что у меня есть такой кипарис — пусть он далеко, но его торчащая по-над стенами свеча кажется мне этаким фаллической кистью, которая рисует мне былые картины.

Город расплзается, растет на землях, которые захватил Апупа и продала Рахель. И то мое сгоревшее пшеничное поле тоже уже залито асфальтом и выросло из себя дома. Двое из четырех ворот нашего Двора уже заколочены навсегда. Еще одни заперты, но могут быть открыты, как велел Жених, в аварийной ситуации. Так что в обыденной жизни мы пользуемся единственными оставшимися воротами, и в тех редких случаях, когда они открываются, — их створы распахиваются тогда, как большие крылья, — в них врывается вдруг городской гул, похо-

жий на глухой монотонный рев, изредка прерываемый воем сирены или далекими криками. А когда их закрывают — большие, тяжелые крылья складываются снова, — этот рев сразу же исчезает, как тот шум в ушах, который мы сами устраивали себе в детстве, включали и выключали, то закрывая вогнутыми ладонями ушные раковины, то открывая. Но когда эти городские голоса вторгаются к нам, наши дворовые голоса, во всех других местах уже исчезнувшие из этого мира, в свою очередь вырываются в город: слышите? шумная тяга жестяной трубы над древесной печью, копыта, топчущие грязь, чирк косы, свист серпа, зов гуся, далекий рев диких ослов, постукивание садовых насосов, голос примуса, дребезжанье будильника с пружиной и молоточком.

Но хотя мы, Йофы, живем в музее вымерших звуков, мы не отрезаны от мира. Нет и нет. Моя мать слушает новости по радио, хотя я предостерегаю ее, говоря, что это вредно для здоровья. Ури возвращается из своих блужданий — поисков в Сети и прогулок по ней. Рахель привязана своей старой пуповиной к бирже и к банкам. Жених выезжает по разным делам и возвращается потрясенный увиденным. А я время о времени взбираюсь на крышу, смотрю в даль, и вот, пожалуйста, — к нам уже приближается караван «пашмин», нагруженный пряностями, бальзамом и ладаном местных новостей. Но все эти мелочи проносятся над просторами нашего Двора, точно перелетные птицы, — на нашей утопанной, твердой почве не остается никакого отпечатка или следа.

Девочка Айелет приводит к нам своих «кавалеров» — «Захотелось мне подержаться за того и не отнимать руки от этого», — говорит она, а недавно принесла мне диск с хорошей песней под названием «Nothing Compares to You»\* — видно, заметила выражение моего лица, когда это пели у нее в пабе, и всё поняла: «Ты думал о ней, когда слушал, да, отец? О той женщине, что спасла тебя из огня?»

Алона тоже поднимается со мной на крышу, посмотреть вокруг. Мы стоим там, смотрим на кипарис, раньше такой одинокий и далекий. «Ты помнишь, Юдит?» — говорю я ей, и она, с неожиданной теплой близостью, почти с любовью, поворачивает ко мне свое светлое, открытое, милое лицо, улыбается мне и берет мою руку в свою. Взять, пожать, удержать, забрать, стиснуть, захватить, завладеть; но у меня только одна рука, Хана; протянутые руки пламени.

Я встряхиваюсь, сажусь на кровати, насколько сонное объятие Рахели мне позволяет, и выглядываю в окно. Во «Дворе Йофе» ночь. Вокруг нас — маленький городок, весь в огнях, в движении, в погоне за наслаждениями жизни. Шум, блеск и всевозможные «люксы» накатывают на наш берег, происшествия — счастливые и несчастные — взрываются на наших утесах, но ничто из этого не проникает сквозь наши стены. Из дома, где жили Амума и Апупа, а сегодня живут Апупа, Гирш Ландау и Габриэль со своими друзьями,

\* Ничто с тобой не сравнится (англ.).

доносятся запахи пищи и звуки пианино. В маленьком бараке, где Арон чертил схемы своих изобретений, и где позже Апуа запирали своих дочерей, и где жила Амума перед своей смертью и Гирш Ландау после нее, дрожит слабый свет: это вход в подземелья Жениха, лаз, через который он спускается в глубины земли, в царство своих потайных ходов и убежищ. В его доме тоже виден свет, только в одном окне. Лампа для чтения? А может, это сияние Пнины, что бродит там в темноте?

В доме моих родителей полная темень. Мать, из соображений здоровья, предпочитает взойти на ложе сна как можно раньше, а отец, из тех же соображений, предпочел как можно раньше возлечь с предками [поспешил уйти]. В моем доме еще горит свет. Ури в своей комнате, читает и изучает, а иногда встает и делает ночную постирушку: «У меня чистой одежды не стало...» — объясняет он на языке Йофов, и я вспоминаю фразу, которую слышал так много раз в детстве: «Беги в коровник, Михаэль, у нас молока в холодильнике не стало». Большую кухню и гостиную заняли Алона и ее подруги. Они только что вернулись из «фитнес-клуба» и, поскольку сожгли там несколько калорий, позволяют себе несколько пирожков. Рассказывает ли она им, где я нахожусь в эту минуту?

Я вижу их через окно, слышу их смех. Похоже, что да. Рассказала.

— Почему они так раздражают тебя? — недоумевает Айелет.

— Я не выношу сплетен, и не выношу грубости, и не выношу, когда они используют наши выражения. Что, у них нет своих семей?

Айелет смеется:

— «Ты вся дрожишь», папа. Конечно, у них есть свои семьи, но не такие, как у тебя, — и она передразнивает свою мать: — «Так уж это, дорогой. Когда наши руки начинают толстеть, и мы начинаем красить волосы, и наши мужья перестают изменять нам с другими женщинами и начинают изменять нам с себе подобными, мы сбиваемся в свои женские стаи».

— Мы? — удивляюсь я, слыша, как Алона сердится на дочь. — Смейся, смейся, дорогая, мы тоже были когда-то худыми, как ты, и у нас тоже стояли груди, и у тебя тоже будут когда-нибудь крашенные рыжие волосы, а грубее ты становишься уже сейчас.

И девочка Айелет, «а мейделе Алка мит дер блейер парасалка», «в шесть лет ее не тронь, и кудри, как огонь», отвечает:

— А я тогда покрашу их в белое.

— Чего ты хочешь от моих подруг и что ты имеешь против них, я не понимаю? — сердится Алона. — У меня есть подруга-адвокат, подруга-врач, подруга в муниципалитете, подруга с кафетерием, подруга с книжным магазином — что еще нужно женщине?

— А просто подруга, Алона? — спрашиваю я. — Просто подруга, обыкновенная?

— Просто подруги у меня нет. — Она не улыбается. — Для этого у меня есть ты.



Некоторые из этих ее «пашмин», я вынужден признать, пришли «со стороны моих товарищей» — это тоже формулировка Алоны, — то есть вышли замуж за людей, которых я знал со школы или из армии, и после того, как мне удалось избавиться от ненужных с самого начала контактов с их мужьями, они сохранили свои связи с моей женой.

«Двор Йофе» вызывает у них восхищение. Четыре из них даже используют для него пугающий эпитет «волшебный». Не все проросшие здесь воспомина- ния им знакомы, но несколько наших старых исто- рий они слышали от их участников и несколькими йофианскими выражениями они уже умеют пользо- ваться: «Ты помнишь, Юдит?», «Рыба таки-да хоро- ша» — йофианская реакция на хвастовство, «Дело было так...» — в начале любого рассказа, «А ну, скажи мне...» — с разными продолжениями: «А ну, скажи мне, на сколько лет я выгляжу?» (по случаю нового цвета волос), «А ну, скажи мне, на сколько лет я вешу?» (через шесть часов после начала новой диеты), «А ну, скажи мне, сколько это стоило?» (дочь одной из них вернулась из Индии и привез- ла себе новую «пашмину») — и они не раз просят: «Расскажи мне еще раз историю про тетку твоего Михаэля, ту, что вышла замуж за нациста и убежала в Австралию... И расскажи, как дед Михаэля забрал мальчика у своей дочери... Что, это он? Вот этот ста- рик, этот карлик, который укрывается собственной бородой? Которого Габриэль и его красавчики дру-

зья выращивают в ящике? Это и есть ваш страшный дед из рассказов?»

Словно дети-переростки [словно мамины травоеды], так они не сводят глаз с Алоны: «И о своем Михаэле тоже расскажи, это правда, что, когда он был мальчиком, у него был роман с соседкой? И это правда, что ее выгнали из деревни?» Ну что вы! Роман с соседкой был у его отца! «Нет! У них обоих были романы с соседкой, так это с одной и той же или с двумя разными?.. А договор, который вы заключили с тем скрипачом и вашим дядей-инженером и его женой? Ах, он не инженер? Просто мастер на все руки? А она что? Что, она еще жива? Эта женщина-красавица из твоих рассказов?.. И как ее зовут? Пнина? Заперта? В этом доме? И что, действительно такая красивая?.. Я и правда удивлялась, кто там живет, что ставни всегда закрыты. Можно пойти посмотреть на нее? Что значит, «это стоит денег»? Почему у тебя всегда в голове деньги, Айелет? Прекрати немедленно, извини и пожалуйста!»

И старый «ситроен» Жениха тоже привлекает их внимание. Одна из них не перестает приставать, чтобы мы продали ей эту машину, за любую цену. Она хочет подарить ее своему мужу.

— На что тебе? — спрашивает Алона. — Если ты подаришь ему эту машину ко дню рождения, он еще может случаем снова влюбиться в тебя. Так ты подумай сначала хорошенько: оно тебе надо?

Каждую пятницу после полудня Жених направляется к своему старому «траксьон-аванту» и заводит его двумя-тремя оборотами ручки. Мы смеемся: «Он у тебя едет так, будто стоит», — но Арону это не мешает, он любит ездить медленно. Возле дома Шломо Шустера, брата Шустера-Красавчика, он гудит, и Шломо выходит. Несмотря на всё, что случилось в прошлом, Арон не держит на него обиду. Во-первых, брат за брата не в ответе, а во-вторых, стареют не только люди, но и их воспоминания. И в-третьих, Шломо — единственный из Шустеров, кто правильно произносит «ша» и «че», и это благодаря Саре, матери нашего Арона, которая показала ему, трехлетнему, как выдыхать эти звуки меж зубов.

Потом они вдвоем едут в Кфар-Иошуа, на встречу своего «Парламента пальмахников», а точнее — «Совета ветеранов Пальмаха».

— Машина должна время от времени подышать воздухом, — говорит Жених. — А эта машина должна к тому же сохранять вид, нельзя, чтобы у нее выцвела краска и красота.

— И поэтому ты выводил Пнину по ночам? — спрашиваю я, но Жених не отвечает. Ему нечем услышать слова, произносимые в сердце.

Там, в Кфар-Иошуа, один из ветеранов соорудил в своем дворе коптильню для рыбы и мяса, и вокруг нее начала собираться почтенная компания — муж-

чины, которые хотят на несколько часов освободиться от своей работы, от накопившегося раздражения, от своих жен и от своих болей, приходят сюда выпить-закусить и вызвать из памяти былые легенды и души погибших. «У них ничего не пропадает, — говорит Арон, — никакое старье они не выбрасывают». Вроде бы обсуждают существование государства и народа, а на самом деле — говорят о себе, о своем уголке.

Среди них есть фермеры и бизнесмены, есть отставные военные, кибуцники и мошавники, важные чины и подчиненные, а также несколько горожан. У этих, что из города, еще остались корни в Долине, и раз в неделю они возвращаются к старым друзьям и к пейзажам своего детства. Но каковы бы ни были их чины и сила, в каждом из них все еще тлеют угольки бывшего гнева тех далеких дней, когда они вернулись с полей сражений и обнаружили, что государство, которое они только что создали и защитили, уже присвоили себе другие. И кто? Те, кто всегда присваивает себе всё, кто присваивает себе всё и сегодня, — все эти «общественные деятели», и политики, и «джобники»\*, что не нюхали пороха, и пейсатые «досы»\*\* и деляги, и симулянты, которые отделались от призыва.

Как в любой мужской компании, есть там один, которого считают командиром, и в этом конкретном

\* «Джобник» (от *англ.* job — служба) — человек, который свою армейскую службу коротает в штабах и канцеляриях.

\*\* Дос — насмешливое прозвище ультрарелигиозных евреев в Израиле.

парламенте его так и называют — «Командир». Это высокий и представительный мужчина, увенчанный многочисленными титулами: земледелец в прошлом, директор завода после выхода на пенсию, советник какого-то африканского правительства в недавнем прошлом и член какого-то директората в настоящем и ко всему — командир танковой части в отставке. В разговоре он любит соединять однородные члены предложения изысканным «а также» вместо простого «и», полагая, что это делает его речь более приятной: «Мужчины, женщины, а также дети...», или «Собаки, а также кошки...», или «Следует встать, а также сказать...». А его обычай приходить в парламент всегда в одной и той же одежде: летом в белой рубашке, брюках хаки и сандалях на босу ногу, зимой в кожаном пальто и ковбойских сапогах — так впечатлил всю компанию, что теперь они все ходят в этой униформе, точно какой-нибудь армейский взвод.

Есть в этой компании свой «Заводила», и свой «Шутник», мастер на выдумки, и «Молчун», и «Сухарь», и «Киллер», и «Силач», который в молодости брал два английских ружья за концы стволов и поднимал их горизонтально — «вот так», показывает Жених с восхищением, расставляя руки с воображаемыми ружьями, — как прямое продолжение выпрямленной руки. Есть там свой «Дон-Жуан» и свой «Комик», и все знают, кто такой «Абед из Эйн-Харода» и «Миха из Нахалаля» и что Раана — это не город и не девушка, а командир Пальмаха, который первым прошел на джипе по Бирманской доро-

ге до самого осажденного Иерусалима, а потом командовал ротой под Кастелем и Катамоном\*. Шауль Бибер, ныне известный песенник и композитор, для них просто «Офер», как его прозвали тогда в Пальмахе, а над Шимоном Пересом они посмеиваются: «Иммигрант! Расхаживал в коротких штанах, ездил на велосипеде с самого юга Киннерета до Нахалалья\*\*, и ничего ему не помогло — так и остался иммигрантом».

А кроме того, есть там еще некая Ципи, или Ципа, которая обменивается воспоминаниями и взглядами с некоторыми из них, и благодаря этой Ципе наш Жених — в те редкие минуты, когда в нем просыпается

\* Бирманская дорога, Кастель и Катамон — места, связанные с героическими страницами израильской Войны за независимость (1948—1949): по Бирманской дороге, проходившей через холмы и горы (название заимствовано от дороги, построенной англичанами во время войны в Бирме), доставлялось продовольствие в осажденный арабами Иерусалим; Кастель — арабская деревня возле Иерусалима, захваченная израильскими войсками в апреле 1948 года после четырех дней кровопролитных боев; Катамон — южный район Иерусалима, освобожденный от арабов в результате ожесточенного сражения.

\*\* Нахалаль — место в Изреэльской долине, к юго-западу от Назарета, упоминается в Библии (Суд. 1, 30, в синодальном переводе — Наглол), в 1921 году здесь был основан первый в Израиле «мошав-овдим» («кооператив трудящихся»), ставший прообразом многих последующих израильских мошавов и сыгравший большую роль в истории еврейского поселенчества; отсюда вышли многие известные люди (в том числе Моше Даян), в этом мошаве происходит действие романа М. Шалева «Русский роман».

неожиданный юмор, а также надежда, что я не расскажу его друзьям, что он о них говорит, — именуует всю их компанию общим именем: «Цвикочки и Ципочки».

Тот или иной уже опирается на палку, там и сям уже виден искривленный парезом рот или безвольно повисшая рука, но большинство из них — на удивление здоровые старики, все Ципки худые и жилистые, как ремешки кнута, а Цвики плотные, как быки, и тяжелые, как полевые валуны, и, когда они поднимаются и идут к коптильне или к пивному крану — «этот кран поставлен в память о Мотьке, пожертвование его сестры и брата», как извещает маленькая латунная табличка, — земля дрожит под их ногами, и куски мяса испуганно ворочаются и истекают соком на своих шампурах, и угли разгораются сильнее и шепчутся друг с другом.

Жених, которого здесь называют «Ареле», а также «Арончик», сидит сбоку, потому что к его естественной молчаливости здесь присоединяется еще и стеснительность тылового человека, который непосредственно в боях не участвовал, — он изобретал и производил гранаты, но не он их бросал. Он разрабатывал мины-ловушки, но не он пересекал ночами границу, чтобы их установить. Однако подобно первому «прославленному колченогу», Гефесту, и он сидит среди Ахиллесов, которые держали закаленные им мечи, и нередко они обращаются к нему с просьбами «заглянуть к ним», что-нибудь починить у них дома, решить какие-то техни-

ческие проблемы на производстве или в чьем-нибудь хозяйстве — и он не смеет отказать.

Все признают его заслуги и даже говорят: «Если бы не мины Ареле, мы бы не захватили Лод... Если бы не его бочки со взрывчаткой, Хайфа и сегодня была бы арабской...» И, несмотря на присутствие Шломо Шустера, а может быть, именно из-за этого, все тщательно избегают упоминания истории о беременности Пнины, хотя она всем здесь хорошо известна.

Но сам Жених тоже знает себе цену, и ему ясно, что с его стороны хорошо будет принести на очередную такую встречу какое-нибудь угощение: креплах, или гривелах, или гефилте фиш\* производства Наифы, а еще лучше — бутылочку шнапса из перегонного аппарата, им самим придуманного и изготовленного, которую он кладет на стол как своего рода входной билет. Кладет, кивает всем присутствующим, отступает назад шагами, которые подчеркивают и усиливают его хромоту, и садится в стороне. Невысокий и худой, смуглый и хромоногий, он очень отличается от всех этих мужчин: его волосы еще черные, как вороново крыло, но уже редкие, а их волосы уже белые, как крыло гуся, но еще густые.

Сначала этот «Парламент» составляли коптильщик мяса из Кфар-Иошуа, его брат и двое друзей из Нахалала — товарищи по школе и по армейской службе в бригаде «Харэль». Потом к ним присоединились това-

\* Креплах, гривелех, гефилте фиш — соответственно: вареники, шкварки, фаршированная рыба (*идиш*).



рищи по оружию из Тель-Адашим и Кфар-Ихезкель, еще один пришел из Мишмар-а-Эмека и двое из Гвата, и все они привели своих товарищей, и когда количество участников достигло сорока человек, «Командир» объявил, что на этом двери закрываются.

— Теперь пусть ждут, пока кто-нибудь из нас умрет или пропустит — безо всякой причины! — четыре встречи подряд, а если у кого нет терпения, пусть прикончит одного из нас или, если угодно, организует себе другой парламент.

Вначале они делились воспоминаниями и сравнивали свои рассказы. Спорили, держали пари, опровергали и подтверждали и, как в семействе Йофе, кричали друг на друга «пошел в задницу» или «кончай свои глупости», пока не выработали единый и всеми признанный канон, в котором нашлось место и для рассказов о былых сражениях, и для житейских историй, и для воспоминаний о старой любви, и для курьезов и сплетен. Но со временем обнаружилось, что воспоминания повторяются, и у всех анекдотов те же концы, и даже апокрифические версии уже не меняются, и страшилки всегда кончаются благополучно, и шутки — всё те же шутки, и ветер всегда дует и всегда прохладен, и Рахель, которую однажды туда пригласили, чтобы посмотреть на женщину, сохранившую верность своему погибшему парню, вернулась домой, залезла под свой пуховик и сказала: «Я заключила там несколько неплохих сделок». А когда я спросил ее: «А что же с рассказами?» — она уклонилась от ответа,

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. МЕСТО

сказав на свой лад: «Сколько щепок можно еще подбрасывать в один и тот же костер?»

А в один прекрасный день члены «Парламента» вдруг обнаружили, что они уже говорят не только о своем героическом прошлом, но также о сегодняшних болях, болезнях и претензиях. Воцарилась скука, некоторые перестали приходить, другие пропускали четыре встречи подряд без всяких причин, и дошло до того, что духи погибших на войне друзей отказались появляться и разговаривать со своими боевыми товарищами. В результате им пришлось приглашать гостей со стороны, устраивая то, что именовалось «Встреча с...» или «Дискуссия о...», но, по существу, было не чем иным, как военно-полевым судом над наивными и неискушенными людьми, которые соглашались предстать перед ними в роли обвиняемого, добровольного Прометея или боксерской груши: то молодой армейский генерал, этакий ничего не понимающий цыпленок, то экономист, из ответственных за тяжелое положение страны, а то какой-нибудь второразрядный министр, у которого еще не просохло на губах молоко его мамыши из Эцеля\*, или напыщенный журналист, имеющий мнение по всем без исключе-

\* Эцель — боевая организация «ревизионистского крыла» сионистского движения, которая долгое время конкурировала с Хаганой (боевыми отрядами основных сионистских партий) и в силу своей непримиримой борьбы с мандатными властями даже считалась враждебной интересам сионизма. Позднее активно участвовала в Войне за независимость и влилась в израильскую армию.

ния вопросам, но никогда не нюхавший крови и огня и «даже ни разу не убивший и не убитый». А иногда, усмехается Жених, они приглашают также какого-нибудь писателя — из тех, что любят поговорить о «литературе и морали» или о «влиянии Библии на литературу», подробно рассказывают о своем детстве и увлекаются рассуждениями о «памяти как источнике творчества», — но, послушав каких-нибудь несколько минут, они уже прерывают его энергичным протестующим мычанием: «Жизнь — это тебе не литература, дружище!» — или категорическим утверждением: «При всем моем уважении, жизнь куда интересней твоих выдумок, человече!» — а то и уверенным: «Ты себе называешь это “фикшн”? А по-нашему это просто страшилки и ужастики!»

Публика наслаждается своей смелостью, да и сам писатель, горя желанием понравиться, улыбается в смущении, которое, однако, станет еще более сильным под конец, когда поднимутся со своих мест последние представители поредевшего «поколения пустыни»\* и вызовут его на импровизированное соревнование в цитатах из Библии и «Пасхальной агады»\*\*, из Бя-

\* «Поколение пустыни» — намек на то поколение евреев, которое вышло из Египта с Моисеем и сорок лет скиталось по пустыне; в современном Израиле так зачастую называют первые поколения любой иммиграции, будь то из арабских стран или из России.

\*\* «Пасхальная агада» — сборник молитв, рассказов и песен, которые читают и поют во время седера, праздничного ужина в пасхальный вечер.

лика и Шленского, из Альтермана\* и Пушкина — и ему придется капитулировать и в этом испытании тоже.

А потом, поев, и попив, и милостиво дослушав лекцию, мужчины усаживаются в тесный круг, размягчаются и начинают петь низкими сильными голосами, раскачиваясь все вместе, плечо к плечу, и иногда, если песня знакома мне по старым напевам отца, я тоже пою вместе с ними. У них есть симпатичная песня о Рутенберге\*\*, который был мастак искать электричество в теле девчонки, но больше всего мне нравится их незамысловатая песенка «В маленькой беседке», в которой слышится душевное волнение солдата, знакомое и мне не понаслышке. И поскольку все они росли в «те времена» и в школе их учили не только хорошему поведению, но также

\* Альтерман, Натан (1910—1970) — израильский поэт-авангардист, автор злободневных политических стихов и в то же время утонченный лирик.

\*\* Рутенберг, Пинхас (1878—1942) — по образованию инженер, яркая фигура революционного движения в России. До 1906 года — член эсеровской партии, принимал участие в казни священника Гапона; позднее вернулся от православия к иудаизму, был активным соратником Жаботинского и Вейцмана; в феврале 1917 года — энергичный сторонник Временного правительства; с началом «красного террора» бежал в Палестину, где провел первое обследование водных ресурсов страны, учредил Палестинскую электрическую компанию, создал первую палестинскую гидроэлектростанцию; дважды избирался руководителем всех еврейских поселений в Палестине; на оставленные им по завещанию деньги был построен Хайфский университет.



но лицо счастливо. Потом он встает и помогает унести посуду, прибрать и навести порядок, прощается с товарищами и никак не простится, пока Шломо Шустер не говорит ему: «Давай, Арон, поехали».

Мы едем домой, во «Двор Йофе», и почти всю дорогу в машине царит молчание. Главная улица городка встречает нас безмолвием — суета предсубботного полудня уже затихла, черед вечерних развлечений еще не наступил. Смиренная умиротворенность сумерек. Последние цветочные магазины снижают цены. Запахи пятничной варки поднимаются в воздух, а с ними — и по-весеннему ароматная теплынь, тоже из «тех времен» — времен «взаимопомощи», теплой пыли и голубых плетей свинчатки.

Ящики пустых пивных бутылок ожидают за стеной мини-маркета Адики. Рабочие, старухи и филиппинки уже ушли. Мы высаживаем Шломо возле его дома, вот уже поворот на Аллею Основателей, и наш «траксьон-авант» начинает медленно подниматься в гору. Ворота открываются. Въезжаем. Закрываются. Жених — к темному дому и к запертой там Пнине, а я — к своему освещенному дому, к сыну, лежащему в своей кровати с книгой, к дочери, работающей в городе. к сильному и приятному запаху лака и ацетона. Это Алона, красивая и веселая, сидит на кухне, напевает милую песню: «Двое уличных фотографов, Зевах и Цалмуна ...» — и делает себе маникюр, готовясь к встрече со своими «пашминами».

На следующий день после покупки «Траксьон-аванта», на седьмом месяце беременности, у Пнины началось неожиданное и сильное кровотечение. Вначале она почувствовала тепло, потом мокроту, а затем оба ощущения соединились в настоящую реку крови.

Она оперлась о стену, подняла платье, посмотрела на пугающее зрелище и не удивилась тому, что ощущает счастье вместо страха и тревоги.

«Она побежала во двор, остановилась возле ворот коровника и закричала так, что было слышно до самой Хайфы:

— У меня пошла кровь! Все кончено! — кричала она. — Он наконец умер, слышишь? Не будет у тебя сына!

Апуа вышел из коровника и застыл у входа, а Пнина продолжала кричать из-за паруса своего платья, подняв его обеими руками, чтобы отец мог видеть ее намокающее красным белье и карминовые змеи, медленно ползущие по белизне ее тела.

— Вот его кровь вытекает! Вот, по моим ногам. Твой сыночек сдох!

Апуа, который крайне редко чувствовал страх, на этот раз испугался и даже крикнул ей в ответ что-то вроде:

— Это не его кровь, это твоя!

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. МЕСТО

А Амума, внутри дома, услышала крики, выглянула в окно, увидела — и завопила, как вопят сейчас все Йофы в подобных случаях:

— Арон! Быстрее сюда! Заводи сейчас же свою машину!

Сам Жених не любит вспоминать тот ужасный день, как не любит вспоминать обо всей этой истории с беременностью Пнины. Но в тот единственный раз, когда он рассказывал мне об этой поездке, он сказал с гордостью:

— Все, кроме меня, кричали и не знали, что делать, а я повез Пнину в больницу, и это был первый выезд моего нового «ситроена-аванта» за пределы деревни.

Он быстро прихрамал с заводной рукояткой в руке, сумел завести машину уже со второго оборота и в последний момент еще успел бросить на сиденье старое полотенце. Но оно не помогло, и пятна Пнининой крови — выцветшие и уже невидимые глазу, не имеющему специальных йофианских приборов [не вооруженному линзами памяти и знания], — все еще заметны на обивке переднего сиденья.

— Я все перетерплю, Пнина, и эту твою беременность, и всё, и я прощу, и я забуду, и я буду тебе хорошим мужем, — сказал он ей по дороге и повторил. И когда Пнина не ответила, добавил: — И пятна на обивке я тоже забуду. — И тут вдруг услышал голос Амумы, которая в разгар суматохи незаметно проскользнула в машину и села на заднее сиденье:



— Хватит, Арон, помолчи, лучше поезжай быстрее.

А Пнина только шептала: «Ненавижу вас всех, ненавижу вас всех, ненавижу вас всех...» — оставшемуся дома отцу, и своему «зибеле»-недоноску, что боролся за жизнь в ее животе, и тому красивому мужчине, который ее обрюхатил, и своему будущему мужу-уроду, который вез ее в больницу. «Ненавижу вас всех, ненавижу вас всех, ненавижу вас всех, ненавижу вас всех, ненавижу вас всех...» — как бесконечный поезд, который со стоном и скрежетом, тяжело дыша, остановился лишь в ту минуту, когда преждевременные схватки начали разрывать ее тело.

Спустя час, в больнице, она родила своего единственного сына, страшного на вид недоноска, весом всего в полтора килограмма, который выскочил из ее нутра полумертвым, но живым, и, что еще страшней: его тело, багрово-синее, фиолетово-черное, как у выпавших из гнезда птенцов, и его лицо — лицо старческой мумии, костлявое и сплошь поросшее волосами, — вызвали у нее любовь.

— А на самом деле, — сказала Рахель, и мое сердце окаменело еще до того, как она окончила предложение, потому что моя фонтанелла уже рассказала мне эту историю и я уже знал ее ужасное продолжение, тот единственный секрет, которого до сего дня не сообщили ни одному человеку, — на самом деле у нее родились близнецы: мальчик Габриэль и еще дочь, девочка, тоже недоношенная.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. МЕСТО

Ну, честнее, Михаэль, смелее, без стеснения.

— Моя сестра не знает об этом до сегодняшнего дня, и ее муж не знает, и мой отец не знает, и Габриэль тоже, потому что ребенку не рассказывают, что он родился живым, а его сестра родилась мертвой. И годами никто не говорил об этом, и тебе я тоже рассказываю при условии, что ты не расскажешь семье, но однажды, когда Габриэлю было уже два месяца, пришла из больницы акушерка, принимавшая его, женщина из мошава Нахалаль, посмотреть, как он развивается. Дала Апупе несколько указаний, а потом пришла в барак к Амуме, закрыла за собой дверь и сказала ей: «Мириам, я понимаю, что дело здесь непростое, но я должна рассказать тебе кое-что еще, потому что я уже не могу держать этот секрет в себе». И рассказала, что первой у Пнины родилась девочка размером с мышь и, как мышь, вся в волосах, недоношенная, умершая еще в животе матери, «а за ней этот мальчик, полумертвый, но живой».

Несколько дней Амума ходила, как безумная, потом вырастила вокруг своего гнева новую кисту и так носила в себе этот секрет до самой смерти, а перед смертью позвала Рахель, рассказала ей и сказала: «А ты реши, кому передать его, когда придет твое время».

И вот сейчас я «размазываю его по носу» всего семейства.

— Бог дал свету имя «день», — рассказывала Амума, — а тьму назвал «ночью». Это небо, а это земля, вот Вселенная, а вот те, кто ее населяет. Имена упорядочивают мир, — объясняла она, — и успокаивают его обитателей. «Имена — это бутылки, чтобы закупорить в них злых духов и чудовищ».

Мы с Габриэлем были «ангелочки». Так прозвал нас дед, и она, несмотря на свою к нему ненависть, приняла это прозвище. Мы впитывали ее слова: ангел Михаэль — распахнутой фонтанеллой, ангел Габриэль — своими голодными, большими, как тарелка, глазами недоноска.

Себя самого, усмехалась Амума, Бог запретил называть по имени — чтобы не исчез наш страх божий, чтобы не уменьшилось наше благоговение.

— Чтобы мы перестали бояться моря и тьмы и боялись только его. — Раздражение и сарказм звучали в ее голосе. — И что же человек сделал первым долгом? Дал имя каждому животному.

Страшное животное с клыками, когтями, гривой и рыком человек заключил за прутьями имени «лев» и тотчас успокоился. Огромное, топчущее и обвивающее чудище он заточил в слове «слон». Уродливое, смеющееся и жрущее падаль существо стало в его языке «гиеной». А ту оболстительно великолепную, что заставила его сменить своего Бога на ее любовь, он затянул в смирительную рубашку имени «Ева».

Этого Амума не сказала. Это я сам говорю себе, спустя многие годы, представляя себе ревность Бога к сотворенной им женщине: Он — великий Бог на небе, она — маленькое, чудесное божество для владык земли.

Мы были тогда маленькими и доверчивыми, а бабушка — насмешливой и ненавидящей.

— Смерть явно выправила ее настроение, — сказал отец в середине траурной недели после ее кончины. — Вы обратили внимание, что вот уже три дня мы не слышали от нее ни одного упрека?

Она рассказывала нам, как *Некто сражался с Иаковом ночью, на переправе Иавок*. «И чего Иаков попросил у него в конце концов? Скажи мне имя Твое...» — потому что только так он будет знать, кого победил, и, когда я был юношей и рассказал эту историю Рахели, моя тетка засмеялась и сказала:

— Жаль, что Иаков не задал этот вопрос в свою первую брачную ночь, это избавило бы его от многих неприятностей.

Великана, который запирал своих дочерей в барак и отрезал им волосы, бил соседей и вышвыривал приготовленную женой еду через окно, я уменьшил до трех открытых, прыгающих, капризных слогов «А-пу-па». Смуглого хромого человека, который кормит нас, заботится о нас и копает для нас подземное убежище, я сократил до «Жениха». Вдова, с которой должен был, в порядке очереди, спать каждый парень в Семье — это всего-навсего «Рахель». Мой двоюродный брат Габриэль — он и «мизиник», и «цыпленок»,

и «зибеле», и «Пуи», а для бабушки — Ури, я тогда не понимал почему. А по ночам, когда снова растет и подползает ко мне забытый запах горящего поля, поначалу тонкий, как шелк, а потом плотный, как мешок, я называю и свое имя, но только про себя, в сердце. Прости меня, Михаэль, но не это твое имя я тогда шепчу, а то, которое получил на берегу вади, когда родился заново.

А как же тот безрукий мужчина, который породил меня, смешил меня, изменял моей матери и прежде времени ушел? Ему я дал имя «Отец», но иногда, в минуты любви, и тоски, и неосторожности, я называю его «папа». Он и все его «цацки» — это настоящий букетимен: «Задница», и «Корова», и «Шлюха», и «Та», и «Плевалка», и самая близкая из всех — «Убивица». Это верно, впервые он изменил матери с золовкой своей свояченицы, той самой Задницей из Тель-Авива, и вслед за ней было еще много других, но Убивица оставалась рядом с ним, как Луна, тогда как все остальные приходили, и уходили, и возвращались и исчезали, как кометы.

Кроме этого он не объяснил мне ничего. Да и что тут можно объяснить, когда ты лежишь со своей любовницей на траве в саду, нагишом, как мать родила, и вдруг видишь своего маленького сына, который стоит и смотрит на тебя из-за листвы и цветов? Ты просто улыбаешься ему, ты поднимаешь руку в странном приветствии, и, так как это твоя единственная рука, ты скатываешься с Убивицы и держишь или

держишься за ее руку, и ее тело — такое же чистое и светлое, сказал я тогда себе, как тело стоящей возле меня Ани, только без всяких следов ожога, и мягче, чем у Ани, и ниже, чем у нее, и шире, чем ее, — это тело открывается во всей своей прелести, с его бледной шеей, на которой пульсирует нежная голубизна, и с его карминовыми сосками, и со слегка выпуклым сводом белого живота, и пышными бедрами, и великолепными рыжими волосами, что горят на скате отцовского плеча и пылают на том маленьком участке поля, что внизу ее живота.

Вид отца, лежащего нагишом в цветущем саду и держащего в своей руке ее руку, пробудил во мне не гнев и не обиду, а жалость и любовь. С тех пор я не раз думал: что, если бы он выбрал себе в жены другую женщину? Были бы у него и тогда «Плевалка», и «Убивица», и «Та», и «Задница»? И был бы у него и тогда сын Михаэль? А если бы меня не было у него, родился бы я у кого-нибудь другого? А если бы родился, был бы это я? А моя фонтанелла? Была бы закрыта? А Аня? Конечно, она не вышла бы замуж за «директора школы», потому что, если бы меня не было, ей незачем было бы к нам приезжать.

Так случилось, что мы оба, отец и я, изменили одной и той же женщине, по имени Хана Йофе, которую ее злая судьба [наша злая судьба] [какая-то недобрая сила] дала ему в жены, а мне в матери. Но отец, с его легким, порхающим характером, любил многих других женщин, а я, самоотверженно-неуклюжий,

нашел себе только одну другую мать, навстречу которой каждое утро открывал глаза и чей облик постоянно стоял перед моей открытой фонтанеллой.

Вот так обстоят дела [таково положение вещей]: не всякая измена свидетельствует об отсутствии любви и не любая верность говорит о ее наличии. Я, например, не изменяю Алоне, но не из любви к ней, а из-за любви к другой.

\* \* \*

Убивица, как я уже говорил, была нашей соседкой, хозяйкой самого близкого ко «Двору Йофе» дома, сразу за стеной: рыжеволосая вдова, старше моего отца на несколько лет, она постоянно расхаживала в резиновых сапогах и туго завязанной косынке и выращивала замечательные овощи, намного лучше, чем у моей матери, а также телят и овец на мясо. Прозвище «Убивица» дала ей моя мать, потому что она опрыскивала свои овощи «ядами» и поливала их грядки кровью, которую собирала на бойне, и что еще хуже — не ограничилась тем, что «отдавала на убой несчастных животных, которых сама же и откармливала», но вдобавок убила своего мужа, а точнее — «отравила его своим мясоедством».

На самом деле муж Убивицы погиб в автомобильной катастрофе, но, как сказал отец, «твоя мать никогда не позволяла истине укрыться за фактами». Как правило, объявила она решительно, мясоеде-

ние — это способ, с помощью которого род человеческий совершает геноцид, или массовое самоубийство. Но Убивица применила его для убийства одного-единственного человека — своего несчастного мужа, у которого из-за всей той массы мяса, что она варила, тушила, жарила и подавала ему «вместе с углеводами», настолько ослабло зрение, что он увидел грузовик, выехавший из молочной фабрики, только тогда, когда тот уже совсем наехал на него.

И когда матери напоминали, что Натан Фрайштат — тот, что руководил ее первыми шагами на полях вегетарианства, тот, уступающий лишь доктору Джексону, Натан Фрайштат, который ел много моркови и поэтому имел острое зрение, — тоже погиб в столкновении машин, она говорила, что в случае Фрайштата виноват был водитель, у которого от обильного мясоедства зрение ослабло настолько, что он не видел свою жертву, пока совсем не наехал на нее.

Такого рода универсальные объяснения, которые с порога отмечают всё, что им противоречит, распространены также среди верующих других религий — в сердце любого человека, которого убедили поверить в принцип «воздаяния и наказания», и в колчане стрел всякого проповедника или миссионера, который убедил такого человека в это поверить. И никто не обратил бы внимания на мамины слова, если бы ей не вздумалось произнести их именно над гробом погибшего, и не про себя, а перед всей деревней и обращаясь напрямую к скорбящей семье.



С тех пор вдова ее возненавидела, но ее роман с отцом начался не из-за этого, а по куда более простым причинам — на основании двух совершенно обыкновенных физических принципов: что всякое давление повышает температуру и что любое пустое пространство стремится стать заполненным.

Убивица знала немецкий и не раз, когда Жених ехал в Вальдхайм, присоединялась к нему. Он ехал туда навестить немецкого кузнеца, она — позаботиться о свиньях, которых выращивала там, не осмеливаясь держать их в нашей деревне. Она сняла там маленькую свинарню и научилась разделывать и коптить свиное мясо, собирать кровь, очищать кишки и готовить из них разные колбасы и сосиски.

— Они симпатичные люди, — говорила она и объясняла: — Симпатичные люди — это такие, с которыми вы через час после знакомства уже делитесь общими воспоминаниями.

А когда ей сказали, что многие из этих симпатичных людей — нацисты, которые повязывают рукав свастикой и приветствуют друг друга, скидывая руку, она сказала:

— Ну и что? Это не из любви к Гитлеру и не из ненависти к евреям. Я думаю, что так эти немцы тоскуют по дому.

Когда мамины поиски спрятанного отцом мяса стали учащаться и ужесточаться и, наконец, наступила та суббота, о которой я уже упоминал и которую у нас называют «черной», отец пришел к соседке с

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. МЕСТО

несколькими запретными палками колбасы, которые выглядывали из-под полы, и, как я уже рассказывал, попросил разрешения спрятать их у нее. Она засмеялась, а смущение на его лице покорило ее сердце.

Конечно, согласилась она, и с тех пор отец начал ходить к ней со стороны коровника, чтобы его не видели на улице, выбираясь наружу — зачем скрывать существенную, с моей точки зрения, деталь — через ту же дыру, которую я проделал, чтобы ходить к Ане, и, пройдя в соседкин двор, стучал в кухонную дверь.

Природа, как все мы в свое время познали — обычно в школьной лаборатории, а моя мать трудным путем, — природа не терпит пустоты. А там, «за забором», была одинокая женщина. Что более пусто, чем это? Не особенно красивая, не особенно умная, но приятная, и веселая, и одинокая, с ароматной кастрюлей жаркого, которое вскоре добавится к сюжету, и с тепло-сияющим пространством в ее теле, что стремится заполниться — и вскоре заполнится, и с болью в сердце, что стремится угаснуть — и вскоре угаснет, и с еще теплой золой в душе, что жаждет вспыхнуть снова — и вспыхнет, обнажив разгорающийся жар ее плоти, и вдобавок женщина, которая, как вскоре услышала вся деревня, смеется, когда занимается «этим» — не знаю, как она это называла, но, уж конечно, не тем тошнотворным термином «любовный акт», которым пользовались мать и Алона. <Вторая часть этого абзаца слишком длинна, тяжеловесна и неуклюжа; надо вернуться к ней, сократить и разредить.>

Всё дальнейшее было куда проще, чем его описание. Обычно, прокравшись к Убивице, отец перебрасывался с ней несколькими словами, иногда приносил ей в знак благодарности какой-нибудь маленький подарок, потом брал свою колбасу и шел наслаждаться ею в сад. Но однажды она сказала ему:

— Пора уже, Мордехай, кончать эти игры.

— Какие игры? — удивился он.

— Ты же не маленький мальчик, который прячет от родителей сладости, — сказала она.

На мгновение он подумал, что она предлагает ему найти другой тайник, и уже начал извиняться за доставляемое беспокойство, но Убивица тут же рассеяла недоразумение:

— Ешь здесь, со мной. Мужчина не должен вести себя, как вор, а женщина не должна есть одна, — сказала она.

С того дня отец начал есть свою колбасу в доме Убивицы, а она со своей стороны добавляла к ней нарезанные овощи, ломти белого хлеба, пиво и горчицу, смотрела на него, когда он ел, и вела с ним незатейливые разговоры, которые мешают «правильному счету жевков» и выделению «нашего друга-слюны» и диктуют «время заглатывания» соответственно синтаксису и паузам беседы, а не типу крахмалов.

А спустя еще какое-то время она сказала ему:

— Сосиски, которые я делаю, лучше тех колбас, что ты покупаешь.

— Дай попробовать, — сказал отец.

— Они еще не готовы, я только утром их наполнила, — сказала она, — но запах фарша еще остался у меня на ладони.

Мордехай Йофе взял ее протянутую руку и погрузил в нее свое лицо. Немцы Вальдхайма были депортированы из Страны уже за несколько лет до того, но добрый запах Wurstbrei, того колбасного фарша, которому она научилась у них — смесь перца и вина, чеснока и мяса, — поднялся к его ноздрям из маленькой мягкой горсти, и он сделал глубокий вдох, а затем, неожиданно для себя самого, прижал губы к ее тонкому запястью, в том месте, где кожа трепещет, отсчитывая биения пульса, исполнился любовью и желанием и сказал Убивице, что уже сейчас, еще не попробовав, он знает, что сосиски, наполненные таким Wurstbrei, наверняка великолепны.

Назавтра, снова придя к тайнику, он нашел распахнутую дверь, приглашавшую его: «Заходи», и нарисованные на полу стрелки, улыбавшиеся ему: «Иди за нами в кухню». Там, на огне, стоял чугунок и, увидев отца, сказал ему: «Сними с меня крышку». Его окутало облако пара, поднявшегося из горячей пучины. Запах простого жаркого, мяса и лука, картошки, моркови и чеснока. Отец закрыл глаза, и тогда к аромату горшка примешался шепот. Это запах Убивицы прошептал ему: «Я здесь».

По наивности он не сразу заметил, что ее ноги обвиты платьем, а не спрятаны, как обычно, в брюки и сапоги, что ее рыжие волосы не скрыты косынкой, а распущены

и пылают на скатах ее плеч, что на столе его ждут скатерть, и две тарелки, и два ножа, и две ложки, и стаканы, беззвучно кричащие: «Мы пусты», и свежая белая хала, которая умоляла быть съеденной без подсчета жевков.

— И вот так у нас в семье возникло новое выражение: «Идет к тайнику», — сказала Рахель. — Там были она и он, она и мясной горшок, и все эти запахи, а главное, — тут она залилась смехом, — эта мерзавка-хала... ой, хала... макать которую в соус от жаркого — халу в соус! — один из самых ужасных и сладчайших способов смешивания белков с углеводами.

— Мне нравится твой отец, — наклоняется моя дочь из-за спины своего отца. — Жаль, что мы с ним не познакомились. Он бы наверняка с удовольствием сбивал у меня в баре коктейли этой своей единственной рукой.

Сегодня говорят «человек с ампутированной рукой» и «человек с ампутированной ногой», но когда-то говорили: «увечный», или «обезножевший», или «обезручевший». Всё это — старые слова, обреченные на исчезновение, но когда-то люди не стыдились их наличия в семействе слов, описывающих калек, или, по словам Рахели, «в реабилитационном отделении языка», где они коротали время по соседству с другими, куда тяжелее, вроде «горбатый», «глухой», «слепой», «немой». Но в то время как все эти настоящие калеки приходят к нам такими из дому — так говорила Рахель, — «однорукие» и «одноногие» приходят к нам из армии или какого-нибудь иного мужского занятия, как, например, одноногие Дуглас Бадер и Джон Сильвер, а также капитан

Ахав из «Моби Дика», и однорукие капитан Кук и Йосеф Трумпельдор\*, все эти из мужчин мужчины, или же как мой отец, который потерял руку во время атаки пальмахников на английскую базу возле Хайфы. Им удалось тогда захватить там много стрелкового оружия — «стэнов» и «томмиганов», даже два немецких «шмайсера» они там нашли и прихватили с собой. Но автоматная очередь раздробила отцу кость, и когда его доставили в больницу, врачи отрезали ему руку выше локтя.

— И чтоб ты знал, Михаэль, — сказал мне «Командир» после его похорон, — мы все любили, а также уважали его. Мы приглашали его в наш Парламент, но он больше любил свои апельсиновые рощи, а также тебя, да, он очень любил тебя, а также женщин. Ты ведь знаешь, что у него были разные женщины.

\* В этом перечне знаменитых «одноногих» и «одноруких» калек: Дуглас Бадер (1910—1982) — английский летчик, который в 21 год потерял обе ноги в результате аварии самолета, вернулся в авиацию и добился разрешения участвовать во Второй мировой войне, сбил 22 самолета противника, но в августе 1941 года был сбит и попал в плен, после освобождения в 1945 году и вплоть до отставки руководил колледжем истребительной авиации; Джон Сильвер — пират из «Острова сокровищ» Р. Стивенсона; капитан Джеймс Кук (1728—1779) — знаменитый английский мореплаватель, первооткрыватель земель в Канаде, Новой Зеландии и Тихом океане; капитан Ахав — герой романа Г. Мелвилла (1819—1891) «Моби Дик»; Йосеф Трумпельдор (1880—1920) — герой Русско-японской войны, один из наиболее известных активистов раннего сионизма, организатор первых отрядов еврейской самообороны в Палестине.

К счастью, отец потерял не правую руку, а левую, так что ему не пришлось заново учиться писать и он мог продолжать развлекаться бросанием ножей в мишени, которые рисовал себе на деревянных воротах двора, и швырянием плоских камешков по воде, что у него получалось замечательно. Я помню, как мы однажды поехали на Киннерет всей семьей — кроме, конечно, Пнины и моей матери. Рахель и Задница плавали на своих платьях-пузырях из парашютного шелка, и их смех разлетался от берега до берега, Амума и Гирш с Сарой Ландау прохаживались по берегу, а Апупа демонстрировал, что может швырять камешки по воде и правой, и левой рукой, но сумма прыжков всех камешков от обеих его рук далеко не достигала их числа у одного камешка, вылетавшего из одной руки моего отца, — за семнадцать скачков он перелетал через всё озеро, от Гинносара до Эйн-Гева.

А кроме того, так объяснил мне отец через несколько лет, когда я уже вырос и начал задавать вопросы — о его жизни, о его руках, о его увлечениях, — правая и левая руки отличаются не только способностью к обучению и силой исполнения, но это изначально два разных типа: правая рука — это ты сам, а левая рука — это чужая девочка, и ты не скучаешь по ней так, как по той, что есть твое тело, из твоего же тела созданное, — и вдруг улыбнулся:

— Как Адам скучал по Еве еще до того, как она была сотворена.

— Апупа любит обе свои руки одинаково, — сказал я. — И они его любят так же.

— Твой дед — ничему не пример, — сказал отец. Тогда я еще не понимал, что это насмешка, я думал, что он говорит это с уважением.

Протезом, который ему дали — он назвал его «прижизненным памятником», — он отказался пользоваться: ампутация высоко, ремешки давят и раздражают, черная перчатка уродлива.

— Я приспособлюсь. В больнице я видел парня, который потерял обе руки, так что мне грех жаловаться, — сказал он и бросил протез на дно одежного шкафа, где мы с Габриэлем обнаружили его много лет спустя, во время одного из наших любимых занятий — раскапывания завалов и поиска кладов в шкафах, ящиках и пристройках. Я помню, как мы тогда испугались, потому что в первый момент подумали, что это настоящая рука, что вот такими — тяжелыми, гладкими и холодными — становятся солдатские руки после ампутации.

Вся сила моего отца, его терпение, чувство юмора и вера в себя проявились, когда ему пришлось заново учиться вещам, которым другие учатся только один раз, будучи детьми: застегивать рубашку, натягивать брюки, продевать и завязывать шнурки на ботинках. Безымянному и мизинцу — пальцам, обычно бесполезным, — пришлось включиться в работу. Его ступни фиксировали предметы на полу. Подбородок прижимал вещь к груди, как Аума, когда складывала одеяла. Колени держали руль, пока правая рука переводила ручку скоростей. Рот, раньше занимавший только



разговором, поцелуем, едой и свистом, захватывал и нес и, в сущности, служил второй рукой. Он перестал есть шоколад и даже выбросил любимые карамельки. Каждый день он полоскал рот соленой водой, а десны массировал мягкими кончиками оливковых веточек. «Не хватает, чтобы у меня еще и зубы выпали», — говорил он.

— Ну-ка, — говорил он моим одноклассникам, пришедшим ко мне в гости, и я не знал, гордиться или стыдиться, — попробуйте очистить мандарин одной рукой! — Он надкусывал верхушку и затем, держа надкушенную кожуру в зубах, начинал вращать мандарин между большим и безымянным пальцами и мизинцем, так что кожура сходила по спирали, а потом указательный палец очищал мандарин до конца.

Когда он женился на матери и стал из «просто Йофе из Нетании» одним из «наших» Йофов, Арон начал придумывать и изготавливать для него специальные приспособления, вроде пружинных захватов для шнурков, чтобы он мог затягивать их одной рукой. В разных углах дома и двора были расставлены всевозможные тиски, зажимавшиеся большими барашковыми винтами. А в кухне появилась передвижная рельса с канавками для закрепления хлеба перед резкой. Отец не мог прижать буханку к груди, как это принято у Йофов, и очень сожалел об этом. «Это то единственное, что я люблю в семье твоей матери», — сказал он мне как-то, во время одной из наших противозакон-

ных трапез, и это напомнило мне, что еще одно такое устройство — для резки твердого сыра и колбасы — Жених установил для отца в доме Убивицы, но это произошло позже.

Раз в несколько дней он приносил мне «красные испанские апельсины», разрезал и выжимал из них чашку красного сока. Этот сок, кстати, наглядно доказывал, что вегетарианство — такая же вера, как и все прочие, ибо, несмотря на его абсолютно растительное происхождение, он вызывал у матери неуправляемый гнев и желание его уничтожить, потому что выглядел, как кровь, и давал основание видеть в нем то, что пугало всякого богобоязненного верующего.

— Потому что это давало мне единственный шанс удостоиться помощи вашего Жениха, — ответил он ей однажды на вопрос, зачем он женился на ней, если заранее знал, что не сменит свою веру на ее.

И вдобавок ко всему Жених так наточил все ножи в нашей кухне, что отец мог резать ими одной рукой. Остроты и веса лезвия было достаточно, чтобы войти в мякоть хлеба, помидора или груши. Отец нарезал первые материнские редиски, покрывал их белой плотью щедрой порцией «желтого яда», потом злоупотреблял грубой солью и ел их «под пиво» — так говорят Йофы. Они пьют шнапс «под селедку», сношаются «под музыку», едят жаркое «под картофельное пюре».

У него были только три жалобы, с которыми он не мог обратиться к Жениху: жалобы на память, которая не удовлетворилась своим обычным местонахожде-

нием и поселилась в его ампутированной руке, обманывая и причиняя боль, как будто эта рука все еще находилась и была жива. И жалобы на равновесие, потому что без руки, даже если она левая, нарушается весовой баланс всего тела. Он не раз спотыкался и падал, и поскольку при падении протягивал вперед обе руки, в том числе и ту, которой уже нет, то снова и снова ранил свою культю, иногда даже до крови.

А третья жалоба, специфическая только для него, касалась ногтей. Он больше не мог их грызть, как одержимо грыз до ранения.

— Только одна дурная привычка была у меня, — жаловался он, — и ту отняли.

Ногти правой руки он уже не грыз, потому что нуждался в них для работы, «а кроме того, ногти потерянной руки были вкуснее».

За этой шуткой скрывался неприятный факт: отец уже не мог сам стричь себе ногти и потому возложил на меня, еще в детстве, эту работу, которую я, однако, любил и очень тщательно выполнял, потому что отец нуждался в ногтях, достаточно длинных для тонких работ, как, например, проверка листьев цитрусовых, пораженных тлей, или очистка мандарин одной рукой, и вместе с тем достаточно коротких, чтобы не ломались с легкостью.

А как мы со своей стороны приспособились к его инвалидности? Никак, потому что таким получили его с самого начала. Он был одноруким, когда мать познакомилась с ним, и таким же был, когда родился я.

Мы никогда не знали его с двумя руками, и, когда он однажды показал мне четыре свои старые фотографии, до ранения, я испугался и сказал: «Это не ты».

Повзрослев, я уже не повторял этой глупости, но каждый раз, глядя на эти четыре фотографии — после его исчезновения мама очистила их дом от всего, что напоминало бы о нем, и сегодня эти фотографии у меня, — я испытываю чувство неловкости. Парень с двумя руками, запечатленный на них, слишком похож на других людей. Не только из-за двух рук. Его глаза и губы тоже не похожи на те, что смотрели на меня, и целовали меня, и высасывали весь ум из моей фонтанеллы, и его улыбка не излучает радость и не радуется, как у моего отца.

Парень с двумя руками не родился в Долине, но, несмотря на это, любил говорить, что его «городские Йофы» больше земледельцы, чем мамины «Йофы из Долины», которые, как он объяснял, держали поле и коровник «для видимости» и «чтобы занять Апупу и дать ему чувство собственной важности», а жили за счет технических изобретений Жениха. А его семейство Йофов хоть и обитало в городе, но имело небольшое и деятельное вспомогательное хозяйство из нескольких цитрусовых и нескольких лиственных деревьев, а также «птичник, и козу, и огород».

Его отец был специалист-штукатур и маляр, а мать домашняя хозяйка, вносящая свой вклад в семейные доходы тем, что пекла пироги и вакцинировала кур, и оба они покинули сей мир еще до того, как я в него пришел. У него была еще сестра, намного старше него,

которая уехала в Америку, когда брат был младенцем. Один раз она приехала в гости, а иногда присылала нам подарки, но расстояние и среда уже сделали свое дело: несмотря на свои насмешки и отчужденность, мой отец стал настоящим Йофом. Кстати, когда он умер, его сестра послала нам книгу стихов, и моя мать сказала тогда, что ее золовка — единственный человек в мире, способный послать подарок на похороны.

Только два воспоминания связывали моего отца с кварталом его детства в Нетании. Одно относится к самым прекрасным из дней в жизни каждого города, дням детства, когда молодой городок прорастает то тут, то там, запуская в землю корешки своих жилищ и протягивая осторожные усики улиц межхолмов и дюн. Я, конечно, не имею в виду Хеврон, или Иерусалим, или Тверию, или Цфат. У этих нет ни песка, ни детства. Они родились, как есть, сразу старые и спесивые, и пришли на свет единственно для того, чтобы основать и заселить свои кладбища и святые места. Я имею в виду города, над которыми мы все посмеиваемся с добродушной язвительностью: Холон, Нетанию, Бат-Ям, Крайот\*, а также тот, что постарше, Тель-Авив, — все эти города, которые возникли из песков на глазах своих жителей и кварталы которых, точно дикие арбузы, выросли вдоль заброшенных живых изгородей, на обочинах слепающе-желтых и пылающе красных троп. Днем здесь уже можно увидеть автомашины и первые

\* Крайот — общее название всех северных пригородов Хайфы.

декоративные палисадники, но по ночам тишину все еще нарушают цитрусовые деревья и шакалы — одни своим ароматом, вторые — своими рыданиями.

А другое воспоминание — та девушка, которая однажды, в жаркий день, поцеловала его в темной прохладной тени кипариса. Им было тогда пятнадцать лет, и они вдвоем возвращались из школы, босиком, как обычно, держа в руках сандалии и наслаждаясь тем, как скользит песок под босыми ногами. Они остановились под тем кипарисом, потому что в тот день краснозем раскалился больше обычного и девушка решила снова надеть сандалии. Она застегивала их одной рукой, а другой держалась за его руку и, выпрямившись, на мгновение потеряла равновесие и вдруг оперлась на него, неловко охватив обеими руками, — внезапно прижавшееся, округлое, прильнувшее, гладкое и неожиданное приближение губ, влекущих за собой все тело.

Он помнил ее рот, лишь слегка приоткрывшийся, «как будто ее губы раздвинуло любопытство, а не желание», и мы оба, я в своем воображении, а он в своем воспоминании, подумали о прохладной, трепещущей рыбешке ее языка, «еще моложе ее самой», и ощутили свежий, липкий запах кипариса, и почувствовали жар красного суглинка меж пальцев ног, и почувствовали приятный холод девичьей щеки, которая после мимолетного поцелуя на мгновение коснулась его щеки и тут же отпрянула и отвернулась.

Почему он говорил со мной так откровенно? Может быть, боялся, что из-за матери я буду сторониться

женщин, и хотел показать мне их с другой, хорошей стороны? А может, хотел сохраниться не на дне одежного шкафа, не в ящике для носков, а среди шелковых платков моей памяти? Или потому, что я был единственным сыном, первым и последним порождением его мужской силы? А может, просто распознал, что я, совсем как он, люблю в любви ее маленькие детали?

И не только я. Спустя годы, когда я рассказывал Габриэлю, что делала со мной Аделаид, дочь Батии, он не сказал, как Рахель: «Как ты мог, Михаэль, ведь это твоя двоюродная сестра...» — а начал расспрашивать меня о мельчайших деталях произошедшего: «Что значит — “и тогда мы поцеловались?” Как именно? Вы оба стояли? С какой стороны? А что раньше? А какой рукой она обняла тебя сначала? А ты? Ты сделал ей то же самое, что она тебе? Или стоял, как жена Лота? А ее тело? Только прижалось или двигалось тоже?» — пока я не сказал: «Но, Габриэль, Габриэль... Я не думал, что это тебя интересует...» — и он с дружелюбием костолома похлопал меня по плечу и засмеялся.

Но отца я не расспрашивал, потому что, поверх любопытства, между нами существовала молчаливая круговая порука грешников. Мои трапезы у Ани по возвращении из школы стали регулярными, почти ежедневными, а его обеды у Убивицы стали роскошными, и их запах уже поднимался во «Двор Йофе», стекал по склону холма в деревню и накрывал ее облаком догадок и зависти. И мы оба выходили к ним через тот же самый проход и шли по одной и той же троп-

ке до точки ее разветвления, и, как это всегда бывает в деревне, оба мы были в конце концов замечены, и слухи достигли матери в облике трех женщин, назначивших себя провозвестницами.

Что касается меня, то я тут же был вызван на скорый суд и даже допрошен в присутствии троих, но был спрошен лишь об одном: «Чем она тебя там кормит, я требую знать».

«Ничем», — ответил я без промедления, и мать снова заклала меня не «питаться» у чужих, тем более у чужих, не соблюдающих правила вегетарианства.

Что касается отца, то она не скрыла от своих гостей тех глубоких подозрений, которые питала по его поводу.

— Я прекрасно знаю, что там происходит, — сказала она.

— Что? — наивно спросили три вестницы.

— Происходит самое ужасное. Он ест там мясо. Я чувствую этот запах в его теле. К его запаху апельсинов, что нормально, добавился запах жаркого.

Три женщины усмехнулись, сдвинули лбы, пошептались, и цветок их голов снова раскрылся.

— Это спорно, Хана, что такое нормальный запах, а что нет, — сказали они, — но главное, что мы тебе сказали.

Только один раз поцеловались мой отец с той девушкой, и с тех пор она опять не обращала на него внимания. Иногда он видел ее на улице — сумеречное солнце вычерчивало ее тело на экране платья [заходящее солнце рисовало ее силуэт] [на тонкой ткани ее платья], непокорный, дикий запах исходил от ее тела.



Его ночи вылиняли до белизны, кожа раскрыла все поры, губы потрескались. Она больше не приближалась к нему, а он — в темноте, наедине с собой — всё говорил, и говорил, и повторял ей слова, которые боялся произнести в ее свете. Но пока он набирался смелости, прошел год, и их маленький городок заволновался: девушка забеременела от одного грубого парня, сына пекаря из соседнего квартала, старше ее на год; его принудили на ней жениться и устроили им унылую свадьбу, свадьбу двух подростков, которые не любили друг друга, но рады были хоть немного повеселиться — он с приглашенными друзьями, она — с приглашенными подругами.

Молодой муж был из тех парней, что грезят о войне и своем в ней участии. Он был низкорослый, широкоплечий, с торчащими ушами и выращивал угри и собак. Он выдавливал одни, дрессировал других и тренировался в кружке рукопашного боя.

Я смотрел на отца сквозь полуприкрытые веки, не зная, что вот таким буду видеть его и сейчас, в покинутой им цитрусовой роще в Галилее, где он впервые рассказал мне эту историю. Солнце спускалось у него за спиной, затеняя его лицо и окружая густые волосы серебристо-золотым сиянием.

Через несколько недель после свадьбы подросток-муж убежал из дома и от своей жены и вступил в Хагану. Девочка-жена покинула комнату, выделенную им его родителями на задах пекарни, и вернулась в дом своих родителей. В школу она пришла с огромными недоумевающими глазами, с пузом, которое росло со дня на

день, и с грудями, которые только-только начали расти: еще не выпустили бутоны, еще не узнали друг друга, а беременность уже вынудила их подняться и набухнуть.

Учителя не решались проверять ее уроки, дети держались от нее подальше. Мордехай Йофе не обходил ее и не боялся, лишь опускал глаза, когда проходил рядом. При виде ее худых, исцарапанных девчоночьих ног, подымавшихся из высоких коричневых ботинок и исчезающих под платьем для встречи в низу живота, у него теснило сердце. Ее широко расставленные серые глаза смотрели на него, высвобождая и снова загоняя внутрь его сердечные терзания: уходи, останься, здесь, там, далеко, близко, сейчас, всегда, никогда, потом.

— Почему? Потому что бывает, что важные решения принимаются за долю секунды. Достаточно правильного поворота головы, когда какая-то определенная песня звучит по радио или в памяти. Иди знай. Иногда достаточно, чтобы пахнуло жимолостью от светло-желтого платья. А иногда, ты еще увидишь, Михаэль, женщина, что отталкивает тебя в Тель-Авиве, притягивает тебя в Зихрон-Якове.

Однажды, когда, сокращая путь, отец пересекал рощу по проселочной дороге, он вдруг столкнулся с ней. Они были одни. Он застыл, как вкопанный. Она стояла перед ним — дыни грудей, *пшеничный холм живота*, тонкий стебелек белой шеи.

Она сказала:

— Ты больше не хочешь со мной говорить?

— Я не могу. — И он убежал.

Через три месяца отец сдал экзамены на аттестат зрелости по программе мандатных властей и пошел в Пальмах. Тут обнаружился его скрытый талант разведчика и способность ориентироваться на местности. К его природной основательности прибавилась обостренная интуиция и таинственный дар, отличающий подлинных разведчиков от простых читателей топографических карт: угадывать продолжение изгиба оврага, знать, как выглядит вторая сторона холма, представлять себе скрытые впадины и выступы — вещи, которые обычно требуют открытой фонтанеллы.

Но судьба не дала отвлечь себя всем этим и продолжала свои козни. Возбужденная множеством новых возможностей, она начала действовать по всем направлениям и фронтам сразу: на восьмом месяце беременности девочка родила мертвого младенца, ее ненависть к мужу стала еще сильнее, и, когда мой отец — никто бы не мог предположить связи между этими событиями — потерял руку и вернулся домой на поправку, она появилась снова.

— Я слышала, какая беда с тобой случилась, — сказала она, — и подумала, что тебе нужна помощь.

Но ее муж всё еще был в армии, и время было слишком поздним, чтобы оправдать ее слова, и серп луны — слишком узким, чтобы осветить правду, и оба они были уже слишком взрослыми и печальными — он из-за потери руки, она из-за потери ребенка, — чтобы поверить тому, что она сказала.

Есть такие женщины, объяснил мне отец, которые возвращаются снова и снова. Некоторые выби-

рают себе для этого одного мужчину, другие живут с одним, а возвращаются к другому, а есть такие, что возвращаются к трем или четверем, «как пастух проверяет стадо свое». А может быть, есть мужчины, что пробуждают во многих женщинах такое влечение и удостаиваются повторяющихся посещений более чем одной паломницы.

— Все, что нам нужно, это сидеть дома и ждать, — усмехнулся он, и я не спросил, кто эти «мы», к которым эти женщины возвращаются. Знакомы ли они друг с другом? Обмениваются ли они своими женщинами и историями?

Как бы то ни было, раз в год, или раз в три года, или раз в полгода — «Или каждые два часа», — добавляет Айелет — они появляются вновь с точностью и пылом малиновки — «наконец-то у тебя получилась красивая фраза», — что каждый год возвращается в тот же сад на ту же ветку и щебечет: «Это мое».

Некоторые не говорят ни слова. Входят и ведут себя так, как будто только вчера ушли, знают где-тонкие-стаканы-для-чая и на-том-же-месте-что-всегда чашки для кофе, и где-сахарница, и в-каком-ящике-ложечки. А некоторые стучат в дверь и говорят: «Не знаю, что со мной случилось», или: «Я должна была», или просто входят, как победительницы, хотя никому не известно, в какой именно войне. И тогда они помахивают старыми документами на владение, принимают к уже постиранным простыням, спрашивают: «Ну, что нового?» — и ищут ими же оставленные следы [афико-

ман\*, который сами же запрятали]. Они нюхают кончики пальцев, и проверяют морщины, и расшифровывают насечки иероглифов на ладонях и клинописные знаки на шее. Стирают с кожи залежи запаха чужих женщин. Распахивают дверцы грудной клетки и заглядывают под диафрагму — проверить, что там всё по-прежнему горячее и работает, что переключатели соединяют и разъединяют нужные цепи, что язык не забыт и то памятное дыхание все еще прерывается во время разговора и заходится во время любви.

Они набирают еще несколько летних часов и обновляют права, как будто это не они сами, а их Бог — вот кто послал их вернуться и копнуть старую землю: потучнела она или отошала; и ее хозяин — что с ним? *в шатре он живет или в укреплении?* — ибо это Бог свел нас в первый раз, — а отец продолжает свое.

— Почему бы вам не взвесить снова мое предложение, — гнусавит он, в совершенстве подражая Богу, этому дряхлому, разочарованному своднику, который уже забросил однажды все свои дела ради организации первой встречи, и сейчас вот снова представляет былых партнеров друг другу с той же хитростью, с которой правит их воспоминаниями: стоит оказаться в том же месте — в кафетерии ли, в мчащемся поезде, на пылающем пшеничном поле, на тротуаре, исчерченном полосами света и тени, на красноватой жар-

\* Афикоман — кусочек мацы, который глава семейства отламывает в ходе пасхального седера и отыскать который должен младший за столом, за что получает подарок.

кой тропе или возле кипариса у памятника, — и глазам открывается та первая памятная картина.

Эти двое были уже не те мальчик и девочка, что шли когда-то из школы домой, — теперь это была настрадавшаяся женщина и вернувшийся с войны, потерявший руку солдат, и у обоих у них собралась в душе горечь, и оба жаждали утешения и любви. Вначале они встречались тайком, в расщелинах известняка, под прикрытием дюн, в вечерней тени цитрусовых рощ, а потом в тайнике сеновала у товарища отца в близлежащем мошаве, парня, лежавшего рядом с отцом в госпитале после того, как обоим ампутировали руки, — отцу правую, его товарищу — левую.

Но тайна, как это обычно бывает с тайнами, раскрылась. Птица небесная, крылья слухов — и муж был вызван, явился, швырнул жену на пол и вернулся в свою часть. Спустя неделю он был убит, и по завершении семи дней траура его родители и родители вдовы пришли к Мордехаю Йофе. Двое отцов сказали ему, что, будь у него две руки, они сломали бы ему обе, а две матери добавили: «А также обе ноги», но, не желая бить парня, раненного в бою, они потребовали от него покинуть город.

Он, по его словам, просил ее уйти с ним, бежать вместе, но она вдруг отстранилась, и замкнулась в себе, и начала с тоской вспоминать о муже.

— Такие вещи случаются, Михаэль, — сказал он мне. — Пока муж был жив, она была моей, а когда он умер, решила быть верной ему.

Тут же появились товарищи отца из Пальмаха, вмешались в дело и вскорости нашлось решение: Мордехай Йофе был отправлен в нашу деревню, но ту девушку он так и не забыл. Он больше не пытался встретиться с ней, не подавал ей сигналов на расстоянии — разве что считать тоску тоже разновидностью сигнала — и, в отличие от многих других женщин и мужчин, которые не оставляют своих бывших любимых в покое, не выпрашивал сведений о ней и не искал ее следов. Будучи наделен совершенным душевным здоровьем, которое он частично передал и мне, он изгнал ее за пределы своей жизни в область мечтаний.

Но не за пределы своей смерти. Спустя много лет она появилась вновь — на его похоронах. Там я видел ее в первый и единственный раз и тем не менее сразу узнал: у нее одной не было прозвища и от нее одной не исходил запах апельсинов.

\* \* \*

С момента рождения ребенка Пнина совершенно обессилела.

— Когда он был внутри и я его ненавидела, у меня были силы, — сказала она матери и сестрам, пришедшим навестить ее в больницу, — но роды и любовь превратили меня в половую тряпку.

Хана наказала ей есть побольше миндаля, Рахель погладила ей лоб, Амума сказала:

— После родов с женщинами могут произойти самые странные вещи.

Пнина улыбнулась слабой бледной улыбкой, заметной только йофианскому глазу.

— Не после этих родов. Ненависть укрепляла меня, а любовь ослабляет.

Амума торопила ее дать ребенку имя, но Пнина отказалась и начала рыдать, роняя обрывки фраз: «Кто знает, выживет ли он вообще... Недоноскам не дают имен...» — а потом, невзирая на запреты врачей, поднялась с кровати, принялась ходить по палате и причитать:

— Зачем ему имя... Что за жизнь может быть у него? И у меня? И у бедняги Арона, который ни в чем не виноват?.. Пусть лучше умрет... Пусть лучше и я умру...

Но Амума, которая знала, как важны имена, и как они успокаивают, и как весь мир с его обитателями может рассыпаться без них, не отступилась. Как Адам Кадмон\*, как Бог и как Апупа, отмечавший границы и воздвигавший стены, знала и она: только так можно установить порядок и вступить во владение. Она вернула дочь на кровать и продолжала настаивать, пока Пнина не согласилась дать сыну имя, которое предложила Рахель: «Ури».

Гирш и Сара тоже пришли в больницу. Ребенка они не хотели видеть, но посидели у Пнины, улыбались кри-

\* Адам Кадмон (дословно «предшествующий Адаму») — каббалистический термин, означающий духовный прообраз первого человека; в строении этого прообраза символически отражается все строение Вселенной.



вой улыбкой и молчали, а на четвертую ночь пришла и Батия-Юбер-аллес. Она долго сидела у постели спящей сестры, они говорили тихими сдавленными голосами, гладили и вытирали друг у друга пот со лба, пока с больничного двора не послышался глухой рев осла, и Батия встала и сказала, что должна идти. Она поцеловала сестру в губы и погладила по голове, а утром, когда Пнина проснулась и увидела отца, отбрасывающего тень на ее кровать, она решила продолжать жить.

— Арон ждет тебя снаружи, — сказал Апупа. — Вставай и поезжай с ним домой, начинайте готовить свадьбу.

Пнина встала, не говоря ни слова. Слабая и испуганная, она вышла из палаты и пошла, пошатываясь и ударяясь о стены больничного коридора.

— Она поднялась, как будто она падала, — рассказывала Амума, желая передать грядущим йофианским поколениям не только новое выражение, но и свою ненависть к мужу.

Заждавшийся Арон в конце концов, встревожился, пошел разыскивать Пнину в больничном дворе и увидел, как она бредет по обочине главной дороги. Она села в «траксьон-авант» и за всю дорогу не сказала ни слова, только сидела и плакала, новым, тихим, дрожащим плачем, вбирая воздух нескончаемыми судорожными всхлипами.

Жених испугался. Он вдруг увидел, что есть слезы, вскипающие жарче капель сварочного олова, и звуки, непонятнее шума забившихся форсунок, и тайны, зага-

дочнее движения воздушных пузырьков в насосах. Но его суровая челюсть надежно запечатала его размышления, а логичный и упорядоченный мозг устремился на решение проблемы. После долгих колебаний он набрался смелости и снова произнес, не глядя ей в глаза, те слова, которые говорил ей за несколько дней до того, когда они ехали по той же дороге в противоположном направлении:

— Я выброшу все из головы, Пнина, я забуду и прощу, я буду тебе хорошим мужем.

Пнина не ответила, а когда они приехали домой, вышла из «траксьон-аванта», направилась в старый барак, он же склад инструментов и мастерская, а также Апупина семейная тюрьма для женщин, закрылась там и начала сцеживать у себя молоко, сцеживать и выплескивать его на пол. Сцеживать от отчаяния и выплескивать из-за утраты памяти, а может, наоборот, потому что у нас в семье для забвения не нужен алкоголь и не нужно пить. Наоборот: надо отворить и сцедить, излить на землю и выплеснуть на пол.

Годы спустя, когда я рассказывал всю эту историю Алоне, чтобы она знала, в какую семью собирается войти («Подумай хорошенько, прежде чем примешь решение», — сказал я ей многозначительно), моя будущая супруга рассмеялась и сказала, что я «глупый мужчина из психованной семьи», что Пнина сцеживала молоко по вполне простой и разумной причине — чтобы не пересохнуть, потому что, может быть, ее отец уступит и даст ей покормить сына.

Что до Апуны, то он, как только дочь исчезла, зашел в палату для недоношенных. Если бы не эта ужасная ситуация, можно было бы улыбнуться: самый большой мужчина в стране — два метра высоты на метр ширины, сто двадцать кило жесткого мяса и громового голоса, траурная борода, куриные мозги и бычьи копыта — бродит среди самых крошечных младенцев, каждый из которых может свободно уместиться на его огромной ладони.

Умом, которого у него никогда не было, умом роженницы, он немедленно опознал своего младенца и с мягкостью, ему никогда не свойственной, с мягкостью матери, сунул огромный палец в пустоту инкубатора, осторожно погладил ребенка и с новой смелостью, смелостью женщины, вытащил его оттуда.

Ужасающие цвета младенческой кожи, крошечные размеры недоноски, волосы, еще покрывавшие его лоб, — всё это нисколько не мешало ему. Ко всеобщему потрясению, он растянулся навзничь на полу и положил своего мальчика в углубление под ребрами, под грудиной. Он был крестьянином и, как истинный крестьянин, хотел, чтобы новорожденный привык к его прикосновению, голосу и теплу и думал бы, что это мать трогает его, что это ее запах достигает его носа, что это дрожь ее диафрагмы сотрясает его тело.

Сегодня, как я слышал, так поступают в каждом отделении для недоносков во всех больницах. Но тогда недоносков запрещалось брать на руки, и, когда сестры и врачи бросились к Апуе, тот сказал, что такой ребе-

нок нуждается не только в кислороде и инфузии, но и в прикосновении, а всем хорошо известно, что первый, к кому теленок прикоснется, чей запах вдохнет и чей голос услышит, навсегда станет для него матерью, — и для наглядного подтверждения издал короткое «Ммуу...».

— Здесь не коровник, — сказали они. — Уходите немедленно, это недоношенные дети!

Давид Йофе молча поднялся тем медленным, нескончаемым движением великанов, которое было так знакомо всем нам, но привело в смятение врачей и сестер. «Он подымался, и подымался, и подымался», а когда закончил это действие, завернул своего крошечного мальчика в маленькое мягкое полотенце от пота, которое всегда было у него в кармане и, несмотря на все стирки, уже впитало его запах и всегда сохраняло его тепло. Он положил его под рубашку, и — даешь, Давид, вперед, с прежней силой мужчины-из-мужчин и с новой решительностью женщины-из-женщин, — даешь, сквозь строй сестер и врачей, рожениц и мужей, расступавшихся перед ним, как травы перед сапогом, и сквозь двери, которые сами распахивались перед ним, страшась разлететься от удара.

Кто-то пытался крикнуть и был остановлен его взглядом, кто-то пробовал задержать и был отброшен к стене, и раньше, чем врачи пришли в себя и вызвали полицию, Апуа уже перепрыгнул через забор, пересек дорогу и спустился по маленькому вади к Долине, а оттуда по проселочным дорогам в полях направился на запад, пешком, полутораметровыми шагами,

как он привык и любил ходить, когда нес любимое тело — не важно, в люльке ладони или на плечах, не важно, дочь, младенца или женщину, согревая своего мизиника силой своего шага, баюкая его своим мерным глубоким дыханием, не задерживаясь возле какого-нибудь крестьянина, жаждущего посудачить со встречным человеком, не соблазняясь тенью дерева или его плодами, ибо мужчину, у которого наконец появился сын, невозможно ни остановить, ни испугать, ни задержать.

— Потому что такой мужчина, — объявил Апуа своей молчавшей жене, — может распротать руки от востока до заката, вот так, мама, смотри... — и раскинул руки во весь их размах, — одна рука касается жизни, а другая говорит смерти: возвращайся завтра, сейчас мне не до тебя. И скажи своей дочери, — велел он ей, — что моему сыну нужно молоко.

Но когда Пнина пришла, чтобы покормить своего сына, он прогнал ее.

— В бутылке! — закричал он. — Принеси мне молоко в бутылке! Чтобы он не думал, что он твой ребенок! — И позвал Жениха: — Поезжай в больницу, посмотри на их инкубаторы и построй мне такой же, но еще лучший!

Жених поехал, посмотрел и вернулся. Ему всегда было достаточно беглого взгляда, чтобы понять принцип действия любого механизма и пути его усовершенствования, и по возвращении он взял прототип одного из разработанных им брудеров для цыплят, про-

дезинфицировал и покрасил коробку, чтобы разобрать и почистить трубки до того, как высохнет краска, потом надел защитные очки и включил токарный станок.

— Нормальный мужчина, — сказала Рахель, — устроил бы в этом инкубаторе так, чтобы байстрик сварился там или замерз, но в нашей семье нет нормальных мужчин.

— Я, — сказал я. — Я единственный нормальный в семье.

Рахель смерила меня долгим взглядом.

— Ты извинишь меня, Михаэль, — сказала она наконец, — если я не отвечу на эту твою декларацию?

«Прославленный колченогий» установил в инкубаторе закрытую систему подачи масла, сменил форсунки, выточил предохранительные клапаны, проверил утечки. И хотя он знал, что Апуа предпочтет простые горелки электрическому обогреву — по той простой причине, что «электричество не видно глазом», а огонь видно, — он тем не менее установил параллельно с горелками систему электрического подогрева с аккумуляторной поддержкой. «Не хватало ему, чтобы что-нибудь, не дай Бог, случилось и его обвинили бы в этом».

Все время, пока Жених не кончил свою работу, Апуа держал ребенка в теплом закутке между рубашкой и своим телом. А потом, уложив своего мальчика в инкубатор, построенный ему зятем, он накормил его из бутылочки, принесенной дочерью, и, поскольку не слышал, что родители недоносков боятся давать сво-

им детям имена, а возможность смерти мальчика вообще не приходила ему в голову, — дал ему имя Габриэль\*. «Только его куриные мозги могли выбрать такое имя для недоноска, — сказала Рахель и насмешливо продолжила басом: — Габриэль! Мужчина из мужчин во всех отношениях...»

День за днем приносила Пнина бутылочки молока своему сыну, и вся семья помнит эту картину: молодая мать — чья красота, к великому ужасу, не увяла, а лишь еще больше расцвела после родов, — выходит четыре раза в день из старого барака, белая бутылочка белеет в белизне ее руки, поднимается по ступенькам на веранду своего отца, открывает сетчатую дверь и стучится в дверь деревянную.

В моей семье, как я еще и еще раз напоминаю себе, все помнят всё, ничто не забывается. Мы помним мягкую белуюруку, что стучит, и большую белуюруку, что высовывается, взятую полную бутылочку, ее возвращаемую пустую сестру. Терпение, Михаэль, повторяю я себе, честно и точно, улыбаться и не отступать, «как пишут рассказ, и как трогают женщину, и как выращивают дикий куст посреди сада». Мы помним пересыхающий рот и останавливающееся сердце. Слова: «А сейчас поди прочь» — и: «Нацеди и принеси новое». Он внутри, кормит своего мизиника,

\* Габриэль и Михаэль — два старших ангела в иудаизме, архангелы в христианской традиции (на русском — Гавриил и Михаил). Габриэль (*ивр.* «божий муж», то есть мужское начало) — это ангел-провозвестник. Михаэль (*ивр.* «кто как Бог») — ангел-заступник, предстоящий перед Богом за людей, провожающий души праведников в небесный Иерусалим.

а она снаружи, возвращается в свой тюремный барак — снова налиться молоком, сцедить, пойти и принести снова, — а тем временем полубратья Апупы, их сыновья и внуки работают на наших полях, чтобы Апупа мог растить своего сына.

«И тут мама решила, что ее ненависти недостаточно. Что этому человеку она должна отомстить по-настоящему, — рассказывала Рахель. — И прежде всего она покинула спальню и перешла спать в кухню».

— У него есть новый сын? — сказала она. — А у меня есть прежняя дочь. И Батиньку я тоже не забыла, мою девочку, которую он выгнал.

\* \* \*

Иногда, когда я отправляюсь навестить «Паб Йофе» или просто по делам, которые Алона посылает меня уладить в Хайфе — городе, о котором Жених не забывает отметить, что в нем много машин «опель», а Габриэль, именно Габриэль, говорит, что его женщины красивее женщин всех других городов, — на меня вдруг наплывает воспоминание о развевающейся и горящей ткани и о цветущих на ней анемонах, и тогда я захожу в магазин женской одежды и направляюсь напрямиком к вешалкам с платьями.

Я люблю юбки. Понимаю, что такая формулировка может быть понята неправильно, но я говорю



не о том, будто бегаю за юбками или сам их ношу. Я люблю смотреть на юбки, когда они прикрывают тело шагающей женщины. Я люблю ту игру, в которую воздух и плоть играют друг с другом по разные стороны ткани. Я люблю ее просвеченность, ее натянутость тут и свободу там, гадательное «где» и взволнованное «здесь», предположение и ответ. Продавщица, которая по ошибке полагает меня отчаявшимся мужем или дерзким ухажером — немногие мужчины осмеливаются сами покупать платье, — спешит мне на помощь с тем заинтересованным, насмешливым и удивленным выражением, которое она хранит для таких бедолаг, как я, и рекомендует мне то или иное платье с такой готовностью, будто я совершенный олух или приговоренный к смерти арестант, коротающий время до повешения.

Я отвергаю несколько слишком облегающих платьев, которые не позволят ногам быстрый бег, и несколько платьев, перегруженных складками и тесемками, а также платья-скатерти, платья-занавески и платья-синагогальные завесы, которые подошли бы женщине-столу, женщине-окну и женщине-свитку Торы. Кончается тем, что я прошу продавщицу оставить меня в покое, я выберу сам, и тогда она бросает на меня взгляд, который хранит для безвредных извращенцев, и наконец отходит от меня. И я, отобрав два-три платья, которые могут, при подходящих условиях и в соответствующем настроении, убедить придирчивого стража у врат моих воспоминаний, выхожу на улицу

и жду прихода отражения. Не копии, ведь копии нет, есть только намеки на сходство: короткие черные растрепанные волосы, рост, руки, ширина улыбки и шага — пусть появятся в виде примет совершенно незнакомой женщины, «молодой и красивой, решительной и смелой», ничего не знающей о величии своей роли.

И когда она появляется — а она всегда появляется, ведь моя фонтанелла видела ее, когда она еще была за углом, слышала ее шаги еще издали («где ты, мальчик, кричи, чтоб я тебя слышала!»), ощущала бурление кислородных пузырьков в ее легких, напрягалась в ответ на шелест ее бедер, — и когда она появляется, я спрашиваю ее (это я-то, я нынешний, который ни при каких условиях не заводит разговор с незнакомыми женщинами!) — не согласится ли она зайти со мной в магазин и померить для меня несколько платьев.

Странно. Каждая женщина, к которой я обращался с этой просьбой, смеялась и соглашалась. Она видит перед собой рядового мужчину средних лет, средней внешности и среднего роста, выражение его лица подтверждает, что он нуждается в помощи, а в голосе слышится неотложность и напряжение. Но что до меня — мой третий глаз уже предсказал мне улыбку, и согласие, и уверенное знание, что эта женщина уже выбирала себе в прошлом как раз такого мужчину, чтобы получать и доставлять удовольствие, и поддразнивать его, и подшучивать над ним, и бороться с ним, как парень с парнем [как две мангусты] [как мать с сыном].

И хотя она не знает, из тьмы какой бездны она только что появилась, эта чужая женщина входит в магазин, берет платье, которое я ей протягиваю, и исчезает в примерочной кабинке. С юмором, Михаэль, держись, подбадриваю я себя, опираясь на ближайшую стенку, прислушиваясь к шелесту ткани, препояшь чресла, вдохни, сейчас она выйдет из кабинки, вдохни поглубже, соберись с силами.

Иногда она подставляет мне спину, закрыть последние пять сантиметров застежки-молнии. Удаляется и возвращается, идет мне навстречу, поворачивается и снова отходит и, как в статье доктора Джексона: «Ее насмешливый взгляд задерживается на моей жалкой и опустившейся фигуре», а ее улыбка спрашивает: «Как я?» и «Как платье?» — и когда маленький барабан на моей макушке начинает гулко стучать, и глаза мои слепнут, и я уже не вижу перед собой ничего, только ощущаю ту знакомую жилу, что опять напряглась где-то глубоко внутри моего живота, грозя прорваться и залить меня той самой горячей жидкостью, я прошу ее выйти со мной наружу, к солнцу и свету.

Продавщица, которую поначалу все это забавляло, а потом перестало интересовать, теперь явно обеспокоена — уж не собирается ли эта пара мошенников улизнуть? [убежать с товаром?] <глагол «улизнуть» лучше было бы сохранить по отношению к смерти отца>. Но мы, незнакомка и я, уже поглощены собственными волнениями: я извлекаю свои из пучины воспоминаний о прошлом, она вставляет свои в моза-

ику воспоминаний о нынешнем, там они подождут встречи, что состоится у нее еще сегодня вечером с ее «пашминой»: «Ты не поверишь... Какой то незнакомый мужчина поймал меня на улице и попросил померить для него платье. Почему я не оставила это платье себе? Да как-то даже не подумала об этом. Как он выглядел? Просто себе человек. Я не обратила внимания. Не уверена, что узнаю его, если увижу снова».

Я обращаюсь к ней с просьбами и даю указания, не словами, упаси Боже, только взглядом, и незнакомая женщина выполняет их, одно за другим, — поворачивается на месте, распускает свои анемоны, прохаживается на цыпочках и приподымает руки — не слишком, только немного, чтобы мы оба знали, что сейчас, в приоткрывшихся рукавах, я могу различить округлые очертания ее груди. Она делает шаг ко мне. Не останавливайся, пройди передо мной, мой взгляд скользит мимо ее глаз, и, будучи женщиной, она понимает, что сейчас она — всего лишь элемент реконструкции, в которой у нее нет своей доли. И, будучи женщиной, она готова даровать эту долю чужой памяти и чужой любви. И так она проходит, понимая, что свет, мой пылающий союзник, и память, мой безмолвный союзник, проникают сквозь платье и открывают мне всё ее тело, и всё это, Михаэль, она делает не из жалости к тебе и не из симпатии к тебе, а только в силу верности другой женщине, с которой она даже не знакома.

С того дня в больнице Амума перестала варить Апупе, гладить его по голове и, понятно, хвалить. И тогда Апупа, пораскинув своими куриными мозгами, придумал глупую идею: когда она выходила посидеть на веранде, он приходил и прикрывал ее от солнца своим большим телом, как раньше, в надежде, что она вспомнит, и улыбнется, и простит. Но Амума только подняла усталую голову и сказала: «Ты заслоняешь мне солнце, Давид». И, словно этого мало, начала ходить в дом к Шустерам, играть там на пианино, которое те забрали в Вальдхайме. По вечерам деревня слышала ее игру, а по ночам — глухой, разносящийся над крышами зов: «Мама... мама... мама...» Никто не мог понять, что это, но деревенские мамы начали вставать со сна и спешить к своим детям в их кроватках, а убедившись, что те спят, выходили из дома, шли по направлению этих призывов и вскоре обнаруживали себя перед стенами «Двора Йофе». И поскольку они не знали и не могли себе представить, что это Апупа зовет по ночам свою жену, то рассказывали потом, что это Габриэль зовет свою мать.

Вначале Апупа взвешивал возможность пойти за нею к Шустерам, расколотить их ворованное пианино и утащить Амуму за волосы домой, тоже запереть в бараке и тоже наорать на нее через стену. Но даже он смирился в конце концов с мыслью, что «те времена» уже миновали, тем более что Жених предложил ему

более простую и привлекательную идею: купить у Шустеров пианино «и привезти его Мириам в подарок».

Апупа сказал, что идея ему нравится, но он уверен, что Шустеры его обманут. Во-первых, у них был на то мотив, во-вторых, у них есть на то склонность, а в-третьих, у них будет для этого случай, потому что он, Давид Йофе, может назначить цену любой корове, или саженцу, или лошади, но он не знает, сколько должно весить пианино, и какие зубы у него нужно проверять, черные или белые, и какая порода пианино хороша, а какая фирма никуда не годится.

Арон вызвал на помощь своего отца, и супруги Ландау прибыли из Тель-Авива. Скрипач выглядел бледным и раздраженным даже больше обычного и объяснил, что накануне играл в гостинице в Нетании и ему недодали при расчете. А Сара с довольным видом показывала всем очередную нитку золотистых камней, которая присоединилась к прежним и искрилась на ее шее.

Гирш с Ароном спустились к Шустерам, и Арон, не желая, чтобы эти конокрады узнали истинную цель покупки, взвинтили цену и распустили слухи, сказал им, что хочет купить пианино для Пнины.

Шустеры, не зная, что ответить, стали уходить от разговора, и тогда Гирш вскипел и сказал:

— Будьте любезны ответить. Вы готовы продать? Да или нет?

Шимшон Шустер сказал:

— Нет.

Арон сказал:

— Но ведь вы на нем не играете.

Шимшон Шустер сказал:

— Откуда ты знаешь, сто мы не играем? Я, например, только всера сыграл селую симфонию.

Гирш сказал:

— Сопена или Сибелиуса?

А Арон сказал:

— Если бы ты играл, мы бы слышали.

Тут в разговор вмешалась Шуламит Шустер и сказала:

— Мы играем, но осень-осень тихо, стобы не рас-  
трасивать струны, — и сняла чехол с пианино, стобы  
все увидели блеск.

Гирш умолк. Он сразу понял, что его предположе-  
ние верно и это пианино — настоящий Бехштейн, и  
теперь испугался, что если опять заговорит, то голос  
выдаст его волнение. Однако через несколько минут  
он совладал с собой и сказал:

— О чем мы спорим? Ведь вам не нужна эта разва-  
лина, а мы хотим купить ее и наладить, и всё это для  
Пнины, которую, извините меня, вы хорошо знаете, и  
у вас есть своя доля в ее беде.

А Арон сказал:

— Хватит представляться. Говорите сколько, и  
кончим на этом.

Но Шустеры торговались отчаянно, и торг не кон-  
чился за одну встречу, и в последующие приходы

Арону пришлось починить и наладить много вещей как во дворе у Шустеров, так и у них в доме. Однако в конце концов компромисс был достигнут, руки протянуты и пожаты, банкноты пересчитаны, и переданы, и пересчитаны повторно, и тогда Шустеры начали весело хихикать, как будто ухитрились все-таки всучить своим покупателям кота в мешке. А когда Арон спросил, чему и почему они так рады, они сказали:

— Потому сто мы не включили доставку и теперь доставка за ссет покупателя.

Гирш посмотрел на них и понял, что, достань ему ума вселить в них еще большую уверенность в том, что им удалось обмануть своих покупателей, он мог бы купить это пианино куда дешевле.

— Конечно, перевозка за нами, — сказал он. — А вы что, думали, что мы доверим вам перевозить пианино, которое стоит вдвое против того, что вы запросили, и вчетверо — того, что получили?

Лица у Шустеров вытянулись. Шимшон хотел уже было крикнуть, что сделка расторгается, но в этот самый момент дверь дома широко распахнулась и на пороге появился Апуа, нагруженный деревянной платой, одеялами, веревками и палками и наискось перевязанный широким синим ремнем грузчиков.

С того времени, как он ворвался сюда в тот вечер, когда узнал о беременности Пнины, Шустеры не видели его ни разу. Теперь он встал в стороне, не удостоивая их ни словом, ни даже взглядом и предоставляя им переварить столь неприятное для них открытие,



что покупатель пианино в действительности он, а не его зять.

Арон занялся организацией перевозки. Пианино и дверь он измерил уже в первое свое посещение. Сейчас он положил на пол круглые палки, а на них деревянную плату, обернул пианино одеялами, и они с Апупой уложили его на плату и выкатили из комнаты. Там его перевязали синим ремнем, и Апупа, подложив седла из подушек на затылок, спину и плечи, наклонился и перенес ремень себе на лоб. Двумя руками он ухватил две нижние перевязи и с огромным усилием выпрямился. Ни единый звук не вырвался из его сжатых губ, но из глубин пианино послышался глухой мягкий стон, который присутствующие истолковали каждый по своей склонности: кто — как стон боязни, кто — как стон надежды, а кто — просто как стон удовольствия. Апупа медленно двинулся через двор на улицу. Арон, торопливо прихрамывая, шел перед ним, убирая с дороги камни и другие препятствия, о которые он мог бы споткнуться, а Гирш шел следом и, как в том давнем походе, смотрел на них и облизывал сухие губы.

С багровеющим лицом, с грохочущим сердцем, Апупа начал подниматься на холм. Слух уже разлетелся по деревне, и десятки людей собрались глянуть на это зрелище, недоумевая, почему Давид Йофе не погрузил пианино на платформу, прицепив ее к упряжке лошадей или к «пауэр-вагону». Но Апупа хотел принести пианино именно так, на своей спине, на глазах у всей деревни, и так, на глазах у жены, войти во двор,

и так пройти к ней, и стать перед ней на колени, и поставить свой дар у ее ног, а когда она сядет играть, — он не сомневался: она сядет играть незамедлительно, — положить голову ей на колени и снова ощутить ласку ее руки и похвалу ее слов.

Через несколько десятков метров он остановился — жилы на его шее страшно вздулись, со лба ручьем струился пот. Все испугались, что у него кончились силы, и уже были такие, что затаили дыхание, и такие, что застонали от жалости, и такие, что злорадно усмехнулись, и только Гирш понял, что это пот слепит и жжет ему глаза. Он выхватил из кармана Апупы его маленькое мягкое полотенце и вытер ручки пота на его лбу.

Апупа двинулся дальше, поднимаясь по кипарисовой аллее, которую насадил когда-то, и деревня шла за ним, как на похоронной процессии. У заранее открытых ворот «Двора Йофе» он снова остановился и простонал: «Жарко... » Гирш взял из тени кипариса кувшин с холодной водой, тоже приготовленный заранее, и осторожно плеснул ему на голову и на грудь, чтобы не намочить «Бехштейн».

У ворот стояли Рахель и Хана, Пнина выглядывала из окна барака, и пес тоже уже ждал хозяина — но не Амума. Не ждала, не погладила, не похвалила и даже не подошла к окну, чтобы поглядеть. А через несколько часов появилась откуда-то, увидела пианино, стоявшее в большой комнате и ожидавшее ее с открытой крышкой и сверкающими клавишами, захлопнула его и сказала:

— В этом доме больше никто не будет играть.

— И назавтра, — сказала Рахель, — Арон начал строить отдельный дом для себя и для Пнины.

\* \* \*

Жених попросил помощи у инженера Флоренталья, который в свое время проектировал фундамент для дома Амумы и Апуны. За прошедшие с тех пор годы инженер получил приличное наследство, забросил инженерное дело и отдался своей истинной страсти — фотографии. Кстати, у него была и еще одна область интересов: он тайком изготовлял взрывчатку для тех мин и гранат, которые Жених производил для Пальмаха и Хаганы, — и его заветной мечтой было, по рассказам Жениха, соединить обе эти сферы своих интересов, а именно — изобрести такие мины, которые взрывались бы, когда на них попадает солнечный свет или их освещают фонарем.

— На твоем месте, — сказала Рахель Арону, — я бы не навещала его на восходе.

Инженер Флоренталь был не только талантливым специалистом, но и большим ненавистником исследователей из хайфского Техниона. Эти исследователи, по его утверждению, игнорировали его идеи и насмеялись над «сомнительными методами» его экспериментов. Сомнительные или нет, но факт состоял в том, что именно благодаря этим методам инженер Флоренталь сумеет — в недалеком будущем — открыть химическую

реакцию, которая стирала сфотографированные предметы или людей уже на стадии проявления и притом так, что от них не оставалось совершенно никаких следов. Сегодня это легко сделать с помощью компьютера и «Фотошопа», но тогда это было большое достижение.

Теперь он пришел во двор, долго говорил с Ароном, колебался и сомневался, но в конечном счете согласился помочь в строительстве дома, при условии, что позже ему позволят сфотографировать свадьбу.

Флоренталь начал чертить и рассчитывать, Арон — строить, а Рахель — цитировать: «Собрал орудия свои, которыми работал, и установил могучую наковальню на подставку... И протянул правую руку, и схватил тяжелый молот, и взял клещи левой рукой...»\*. Она тоже радовалась постройке нового дома, ибо хоть и была самой молодой из дочерей, но хотела выйти замуж за своего Парня и не переставала надоедать с этим родителям. Но Амума — потому ли, что ее жизнерадостность исчезла с тех пор, как уехала в Австралию Батия и забеременела Пнина, или же потому, что не хотела выдавать замуж младшую дочь раньше старших близняшек, — всякий раз ей отказывала.

Вначале она говорила: «Когда Батия вернется», что в переводе с йофианского означало: «В конце времен».

\* «Собрал орудия свои...» — из рассказа об изготовлении богом Гефестом нового оружия для Ахилла (Гомер, «Илиада», песнь 18, стихи 476—477), в переводе Гнедича это выглядит так: «Тяжкую наковальню насадил на столп, а в десницу / Молот крупнейший взял, и клещи захватил он другою».

Потом сказала: «Раньше перестань сосать палец. Его родители не позволят ему жениться на тебе».

А в конце концов сказала: «Подожди Хану и Пнину, и мы поженим всех вас троих вместе».

Рахель возмутилась:

— Я не хочу выходить замуж с ними одновременно. Свадьба Пнины будет печальной, а Хана подаст гостям на сладкое люцерну.

Она настаивала и требовала, и Амума придумывала всевозможные отговорки, вроде тех, что придумывала Пнина, чтобы отложить свою свадьбу, а в обоснование привязывала каждую из них к временам года, придавая им силу законов природы. Сначала сказала: «Сейчас лето, слишком жарко для свадьбы». Потом сказала: «Осень сейчас, отец не в настроении веселиться». И под конец привела самый притянутый за уши предлог: «Сейчас зима, гости нанесут мне грязь в дом».

Но когда она сказала: «Сейчас весна, и у меня нет сил устраивать в один и тот же месяц и свадьбу, и большую уборку к Песаху, и пасхальный седер», Рахель не выдержала, отправилась в Тель-Авив и сама вышла замуж за своего Парня. И до сих пор в семействе Йофе рассказывают, как не отец и мать невесты, согласно традиции, а ее жених купил Рахели свадебное платье, и как он, а не они, купил ей фату и туфли на свадьбу, и как Рахель с ним появилась потом во «Дворе Йофе» и сказала, что они уже поженились и теперь нет больше необходимости придумывать отговорки.

— Как это «поженились»? — рассердилась Аму-  
ма. — Что же, его родители думали, что у тебя нет ни  
отца, ни матери? И кто повел тебя под хупу?

— Гирш и Сара, — сказала Рахель.

— Ты пригласила их на свадьбу и они не рассказали  
нам?

— Я просила их не рассказывать.

— Почему?

— Потому что они пришли на свадьбу в качестве  
родителей невесты.

При этих словах Амума, которая уже начала было  
всхлипывать, зашлась странным клекотом. Она стала  
задышаться и даже стонать от смеха:

— В качестве родителей невесты?.. А Сара, наверно,  
объясняла всем, что подать, и что надеть, и где стоять,  
и что делать?

— Как раз нет, — сказала Рахель, — она вела  
себя очень хорошо, и все восторгались ее ожерель-  
ем, а Гирш, в качестве отца невесты, играл, и роди-  
тели жениха сказали, что породниться с семьей  
музыканта — это не только честь, но также эконо-  
мия.

Тут звуки, рождавшиеся в горле Амумы, снова  
превратились во всхлипывания.

— Ты поступила ужасно, — сказала она.

— Если бы вы позволили нам пожениться здесь,  
как положено, ничего этого бы не произошло. Мои  
настоящие отец и мать повели бы меня под хупу, а  
Гирш и Сара пришли бы в качестве гостей.

Несколько дней спустя в ворота «Двора Йофе» постучалась пожилая пара, и когда Апупа крикнул из-за стены: «Кто там?» — они ответили: «Семья». Он уже вознамерился было загадать им загадки, вынести буханку и потребовать входные пароли, но Амуме достаточно было взглянуть, и, она тут же поняла, что это ее новые родственники, родители Задницы и Парня. «Я уже бегу!» — крикнула она, открыла ворота и смущенно улыбнулась. И первым, что узрели ее глаза, а затем и глаза других Йофов, было доказательство того, что знаменитая задница Задницы не подкралась к ней, как мы всегда думали, в каком-нибудь темном переулке, нагло приклеившись к ней сзади, а досталась ей прямым, обычным и законным путем наследственности. Но одновременно выяснился и другой, куда более удивительный факт: что это не мать наградила Задницу ее богатейшим задом, а как раз отец — невзрачный еврей, обделенный от природы ростом, но наделенный взамен внушительными ягодицами, «очень похожий на доктора Дулитла\* на рисунках Хью Лофтинга в издании “Искусство”», — сказала Рахель и описала мне, как тесно было его огромному задку в узких брюках с высокой талией и пряжкой пояса прямо под грудиной.

\* Доктор Дулитл — герой серии детских книг Хью Лофтинга (1886—1947), ветеринар, умеющий разговаривать с животными; свободный пересказ первых книг о нем составил основу «Доктора Айболита» Корнея Чуковского.

Родители молодого супруга с удивлением обнаружили в доме невесты совсем не тех родителей, которых видели на свадьбе. Но поскольку свадьба была уже свершившимся фактом, все, включая Апупу, вели себя благоразумно и сдержанно, а мать Задницы, когда ей объяснили, кто такие скрипач и его жена, сказала:

— Ну, ладно, я так понимаю, что в ближайшем будущем они тоже будут нашими родственниками, значит, это не страшно. Так мы послушаем игру Гирша еще на одной свадьбе.

Выяснились и еще несколько обстоятельств: что не только Парень, но и его родители очень любят компот и что у них есть странный обычай — указывать возраст каждого упомянутого или увиденного человека относительно возраста их сына. Они пожимали руки всех Йофов поочередно, сообщая друг другу громким голосом: «Старше Хаима», «Моложе Хаима», «Примерно в возрасте Хаима», «Точно в возрасте Хаима». Йофы спросили, кто такой Хаим, чей возраст является для них мерилom возраста других, и родители Парня, явно удивленные, сказали, что Хаим — это их сын.

— Тот самый, что женился на вашей дочери, — объяснили они с раздражением: как может семья отдать свою дочь парню, не зная его имени? Но Йофы спокойно объяснили, что у нас важны прозвища, а не имена, и тут же губы приблизились к ушам и взволнованно передали новость: «Нашего Парня зовут Хаим».

Но этим дело не кончилось. Новый родственник не допил поданную ему чашку чаю и в ответ на воп-



рос почему сказал: «На будущее попрошу лимон». А его жена, которая выглядела так, будто любое удовольствие доставляет ей страдания, взяла на кончик вилки лишь одну крошку, попробовала, кивнула, но остальную еду оставила в тарелке. Все решили, что это особый городской обычай воспитанного поведения за столом и аристократического этикета, и некоторые из присутствующих даже попытались ей подражать, но в конце трапезы она произнесла обиженную фразу, которую повторяла также в последующие дни: «Никто не обратил внимания, что я ничего не ела».

Это был новый и особый способ привлечь внимание, и Йофы обменялись взглядами, говорившими о быстром и восторженном усвоении двух новых выражений. Годы спустя, одним приятным полуднем, через несколько месяцев после нашей свадьбы, Алона потянулась в кровати и заявила: «Никто не обратил внимания, что я не кончаю», и я громко рассмеялся, обнял ее и почувствовал счастье — которое с тех пор, конечно, ушло, ибо «так это у нас в семье».

— Кто рассказал тебе об этом «никто-не-обратил-внимания»? — спросил я через несколько часов, когда ко мне вернулась память.

— Никто.

— Так откуда ты знаешь?

— Из твоего семени, балда, — засмеялась моя жена. — То, что ты забываешь, я впитываю.

В детстве я однажды услышал, как мама объясняет своим «гостьям» что-то по поводу «любовного акта». Когда я потом спросил ее, что именно она имела в виду, она наклонилась ко мне и сказала серьезно: «Любовный акт, Михаэль, — это Соитие», и слово «Соитие» она подчеркнула голосом низким и скрипучим, каким могли бы шептаться в доме престарелых ящериц.

Мне не нравились оба эти выражения — и «соитие», и «любовный акт». Может быть, потому, что я уже тогда был «тонкой натурой», как называет тетя Рахель мое отвращение к пошлости и грубости. Годы спустя, когда я услышал слова «любовный акт» от своей Алоны, я ощутил странный испуг. Не знаю, подхватила она эти слова, как и другие семейные выражения, у моей матери или принесла из своего дома. И вообще, я до сегодняшнего дня не до конца понял отношения этих двух женщин — моей жены и моей матери. Несомненно, что Алона нравится матери больше, чем все остальные члены нашей семьи, включая настоящих Йофов, а также меня самого, но скрывается ли под роднящей их энергичностью (у матери более монашеской и беззубой, а у Алоны — щедрой, ясной и улыбчивой) подлинная симпатия? Может быть, это просто взаимоуважение, а то как бы не общая ненависть или общая цель?

Так или иначе, Алона уже не испытывает страсти. У нее нужно выпрашивать, ее нужно рассмешить, а ей

самой, как той девочке Айелет, нужно «спеть братцу песенку покуда, помыть кастрюли и посуду, картошку чистить, подмести ...» — короче, всё то, что для Ани было игрой, а для Аделаид упражнением в борьбе и выживании, для нее — просто доука, или, на ее языке, — «приставания».

— Почему ты все время пристаешь ко мне? — сказала она мне однажды. — Назови мне хотя бы одну причину, чтобы двое взрослых и вроде бы интеллигентных людей тратили время и силы на такое примитивное торчание одного внутри другого.

Я не назвал. Во-первых, у меня нет сил спорить. А во-вторых, в ее словах есть правда. Нет причины, по которой двое взрослых людей будут зря тратить время таким примитивным и расточительным образом вместо того, чтобы посвятить это же самое время народным танцам или хоровому пению. Страсть, не скрою, штука приятная, а ее удовлетворение приятнее вдвойне, но всё это занятие, если в нем нет любви, — не что иное, как выражение скучной человеческой потребности в заполнении и опустошении: как вдох и выдох, плевание, чихание и слезоотделение, зачатие и роды, запоминание и забывание.

Но я привязан к Алоне, даже если больше не люблю ее, и потому время от времени вписываю ей в дневник — среди памяток о встречах с красавцами поставщиками готовой травы и модными рок-танцовщиками с волосатыми ногами и грудью — свои намеки, напоминания и гневные пророчества в духе Жениха: «В

ближайшем будущем эту супружескую пару постигнет страшное несчастье» — в надежде, что это ее насмешит и она мне уступит.

Но почему, действительно, я к ней пристаю? — спрашиваю я себя. Ведь Алона не Аня, чье тело не забыто и чей запах не улетучился, которой ничто не уподобится и с которой ничто не сравнится. И не Аделаид, вся сила которой — в мышцах живота и в руках, швыряющих стаканы. И она остается той же Алоной даже в ту минуту, когда наконец соглашается. Ее первые объятия прерываются рассказами о ком-то, кого она встретила на улице и кто был с ней в детском саду сорок лет назад, и посреди поцелуя она вдруг говорит раздраженно: «В постели крошки». А иногда происходит самое страшное — ее грубая рука под видом ласки вонзается в мою открытую фонтанеллу, и тогда я вспоминаю, или пугаюсь, или получаю оба наказания вместе, и теряю всю свою слабую мужскую силу. Что, у нее и это намеренно? Как и ее: «Проверь, заперта ли дверь»?

Но с другой стороны, эти приставания в конце концов окупаются, потому что, «за всем этим», как цитирует Алона поэта Иегуду Амихая (она очень любила его стихи и даже отправилась на его похороны в Иерусалим, вместе с Рахелью, которая с годами пристрастилась ездить на похороны поэтов), — «за всем этим скрывается большое счастье». То есть, если наконец «приставале» удастся поймать свою партнершу на аркан ее собственного желания, она тотчас становится

решительной, целеустремленной, неуступчивой. Ее тело овладевает ею, как автомат овладевает стреляющим человеком, не давая оторвать палец, пока не кончится обойма.

И у нее есть то поразительное мгновенье, которое я научился узнавать, даже не чуя его провозвестников и не зная заранее того места, той заградительной проволоки, после которой мосты взрываются и уже нет пути обратно: все цветы на ее теле вдруг расцветают разом, и ее обычно кисловатый и холодный затылок становится теплым и сладким, и соски вдруг краснеют, и «левая», так она всегда сообщает, «хочет больше».

И тогда я изливаю в нее свое семя и вновь поражаюсь тем потокам, которые она из меня извлекает, а она жалуется на «лужи, которые ты оставляешь», и на то, что «из-за тебя мне опять придется стирать простыни», и «что бы ты ни делал, чистыми мы из этого никогда не выходим», а я еще успеваю объяснить, что «лужи» — из-за больших перерывов между «любобными актами», но тут же погружаюсь в одну из тех своих бездонных пропастей забвения, что длятся по два-три часа, а то даже и целый день или два, и отворачиваюсь — бледная тень, лишенная прошлого, любезная со всеми, чтобы не заметили, что я никого не узнаю, — или просто лежу и разлагаюсь в кровати, и Алоне приходится звонить и отменять все работы и дела, которые я назначил на завтра.

— Он неважно себя чувствует, — слышу я ее голос.  
Я? Я чувствую себя превосходно.

Все время после свадьбы на лице Парня сохранялось особое выражение, напоминавшее первых зябликов, прилетающих в Страну в начале зимы, — этакая смесь удовольствия и усталости. Вначале никто не обращал на это внимания, потому что в первые дни после бракосочетания это выражение навещает многих мужчин, но, когда эти дни умножились, а Парень каждое утро продолжал вставать с опозданием, Аума спросила его с неожиданным дружелюбием, отчего и почему он так устает.

Парень покраснел и смущенно улыбнулся.

— Ваша дочь не дает мне спать, — ответил он.

Аума сказала:

— Не страшно, — и объяснила, что страсть — как и еще некоторые вещи, которые откроются молодым в их совместной жизни, — утихает со временем. — Ты еще поспишь, — пообещала она ему, а в душе прошептала: «О, сколько ты еще поспишь».

— Это не страсть, — ответил Парень, — страсть можно удовлетворить и днем. Это недосып. Она всю ночь изо всех сил прижимается ко мне во сне, держит и не отпускает.

Аума, которой из-за отсутствия дополнения после сказуемого «держит» пришли в голову пугающие предположения и потрясенная возможностью удовлетворения страсти среди дня, пошла говорить с дочерью.

— Мама, ты не можешь себе представить, какой он приятный, — сказала Рахель. — Если бы ты спала с ним,

ты бы вела себя точно так же. Ты себе не представляешь, какой он гладкий и уютный и как у него всё лежит точно в нужном месте.

— У всех мужчин всё лежит точно в тех же местах, — сказала Амума. — Как и у нас, кстати. Если бы это было не так, чем бы зарабатывали швейные фабрики? У всех голова сидит на шее, ни у кого нет трех рук, и у всех ноги сходятся, «извини и пожалуйста», в тех же самых местах.

— Но у него это иначе! — сказала Рахель с восхищением, которое не ослабело со временем. — И это не вопрос одежды. Иногда даже сантиметр вправо или вверх всё меняет, а у него всё строго в правильном месте. Другие мужчины — как будто его незавершенные черновики, словно Бог делал много попыток, пока не дошел до него.

— Откуда у тебя эти глупости? — изумилась Амума. — Сколько мужчин ты знаешь, кроме него?

— Я удивляюсь тебе, мама, — сказала Рахель. — Достаточно узнать одного мужчину, чтобы знать, насколько он отличается от других.

Айелет, за моей спиной, смеется:

— Достаточно узнать сто, чтобы знать, насколько они все одно и то же.

Вот так, в одно и то же время, моя дочь посмеивается за моей спиной, моя бабка спорит со своей дочерью, а та продолжает свое:

— Каждая часть тела у него нужного размера — подбородок, промежуток между глазами, рассто-

яние между кончиками рук, и всё расположено у него так, что рука находит с закрытыми глазами. И пусть он не жалуется — когда я его трогаю, он улыбается во сне.

— Ты мешаешь ему спать, — подняла Амума голос. — Мужчины должны хорошо спать, чтобы им не мешали, чтобы не искали у них, где что лежит, и чтобы не измеряли их всё время. Ты что, портной? Ты гробовщик, который снимает мерку? Люди едят ужин, идут спать, говорят немножко, и раз в неделю делают то, что делают, если им уж так необходимо, и всё. Ночью спят, утром встают на работу. — И добавила сердито: — Нельзя их слишком баловать. Если ты будешь продолжать в том же духе, он утром не проснется, будет спать до обеда и начнет разлагаться в постели.

Рахель не поняла:

— Я тебя не узнаю, мама. Может быть, ты из-за этого перестала спать с отцом?

Но на самом деле Рахель просто не поняла, о чем говорит ее мать, а Амума не поняла, чему удивляется ее дочь. Апупа не был ни гладким, ни уютным, ни приятным. Были в нем горы и равнины, болота и утесы, места дождливые и засушливые, теплые и холодные, и из-за его огромного размера Амума не знала, все ли части лежат у него точно на нужном месте, потому что очень далеки они были друг от друга и любое измерение требовало долгих путешествий, которые уже изнурили и наскучили ей, не говоря уже о тех ночах, когда она уставала и никто не нес ее на спине.



И кроме того, Рахель была права, ибо с тех пор, как он принудил Пнину родить ему зачатого ею ребенка, и с тех пор, как Батия со своим Гитлерюгендом эмигрировала в Австралию, Амума вообще устранилась из жизни Апуны. Она больше не разговаривала с ним, и не варила ему, и, как я уже говорил, покинула их двухспальную кровать и переселилась в собственный угол. Поэтому ее интересовал теперь не промежуток между кончиками его распростертых рук, а расстояние между его протянутой в мольбе рукой и своей, отнятой.

После этого разговора Рахель отчаялась и, прожив у нас несколько недель, в течение которых ее Парень разочаровал всех, кто ожидал от него выдающихся успехов в сельском хозяйстве и слесарном деле, переехала с мужем в Тель-Авив. Там Рахель начала учиться на учительских курсах, а Парень днем работал в семейном магазине, а ночами продолжать страдать от молодой жены, которая во сне прижималась к нему сзади, взбиралась на него и садилась ему на грудь, закидывала на него ногу, сначала ту, а потом эту, перекатывалась по нему, ползала на нем, прижималась спиной к его груди, гладила, не просыпаясь, его бедра своими бедрами и измеряла все расстояния в нем расставленными заслонками своих ладоней и приставленными длинами его ног.

— Ни под каким видом! — закричала она, когда однажды утром он встал и сообщил о своем намерении вступить в Пальмах. — Ни под каким видом! Ты не пойдешь!

— Я пойду, — сказал он. — Каждый здоровый парень должен сейчас приготовиться к войне.

— Ты не здоров! Скажи им, что у тебя болит нос.

— При чем тут нос? — удивился Парень, который был вскоре убит и поэтому не успел узнать и выучить все наши семейные выражения. И снова объявил: — Я пойду, и там мне наконец удастся поспать, сколько я хочу и сколько мне нужно.

Но Рахель была права и еще в одном и, как настоящая Йофа, не упустила сказать: «Я вам говорила». Как она и подозревала, Хана потребовала, чтобы на двойной свадьбе — ее с Мордехаем и Пнины с Ароном — гостям подавалось угощение из «здоровой пищи». Она не согласна, сказала Хана, чтобы «событие, которое должно радовать, обернулось непоправимой бедой». Моего отца — вопреки тому, что произошло в последующие годы, — это позабавило, Пнине было все равно, Арон не осмелился возражать, а Амума уже лишилась своей силы. Но задним числом выяснилось, что волнение было излишним. Все равно никто не прикоснулся к угощению Ханы, потому что все потеряли аппетит при виде Пнины — ее белой кожи, белого венка и белого платья, слегка натянувшегося на чуть выпуклом еще животе, и ее холодной, сапфировой красоты, которая осветила лица гостей и судорожно сжала их желудки, когда была поднята ее фата.

Но были и довольные: инженер Флоренталь, которого позвали сфотографировать свадьбу, Гирш Ландау, который убедился, что Давид Йофе выполнил уговор,

Апуца, у которого были теперь и сын, и зять, и, наконец, сам Арон, маленький и хромой, очень черный на фоне белизны его жены и его рубашки.

— Ну, скажи мне, на что он похож, — шепнула Амума Гиршу. — На сгоревшую до конца спичку.

Сдержанная и суровая, она уже размышляла о следующих этапах своей мести, а Апуца, не догадываясь об этом, перемещался со двора в дом и обратно, то входил глянуть на своего мизиника, то выходил упрекнуть притихших гостей, говорил им, что надо радоваться, и сотрясал землю своим топаньем.

— Сыграй им что-нибудь! — крикнул он Гиршу.

Свояк поднял смычок, но мелодии взвивались так, как будто они падали. Даже Сара Ландау, которая умела танцевать и знала все последние модные танцы, не поднялась со стула. И гости со стороны моего отца, пальмаховские ребята, во все остальные дни — весельчаки и балагуры, молчали в углу двора. И даже присутствие Задницы — ребята из семьи позаботились, чтобы ей ни разу не попался стул, на котором она смогла бы поместить свою попу, — не исправило им настроения.

Инженер Флоренталь носился среди приглашенных, расставлял, надоедал, и сверкал магнием, и в конце попросил Сару Ландау собрать всех Йофов для «общей семейной фотографии». Все собрались и встали — у нас каждый знает свое место, — а сразу же после фотографирования, когда группа распалась на осколки, гости воспользовались инерцией распада, чтобы разлететься вообще. Через несколько минут двор уже опустел.

Спустя несколько дней, когда инженер Флоренталь принес фотографии, Амума рассмотрела их и заметила, что на общем снимке нет Арона и Пнины. Инженер Флоренталь испугался, извинился, сказал, что супруги, как видно, не захотели фотографироваться и что надо было вовремя обратить на это его внимание. Амума сказала, что теперь уже поздно сожалеть, и как бы невзначай спросила, есть ли способы убрать людей со снимка, когда они уже сфотографированы. Инженер сказал, что такие способы существуют, однако все они оставляют уличающие следы, но на обратном пути в Хайфу погрузился в глубокое раздумье.

Что же касается Жениха и его невесты, то они действительно ушли еще до фотографирования и скрылись в своем новом доме. В просторных комнатах стояли запахи свежей побелки, краски и дерева. Арон, знавший вкус жены и ее любовь к чистым и светлым пространствам, покрасил стены в очень светлый, почти белый персиковый цвет и поставил лишь самую необходимую мебель.

— Не грусти, Пнина, — сказал он, обращаясь к прямой, высокой белизне ее спины, и, когда она повернулась к нему, снова повторил, с той же неловкостью, как будто желая помочь: — Я буду тебе хорошим мужем.

— Я знаю, — сказала она, — и я не грущу, Арон. Я рада этому дому, мы сможем здесь укрыться от Семьи.

Снаружи доносились сиротливая мелодия скрипки и тихие голоса гостей.

— Ты думаешь о том парне, который был у меня? — спросила Пнина.

— Я не хочу говорить ни о чем, что связано с этим, и, уж конечно, не сегодня.

— Я была с ним только один раз.

— Это не важно, сколько раз! — взорвался Арон. — Ты была и, хуже того, ты забеременела. От семени кого-то другого. Вы, женщины, не понимаете, что это самое тяжелое для мужчины. Не только то, что он тебя трогал, а то, что его семя... Как на грядке... Попало в твое тело и принялось... — Арон задыхался. Он почти плакал. — И ведь те, кто тебя видит, они же не могут поверить. Беременна? Ты? С этой твоей белизной, и красотой, и чистотой? Моя мать предупреждала меня, она говорила, что можно отказаться от этого уговора, она сказала: «Эта женщина, Арон, не родит тебе детей». Как она была права и как даже она не предвидела всех возможностей... — Он схватил голову руками и вдруг напомнил Пнине того мальчика, которым он был, прежде чем вывернул бедро, охромел и почернел от боли.

— Я знаю, что твоя мать не любит меня, — сказала она, — это моего отца она хотела.

Во дворе воцарилась тишина. Гости уже улизнули. Пнина села на кровать, опустилась на спину и исчезла. Только глаза, рот и черно-махровая роза ветров ее волос выделялись на белизне простыни.

— Ляг возле меня, Арон.

Арон лег, застыв от страха и любви.

— Я закрываю глаза, закрой и ты.

Она проснулась задолго до рассвета. Арона уже не было. Он ушел в свою мастерскую. На нем висел договор, который нужно было выполнять, и работа, которую нужно было делать, и деньги, которые нужно было зарабатывать, и семья, которую нужно было обеспечивать. Пнина прошла по своему новому дому, осмотрела комнаты и улыбнулась при виде хитроумных устройств, которые он придумал специально для нее: кухонная раковина с вытягивающимся на шланге краном, первым таким в мире, душ, куда вода подавалась из солнечного бойлера, тоже первого в мире, потому что его зеркала поворачивались вслед за солнцем на осях в подшипниках, имитируя движение головы подсолнуха. Зеркало-трельяж, единственное в мире, которое могло уловить, вместить и отразить ее красоту, не раскаляясь при этом, и дверь с замком, на вид совершенно обычным, если не считать того, что он открывался только снаружи — «Вход затворен был дверями из чистого злата... хитрой работы искусного бога Гефеста»\*.

Ее жизнь с Ароном, отметила она про себя, начинается с согласия: оба они хотят, чтобы она была закры-

\* «Вход затворен был дверями из чистого злата...» — из описания дворца царя Алкиноя («Одиссея», песнь 7, стихи 88—94, перевод В. Жуковского): «Вход затворен был дверями, литыми из чистого злата; / Притолки их из серебра утверждались на медном пороге; / Также и князь их серебряный был, а кольцо золотое. Две — золотая с серебряной — справа и слева стояли, / Хитрой работы искусного бога Гефеста, собаки...»

та в доме. Посмеиваясь над этим, она вдруг заметила странное явление: хотя она смеялась лишь в душе, про себя, ее смех отражался от стен. Свет заходящей луны проникал сквозь щели жалюзи, его полосы двигались по полу. Потом взошло солнце, слышались нетерпеливые, ожидающие шаги Апупы. Пнина сцедила молоко. В стене возле двери открылось маленькое отверстие, сделанное Ароном специально для этой цели. На другом его конце ждала рука Амумы, которая приняла полную бутылочку и поставила вымытую пустую на специальную полочку. Потом Амума отнесла молоко на деревянную веранду и занялась своими делами, но всё это время была погружена в размышления. Наконец она вошла в мастерскую и сказала:

— У меня есть к тебе просьба, Арон.

— Что?

— При случае, когда будешь в Хайфе, зайди к инженеру-фотографу, приятелю твоих родителей, и скажи ему так: Мириам Йофе просит передать — не просто людей и не просто со снимков, а Давида Йофе со всех семейных фотографий.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### ПАРЫ

Время не замедляет свой бег, не прекращает его, не отдыхает и не дает отдохнуть. Пустое заполняется, полное опустошается, *кривое делается прямым*. «А ровное становится сладким», — смеялась как-то Рахель, уже не помню над чем, сладкое — синим, синее — далеким. Я мог бы и дальше идти по этой влекущей, лукавой словесной тропе, но сейчас не время снова гореть — ни на пшеничном пылающем поле, ни среди цветистых, пустых словес. Поэтому скажу так: отношения между моим отцом и Убивницей, начавшись с простой «взаимопомощи», со временем переросли в желание и любовь. Добрый запах еды, союз обладателей общей тайны, вдобавок одинаково склонных к радостным грехам и авантюрам, — все это сплелось в те мокрые веревки, которыми люди в паре связывают друг друга.

Покров секретности, удовольствие от совместной трапезы, взаимная приязнь и покой, которые нис-



ходят на людей вообще и на мужчину с женщиной в частности, когда они вместе жуют и ощущают вкус еды, — всё это тоже делало свое дело, и еще до того, как они возлегли друг с другом, у них уже появились привычки, свойственные всякой паре: свои интимные словечки, свои переглядывания и свои сигналы удовольствия, и, когда «это» произошло, они почувствовали, словно соскальзывают в уже поджидавшую их клеточку. Посреди обеда, сидя за столом и разгрызая бедрышки запеченного барашка, они вдруг заметили, что уже несколько минут неотрывно смотрят друг на друга поверх обгладываемых костей. Мордехай Йофе положил свой кусок барашка на тарелку, и Убивица тут же сделала то же самое со своим куском. Оба они слегка наклонились вперед, и тогда Мордехай сказал:

— Кажется, пришло время сказать тебе, сколько радости ты даешь мне, сколько удовольствия...

Она улыбнулась и сказала:

— То же самое и с моей стороны, — и он поднялся, обогнул стол, подошел и опустился на колени возле ее стула.

— До сегодняшнего дня это была дружба, — сказал он. — Давай решим, что отныне это любовь. — И, поднявшись с колен, вернулся к своему стулу.

Почему они сразу не встали и не поспешили к кровати? По той же причине, по которой ждали от самой первой своей трапезы и до этой. По той же причине, как сказал отец, которую имела в виду Тора, когда запрещала сношение с животным.

## Глава пятая. Пары

— Оседлать ослицу может любой осел, но у существ культурных есть ритуалы и прелюдии, и они получают удовольствие от ожидания и от сознания, что вот, через несколько минут, сейчас, завтра, через два года, через месяц или через час.

И вот так, понимая суть той мечты и зная срок того ожидания, они закончили есть, смахнули крошки с губ, и он сложил тарелки в раковину, и она их помыла, и он их вытер и вернул на место в ящик и шкаф, а когда она развязала передник, отец прижался к Убивице сзади. Его рука хотела было обнять ее шею, но, вспомнив вдруг, что она у него единственная, спустилась наискосок от женской талии на бугорок лобка, тепло и радость которого можно было ощутить даже сквозь ткань передника и плотное полотно рабочих брюк.

За неимением второй руки он положил в ложбинку ее шеи свой подбородок. Она на мгновенье прижалась щекой к его щеке, а потом повернулась к нему лицом. Они поцеловались. Она сняла кухонные передники с себя и с него, повесила их на место и сказала: «Я пойду помоюсь, а потом ты тоже». И вернулась уже в домашнем платье, и услышала, как он моется под душем, а потом осторожно протирает тряпкой пол.

«Как дикие звери в лесу», — сказала мама, чье основополагающее мнение о муже не мог изменить никакой культурный ритуал. Культура или не культура, душ вместе или порознь — долгие годы вегетарианства породили у нее ту остроту чувств и то недоверие,

которое травоядные развивают в отношении гепардов и львов. Но отец не слышал ее слов, и не потому, что поедание мяса будто бы притупляет человеческий слух, а по той простой причине, что бедра Убивицы уже закрывали его уши.

Обычно человеку трудно представить себе своих отца и мать в таких ситуациях. Не друг с другом и, уж конечно, не с кем-нибудь посторонним. Но мой отец — тот недостающий и органичный кусочек, что спокойно укладывается в любой любовный пазл и с легкостью составляет пару с любой женщиной. Его голова поднялась по животу Убивицы к ущелью между ее грудями. Они были культурные существа — и она лениво перевернулась, чтобы он поцеловал ее и в затылок. Культурные существа — и его губы взъерошили нежный пушок на ее затылке и спустились на юг вдоль позвоночника. Теперь перед ним расстилалось поле ее спины и вставал ее запах. Она почувствовала, что по ее бедрам побежали мурашки, и засмеялась в матрац.

Каждый день я видел, как он одевается, нарезает хлеб, шнурует туфли, ведет одной рукой «рено-дофин» министерства сельского хозяйства, и несколько лет спустя, когда я спросил, как он одной рукой управлялся с женщиной, он сказал:

— Требуется терпение, и это трудно.

Мы и тогда сидели вдвоем, *отец буйный и сын непокорный*, почти по Второзаконию, в роще тех кровавых апельсинов, которые он посадил на своем экспери-

ментальном цитрусовом участке, выделенном ему в Галилее министерством сельского хозяйства, и тут он сказал, что я должен «подняться на ноги», прийти в себя после изгнания Ани из деревни и снова воспрянуть духом.

— Это тоже своего рода ампутация, и нужно ее преодолеть.

И вдруг начал говорить об Убивнице и сказал:

— С ней, Михаэль, это всегда были совсем особые отношения.

Я по сей день так и не понял, что он имел в виду, говоря «всегда», и что — говоря «отношения», и что — говоря «совсем особые», и почему он вдруг заговорил об этом с подростком, своим сыном, слишком молодым для чужих секретов и слишком поглощенным собственной болью, чтобы почувствовать боль другого. Но я ему прощаю, потому что, в отличие от своей матери, я не исправляю мир. Вместо того чтобы исправлять, я рассказываю, и вместо того чтобы проповедовать, я помню, и, кроме того, пусть этот мир сначала исправит меня.

\* \* \*

— Я хотела сварить тебе обед, — сказала Пнина вернувшемуся домой Арону, — но большой дом был заперт, а в кладовке ничего нет.

— Ты не должна варить. — Он торопливо прохромал в кухню. — Я принес еду, все, что нужно. Вот, и он

поставил на стол принесенную с собой закрытую кастрюлю, — тут всё, что ты любишь: вареники и пирожки, с мясом, и с кашей, и с картошкой, а вот овощи, и хлеб, и пиво. — И повернулся к ней: — Ты весь день сидела дома?

— Да, — сказала Пнина, — что мне делать снаружи?

— Ну и хорошо, — сказал Арон. — Дома лучше.

— Я постираю тебе рабочую одежду. — Она поднялась.

— Нет, нет, — испугался Жених, — я отдам ее прачке. Тут в деревне есть женщина, которая берет в стирку.

— К прачке? Но ведь теперь все деньги, которые ты зарабатываешь, нужно отдавать отцу и семье.

— Ты знаешь об этом? — вырвалось у него шепотом. — Откуда?

— В семействе Йофе нет секретов.

— У меня достаточно денег и будет еще больше, и мои дела с твоим отцом не должны тебя беспокоить.

— Они меня не беспокоят. — И она замолчала.

— Ты можешь читать, ты можешь слушать музыку, ты можешь шить, и рисовать, и писать, тут есть радио и граммофон, и я принесу тебе все книги и пластинки, какие ты захочешь.

Пнина продолжала молчать, и Арон, которого пугало любое состояние души, не связанное с практическим действием, с неожиданной поспешностью встал, почти вскочил, и повторил:

— Дома лучше. Я не хочу, чтобы мотыга натерла тебе мозоли, и я не хочу, чтобы стиральное мыло испортило тебе пальцы, и я не хочу, чтобы солнце сожгло тебе лицо и проложило морщины. Не для этого я на тебе женился.

— А для чего?

— Ведь ты сама знаешь.

— Я знаю, но я хочу услышать от тебя.

— Во-первых, потому, что так решили.

— А во-вторых, Арон?

Он смешался:

— Что во-вторых?

— Ты сказал «во-первых», так теперь должно быть «во-вторых». Скажи мне, что ты сам решил, не то, что решили за тебя.

— А во-вторых, — он потупился, — а во-вторых, из-за твоей красоты... — и добавил со смешком, который чужому уху мог бы показаться недобрый: — Как тебе самой хотелось смотреть на красивые дома в Тель-Авиве и хоть раз побыть с каким-нибудь красивым мужчиной...

— В конце концов вся эта красота кончится, — сказала Пнина. — Моя мать тоже была красивой женщиной, а сегодня она в ссоре с зеркалом.

— Эта красота моя, и я ее сохраню. У меня есть план.

— А если тебе даже удастся — что ты с ней будешь делать?

— Почему мы шепчемся? — вдруг воскликнул Жених. — Нас же никто не слышит! Что я буду делать?

Я пойду с ней спать, и с ней я проснусь, и к ней я вернусь домой. Вот что я буду с ней делать. Чтобы смотреть на тебя, и касаться тебя, и знать, что здесь кончаются плавильная печь, и токарный станок, и моя хромая нога, и масло и сажа, что уже не сходят с моей кожи и из моей души, — всё это кончается, и начинаешься ты.

Он никогда еще не говорил с таким возбуждением, и Пнина молчала.

— Я отказался от занятий в Технионе, — Жених склонился к ней, не поднимая глаз, — и от своей чести я отказался. Пятна твоей крови на обивке с того времени, когда я вез тебя рожать, я вижу каждый раз, когда сажусь в мой «ситроен», и того мальчика, которого ты родила от другого мужчины, я вижу каждый день у твоего отца. Каждый день! Живого! Лежит со всеми своими именами в инкубаторе, который я ему построил.

— Ты совсем как мой отец, Арон. — Она встала. — Зачем ему нужен был сын, когда у него есть ты? Мальчик будет жить и без инкубатора, а ты получил бы меня и без всякого уговора. Я люблю тебя, вместе с твоей хромой ногой, и с черными морщинами, и с тем лицом, которое ты считаешь уродливым.

— И все-таки ты переспала с ним, так что лучше, что был уговор, — ответил Арон. — Когда есть уговор, никто не чувствует, что ему делают одолжение.

— Ты ничего не понимаешь, Арон. Никто не собирался делать тебе одолжение...

— Пнина! — Он поднялся. — Зачем рассказывать сказки? Когда такая женщина, как ты, выходит замуж за такого мужчину, как я, что это, если не одолжение?

Амума сказала, что у Арона и Пнины «не было консумации», и, когда она наблюдала за их ночными прогулками, в ее глазах мелькали молнии гнева и искры страдания. Но Амума не любила и других своих зятьев. О моем отце она сразу же сказала, что он «тот еще ходок», и не ошиблась, а Рахелиному Парню так и не простила свадьбу, на которой не присутствовала. Но когда он погиб в Войне за независимость, она сразу изменила свое мнение. Скорбела о нем, как о собственном сыне, даже сказала: «У вас любовь была видна простым глазом, — и добавила: — Только одна нормальная любовь была в доме, а сейчас и ее уже нет». Но слезы, которые она смахнула, когда пришло извещение о гибели Парня, ни на кого не произвели впечатления, потому что Амума умела выдавить из себя слезы без всяких усилий. У нее было несколько испытанных воспоминаний, не говоря уже о мелодиях, которые действовали безотказно и при необходимости увлажняли глаза, вызывая слезу-другую, а то и настоящий поток.

Парня похоронили на горе Герцля в Иерусалиме. Рахель прочитала над его могилой стихотворение «Море молчания выдает секреты», и когда Задница шепнула ей: «Это Бялик!.. Это Бялик!..» — ответила шепотом: «Что делать, иногда нет выхода».



И когда умолкнет весь этот мир  
Я выйду искать, где моя звезда.  
Потому что нет мне мира, кроме того,  
Что остался в сердце моем навсегда.

Рахель кончила читать, закрыла книгу и сказала:

— А теперь спи себе вволю один, никто тебя уже не побеспокоит...

Она поехала в Тель-Авив, потому что шива\* по Парню была в доме его родителей, потом сообщила, что останется там, потому что ей предложили работу, а через четыре недели вернулась домой, во «Двор Йофе», неся в руке маленькую корзинку, в которой белели туфли-лодочки, свадебное платье и фата.

— Я не могу там оставаться, — сказала она, — Задница переехала в Иерусалим, а его родители продолжают говорить «в возрасте Хаима» даже после того, как сам он умер.

Задница, кстати, и сейчас живет в Иерусалиме. Она много лет преподавала литературу и математику в городской средней школе, а теперь, выйдя на пенсию, не перестает учиться сама. Ходит с курсов на курсы, с цикла на цикл, из кружка в кружок. Алона и Рахель нередко ездят к ней, потому что вся их троица увлекается литературными экскурсиями писателя Хаима Беэра по следам книг Ш. Й. Агнона и потом жалуется — почему он не водит экскурсии также по следам своих собственных «Перьев» и «Веревок»? Они посеща-

\* Шива — семидневный траур (*иврит*).

ют кафетерий «Тмоль-шильшом»\*, когда там чествуют любимого ими поэта или писателя, ездят посмотреть на «семейное имущество» — так Рахель называет свои очередные приобретения в промышленных зонах разных городов, в которые вложила наши деньги, — а на закуску идут погулять по Немецкому кварталу.

— Что значит «почему»? Немцы нам родственники...

Как-то раз я даже присоединился к ним в одной такой экскурсии, только в Тель-Авиве: что-то вроде «Тель-Авив поэтессы Рахель», или «поэта Альтермана», или «романиста Якова Шабтая». Полноватый и улыбчивый экскурсовод, «сам поэт», как обещала доска культурных мероприятий районного совета, уже ожидал нас, на плече у него висел старый планшет военных карт, а в глазах светилось любопытство, вызванное видом большого желтого автобуса, приехавшего из далекого маленького городка в Долине в метрополию на побережье.

С выдохом распахиваются двери, гости спускаются: тяжелые мужчины с седоватыми волосами, тяжелые женщины с рыжеватыми волосами разминают широкие кости, расправляют затекшие члены, разбираются в маленькую колонну вслед за экскурсоводом, и он ведет нас меж домов, и сюжетов, и стихотворных

\* «Тмоль-шильшом» (букв.: «Вчера-позавчера») — название романа израильского писателя, лауреата Нобелевской премии Шмуэля Йосефа Агнона (1888—1970); это иерусалимское кафе стало традиционным местом литературных встреч.

строк, возбуждается и цитирует, и время от времени спорит с Рахелью, пока я вдруг не обнаруживаю, что я один, в магазине женской одежды, и стоящая возле меня жительница Тель-Авива улыбается мне и говорит:

— Почему только я? Примерь и ты это платье.

Но к их поездкам в Иерусалим я не присоединяюсь. Зачем? Моя фонтанелла там буйствует, морочит и вводит в заблуждение меня и себя, а у Рахели и Задницы есть там свои дела. Они навещают могилу Парня на горе Герцля, читают там стихи, убирают, поливают, говорят: «А помнишь, Юдит...» и «С тех пор, как он умер, от меня ушло отражение» — и смеются, и плачут по мужу-брату, и, если Алона возвращается в хорошем настроении, она описывает мне лицо Задницы, уже морщинистое, и ее руки, уже покрытые старческими пятнами, и ее великий зад, «не потерявший ни грамма от своей упруго-округлой юности» и от своей молодой прелести. Она заканчивает: «Этот зад хорошо сохранился», а Ури поправляет: «Эта Задница хорошо сохранилась», а я, брезгливо поморщившись, спрашиваю: «Сколько раз можно повторять слово “задница” и по-прежнему получать от этого удовольствие?»

— Какой ты у нас неженка! — восклицает моя дочь. — Просто слабак астенистичный! — И тут же начинает спорить со своей матерью, которая напоминает ей, что «слабак» может быть только «астенистичный»: — Ну, ты и скажешь! Еще немного, и ты велишь мне говорить «коммунистичный» и «мазохичный», да?!

В первую же ночь после возвращения Рахели домой Амума и Апупа заметили у нее новую привычку: она вставала посреди ночи и шла бродить по дому. Апупа, спавший очень чутко — он всегда был начеку, и когда спал, и когда сидел, и когда мочился, — совсем потерял покой. словно мало ему было отчуждения Амумы, ухода Батии и затворничества Пнины — так теперь еще и младшая дочь слоняется ночью по комнатам, как привидение. Он призвал Жениха, и они вместе соорудили ей отдельную пристройку, чтобы она ходила себе там, — но не помогло и это. Каждую ночь она выходила на эти свои поиски вслепую и вскоре выбралась за пределы «Двора Йофе», так что ночные сторожа начали рассказывать, что видели, как она бродит по улицам деревни и открывает двери и ворота. Никто не верил этим рассказам, но однажды ночью Рахель вошла в один из деревенских домов, легла на кровать хозяина — местного бухгалтера, старого холостяка, с красными глазами и белыми волосами, разбудила его неожиданным, теплым обещанием счастья, скрытым в ее коже, и, когда она прижалась к его телу, он расценил это неправильно, но логично.

Вся деревня проснулась от криков, и назавтра Амума срочно созвала Верховный совет женщин Большого Семейства Йофе. Пять родственниц, неизвестно когда и кем избранных, и каждая из них назначает себе преемницу. Они провели короткую беседу и пригласили Рахель для ее продолжения.

— Понятия не имею, как я туда попала, — смущенно сказала она. — Я просто вышла подышать свежим воздухом и, видимо, неправильно свернула на каком-то углу.

Пять родственниц расхохотались, сказали, что таким отговоркам могут поверить только мужчины, и не отступались от нее, пока она наконец не сдалась.

— Я не могу спать одна, — призналась она. Голос у нее был совсем отчаявшийся, но это отчаяние придало ему решимость. — Мне нужен мужчина в постели.

Это не была попытка объяснить, оправдать или извиниться. Рахель сказала это просто, как будто указывая на один из законов природы. И поскольку женщины знакомы с законами природы из своей жизни и на своей шкуре и не нуждаются — «как вы, мужики» — в экспериментах («мы не предположение, мы доказательство»), они с ней не спорили. Они создали Первую Большую Встречу всех женщин Большого Семейства Йофе, которые собрались со всей Страны на трехдневный конгресс, заполнили Двор рассказами, смехом, криками и слезами, сравнили варианты, утвердили официальные версии, придумали новые пароли, обменялись семейными выражениями, историями и секретами и выработали общий план действий.

Так образовалась у нас традиция посылать к Рахели подростков после тринадцати лет для свершения доброго дела. Были родители, которые видели в этом такую же важную церемонию, как вызов к Торе в сина-

гоге, а среди самих подростков и юношей были такие, что возвращались от нее с особым выражением лица и рассказывали своим сверстникам, что переспали с нею. Но то было хвастовство и ложь. Рахель не искала любви и близости, а лишь прикосновения и тепла. Она уже не измеряла расстояний на том теле, к которому прижималась, не проверяла, все ли в нем расположено точно по месту, и, уж конечно, не пыталась соблазнить никого из своих гостей, ибо никого не хотела с тех пор, как был убит ее муж, — «мои трусики и без того никогда особенно не елозили, а с тех пор, как он погиб, они и вовсе на приколе».

Вскоре вся деревня привыкла к этой картине: смущенный парень выходит из автобуса с чемоданчиком в руке, изучает маленький план, начерченный ему отцом и матерью, поднимается из центра ко «Двору Йофе», сопровождаемый взглядами и шепотками, и с опаской стучит в большие ворота. Каждый из этих парней уже был проинструктирован и подготовлен у себя дома — матерью, или бабушкой, или теткой — к тому, что его будут проверять и задавать вопросы, но «ты не беспокойся, тут незачем готовиться или опасаться», ибо настоящий Йофе всегда сумеет ответить.

Они приходят и сегодня, но в деревню, которая выросла и давно превратилась в город. С одной стороны, уже нет «взаимопомощи», но с другой стороны, не все знают всех, и взгляды уже не провожают, и шепотки уже не слышны. Из центра они поднимаются к улице Первопроходцев и возле мини-маркета Адики

сворачивают и идут по Аллее Основателей, зная: нет никаких «основателей», это Давид Йофе насадил здесь кипарисы, и построил стены, и поставил ворота, и, когда тебе покажут дрожащего карлика, лежащего в своем инкубаторе, ты должен поверить и представить его себе таким, каким он был в «те времена». Ты встретишь там Габриэля Йофе, его внука, у которого есть мотоцикл и знак отличия из армии, так ты не пугайся, иногда он устраивает «представление с платьями», а также его друзей, которые не Йофы, но всё равно что братья Габриэля, и, если тебе повезет, они пригласят тебя поесть в свою палатку, но не оставайся у них ночевать. И не забудь посмотреть ночью на Пнину-Красавицу, потому что днем она не выходит, и, на ее мужа Арона, который целый день копает под землей, и передай им тоже привет. А также его отцу, Гиршу Ландау, который не настоящий Йофе, но живет с Апупой, и ухаживает за ним, и играет на скрипке, ему тоже передай. И берегись тети Ханы, которая будет говорить тебе, что можно есть, а что нет, но подойди к ее сыну, Михаэлю Йофе, который подолгу сидит на веранде и смотрит вдаль, у него есть дочь, довольно симпатичная, и сын, немного странный, который поможет тебе во всех проблемах с математикой и компьютерами. И, само собой, походи к тете Рахели, ведь ради нее ты пришел, дай ей это письмо, и она уже скажет тебе, что делать.

С годами Рахель прибавила к своей пристройке еще комнату, и так возник дом, где она живет сегодня,

в котором одна комната из камня и одна из дерева, и длинный коридор, и вытянутая спальня вдоль него, но нет кухни.

— Зачем мне выходить? Зачем мне кухня? Арон приносит мне еду, из той, что приготовила Наифа, а иногда я хожу поесть к Пнине, а мою рыбу все равно никто терпеть не может.

<Рассказать, как Наифа пыталась научить Рахель готовить фаршированную рыбу, чтобы и она могла принести что-нибудь на семейные встречи. Никто, кроме нее, эту рыбу не пробует. Каждый раз посредине обеда она демонстративно встает, кладет в рот крохотный кусочек, обводит всех взглядом и провозглашает: «А рыба таки-да хороша!» — и потом: «Вкуса, конечно, никакого, но зато неплохое выражение».>

Вначале эти приезжие напряжены. Некоторые, смеется она, ходят с закрытыми глазами из деревянной комнаты в каменную и обратно, стараясь запомнить, где коридор. И она, если в хорошем настроении, дает им для смеха моток ниток, чтобы привязали к двери и протянули до ее кровати. А потом, после того, как они успокоятся, поужинают и хорошенько помоются с дороги, она укладывает их, укрывает «пуховиком» — тепло и страхи предыдущих молодых Йофов все еще сохраняются меж волокнами его пуха — и иногда рассказывает им симпатичную историю, иногда неприятный секрет, даже «размазывает сопли по семейному носу», иногда задает вопросы, а иногда всего лишь прижимается к спине гостя, обнимает его и тут же погружается в пугающе глу-



бокий сон, и уже случалось, что такой парень выбегал из дома во двор со страшным криком: «Она умерла!» — но в конце концов все они привыкают и успокаиваются, рассматривают биржевые таблицы и кривые на ее «Стене акций» и тоже засыпают. А через несколько дней парень возвращается к себе домой, голова его полна историй, кудри — рассказов, кожа горит от жара, и другой конверт, тоже заклеенный — «это отдай матери, тут письмо для нее», — лежит у него в кармане.

С годами некоторые Йофы начали посылать к ней также и своих мужей, из разряда особенно пристающих, чтобы и Рахель не спала в одиночестве, и они сами смогли бы немного отдохнуть от посяганий и тяжести, и тогда эти мужья вдруг обнаруживали себя в интимной обстановке, но не обязывающей их к «консумации», а поскольку, будучи Йофами, они, по убеждению своих Йоф, непременно должны были «что-то изливать», то в постели Рахели они начинали изливаться в исповедах и рассказах. И со временем Рахель накопила в памяти такое количество чужих секретов, рассказов и воспоминаний, какого не было ни у одного другого Йофа или другой Йофы до и после нее. Каждую ночь ей исповедовались в надеждах и разочарованиях, в замыслах и «зрямыслах», и в конце концов она стала — именно она, «кабачок», — узловым перекрестком и сердцем всего семейства Йофе.

Обо всем этом я знаю из собственного опыта, ибо в семье Йофе нет человека, который спал у Рахели больше, чем я. Как потому, что я живу в том же дворе и меня

не раз призывают для заполнения места, так и потому, что я любил и до сих пор люблю рассказывать ей свои секреты и слушать ее рассказы, а пуще всего потому, что моей Алоне это безразлично. Даже наоборот. «Иди уже, иди, — говорит она с необъяснимой враждебностью, — поразлагайся себе в ее кровати и успокойся, наконец». И поскольку поведение Рахели очень деловито, а ее привычки размеренны и постоянны, как движения жреца у своего алтаря или ремесленника в его мастерской, я полагаю, что она так же ведет себя со всеми своими гостями.

— Привет тете Рахели, — говорю я, входя. — Вот я и пришел.

— Привет племяннику Михаэлю, — говорит Рахель. — Вот ты и пришел.

Вдушевой меня уже ждут мои старые друзья — пижама и полотенца, старые, мягкие и чистые, — и труба древесной печи уже энергично греет из-за стены. Эта печь — тоже замечательная придумка Жениха: такая себе огромная труба с двойными стенками и железным коробом под ней. Вода наливается в промежуток между стенками, дрова горят в коробе, огонь поднимается в пространстве трубы и разогревает воду быстрее любого электрического бойлера. И когда я выхожу оттуда — чистый, побагровевший и еще пышущий паром, — тетя Рахель указывает мне, хоть я уже и сам это давно знаю, на какой стороне кровати мне лечь, потом укрывает нас обоих своим огромным «пуховиком», прижимается и вздыхает:

— Хорошо, что ты пришел ко мне, не дал своей старой тетке спать одной.

Я лежу тихо, даю ей устроиться поудобней, а потом мы начинаем разговаривать.

\* \* \*

Свои деньги, планы и чертежи Жених держал в изобретенном им сейфе, особый замок которого представлял собой круглое отверстие, а ключом служил обыкновенный гвоздь — любой достаточно длинный гвоздь или даже просто жесткая веточка, которую следовало вставить в отверстие и там нажать в секретной последовательности на четыре внутренних язычка. Рахель сказала, что эти язычки можно было бы установить и снаружи и нажимать на них пальцем, но отверстие давало Жениху то ощущение секрета, которым так дорожат хозяева сейфов, изобретатели патентов и партнеры по уговору.

Каждый день, возвращаясь домой, он открывал сейф и изучал его содержимое — что нужно вынуть и что вложить. Потом мылся такой горячей водой, какую только мог вынести, намыливаясь хозяйственным мылом и растираясь жесткими щетками, а затем зажигал лампу, вставлял в глаз лупу часовщика и, усадив Пнину напротив себя, просил ее положить руки на стол: нет ли на них царапин или ссадин? Поворачивал ее голову и при свете лампы рассматривал со всех сто-

рон ее чистое лицо: не мелькнет ли где легкая затененность морщинки, или смугловатость веснушки, или красноватость ожога? Заглядывал в озера ее глаз, изучал меняющиеся размеры ее отпечатавшихся в линзе зрачков, выискивал световые шрамы, которые слишком сильное солнце выжигает на радужной оболочке. А потом вставал и прикасался кончиками пальцев к ее затылку — проверить, прохладный он или горячий. Потому что этому признаку, который известен каждому солдату и крестьянину, его научил Апупа, как научил и нас с Габриэлем перед тем, как мы пошли в армию: «Изо всех частей тела затылок нагревается быстрее всего и охлаждается медленней всего», и потому в летний день влажный прохладный платок на затылке освежает и укрепляет даже больше, чем погружение всего тела в воду.

— Ты ищешь на мне следы измены... — Пнина пыталась улыбнуться.

Но Жених оставался каменно-серьезным.

— Нет, — говорил он, — измена не оставляет следов. Но если ты выйдешь на солнце, я узнаю.

— Не выйду, Арон, я ведь тебе уже сказала.

Закончив осмотр, он поднимался и ставил на стол деликатесы, принесенные от Наифы, которая бесподобно варила куриный бульон, превосходно глазировала цимес и так тонко раскатывала тесто для вареников, что начинка просвечивала изнутри. А еще Наифа умела печь субботние халы, фаршировать карпов и готовить голубцы, солить огурцы с чесноком, поджа-

ривать на сковороде гусиные шкварки и настаивать в печи кастрюли с чолнтом\*. Ее селедка побеждала в «плавании» любую йофианскую селедку, которая осмеливалась выступить против нее, — хотя в последнее время некоторые начали высказываться в пользу селедки Дмитрия. И всему этому ее научил дядя Арон, который, правда, сам ничего не варил, но разве нельзя сделать всё надлежащим образом, если располагаешь формулами и планом?

Разъезжая по деревням и натачивая женщинам ножницы и ножи, Жених время от времени выпрашивал у них рецепты различных блюд. Конечно, те, как правило, давали неточные ответы, хорошо знакомые всякой невестке, которой вздумалось угостить мужа блюдами свекрови: указывали неправильные количества, опускали те или иные компоненты, а главное — прятались за выражениями вроде «по виду» или «по вкусу», которые свидетельствуют в лучшем случае о высокомерии, в худшем — о невежестве, а в обычном — о злобности. Но Жених не сдавался. Вооружась термометром, секундомером и ювелирными весами, он напрашивался в их кухни. «Положи каждый продукт на эти весы, прежде чем кладешь его в каст-

\* Чолнт — густой суп из мяса, овощей, крупы и фасоли, готовится на субботу. Легенда рассказывает, что римский император отведал чолнт у еврейского мудреца, восхитился, велел своим поварам воспроизвести это блюдо, но не нашел в нем вкуса и вернулся к мудрецу с вопросом: «Что у вас за приправа необыкновенная к этому чолнту?» — на что мудрец ответил: «Суббота».

рюлю», — просил он и взвешивал с точностью до миллиграмма всё, что Йофы обычно кладут в свою еду: черный перец, лавровый лист, мускатный орех, семена тмина, порошок паприки, поваренную соль, чеснок и укроп. Взвешивал и записывал, измерял температуры и времена, а потом отправлялся в шатер Наифы со всеми этими данными в руках и учил ее варить, как учат ученика в слесарной мастерской: шаг за шагом, согласно точному графику действий, последовательности движений и цветным рабочим схемам.

«Самое важное, — повторял он раз за разом, — это чтобы время двигалось параллельно, а не последовательно. Каждое действие должно происходить в то же время, когда происходят другие действия». И объяснял: «Никуда не ходить с пустыми руками, даже на расстояние одного метра, чтобы потом не было всех этих “специальных хождений”. Поэтому когда ты должна сделать салат, испечь халу и приготовить суп, замеси тесто и поставь воду на огонь и, пока оно всходит, а она греется, начни резать овощи».

Наифа не умела ни читать, ни писать и не знала разницы между последовательным и параллельным соединением. Но она быстро соображала, была любознательна и обладала такой памятью, что в шесть лет уже различала всех овец в своем стаде не только по их мордам и отпечаткам копыт, но и по раскачиванию их курдюков. Она «ставила кастрюли» и «швыряла на сковородку», как настоящая Йофа, и через несколько уроков уже сварила полный обед. Жених попробовал,

и лицо его расплылось. Не только из-за вкуса, но прежде всего потому, что качество ее печеночного паштета неоспоримо доказывало превосходство науки над традицией и плана над молитвой.

— Попробуй и ты, — сказал он, — чтобы и ты знала, как должно быть.

Наифа запрокинула голову и отвернулась с упрямством капризного ребенка. Жених настаивал, угрожая, что наймет себе другую кухарку. Наифа рассмеялась, посмотрела на мужа и после того, как тот кивнул, клюнула с конца ложки и побежала вырвать во двор. Так выяснилось, что своих больших успехов в приготовлении еврейских блюд она добилась не только с помощью педантичных уроков Жениха и не только в силу своих способностей и памяти, но также благодаря «квасу», который эти блюда у нее вызывали.

С тех пор у нее сложилось непреложное правило: по окончании варки она пробовала из кастрюли, и, если ее рвало, знала, что еда получилась, и отдавала ее Арону, а если нет — выбрасывала ее собакам и курам.

— Собака поела вашего чолнта, — рассказывал ее муж Арону, — а потом не смогла бежать за стадом. Лежала целый день камнем под желудом.

Ухабистая дорога к шатру Наифы была впору для «пауэр-вагона» или осла, но Арон предпочитал ездить к ней на «траксьон-аванте», который двигался мягче и не тряс кастрюли. Поэтому он привез туда инженера Флоренталя, который рад был случаю испытать изоб-

ретенные им световые взрыватели. Флоренталь взорвал и сгладил несколько скальных ступеней, соорудил несколько стоков для воды, велел отодвинуть несколько валунов и заполнить несколько трещин, и «ситроен» Жениха начал каждую среду взбираться по каменистой тропе, доставляя кухарке муку и масло, овощи и мясо, фрукты для компота и карпов, бьющихся в жестяном ведре.

Наифа тут же принималась за работу, и к полудню в четверг сладковатый аромат уже поднимался меж полотнищами шатра, доводя до обморока сидевших в их тени. Запах пробивался сквозь тяжелые смрадные завесы, висевшие над овчарней, гнал объятых ужасом козлят и щенков к далеким холмам, сползал по спуску маленького вади, вливался в Долину и заполнял ее целиком, вдоль и поперек.

Арон никому не рассказывал о своей бедуинской кухарке, и теперь, когда запах ее варева достиг кибуцев и мошавов, появившихся в Долине после нас, все удивились. Некоторые разволновались, другие испугались, что кто-то вздумал сыграть с ними злую шутку, но в конце концов люди вышли из домов и коровников и пошли в сторону запаха, точно собаки-ищейки, улыбаясь смущенно и опасливо. Малые группки и группы побольше собрались вместе, как ручьи в русло, и огромная процессия вскоре пересекла Долину. Люди поднялись по маленькому вади к округлостям холмов и обнаружили, что запах материнского дома поднимается из черного шатра, натянутого в тени дуба и рож-



кового дерева и окруженного удивленными овцами и смеющимися бедуинскими детьми.

Спустя несколько месяцев случилось еще одно событие, связанное с Пниной, и в нем я уже не могу найти ничего забавного и смешного. Начало было простым и невинным: на краю нашего поля появилось зеленое пятно, и, поскольку дело было летом, Апупа понял, что речь идет о протекающей водопроводной трубе. Когда пятно увеличилось, он решил, что надо глянуть, проверить все «сколько» и «почему» и починить. Сначала он хотел взять с собой Габриэля, но дорога была неблизкой, день жарким, и к тому же Цыпленок — слабый и бессильный, как бледный росток, — уже погрузился в свою обычную дремоту, и Апупа не хотел его будить. Все младенцы растут и набирают вес во сне, а уж тем более — недоноски.

Аума тогда уже не разговаривала с ним, но он крикнул громким голосом: «Я спускаюсь кое-что проверить на участке, мама, присмотри за Цыпленком!» — и ушел.

И действительно, большой шибер на краю участка покапывал, как будто бы кто-то забыл закрутить его до конца. Апупа слегка затянул его, но утечка не прекратилась. Он нажал посильней — бесполезно. Тогда он нажал еще «чуть-чуть» — так он объяснил потом то, что случилось, — и сломал ручку крана. Тут уж он вскипел, и гнев его воспламенился еще больше при виде насмешливых капель,

которые теперь ускорили свой бег и соединились в тонкую струйку. Он вытащил плоскогубцы, которые каждый крестьянин в те дни носил в кармане, силой повернул сломанную ось — и сломал также затычку.

Давид Йофе выпрямился. Оглянулся по сторонам, посмотреть, есть ли свидетели подлых проделок шибера, и начал выкрикивать свои обычные: «Так!» — «Не так!» — «Перестань капать!» — «Остановись, холера!» и прочие подобные вопли. Шибер не ответил, но брызнул струей прямо в лицо своему обидчику. Теперь уже у Апуны не осталось иного выхода, кроме как ударить его, — и все черные дрозды, жаворонки и сойки округи тут же примчались покувыркаться во взметнувшемся к небу фонтане .

— На этом этапе, — сказала Рахель, — даже до его куриных мозгов дошло, что тут нужен специалист. Он закричал громовым голосом: «Арон! Быстрее иди сюда! Арон!» — и, когда я говорю «громовым голосом», Михаэль, я имею в виду, что все Ароны в Долине тотчас бросились бегом к самым разным местам.

И наш Арон тоже. Через каких-нибудь две минуты «пауэр-вагон» выехал со двора, спустился с нашего холма и сразу же повернул к полям. Амума только и ждала этого мгновенья. Еще раньше, когда ее муж только спустился к шиберу, она уже поняла, что там назревают несчастья. Теперь, услышав крики, увидев стаи слетающих птиц и оценив скорость машины Арона, она поняла, что починка займет несколько часов.

Она бросилась к Пнине, распахнула дверь и крикнула ей, чтобы та вышла, что сейчас можно, чтобы она бросила всё и быстрее бежала покормить сына.

Белоснежный лоб Пнины порозовел от волнения. Она бежала, уже чувствуя, как стекает молоко, как ее груди становятся горячими и тяжелыми, а соски напрягаются так, что ей казалось, будто они указывают ей дорогу.

Габриэль сидел на циновке и играл с куклой. Несмотря на сильную жару, на голове у него была желтая шерстяная шапка. Пнина упала рядом с ним на колени и прижала к сердцу.

— Раньше всего покорми! — крикнула Амума. — Скорей! Покорми! Покорми!

Пнина оторвалась от сына и выпрямилась. Белые пуговицы ее кофты разлетелись во все стороны, смешиваясь с белыми каплями молока, уже падавшими на пол.

— Покорми его! Покорми! — И Пнина взяла потрясенного мальчика на руки, прижала его голову к своей груди и закрыла глаза.

Когда Арон вернулся домой, он увидел, что его жена ничего не помнит, ни своего имени, ни его, а на ее лбу появилась маленькая солнечная морщинка. А Апуа увидел младенца, который вел себя, как пьяный, и ползал кругами с выражением странной гордости на лице. И что еще более удивительно: он говорил. В два года Габриэль наконец произнес свое первое слово. Но к великому разочарованию и страху Апуы, то не

было слово «папа». Пошатываясь на своих тоненьких цыплячьих ножках, Габриэль протягивал ручки и, вопреки всякому обыкновению, кричал: «Покорми!.. Покорми!..»

Дед не осмелился никого обвинять, потому что у него не было доказательств, но даже его куриные мозги поняли, что произошло. Он кипел от гнева, опасаясь, что теперь Габриэль больше не согласится сосать из бутылочки или есть те специальные питательные смеси, которые он ему готовил. Но его опасения не оправдались — ребенок продолжал опустошать бутылочки, посылаемые ему матерью, и глотать гусиные желтки, которые Апупа смешивал с медом, но иногда вставал, снова протягивал ручки и выкрикивал это свое ужасное: «Покорми! Покорми!» — и продолжал это делать и в последующие годы: во «Дворе Йофе», в школьном дворе, и на деревенских улицах, и даже в армии, иногда при виде проходящей женщины, а иногда от голода или просто от тоски.

Он и сегодня кричит так — правда, редко и с широкой улыбкой, как будто пытаюсь развлечь нас и своих товарищей подражанием самому себе. Но мы, которые весело смеялись, когда Габриэль появлялся в бабушкиных платьях, и улыбались, когда он в армии получил знак отличия, и приняли, кто с явным согласием, кто с молчаливым, его товарищей, которые раньше, в армии, были «Священным отрядом», а сейчас превратились в пеструю и крикливую компанию попугаев, живущих вместе с ним, с Гиршем и с Апупой, — мы

при звуках этого «Покорми!» не смеемся. Не смеемся, и всё тут. Вот так. Мы, Йофы, почти во всем стараемся найти что-нибудь забавное, и даже если не всегда на самом деле этому рады, не раз находим. Даже над смертью некоторых Йофов, не говоря уже об их жизни, мы подшучиваем. Но над этим криком — нет. Не видим в нем ничего смешного, и всё. А теперь я вернусь на свои следы, чтобы разобраться со своими квадратными скобками и развернуть несколько угловых.

\* \* \*

Первый знак, которым Амума дала знать о своем приближающемся конце, сверкнул уже за много дней до ее болезни. Преднамеренным и продуманным образом она принялась запечатлевать себя в семейных воспоминаниях, и поскольку хорошо знала все выверты и уловки нашей йофианской памяти, то понимала, как важно вновь и вновь повторять желаемую версию.

Вот так это у нас в семье: я, например, знаю об отце моего деда лишь то, что захотел рассказать его сын. И моя мать тоже подвергает цензуре рассказы, не соответствующие ее мировоззрению, — ведь все знают, что доктор Джексон уже умер, но мать не рассказывает об этом и уж тем более не отвечает на естественный вопрос — как это произошло? Растерзал ли его белый медведь в конце забега на Аляску? Прихватило ли его тяжелое воспаление легких после холодного душа? Не

из мести или злости, но я предпочитаю вторую возможность.

Мой отец тоже придумывал небылицы, но он делал это, чтобы повесить художественные достоинства своих историй, а вот рассказы Рахели подозрительны мне куда больше, потому что у них есть явное назначение: создать наследие, образ и язык, — и поэтому мне ясно, что это не просто вымысел.

И вообще, кто знает что-нибудь о предках своей бабки и своего деда? Ведь даже огромные, возрастом в столетия, генеалогические деревья иных семей, где тщательно исследованы самые мельчайшие веточки, на которых гнездятся давно вымершие птицы, — и те говорят нам не больше, чем, скажем, данные, необходимые для участия в выставке породистых собак. Или, как говорит моя тетка: «Чем тебе поможет, что у истоков твоей династии находился Виленский Гаон\*, если твой сын все равно обыкновенный дегенерат?»

К примеру, герцлийские Йофы заходят в своих претензиях так далеко, что утверждают, будто наш род ведет начало не от царя Саула, а от *Йоава бен Саруйи*, военачальника царя Давида, в доказательство приводя способ, которым этот Йоав убил какого-то своего врага по имени Амессай: одна рука обнимает, а другая вонзает — в точности так, как мы, Йофы, режем сегодня хлеб. Но подлинно творческая семейная память вовсе не

\* Виленский Гаон — так традиционно именуется духовный лидер литовского еврейства XVIII века рабби Элиягу (1720—1797).

нуждается в столь далеких свидетельствах. Достаточно трех поколений вспять, а дальше памяти приятней постепенно рассеяться [раствориться] [разредиться] <развить в каком-нибудь другом месте: глагол, который будет выбран, зависит от того, как мы понимаем или представляем себе процесс забывания>. А раз в год, на пасхальный седер, она, наша семейная память, возвращается к нам, вместе с нашими кровными родственниками: сестрами, и братьями, и детьми, и родителями («дед и бабушка, тетя с дядей в полном праздничном наряде»), и с нашими некровными родственниками («невеста и жених в коляске на двоих»), и с нашими совсем уж дальними родичами: *четверо сыновей, и четыре праматери, и трое праотцов*, и Бог наш единый, один-единешенек, — и они тоже возвращаются к нам в этих песнях, которые ведь, по сути, не что иное, как упражнение памяти и ее тренировка.

Так «ма ништана»?\* Что, собственно, изменилось? Чем мы так уж отличаемся от всех? А тем, что каким-то насмешливым образом в нашем семействе, по словам Алоны, «всё происходит наоборот». В самом деле, весь год мы умудряемся ходить по суше, но именно в пасхальный седер *нас опять покрывают пучины*,

\* «Ма ништана?» («Ма ништана а лайла а-зэ?», *иврит*) — «Что отличает эту ночь от всех других?») — вопрос, который задают себе участники пасхального седера, чтобы напомнить друг другу, что эта ночь знаменует выход из египетского рабства на свободу и все евреи являются участниками этого исхода. В обычной речи часто употребляется в смысле: «Так что изменилось?»

нас накрывает [нас погребает] [нас затопляет] заново смыкающееся Красное море воспоминаний. И даже тем Йофам, которые перед тем, как собраться вокруг пасхального стола, припомнили излить семя, выпустить кровь или покормить ребенка молоком, — даже им не удастся избежать захлестывающих вод этой пучины, и тогда наша семья кажется мне похожей на резервистов, которые раз в год собираются на пикник на своей базе, чтобы раздуть золу воспоминаний: как бросили осколочную гранату в нужник точно в то время, когда там уселся старшина, и как команда Гади укокошила целый сирийский десант, и как Амуна-Йохевед опустила корзинку с маленьким Моисеем в Великую реку, и как мы спасли Яку из иорданского плена, и как Апуна-Моисей убил египтянина и спрятал его в песке, и как командир части хотел разобрать вигвам Габриэля и его друзей, и как мы послали нашей Юбер-аллес пасхальную мацу в Вальдхайм, а она бросила ее свиньям — впрочем, это уже и впрямь, а не по-пасхальному, горькая\* история.

И тогда Айелет спрашивает, на что это мы все время так похабно намекаем своими «настигну», и «обнажу», и «введу», и «насажу». А Рахель пользуется суматохой и хвалит себя своим: «А рыба таки-да хороша», — даже не попробовав, и Апуна встает и начинает отходить боком, как рак, чтобы сблевать во дворе, а

\* На пасхальном седере подают горькую зелень, марор, как напоминание о горькой жизни в египетском плену.



Жених смущенно опускает взгляд и говорит: «Нельзя было давать ему пить».

— Это не из-за вина, — говорят ему все. — Он и на Хануку ведет себя, как идиот.

— И кроме того, — добавляет Рахель, — именно из-за того, что твой отец однажды дал ему выпить, ты сегодня сидишь здесь с нами.

И тут уже начинаются крики. Хана, и Апупа, и Габриэль, и Рахель кричат, каждый в свой черед: «Это таки-да было так!» А Айелет и Ури с раздражающим спокойствием добавляют: «Или не так». Но даже если бы все они говорили правду, это бы все равно ничего не прибавило и не убавило, потому что в семействе Йофе различие вариантов — это не выражения разногласий, а тот клей, который держит нас вместе.

Что же касается Амуы — ее тоска по Батии не уменьшилась, ее возмущение тем, как Апупа обращается с Пниной, не ослабло, и ничто не сдвинуло ее с намерения отомстить. Ее отдельная кровать, молчащее пианино, грозные планы и подчищенные фотографии были пока лишь демонстрацией намерений, а не настоящей местию. Ибо настоящей местию может быть только окончательное расставание, из которого нет возврата.

\* \* \*

Возвращаясь из школы, я не раз видел, что мать сидит на веранде нашего дома с небольшой и преданной

стайкой своих единоверцев, которые дважды в год, с постоянством перелетных птиц, приземлялись у нас во дворе. Отец присвоил им прозвище «травоеды», а она называет их «мои гости».

— Если ты думаешь, что они приходят к ней ради здоровья, — сказал мне отец во время одной из наших маленьких греховных трапез на большой колесной шине в дальнем углу двора, — то ты ошибаешься!

И объяснил, что «травоеды» приходят потому, что все, кто живет по определенным законам и принципам: убежденные вегетарианцы, восторженные хасиды, танковые командиры и перелетные птицы, — нуждаются в расписаниях, приказах, наказаниях и наградах.

— Все голодны? — спрашивала мать.

— Очень голодны, — отвечают они.

— Голод — лучшая приправа, — провозглашает она и благословляет: — Приятного аппетита!

Там был один симпатичный худой старик, ожидавший именно этого момента. Как только мать говорила: «Приятного аппетита!» — он торопился со словами: «Приятного аппетита, а то живот уже свербит-то!» — обводил всех глазами, проверяя, понята ли и воспринята ли его шутка, и тут же объяснял: «Аппетит и свербит — это рифма» — и с этого момента не переставал надоедать остальным бесконечными анекдотами, которые извлекал из своей бездонной записной книжки.

После обеда мать занимала «гостей» работой в своем огороде, которая должна была «укрепить наши

мышцы», а также «нашу связь с пищей». Большие плакаты с лозунгами вроде: «Нездоровая еда — это страшная беда» или «С углеводами белок — все болезни к нам привлек» — торчали между грядками, и, когда отец был еще жив и в хорошем настроении, там появлялись также и лозунги типа: «Стар и млад едят шпинат» и «Корова-душка дело знает — люцерну с тыквой уминает».

Сегодня отец уже умер, ушел, улизнул, и те гости тоже уже поумирили — наверно, не так ревностно блюли строгие запреты, как запреты легкие, — и моя мать, которая не умрет никогда, жует теперь свою жвачку с новыми поколениями «травоедов». В последние годы к ней приходят и совсем молодые люди, многие — после «путешествия на Восток». По своей наивности они приписывают ей духовную и этическую значительность и ищут у нее не только правил «здорового питания», но также житейских наставлений и ответов. В результате в наши ворота стучится странная братия: страждущие в поисках излечения; здоровые, пекущиеся о благополучной старости; поклонники, ищущие себе гуру; аскеты, взыскующие кнута; искатели жизненного пути, видящие в ней путеводный маяк. Когда кто-нибудь из этих новых «гостей» задает ей вопрос, выходящий за пределы законов питания и касающийся выбора наилучшего пути для человека, — она раздражается: «Ты ешь здоровую пищу, а остальное уже придет само собой», — даже не представляя себе, что такой ответ всемерно повышает ее духовный авторитет.

— Ты могла бы сколотить капитал, бабушка, — сказала ей Айелет. — Сбрось свои старые рабочие штаны, переоденься во все белое, а я организую тебе несколько ковров и подушек... Мы тебе устроим здесь ашрам\*, а если тебе еще удастся отрастить белую бороду, как у твоего отца, то мы заработаем даже больше, чем твоя сестра на бирже.

Хотя они симпатизируют друг другу и похожи друг на друга, обе сильные и обе высокие, но во «Дворе Йофе» моя дочь и моя мать — две самые крайние противоположности. И тот факт, что Хана Йофе не принимает предложения Айелет Йофе, проистекает отнюдь не из ее убеждений, а имеет куда более прозаичную причину: она просто не понимает, о чем говорит ее внучка. А будучи женщиной довольно ограниченной и в других областях — вот что происходит с тем, кто одновременно и Йофе, и вегетарианец, — она не понимает также подлинных желаний своих «гостей» и потому удивляется, почему это каждое ее слово удостоивается толкований, не имеющих отношения ни к еде, ни к клизмам, ни к «спасительным плодам» или «животворным семенам».

Но тогда, в дни моего детства, к ней приходили одни только приверженцы «здоровой пищи», и все оставались в выигрыше: отец и я избавлялись на время от ее проповедей и капаний, гости получали те советы, ради которых пришли, а мать выжима-

\* Ашрам (*санскр.* — «прибежище») — обитель учеников, собравшихся вокруг своего гуру.

ла и подавала «соки», варила цельный рис, варила овощи, а главное — удовлетворяла свою миссионерскую страсть: рисовала на большом листе картона яды всех видов и цветов, читала лекции, назначала посты, раздавала похвалы и порицания. И еще одним делом она занималась со своими «гостями» и пыталась заниматься с нами двумя — выясняла время их дефекации и записывала его на доске объявлений.

— Жена и дети доктора Джексона проверяли свои часы по его дефекациям, — объявила она, а отец шепнул мне:

— У меня часы дерьмовые, а у доктора Джексона были часы из дерьма.

Мы оба прыснули, а «травоеды» подняли испуганные лица над своими кормушками, нервно переступили копытцами, беспокойно задержали хвостами, и дрожь пробежала по их коже.

Мать бросила на отца устрашающий взгляд:

— Что ты сказал, Мордехай?

— Мы обсуждали, переходили ли в апреле дефекации доктора Джексона на летнее время.

Воцарилось молчание.

— Чтобы его дети, не дай Бог, не опоздали в школу, — объяснил отец. — Какой учитель поверит такому объяснению: «Наш папа пошел какать на час позже»?

Мать обвела глазами своих ужаснувшихся «гостей», сказала, что она рада отметить, что никто из них не рассмеялся «безвкусной шутке моего мужа», и на их лицах появилась улыбка детей, выдержавших экза-

мен. Такое же счастливое выражение появлялось на лице того, кому она говорила: «Прекрасно! У нас был стул ровно в шесть часов утра!» (точный и успешный стул становился достоянием всей группы, в первом лице множественного числа: «У нас был», «Мы сходили», «А какой была наша кака?»), точно так же, как стыд и раскаяние — на лице того, кто был пойман на том, что обманывал свое собственное «первое-лицо-единственного-числа»: пожирал украдкой всевозможные яды и тем самым навлекал на себя всевозможные несчастья.

И каждый вечер, после того, как она скоординировала все их дефекации, подытожила все их достижения и вычла из них все их проступки, мать присваивала самому отличившемуся гостю дневное «зеленое очко», сообщение о котором публиковалось на ее доске объявлений. Три «зеленых очка» давали их обладателю право поработать пугалом на ее огороде. А что же случилось с учителем природоведения, который служил пугалом, когда она была девочкой? На сей счет тоже имеются разногласия. Некоторые говорят, что он состарился и покинул свой пост из-за болей в ногах, тогда как другие утверждают, что теплые весенние ветры высушили его настолько, что он рассыпался в прах и его унесло. Но новый директор школы, тот, что сменил того, который сменил Элиезера, сказал мне, что старый учитель иногда появляется в школе — в наряде пугала, с широко расставленными, как на распятии, руками, лицо обрамлено клочковатой седой бородой и желтыми соло-

менными бакенбардами, — входит в учительскую, где он уже никого не знает и никто не знает его, и говорит, что пришел провести свой урок. И тогда он, директор, угощает его стаканом чая с печеньем, а потом просит двух учениц старшего класса проводить гостя обратно на его место в огороде.

\* \* \*

Следующим знаком, которым Амума известила о своей смерти, был многократный повтор цикла одних и тех же рассказов о днях ее детства и юности «тама», в России, в маленькой деревне возле Макарова. Вначале мы думали, что «Тама» — это название ее деревни, пока не поняли, что на языке Амумы «тама» значит «там». Она рассказывала о реке, которая «была у нас тама», о березовой роще и о своих отце и матери, он с бородой, она в чепце, которые умерли и были похоронены «тама», о своем старшем брате, который был взят — «его схватили» — на военную службу, а потом женился на «сибирячке» и уже не вернулся.

Снова и снова слушали мы ее рассказ о «лавке, которая была у нас “тама”» и о товарах, которые в ней продавались — товарах «для тела» (сапоги и рабочие инструменты для русских крестьян), товарах «для души» (тфилин и талесы для евреев) и товарах, что «между тем и этим» (селедка, как же иначе?).

Потом в перерывах между этими историями начали множиться наставления, обычные для людей, которые приуготовляются к смерти: «И запомните, что...» — а также: «И не забудьте, что...» Не спрашивайте меня, какая разница между ними, но, поскольку Аума один раз говорила так, а другой — этак, разница, видимо, была. Она вновь и вновь повторяла эти свои наставления, словно желая убедиться, что они услышаны и усвоены. Вновь и вновь проверяла слушателей, помнят ли они все детали, и не только помнят, но и понимают ли тоже. А между делом попросила Арона свозить ее в Хайфу, в лабораторию инженера Флоренталя, вместе с ее старой коробкой с фотографиями — сделать с них сотни копий и заполнить ими сотни одинаковых маленьких памятных фотоальбомов, чтобы парни, которые будут возвращаться от Рахели, разнесли их по широким семейным просторам. Только на сей раз в этих ее альбомах появилось новшество: Аума перешла от фотокопии к фотошопии, и на всех снимках, где она раньше была вместе с Аупой, теперь она стояла одна.

Фотографии были очень старые. Много лет назад по Долине проходил какой-то бродячий фотограф, и Аупа увидел его в полях — спотыкающегося, с потрескавшимися губами, в состоянии, близком к солнечному удару, — подобрал, вывел в тень и накормил. Фотограф оправился и начал фотографировать, а через несколько месяцев прислал конверт, набитый снимками. В детстве мы часто разглядывали их,



потому что они были чем-то вроде иллюстраций к тем историям, которые нам рассказывали взрослые. Вот барак, а вот палатка, а это первый коровник и арабские куры. Деревья еще маленькие, и дома еще только в планах. Вот Аупа — до того, как у него появилась седая борода, вот Амума и ее дочери, все до единой. Мы сравнивали их лица — тогда и сейчас. Никто не говорил этого, но все понимали, что по тем изменениям, которые произошли с Ханой и Рахелью, мы пытаемся угадать, как выглядит сегодня изгнанная Батия.

Но теперь, как я уже сказал, Аупа исчез. Его не было ни на одном снимке. Так же, как она искоренила его из своей жизни в настоящем, так она вырвала его и из «тех времен», потому что не только из своей памяти хотела она его изгнать, но также из памяти всей семьи. Никто не понял, как ей удалось его стереть, и только годы спустя, когда Аупа был уже старым вдовцом и лежал в Габриэлевом инкубаторе, Арон осмелел и рассказал Рахели, как это произошло. Оказалось, что провоцирующий вопрос Амумы к инженеру Флоренталю: может ли он удалять людей с фотографий? — был воспринят инженером как научный вызов, и поскольку он и до того экспериментировал со светочувствительными веществами, то после множества опытов сумел в конце концов выполнить ее желание.

Открытие инженера Флоренталя и его успех в этой истории с альбомами Амумы привлекли внимание

двух заинтересованных групп. Одна из них состояла из исследователей Техниона, которые снова предприняли паломничество в его лабораторию и, к своему большому недовольству и разочарованию, обнаружили, что он по-прежнему последователен в своем упрямстве и решительно отказывается воспроизвести перед ними свои эксперименты. Другая же группа, состоявшая из пожилых женщин, сначала с Кармеля, потом из района Хайфы и нашей Долины, а затем и со всей Страны, пришла к нему с неожиданной просьбой — стереть нежелательных им родственников с семейных фотографий, особенно свадебных. То были дни Британского мандата, и границы были открыты, а потому к Флоренталю начали приезжать не только дружки и еврейки, но и шиитки с маронитками и даже коптки из Египта и суннитки из Ирака — и у каждой в руках были фотографии или негативы, предназначенные для исправления. То, что прежде достигалось насилием ножниц, стало в лаборатории инженера Флоренталю химически-элегантной, свободной от пристрастий и следов процедурой, которая удаляла не только жертву, но и всякие признаки того, что она здесь когда-то была — и исчезла.

Две половинки братьев Апуны сообщили ему о том, что происходит, и спросили, «нужно ли что-нибудь сделать». Но Апуна не рассердился и не испугался. Его изображение однажды уже исчезало, за много лет до того, в зеркале душевой. А кроме того, теперь у него уже был сын, а мужчина, у которого есть сын, вообще

не должен ничего бояться. Даже если этот сын мал и худ, даже если он цыпленок на трех языках, даже если он был в грехе зачат и похищенным вырос.

Но Хана, Пнина и Рахель испугались. Не за него, за нее. В отличие от большинства Йофов, бесчувственных, как деревянные доски, дочери Амумы правильно поняли историю с фотографиями: их мать делает всё, что должна делать женщина, которая готовится к смерти. Это доступно даже моему пониманию. Ведь это именно то, что делаю я сейчас: подчищаю, упорядочиваю, завещаю. Рассказываю без страха и стыда, вычеркиваю без поблажек, оставляю фотографии и указания.

И вот, после того как она ушла от мужа, заново переписала и заново перефотографировала семейную историю, Амума решила перейти к следующему этапу — возродить старый уговор с супругами Ландау, уговор, о котором никто не упоминал, но которого никто не забыл: если в одной паре умрет жена, а в другой муж, оставшиеся мужчина и женщина поженятся.

Действительность работала на нее: Апупа был тогда в расцвете сил, свою смерть она уже чувствовала давно, та всё прокрадывалась и росла в ее теле, а что касается Гирша и Сары Ландау, то достаточно было одного взгляда на тощего и нервного скрипача и на его здоровую, напичканную полезными советами жену, чтобы понять, кто из них двоих проживет дольше. Она знала также, что Сара Ландау хочет Апупу с

того далекого дня, когда он спас ее и Гирша от мужчин из племени гаварна на берегах речки Искандрин. Порой, когда Айелет берет меня с собой в Тель-Авив, я показываю ей это место. «Вот здесь, Айелет, замедли немного». Гаварны уже не плетут там циновки, дорожная развязка и торговый центр отодвинули пески, но по сторонам широкого шоссе еще видны ракитники и несколько белых дюн вдали, а однажды, гуляя там пешком в поисках семян береговой лилии, я набрел на влюбленную пару — лиса смотрела на них, а они ее не замечали.

— Мы уже не маленькие девочки, Сара, — сказала Амума. — Мы обе знаем, чему предстоит случиться, и мы обе знаем, чего мы хотим. И если одно согласуется с другим, то почему бы и нет?

Сара Ландау смутилась. Ни один из ее «полезных-советов-хорошей-домохозяйке» не предусматривал такой возможности — что в один прекрасный день Давид Йофе будет принадлежать ей. И даже в своих мечтах, что не раз кружились вокруг этой возможности, она не могла предвидеть, какие уроки начнет давать ей Амума в преддверии ее новой роли. Дрожь пробежала по ее телу, такая слабая, что она бы и не почувствовала, если бы камни ее ожерелья вдруг не застучали друг о друга.

— Давид — человек очень простой, — начала Мириам Йофе первый урок для своей будущей преемницы. — Его очень легко удовлетворить и очень легко рассердить. На нем есть кнопки и ручки для каждого

случая, нужно только знать, за что потянуть и когда нажать.

И добавила, что простота Апуны, однако, не означает одно- или двухцветность, потому что его мир делится не на черное и белое, а на две стороны стены.

— Не на «правильно» и на «неправильно», а на друзей и на врагов, не на «хорошее» и на «плохое», а на красные тряпки и на сахарные кубики.

И отсюда она перешла к первым важным деталям, относящимся, естественно, к еде, которую Апуна любит. Она объяснила Саре требования к температуре супа, научила правильной засолке селедки, при которой та начинает «плавать», и показала на примере секрет приготовления хорошего пюре, которое превращало деда из бодливого быка в усердную рабочую скотину, благодарную и довольную своим уделом.

Долгие часы провели они вдвоем на кухне. Приятные запахи, тепло печи, цель их встречи и самое ее факт пробудили у обеих взаимную симпатию и расположение. Рахель сказала:

— Всё ясно! У меня нет и тени сомнения! Этот ее инструктаж содержал также интимные темы, но, — засмеялась она, — отец и в этих вопросах был человеком простым — кнопки и ручки. Не то чтобы я сама много понимала в этих вещах, но у меня есть воображение и голова.

И действительно, Мириам Йофе предложила, чтобы на определенном этапе, не в первые дни, а толь-

ко после того, как Сара проживет с Апупой несколько недель, она прижалась бы грудями к спине своего нового мужа, когда он, скажем, сидит у стола.

— Сядь здесь, вот так. — Она подошла и склонилась над ней. — Не обе одновременно, Сара, а раньше эту, — и прижала одну грудь к ее спине, — а потом другую, — и прижала вторую.

И Сара Ландау почувствовала на себе груди Мириам Йофе. Маленькие они были и колючие, как в далекие дни их молодости, и у нее на глазах выступили слезы. Как сквозь пелену, дошло до нее то, что так ясно сказала ей Амума, и со слезами на глазах она снова задала тот вопрос, который задавала тогда, в Походе, — согласится ли Давид нести ее на спине, «как он нес тогда тебя»?

Мириам посмотрела на нее и впервые поняла, что весь их уговор — уже тогда, после той выпивки, и скрипки, и танца, и костра, — был изначально обреченной затеей. И что у Сары Ландау, при всех ее познаниях в деле выведения пятен, полировки мебели и пассерования муки, ничего не выйдет с Апупой. Но прошло слишком много лет, и время было уже позднее, а ночь безлунной, и смерть близкой, и уже нельзя было вернуться назад и что бы то ни было изменить.

Сара оставалась во «Дворе Йофе» с Нового года до конца праздника Кушей и вопреки своему обычаю на этот раз не спустилась в деревню навестить подруг. Она впервые выглядела задумчивой, хотя и взволно-

ванной, может быть, даже немного грустной, и впервые — несмотря на многократные пробы картофельного пюре, — похудела.

На Хануку она снова вернулась к нам, чтобы попрактиковаться в приготовлении картофельных оладий, которые Мириам Йофе умела делать — если, конечно, хотела — без масла, с поджаристой хрустящей корочкой и мягкой серединкой. На Пурим она приехала испечь «уши Амана»\* и вернулась в Тель-Авив, нагруженная домашними заданиями, которые затем прислала в деревню для критических замечаний и оценки.

А перед Песахом Мириам взяла ее к Наифе. Рахель смеялась: «Еврейская кухня, курс для продвинутых», но после того, как они провели несколько дней в шатре, Амума сказала Саре, что в этом году та сама будет готовить праздничный обед. Они заперлись вдвоем на кухне. Мириам Йофе приготовила только харосет\*\* и хрен, а Сара Ландау — бульон, и мясо, и пюре, и фаршированную рыбу. И когда Давид Йофе сказал: «Женщина, ты приготовила нам замечательную еду», они обменялись скромной улыбкой успеха.

\* «Уши Амана» — треугольной формы печенье, которое едят на праздник Пурим в знак победы над злобным визирем Аманом, который замыслил уничтожение всего еврейского народа (Книга Есфирь).

\*\* Харосет — смесь фруктов, орехов и вина, символизирующая на пасхальном седере тот раствор, которым пользовались евреи, когда трудились на строительстве во времена египетского рабства.

Теперь, когда Сара Ландау научилась готовить любимую Апупой еду, Амума перешла к более сложному этапу обучения — как испортить эту еду самым раздражающим и болезненным образом.

— Сделать так, чтобы еда подгорела, или положить сахар вместо соли может каждый, — сказала она и научила Сару порче маленькой, но изощренной, той маленькой гадости, которая кладется в кастрюли или в сковородку и без которой можно было бы ощутить вкус настоящей, любимой пищи — если, конечно, она была приготовлена, как нужно.

— А что это значит — «приготовлена, как нужно», Сара? — спросила она. И сама же ответила: — «Приготовлена, как нужно» — это значит приготовлена с любовью. Потому что у Йофов любовь — это не что-то из ряда вон выходящее, а именно то, что человеку нужно.

\* \* \*

Сегодня мы с Габриэлем большие друзья. Но в дни нашего детства я не мог его выносить. Он вызывал у меня отвращение и страх. Маленькое тело, большая удлинённая голова, старческое лицо и желтая шерстяная шапка, которую он всегда носил в руке, если не натягивал на голову. И, словно желая оправдать все свои прозвища, он всякий раз, когда Апупа входил в комнату, приходил в сильнейшее возбуждение, бросался к нему, прижимался к его ноге, задира голову и



кричал: «Покорми! Покорми!» — широко распахивая голодный клюв.

Поскольку он всегда был там, я редко бывал в доме Апуны, но когда приходил, то шел прямиком, молясь, чтобы Габриэль оказался во дворе, чтобы гулял в этот момент по саду, а лучше всего — чтобы его растоптали коровы или он утонул бы в канализационной яме. Но Габриэль всегда был там. Прижавшись к Апупиной ноге, он играл его старым мягким полотенцем, прятал в него лицо, вдыхал его запах и успокаивался.

Дед гладил его, улыбаясь:

— Смотри, как хорошо он растет и поправляется. Помните, каким он был цыпленком? Две косточки и немного мяса...

Никто не отвечал. Габриэль был и оставался цыпленком, и Апупа обогащал и разнообразил его меню: к бутылочкам молока от Пнины и к своим гусиным желткам, растертым с медом, он добавлял теперь толстые ломти хлеба с толстым слоем масла, яичницы с сыром, полные, с верхом, ложки сметаны. Габриэль ни от какой еды не отказывался, уминал и уминал, но ничуть не набавлял в весе, и лицо у него по-прежнему оставалось такое, будто он боится вот-вот умереть.

— Что это за «набавлял в весе»? Что это за кибуцный язык, отец? Ты еще напиши: «Набавлял в росте»! Или «набавлял в возрасте»!

А почему бы и нет? Набавил в возрасте, набавил во времени, набавил в уме. А также потерял: не только в

## Глава пятая. Пары

весе — потерял в любви, потерял в памяти, потерял в крови.

Апуа поднял Габриэля в воздух: «А-ну, скажите мне, на сколько он сейчас тянет?» — и когда Рахель сказала: «На два грамма», обиженно закричал: «Он еще растолстеет и вырастет, вот увидите!» — и немедленно добавил в меню также субботние халы и дрожжевые пироги из чудесного сада Наифы. Во время кормлений он пел ему толстым и фальшивым голосом и всегда одну и ту же песню:

Был Ханан мал,  
Бледен и слаб,  
И начал он есть  
Масло и мед.  
Масло и мед  
Каждый день —  
Это хорошо,  
Это очень хорошо.  
Ел Ханан всё  
И просил еще.

Но иногда он не пел, потому что набивал себе рот сырым красным мясом, тщательно и долго его жевал, затем выплевывал получившуюся кашицу себе в ладонь, а оттуда, взяв кончиком указательного пальца другой руки, вкладывал в разинутый клюв Габриэля. В тот период он начал откармливать его также молочными пенками, но этим занимался почему-то снару-

жи, на деревянной веранде, и с такими церемониями, что это вызывало «квас» у всех, кто был в это время во дворе.

Как всякий крестьянин, Апупа знал, какая из его коров дает самое жирное молоко. Он собирал его в отдельном бидоне, кипятил, а когда оно остывало, собирал с него пенку. Меня, для которого отец должен был процеживать молоко через самое густое сито, рвало каждый раз, когда я видел, как дед вылавливает последние ошметки из кастрюли и подносит их — мятые, капающие — ко рту Габриэля.

— Ешь, это полезно, — говорил он, и его язык двигался наружу и внутрь, сопровождая движение ложечки из кастрюли и обратно. А на нас он кричал: — Чего вы кривите рожу? Эти пенки — та же ваша сметана, которую вы все так любите.

Рахель напомнила, что Батия тоже любила есть молочные пленки, но, несмотря на это, не переросла своих сестер. А моя мать сказала, что, кроме меда, которым тоже не надо увлекаться — «сладость вредит», — еда, которой ее отец откармливает Габриэля, содержит также мерзости и яды, которые даже доктор Джексон не употреблял в самые свои грешные дни, и потому относится к «пище самого плохого сорта». Но Апупа, на которого ее слова не произвели ни малейшего впечатления, только повторил:

— Вы еще увидите, какой он вырастет!

Моя фонтанелла дрожала, и, хотя в том возрасте я еще не понимал, что эта дрожь означает способность

к предвидению, я каким-то образом знал, что Апупа прав.

В детский сад Апупа отвел нас вместе. Нам было по три года, и, когда мы прощались с ним у ворот садика, я начал плакать. Но дедушка сказал мне: «Хватит реветь, Михаэль! Ты лучше присматривай теперь за нашим Пуи» — и ушел.

Цыпленок, правда, не плакал. Но едва лишь Апупа скрылся из виду, он начал ужасно дрожать, упал на пол, распахнул свою сумку, враз прикончил всю еду, что ему туда наложили, и тотчас начал бегать за воспитательницей, протягивая пальцы к пуговицам ее блузки и выкрикивая свое: «Покорми!.. Покорми!..» Воспитательница убежала, и Габриэль, несмотря на то что живот у него чуть не лопался, тут же упал в голодный обморок. Я выбежал из садика и ринулся за дедушкой вверх по холму: «Апупа, Апупа... Габриэль упал...»

Дедушка вернулся. Ему достаточно было одного взгляда на Габриэля и на воспитательницу, и он сразу понял, что произошло. Он посадил своего Цыпленка на плечи, забрал домой и оставил там. Три года я ходил в детский сад один, а потом Апупа позвал меня и сказал:

— Не думай, что ты избавился от своей обязанности. В следующем году мы пошлем Пуи в школу и приставим тебя к нему, чтобы ты за ним смотрел.

И так случилось, что в первый день в школе судьба взвалила на меня сразу три задачи — начать учиться самому, присматривать за Габриэлем и обнаружить,

что новый директор школы — это Элиезер, Анин муж. Когда он впервые вошел в класс, все мое тело содрогнулось, как от неожиданного удара, но Элиезер ничем не выдал, что мы знакомы, и не выделил меня среди других учеников — ни лишней похвалой, ни лишним замечанием. Только увидев меня после школы на улице, он улыбнулся, а когда увидел меня у себя дома по возвращении с работы — обрадовался. А через несколько дней после начала учебы даже пригласил меня заночевать у них.

— Не беспокойся, — сказал он, заметив мое смущение, — я поговорю с твоей матерью.

Честь, оказанная ей визитом директора школы, смягчила мамину жесткость. Факт. Она сказала ему: «Я хочу знать, что он будет у вас есть», а не свое обычное: «Я требую знать!» — и Элиезер кротко ответил: «То, что ты велишь нам ему дать, разумеется. И в любом случае я торжественно обещаю тебе, что мы не дадим ему мясного».

Я ел у них с большим удовольствием. Элиезер приготовил блюдо из макарон, которых в деревне в «те времена» еще никто не знал. Только много лет спустя, когда габриэлевский «Священный отряд» начал готовить у нас во дворе, я понял, что это была итальянская паста. Он даже напел нам по-итальянски из каких-то оперетт, показал, как накручивать пасту на вилку и ложку, и сделал замечание Ане за то, что она раскусывала и втягивала с тарелки. Потом он рассказал о «великих первооткрывателях» — Магеллане, Васко да

Гама и капитане Куке. Он вытащил старые географические карты, которые коллекционировал, и показал на них белые пятна и слова «терра инкогнита», вызвавшие у меня волнение, а потом заговорил о жестокости и высокомерии Европы, живущих в ее душе бок о бок с любознательностью и дерзанием.

— Как это так, что не японцы открыли Португалию, а португальцы Японию? И почему Марко Поло добрался до Китая, а не какой-нибудь китаец вдруг появился в Венеции? И по какой причине не индейцы в один прекрасный день высадились в Испании, а испанцы в Америке? — спрашивал он. — И почему в Европе есть столько величия и любопытства, и такая музыка, нельзя забывать о музыке, и в то же время, там были и Катастрофа, и инквизиция?

— Ему всего шесть с половиной лет, Элиезер, — сказала Аня.

— Правильно, — сказал Элиезер. — И ты тоже не забывай этого.

А потом он молча пил. Сначала ее белое вино, а потом настоящий крепкий напиток. Прозрачный, с приятным запахом фруктов. Он пил медленно, равномерно, так, что не терял ясности сознания. Только когда он поднялся со стула, я увидел, что он слегка опирается на него.

— Спокойной ночи, дети, — сказал он. — Я пойду спать, а Аня приготовит тебе постель.

И он пошел в свою комнату, а Аня постелила мне постель и, уложив меня, забыла, что «ему всего шесть

с половиной лет», наклонилась надо мной всем телом, и на одно мгновение совсем легла на меня, всем своим весом, и обняла, но только на одно мгновение.

Теперь, когда мы учились вместе, я и Габриэль, Апуа начал приближать и меня. Он велел мне каждый день, приготовив уроки, приходить к нему, и он будет рассказывать нам о своем детстве в «Иудее». Так, словом «Иудея», он называл то место, из которого пришел сюда. Мы тогда еще не знали, в какой маленькой стране мы живем, и слова «Юг» и «Иудея» показались мне похожими на те «терры инкогниты», о которых рассказывал Элиезер, такими же далекими, как острова, о которых читал мне отец, и такими же таинственными, как слово «урея», которое мама показала мне в книге доктора Джексона, — она не объяснила его смысл, но в ее голосе было столько сладости, что я сразу понял, что речь идет о самом опасном яде, сравнимом, как минимум, с куриным супом.

Дедушка рассказывал нам о виноградниках Иудеи, о смене цветов ее земли, о дюнах, за которыми растягивается большое море, а в нем огромные удавы и гигантские осьминоги. Осьминог хватает тебя своими страшными руками, подносит к раззявленному рту, «и тут его совсем легко убить, ангелочки вы мои. Все, что нужно сделать, — это вытащить меч и воткнуть ему в глаз, глубоко-глубоко».

— В какой глаз? — пугался Габриэль, прижимаясь к его груди.

— Это очень просто, Пуи, у него есть всего один глаз.

Освоей матери, которая умерла, когда он был ребенком, и «проделала, — так сказала Рахель, — большую трещину у него в сердце», Апуа избегал говорить, но не раз вспоминал ее суп и, поскольку всегда подчеркивал, что суп был «горячий, как кипяток», начал и сам верить в то, что нам рассказывал, — что от силы жара в нем изгибалась ложка. О Батии, своей любимой дочери, ушедшей в изгнание, он не рассказывал ничего, а о своей мачехе, из-за которой покинул в детстве дом, говорил с нами только один раз, когда мы уже были постарше. «Второй жене не нужно в доме напоминание о первой жене», — постановил он с удивительной незлопамятностью. И к своему отцу, прогнавшему его из дома по ее требованию, он не таил зла: «Я не виню его. Мужчине нужна жена». Он не пускался в детали и не разъяснял, но каждый раз, когда говорил о нем, в его голосе звучали тепло и тоска, и его взгляд смягчался, когда он смотрел на отцовский портрет на стене — в пышных усах, в лошадиной подпруге и в тяжелых ботинках.

Отец был «из мужчин мужчина», и громогласные рассказы Апуы, сопровождаемые тремя видами ударов — глухими в грудь, беззвучными по воздуху и звучными в ладонь, — повествовали в основном о золотых монетах, которые отец прятал в своем поясе — вот, точно в таком, — и о покойниках, которых он разбросал на своем пути: длинный ряд «вражес-



ких» трупов, который тянулся от «галута» и до самой «Страны Израиля».

Мы с Габриэлем смотрели на него широко распахнутыми глазами. Я сидел у его ног, на старом ковре. Габриэль, совсем голый или закутанный в одну из своих одежек, сидел у него на коленях и однажды, когда Апуа снова рассказывал о своем отце, Габриэль вдруг спросил о его матери:

— Почему ты не рассказываешь о своей маме?

— Потому что она умерла.

— Как моя мама?

Я испугался, но Апуа, которого куриные мозги сделали не только глупым, но и честным, схватил его за руку и, не говоря ни слова, вывел из дома, сошел с ним по ступенькам и провел через двор. Я смотрел на них и видел, как он поставил сына у дверей его матери.

— Твоя мама не умерла, — сказал он. — Она здесь. Постучи сильно, три раза.

Габриэль постучал, Арон открыл, и Апуа сказал:

— Габриэль хочет видеть твою жену, — повернулся и ушел.

Габриэль шагнул внутрь, дверь закрылась за ним, и, когда он вернулся, Апуа ничего не спросил его, и он тоже ничего не сказал. Но с тех пор, раз в несколько дней, всегда вечером, он ходил навещать свою мать и ее мужа. Стоял у двери, стучал три раза, сильно. Жених открывал, поворачивал голову назад, внутрь дома, говорил: «Он пришел тебя навестить», впускал его и уходил.

Габриэль целовал мать в гладкую чистую щеку и рассказывал ей о происходящем в доме, в деревне, в школе и во Дворе. Как она его называла, «Габриэль» или «Ури», я не знаю. Как он называл ее, «Пнина» или «мама», — я тоже не знаю. Помнил ли он день, когда она пришла его покормить? Я полагаю, что нет. Но я уверен, что иногда, как это делают все Йофы со своими женщинами — женами, матерями, любимыми, — он клал голову ей на колени и давал ее пальцам гладить свой затылок. Им было хорошо вместе, они ощущали приязнь и интерес друг к другу, и, думаю, некую особую уважительность тоже, но они уже не были сыном и матерью. Врачи ошиблись, а Апупа оказался прав: приязнь, доброжелательность, уважительность и любопытство — вот что определяло отношение Габриэля к матери. Не кровь. Не влечение. Не любовь. Пнина была ответом на вопрос: «Как зовут твою мать?» Апупа был сама мать.

Все время, пока дед рассказывал, пальцы его были заняты делом — месили сюжеты, перебирали золотые монеты, пересчитывали трупы. Большим и сильными были эти пальцы и всё делали с удовольствием: разрывали веревки на упаковках соломы, поглаживали приклады и шеи, сжимались в кулаки. Но главное удовольствие они получали от той помощи, которую пальцы людей с куриными мозгами оказывают их памяти: мизинец был вонючим трупом араба, который однажды проклял его отца во имя Аллаха. Безымянный палец был трупом еврея,

который однажды обманул его отца в карты и, как у всех обманщиков, встречавшихся на пути семейства Йофе, у него «одна щека была выше другой». Средний палец был тем цыганом, который однажды глянул на его мать на «базаре» — слово, которое в йофианском словаре означает и ярмарку в галуте, и невыносимый крик за нашим столом во время семейных обедов: «Тише вы! Что за базар!» Это постоянный окрик и у нас, и у Кади Молодовской, и в «Пабе Йофе» в Хайфе.

Я очень любил рассказ о цыгане. У дедушкиной матери кожа была «белая, как снег», у цыгана глаза были «черные, как уголь». Такие черные, что оставляли черные следы на всем, что они рассматривали. И когда дедушкина мать вернулась домой, отец Апуны увидел, как они спускаются с ее лица на шею и на грудь, взбираются на вершины и скользят в долины ее тела.

— Он тут же схватил свою толстую палку и спустился на базар. Идя по черным следам, он нашел глаза, поднял палку и... — Апупа высоко поднимает руку, мы с Габриэлем кричим: «Трах!» — и разом расколол тот череп, в котором они находились.

Мы радостно смеялись, а дедушка улыбался. Он был счастлив. И его указательный палец уже выпрямлялся, словно артист перед выходом на сцену, для продолжения рассказа. Этот палец был трупом «хохла» — слово, значения которого я не знаю, — который как-то сделал замечание по поводу еврейского носа

его отца. У самого Апупы, кстати, нос маленький и брезгливый, насмехающийся над стальной стружкой его бровей и над гранитом его подбородка, которого мы, правда, не видели, но знали, что он «тама», внутри белой бороды, и чувствовали его, когда тренировали на Апупе свои апперкоты.

Последний палец дедушки, большой, был незадачливым немцем, который, правда, не принадлежал ни к антисемитам, ни к нацистам, ни к развратникам, ни к обманщикам, но зато отращивал бороду без усов, а этого дедушкин отец, невесть почему, тоже вынести не мог. К счастью, дедушкин отец не был просто кровожадным убийцей, и его история не переходила на вторую руку — после пяти пальцев и пяти покойников список закончился, и тогда Габриэль спросил, разбрасывал ли он за собой трупы врагов, чтобы найти по ним обратную дорогу к дому.

Апупа рассердился: его отец никогда не возвращался обратно. «Его “домой” было тут!»

Сам Апупа, как и его отец, тоже был «из мужчин мужчина», но, к своему большому сожалению, никогда не убил человека. Однажды на пасхальном сидере — я был тогда молодым парнем, мой отец уже умер, Аня уже ушла, Аделаид приехала и уже уехала — он даже сказал, что завидует мне, потому что я убил. Я не поверил своим ушам. В сущности, никто не поверил. Страшное молчание накрыло стол, глаза уставились на ботинки или отправились блуждать по стенам. Пальцы разминали смущенные крошки

мацы. Кнейделах\* набрали полную грудь воздуха и нырнули в холодные, как лед, глубины супа, зато у меня, которому, в отличие от всех них, не было куда спрятаться, — у меня перехватило дыхание.

— Ума у него нет, но «в качестве компенсации» он еще и долбанутый на всю голову, — шепнул мне Габриэль.

— Я убил своего товарища, Апупа, — произнес я наконец.

— Но когда ты нажимал на курок, ты не знал, что это товарищ. Ты думал, что это враги, — ответил он, и это «враги» прозвучало у него торжественно и архаично, почти как «расправа», или «песьи мухи», или «пролей гнев Твой», звучавшие над столом за несколько минут до того. — И он выстрелил в тебя первым, а ты выстрелил в ответ. Это не по твоей вине.

— Мне не помогает, что это не по моей вине, — сказала я. — И тому моему товарищу это тоже уже не помогает.

— Тогда, значит, я прав. — Он поднялся со своего места, обозначая конец спора. — Значит, убить — это убить, и не важно кого.

А я позже сказал Габриэлю:

— И ты знаешь, что самое ужасное? Что он прав. Это действительно ничего не меняет. Ты ведь был там, и ты знаешь. Действительно, в меня стреляли, и я, действительно, выстрелил в ответ, не зная, в кого и во

\* Кнейделах — шарики из мацовой муки с яйцами, сваренные в курином бульоне, подаются на пасхальном седере.

## Глава пятая. Пары

что. Но что я не могу забыть, так это как я нажимаю на курок и сразу же понимаю, что моя фонтанелла была права, что это ошибка, но палец не перестает нажимать. Пока не кончилась обойма.

\* \* \*

Щуплый и низенький, сидел Габриэль в первом классе деревенской школы. Старый инкубатор — он давно уже им не пользовался, но не соглашался выйти без него из дому — лежит рядом на полу. Теплая шапка для недоносков снова желтеет на голове. Тонкие пальцы мнут старое мягкое полотенце Апуны и время от времени прижимают его к носу или ко рту. Постоянный объект учительской жалости и мишень для тычущих пальцев соучеников, которых только страх перед возмездием Апуны удерживал от приставаний.

— Ты должен присматривать за ним, — твердил мне Апуна и напоминал: — Вы одной крови!

Я присматривал за ним, но не подставлял плечо, не обнимал и не прикасался. Сегодня мы друзья, но тогда, в наш первый школьный год, я испытывал к нему ревность и отвращение одновременно. Его тонкая кожа и дряблое, старческое тело отталкивали меня, его лицо было вечно озабочено, как у человека, который не знает, где он сыщет в следующий раз поесть, тогда как я был мальчишкой ловким и сильным, а в те дни еще

и выше большинства сверстников. Я боялся, что если буду все время возиться с ним, то потеряю уважение, завоеванное в классе.

Только к десяти годам Габриэль немного окреп и подрос и начал присоединяться ко мне в играх, которые пугали и беспокоили Апупу, хотя одновременно и радовали его. Как и я тогда и как он сам поныне, Габриэль не знал страха. Мы вместе дразнили бодливых телят, вместе взбирались на крышу коровника ловить голубей, вместе прыгали на сеновале с вершины соломенных кип на землю и вместе становились раз в месяц у косяка двери, чтобы дед измерил и отметил наш рост, двумя карандашами разных цветов: красный ангел — Михаэль, синий ангел — Габриэль.

Я и без этого знал, что я выше, но сам процесс измерения, запись, разочарованные вздохи Апупы — всё это придавало разнице в росте очень мною любимую официальность.

— Подожди-подожди, — говорил дед, — мы еще тебя перерастем.

Хождение Габриэля в школу изменило нашу жизнь еще в одном отношении: Апупа, обычно избегавший посещать деревню, теперь начал каждое утро ходить туда с Габриэлем и за несколько минут до звонка на большую перемену возвращался его покормить. Мы слышали, как приближаются его огромные рабочие ботинки: вначале тряслась улица, потом — школьный двор и, наконец, — коридор. Приближаются. Останавливаются. Нетерпеливо расхаживают перед

классной дверью, удаляются и возвращаются. Услышав звонок, он открывал дверь, слегка согнувшись под притолокой, плечи и улыбка касаются обоих косяков. И Габриэль бежит ему навстречу с разинутым ртом и тащит за полу рубашки к коралловому дереву, что в углу двора.

Здесь, в тени этого большого дерева, опадающие цветы которого покрывали двор кровью, а корни поднимали плитки мостовой, раскалывали фундаменты домов и душили трубы, — сегодня я всегда вспоминаю его, когда предостерегаю своих клиентов от тополей и коралловых деревьев, — мой дед Апупа кормил своего сына. Другие ученики, и я среди них, смотрели на них с безопасного расстояния и посмеивались. Апупа вынимал из корзинки маленькую запеленатую кастрюльку еще теплой манной каши, питательные бутерброды с маслом и медом и бутылку с безвкусным мутным напитком, который он готовил сам — из свежих дрожжей и гусиных желтков, смешанных с теплой водой и большим количеством виноградного сахара. Габриэль жадно проглатывал все, а Элиезер говорил с улыбкой, что Габриэль Йофе и землеройка вульгарис — единственные в мире млекопитающие, которые каждый день съедают больше пищи, чем весят сами.

— Смейтесь, смейтесь, — кричал дед, расплываясь в улыбке. — Если я не надеру вам уши сегодня, увидите, как этот паренек врежет вам завтра! Еще немного, и он будет больше и сильнее даже меня, а память у него уже сегодня хорошая, так что берегитесь! — И



потом тыкал пальцем в меня: — И ты тоже берегись! Хоть ты и семья! — Но при этом его губы и глаза, как я уже говорил, улыбались, а лицо было добрым и любящим. Не меня, но любящим и добрым.

Потом он уходил, а к обеду возвращался забрать сына домой. Несмотря на ежедневное смущение, которое он вызывал у меня, это было приятное зрелище. Апуа движется, как ледокол, море детей расступается перед ним, он направляется прямо к своему мизинику, поднимает его и сажает себе на плечо. А мне говорит:

— Пошли, Михаэль, идем с нами, будешь охранять нас от врагов, чтобы не подкрались сзади.

И так мы шли. Я прыгаю от одного гигантского дедушкиного следа к другому, а Габриэль, с высоты Апупиного плеча, корчит мне рожи и высовывает насмешливый язык. Мы поднимались по прохладной душистой кипарисовой аллее наших матерей-близняшек, а перед самыми воротами я говорил: «Я приду позже», — и ускользал на обед к моей любимой.

Тем временем Амума начала обучать Сару Ландау новому и чрезвычайно важному делу: раз в какое-то время хвалить Апупу за что-нибудь, что он сделал, и при этом гладить его по голове, но ни в коем случае не навязывать ему бесчисленные советы, идеи и наставления, которыми Сара так щедро осыпала других.

— Хоть он и знает, что у него куриные мозги, он ненавидит, когда ему говорят, что делать, — сказала она.

Обе они исходили из того, что Амума не умрет, пока не приготовит Сару занять ее место. В то же время обе они знали принцип действия песочных часов и понимали, что чем больше знаний переходит к Саре, тем меньше дней остается у Амумы. Но даже они не предполагали того, что знала: что первой умрет не Мириам Йофе, а как раз Сара Ландау. То был, кстати, первый и единственный случай, когда моя фонтанелла почуяла запах. Видеть и слышать она всегда была способна, но запах не улавливала даже от Ани. Однако сейчас всякий раз, что появлялась Сара, моя открытая макушка ощущала слабый трупный запах, вроде того, что порой доносился из железной бочки за курятником, когда куриные трупы не сгорали дотла.

По иронии судьбы Сара Ландау умерла потому, что вела себя в точном соответствии с теми советами, которые давала другим. Это случилось весной, когда «хорошая-хозяйка-дома» должна сменить зимнее одеяло на летнее и проветрить оба: одно просыпается от своей зимней спячки, проведенной в сундуке для постельного белья, а другое готовится к сладкому сну на антресолях. Сара повесила одеяла на бельевые веревки, и, когда наклонилась, чтобы расправить складку, оставшуюся на пикейной ткани, ее ноги поехали назад по полу, натертому накануне воском, — как положено натирать всякой «хорошей-хозяйке-дома» не реже, чем дважды в год. Сара упала вперед, ее руки судорожно схватились за одеяло, тяжелое тело провалилось между веревками, пробило

навес над лавкой на первом этаже и рухнуло на землю. Высота была не очень большой, но ее голова ударилась о каменный уступ тротуара, и череп раскололся .

Гирш был на репетиции, и, когда к нему прибежали с сообщением, он встал, стер со скрипки пот от подбородка, аккуратно уложил ее в чехол и глубоко вздохнул. Разумеется, он был опечален, нет сомнения, искренне опечален, у него даже, как он с удивлением отметил, перехватило дыхание, но сердце его, независимое и ликующее, наполнилось радостью. Первый этап исполнения давнего уговора завершился, первое препятствие на его пути к Амуме было удалено, он наконец-то получил награду за свою надежду и за дни ожидания.

Он поспешил в больницу, и там, в мертвецкой, из его груди вырвался страшный крик:

— Камни! Где камни?

— Какие камни? — спросил врач.

— Бусы, которые я ей дарил! Она их никогда не снимала!

Он поспешил домой, поискать на месте ее падения. Но там нашелся только один камень — его деревянно-глухой звук и золотистый свет отозвались Гиршу из трещины между двумя плитками тротуара. Все остальные исчезли бесследно. Он расспрашивал соседей, но никто не знал и никто не сознался.

Арон тотчас выехал в Тель-Авив. Амума присоединилась к нему. Никто не знает, о чем они говорили долгое время пути. Рассказывал ли он ей о жизни ее

дочери в построенной им тюрьме? Рассказывала ли она ему о его матери и той роли, которая ей предназначалась? Или они молчали? Всю дорогу? Или только часть пути? Так или так, на завтра они вернулись с мертвой Сарой и живым Гиршем — она лежала на древних носилках «пауэр-вагона», еще тех дней, когда он был военной санитарной машиной, а он сидел рядом с ней и всё силился поймать взгляд Аумы во внутреннем зеркале.

Прежде чем подняться во Двор, они остановились в центре. Гирш зашел в деревенский совет, попросил и получил разрешение похоронить Сару в деревне.

— На вашем кладбище, — сказал он членам совета, — вблизи того места, где живет наш сын.

Шиву, однако, сидели в доме родителей невестки, а не в доме сына, потому что Пнина наотрез отказалась открыть дверь.

— Мне очень жаль твою мать, Арон, но эта дверь останется закрытой. Надо беречь твою красоту.

В последний день траура приехали приятели Гирша из тель-авивского кафе, и все утонуло в выпивке, песнях и музыке. Былые воспоминания были потревожены в их тяжелой придонной дреме, давние истории рассказывались по третьему и четвертому разу, и, как всегда, хоть и быстрее обычного, слышались шуточки о выгодах вдовства. Некоторые из новоприбывших поинтересовались, нельзя ли увидеть ту «красивую девочку», которая когда-то приходила с Гиршем в кафе, и он ответил, что нет, нельзя. Один из музы-

кантов, отличавшийся хорошей памятью, сказал: «А может, мы сыграем ей на трубе длинное чистое “ля” и она выйдет?» — и тогда Гирш вскочил и закричал: «Хватит! Я прошу, хватит устраивать здесь “парти”. Как бы то ни было, у нас еще траур!»

Назавтра он уехал с ними в Тель-Авив, но в конце недели вернулся в деревню, и с тех пор его визиты к нам стали учащаться. Каждый раз по приезду он всячески старался, чтобы все видели, как он навещает могилу жены, всегда говорил, что приехал поглядеть на сына и невестку, всегда навещал новых товарищей, которых приобрел — «своей скрипкой и смычком» — в нашей деревне, а также в окрестных кибуцах и мошавах, и когда Рахель спросила его, ездит ли он еще играть в ту гостиницу в Нетании, сказал, что теперь у него уже нет для этого ни нужды, ни желания и что ему хорошо здесь, в деревне, — но ни у кого не было сомнений, что у него есть некий «План», ибо большую часть времени он оставался во «Дворе Йофе», иногда помогая Амуме в каких-нибудь легких работах, таких, что не портят пальцы, но в основном сопровождая ее мужа. Он вставал поутру, ждал Апупу на веранде, шел за ним в поле, помогал ему поить телят и мыть коровам соски перед дойкой. Как шакалы за буйволом, так глаза его неотрывно следовали за дедом: когда же он обессилеет, когда свалится, когда одряхлеет могучее тело, опустятся широкие плечи и «помрачатся зеницы в глазницах»? Когда, наконец, Давид Йофе уйдет в лучший мир, а

он, Гирш Ландау, в силу их уговора, заполучит его жену?

— Чего ты на меня так смотришь? — наклонился над ним Апуа, гневно наморщив лоб.

Гирш слегка попятился — плечи приспущены, уши прижаты.

— «Так»? Как это «так»? Я только пришел глянуть, не нужно ли тебе помочь.

Но Амума, у которой смерть Сары спутала все прежние планы, не спрашивала и не позволяла никакой случайности отвлечь ее от цели. Все они трое были старше, чем я сегодня, так что она уже хорошо знала, что ревность, в противоположность любви и страсти, никогда не успокаивается <ибо подкрепляется памятью больше страсти и любви> и именно в их возрасте может неожиданно расцвести, и поспешила использовать это в своих целях.

Каждый раз, когда Апуа спускался в поле, она заваривала чай, усаживалась с Гиршем на обращенной во двор деревянной веранде, и они вдвоем попиливали и беседовали. А когда земля начинала дрожать, сообщая о близком возвращении ее мужа, она просила скрипача сыграть ей «какую-нибудь мелодию».

Она слушала его, прикрыв глаз, говорила: «Я чувствую, как наслаждается твоя скрипка», но та слеза, та исторгнутая музыкой слеза уже не сползала на ее щеку.

— Кончились у меня слезы, Гирш, — говорила она, — излились все из-за двух моих дочерей, и из-за

того, что он сотворил с ними, и из-за этого несчастного ребенка, который не внук ни тебе, ни мне.

А когда наконец распахивались задние ворота и ее муж входил во двор, она клала ладонь на колено скрипача. По видимости — словно желая подчеркнуть свою фразу или слово, а в действительности — чтобы Апуа увидел и чтобы в сердце скрипача упрочилась надежда. Тщетная надежда, но это знала только она.

А иногда она говорила: «Давай, Гирш, сходим «туда»», — и с удовольствием видела, что ему, точно верному псу, достаточно радостного звука ее голоса и он понимает, какое «туда» она имеет в виду каждый раз. Один раз — на могилу Сары, другой раз — в продуктовый магазин и много раз — к одинокому кипарису в поле, возле памятника погибшему летчику, и в эти «туда» она приглашала Гирша, чтобы не только ее Давид, но и вся деревня видела их вместе.

Деревце, когда-то посаженное скорбящими родителями на могиле сына, уже поднялось и выросло. По утрам кипарис казался черным, как закопченное лезвие, потому что солнце всходило за ним, а после полудня зеленел под его лучами и становился живым и свежим. Многие деревенские пары взяли себе за обычай ходить к нему, придавая респектабельный вид своим любовным прогулкам, и выражение «пойти к кипарису» в различных его формах: «Хочешь пойти к кипарису?» — «Он уже повел ее к кипарису» — и «Что бы они делали без кипариса?» — стало обычным в деревне.

А один раз в год, всегда по еврейскому календарю, приезжали родители летчика, всегда в том же тарахтящем «фарго» автобусной компании «Эгед»\* — а может быть, «Джи-эм-эс»? всегда стоит проверить память, — который приходил с севера и останавливался у въезда в деревню, и мы всегда ждали их и следили за ними, когда они выходили из автобуса, зная заранее — вначале спустится отец, потом он обернется назад и протянет руку, чтобы поддержать жену. Потом они обернутся оба, слегка кивнут окружающим, которые ответят таким же приветствием, и повернутся к дочери, всё еще маленькой и боящейся ступенек, и протянут две руки — отцовскую и материнскую — двум ее протянутым маленьким ручкам. И, несмотря на утрату, на скорбь и на близость к могиле мертвого сына, их руки слегка приподнимут ее — в надежде, что она улыбнется, а то и засмеется даже, потому что таковы они, родительские руки: им выпадает учиться, как вырыть могилу для сына, поставить ему памятник и, посадить рядом дерево, но есть вещи, для которых им не нужна никакая учеба, и когда к ним протягиваются руки дочери, они знают, как подхватить и поднять, как раньше поднимали и его, на невысокое, надежное место, с которого ему не упасть.

Они ни разу не приняли приглашений зайти в деревню, только отвечали на приветствия и благодарили с улыбкой. И поскольку между их визитами

\* «Эгед» — старейший в Израиле автобусный кооператив.



проходил целый год, легко было заметить перемены. С годами ноги девочки удлинялись и ее светлые волосы темнели, а родители уменьшались и ссыхались и уже не приподнимали. Она росла и взрослела, а они старели странным образом: выйдя из автобуса, выглядели точно как в предыдущий приезд, а через два часа, после возвращения с могилы сына, разом старели на год.

\* \* \*

Каждый вечер, возвращаясь с работы, Арон рассказывал Пнине, что происходит снаружи: кто умер, кто родился, кто женился, кто построил новый дом и у кого новоселье, кто посадил сад и кто продал участок. Он расставлял яства Наифы на столе и перед тем, как начать есть, делал свое постоянное заявление:

— Я полон тревоги.

А после еды — Арон ел, Пнина клевала — они выходили из закрытого дома, погулять и подышать воздухом, он — чернея своей хромотой, она — белея своей красотой. И всегда после заката — чтобы солнце не вытемнило голубизну ее глаз, чтобы не высушило кожу на ее губах. Чтобы не загорело белое и не сморщилось гладкое, а гладкое бы и белое не потускнело.

Уже много раз она говорила ему, что ей удобней и приятней оставаться дома, но он по-прежнему заставлял ее выходить.

— Тело должно двигаться, — говорил он, зная, что любой механизм нуждается в движении и в уходе. Чтобы не исчезла гибкость, чтобы не иссякли силы, чтобы красота не ушла с поверхности тела на его дно.

<Связать с тем, что он сказал про свой «траксьон-авант», — что красота должна быть видна, если ты не хочешь, чтобы она выцвела и истерлась.>

Днем деревня покрывается тонким слоем мусора и пыли, узором запахов — цветения, и молока, и удобрений, и пота, — а ночью ветер спит, запахи не разносятся и не смешиваются друг с другом, и путник плывет среди них, как мореплаватель среди островов: здесь царство лютиков, а вот тут господствует жасмин. Тут границы сеновала, здесь теплый запах телят, там окно выплескивает на улицу ароматы спальни, отсюда и досюда — сжатое поле, оттуда и дотуда — цветы на пустыре.

Дневные люди спят, а ночные существа принимают за свои занятия: водитель молоковоза отправляется в путь, пекарь и сторож заступают на смену, и тревоги тоже выходят на свою ночную работу — строят, камень к камню, сны и кошмары, гонят сон из глаз и покой из сердца. Раскрываются книги воспоминаний, листаются страницы. Картины прошлого просыпаются, потягиваются, ищут свою жертву. В Австралии сейчас зимний день, носит ли Батия накидку? У нас летняя ночь, и Аума замышляет месть, в «те времена» — на своей деревянной веранде, сейчас — у себя в могиле. В огороде моей матери старое пугало

зажигает и вешает на себя керосиновую лампу, приманку для суетящихся в ночи насекомых. В постели тети Рахели лежит очередной парень. Крыланы вылетают из своей пещеры, где когда-то мой отец учил пальмахников топографии, а его сын, единственный нормальный человек в семействе Йофе, все это видит и чувствует, лежа с закрытыми глазами и открытой фонтанеллой.

Идет себе Пнина в синеватом сумраке деревенских улиц, пугает людей бледностью своей красоты, приводит в дрожь собак чуждостью своего запаха, а кошки, уже расширившие свои зрачки встречь темноте, ищут спасения от слепящей белизны ее кожи. Идет, видит всех, кто вышел бросить на нее взгляд, но никого не одаряет ни кивком головы, ни тем более улыбкой. Ни стариков, что хотели бы проверить приписываемую ей способность останавливать время. Ни пожилых, желающих испытать, что вытворяют друг с другом память и правда. Ни молодых, родившихся через годы после ее свадьбы. Эти никогда не видели ее при свете дня, но рассказы о ней слышали и вот теперь стоят и глядят, и глаза их за заборами — точно павлиний хвост. Они глядят на нее, а я наблюдаю за ними. Когда люди смотрят на красивую женщину, их веки становятся тяжелыми, горло пересыхает, а фонтанеллы, хоть и закрывшиеся в свое время, все равно дрожат.

И женщины тоже ждут ее появления. Красивые женщины, что хотят бросить вызов и сравнить.

Уродливые женщины, мечтающие увидеть красивых побежденными. Девушки и девочки, которые хотят быть, как она, и еще — трогательная и взволнованная компания беременных женщин. Эти приходят не только из нашей деревни, но также из ближайших поселков — из мошавов и кибуцев, из арабских деревень, что на холмах, и есть даже несколько тель-авивских, которые прослышали о ней и приехали на снятом «вэне» с водителем, — и все они поворачиваются в ее сторону животами, как на молитве.

Лунный свет освещает Пнину, Пнина отвечает ему своим сиянием, и звезды, словно навечно закабаленные, низко-низко кланяются своей госпоже, расстилаются перед ней — и гаснут.

— Брось, — сказал Габриэль несколько лет назад, когда я пытался уговорить его выйти со мной на улицу и посмотреть на его мать. — Когда-нибудь она выйдет днем вместо ночи и разом сморщится, растрескается и рассыплется в прах.

<Тут возможна была бы классификация, некое языковое поле. Маленький лужок из слов, означающих красоту.>

Рахель тоже не соглашалась выйти посмотреть на сестру, заявляя, что ее куда больше беспокоит судьба Арона.

— Сколько времени способен человек заботиться, и заботиться, и заботиться, и работать, и работать, и работать, и платить, и платить, и платить? — удивлялась она и добавляла с насмешкой: — И зачем?.. Ни

одна женщина, ни один человек, даже твой ребенок, твоя плоть и кровь, — тут она метнула взгляд на меня, — не стоят такого бесконечного труда, такой заботы и такого самоотречения.

Но Арон оставался верен себе. Он, правда, уже сделал все, что обязался сделать, и даже более того, но ведь горечь, что вечно саднит сердце, хочется излить и выразить при каждом подходящем случае, и вот он начинал тяжело вздыхать, переворачивая всем нутро своими вздохами, и огорченно прицокивать языком, сопровождая этим цоканьем очередной из серии своих готовых модулей «не для того», которые сразу же вошли в архив наших семейных выражений, эту «кость Кювье» всего семейства Йофе: «Не для того мы вернулись из галута... Не для того мы сражались в Войне за независимость... Не для того мы взялись учить новоприбывших труду на земле...»

— Ну хватит уже, Арон, успокойся, — сказала ему Рахель, которая, как и все мы, наизусть знала продолжение. — Мы переживали и куда более трудные времена, и даже при исходе из Египта у нас уже была своя чернь.

Но дядя Арон не успокаивался. Какое ему дело до прежних времен, он живет сейчас, «среди теперешнего дерьма».

Он, по его собственному свидетельству, человек простой. Не такой образованный, как «всякие умники, которые подписывают петиции, не как все эти

доктора из университетов и Техниона», но здравый смысл у него есть, и читать газеты он способен, и читает их с начала до конца, кроме, конечно, спорта и разделов моды, ресторанов и прочей распушенности, и новости он тоже слушает, «кроме погоды, которая доводит меня до белого каления».

— Что у тебя за проблема с погодой?

— Нет ни одного дня, чтобы они не ошиблись.

— Ну, вот, нашли виноватых, — объявил Габриэль. — Синоптики!

— Только летом они не ошибаются, — продолжал Жених, — потому что летом каждое завтра жарко, а каждое послезавтра ясно. Но зимой? И весной? Ни дня не бывает без ошибки. За что им платят деньги? Они не знают даже, какая погода сейчас.

— Арон, — сказала ему Рахель, — ты обратил внимание, на что ты сердишься с самого начала еды? На глупости.

Но он продолжает свое:

— А ну, посмотрим, как они высунут руку за окно и скажут, что идет дождь. Не завтра! Сейчас! Но какая им разница? Зарплату им платят? Платят. Их красивую морду в телевизоре видят? Видят. Так хотя я не такой большой умник, но у меня достаточно ума, чтобы понять, что здесь происходит и что произойдет.

К старости Жених стал болтлив. Все, что в нем накопилось — годы забот, долгое молчание человека, который большую часть своих дней беседовал с приборами и материалами, — всё это поднималось теперь

в его душе и изливалось из уст. Мысли и слова, годами ждавшие внутри, сейчас проталкивались наружу, тесня друг друга.

— Когда вы видите, как говорит какой-нибудь министр, — объявил он как-то вечером, когда к нам приехали с визитом Йофы и все мы сидели на старой деревянной веранде с новым видом, — вы смотрите на него и слышите, что он говорит, и этого вполне достаточно, чтобы понять, в руках какого ничтожества мы находимся. Но я — я смотрю еще кое на что, я смотрю на тех типов, которые протискиваются в кадр, стоят сзади и высовывают свои рожи. Даже когда происходит теракт, ты и тогда видишь, как они высовываются... Так я говорю себе: с такими людьми, с этим дерьмом, с ними не построишь государство. С этими тупыми глазами не построишь промышленность. С ними не выстоишь войну.

И когда никто не отозвался, сказал:

— Конечно, я тоже хочу видеть сыновей Израиля такими, как у царя Соломона, — *сидит каждый под своим виноградником* и ест. Но раньше знали также, кто чего-то стоит, а кто просто дерьмо. А сегодня каждый здесь чувствует себя главой правительства, и каждая пешка требует к себе уважения, и все они нам — друзья-товарищи.

— Кто это каждый? — спросил Габриэль. — И кто это, уточни, пожалуйста, мы и они?

— Ты прекрасно знаешь, кого я имею в виду, — разозлился Арон. — Я уже вам говорил, да если бы и

не говорил, вы и сами знаете. И такие люди, как ты, извини меня, даже хотя ты в полном порядке и был большой вояка в армии, но когда я был молодым, такие люди, как ты, не расхаживали на людях, и уж тем более не в такой одежде. Не мешает и поскромнее себя вести, если нужно.

Габриэль улыбается. Его длинные сильные, как у Апуны в молодости, руки вдруг протягиваются, хватают Жениха и обнимают его:

— Если ты еще продолжишь в таком же духе, я тебя поцелую в губы. Тогда берегись.

И на этом мы обычно заканчиваем и расходимся — каждый в свою палатку, свой барак или свой дом, — кроме того единственного раза, когда из темноты внезапно появилась высокая тень, поднялась по четырем ступеням и вступила в круг света на веранде — моя мать, суровая и справедливая, «через полтора часа после фруктов», и к тому же вдруг произносящая:

— Пора тебе заткнуться, Арон.

Воцарилось молчание. Жених побледнел. Его смуглая кожа стала цвета зимней лужи. Челюсть отвалилась — как из-за услышанной фразы, так и из-за того, кто ее произнес: Хана Йофе, которая никогда не сказала о нем дурного слова, если дело не касалось питания. Ведь они оба были людьми принципов, а такие люди обязаны помогать друг другу, а не ссориться и обвинять.

— Но почему?! — простонал он. — Что я такого неправильного сказал?!



— Я тебе скажу, что неправильно, — сказала мама, приближаясь. — Неправильно здесь то, что даже самое ужасное, что происходит сегодня в государстве, не идет в сравнение с тем ужасом, который ты с моим отцом устроили Пнине. И то, что раньше вы увивались вокруг нее, и прославляли ее, и хвалили ее, и каждый день только — Пнина да Пнина, и самая красивая, и самая умная, и самая удачная, — а потом взяли и убили ее. Уж лучше то, что вы сделали мне, когда насмехались надо мной с самого начала.

— А разве я сейчас не забочусь о ней? — взорвался Жених. — Что, у нее нет дома или не хватает еды? И что, Габриэль выброшен на улицу? А вы все — разве вы не получали все эти годы свои деньги по уговору?

— Уж лучше бы ты выбросил его на улицу, лучше бы он вообще не родился! Ему же было бы лучше!

— Я все слышу, — провозгласил сам предмет разговора, — и я согласен с каждым словом!

Но моя мать не обращала на него внимания. Ее гнев уже питал себя сам. Из-под навеса соломенной шляпы, сквозь волокна клетчатки, из-за гор салата и бесчисленных жевков вышла вдруг наружу настоящая Хана Йофе. Не та толстенная и веселая узница, которую представляла себе Рахель, а хищница с длинными клыками и звериным голодом по мясу, которую мать заточила в своем теле.

— Ты и он! — Она ткнула в сторону спутанной седой бороды в инкубаторе. — Он — своей тупостью и грубостью, ты — своим рабским послушанием!

— Это ты читаешь мне мораль? — возмущился Жених. — Как будто мы не видели, как ты вела себя со своим мужем! Что удивительного, что он умер в таком молодом возрасте? Что удивительного, что он крутил с другими женщинами?

Моя мать — старуха сильная и быстрая, ее пронзительный взгляд и прямое тело говорят о силе и о здоровье. Но даже великий доктор Джексон не сделал бы того, что она сделала сейчас. Двумя широкими шагами она достигла Арона и, не успев никто понять, что происходит, схватила его и укусила в затылок. Он закричал от боли, но прежде, чем мы сдвинулись с места, она уже оттолкнула его:

— Ты купил ее за деньги! И не тебе читать мне мораль о браке и любви.

И вдруг ее покинули силы. Она опустилась на стул и стала плакать:

— Мордехай, Мордехай, Мордехай... — таким плачем, каким не плакала никогда или, может, и плакала, но не на глазах у сына. И я закрываю глаза — глаза ее сына — и смотрю на нее. Не всегда за правой скрывается боль, но, когда она там, за стенами непогрешимости, это боль горькая и большая. Никакая повязка не излечит ее, и слюна не разложит, и клизма не высвободит. А от своей матери я поворачиваю фонтанеллу к двум моим близнецам, ее внучке и внуку — одна в своем кабаке, другой на своем лежаке, — и к «Священному отряду» Габриэля, и к самому Габриэлю, и к Юбер-аллес, и к ее дочери

Аделаид, и я льщу себя надеждой, что, может быть, где-нибудь, в другом городе, на другой планете, у другой звезды, есть другие Йофы, которые живут в ином «Дворе Йофе», каждый под своим виноградником и под своей смоковницей, едят, и пьют, и радуются, и женятся, и учатся, и рожают детей, потому что кто-то же должен продолжить имя Йофе, а мы, Йофы из нашего «Двора Йофе» — одна заживо погребена в своем доме, другой в своей яме, та под своим пуховиком, а тот в своей палатке, — не что иное, как тупик, закоулок без выхода.

А Рахель, когда я поделился с ней этим, засмеялась:

— Это и всё, что от нас осталось: мертвый, сирота, педик и вдова.

\* \* \*

Фигура скрипача — как правило, рядом с Амурой — уже стала частью нашего постоянного пейзажа. Но в то время как Йофы полагают еще, что речь идет о затянувшемся визите, в деревне уже поняли, что он вообще не намерен возвращаться в Тель-Авив. Через несколько недель после смерти жены он снял себе комнату у одного из «шустеров» и начал учить музыке в кружках, которые организовал в Кирьят-Амале и Нахалале, а раз в неделю ездил еще в Кфар-Иехезкель и Эйн-Харод, но все это он делал лишь для того, чтобы обеспечить себе пропитание и скромную крышу над

головой. Главным его делом было сидеть с Амумой на веранде и следить за ее мужем.

История с давним уговором между двумя парами не была секретом, и все Йофы — кроме Апупы — понимали, что происходит. Но дальше всех зашла моя мать, когда увидела однажды Гирша Ландау, который сидел, по своему обыкновению, на деревянных ступенях веранды и наслаждался тремя ядами одновременно — четвертью палки колбасы, сигаретами «Суперфайн» и рюмкой шнапса, налитой ему Ароном. Она знала, что вслед за этим аккордом: «колбаса-сигарета-алкоголь» — настанет и очередь последней отравы в виде чашки кофе с двумя размоченными в ней «кошачьими язычками», — и встав над Гиршем, громко сказала, что если он будет продолжать в том же духе, то не видать ему Амумы, как своих ушей, потому что он умрет раньше, чем она и чем сам Апупа.

Как и многие другие музыканты, Гирш Ландау был человеком нетерпеливым. Мать уже не впервые осуждала его привычки, и обычно он отвечал ей одной и той же бесившей ее фразой: «Между прочим, Гитлер тоже был вегетарианцем, ты забыла, Ханеле?» — а то и вообще выдвигал предположение, что, употребляй Гитлер мясо, «вся история, возможно, пошла бы иначе и к лучшему». Но на этот раз скрипач не рассердился и не обиделся.

— Хана, — сказал он, — я же знаю тебя ребенком и даже рассказывал разные истории тебе и твоей сестре-близняшке-красавице. Так что если ты не возражаешь, я расскажу тебе еще одну небольшую историю.

— О чем? — спросила мама, слегка нахмурившись из-за упоминания «сестры-близняшки-красавицы».

— Как раз о том, что ты любишь, — сказал Гирш. — Оздоровье, о долголетию и о правильном питании. Иди сюда, — он подвинул свое маленькое тело, — садись рядом. Слушать истории — это все равно что кушать и как что-то еще, что тоже нездорово делать стоя.

У нас в местечке, — начал он, — были два брата-близнеца. Не Йофы, но близнецы иногда рождаются и в других семьях. Один, его звали Эфраим, выкуривал сорок сигарет в день, каждый вечер съедал буханку хлеба — белого, конечно, — с маслом и с колбасой и, чтобы сердце не заросло жиром, выпивал под это пол-литра водки, а когда кончал есть, шел — извини меня — к проститутке. Но кто лучше тебя понимает... такое чревоугодие, такая распушенность... в конце концов приходит время расплачиваться... И действительно, когда этому Эфраиму было сто пять лет, он поехал судьей на соревнование по пиву, по дороге поезд сошел с путей, и он погиб на месте. Но зато его брат-близнец, который никогда не курил, никогда не пил и никогда не касался мяса: ни мяса в тарелке, ни мяса — «извини и пожалуйста» — женщины, в возрасте четырех месяцев умер от воспаления легких.

— Ну, и о чем это говорит? — Мама раздраженно поднялась.

— О том, что вегетарианство — это очень хорошо для кишечника, но люди — у них есть не только кишечник, у них есть еще ум, и сердце, и еще несколько органов, и есть у них также муж, и жена, и дети, и работа, и есть у

них также желания и память, добрые побуждения и злые побуждения — и для всего этого иногда нужен хороший кусок мяса, а главное, Хана, нужно успокоиться.

\* \* \*

Время шло. Настоящее отступало, а может, наоборот, надвигалось — «Это зависит, — объяснил нам как-то в классе Элиезер, — от того, где вы себя располагаете — едущими в поезде или стоящими на платформе». Дни проходили и исчезали, словно длинная, плывущая в одну сторону череда красных звонков — восходов, закатов и сезонов, — и становились «теми», овейными легендарной славой, «временами», когда «все помогали друг другу», и «все уважали друг друга», и «все знали друг друга в лицо и по имени», — и иногда, под видом дружеского похлопывания по плечу, скрипач осмеливался протянуть робкую руку и коснуться тела Апупы, чтобы найти и в нем следы времени, оценить, насколько еще упруга и живуча эта плоть. Но уж эти прикосновения Апупа наконец понял. Ибо в отличие от «Планов», слишком сложных для куриности его мозга, и осторожных расспросов, слишком утонченных для его толстой кожи, испытующие прикосновения Гирша не так уж отличались от того, как он сам, Апупа, прощупывал зрелость сливы или состояние коровьего вымени или колена.

Он позвал Жениха и велел ему поговорить с Гиршем.

— Пусть он перестанет меня щупать. Скажи ему прямо: Давид Йофе умрет после тебя, незачем тебе тут ждать!

Но Жених взбунтовался:

— Это не мой с тобой уговор, — сказал он. — Это твой уговор с ним.

То был первый раз, что Арон осмелился послушаться тестя, и Апуа уже начал обдумывать, не прогнать ли скрипача вообще. Но пока все были заняты предсказаниями и предположениями, сама Амума неожиданно исчезла из дому, и тогда все бросились ее искать. Были бы у каких-нибудь других Йофов такие же открытые фонтанеллы, как у меня, они смогли бы с их помощью угадать не только место ее укрытия, но и ее близкую кончину. Но я и это предсказание своей фонтанеллы держал про себя, зная, что бабушка не хочет, чтобы ее нашли.

Помогать в поисках прибыли Йофы со всей Страны. Они прочесали дворы, вышли в поля, обыскали все сады и апельсиновые рощи, мобилизовали мужа Наифы и всех его братьев-следопытов, которые прошли по всем оврагам меж холмов — и, нигде ее не найдя, высказали предположение, что, возможно, она ушла в Вальдхайм, в дом семьи Рейнгардтов. Этот добротный хуторской дом, сегодня уже умирающее строение, тогда еще стоял прочно. Его жилое крыло служило хранилищем для семян и зерна, коровник превратили в столярную мастерскую, бывшее помещение для рабочих — в склады.

Апупа не ждал ни минуты. Как и за годы до того, он снова раскрывал бешеными ударами двери, вламывался в те же подвалы и кладовки через те же самые входы, звал ее теми же громовыми криками, прокладывая себе дорогу среди мусора, хлама, рабочих, мешков с опилками, бочек и сетей паутины, взлетал на второй этаж — черно-белые плитки проглядывали там из-под куч зерна, — заглядывал во все уголки, где мать может искать воспоминание о своей дочери.

Сойки взвились крикливой стаей. Испуганно замычали коровы в соседнем коровнике. Прибежал было секретарь мошава, требуя объяснить, «что здесь происходит», но две половины Апупиных братьев, сопровождавшие Апупу вместе с небольшой группой своих потомков, перегородили секретарю дорогу, окружили и не дали пройти.

— Мы сейчас уйдем... — успокаивали они его. — Вы не волнуйтесь... всё будет в порядке... мы ничего не возьмем... дайте ему только поискать...

Голоса у них был мягкие, почти умоляющие, но руки сильные и твердые. Тем временем подошли еще люди, и я испугался, потому что вдруг, среди бела дня, послышались крики: «Мама... мама...» — такие ясные, такого очевидного происхождения, что вполне внятно объясняли — даже тем, кто этому внять не хотел, — откуда в последние годы доносились такие же призывы по ночам, — но Амумы не было нигде, и Апупа, отчаявшись, умолк.



А когда все вернулись во «Двор Йофе», закрыли за собой двойные ворота и встали беспомощным кружком, не зная, что делать дальше, в доме Арона и Пнины вдруг открылись ставни, и в окне возникла Пнина — белая, чистая, залитая светом, — и выкрикнула то, что я все это время знал и скрывал:

— Идиоты! Она лежит в бараке!

Амуму — «упавшую с крыши птицу», маленькую и дрожащую, — нашли в бараке, под кучей старых английских военных одеял. Все вдруг увидели, как она исхудала. Раньше никто этого не замечал, потому что от природы она была тонкокостной, а к старости годы не отложились в ней складками и слоями жира, а превратились в гнев и воспоминания. Но теперь она из просто тонкой стала тощей, почти высохшей, и светилась той худобой грызущего себя изнутри тела, которую нельзя не заметить и в природе которой невозможно ошибиться.

Рахель сразу поняла, что происходит, и ее охватил ужас.

— Что ты здесь делаешь, мама? — закричала она. — Ты больна! Посмотри, как ты выглядишь! Немедленно вернись домой и ложись в кровать...

Но Амума улыбнулась и сказала, чтобы ее оставили в покое, что свои последние дни она хочет провести с Батией.

— Какие последние дни? О чем ты говоришь? Как ты можешь лежать здесь, среди этого мусора и грязи?

Но Амума сказала:

— У меня в животе растет что-то плохое. Я умираю.

И тогда Гирш Ландау, который хотел было произвести это про себя, выкрикнул вдруг вслух:

— Но у нас есть уговор! Сара умерла, теперь его очередь!

Йофы удивленно повернулись к нему. Маленький, худенький человечек, тонкий, но сильный указательный палец направлен на Апупу и требует своего. Все испугались, что сейчас Апупа вышвырнет его из окна, как плохо приготовленную селедку, и Арон уже приготовился вмешаться. Ведь, с одной стороны, он сын скрипача, а с другой стороны — дедушкин пес. На чьей стороне он окажется?

Но Апупа улыбнулся странной улыбкой, вошел в барак, нагнулся, протянул свои длинные руки и начал собирать с пола собравшийся там хлам — тряпки, прутья, трубы, поломанную мебель, — а мне и Габриэлю велел привезти телегу.

Мусор был погружен и увезен, Жених поставил огромную кастрюлю с водой на одну из оставшихся у него старых сварочных горелок, полубратья Апупы уложили Амуму в кровать на веранде и вернулись, вооруженные швабрами и вениками. Гирш тоже принес совки и тряпки, и за несколько часов эти пятеро дочиста выдраили весь барак кипятком с мылом, побелили стены, поменяли рамы и забили новыми досками старый пролом, через который Юбер-аллес убежала к немцам.

Амуму томила и мучила вся эта суета.

— Хватит, хватит, не надо больше убирать, всё уже хорошо, — просила она. А потом, словно самой себе: — Ведь и времени уже не осталось, дайте мне только чуточку отдохнуть здесь... — И в конце, уже никому: — Здесь у нас всё началось, и здесь продолжалось, и здесь пусть закончится, вот, и так мне хорошо...

Прошло еще несколько месяцев, в течение которых она то уходила, то возвращалась [поднималась и ложилась], качалась между страной живых и страной мертвых, вздувая и прокалывая радужные пузыри надежды, и Апупа впервые в жизни познал вкус беспомощности и отчаяния.

— Всю свою жизнь он стоял, как богатырь, — сказала Рахель, — и за всю его жизнь не нашлось героя, который осмелился бы вступить с ним в единоборство.

И вот сейчас его жена *раскрутила пращу* и швырнула в него камень своей мести — «прямо в голову, которая всегда была у него самой слабой точкой».

Жених установил носилки на их прежнее место в «пауэр-вагоне» и добавил к ним кислородный баллон, а также приборы и провода, которые были там в те времена, когда «пауэр-вагон» был армейской санитарной машиной. Он даже проверил старую сирену, и в те дни, когда Амуме становилось совсем худо, спал не раздеваясь, и все его существо наполнялось важностью, свойственной должностным лицам и полезным людям. Но каждый раз, когда Амума теряла сознание, и ее дочери кричали: «Арон, скорее...» — и он уже заводил было

«пауэр-вагон», чтобы помчать ее в больницу, Апуа прибежал из любого места, где его заставлял этот крик, и вставал стеной у ее кровати, заслоня Амуму столбами ног, широко раскинутыми руками и разметавшейся бородой:

— Оставьте ее в покое! Я не позволю втыкать в нее трубки! — А иногда: — Отстаньте от нее, она еще не умерла. А если умрет, то умрет, как она хочет, в своей кровати.

И именно так она действительно умерла, и я хорошо помню ее похороны. Я впервые почувствовал себя тогда внутри большой семейной истории, того сорта, о которых раньше узнавал только на слух. Йофы съехались со всей Страны. В коротких штанах, в длинных брюках, в ботинках и сандалиях, в синей рабочей одежде, выходя в строгих деловых костюмах из роскошных автомобилей, вытекаая черным потоком капот\* из арендованного иерусалимского автобуса, в белых траурных одеяниях и в военной форме.

— «И этот к тебе пришел, и тот к тебе пожаловал», — разглядывала Рахель никогда дотоле не виденных двоюродных братьев и сестер с их сыновьями и дочерьми, женами и мужьями. Земля дрожала под их ногами, они кричали: «Не так!» — на ворота, открывавшиеся наоборот, просили еще лимона, жаловались на температуру супа и ломали капающие краны.

Я спросил Рахель, приедет ли на похороны Батия, потому что хотел ее увидеть.

\* Капота — традиционная верхняя одежда хасидов.

— Батия не приедет, — сказала она. — Австралия далеко, а обида велика, и кто-то должен попросить прощения.

Семья выросла. Уже не все «знали всех в лицо и по имени». Но йофианская традиция сохранилась: звучали прежние семейные выражения, шел обмен новыми, и различные версии сравнивались, сталкивались, утверждались и низвергались. Обнаруживались новые пары людей, похожих друг на друга, как близнецы, — сам я, кстати, никогда не находил себе такого близнеца или близняшки, — и все ощущали волнение, когда они выходили — каждый из круга своей семьи — и шли навстречу друг другу, поразительно согласованными шагами и одинаково наклонив голову, а потом останавливались — удивленное лицо против похожего — и улыбались.

И все пересказывали друг другу историю Амуминой смерти — так, будто она произошла годы назад, а не вчера. Как давным-давно, в тот далекий день, когда бабушка умирала, Апуа стоял с нею рядом, только он и только она, они вдвоем, одни, на том холме, где в начале времен она сказала ему «Здесь!» — и как утром того же дня — помните? — она попросила, чтобы ее вынесли из барака и положили на деревянной веранде, и «ты помнишь, Юдит», как никто тогда не встретился, потому что то был не первый раз, когда она хотела «лежать так, чтобы видеть всё вокруг». И как ее уложили там, и она уснула, и Апуа, все тело которого вдруг стало как сплошная мягкая фонтанелла, но мозг

еще не понял дрожи и гула, которые она издавала, примчался, словно безумный, с поля, одним прыжком перепрыгнул все четыре ступеньки и стал возле нее так, чтобы телом заслонить ее от солнца, которое в тот день пылало и сверкало с особой силой.

Он стоял один, пока вся наша семья наслаждалась йофианской послеобеденной дремой, и во всем Дворе не спал только он на своем посту, да еще я, потому что за минуту до того меня разбудил шум, внезапно заполнивший мой череп, — необычный шум, похожий на хлопанье больших взвещающих крыльев. Я вскочил и бросился во двор. Но не к ней, не к Амуме я побежал, а к своей матери, которая тоже дремала, как и все, хлеб, тхина\* и несколько паровых картофелин мирно переваривались в ее желудке, но когда я закричал: «Мама, твоя мама умерла», она тут же вскочила, не спросила, откуда я знаю, и даже не упрекнула в том, что я помешал процессу ее вторичного пищеварения. Ее губы задрожали. Она согнулась, и ее спина, всегда такая прямая, так и осталась согнутой. Я впервые увидел тогда, как моя мать ищет, на что опереться, и уже шагнул было к ней, чтобы она оперлась на меня, но мама выпрямилась, выбежала из дома и вместо дома родителей побрела, спотыкаясь, к своему огороду, добралась до пугала в конце грядки, оперлась на него и начала плакать.

Я вернулся во двор, постучал в дверь Рахели, а потом в окно спальни Пнины и Жениха и громко крикнул: «Амума умерла!»

\* Тхина — паста из кунжутных семян.

Арон вышел и спросил:

— Откуда ты знаешь?

— Скажи Пнине, — сказал я, — а потом Апупе, и твоему отцу, и всем остальным.

— Но Апупа стоит возле нее, — сказал Арон.

— Он стоит возле, но он не знает.

— И когда я подошел к нему, — рассказывал Жених в тот вечер, когда съехала вся Семья (как рассказывал и на поминованиях во все последующие годы), — когда я подошел к нему и сказал ему: «Давид, она умерла, Давид, она умерла, хватит делать ей тень, уже не надо», он был ошеломлен: «Как это умерла? Минуту назад она открыла глаза, и посмотрела на меня, и сказала мне шалом».

А потом все сидевшие за нашими столами кончили вспоминать, и сравнивать, и спорить, и знакомиться, и в мисках с угощением уже не осталось пирожков и овощей, и у нас больше не было кубиков сыра, и опустели кувшины лимонада, и только кастрюли «очень здорового» квакера Ханы и миски «таки-да хорошей» рыбы Рахели остались нетронутыми за отсутствием желающих, и тогда встали «двое похожих, как близнецы», — один из Герцлии, другой из Иерусалима, пока еще безбородые, но оба рыжие и большие, — подошли к гробу и слегка приподняли его в ожидании указаний. Положить ее на повозку? Погрузить в «пауэрвагон»? Понести на плечах? Перенести на железные козлы, поставленные Ароном на деревянной веранде, на открытом воздухе?

Воцарилась тишина. Всем было ясно, что сейчас произойдет. Не всякое предсказание требует открытой фонтанеллы. Иногда достаточно знания семейных историй, чтобы предвидеть продолжение. Никто не был удивлен, когда к носилкам приблизился Апуа, наискосок через плечо перевязанный широким голубым ремнем грузчиков. Некоторые узнали этот ремень, потому что видели его, другие о нем слышали, но все знали, что это тот ремень, которым он обвязал и водрузил на спину купленный для нее «Бехштейн» — пианино, которое стояло в стороне и молчало, потому что «в этом доме больше не будет звучать музыка», — молчало тогда, когда оно появилось, и молчало сейчас, когда она исчезла, и, в сущности, не переставало молчать еще несколько лет, пока Габриэль не освободился из армии, вернулся домой со своим «Священным отрядом», и со своим цветным вигвамом, и со своим Знаком отличия — и начал устраивать гулянки. Дедушка тогда уже съезжился и усох, стал нынешним маленьким и мерзнущим старичком и лежал в старом инкубаторе, в котором когда-то растил своего Цыпленка. А они, Цыпленок и его друзья, наполнили воздух яркими цветами одежд, музыкой, дивными ароматами духов и супов, которые пылали так, что трижды изгибали ложки. Но Апуа, маленький и уже глухой, не протестовал и даже соглашался наслаждаться теми «французскими яствами», которые раньше всегда отказывался пробовать, и только просил, чтобы они не ставили на «Бехштейн» стаканы и тарелки, потому что от этого



на лакированном дереве остаются следы, и не играли на нем, потому что «в этом доме, — так он повторял с серьезностью адвоката, читающего завещание, — больше не будет звучать музыка!» И к пианино моей жены, добавлял он уже от себя, не будут прикасаться чужие!

Но в один прекрасный день в нашем Дворе появился гость из Англии — «уж более чужого быть не может», — постучал в ворота и сказал, что пришел к Габриэлю и его товарищам. Габриэль с любопытством оглядел его, а моя мама, не выносившая товарищей Габриэля, возненавидела этого англичанина больше всех и с первого взгляда. Хотя он был вегетарианцем, как и она сама, она называла его только «лондонский гомо» и всячески демонстрировала ему свое отвращение. «Лондонский гомо», не понимавший иврита и не знавший, что «Бехштейн» запрещен для прикосновения, а дом для музыки, открыл крышку и начал перебирать клавиши с умением и большой непосредственностью. И через несколько недель, когда он вернулся к себе, Жених вдруг спросил Габриэля, кто был этот «парень, который приезжал с визитом», и Габриэль сказал: «Парень из Англии», — и, когда Жених спросил его имя, ответил: «Оскар Стивенсон, и ты не должен краснеть, Арон, старый Стивенсон послал его к нам, а не к тебе».

Апуа перенес свой ремень под гроб, скрестил его двумя одинаковыми руками, затянули и скрестил снова. Свободный конец перебросил, как это делают грузчи-

ки, через лоб и сунул кулаком за пояс. И хотя гроб не был тяжелым, застонал, выпрямляясь, так что у стоявших вокруг людей тоже вырвался стон. Он шел, как тогда, — Амума у него на спине, Гирш Ландау за ним следом, смотрит на качающийся гроб, облизывает сухие губы и молчит. За Гиршем шли Хана, Арон и Рахель, а за ними другие Йофы, разноцветные группы которых уже перемешались друг с другом, а за ними — жители деревни, десятки и сотни «шустеров», которые, несмотря на конфликты с Апупой, любили его жену и сейчас, стоя у входов в свои дворы, поджидали, пока приблизится похоронная процессия, и тогда каждый из них, в свою очередь, покидал свое место и присоединялся к людям за плывущим гробом.

Бабушка, как я уже говорил, очень похудела перед смертью и завещала нам почти невесомое тело. Но дедушка, хотя шаги его были по-прежнему широкими и устойчивыми, а дыхание спокойным, впервые почувствовал то, чего ни один человек, кроме него, не увидел, — что силы его уже не те, что раньше, в Великом Походе, когда ее дыхание вливалось силы в его затылок, а ее груди вминали теплые впадины в его спине, и ее ноги охватывали его поясницу, и ее ступни упирались в стремяна его рук, когда она выпрямлялась и говорила ему, куда идти.

— Здесь, Давид, — сказала Мириам, и он поднял голову и увидел кипарисы, и кактусы, и кусты туи и иглицы, и герань, и портулак, и цикламены, что окружали старые, уже заселенные могилы и новую

пустую яму. Доски гроба, прямые и жесткие, давили на его спину, и, когда он хотел опустить свою ношу в могилу, и уже повернулся было спиной, и слегка согнул и расставил колени, под гвоздями его подошвы сдвинулся маленький камешек, ступня скользнула, и он вдруг потерял равновесие, покачнулся и чуть не упал.

Толпа ахнула от неожиданности и страха. Несколько длинных обезьяньих рук — потомки полу братьев, кто же еще — протянулись схватить и поддержать. Но Апупа сдвинул ногу назад, нащупал опору, напряг бедра и осторожно опустил гроб, пока его днище не коснулось земли.

Он был бледен, и капли пота блестели у него на лбу. Он знал, что всё еще сильнее любого другого мужчины в деревне, и в Долине, и во всей Стране, но отныне и дальше, так нашептывало ему его тело, он будет слабеть всё больше и больше, потому что сказано: *«Ведь мы непременно умрем»*, и дальше: *«И будем как вода, вылитая на землю»*, — и я бы даже заменил этот стих другим, написав: *«Ибо отходит человек в вечный дом свой»*, — потому что именно Апупа внес в Семью фразу: *«Я ушел в вечный дом ее»*, а также: *«Ушло у меня отражение»* — два красивых выражения, вызывающих зависть Рахели: *«Это я должна была их придумать, а не он!»*

Габриэль бросился к нему, протянул старое мягкое полотенце, которое всегда носил в кармане, и дедушка вытер им лицо. И тогда, оттолкнув нож раввина, сам

## Глава пятая. Пары

порвал на себе рубашку\* симметричным движением двух своих рук, сильных и одинаковых, — а потом сделал то, что потрясло всех его видевших и было запечатлено на нашей «Стене плача» — в анналах семейных историй: повернулся назад, подошел к Гиршу Ландау, на мгновение испугав его и всех остальных, и сказал: «Она нас обоих надула, верно?» — обнял его, прижав к себе правой рукой, а левую подложив ему под голову, и сделал траурный надрез также на рубашке Гирша.

Из-за множества людей, и надгробных речей, и волнения, и воздействия слез на четкость зрения никто не углядел, что скрипач поспешил уйти с кладбища раньше всех провожающих. А когда мы вернулись домой, то обнаружили кастрюлю с пюре — еще горячим, которое было пропитано маслом и кефиром и заправлено нужным количеством лука. Семья Йофе открыла все окна, опустила шторы, сказала «холокалë» и уселась есть.

\* Традиция предписывает ближайшим родственникам мужского пола перед захоронением рвать или надрезать на себе рубашку в знак траура по покойному; этот обряд именуется «крися» («разрывание») и символизирует разбитое сердце. Разорванную рубашку не снимают все семь дней траура.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### ГАБРИЭЛЬ

В один из дней, через несколько месяцев после Амуминой смерти, Апупа, Гирш и Арон в очередной раз отправились в Хайфу по делам, связанным с изобретениями и правами. Габриэль остался один и пришел за мной, позвать к себе поиграть. Я поднялся по четырем ступенькам в Апупин дом, открыл сначала сетчатую, потом деревянную дверь, вошел и ощутил, что всё здесь стало мне чужим. Совсем чужим — из-за бесповоротного отсутствия Аумы и, наоборот, присутствия скрипача, которое ощущалось сильно и резко, несмотря на то что он был маленького роста и ходил бесшумно, а сейчас вообще находился в Хайфе. Была в этом, впрочем, и обычная чуждость дома, в котором я давно не бывал.

Габриэль тут же спросил, не хочу ли я «поиграть с ее платьями».

Таких платьев, как у Аумы, не носил больше никто, ни в Семье, ни в деревне, и, надень их другая

женщина, Жених наверняка бы осудил ее за «разные люксы». Некоторые из этих платьев она сшила себе сама, другие купил ей Апуа, которому нравилось, когда его жена была «одета красиво», а поскольку телосложением она походила на Батию, то носила еще и платья нашей далекой Юбер-аллес, в том числе ту ее «одну рубашку на теле», которую Апуа нашел в доме Рейнгардтов в день их изгнания.

После Амуминой смерти ее платья стали предметом вожделения всех женщин в Семье. Самые храбрые из них прокрались в наш дом, даже не дождавшись конца траурной недели, — тихие и торопливые шаги, шахтерские фонарики лбов, хищно трепещущие ноздри. Вначале они продвигались, держась стен, точно мышь в незнакомом месте, потом набрались смелости, напрямую пересекли комнаты, пробежали по коридорам и под конец добрались до платяного шкафа. Они послали к Апуе делегацию, сказать ему, что «нездорово и даже опасно» держать в доме «платья умершей женщины», как из-за воспоминаний, что в них скопились, так и из-за запахов, что в них таятся, и тоски, что от них подступает.

Но в сердце Апуы практичность неожиданно возобладала над романтичностью, и он сказал, что перспектива увидеть другую женщину в платье умершей жены кажется ему еще менее здоровой и даже более опасной, и, несмотря на свои куриные мозги, добавил, что как раз тоска ему куда больше по сердцу.

В действительности, однако, его отказ был продиктован неясным предчувствием, что, как только кончится траур по Амуме, эти платья понадобятся ему самому — чтобы рассматривать их вблизи, чтобы прикасаться и вспоминать, — и потом, ведь в доме есть еще мальчик, и ему надо рассказывать всякие истории с картинками. И вот, не прошло и нескольких месяцев, как он поставил своего Цыпленка перед платяным шкафом и сказал ему:

— Вот наша книга воспоминаний, Пуи, и сейчас мы ее откроем, — и его руки-близнецы распахнули крылья дверок, — а тут у нас внутри платья — это как страницы, видишь? — и начал перелистывать: — Вот это платье я принес ей от нацистов, да сотрется их имя, которые украли у меня мою Батию. А вот в этом платье бабушка была в тот день, когда ты родился. А вот в этом она была перед смертью. А вот в этом — в тот день, когда я пошел чинить шибер, а она привела твою мать покормить тебя. А это я хотел, чтобы она надела в тот день, когда я принес ей пианино... А это Батинькина «одна-рубашка-на-теле».

Потом он закрыл шкаф и наказал Габриэлю, чтобы тот никогда не открывал его сам.

— Это очень опасно. Будет лучше, если мы будем делать это вместе, ты и я.

Габриэль поверил ему и к шкафу не подходил. Но однажды в субботу, ранним утром, странные звуки пробудили его от того обычного для недоносков сна, который со временем, когда мы с ним будем в

армии, станет предметом моей зависти, — сна глубокого, но позволяющего легко проснуться и тотчас о нем забыть. Габриэль открыл глаза, но странные звуки продолжали наплывать. Босоногий, легкий и маленький, он выпорхнул на их зов и обнаружил своего деда — совершенно голый, тот стоял на коленях перед настезь распахнутыми крыльями шкафа, наклонившись всем телом вперед и совсем погрузив лицо в платя. Габриэль испугался. Дрожа от страха, он отступил за дверь, подождал немного, но в комнате ничего не происходило, и тогда он снова осторожно выглянул из-за двери. Апуа вытер глаза той самой «одной-рубашкой-на-теле», поднялся и закрыл шкаф, потом сполоснул лицо над раковиной, оделся и вышел во двор.

Габриэль выждал пару минут и тоже подошел к шкафу. Какое-то время он стоял перед ним, не зная, которому из двух постоянных дедовских наказов последовать: то ли «это очень опасно» — что относилось к открыванию шкафа, то ли «делай, как я» — по отношению ко всем другим действиям. Но сколько может колебаться маленький мальчик? И сколько он может взвешивать? Его руки уже сами приняли решение, и ворота шкафа открылись ему навстречу — бесшумно, беззвучно, без малейшего скрипа, потому что Жених еженедельно совершал прогулку по дому с ящиком инструментов в руках, проверяя, подтягивая и смазывая каждую ось, ручку и гайку.



Слабый увядший аромат — запах Амумы — коснулся лица ее внука. Он разделся, как дед, и, как тот, опустился на колени, но поскольку был всего лишь маленьким мальчиком, то не смог погрузить голову и плечи в платья, оставаясь при этом на коленях снаружи. Поэтому он поднялся и ступил внутрь шкафа, позволив нежно струящимся тканям проплыть по его обнаженной коже. С того дня посещение платяного шкафа стало его ежедневной игрой и тайным пристрастием. Ведь у каждого из нас есть в детстве какой-нибудь вкус, или прикосновение, или запах, или картина — моя Айелет, из новаторских побуждений, именует их «царапинами», а я, чтобы сохранить их и остаться верным, называю «ожогами», — которые никогда не изглаживаются из памяти. Кому знать, как не мне! Ведь языки пламени уже облизывали меня, и руки Ани держали, и оковы ее ног охватывали, и ничто не уподобится, ничто не сравнится, и пальцы ее, с повисшими на них жаркими каплями расплавленного золота и запахами ее тела, помазали меня — вначале на царство, потом на рабство.

Так или так, шкаф стал тайной и игрой Габриэля. Как Апупа открывал его, когда Габриэль уходил в школу, так Габриэль теперь открывал его, когда Апупа уходил на дальний конец нашего поля. Открывал дверцы, перелистывал платья и со временем начал все больше смелеть. И однажды, когда дедушка и Арон, вооруженные инструкциями и советами Рахели, снова поехали торговаться по поводу какого-то изоб-

ретения, он разделся догола, стал переходить от платья к платью, спотыкаясь, дрожа и почти теряя сознание от их нежного прикосновения к его коже, а под конец наклонился, приподнял широко расставленными руками края «одной-рубашки-на-теле» и медленно-медленно выпрямился внутри нее. Мал он был, и его голова не достигла вешалки, и поэтому рубашка Батии накрыла его целиком, обняла и окутала своим женским запахом и теплом.

Через несколько недель он уже перепробовал все платья и знал, какое из них самое приятное, какое идет вторым номером, а какое третьим, но однажды, стоя во весь рост в пустоте одного из них, он вдруг услышал стук сетчатой двери, а затем удар деревянной и шаги Апуы, неожиданно вернувшегося домой.

Его сердце замерло от страха. Уши встали торчком. Он слышал, как дед расхаживает по дому, и оба они, Габриэль и дом, дрожали.

— Габриэль, — позвал Апуа.

Притаившись внутри платья, Габриэль не отвечал.

Шаги приблизились, и голос снова позвал, забрасывая арканы и наживки:

— Пуи, цыпленок мой, где ты? Пуи?!

В конце концов Апуа отчаялся и, придя к выводу, что Габриэль вышел из дома, чтобы пойти ко мне или к матери, решил воспользоваться случаем и снова заглянуть в заветный шкаф. Он открыл дверцы, и Габриэль замер от ужаса. Большая голова и широкие плечи деда заполнили все пространство шкафа и при-

жали платья к стенкам. После смерти Амумы Апупа уже успел укоротиться на несколько сантиметров, но все еще оставался огромным, и вширь, и в высоту, и Габриэль вдруг почувствовал, что одно из давних его головокружений недоноска снова начинает вращаться вокруг него и подгибать ему колени. На глазах потрясенного Апупы то, что было «одной-рубашкой-на-теле», неожиданно рухнуло на дно шкафа. Протянув руку, он нащупал внутри маленькое, худенькое и прохладное тельце, и поскольку не знал, что это тело его внука, и не понял, что это не воспоминание, то лишь одна возможность пришла ему в голову — что это вернулась Батия.

Вопль, вырвавшийся из его груди, никто в деревне не забыл до сих пор. То был крик сильнее всех его прежних криков — и того, которым он кричал с вершины Мухраки, и того, которым кричал в Вальдхайме, когда искал Батию. Платяной шкаф Амумы стал вдруг центром гигантского, диаметром в несколько километров, круга потрясений, внутри которого у всех коров вмиг пересохло молоко, все куры попадали в обморок и «дождь из птиц и слив обрушился на землю».

Когда Габриэль выполз наконец из «одной-рубашки-на-теле», Апупа стиснул челюсти с такой силой, что его зубы, казалось, вот-вот треснут и сломаются, но не сказал внуку ни слова — его грудь словно распирало изнутри, и он сам не знал, что услышит, если сейчас откроет рот: еще один крик, или стон, или хвост тех рыданий, что вырвались у него на короткое мгнове-

ные в день похорон жены и тут же были проглочены снова. И вот так, боясь открыть рот, он жестом велел мальчику подойти поближе, обнял его и так порывисто прижал к себе, что Габриэль застонал, а потом засмеялся и сказал:

— Апупа, ты сделаешь из меня квец!

\* \* \*

Последний ком земли упал на гроб Аумы, и мы думали, что сейчас птицы ускорят свой полет и солнце зайдет раньше обычного. Но ничего такого не случилось. Вместо этого сводным братьям Аупы пришлось поддерживать его по возвращении с кладбища, и уже по дороге самые востроглазые среди Йофов углядели, что, хотя тяжесть гроба уже не давит на Аупину спину, он все равно идет слегка согнувшись, а его каштановая, тронутая сединой грива уже не так возвышается над остальными головами, как обычно.

И когда мы пришли во «Двор Йофе», он тоже не поспешил, как обычно, запереть за собой ворота. Сел с нами за стол, но после первой ложки пюре встал, как будто задохнувшись, вышел, не говоря ни слова, из-за стола, проковылял к барaku, рухнул грудой развалин на пол возле кровати Аумы, которую уже покинуло тепло ее тела, и заревел так страшно, что все хозяева Долины поспешили проведать и успокоить своих коров.

— Мама... Мама... — ревел он. — Я так красиво тебя похоронил... похвали меня... погладь меня по голове...

В тот же вечер появились первые соболезнующие. Люди, знакомые лично, и люди доселе незнакомые, но известные по рассказам, а сейчас вдруг материализовавшиеся во плоти и обретшие осязаемый облик. Апупа не вставал им навстречу, и поэтому никто не заметил, что он продолжает терять в росте. Он и рук им не пожимал, и поэтому никто не почувствовал, что он теряет силу.

Человеком, принимавшим соболезнующих, тем, кто по традиции вставал им навстречу и пожимал протянутые руки, был Гирш Ландау. Всем приходившим он представлялся в сухих, несколько официальных выражениях, имевших целью скрыть таившуюся за ними бурю:

— Гирш Ландау, скрипач, — говорил он. — Старый друг семьи.

«Я надеялась, что он скажет: “Тот, который любил ее”», — сказала Рахель. — Что он воскликнет: “Тот, который любил ее всю жизнь!” Что он крикнет: “По Планту первым должен был умереть Апупа, а вот — умерла она!”» Но Гирш не произнес ни одной из тех фраз, которые придумала для него Рахель. Его руки не переставали что-то доставать, и расставлять, и прибирать. Его глаза и плечи, хоть и слабее своего хозяина, но ему не подвластные, не переставали плакать и трястись. И он знал, что все видят знак

нового союза — его рубашку, надорванную самим Апупой.

Но Гирш не только принимал гостей — он был также тем, кто убирал дом, и поливал душистый горошек, посаженный Амумой много лет назад и с тех пор год за годом расцветавший сам собой, и подавал кувшины с напитками, и подметал полы, и каждое утро, все семь дней, поднимал деда с кровати, буквально силой волоча его за собой и заставляя помыться и освежиться навстречу очередным суткам шивы.

И это Гирш решил, что нужно послать телеграмму в Австралию, и помог Рахели написать ее, и это он вскрыл письмо, полученное оттуда через три недели, и позаботился, чтобы слова: «Я приеду только после того, как он умрет» — не достигли своей жертвы.

И это он велел моей матери и Рахели сидеть возле отца.

— Вы его дочери, — сказал он, — а Пнина, неизвестно, выйдет и придет ли, а если и придет, то уж наверняка не просидит долго.

Но Пнина пришла. И действительно — несколько минут просияла белизной рядом с отцом, а потом ушла снова. Гул соболезований, толчея, слезы, шарящие по ней глаза — всё это было для нее пыткой. Люди глазели на нее, силясь понять, как может такая небывалая красота еще и возрастать год от года, но удивленные взгляды только соскальзывали по гладкости ее кожи. Все часы природы — восходы солнца, его закаты, времена года, перелетные птицы, проносив-

шиеся над ее домом, сложи лет в ее теле — только отстывали и отмеряли своё, а потом проходили и тонули в ней, не оставляя никакого следа. Лишь одна маленькая морщинка виднелась на ее лбу — с того дня, когда она выбежала на солнце покормить Габриэля, и одна маленькая глубокая трещинка крылась меж бровями — с той минуты, когда она распахнула окно и крикнула, что Амума лежит в бараке.

Я уже рассказывал, что, как и многие другие, я тоже выхожу порой посмотреть на Пнину во время ее ночных прогулок, но больше, чем на нее, я смотрю на ее поклонников, и я помню, как однажды, несколько лет назад, возле меня стоял незнакомый мужчина — гость, приехавший в деревню к родственникам и не предупрежденный заранее, — и, когда она проходила, он пробормотал: «Какой красивый парень». Я на мгновенье испугался, а потом понял, что это уже шла не Пнина — это шла сама по себе красота. А на следующую ночь, когда я рассказал это Рахели, она еще сильнее прижалась ко мне и сказала:

— Я уверена, что у нее уже и месячные стали белыми.

А еще Гирш был тем, кто позаботился о «легком угощении» для соболезнующих и при этом впервые уяснил себе, что когда у нас, у Йофов, собираются на семейные события, то не ограничиваются «чем-нибудь холодным», или «каким-нибудь печеньем», или «просто чашкой чаю», хотя бы и наполненной доверху. Даже во время траура Йофы ожидают обеда по полной

выкладке: какого-нибудь супа, какого-нибудь салата, какого-нибудь мясного и, конечно, пюре. «Так это у нас в семье», и уже на завтра после похорон «траксьон-авант» начал снова курсировать между «Двором Йофе» и шатром Наифы, перевозя судки с вареными креплах и противни с креплах поджаренными, и кастрюли супа, и миски с фаршированной рыбой, и баночки хрена, и бочонки квашеной капусты, и ящики хал, таких душистых, что из-за них некоторые из Йофов предложили сидеть шиву десять дней вместо положенных семи, и моя мать во всеуслышание подивилась, неужто этим Йофам не достаточно смерти Амумы и они хотят уничтожить, погубить и отравить всю Семью целиком.

Дюжина столов из длинных деревянных досок была расставлена во дворе, четыре побеленных туалета были построены за коровником, Наифа и еще несколько ее родственниц, мобилизованных для нужд кормления скорбящих Йофов, не переставали выбегать в приступах блевоты, а «траксьон-авант» курсировал снова и снова, выезжал и возвращался, и Гирш Ландау подавал, наливал, и убирал, и каждый вечер, когда все уходили, мыл посуду в том корыте возле дома, в котором много лет назад Амума мыла своих дочерей, а потом тщательно вытирал и расставлял ее в шкафу, готовую к приему новой партии соболезнующих. Две половинки братьев Аупы велели своим потомкам сменить Гирша, но тот решительно отталкивал любую протянутую ему для помощи руку, хотя, помыв полы,



сваливался уже без сил и засыпал на лежанке, мы все это видели. Но если кто-нибудь подходил к нему, предлагая: «Может, перейдешь на кровать?» — из огромной груды развалин, лежавших возле Амуминой кровати, тут же вырывался вдруг голос Апуны:

— Дайте человеку поспать, — и с новой для него тонкостью чувств добавлял: — У него сейчас траур.

В конце десятого дня, когда все гости разъехались и в дом вернулась тишина, Гирш Ландау закончил убирать и чистить, вытер руки передником Амумы, который повязал на себя за несколько дней до того, вышел и начал кружить вокруг старого барака. Опустевший и ненужный, покинутый всеми своими жителями и бывшим содержимым, этот барак еще стоял там по одной-единственной причине — ни у кого не доставало мужества и сил, чтобы его разрушить. Но предсмертное дыхание Амумы, лязг овечьих ножниц в руках запертой Батии, капли слез и молока несчастной Пнины — всё это уже стерлось из памяти старой постройки, и все, чей ум больше куриного, поняли, чего хочет скрипач и чему предстоит произойти.

Гирш вошел, огляделся, проверил пол, осторожно потоптавшись на нем, и постучал по стенам. Увидев, что мы с Габриэлем смотрим на него, он сделал вид, будто что-то ищет, но в последующие дни стал проводить там всё больше времени, а потом, один за другим, почти незаметно, оттуда исчезли стол, и стул, и еще несколько предметов, которые остались там после

Аумы. Скрипач постепенно освободил барак от всех этих вещей, сохранив только кровать, и я помню, как он пришел к Рахели спросить, что делать с пучком чьих-то золотистых волос, найденных им под одной из половиц, которую годы назад кто-то отодрал, а потом снова прибил на прежнее место.

— Положи их обратно, туда, где нашел, — содрогнулась Рахель.

— Ты не хочешь их сохранить?

— Ни сохранить, ни видеть, ни знать, ни трогать! Я и без того вся на пределе! Мне надоели эти извращения! Положи их на место, закрой, как было, и не говори никому ни слова. Особенно отцу!

Гирш возмущенный вернулся в барак, бормоча про себя:

— И это она говорит об извращениях! Она, которая спит со всеми парнями в Семье!

Но, как и его сын, Гирш тоже знал свое место. Он не стал спорить, вернул волосы в тайник, накрыл их половицей и никому не сказал ни слова.

В последующие дни он начал рассказывать странную историю, которую отрицали все, кого это касалось, — будто хозяйева, у которых он арендует комнату, говорят, что им мешает его игра, а потому он хотел бы упражняться в нашем бараке. А через несколько дней, убедившись, что никто не возражает, он позволил себе, по своему обычаю, и подремать там после своих упражнений. И поскольку в бараке всё еще стояла кровать Аумы, дремал он именно на ней.

В те дни Рахель уже поняла, что руководство семьей вскоре ляжет на ее плечи, и стала внимательно наблюдать за всем, что происходило в нашем дворе, и Гирш, словно желая оправдать ее подозрения, начал ставить ее перед фактами и проверять ее реакцию. Он приволок откуда-то одеяло и подушку и положил их на Амумину кровать. Потом из того же откуда-то появились два стакана и маленький электрический кипяtilьник, банка с русским черным чаем и сахарница с рафинадом, а «чтобы им, бедняжкам, было где стоять», он попросил сына поставить для них полку.

Каждый вечер перед сном он рассматривал единственный камень, оставшийся у него от ожерелья жены, и странная улыбка появлялась у него на лице. Потом он брал этот камень в рот и так засыпал. Он любил спать допоздна, а чтобы его не будили солнечные лучи, повесил себе вышитый занавес, и раз уж окно «начало приобретать форму», добавил также маленький вазон душистого горошка, из семян Амумы.

Прошло несколько недель, горошек расцвел, и несколько сводных племянников Апуны, с их длинными прочными руками, тяжелыми обезьяньими челюстями и неутолимой жаждой быть полезными и получать похвалы, вдруг объявились в нашем дворе и объяснили, что отцы послали их проверить, «не пытается ли музыкант захватить здесь власть над всеми». Этот курьез мог плохо кончиться, но Рахель сумела успокоить незваных гостей, потому что уже знала из моих объяснений, что Гирш на самом деле не собира-

ется поселиться в бараке. Барак, сказал я ей, это всего лишь начало моста, временная база, а хочет Гирш в конечном счете жить с Апупой, в Апупином доме, потому что уговор сохранился и его нужно выполнять, даже если двое оставшихся — не вдовец и вдова.

— Это интересно, — сказала Рахель. — А что еще интересней, так это каким образом такая мысль пришла тебе в голову.

— Она не пришла мне в голову, я просто ее знаю.

И действительно, все это время Гирш каждый день пунктуально посещал дом Апупы в те часы, когда тот работал по двору или в поле, и, как гномик из сказки, продолжал споласкивать там посуду, мыть полы и тщательно протирать окна — газетной бумагой, конечно. Надо же — именно он, всегда насмехавшийся над советами жены, помнил их все до единого, и именно он в конце концов стал «образцовой домашней хозяйкой». А Давид Йофе, который был лишен воображения и соображения, послушно натягивал одежду, которую Гирш выгладил для него, спал в кровати, которую тот ему стелил, и останавливался на деревянной веранде, услышав его крик:

— Не входи, Давид, пол еще мокрый.

И внешний вид скрипача тоже изменился к лучшему. В нем прибавилось мяса, которое вытеснило горечь из его морщин, и, как это иногда бывает у мужчин такого возраста, его щеки разгладились и перестали выращивать бороду. А поскольку он был музыкантом — с острым слухом и быстрым восприятием, — то пом-

нил всё, что слышал от Амумы, когда она наставляла Сару, и к тому же в наследство от жены ему досталась настоящая находка: тетрадка времен этой ее учебы и в ней все рецепты нашего пюре, и супа, «горячего, как кипяток», и салата, и селедки, «умеющей плавать». Впервые в жизни Апупа получил ту еду, которую любил: идеальное пюре, которого Амума его лишала, и суп, сделанный так, как должен делаться суп. Гирш так преуспел во всем этом, что моя мама не сдержалась и сказала ему:

— Если бы ты варил ему все эти яды до смерти моей матери, сегодня она, возможно, была бы твоей.

Дедушка ел, и чем больше он ел, тем больше усыхал и укорачивался в размерах, а пока Гирш заботился о нем и откармливал его, сын Гирша тайком планировал ремонт барака. Он так хорошо приготовился и так хорошо спланировал, что, когда пришло время действовать, закончил ремонт в рекордные сроки. Как только отец сказал ему, что железо горячо и готово дляковки, он вызвал себе на помощь своего друга, мужа Наифы. В тот же день были заменены все прогнившие доски в стенах и полу, на крыше вспыхнули красным чешуйки новой черепицы, выкопанные траншеи застыли в ожидании труб, а ночью, при свете фонарей «пауэр-вагона», Жених подсоединил барак к электричеству и канализации и начал готовить строительство душа за стеной — наружного душа, скрытого за двумя циновками, натянутыми на железных рамах, а внутри — бетонный пол с отверстием для стока воды.

Сегодня это любимый душ Айелет. Приезжая к нам, она часто пользуется им: стоит за циновками, ее мокрая голова над ними, а вода стекает с загорелых ног вниз. Объявляет:

— Сначала Циля, потом Гиля. В порядке очереди!

И потом:

— Как приятно принимать душ на открытом воздухе!

Гирш Ландау, более уверенный в себе и очень изменившийся «с тех времен» («Его юность позорит его старость», — говорит Рахель), стоит в окне, смотрит на нее и играет. Но Айелет — не Амума и не Пнина, и струи, ползущие по ее животу и бедрам, это капли воды, а не кровавые змеи и не слезы. К игре старого скрипача она присоединяет фальшивое сопровождение, унаследованное от моего деда, а потом протягивает ему мыло и поворачивается к нему спиной: «Поиграй на моей спине, маэстро». А под конец стоит, стряхивая с себя воду, и говорит: «Как приятно сохнуть на ветру».

Но тогда, сразу после смерти Амумы, маленькое перепуганное сердце Гирша билось с безумной скоростью, его усы дрожали, его тело настраивало себя на будущее, а будущее — на себя. И будущее, как и положено будущему, сбылось: однажды вечером, когда он закончил ужин и вышел на веранду выкурить там свою единственную в день сигарету, Апупа спросил, не согласится ли он сыграть ему что-нибудь. Скрипач удивился. Но поскольку он давно уже приготовился и к этому, то тут же пришел в себя. Как все скрипа-

чи, он был очень хитер и умел настроиться не только на правильный тон, но и на подходящее мгновение. Ни минуты не мешкая, он поспешил в барак, достал скрипку из футляра и, вернувшись на веранду теми же поспешными шаркающими шагами «я-ведь-женщина-нездоровая» <еще не упоминавшееся семейное выражение, оставлять ли?>, предстал перед Апупой. Глубокий вдох, все силы собраны в одно, смычок взлетел и опустился на струны. Он играл ту же мелодию, которую играл много лет назад, в Тель-Авиве, женщинам, что сидели тогда в комнате, и паре слушавших снаружи молодых людей, которых заметил краем глаза, — высоченному широкоплечему парню и маленькой стройной девушке, по щеке которой ползла сверкающая слеза.

Давид Йофе не читал книг, не знал имен авторов и героев и не был знаком с произведениями художников и композиторов.

— Спроси его, кто такая Мона Лиза, и он скажет тебе, что это сорт слив, — свидетельствовала его дочь.

Он помнил случившееся с ним не по названиям, а так, как должен помнить мужчина из мужчин, — по чувствам, которые оно оставило по себе [возбудило] [выжгло в его теле]. Сейчас мелодия поплыла в воздухе, проникла меж его ребер, просочилась в камеры его сердца, и, когда нашла себе близняшку где-то в его животе, ему явилась Мириам — «на меня, на меня!» — и запрыгнула с забора ему на спину. Но на этот раз он не посмотрел назад. Зачем? Ведь вот она —

заполняет его глазницы, возникает на влажной внутренней стороне его век, вот ее тело, прижавшееся к его телу, ее спокойная тяжесть и отпечатки ее груди на его спине, а потом оковы ее ног, и тепло ее бедер, и ее палец, указывающий: «Туда».

Гирш играл, не переставая. Его смычок, точно палка пастуха, направлял жертву по своему желанию. Апуа стиснул веки, но это не помогло — слеза округлилась в углу его глаза и поползла вниз по обычной всякой слезы. Будь я действительно писателем, как насмешливо называет меня Алона с тех пор, как я начал писать эти записки — «наш шрайбер»: «вы обратили внимание, дети, у нас в доме есть новый Агнон...», — я бы написал правдиво и просто, что эта слеза «тяжелозвучно скатилась по скалистому склону его скулы». Но я не писатель, я вспоминатель, и не роман я пишу, а прощальное письмо, и поэтому будет достаточно, если я скажу, что слеза скатилась по щеке моего деда, и буду надеяться, что припомнил достойное запоминания.

Гирш видел скатившуюся слезу и в тот же вечер собрал свои немногие пожитки, оставил только что отремонтированный барак и перешел жить в дом Апуы.

— Вот и все, — сказала Рахель. — Кто бы мог поверить? Вот так и исполнился этот их дурацкий уговор...

Я спросил ее, как она думает, произошла ли между ними также и «консумация», и она чуть не задохнулась от смеха:



— Ты что, с ума сошел? Или тебе кирпич упал на голову? Да отец даже и представить себе не может, что такое бывает. Он до сих пор свято верит, что у Габриэля и его товарищей это солдатская дружба.

Через несколько лет, когда Габриэль и его «Священный отряд» вернулись из армии, они устроили Гиршу и Апупе незабываемый пасхальный седер. Варили, пили, пели, представляли четырех сыновей\*, пели переделанные пасхальные песни: «Че-ты-ы-ре Амумы, тро-ой-йе Апуп», — расширяя их до: «Шестнадцать — кто их знает?» — и до: «Зарезал Господа нашего...»\*\*, — а Гирш им наигрывал, и Апупа обнял его, и скрипач, во время объятия убедившийся, что они оба уже одного роста и уровня опьянения, сказал:

— Ты делаешь из меня квеч, Апупа!

Все засмеялись, и Гирш вдруг сказал, что хочет что-то рассказать.

\* На пасхальном седере фигурируют четыре вида сыновей: «сын умный», «сын нечестивый» (помышляющий только о дурном), «сын несмышленный» и «сын, не способный задавать вопросы».

\*\* На седере поют несколько песен, одна из которых — своего рода «считалка» («Один, кто знает? Один Господь на небе. Два, кто знает? Две скрижали Завета...» и так далее до тринадцати). «Священные» насмешливо переделывают «трех праотцев» в трех Апуп, «четырех праматерей» в четырех Амум, а считалку продолжают до шестнадцати. Во второй песне — о козленке, «которого съел кот, которого съела собака», и так далее до Господа Бога, «который убил ангела смерти», — в издевательской переделке «священных» появляется еще кто-то, который, в свою очередь, убил Господа Бога.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ. ГАБРИЭЛЬ

— «Это дорогая история»? — спросил Габриэль.

— Очень дорогая, — ответил Гирш. И рассказал, что прозрачно-золотистые камни ожерелья, которое носила Сара, светлая ей память, были камнями из его собственного желчного пузыря.

— Она специально делала мне желтую жизнь, — сказал Гирш, — чтобы у нее были еще и еще желчные камни. Помните, как мы каждый год рассказывали, что я еду играть в гостиницу в Нетании? Это я ложился на операцию в больницу. А когда я возвращался, полумертвый, она даже стакан чаю мне не подавала. «Давай камни!» — и бежала с ними к ювелиру.

— Арон знает? — спросил Габриэль.

— Зачем? Что, у него такая хорошая жизнь, что ему нужна еще одна неприятность?

\* \* \*

Мою и Габриэля бар-мицву семья праздновала вместе. Мы были ровесники и уже друзья, и это был последний раз, когда, к моему удовольствию, Йофы видели нас такими, какими мы тогда были, — я самый рослый, а Габриэль самый маленький из всех достигавших совершеннолетия за всю историю Семьи.

После того как Йофы прикончили основную часть угощений — «таки-да хороших» и «очень здоровых» опять никто не коснулся, а любители «компота» у нас, после смерти Парня, уже не появлялись — и переста-

ли спорить и кричать, я сказал отцу, что хочу «положить бабочек новым сачком».

Этот сачок купила мне Рахель.

— С каких это пор ты интересуешься бабочками? — удивилась она моей просьбе.

— Теперь начну.

Мне напомнили — как напоминали в каждый мой день рождения, начиная с «того самого», — чтобы я не вздумал снова идти в поле, потому что сейчас лето, «а ты ведь знаешь, как это, когда пшеница уже пожелтела, — одного осколка стекла достаточно, чтобы ее зажечь».

Я направился к Ане, но на этот раз не через пролом в нашей стене — ведь сегодня была моя бар-мицва, и я был уже взрослым и охотником, хотя и за бабочками. Я поднял деревянный брус, запиравший большие ворота, и вышел через них. Аня приготовила мне наш «чай-с-лимоном-и-коржиками», которые можно было макать в чашку без того, чтобы они размокли в чае и развалились по дороге в рот.

— А сейчас покажи, что ты получил в подарок, — подтолкнула она меня.

Я помахал сачком для бабочек, вынул из кармана плоскогубцы фирмы «Баку», подаренные мне Женихом, показал широкий кожаный пояс, специально заказанный для меня Апупой у арабского шорника — свой собственный пояс, полученный им от отца, он отдал Габриэлю. Я назвал книги, подаренные мне двумя половинками сводных братьев Апупы —

«Десятилетие Израиля» и «Иерусалим не пал», — и перечислил другие подарки, полученные от Йофов, приехавших издалека.

— А что ты получил от твоих родителей? — спросила она.

— Книгу стихов Рабиндраната Тагора.

Она улыбнулась, но промолчала.

— А что подарил тебе Габриэль?

— Габриэль устроил для меня представление.

— Какое представление?

Меня охватило нетерпение. Не то нетерпение, что бывает у ребенка, который не способен откладывать и ждать. Тринадцать лет мне было, и во мне уже клокотало раздраженное нетерпение мужчины.

— Какая разница? Представление с переодеванием.

Аня улыбнулась:

— А от меня, Фонтанелла, что бы ты хотел в подарок?

Слова застревают у меня в сердце, желания застревают в моем горле, я краснею и смущаюсь.

— Чтобы ты сделала мне лысину, — сказал я и тут же добавил: — Ты сказала тогда, когда брила Элиезера, что, когда я вырасту, ты побреешь и меня тоже.

— Да, — сказала она, — я сказала, и ты вырос, садись сюда.

Я сел. Простыня для стрижки на моей шее, ножницы щелкают над головой, бритва у нее в руке, а потом, нахлобучив шапку — моя оголенная фонтанелла барабанит так, что я с трудом могу слышать, обонять

и видеть, — я вернулся во «Двор Йофе», уже через пролом, и тихонько постучал в окно Габриэля. Он открыл, увидел, но, заметив мои энергичные жесты, сдержал готовый вырваться удивленный возглас.

— Кто тебе это сделал? Она?

— Она, — сказал я, — но я скажу, что это ты. Запомни, если кто-нибудь спросит — это сделал ты.

— Но как я это сделал? Чем?

— Бритвой Апуны.

— Никто нам не поверит. Это сделано так красиво и гладко.

В кухне был нож, наточенный Женихом для моего отца, чтобы он мог резать овощи одной рукой.

— Теперь поверят, — сказал я.

— И потом, у тебя такой странный запах, — сказал Габриэль, принюхиваясь.

— Это ее запах.

И не исключено, что он продолжал бы меня расспрашивать и в последующие дни, если бы не начал — уже назавтра после нашей бар-мицвы — внезапно расти. Как и предчувствовала моя фонтанелла — и притом с такой скоростью, какой не видывал даже наш деревенский ветеринар. Все признаки недоношенности осыпались с него, как осыпаются на пол обрезки состриженных волос. От дрожжей, которыми Апуна поил его в школьном дворе, его тело раздалось вширь. Молочные пенки удлиннили и укрепили его кости. Масло и мед сделали его тело тверже и плотнее, отполировали его кожу.

— У меня боль складывается с болью, — жаловался он, а дедушка сказал:

— Не бойся, Пуи, это потому, что твое тело не привыкло расти, — и шепотом: — У меня тоже, только по обратной причине.

За несколько считанных месяцев дедушкин цыпленок вырос на целых двадцать сантиметров, стал много спать, и тридцать килограмм мышц добавились к его весу. Дедушка был счастлив, и его радость подарила нам новое семейное выражение, на сей раз по-арабски, которое он произносил во время взвешивания: «Наэс аль хара» — «за вычетом дерьма», как говорили, посмеиваясь, скототорговцы, когда продавали особенно тяжелого теленка.

Я не нуждался в обряде измерения нашего роста, чтобы заметить, что Габриэль сильно обогнал меня. Но я был подавлен скоростью, с которой это произошло: за какой-нибудь месяц, прошедший между двумя последовательными измерениями у двери. Я не мог примириться также с радостью дедушки и, что еще хуже, — с тем, что он не давал себе труда эту радость скрывать.

В пятнадцать лет Габриэль был уже рослым и широкоплечим парнем с приятным выражением лица и мягким голосом, чьей душе, как говорила моя мать, не удавалось поспевать за неожиданным, бурным темпом, который ей диктовало его тело. Моя мать иногда делает замечания, не связанные непосредственно со здоровьем и питанием, и тогда у ее

слов появляется приятный запах и привкус надежды. Недавно она даже спросила меня вдруг, думаю ли я все еще о той женщине, которая вытащила меня из огня, и когда я сказал: «Ну, что ты?» и «Как можно, через сорок лет?» — сказала, что до сих пор думала, что это ее муж был недостижимым обманщиком, а вот сейчас видит, что ее сын превзошел отца, потому что обманывает даже самого себя, «и в этом, — добавила она на закуску, — виновато не только твое вредное питание».

И произошло еще кое-что: Габриэль стал похож на Апуу, и не потомулишь, что полное сходство в семействе Йофе встречается не только среди детей одного возраста и одной матери, но и потому, что они жили вместе и, как это часто бывает с живущими вместе людьми, стали во многом походить друг на друга. Не только внук на деда, но и дед на внука. К этому сходству Габриэль добавил изрядную долю подражания: кроме того, что он тоже прятал голову среди платьев Аумы и Батии, он усвоил также манеру хождения Аупуы и его привычку впиваться глазами в глаза собеседника. Как и он, сбрасывал тарелки со стола и так же громко хлопал себя ладонью по бедру. Его желтые цыплячьи волосы потемнели и стали каштановыми, как у деда, и, точно по команде, у него выросли огромные ладони, появились волчьи скулы, над могучими хребтами плеч вознеслась сильная шея. Все заметили их сходство, и все говорили о нем. И когда они вдвоем выходили на улицу, в тяжелых рабочих ботинках

и с двумя кнутами за поясом, отличаясь друг от друга одним только возрастом, моя зависть возрастала все-мерно.

Кнут и ботинки для Габриэля изготовил тот же старый арабский шорник из Нижнего города в Хайфе, который сделал для меня пояс. Во времена мандата он служил в кавалерийской части британской полиции, шил сапоги для всадников и сбрую и седла для коней. После ухода англичан он открыл сапожную мастерскую. Он был настоящий специалист, того рода, который Жених так ценил, что однажды даже произнес по нему короткий плач:

— Жаль, что человек с такими хорошими руками растрачивается на кожу.

— Ты выбрасываешь свои деньги на ветер, — заметил сапожник Апупе во время примерки. — Это такой мальчик, что он еще будет расти и расти. Через полгода он уже не влезет в эти ботинки.

Но Апупа сказал, что ему не жалко выбрасывать деньги на важные дела.

— Пусть носит их и знает, что он мужчина, — сказал он, — что его удар ломает кости и что искры вылетают у него из гвоздей подошвы. И пусть земля знает, что это идут его ноги.

Люди в деревне радовались новому виду Габриэля.

— Даже не верится, что он когда-то был недоноском... — говорили они и: — Как хорошо он вырос... — и: — Будем надеяться, что он похож на деда только телом, но не душой...



И действительно, даже тот, кто знал, с трудом мог поверить, что Габриэль был когда-то маленьким и сморщенным младенцем, а тот, кто не знал, вообще не мог бы догадаться. Только матери недоносков, врачи недоносков, двоюродные братья недоносков и те, кто сами были недоносками, могли бы объяснить загадку несоответствия между его узким лицом и широкими плечами и прочесть неожиданную тревогу, что иногда просачивалась сквозь его кожу и старила на несколько мгновений лицо, ту тревогу, которая иногда проступает в уголках рта у больных, и голодных, и у всех, чья жизнь висит на волоске.

А что касается его прозвищ — Зибеле, Пуи и Цыпленок, — то они, конечно, сохранились, потому что в семействе Йофе не меняют прозвищ, но на новом, большом теле Габриэля и они стали чем-то вроде платья или маскарадного костюма.

А иногда он наклонялся над своим старым инкубатором, как будто пытаюсь снова втиснуться внутрь, и тогда на его лицо возвращалась былая тревога, а с ней новая мужская злость — того типа, что вспыхивала у Апуны, когда он воевал с кранами и дверьми.

— Оставь, Габриэль, ты уже слишком большой для этого инкубатора, — сказал ему однажды Гирш Ландау.

Габриэль промолчал.

— Ты сломаешь трубки, а жаль. Может быть, он еще кому-нибудь когда-нибудь пригодится.

Они посмотрели друг на друга и поняли, о чем идет речь. Габриэль тоже признавал в душе, что голова его деда уже не задевает дверную притолоку.

— Теперь тебе уже не нужно наклоняться, когда тыходишь в дверь, Апупа, — сказал он ему с огорчением.

Но дедушка, то ли по привычке, то ли не желая соглашаться со своим усыханием, продолжал наклоняться, как он делает и сегодня, сидя в инкубаторе, когда его проносят через дверь.

Но тогда до этого было еще далеко, и Габриэль начал просыпаться вместе с дедом, чтобы поработать с ним до ухода в школу. Еще лежа в кровати, я ощущал их тем странным чувством, помесью зрения и слуха, которым одарила меня моя открытая фонтанелла. Вот они вместе выходят на деревянную веранду, давят воображаемых скорпионов, затягивают шнурки четырьмя руками. Габриэль не был двуруким от рождения, но, подражая Апупе, научился использовать и левую руку: заставлял ее писать, швырял ею камни, резал овощи для салата. Он так и не достиг естественной одинаковости обеих рук, что была у деда, но многие действия умел производить обеими руками.

Вот они одновременно выпрямляются. Четыре подбитые гвоздями подошвы с хрустом давят базальтовый гравий дорожки. Они мочатся возле забора вместе с очередным псом, помечая границы «Двора Йофе» пенящимися лужицами. Я чувствую все это в своей комнате, а Арон наблюдает за отцом своей жены и ее сыном, опершись о забор.

По субботам Апупа давал своему сыну-внуку уроки хлещущих ударов кнутом, стрельбы в цель

и верховой езды. Они вместе выходили в поле, Габриэль нес мешок, полный пустых консервных банок, предназначенных служить мишенями, а Апупа — ружье и револьвер. Вначале они стреляли по банкам — лежа, стоя, с колен и на скаку, потом каждый выхватывал свой кнут, и Апупа учил Габриэля подрубать им синие головки терновника или рассекать спелые сливы «санта роза» — всё в зависимости от желания и сезона. Их удары были так точны, что кнут рассекал мякоть плода до косточки, но сама слива оставалась висеть на плодоножке — дрожащая и удивленная.

Однажды они оба так увлеклись своими развлечениями, что пошли в мамин огород, стали хлестать по баклажанам, и Габриэль, который не верил в басни об учителе природоведения, который якобы стоит там в качестве чучела, воткнутого Апупой годы назад, решил выстрелить этому страшилищу в голову. К счастью, Чучело заметило, что его собственные глаза находятся на одной линии с прорезью прицела и целящимся в него глазом, и бросилось бежать как было, с деревянным крестом на спине и широко расставленными руками.

После стрельбы и упражнений с кнутом они скакали по полю, подымая копытами своих кобыл огромные клубы пыли.

— Конь хорош для коротких забегов, — со всей серьезностью объяснял Апупа. — Но для войны и для охраны предпочтительней кобыла, потому что кобы-

ла вполне может отлить на скаку, а конь должен для этого остановиться.

И когда они возвращались, поднимаясь по главной улице, крестьяне смотрели на них, добрея лицами. Скорбь Аупы по жене смягчила отношение к нему деревенского люда. Все понимали, что Габриэль не только его сын и внук, но и единственное утешение, и вид стареющего вдовца и взрослеющего юноши — у обоих тела отлиты в одинаковых формах и мускулы тоже движутся в одном и том же направлении, и у обоих одинаковое оружие, и одинаковые выражения лиц, и одинаковые взгляды, — этот вид даже вызывал у них улыбку. Не то чтобы эти люди вдруг начали симпатизировать человеку «из-за стены» и не то чтобы перестали его опасаться, — но они видели, что его силы и рост теперь уже не те, что были раньше, и понимали, что Габриэль в ходе своего увеличения и дед в ходе своего уменьшения должны непременно встретиться, как тот, кто подымается в гору, с тем, кто спускается ему навстречу.

В один из тех дней, я хорошо это помню, Аупа вдруг произнес — голосом не громовым, а полным недоумения:

— Я уже не тот, что был раньше.

Мы прыснули со смеху.

— Не страшно, — сказал я. — Раньше ты был необыкновенным человеком, а теперь будешь, как все.

Но Аупа не успокоился. Он стал тайком измерять свой рост на том же дверном косяке, где раньше мерил

меня и Габриэля, и Рахель, заметившая эти новые признаки, а ума у нее, как вы помните, палата, начала забирать себе всё больше инициативы и свободы. Она даже убедила своего отца продать подрядчикам несколько дунамов нашей земли, купила на вырученные деньги «недвижимость» для семьи, а на сдачу, говорила она с усмешкой, еще и отдаленный участок целины — тот самый, на котором сегодня стоит торговый центр. Землю к западу от Двора она не продала, чтобы мы не потеряли вид на окрестный простор, но по соседству с нами все равно появилось слишком много домов, по всей розе ветров, и Апупа встревожился, напрягся и добавил к нашим стенам новые пояса и навесы. Натянулись тугие полотнища, изогнулись «проволочным ограждением природы» арки из колючих роз и малины, досками и заклепками укрепились ворота. Апупа даже позаботился найти дополнительного сторожевого пса, который ни с кем не хотел дружить и интересовался только своими обязанностями. Мускулистый и плотный, среднего роста, он был так профессионален, что сразу же обнаружил мой секретный пролом в стене и стал посвящать свой ежемесячный свободный день любовным дракам, из которых всегда возвращался гордым победителем, и Апупа, промывая ему раны коровьим антисептиком, говорил:

— Теперь они знают, что и ты Йофе.

В те же дни возник острый спор, возможный только у нас, у Йофов: Рахель обижалась, что Габриэль уже вырос, а его не назначают к ней на дежурство.

— Почему ты не посылаешь его ко мне? — спросила она отца.

— Он не хочет.

— Ты его спрашивал?

— Мне не надо его спрашивать, чтобы знать.

Рахель рассердилась:

— В этой семье я та «курица, которая больше всех старается»...

— У тебя есть достаточно других! Его оставь в покое! — вскипел дедушка.

Он и на этот раз не сумел разглядеть — не говоря уже о том, чтобы понять, — то, что не лежало на поверхности. И, как всегда, взялся говорить от имени другого. Совершенно неожиданно для него Габриэль сам вызвался идти спать с Рахелью и уже на следующий вечер появился у нее как раз тогда, когда я вышел из ее душа.

— Иди домой, — сказал он мне, — сегодня моя очередь.

Я ушел оттуда, испытывая очень странную смесь облегчения и ревности. Рахель послала его под душ, нарядила во фланелевую пижаму и уложила в свою кровать. Никто не знает, что там произошло в эту ночь, только назавтра двоюродный брат сказал мне, что не намерен больше ее навещать, и Рахель тоже сказала, что не хочет, чтобы Габриэль у нее дежурил.

— Пусть лучше бегают за женщинами со своим «покорми-покорми». Может быть, тогда Апуа скорей поймет, как отомстила ему Амума.

Но Габриэль уже не бегал по улице со своим «покорми-покорми». Когда мимо него проходила женщина с улыбочивыми глазами и грудями, как вышки, с младенцем на руках или толкая коляску, его глаза следили за ней, но он уже не протягивал к ней руки и не кричал. Его язык облизывал губы, но «покорми-покорми» он шептал теперь про себя. Апуа, у которого не только мозги, но и зоркость глаз была птичьей, подмечал все это и наполнялся радостью. Мальчик интересуется женщинами, значит, развивается нормально! Он положил поощряюще-сдерживающую руку на плечо внука и сказал ему:

— Еще два-три года, Габриэль, и все эти груди будут твоими.

Они посмотрели друг на друга и засмеялись, а я — у меня заболело сердце, но на этот раз не от зависти, а от беспокойства. Рахель посредством разума и моя фонтанелла посредством предчувствия угадали то, что Габриэль не мог сформулировать в словах, а Апуа не понимает и по сей день. И возможно, это к лучшему. Я уже говорил: иногда лучше не знать заранее. Так это у нас в семье.

А когда нам с Габриэлем исполнилось семнадцать лет и мы были призваны в армию, семья устроила нам прощальную трапезу, тоже одну на двоих, как и бармицву. Дядя Арон вручил нам два старых примуса британской армии, два набора для чистки оружия: тонкие отвертки, разъемные шомпола и разные щетки — и два одинаковых, очень острых ножа в чехлах, а вручая, посоветовал «всегда знать, где что находится, даже с закрытыми глазами».

Апупа наказал нам убить как можно больше «врагов» и, если удастся, спросить у каждого врага его имя и назвать ему наше.

— Прежде всего, чтобы они там знали, что вы Йофы. А во-вторых, мужчина должен знать, как зовут женщину, с которой он лежит, и врага, которого он убивает.

— И наоборот тоже, Апупа? — сказали мы оба хором и переглянулись в веселом удивлении.

— Тьфу на вас! — плюнул он на пол.

Поведение моей матери на проводах как нельзя точно отвечало выражению «смешанные чувства». В качестве Ханы она, наконец, удостоилась шанса «отдать своего сына на все дни жизни его», а в качестве вегетарианки не переставала оплакивать тот «ужасный пищеварительный вред, который ждет его в армии», и сердиться на отца, который посоветовал нам всегда иметь в кармане тубик сгущенного молока — «ради сладости и калорий и чтоб было, что пососать».

И еще одно сказал мне тогда отец:

— Если у тебя есть цель, иди к ней и только к ней, всеми силами и весь, как одно, — как палец и курок, как глаз и прицел.

А когда я посмотрел на него с удивлением, сказал:

— Поскорее покончить со всем этим и вернуться в человеческое состояние.

Я тогда впервые почувствовал, что кроме обаяния, юмора и боли в нем скрыты также сила и жестокость, куда большие, чем у Апупы, а может быть, и у Габриэля.



Мне не понравилось в армии. Если бы рядом не было моего двоюродного брата и его друзей, не знаю, как бы я вынес однообразие и скуку армейской службы, ее произвол и физические трудности, тоску по тишине, свободе и женскому обществу. Мне нравились только занятия по рекогносцировке на местности. Видимо, я унаследовал от отца чувство направления и талант ориентировки, а кроме того, у меня была еще и моя фонтанелла, чтобы с ее помощью разгадывать, что находится «по другую сторону любого холма». Но за вычетом этого я был весьма заурядным солдатом, и досрочная демобилизация чрезвычайно меня обрадовала, несмотря на страдания и боль, связанные с ранением.

Та ночь даровала мне также переживание полуобморочного забытья. Мне было тогда девятнадцать лет, и я уже не раз испытал йофианскую потерю памяти, связанную с извержением семени и кровотечением. Но тогда я понял магию серьезной потери крови: крайняя слабость, полное опустошение, а с другой стороны — взлет и парение. Мешки памяти распоролось, и из них высыпается их содержимое. Я — воздушный шар, поднимаюсь все выше, не зная откуда и куда, а они — как песок, что высыпается и исчезает. Я видел улетающие слова и тающие картины. Я был слишком слаб, чтобы их опознать, но когда они меня покинули, я впервые почувствовал их настоящий вес [почувствовал, насколько они были тяжелы].

Тогда я еще не знал, что попал в кого-то из товарищей, и не знал, кто попал в меня. Только потом мне

стало ясно, что всё началось с заминированного проволочного ограждения, которое по ошибке задействовал солдат, его установивший. Взрыв убил его и еще одного солдата, а все остальные, и я в их числе, с нашими по-юношески стремительными, напряженными тренировкой, жаждущими действий нервами, начали стрелять, точно обезумевшие.

Я знал, что в меня стреляли и я ранен, знал, что выстрелил в ответ еще до того, как ударился о землю, и, поскольку в общей суматохе мне казалось, что пули входят в меня крайне медленно, я осознавал их число, направление и очередность с какой-то леденящей ясностью. И все же, несмотря на их мощные удары, и треск дробящихся костей, и струи крови, и ощущение, что на меня падает тьма, а я взлетаю и погружаюсь, тону и плыву, я знал, что сейчас кто-нибудь поднимется и бросится ко мне.

Словно воздушный гимнаст, я снова шел по такому знакомому мне канату, натянутому между памятью и предвиденьем, знал и представлял себе одновременно: вот оно, это тело, что вдруг сверкнет из дыма, и зарослей, и слепящей тьмы, вот длинные, сильные бегущие ноги и призыв: «Где ты? Кричи громче!»

«Я здесь, я здесь!»

Послышался треск тростника, и хруст под шагами тяжелого ботинка, и, когда он наступил на мою раздробленную ногу, мы оба закричали — я от боли, он от радости:

— Вот ты где!

Правая рука Габриэля выдернула из чехла острый йофианский нож, а левая нашла его близнеца в чехле на моем ремне.

— Теперь все в порядке, — прошептал он, — не бойся.

Он сунул два пальца в рот и издал условный свист, а тем временем обе его руки уже двигались, как одна, и два острых лезвия прошли вдоль моего тела и прежде всего рассекли ремешки каски, потом спустились до шнурков ботинок, поднялись и проникли под штанины. Он разрезал их до пояса, разрубил ремень и ободрал с меня рубашку.

Через несколько секунд, когда появились трое его друзей, я уже был совершенно голый. Они посветили своими фонариками, я опустил взгляд и увидел себя — в точности как та корова на мосту: красное и белое — мясо, а те обломки, что торчат из него, — раздробленные кости. Они тут же развернули носилки, и вот я уже уложен на них и трясусь в такт издаваемых ими звуков — стуку их сердец, поступи ног, ритму глубоких вдохов.

Я снова закрываю глаза, меня поднимают в санитарную машину. Трое друзей Габриэля запрыгнули в кузов и сели возле меня, Габриэль сел на переднее пассажирское сиденье, но через двадцать метров страшно закричал на водителя — я никогда прежде не слышал, чтобы Габриэль кричал, в этом он был совсем не похож на деда, — на ходу схватил его за воротник, вытолкнул из кресла и занял его место.

Громоздкая машина понеслась на ровной сумасшедшей скорости, предписанной для боевых действий, и я, уже не чувствуя ни тряски, ни боли, подумал, что Габриэль поднялся в воздух и я лечу. В вертолете я уже потерял сознание.

В больнице я пролежал около трех месяцев, почти все время на спине. В мое бедро забили гвоздь, а к нему привязали грузы, которые растягивали раздробленную кость, чтобы ровно срослась. Мне не давали повернуться. Но, несмотря на это неудобство, и несмотря на боли, и несмотря на присутствие других больных в палате, те дни не вспоминаются мне как особенно тяжелые. У Йофов, невзирая на их многочисленные недостатки, есть в организме сила, которая закаляет [укрепляет] [иммунизирует] их против трудностей, и, когда нужно, мы замолкаем, собираем силы и сами собираемся в комок, одним из двух способов — тем, которым сжимаются в ожидании страшного взрыва, или тем, которым сжимаются в предчувствии окончательного исчезновения.

Моя мать всегда относилась к медицине с подозрением, но на этот раз она была вынуждена подчиниться. И хотя речь шла о лекарствах и ядах, прописанных ее единственному сыну — ее родной плоти, если можно так сказать о сыне вегетарианки, — но даже она не могла отрицать тот факт, что вегетарианство пока еще не нашло достойную замену переливанию крови и сращиванию костей. Впрочем, навещая меня, она все равно каждый раз накладывала мне свои повязки, чтобы в будущем иметь возможность утверждать, будто я

выздоровел только благодаря им, но отец, защищавший меня от нашествий Йофов, охранял меня от нее тоже. Однако отец был один, а Йофы приходили несметными толпами. Они выслушивали и рассказывали истории, проверяли на «йофовость» всех прочих посетителей и кричали на медсестер. Они окружали мою кровать, толкали и трясли ее, сами того не замечая, потом извинялись, услышав, что я кричу от боли, и тут же с силой хлопали меня по плечу.

Отец защищал меня не только от нее и от них, но и от других людей, появлявшихся в моей палате, — от добровольцев, жаждущих сделать доброе дело и поучаствовать в моем выздоровлении, от множества женщин, назначавших себя моими тетками, а также от всяких самозванных утешителей. Помню, однажды в палату ворвался один такой — с потным красным лицом и с мокрыми красными губами, одетый в желто-клетчатый пиджак, смутно-выцветшим галстуком, — проложил себе дорогу среди Йофов, завопил: «Кто здесь раненый, где тут наш солдат-герой-защитник отечества?» — и от сильного возбуждения едва не запрыгнул прямо в мою постель. И пока я стонал из-за того, что он сильно толкнул мою кровать, сам он кричал, не переставая:

— Остался без ноги? Не страшно. Мы привезем тебе протез из Швейцарии, и ты еще будешь у нас танцевать на свадьбе... — И тут же, нагнувшись надо мной: — Ну, а как твой болт? Железобетон, нет? Не страшно, мы поставим тебе новый, и болт у тебя еще будет сто-

ять, и хупа у тебя еще будет стоять, и ты еще родишь нам героев-детешек для нашей доблестной армии!

Он всё вопил и хлопал в ладони, но тут из-за его спины появился мой отец со словами:

— Что за чушь ты несешь?! Какая нога, какой протез, болван?! — и, когда тот повернулся к нему с разинутым ртом, добавил: — Кто ты вообще такой, черт побори? Кто тебя сюда звал?

Красногубый обиделся, заорал, что «занимается ранеными героями от имени и по поручению министерства обороны» и несет им «только радость и только веселье», — и уже раскрыл было рот, чтобы завопить: «Весь мир — очень узкий мост»\*, — но тут заметил культу моего отца, и «очень узкий мост» сильно расширился у него в глотке от приятной неожиданности. Он поспешно вытащил из сумки бутылку:

— Виски для безногого солдата-героя, и для безрукого солдата-отца-героя, и для жены безрукого отца-героя, она же мать безногого сына-героя, и да здравствует и процветает наше родное Государство Израиль.

Он торопливо выплеснул мой чай в цветочную вазу, налил из бутылки в пустую чашку и сунул ее отцу под нос:

— Лехаим! Будем здоровы! Чтобы у нас, в Стране Израиля, лилась только кровь девственниц да младенцев на обрезании!

\* «Весь мир — очень узкий мост, но главное — не бояться» — слова песни, которая приписывается рабби Нахману из Брацлава, очень популярна в Израиле.

Обычно, когда в окрестностях нашей семьи появляются яды из класса алкогольных, мама вмешивается: «Я не понимаю, как можно пить смертельный яд и говорить “будем здоровы”?» — но на этот раз она лишилась дара речи. Вероятно, слова «от имени и по поручению министерства обороны» оказали на нее пьянящее действие. Но не на отца. Он оттолкнул человека своей единственной рукой и крикнул:

— Давай вали отсюда, вместе со своими протезами и своим виски!

А однажды ночью мне снилась Аня, она лежала на мне так же, как год назад у них дома, и как в поле, и как в саду, — опираясь на локти и колени, и ее прикосновение мгновенно воспламенило мои чресла, и я не чувствовал боли, несмотря на ее вес. Четыре года прошло с тех пор, как они были изгнаны из деревни, она и Элиезер, и не проходило дня, чтобы я не вспомнил о ней, не увидел ее, не почувствовал ее запах, не услышал, как она кричит: «Не прикасайтесь ко мне, грязные мерзавцы!» — и за этим вопль какой-то женщины, которую она лягнула ногой, и другой, которую укусила, — не проходило дня, чтобы я не подумал: она меня спасла, а я ее не спас. И каждый раз, когда я стоял на деревянной веранде Аупы лицом к далекому простору, я снова видел перед собой одну и ту же картину, всю сразу или отдельными кусками: желтое поле, узкое вади, проселочная дорога, маленькая железнодорожная станция. Все застыло недвижимо, а они едут поперек этой неподвижности и этого молчания. Только

на этот раз — уже из деревни в поля и не на телеге, запряженной лошадей, а на маленьком зеленом грузовике. И не проходило ночи, чтобы я не проснулся, задыхаясь, как тогда в темноте барака, где Габриэль запер меня и заперся со мною, и мое тело билось о деревянные стены, и его руки обнимали и держали, и его рот говорил мне: «Ну, хватит, хватит уже, Михаэль» — и: «Еще немного», — и крики моей матери снаружи: «Эта курва!» — и еще раз: «Эта курва, эта курва, эта курва!» — а потом голос моего отца — он возвращается поздно вечером, окруженный своими запахами цитрусовых, и сразу всё понимает:

— Что случилось с мальчиком? Что вы ему сделали, я хочу знать! Что вы с ним сделали?

И тогда — дверь распахнута и его голос: «Оставь его, Габриэль, все в порядке, ты уже можешь его отпустить», — и я бегу по краю пшеницы, и пересекаю поле, и падаю в мелкую воду вади, вскакиваю и снова бегу, пока не лишаюсь сил, и сваливаюсь на рельсы, и понимаю, что в свои неполные шестнадцать лет — осиротев, овдовев и утратив свое детство — я теперь во всех отношениях взрослый мужчина.

Наутро я не знал, была она со мной или это мне привиделось во сне. Я думал, что ночью у меня открылись раны и кровотечение привело к потере памяти. В ужасе я проверил свою простыню, но она была белой и свободной от улик. Я пощупал живот и бедра, понюхал кончики пальцев. Запах, как и память, тоже был неясным. Ни крови, ни семени, ни, судя по всему, молока.



Не запах Ани, и не мой запах, и не какая-нибудь смесь наших двух запахов, которую я мог бы придумать или вообразить. Но я ясно помнил, что она сказала: «Скоро утро, дай мне уйти...» — а я просил у нее произнести мое имя, и она сказала: «Оно написано на табличке в ногах кровати».

Назавтра врач сказал, что мое выздоровление продвигается хорошо и поэтому я могу провести конец недели дома. Командир части передал, что пошлет мне военную санитарную машину, чтобы я мог ехать с удобством, но Габриэль сказал ему, что военная санитарная машина есть у нас дома, а Жених предложил хоть и старый, но более удобный «траксьон-авант» и даже согласился, чтобы Габриэль повел машину вместо него.

Машина взобралась по аллее кипарисов, погудела, отец открыл ворота и помог извлечь меня с заднего сиденья. Я с трудом встал, подняв в воздух «ногу-которая-болит-больше», осторожно оперся на «ногу-которая-болит-меньше» и, не удержавшись, навалился, почти повис на левом плече отца и на правом плече Габриэля.

Обрубок отцовской руки прижался к моей спине.

— Я рад, Михаэль. — Его лицо светилось. — Я рад видеть тебя на ногах.

Откуда-то появилась бутылка вина, выскочила пробка, мама вышла, подождала с похвальным терпением, пока мы прикончили яд, сказала: «С возвращением домой, Михаэль!» — и, побыв с нами еще несколько

минут, сказала, что ей нужно замочить зерна хумуса для «гостей», и ушла.

«Священный отряд» уже установил во дворе свой вигвам и поднял над ним свой флаг. Патрульный джип с торчащим на нем пулеметом и вращающимися антеннами стоял сбоку со снятой маскировочной сеткой, укрытый под большим лимоном. Двое ребят из отряда, бывшие кибуцники, уже вернули к жизни старый душ возле барака, и влажные полотенца повисли на веревках, протянутых от веток красной гуявы. Третий парень, иерусалимец, колдовал у чугунного котелка, что висел и бурил над маленьким костром.

— Большое тебе спасибо, Михаэль, — сказал он. — Благодаря тебе мы получили отпуск на двадцать четыре часа.

Чугунок на огне порадовал мое сердце. Это был тяжелый горшок для варки, с толстыми стенками, который «Священный отряд» брал с собой на все сборы. В нем всегда готовился какой-нибудь сюрприз: то куски пойманного по дороге дикобраза, то подстреленный дикий кабан, то гусь, экспроприированный в одном из деревенских дворов, а то и молодой ягненок, приобретенный в одной из их странных бартерных сделок, — а также похлебки из чечевицы и риса, острой фасоли и овощей.

Моя кровать тоже уже ждала меня, но не в доме родителей, а на деревянной веранде. Они отнесли меня туда и уложили на воздухе, с видом на простор. И снова меня удивила глубина борозд, врезанных в

мою память: вот большая равнина, там отдаленные холмы, с северо-запада возвышается Кармель, вот поле, проселочная дорога, пожар, кипарис, ее приезд, ее отъезд. Точно такие же, какими я вижу их и сегодня — несмотря на прошедшие годы, и на кварталы, и улицы, окончательно загородившие даль.

Дедушка, весь волнение, подливал нам еще яду из змеевика Арона, Гирш Ландау угощал нас своими «кошачьими язычками», а Рахель обняла меня с большой осторожностью, чтобы не причинить боль, и сказала:

— Сегодня ночью ты еще можешь спать дома, но когда почувствуешь себя лучше, не забудь свою тетку.

А через несколько минут после заката Пнина тоже вышла из своего дома:

— Я рада, что ты вернулся, Михаэль, как ты себя чувствуешь? — и посидела несколько минут возле меня, молчаливо улыбаясь в белом саване своей красоты.

Габриэль снял тяжелую крышку горшка, зачерпнул и наполнил десять мисок: Апупе, Гиршу Ландау, Рахели, себе, Жениху, отцу, «священным» и мне. Пнина сказала, что запах замечательный, но она «не чувствует голода», и вернулась к себе в дом. Рахель сказала:

— «Никто не обратил внимания», что моя сестра ничего не съела.

Отец прикончил свою порцию, проверил, осталось ли что-нибудь в горшке, снова наполнил свою тарелку

и понес ее в сторону пролома в стене. Никто не задавал вопросов. Вернувшись, он поджег дрова в водонагревателе Жениха и наполнил для меня первую настоящую ванну после больничных обмываний губкой и тряпкой. «Священные» раздели меня, Габриэль отнес меня на руках, отец взволнованно и радостно шел перед ним — единственная рука убирает воображаемые препятствия, губы направляют: «Сюда», и «Здесь», и «Обрати внимание на угол».

Перед большим зеркалом я попросил Габриэля остановиться. Ранение, лечение и три месяца лежания в больнице уменьшили меня килограммов на пятнадцать. Мои ребра торчали. Ноги, худые, как девичьи руки, свисали с длинной, сильной руки моего двоюродного брата. Своей голове я позволил упасть на его плечо.

— Хорошенький групповой портрет, — сказал я. — Два ангелочка.

Он опустил на колени и бережно уложил меня в горячую воду.

— Идите уже, — сказал я, потому что все пятеро окружили ванну, вперив в меня глаза. — Вы что, никогда не видели Йофа без одежды?

Но иерусалимский парень все равно каждые несколько минут возвращался, произносил: «Минуточку, Михаэль» — и осторожно доливал еще кипятку, чтобы ванна не остыла слишком быстро.

Я сел, намылился, как мог, позвал: «Отец!» и: «Габриэль!» — лег на спину и отдался их рукам.

Двум рукам-близнецам, которые мыли мои волосы, и одной-единственной руке, которая тупой стороной ножа счищала омертвевше-желтую кожу с моих ног. Три месяца без ходьбы нарастили ее там, а сейчас она размякла в горячей воде и распалась на клочья.

Потом они вылили грязную воду, сполоснули меня чистой, вынули меня, закутали меня, уложили меня вздремнуть на дедушкиной веранде, но мой сон был нарушен криком:

— То, что не сумели сделать с ним пули, сделали вы своей ванной на полный желудок.

— Хана, — сказал ей отец, — мы знаем, что ты права, но, может быть, ты попробуешь хоть разок утверждать свою правоту без крика?

\* \* \*

Год за годом возвращались к могиле летчика его родители и сестра. И год за годом вся деревня выходила посмотреть на них, когда они приезжали и когда уезжали. Мало-помалу это превратилось в некий ежегодный ритуал нашей жизни, он уже стал отмечаться на доске объявлений и в школьном дневнике как «День кипариса» и во многих смыслах заменил обычное празднование Дня памяти павших солдат, что вызвало возмущение семей других погибших, которые даже опубликовали в деревенском листке трогательную заметку об «этом летчике», которого никто не знал,

а вот — он «вытесняет из сердец товарищей память о наших сыновьях», не преминув при этом заметить, что их сыновья погибли в бою, «защищая народ и государство», а «этот летчик, при всем нашем уважении», — в результате хвастливого трюкачества или обычной аварии, и даже намекнули на самоубийство.

Все читали и кивали с пониманием, но, когда наступал очередной День кипариса, не было ни одного отсутствующего. Уже за полчаса до приезда родителей с дочерью все собирались на краю дороги в ожидании знакомого зрелища: вот из-за поворота появляется автобус «Эгеда», замедляет ход, останавливается, открывает дверь — и вот они сходят. Дочь, как Рейзеле у Черниховского\*, по словам Рахели, и как наша маленькая деревня, по словам нового директора школы, того, что сменил Элиезера, «возрастала и расцветала». Дымка печали еще слегка затуманивала ее глаза, но время, безжалостное к ее отцу и матери, к ней было доброжелательно: ее черты утратили детскую строгость, тени улыбки уже мелькали на лице, и заметно было, что она сознает, что на нее смотрит вся деревня. Теперь она сходила первой, одним прыжком, отец появлялся следом — нога, потом другая, — поворачивался назад и поддерживал жену, спускавшуюся с палочкой в руке.

\* «Рейзеле славно цвела, весь дом наполняя весельем» (из поэмы Ш. Черниховского «Вареники» в переводе В. Ходасевича).

А деревня действительно «возрастала». Начали появляться первые признаки будущего города: въездная дорога расширилась, автобусная остановка передвинулась ближе к центру, нарастила новый навес, еще несколько скамеек, еще одну платформу. Уже не один раз в день и не один маршрут прибывал туда, — но в День кипариса автобус снова останавливался на главной дороге, на том самом месте, где находилась старая остановка. А спустя еще несколько лет новые «тайгеры» вытеснили прежние эгедовские «фарго», сестра погибшего летчика надела военную форму, и теперь, когда открывалась дверь, она спускалась, поворачивалась назад и помогала спускающейся матери, а потом они вдвоем поддерживали отца, очень одряхлевшего и ослабевшего.

Пооткрывались первые большие магазины, торговцы приобретали и строили всё новые здания, и Апуа, с его йофиански-автоматической защитной реакцией, окружил Двор очередными рядами колючих живых оград, перекрыл крыши, заново укрепил и надстроил стены. На наших спальнях дежурствах побывали некоторые из герцлийских молодых Йофов, и, похоже, их появление стимулировало и обострило деловые таланты Рахели. Дядя Арон получил тогда первые авансы за свой будущий гидравлический резец, и она уже раздумывала, куда вложить деньги. Зависимость Апуы от нее всё возрастала. В «те времена», когда «любовь-была-любовь» и «все-помогали-знали-и-не-запирали», его простота и осторожность, его рост и

сила были в почете, но теперь всё изменилось. Апупа всегда ценил только то, в чем можно жить, по чему можно ступать или что можно обработать руками. Он подписывал договора только с теми, у кого одна щека была наравне с другой, и покупал только то, что мог увидеть или пощупать. А когда изобретения Жениха начали продаваться также за границей, мы обнаружили, что и иностранную валюту Апупа оценивает не по абстрактному «курсу», а в соответствии со своим предвзятым мнением о жителях тех или иных стран. Поэтому финскую марку, к примеру, он считал надежней швейцарского франка, а британский фунт стерлингов — надежнее доллара Соединенных Штатов. Но Рахель уже стала настоящей «бизнес-вумен»: она продавала наших коров и земли, выискивала и приобретала пустующие участки и, не ограничиваясь этим, покупала также «недвижимость» в других городах.

— Откуда у тебя такие деловые познания? — изумлялся я. — Не училась, не работала и со двора вроде не выходишь...

— От себя, — отвечала она.

— А Апупа не боится, что ты захватишь его место? — допытывался я.

— Он занят собой.

Он был занят — своим ослабеванием, своим старением, своим укорочением. Его голос еще оставался зычным, но содержание криков стало иным. Это уже не были былые «суп холодный, как лед!» или «так!» и «не так!» или ночные «мама... мама...» — теперь это



был лишь один-единственный возглас, но горькая жалоба делала его страшнее всех прежних криков: «Мне холодно!.. Холодно!..» Тщетно Габриэль укрывал его одеялами и плащами и со смехом предлагал привезти ему молодую девушку из арабской деревни — Апупа не понимал, о чем ему говорят, он не переставал дрожать и кричать и все время просился «наружу, наружу, на солнышко...».

Зимой Габриэль прятал деда в доме, в отапливаемой комнате, а летом, с утра пораньше, когда солнце еще не такое жаркое и цвет его приятен и нежен, как желток голубинового яйца, укладывал на одеяло в саду и часами сидел возле него, потому что Апупа уже очень сильно уменьшился и Габриэль боялся, что на него нападут собака или кошка. Иногда он оставлял его под присмотром чучела в огороде моей матери. Это развлекало всю семью, особенно тех Йофов, что приезжали к нам в гости, потому что Апупа, уверенный, что чучело — это старый учитель природоведения, которого он сам, годы назад, привязал к крестовине и воткнул в землю, теперь затевал с ним беседы, — и деревенские тоже пытались прокрасться к этому огороду, чтобы подглядеть забавный спектакль и похихикать над своим страшным былым врагом, который всерьез разговаривает теперь с палками и тряпками. Но однажды кто-то приблизился к ним вплотную и услышал, что чучело не только слушает, но и отвечает, и так выяснилось, что учитель природоведения вовсе не сбежал, и не был застрелен, и не иссох на жарких

## Глава шестая. Габриэль

восточных ветрах ранней весны, и не рассыпался в пыль осенью, но приучил себя к подобающим всем чучелам молчанию и абсолютной неподвижности, чтобы не спугнуть чутких бабочек и жучков, за которыми он наблюдал, во время их совокупления,.

И вот так тело Апуны всё укорачивалось, и его температура всё понижалась, а его жалобы всё умножались, пока наконец Габриэль не полез на чердак, не нашел там старый инкубатор, в котором он сам лежал когда-то, и не стер с него пыль. Жених почистил его, покрасил, покрыл лаком и смазал, а также приделал к нему четыре особенно прочные ручки для переноски, потому что Апупа, хоть и усохший, ничего не потерял в весе. Он улегся в драпированном ящике и с удовольствием застонал, а инкубатор, как будто ждавший его все эти годы, мгновенно ответил на поцелуй спички и вернулся к жизни.

\* \* \*

В шестнадцатую годовщину гибели летчика со ступенек спустились только мать с дочерью, а потом автобус закрыл дверь и уехал. Прошло еще несколько лет до после-после-последующего Дня кипариса, и вот мы все снова стоим на дороге и ждем, и вот приходит автобус, но не останавливается там, где прежде, а направляется к новой остановке. Сошли какие-то двое чужих, с удивлением посмотрели на нас — зачем

и почему их встречает эта большая толпа по другую сторону дороги? — а эта большая толпа шевелилась и шумела, как пшеничное поле, и отвечала им враждебными взглядами, и тучки разочарования и тревоги уже собирались, мрачней, над головами: где же мать с дочерью? уж не случилась ли какая-нибудь беда? И вот уже в воздухе поднялось легкое раздражение, как будто семья летчика нарушила какое-то неписаное соглашение, и послышался обиженный шепот: «А мы-то бережем для них кипарис!» — и потом и внятные слова: «А мы-то их каждый год поджидаем!» — и заметны стали обиженные лица, и кто-то уже начал пожимать плечами, — как вдруг к остановке подкатила маленькая «симка», припарковалась в стороне и выпустила из себя его сестру, одну.

Вначале мы ее не узнали. Без отца, без матери и без автобуса она была совсем другая. Но когда она достала из багажника маленькое ведро и тяпку, мы поняли: это она, и так же, как они с матерью начали приезжать без отца, так отныне она будет приезжать без матери, и не на автобусе, а на этой маленькой «Симке-алеф», которая в будущем сменится большей машиной, и у нее появятся муж и двое детей, сын и дочь, серьезные, с опущенной головой.

— Когда-то, когда вы еще не родились, у вас был дядя-летчик, брат вашей мамы, и тут он погиб.

И была еще одна перемена: в руках сестры летчика были не только ведро и тяпка, но и книжка. Мы поняли, что она намерена посидеть на могиле брата

и почитать, и деревня расчувствовалась и напрягла глаза: проза? стихи? Брови сдвинулись, взгляды сфокусировались, но на расстоянии пятидесяти метров только моей фонтанелле удалось разглядеть. Я улыбнулся про себя: стихи.

Сестра летчика оставила машину на обочине дороги и пошла к кипарису. Большие просторы пустынных полей подчеркивали одиночество ее удалявшейся фигуры, и одна из стоявших с нами девушек, которая еще не родилась, когда разбился самолет, вдруг начала плакать. Все стоявшие тотчас присоединились к ней и с искренней печалью, в которой было и облегчение, извлекли из карманов платочки, беленькие, как египетские цапли, собравшиеся для ночного сна под пальмой, а мой отец, стоя, как и каждый год, рядом со мной, вдруг шепнул мне на ухо:

— Пойди за ней, Михаэль. Я хочу, чтобы ты с ней познакомился.

Я испугался. Не содержание его слов меня испугало. А то, что эти слова прозвучали, как завещание.

\* \* \*

Он умер, когда мне было двадцать пять, возраст нынешних Ури и Айелет. Всю неделю перед этим меня томили часы и минуты неясной тревоги. Ее источником была моя фонтанелла, понятно, но в отличие от других предсказаний, которые я извлекал из нее,

на этот раз к нему не прилагались ни адрес, ни имя жертвы.

Я пошел поговорить с Габриэлем. Сказал ему:

— Не знаю кто, но кто-то здесь скоро умрет.

Он рассмеялся:

— Успокойся, Михаэль, и перестань говорить, как наш дядя.

Я перестал говорить, как наш дядя, но успокоиться не мог. И когда, спустя несколько часов, позвонил телефон и Габриэль сказал: «Да, он здесь», у меня подогнулись колени, и я уже знал, о чем идет речь. Габриэль тоже знал. Он протянул мне трубку, «это твоя мать», и вот уже меня обняли его сильные быстрые руки и осторожно усадили на одну из деревянных ступенек.

— Михаэль, — сказал ее голос, — если тебе не трудно, сходи и принеси твоего подохшего папашу из дома этой Убивицы.

Я был потрясен. Не только стилем и не только быстротой, с которой оправдалось мое пророчество, но и тем фактом, что тот десяток шагов, которые нас разделяли, моя мать предпочла преодолеть по телефону, а не ногами или позвав меня через окно.

— Ты можешь взять тачку для отбросов, — добавила она.

— Что за чушь ты несешь?! — крикнул я, а она — наверняка услышав меня и по телефону, и по воздуху, в два своих уха и в два моих голоса — сказала:

— И у нее еще хватило наглости заявиться сюда, ко мне, чтобы сообщить, что случилось. И хочешь знать,

как она вошла? Через ту вашу дыру, которую вы с ним пробили в стене! — И швырнула трубку раньше, чем я успею сказать что-либо, что нанесет ущерб сапфировому сиянию ее праведности.

Я встал. Посмотрел в окно на его и ее дом, и из меня вырвался вскрик. Короткий йофианский вскрик. Как будто маленький теленок на миг поселился у меня в горле. Я сказал Габриэлю:

— Мой отец умер, — и пошел к Рахели.

Рахель сказала:

— Я знаю, она позвонила сюда тоже. — И вдруг ее щеки тоже стали мокрыми от слез. — Поверь мне, так лучше. Представь себе, каково ему было бы стареть и слабеть возле нее, выслушивать ее замечания, и упрёки, и эти ее: «Я тебе говорила...» — И, смеясь сквозь слезы, добавила: — И он хотя бы умер так, как ему подобало, у самой близкой своей «цацки», такой, что и мы ее знаем, и не нужно идти далеко, чтобы его привезти, не у какой-нибудь чужой женщины.

Убивица, одетая и, несмотря на летнюю жару, закутанная в одеяло, сидела на краю их кровати. Увидев меня, она прошептала:

— Он очень любил тебя, Михаэль. — И потом: — И меня тоже. Это была любовь. Так он сам сказал мне — давай решим, что отныне это любовь.

Я взглянул на его спокойное гладкое лицо, коснулся еще теплой груди, руки, уже начавшей холодеть, хотя и медленней, чем я думал, от пальцев в сторону тела. На этот раз он не успел растереть в ней апельси-

новые корки, и мне подумалось, что именно сейчас, после его смерти и только от его тела, я чувствую его настоящий запах: запах любви, который при жизни он хотел скрыть и заглушить.

И от нее, от Убивицы, закутавшейся и сжавшейся на краю кровати, исходил запах, тот же самый запах, ее и его, и она всё твердила, то ли мне, то ли деревне, а может быть, всему человечеству:

— Это была любовь... Это была любовь...

Я хотел потрогать также обрубок его левой руки, которого касался не раз при его жизни, но знал, что разница в температуре между двумя его руками свалит меня с ног, и не нашел в себе достаточного мужества или сил. «Священный отряд» явился и привел с собой врача, который сказал: «Нечего делать», и несколько растерянного полицейского, язык которого не понимал, то ли говорить, то ли выковыривать крошки из зубов между двумя вопросами: «Ты сын?» — и: «Ты жена?»

Мы ответили, как и следовало: я — «Да», она — «Нет», — потом были заданы еще несколько вопросов, заполнены пустоты еще нескольких бланков, подписаны нужные подписи и впечатаны положенные печати, а Рахель тем временем позвонила старому Шустеру, который выполнял у нас функции похоронной команды.

На кладбище ехали тогда вдоль новых цитрусовых посадок. Дорога уходила на север, огибала низкий холм и кончалась за ним в маленькой роще. Когда отец

умер, там уже лежали несколько стариков, из тех основателей деревни, которые сегодня стали маленькими переулками в сердце города, и там же были похоронены наши погибшие в Войне за независимость, и в Синайской кампании, и в Шестидневной войне, но, «поскольку у евреев нет ума», как говорил уже тогда Жених, никто не подумал наперед и не приготовил место для следующего поколения погибших — в войне Судного дня, и в Ливанской войне, и в интифаде, — и поэтому им пришлось сделать новый военный участок, на другой стороне кладбища, с неизбежными спорами — какое место более почетно и можно ли переносить останки из одного участка на другой. Но отец был похоронен не на военном участке, как хотела мать, хотя она утверждала, что «это можно было устроить», и не «под тропой, по которой девушки ходят к колодцу», как он не раз шутил, а вблизи кладбищенской стены. Кто-то из выступавших над могилой даже выдвинул идею: посадить на его могиле дерево, скомбинированное из апельсина, лимона, мандарина и грейпфрута, и так случилось, что именно я, убитый горем сын покойного, рассмеялся на похоронах, потому что Рахель шепнула Заднице, а я услышал:

— А лучше дерево, скомбинированное из белков и углеводов.

Мордехая Йофе знали все, у кого были цитрусовые деревья, будь то одинокий лимон во дворе, участок с грейпфрутами за курятником или сотни «дунэмов» апельсинов на экспорт. На его похороны пришли все



жители деревни, а также многие другие, из близких и далеких мест. Они ждали за стенами Двора, пока открылись ворота и вслед за черным «траксьон-авантом» вышло все семейство Йофе. А когда мы уже выходили из деревни, шагая по горячей земле в сторону кладбища, случилось нечто, «хорошо вписавшееся в обстановку», по словам Габриэля: темно-синий «Пежо-403», ожидавший под казуаринами у главной дороги и никем не замеченный, пока не сдвинулся с места, вдруг выехал из тени и присоединился к хвосту процессии. Большая женщина в берете, который отчаялся сдерживать ее кудри, держала руль, и еще одна женщина сидела рядом с ней, и две сзади, а дойдя до кладбища, мы увидели арендованный автобус, сине-белевший в стороне, низкорослого водителя в коротких штанах, кипятившего себе кофе в тени большого рожкового дерева, и группу поджидавших нас женщин. Вначале никто из семьи не заметил эту группу, потому что их неподвижность, скорбь и любовь к одному и тому же мужчине придавали им всем однообразно землистый оттенок. Но они сами увидели приближающуюся похоронную процессию, медленно поднялись и присоединились к ней, сохраняя расстояние прохладной вежливости от семьи и теплую близость к покойнику.

Никто не нуждался в объяснении. Это были те самые «цацки», любовь которых к моему отцу объясняла такое медленное охлаждение его тела. Их число свидетельствовало о присущем ему любопытстве к жизни, а их лица — о его снисходительном и разно-

образном вкусе: среди них были молодые и зрелые, толстые и тонкие, смешливые и задумчивые, светлые и темные, и не только красивые, но также обычные и несколько вполне уродливых. Я пробовал их пересчитать, но так и не сумел, потому что они все время передвигались с места на место и стояли вплотную друг к другу.

— Интересно, сколько придет на мои похороны, — смеется Айелет за моей спиной, читая описание похорон ее деда.

В отличие от тебя, дочка, мой отец никогда не бросал своих возлюбленных, он только позволял им отдаваться, или отпасть, или исчезнуть, а если они были из типа женщин возвратно-приходящих, он не говорил: «Я знал, что ты вернешься». И в отличие от тебя, Михаэль, у которого все три женщины, познанные тобой в твоей полувековой с лишним жизни, начинались с буквы А и все три были высокими и сильными, у него они начинались со всех букв алфавита и среди них были и тоненькие, и низенькие, но все они источали сильный до слез запах цитрусовых корок, который свидетельствовал о предварительном уговоре, и на лице у всех был один и тот же знак. Не какая-то складка на переносице, и не шрам или не «не-шрам», и не татуировка тайного ордена, но такая себе маленькая морщинка, у которой важно не столько место, сколько выражение. У нашей Убивицы она выделялась очень сильно, у других немного меньше, а у третьих была смазана, почти не видна. <Не эта ли морщинка с

самого начала притягивала его к ним? Или же их всех пометила этим знаком его любовь к ним [их любовь к нему]?>

Вся деревня с большим интересом разглядывала женщин моего отца, узнавая некоторые лица, указывая пальцем и шепотом называя имена. Но они — возможно, в силу уверенности, вызванной их большим числом [возможно, в силу уверенности, которую стая вселяет в своих членов], — не реагировали, даже взглядом. Не рассматривали нас, только смотрели друг на друга — некоторые с едва заметным кивком: «Я тебя помню», некоторые слегка приподняв подбородок, удивленно: «Что, и ты тоже?» — но, главное, в согласии с тем, что они и без того знали и принимали: «Я не единственная».

Убивица прошла среди них, обменялась приветствиями и шепотом. А мать полностью игнорировала их — стояла, жестко выпрямившись, с отвердевшим взглядом, как будто здесь хоронят просто мужчину, одного из большого стада грешников. Только на одно мгновение у нее исказилось лицо и вена вздулась на шее: когда Задница, все время державшаяся возле Рахели, которая стояла возле меня, вдруг вышла из группы Йофов и присоединилась к группе любовниц.

Мы выслушали короткие речи представителя деревни и еще кого-то, который сказал: «Ты, Мота, знал Страну и много походил по ее просторам», — и которого еще через годы я увидел в роли «Командира» в «Парламенте пальмахников», и еще одного «товарища

по оружию», никому не известного, но всех поразившего тем, что он выглядел, как зеркальное отражение отца: очень походил на него лицом и походкой, только отсутствующая рука у него была правой. Приехал также представитель объединения цитрусководов, но увидел там свою жену, порвал принесенную с собой надгробную речь и ушел.

Старый Шустер держал перед моими глазами какую-то бумажку, и его палец вел меня от «да возвеличится» через «да освятится» к «да будет благословенно»\*, а после погребения, когда Йофы и деревенские прошли перед матерью и пожали ей руку, «цацки» прошли перед Убивицей — улыбались, обнимали, целовали, что-то шептали, договаривались встретиться снова. Одна сказала: «Умер в расцвете сил», Задница произнесла напрашивавшееся: «В полном смысле этого слова», некоторые «цацки» засмеялись, некоторые нет, а толпа, как всякая толпа в конце похорон, рассеялась среди могил, собралась в группки для воспоминаний, разделилась поодиночке для уединения и мало-помалу разределась и растаяла, и там остались одни только женщины моего отца — собрались вокруг Убивицы, вокруг берета с кудрями и с «пежо» и вокруг Задницы.

Похоже было, что они ожидают, пока все остальные наконец уйдут и они смогут открыть свежую могилу и попрощаться, как следует, и мне захотелось тоже

\* Слова поминальной молитвы (кадиша), которую сын читает по отцу.

остаться там, спрятаться за забором, подслушать и подсмотреть, а главное — снова поглядеть на женщину, которая когда-то была девочкой из Нетании, а сейчас приехала с «товарищем по оружию», тем одноруким, который говорил над могилой отца и был так похож на него. Я с легкостью узнал ее, его первую любовь, которая поцеловала его и забеременела от другого, которая изменяла своему мужу при его жизни, но хранила ему верность после его смерти, и вычеканил в своем сердце ее образ, чтобы знать, отныне и далее, как выглядят женщины, «которые возвращаются».

Я посмотрел на нее, и она ответила на мой взгляд, но я вернулся с матерью во «Двор Йофе», ибо покойник и я — мы и без того слишком много изменяли ей и, невзирая на ее телефонное сообщение, я решил быть рядом с ней на шиве. Но мама объявила, что не намерена скорбеть. С нее хватит того унижения, которое досталось ей до его смерти, и во время, и после нее, и у нее нет желания ссориться по поводу подаваемого угощения.

— Так что сидите себе в доме Апуны и Габриэля, веселитесь со своими «цацками» и голубочками и ешьте свои яды.

«Цацки» не пришли, но габриэлевские «голубочки» приготовили нам прекрасные яды, которые я был бы рад разделить со своим отцом в память о нашей матери. Мы сидели там, Йофы по крови и родственники со стороны, и товарищи отца из Министерства сельского хозяйства, и из Долины, и из Пальмаха, они

припоминали истории и «куриозы», а я все больше понимал, как мне тоскливо и как сломалось что-то в моей душе. Я вызывал в памяти картины и воспоминания, но чаще всего передо мной почему-то всплывала та фраза, которую он произнес, глядя вслед сестре погибшего летчика. «Пойди за ней, я хочу, чтобы ты с ней познакомился», — вновь и вновь слышалось мне его завещание. Однако до очередного Дня кипариса оставалось еще несколько месяцев, да мне и видеть никого не хотелось, кроме Ани. Но именно в это время к нам заявила неожиданная и всех взволновавшая гостя — Аделаид, дочь Батии, моя двоюродная австралийская сестра.

Ее приезда никто у нас не предвидел, даже я. Никто не знал, как она выглядит, а сама она вначале немного поехала по Стране, и, только когда приехала глянуть на разрушенный дом на бывшей ферме семьи Рейнгардтов, нам позвонили из канцелярии тамошнего мошава и сказали, что «тут крутится какая-то молодая женщина» и они думают, что она из наших. Жених, почувствовав срочность в голосе Рахели, согласился одолжить мне «пауэр-вагон», чтобы я проехал полевыми дорогами, не застревая в субботних заторах.

Несколько человек уже поджидали меня возле бывшей немецкой церкви. По их рассказам, молодая женщина прошла, «надо думать», ночью по старой немецкой тропе среди холмов, о существовании которой «Бог знает, кто ей рассказал», и заявила,

«надо думать», засветло, потому что доярки, поднявшись на рассвете, увидели, что она уже сидит на траве и готовит себе кофе на маленьком примусе. «Вон там», — указали они в сторону коровника и пошли следом за мной.

— Да вон она и сейчас там, видишь высокую блондинку, вот это она и есть. — И их пальцы уже воткнулись в мою спину и стали осторожно, но настойчиво подталкивать. — Подойди к ней. Спроси, чего ей надо.

Молодая девушка, в дорожных широких штанах, тысяча карманов и застежек-молний, на голове — чудесная шапка золотых кудрей, на ногах — австралийские рабочие ботинки, тяжелые, как положено, но, в нарушение всех йофианских принципов, без шнурков. Широкоплечая, желтоглазая, вся в веснушках, она была очень похожа на моего деда и на моего двоюродного брата — а также, как это выяснится спустя несколько лет, и на мою собственную дочь — и, как все они, выше меня не меньше, чем на полголовы. Она смотрела, как я приближался, и, хотя не знала, что стоит на том самом месте, где наш дед убил сторожевых собак ее бабки, знала, кто я, и знала, что я знаю, кто она.

Я подошел к ней. Сказал: «Hello», она ответила: «Good day», сбросила с плеча рюкзак, присела — я видел, как напряглись ее сильные бедра, — и вытащила из него фотографии Юбер-аллес — другие, не похожие на те, которые Амуме удалось спасти из

бешено рвавших рук Апуны. («Так же, как он думал, что взвалить на себя супружеское бремя — это значит взвалить жену на спину, — сказала Рахель, — так он считал, что навсегда порвать с дочерью — это значит порвать руками ее фотографию, как на похоронах надрывают рубашку».)

Я без труда опознал Батию, потому что Амума и сестры описывали ее точно и правдиво. Вот она: маленькое изящное тело Амумы, вспыльчивый и неукротимый темперамент Апуны, так и рвущийся из фотографий, несмотря на их выцветшую молчаливость.

«Высокая блондинка» выпрямилась, прочитала выражение моего лица, и мы оба поняли, что прошли первую проверку взаимного узнавания. Она приблизилась ко мне с торжественностью, которая наверняка рассмешила бы меня, если бы я не был так взволнован и если бы две ее горячие австралийские руки не обвились вокруг моей прохладной шеи, и две ее горячие немецкие груди не прижались бы к моей холодной груди, и ее горячий йофианский живот не сомкнулся бы с моим застывшим. Она чмокнула меня в губы и сказала на своем улыбчивом австралийском английском:

— Я Аделаид, дочь Батии.

Затем она оторвалась от меня, снова пошарила в своем рюкзаке и извлекла из него другие старые фотографии — ее предков и родичей с другой стороны, возле их телег, их фруктовых деревьев, их полей



хумуса, с их гусями, и свиньями, и собаками: женщины в белых платьях, мужчины в штанах на подтяжках, в тирольских шляпах и кавалерийских сапогах. Вот ее немецкая бабушка (она называет ее «омама», какой сюрприз!) — холодное, суровое лицо и подстриженные шлемом волосы. Вот снимок двух сыновей, Иоганна Рейнгардта, ее отца, искателя мандрагор, и Фридриха Рейнгардта, ее дяди, — они стоят в сапогах под натянутым между деревьями транспарантом с надписью: «Willkommen Parteigenosse. Halt! Hitlerjugend Waldheim». Вот разрушенный дом, возле которого мы стоим сейчас, вот большая дамасская шелковица, тогда только что посаженная, пальма и дуб, всё еще стоящие здесь, и другие деревья, теперь уже срубленные. Вот два пса — которого из вас двоих он убил ножом, а которого палкой? Вот большие грузовые телеги Карла Апингера, которые везли блоки известняка с железнодорожной станции Тель-Шамама в Вальдхайм и по дороге встретили высокого молодого мужчину с маленькой молодой женщиной у него на плечах.

— Я пришла по этой дороге, — сказала она, показывая одну за другой копии кусков немецкой карты на редкость откровенного и щедрого масштаба, один к десяти тысячам, — старой карты, без новых дорог и домов, зато с давно уже срубленными деревьями, засыпанными оврагами и вспаханнами террасами, многие из которых давно уже сглажены и застроены зданиями.

Ее палец двигался по дороге, от Нойгардтхофа возле Тиры — «Сегодня там уже ничего нет», — сказала она, — к Немецкому кварталу в Хайфе, а оттуда к железнодорожной станции — «Я видела там красивый мраморный барельеф старого поезда с паровозом» — и дальше к Чек-посту, где она искала нарциссы, потому что «мама просила посмотреть, цветут ли они еще там, но только нарциссов там уже нет, да и земли тоже».

— Есть! — встрепенулся я. — Я повезу тебя, ты увидишь. Еще осталось несколько нарциссов, просто нужно знать, где и как искать.

От Чек-поста Аделаид прошла вдоль старой трассы — остатков железнодорожной колеи — до старого моста через Кишон. «Мама рассказывала, что это симпатичный ручеек, но сейчас это вонючая канава». Там она поднялась на шоссе и за кибуцем Шаар а-Эмэк, Ворота Долины, свернула к вади, по которому немцы проложили тогда дорогу к двум своим поселениям.

— Какя нашла? По фиолетовым цветам из маминых рассказов, и по этой старой карте, и по вашим дорожным камням, и по старым следам немецких телег.

Наш «пауэр-вагон» вызвал у нее радостную улыбку.

— Таких даже на австралийских фермах нет. Я хочу на нем немного поездить, — сказала она.

— Для этого нужно спросить разрешения у дяди Арона.

Ее рука охватила мой затылок .

— Я хочу сейчас! — повторила она.

— Здесь водят по правой стороне, ты вляпаешься в аварию.

— А мы спустимся на проселочную дорогу, там нет сторон.

— Но ты привыкла переводить скорости левой рукой.

— I am ambidextrous! — объявила она и, когда я спросил, что это значит, сказала: — У меня обе руки правые, они могут работать одинаково.

Машину она вела, как Габриэль, так же умело и свободно, как будто тренировалась вместе с ним в армии, на самой высокой возможной передаче, плавно тормозя перед препятствиями, поворачивая и ускоряясь сразу за ними, сглаживая повороты и хохоча, как девчонка. Моя фонтанелла барабанила, мое сердце грохотало. Тетя Батия послала мне из Австралии повязку на раны.

А когда мы начали подниматься по Аллее Основателей ко «Двору Йофе», она разволновалась и сказала, что их двор в Австралии, который ее мать построила после развода с отцом, тоже окружен стенами и у него тоже большие ворота и живые колючие заборы из бугенвиллий, и роз, и малины, и кактусов.

Всё семейство Йофе вышло посмотреть на нее. Все молчали. Аделаид предстала перед шеренгой расстреливающих глаз и тут же выстрелила обратно, прежде всего в Апупу, лежавшего в своем инкубаторе, взглядом удивленным, печальным и лишенным жалости. Потом она прошла от Йофе к Йофе, точно чужой глава

правительства в далекой и недоверчивой стране, — пожимая руки, впиваясь в каждого желтыми глазами и повторяя все имена. А затем Рахель организовала поездку на кладбище, и там Аделаид постояла у могилы Амумы, но не произнесла ни слова.

Мы вернулись домой. Гостья зашла в дом Пнины, вышла и сказала, что темнота помогает и что, в отличие от остальных Йофов, Пнина выглядит точно так, как описывала ее мама. Потом она вынула сложенную записку, сказала, что ей велено «кое-что сделать», и пошла в старый барак. Все застыли. Послышался громкий, как взрыв, треск отламываемой половицы, и Аделаид вышла, держа в руке пылающие пряди волос, совсем таких, как у нее на голове.

— Это я повезу домой, маме, — сказала она, — а тут у меня есть кое-что, что она просила вернуть вам, — и вынула из своего рюкзака маленький пакет, а когда развязала его, все — и те, кто его видел, и те, кто только слышал, — вскрикнули: «Балахон!»

Послышался нервный смех, несколько глаз увлажнилось, я сказал: «А я-то думал, что он больше похож на плащ из парваимского золота», — но, понятно, про себя, — а моя мать, которая все это время молчала, вдруг сказала:

— Я ведь вам говорила, что он у нее.

Потом сели обедать. Аделаид удивилась, когда мы открыли окна, засмеялась, когда ей объяснили «пюре пропало, но окна спасены», прижала хлеб одной рукой и отрезала другой на манер Йоава бен Саруйи,

и тогда один из далеких Йофов — он приехал на шиву по моему отцу и остался спать с Рахелью, но я уже не помню, кто это был и откуда, — набрался смелости и спросил то, что хотели спросить все: «А когда она вернется?» — потому что много обещаний и пророчеств было приурочено ко времени ее возвращения.

Воцарилось молчание. Аделаид сказала, что ее мать не вернется, и не напишет, и вообще не хочет больше быть членом Семьи, особенно с тех пор, как умерла Амума и тем, кто послал ей телеграмму об этом, оказался Гирш Ландау, а не ее отец или одна из ее сестер.

— Нужно организовать примирение, — сказала Рахель, — и всё пройдет.

— Не нужно, — сказала Аделаид. — Прошло слишком много времени, и Австралия далеко, и вы знаете мою мать, и потом, у нее есть там очень преуспевающий бизнес, вы не поверите, с чего мы живем.

— Чего тут угадывать? — сказала Рахель. — У вас есть маленькая фабричка по изготовлению мороженого.

Все рассмеялись, но атмосфера сгущалась и тяжелеела, пока Аделаид не вытащила еще несколько фотографий и мы увидели сегодняшнюю Батию — всё еще маленькую и изящную, с дерзким взглядом, но уже морщинистую от работы, и солнца, и времени.

— Она не очень изменилась, — сказал Жених и спросил, можно ли взять эти фотографии и показать их Пнине.

— Не стоит, — сказала моя мать, а Рахель заметила:

— Она может заплакать, и что тогда будет с ее красотой, которая принадлежит только тебе?

Жених уже собирался взорваться, а Рахель еще добавила:

— Мы все тут уже в ссоре с зеркалом, а у него есть «тама» принцесса. — И не знаю, что бы произошло дальше, если бы старые снимки, привезенные Аделаид, не вызвали вдруг вопрос Габриэля:

— А это кто?

— Это моя тетя Берта, — сказала Аделаид.

— Я знаю это платье, — сказал Габриэль, побежал к шкафу и вернулся, наряженный в него.

\* \* \*

Как буря, ворвалась Аделаид в нашу жизнь, смела преграды и ограды, распахнула жалюзи, вырвала замшелые деревья познания, принесла с собой новый и освеженный поток наследственности: ген золотых волос, ген телесной силы, романтическую практичность и практичную романтичность, унаследованные от своего отца, и жажду мести и сладостей, унаследованную от своей матери. И что важнее всего — дыхание больших просторов: расстояний, что меж нами и ею и меж нашей страной и ее, и расстояний в воспоминаниях, переданных ей по наследству ее дедами и бабками, которые прошли длинными и пустыми дорогами по пустой и широкой Стране. Всех тех расстоя-

ний, чье дыхание веяло от ее тела к нашим маленьким полям, которые мы пахали и засевали, к нашим маленьким домам, которые мы строили, к нашей маленькой стране, которую мы спасали, к нашим маленьким воспоминаниям, которые мы приковали к нашим лодыжкам, к тем маленьким людишкам, которых мы посадили править нами, к нашей яме, — а *яма-эта-пустая-нет-в-ней-воды*, как сказано в Книге, — и в которой мы тем не менее утонули.

И расстояний в ее теле: того, постоянного, между углублением в шее и подъемом ступни, и того, меняющегося, что между коленями, и большой треугольник, в трех вершинах которого — два холма ее груди и венерин холм ее лона, и орлиный размах ее рук, и широкий просвет меж ее глазами.

Я любил ее. Ее тело вливало в меня силы, залечивало мои раны, укрепляло мою плоть. Она заполнила часть той пустоты, которую оставило во мне исчезновение отца и Ани. Ее мысли были мягкими и легкими, в ее душе, как в душе всякого крупного животного, царили спокойствие и уверенность. Несколько недель я плыл на ее просторах, прикрывая глаза козырьком ладони, глядя вдаль с мачты ее плеч, моя рука опирается на ее шею, голова наклонена к эху в раковине ее уха, и вот я уже схожу по покатости ее груди на выпукло-золотистую «терру когниту» ее живота. Я смотрел на нее и видел Апупу в юности, ее мать в детстве, и в первую нашу общую ночь она шепнула мне: «Я расскажу тебе о ней, Михаэль, то, что не расскажу остальной

семье», — и рассказала, как все Рейнгардты во главе со свекровью унижали и преследовали ее, притесняли и обвиняли в своем изгнании, и как она развелась с мужем через несколько лет после прибытия в Австралию: «Поднялась и ушла, как только она умеет. Забрала меня и скрылась от них так же, как скрылась от вас здесь».

В течение нескольких лет, рассказывала она, ее мать занималась овечьей фермой, «там я научилась скакать верхом и водить машину и ездила с ней ловить ослов, из тех, что за много лет до того одичали, фермеры стреляют в них с вертолетов, но она говорила им какие-то слова, и они шли за ней, как стадо овец. Потом мы переехали в город, и наша тетка права — мама действительно открыла мороженое дело, но это не то, что я хотела тебе рассказать. Я хотела рассказать, что ночами мы спали вдвоем в одной кровати и я слышала, как она, каждую ночь перед сном, когда думала, что я уже заснула, декламирует имена. Лежит на спине, как мертвая, и произносит одни и те же имена и всегда в том же порядке, и только когда мне уже было шестнадцать и я была значительно больше ее, я осмелилась сказать ей, что слышала, ночь за ночью, и я тоже знаю их уже наизусть, и она сказала мне, что это имена вдоль улицы с кипарисами, поднимающейся домой, и она повторяет их себе, чтобы не забыть, чтобы не сойти с ума, как будто она возвращается домой — сходит с автобуса, идет по дороге, ведущей в деревню, подымается на холм и, проходя, декламирует имена».



Два пальца Аделаид вышли на прогулку по моей спине, поднялись вдоль позвоночника, и ее рот шептал имена, которые я знал и помнил, и я не сказал ей, что с той поры, как ее мать ушла в изгнание, появилось много новых имен, а другие уехали, и многие уже умерли.

А потом, толкая и переворачивая меня, ведя палец от шрама к шраму, от выходного отверстия к входному, она сказала:

— Я думаю, что мама делала это еще по одной причине — потому что ваша страна такая маленькая, у вас есть только время, а расстояний нет совсем. Может быть, поэтому вы хороши только памятью и пророчествами.

Пять изнурительных недель провел я в обществе своей двоюродной сестры и начал понимать и любовь Амуы к Апупе, и ее жалобы на его тело. Мое ребро сломалось в ее объятьях, и мое тело покрылось синими, и желтыми, и черными пятнами, цвет которых свидетельствовал о разной давности их появления.

— Скажи ей, что ты всего год назад вышел из больницы! — смеялся Габриэль, но я героически переносил свои муки. Я любил ее силу, ее рост, ее вес и ее страсть, которую не всегда мог удовлетворить, и тот безудержный гнев, который охватывал ее, когда она не кончала. И когда однажды она поднялась, забрала у Габриэля белое платье своей немецкой тетки Берты, сложила фотографии, которые привезла оттуда, и те, которые сделала здесь, и сказала, что должна вернуть-

ся домой, я был искренне опечален. Я знал, что она не вернется и что я не поеду к ней, но рядом с грустью во мне улыбалось облегчение. Так это у меня, не у всех у нас в семье.

В первые месяцы после отъезда она каждые несколько недель посылала мне фотографию какой-нибудь части своего тела: плечо, верхушку груди, скругленное колено, «мышцу и голову», венерин холм, левый глаз в щедром масштабе, но закрытый, подбородок и половину рта, и кучу пупков — каждый раз в другом углу фотографии. Я сохранял их, чтобы когда-нибудь собрать из них целую Аделаид, но она никогда не прислала мне ни ладоней, ни ступни, ни целого рта, ни правого глаза. Но мне «довольно было и того»\*, что она присылала, чтобы заонанироваться до забвения, и каждый раз, когда я хотел ее, она тотчас возникала у меня в памяти: змеиные кудри ее волос, светлые бесконечные равнины ее спины, колодец ее пупка, пшеничная насыпь ее живота, дюны ее бедер. Как чайка, прилетающая в свое гнездо, я помню утес ее ребер, расправляю крылья перед посадкой. Я улыбаюсь про себя, находя север по направлениям оврагов и по более заросшим склонам холмов, обнаруживаю следы, и снова кричу: «Суша, суша!» — весь глаз, весь

\* Слова из третьей песни пасхального седера «Дайейну» («нам достаточно»). Участники седера последовательно перечисляют все чудеса, которые Господь сотворил для своего народа, завляя в припеве, что даже самого малого из этих чудес им было бы достаточно, чтобы испытывать глубочайшую благодарность.

нос, весь губы, весь кожа, и плоть, и память, и кровь, и пальцы.

А однажды Габриэль вдруг сказал за семейным столом:

— Вы заметили, что происходит с Михаэлем в последнее время?

— Что? — спросила Рахель.

— Он отплыл и вернулся на то же место и этим доказал, что женщина круглая.

Гириш засмеялся, почти задохнувшись. Рахель сказала:

— Я не понимаю. Объясните мне. Я не понимаю.

\* \* \*

В те месяцы, что последовали за моим выходом из больницы, мы с отцом сблизились еще больше. Он кормил меня, смешил, поддерживал, подбадривал, когда я выполнял болезненные и скучные восстановительные упражнения. А когда я немного окреп и уже мог переносить дорожную тряску, он начал брать меня с собой в свои поездки по делам работы: в цитрусовые рощи, на упаковочные станции и к маленькому вади в Галилее, где годы назад он создал опытный садовый участок. Всего несколько дней назад я побывал там снова — попрощаться и с ним: забор сломан, маленький сад выжжен и вытоптан, козы и дикие свиньи пожирают плоды, которые отец когда-то срывал

и осматривал. Тогда он приносил их нам и показывал специалистам из министерства — а сейчас они падают и гниют на земле.

Отец получил этот участок в пятидесятые годы. Он посадил и привил там разные экзотические виды: иранские грейпфруты с кожурой тонкой, как пергамент, сладкие индонезийские лимоны, благоуханные мандарины из Северной Африки и любимые мной с раннего детства испанские кровавые апельсины, из которых, к недовольству матери, выдавливал для меня красный сок. Тогда он еще не рассказал мне о существовании этого участка и взамен придумывал разные истории:

— Смотри, какие апельсины принесли мне мои дрессированные вампиры. Они всю ночь летели из Севильи.

Работающий, стерегущий, пробующий от каждого дерева, он казался мне похожим на первого человека в раю. Мы шли с ним по саду, и он проверял прививки, обнюхивал бутоны и плоды, выскивал порчу, брал образцы, очищал кожицу.

— Видишь, это такие мандарины, что даже такие люди, как ты, могут их очистить одной рукой. Мое творение!

Никто, кроме него, не приходил в эти места. Никогда не видно было там никаких следов, кроме отцовских, а потом и моих, да еще отпечатков копыт диких животных. А теперь я обнаруживаю там временами и ямку от женского каблука: какая-то его

«цацка»? одинокая Ева, сумевшая найти дорогу обратно в свой сад?

Я взял себе за обычай: раз в несколько недель я прихожу туда вспомнить и оплакать отца, а неделю назад, как я уже сказал, я пришел туда попрощаться, сказать «прощай», а в нашем с ним особом случае — может быть, и «до свиданья». С живыми людьми я прощаюсь прикосновением, словами, мыслями и взглядом. Но с людьми, умершими до меня, нужно прощаться с помощью мест, и для прощания с отцом я предпочитаю его цитрусовый участок в Галилее его могиле в деревне. На могилу я тоже хожу, но только чтобы почистить и полить, и там я тоже улыбаюсь и удивляюсь: которая из его «цацок» положила на плиту камешек из Киннерета? Что, он и для нее заставлял этот камешек прыгать по воде от одного берега до другого?

С моим Ури я тоже прощаюсь. Ночью я вдруг чувствую его тень, встающую с кровати, выходящую и движущуюся по комнатам. Привет тебе, мой сын, — самая большая и молчаливая неудача в моей жизни. Кто лучше меня знает, насколько откровенными, искренними, полными любви могут быть отношения отца и сына?! Но, как говорит Рахель, ум нужен не только, чтобы жениться, — детей тоже надо выбирать с умом, а уж родителей — тем более. На мгновение я вздрагиваю: он ходит, как тень мертвеца, — но моя фонтанелла тут же успокивает меня: это не предсказание, это всего лишь сравнение, всего лишь метафора. Он пьет воду. Он выходит, он расхаживает по двору. И вдруг

к его тени присоединяется еще одна — медленная, окруженная бледным сиянием, Пнина. Видно, это не первая их встреча. Ночные существа, двое добровольных заключенных нашей семьи, они сидят на нижней ступеньке деревянной веранды и разговаривают. О чем? К своему изумлению, я вдруг слышу ее смех. Всем известно, что Ури умеет рассмешить, но Пнину? Разве она способна смеяться?

Возвратившись, он заглядывает в мою комнату и видит меня перед компьютером.

— Что значит?! Ты еще не спишь?! — спрашивает он, подражая своей матери.

— Что значит? Ты гуляешь по ночам? — Я подражаю своей матери, и мое сердце наполняется любовью.

Если меня спросят — а лучше, чтобы не спрашивали, — кого из своих близнецов я люблю больше, я скажу, что Айелет. Но в те минуты, когда я чувствую любовь к Ури, нет ее сильней.

Айелет я прошу взять меня с собой в Тель-Авив. Она нередко ездит туда — повидаться с друзьями, встретиться с экспортерами, у которых покупает напитки, и «присмотреть за недвижимостью», на проверку которой ее посылает Рахель.

— Зачем? А затем, что очень скоро, после моей смерти, твоя дочь будет возглавлять эту семью вместо меня.

Айелет в Тель-Авиве отличается от Айелет во «Дворе Йофе» и от Айелет в «Пабе Йофе». Во всех трех местах

она выглядит властной, уверенной в себе и смешливой, но как раз в Тель-Авиве, в гостях, она расхаживает, как хозяйка дома, как Апула в те дни, когда у него еще были поля: требует, проверяет, объясняет и указывает, — а один раз даже рассказала мне о «кавалере», который ни разу у нас не был, и вдруг добавила:

— Единственный, которого я любила, папа.

— Почему ты вдруг вспомнила о нем? — спросил я, ибо память, в отличие от полицейского инспектора, требует причин.

— Потому что именно здесь мы сидели, всю ночь, здесь, на этом самом песке. А утром встали и пошли вон туда, он стоял вон там, а я оперлась на тот вот столб, и так мы простились в последний раз.

— Как это ты до сих пор не рассказала мне о нем?

— Потому что я рассказываю только о тех, кого я бросаю сама, а не о тех, которые бросают меня. — И после озорного взгляда: — Просто нечего еще было рассказывать. Только началось и уже кончилось.

— Он звучит, как большая любовь.

— Да, папа, — она вдруг улыбается полным слезотом, — он был. И вот так ты утешаешь свою дочь? А как насчет объятий и поцелуя? — И когда я обнимаю ее, моя голова касается ее щеки. Она тут же приходит в себя. — «Тогда любовь была любовью»! — провозглашает она.

— А как узнать? — спрашиваю я ее, не так, как отец спрашивает свою дочь, а как сын спрашивает своего отца. — Как узнать, что это большая любовь? Ведь глазом это нельзя увидеть.

— Дело обстоит так: ты кладешь свою голову на ее живот или на бедро, и она перебирает тебе пальцами волосы, и тогда, если ваши углы совпадают, вы сами чувствуете это.

<Передаточная станция. Труба, и не более того. Я всего лишь пропустил, дал протечь сквозь себя потокам прежних поколений, но не передал в наследство ничего своего. Только несколько угловых скобок, которые не успел развернуть, да несколько квадратных скобок с вариантами, из которых еще нужно выбрать, — с подавляющим большинством из них я разделался с такой неожиданной решимостью, как будто в моем распоряжении были химикаты инженера Флорентая, не оставил от них даже следов. Только считанные сохранились — какие-то семейные выражения еще надо запомнить, выбрать из строк и расположить в алфавитном порядке, и шнурки еще нужно завязать, и пуговицы надо пришить, и по тропам пройти, и поле поджечь.>

Итак, я прощаюсь. Прощаюсь с людьми, с местами, иногда прикосновением, иногда посещением, иногда с высоты полета мысли, иногда на уровне закрытых глаз. Но в основном я прощаюсь тем способом, в котором уже напрактиковался, — безмолвным разговором в своем сердце, о котором никто не знает и которого никто не слышит. И не с раздражением, а с благодарностью. За картины, и запахи, и вкусы, за прикосновения и голоса. Рахели за ее рассказы, Габриэлю за его любовь, Элиезеру за его бритву и за понятие «кость



Кювье», которое он подарил мне в подходящее время моего детства. И Пнине за ее красоту и за понятие «длинное-чистое-ля» трубы, которое я только недавно понял до конца, когда Айелет сделала то, чего ни один Йофе до нее не осмелился сделать: привезла товарища своего Дмитрия, джазового музыканта, который встал посреди двора и трубил, и трубил, и трубил. Пнина не открыла окно, но Арон выскочил из своей ямы, как Архимед из ванной, схватил с моего стола бритву, которую оставил мне Элиезер, помчался к музыканту, сунул лезвие в позолоченный зев трубы, перевернул его внутри звука, вернул мне и сказал: «Вот сейчас оно наточено, как надо». И с тобой, Арон, я прощаюсь, и с твоим отцом тоже, хотя с ним у меня нет близких или теплых отношений.

С домом, где Аня брила мне голову, я не могу попрощаться, потому что он уже разрушен, разнесен по камешку и превратился в набор «сделай сам». Со своим сгоревшим пшеничным полем я тоже уже не могу попрощаться, потому что на нем построен жилой квартал. Но я прощаюсь с его близнецом, с полем слов: огонь, пламя, ожог, жар, свет, треск, искры, колосья, угли, зола, пепел, шум, вой, дым, жар, огненные стены — и тонкий голос тишины.

Я — как Апуа. Веду себя так, как будто приближается смерть. Совершаю короткие вылазки — попрощаться с местами, попрощаться с воспоминаниями, а точнее — с воспоминаниями, запечатлевшими «место», и с местами, запечатлевшими во мне «вос-

поминание». Но я упорядочиваю и очищаю стол, сам определяю свое расписание и не оставляю хвостов, — а его охватывает беспокойство женщины перед родами: без конца наводит порядок, открывает и закрывает шкафы. Меняет население полок и содержимое ящиков. Бесперывно играет с термостатом своего инкубатора, замораживая себя, как будто хочет заранее привыкнуть к будущему, а потом возвращается в настоящее — к теплу.

И все время требует взять его на прогулку. Когда-то эти его прогулки разделяли месяца два, а то и три, сейчас он хочет гулять каждую неделю.

Габриэль приходит ко мне и говорит:

— Попроси у Жениха «пауэр-вагон».

— Но мы брали его всего два дня назад.

— Скажи ему: «Апуа требует»!

Я иду в барак, открываю крышку люка, ведущего в траншею, — ворота подземного Двора. Прохладный, чуть влажный воздух поднимается оттуда и слабый запах мастерской.

— Арон! — кричу я, и имя Жениха падает по короткой ступенчатой шахте вниз, расходится по подземным ходам и туннелям, ударяется о тесные стены, поднимается и опускается по уровням, отдается эхом во всех тайных проходах, и комнатах, и клетках — «Арон... Арон... Арон...».

И через несколько минут, из оглохшей вновь тишины, я слышу далекий крик капитуляции: «Бегу, бегу...» — и смеюсь. Шум катящихся по земле роликов,

шарящий луч, и Жених, сидя на деревянной доске, с шахтерским фонариком на лбу, появляется внизу и поднимает голову:

— Чего тебе?

— Апупа хочет гулять.

Он вздыхает: «Опять?» — ворчит, что мы забываем переходить с передачи на передачу через нейтраль, в тысячный раз предостерегает, чтобы мы мягко обращались с рычагом переключения скоростей, но потом все-таки взбирается по лестнице и кладет ключи в мою ладонь. Арон никогда ничего не кидает.

— Как сестра в операционной, инструмент надо вкладывать прямо в руку.

«Двор Йофе» распахивает ворота, и старый «пауэр-вагон» скользит вниз по Аллее Основателей, а оттуда на главную улицу и встраивается в поток маленьких сверкающих машин, которые сторонятся его, как завсегдатаи элитного спортивного зала сторонятся старого и грязного беспризорника. Перед нами высится Кармель, справа от него — холмы, под ним — Долина. Миновав светофор на выезде из города, мы срезаем вверх, по бесстыдной диагонали, прямо к тротуару возле автобусной остановки, берем влево, пересекаем широкий высохший водосток и — даешь, внуки-ангелочки, вперед, только не слишком быстро, чтобы не навредить — ни нашему деду Апупе, ни Аронову «пауэр-вагону». «Они оба старики, — предупреждает нас Жених, — и у них обоих уже нет запчастей», — и все-таки вперед, ангелы, на запад, к полям!

Вышли на прогулку *Перец и Зерах*, в добрый час, мир вам и удача.

«Пауэр-вагон» уже не забит инструментами, как в те дни, когда я ездил в нем с Ароном на починки и заточки, и в нем уже нет носилок. Сейчас здесь под окном установлена высокая тяжелая полка, на которую ставят инкубатор Апупы, чтобы он мог смотреть вокруг. И вместо того, чтобы прощаться на бумаге, как делаю я, мой дед прощается криком, взглядом и большой протянутой рукой: «вот здесь» он поймал змею, «гадюку толщиной в руку», а «точно здесь» он «открыл лисью нору и привел Амуму посмотреть». А «как раз здесь» они «встретили немцев». «Ну и удивились же они, когда увидели, как я несу ее на плечах!» Те пришли оттуда, а эти пришли отсюда, а я — *когда я шел из Месопотамии*, — вспоминаю я древний рассказ, — умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской, и я похоронил ее там по дороге в Вифлеем, и я до сих пор чувствую, дети мои, ее грудь, прижатую к моей спине.

Недалеко отсюда, с одного из холмов, наблюдает за нами Александр Зайд\*, которого дед знал и любил,

\* Зайд, Александр (1886 — 1938) — яркая фигура второй волны еврейской эмиграции из России в Палестину. Создал первую в Палестине организацию еврейской самообороны Бар-Гиора, основал поселение Кфар-Гилади на севере Израиля, открыл древние еврейские захоронения в Изреэльской долине вблизи Бей-Шеарима. В 1938 году был убит арабами. На месте его гибели поставлен конный памятник.

тоже «мужчина-из-мужчин», «шомер» и «сибиряк», верхом на своем бронзовом коне.

— Почему он всегда смотрит только туда? — удивлялся Габриэль в дни нашего детства, когда Апупа брал нас на прогулки, а не мы его. — А что он будет делать, если враг нападет сзади?

В конце весны и в начале лета я собираю здесь семена розового льна и синих васильков, а «как раз в том месте», где Амума с Апупой встретили немецкие телеги с камнями, — семена мака. Маки — моя любовь. У них длинный сезон, и, подобно инжиру, они каждый день преподносят мне новый цветок. В самый сезон ты находишь на одном и том же растении и бутоны, и цветы, и зеленые головки, и уже засохшие коробочки, похожие на маленькие солонки. А в начале июля, недалеко оттуда, я собираю семена вьюнка, который в самый разгар жаркой летней желтизны сохраняет силу цветки бледно-розовыми гроздьями. Все это я показываю и объясняю Апупе и Габриэлю, и, хотя их не интересуют дикие цветы, они слушают меня терпеливо. И тут, если дедушка устает, мы поворачиваем назад и возвращаемся домой. А если у него остались силы, мы поворачиваем морду «пауэр-вагона» в сторону тропы, взбирающейся к Мухраке, и медленно поднимаемся по ней: двое стариков постанывают от напряжения и тряски, а двое внуков сменяются — один ведет, а другой идет перед машиной и, как в ночных вылазках нашей юности, показывает направление и убирает с дороги камни и булыжники. А там, наверху, недалеко от монастыря,

клонящееся к западу солнце освещает Долину до самого Фавора и Гивага-Море, и дымка над Гильбоа колышется серо-золотыми занавесями, и даже далекая Афула вдруг кажется отсюда городом из сказок. А между ними — наш маленький, нарядный вычищенный городок отражает багровый глаз солнца тысячами своих окон, и в самом его сердце сверкают окна «Двора Йофе». Дедушка подтверждает рассказ о том, что «вот сюда» он когда-то взобрался бегом, разъяренный «холодным, как лед» супом бабушки, и по нашей просьбе снова шепчет, сунув голову в один из кустов, свое: «Прости, мама, прости» — а затем собирает все силы и кричит свое: «Мама... Мама... Мама...» — и радостно улыбается нам, потому что его крик скользит по склону, и пересекает ручей, и летит над равниной, и сотни матерей в Долине — молодые женщины, тогда еще не родившиеся, — спешат к сотням колыбелей, говорят: «Не плачь, не плачь, мамочка пришла...» — и: «Что случилось, детка?» — и глядят, и укрывают.

А оттуда мы выезжаем на большую дорогу, и Апупа говорит:

— Вот тут была арабская деревня Сабарин, которая причиняла нам много неприятностей. — Потом выглядывает из окна и добавляет: — А тут она показала пальцем: «Туда», и мы пошли, пока она не сказала: «Здесь», и тогда мы остановились.

Солнце заходит, и темнота опускается, точно матовое веко в глазах у ящериц, и перед тем, как мы въезжаем в город, Апупа говорит Габриэлю:

— А ну, останови, пожалуйста, Пуи, только на одну минутку. — И мы, уже зная, что он хочет сделать, подходим к нему со стороны задней двери, наклоняем головы над инкубатором, и две его огромные ладони высовываются оттуда и ложатся на наши головы: «Вы мои ангелы, вы как мои сыновья».

\* \* \*

Сестра летчика вернулась с его могилы одна, вошла в свою белую «симку» и уехала, и такой же одинокой точкой на широкой равнине была и на следующий год — год, когда умер мой отец и приехала Аделаид, и на следующий за ним, и на следующий — тот, когда мои ноги набрались смелости, оторвали меня от толпы и повели за ней, как завещал мне отец.

Я устал. Я устал от своей скорби о нем, устал от раздражения, которое вызывала во мне мать, устал от тоски по Ане, от семейных историй, от стен, от требований Рахели, от кусочков Аделаид, которые, в отличие от болей, никак не складывались одна с другой и не становились единым телом. Даже от веселых праздников «Священного отряда», которые обычно радовали меня, я устал. И когда моя фонтанелла смотрела на меня со стороны, я казался себе висящей на веревке рубахой: пустой, без тела, прищепки под мышками, рукава повисли, признавая свою вину.

Я не оглянулся на взгляды, барабанившие по моей спине, пошел за ней и возле кипариса догнал. Она обернулась ко мне и выпрямилась. Спокойные и милые глаза смотрели на меня из-под высокого лба. Уголки рта — я впервые видел их вблизи — говорили о серьезности. Я смотрел на нее, разглядывая так, как учил нас Апуа, и нашел, что в ней есть всё, что, по его мнению, должно быть в женщине: сильная длинная шея, средних размеров веселая грудь, открытое лицо, любознательные и умные глаза, высокий таз и прямые плечи. Тело ее не было лучистым, как у Ани, или могучим, как у Аделаид, или крепким и жилистым, как у мамы, но это было тело симпатичное, и приятное, и правильное, и цветущее.

Я сказал ей, что был мальчиком, когда погиб ее брат.

— И ты видел?

Видел, слышал, бежал. Вместе с другими детьми, конечно, не с Аней.

Сестра летчика наклонилась к памятнику — почистить и выполоть вокруг.

— Я совсем не помню его, — сказала она, — я была маленькая.

— Но ведь есть, наверно, фотографии и рассказы, разве нет?

— Есть, но мало.

Я немного помог ей, со страхом глядя на обломки алюминия и жилы кабеля в земле, и, перепробовав в уме несколько фраз, выпрямился и сказал вслух:



МЕИР ШАЛЕВ. ФОНТАНЕЛЛА

— И еще мы ходили потом из школы поливать этот кипарис.

Она сказала:

— Спасибо.

Я сказал:

— Не стоит благодарности.

Она спросила:

— Как тебя зовут?

— Михаэль, — сказал я.

— А фамилия?

— Михаэль Йофе. Через «о». А ты?

Она тоже выпрямилась и посмотрела на меня.

— Алона, — сказала она. — Тоже через «о».

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### АНЯ

Сорок лет миновало с того дня, когда Аня и Элиезер были изгнаны из деревни. Почти пятнадцать тысяч дней, и не было среди них такого, чтобы меня не обожгла мысль о ней. А тем временем она — где-то там — состарилась, а я — где-то здесь — перевалил за пятьдесят. В моей памяти она, конечно, осталась молодой и такой и выглядела каждый раз, когда я спускался проведать ее, но, когда я извлекал и поднимал ее к себе, я видел ее такой, какая она на самом деле — старше меня на шестнадцать лет, — и неизменно поражался сохранности ее красоты и обаяния. Может быть, моя фонтанелла показывала мне ее такой, как она есть, и, может быть, моя память, подобно закрытому дому Пнины, ее защищала.

Моя фонтанелла никогда не отличалась особой точностью, и мне не раз приходится калибровать и приводить к нулю ее отклонения. Но в ту ночь она вдруг стала очень точной и, не ограничиваясь своими обыч-

ными дрожаниями и гулом, потрясла меня неожиданными вспышками света и резким дребезжаньем. Они разбудили меня в середине ночи. Не чем-нибудь, что «сбудется в конце времен» или «когда вернется Батия», а неотложным и деловым предсказанием конца, то есть смерти, не подлежащей обсуждению, с точно указанной датой и ясным адресом, — и тут же телефонный звонок, и голос, кто-то назвал мое имя, а потом ее, и крикнул, чтобы я поторопился, и слово «фонтанелла» произнес, как нужно, с улыбающимся «э» после второго «н», и все это время телефон продолжал звонить, пока я не протянул к нему руку и не сбросил его в темноте на пол.

— Что это было? — спросила Алона, не открывая глаз. Она спала, как обычно, на спине, разбросав ноги и руки. Ее сон так глубок и спокоен, что она может разговаривать, не просыпаясь.

— Ищут Габриэля, из армии.

— Почему у нас?

Я бросился к двери, открыл, выкрикнул его имя во двор. Если Цыпленок согласится повезти меня на своем «кавасаки» и помчится, как он умеет, я еще могу успеть.

В темноте обрисовался силуэт скрипача, тщедушный и бдящий, как всегда.

— Чего ты кричишь, Михаэль? Что случилось?

— Разбуди Габриэля!

Теперь появляются и трое «священных», проступая из темноты:

— Он уже идет.

И тотчас он сам:

— Я здесь, Михаэль, случилось что-нибудь?

— Мне нужно к ней.

— Твой шлем на складе, моя кожанка тоже, и возьми у жены одну из ее «пашмин» на шею. Будет холодно. И мне захвати одну.

«Священные» уже заняты делом. Один готовит кофе, другой заводит мотоцикл, чтобы разогреть его на холостом ходу. Габриэль сделал несколько глотков, прикрыл номерные знаки тряпками, уселся:

— На меня, на меня!

Третий уже открыл ворота. «Кавасаки», глухо рыча, соскользнул по спуску Аллеи Основателей. Направо, налево, главная улица пуста, внезапный клекот петуха, далекий лай, и, поскольку ночью не работают рестораны и нет ни машин, ни мужчин и женщин с их одеколонами и духами, в воздухе плывет добрый старый запах деревни. Габриэль прибавляет газу. Без спешки. Дорога влажная от росы, а шины еще не разогрелись, но барабанная музыка выхлопа и нарастающий вопль мотора уже рассекают деревню.

— Куда? — спрашивает он на главной дороге.

На мгновенье я пугаюсь — хорошенький вопрос. Но моя рука тут же поднимается:

— Туда.

— Не только на этом перекрестке. Куда вообще?

— Я скажу тебе по дороге.

Вади, через которое Апуа и Амуа восемьдесят лет назад прошли пешком, мы пересекаем за несколь-

ко минут бреющего полета. Габриэль — одно тело с мотоциклом, а я — одно тело с ним. Его кожанка обнимает мое тело, моя рука указывает ему дорогу, две теплые шелковисто-шерстяные шали моей жены ласково гладят наши шеи. Если бы где-то там не умирала моя любимая, можно было бы наслаждаться этой нашей совместной поездкой, как я наслаждаюсь ими всегда.

— Куда теперь?

Я указываю на юг.

Сорок лет. В нашей маленькой стране, вообще говоря, трудно исчезнуть, но я, как уже говорил, стараюсь не выходить за пределы «Двора Йофе», а она, после того, что случилось, никогда не возвращалась сюда. Зачем? Ее «не-шрам» врезан в мою плоть, ее голосом охвачено мое горло, запах ее горящего платья — на моей коже. Ожидание, как я обнаружил, замораживает чувство времени, а мы, Йофы, умеем отключиться, усесться на берегу и ждать: Амума — осуществления своей мести, Арон — наступления «страшного несчастья», Ури — появления женщины, которая однажды придет к нему. Мой отец ушел. Пнина заперта в своем доме, Юбер-аллес — в Австралии, а я — во «Дворе Йофе». Жду. Прошу утешения, объяснения, прощения, не обязательно в этом порядке. И всегда «не-делаю», и всегда с ней. Как во время ее ухода и как тогда, в свои пять лет и несколько месяцев, — прячусь в миртовом заборе ее дома и жду грядущего. В пять лет — что еще у тебя есть, кроме грядущего? Твои вчера коротки и торопятся скрыться [твои вчера исчезают позади тебя],

твои сегодня протекают меж твоих пальцев, зато твои завтра — о, твои завтра, великие, скрытые — они ждут тебя, и их руки, их крылья, ворота их бедер горячи и распахнуты тебе навстречу.

— Прямо! — кричу я, протягивая руку, предваряя ответом вопрос.

А что есть у тебя сейчас? Груда обрывков, воспоминаний, историй да «костей Кювье», что ждут, ухмыляясь. Мы, Йофы, чураемся своих пророчеств, когда они исполняются. Раньше у меня были еще три фотографии, на которых была запечатлена она. Все три были сделаны на празднике Благодарения и через несколько недель после изгнания были найдены и порваны в клочья, но сохранились в моем сердце.

Я помню: открылись большие ворота, он — худой и лысый, улыбчивый и отглаженный. Она — высокая, смущенная и цветастая, и любопытные глазки «шустеро́в» таращатся из-за ее спины. Мама встретила их вежливым приветствием, но ее взгляд не доверял и обвинял. Возможно, причиной был запах алкоголя, исходивший от него уже в полуденные часы, а может быть — ее сильное здоровое тело и, конечно, та радость и готовность, с которыми я бросился в ее объятия, и прижался к ее груди, и позволил ее рукам поднять меня в воздух, а моим ногам оторваться от земли.

Аня уселась на земле, ее спина — на стволе гуявы, ноги раздвинуты.

— Иди сюда, Михаэль, сядь со мной.

Как забыть? Мое тело расслабилось, голова, как будто сама по себе, медленно отклонилась назад, пока не улеглась меж ее груди. Мы впервые сидели тогда так, «в нашей позе», которую мое тело — свернувшееся, напряженное, прижатое к телу Габриэля, — помнит и сейчас: она сидит, ее прямые ноги раздвинуты в знаке великой победы, а я сижу в их углублении, и моя спина на ее груди.

Ее пальцы скользят по моим бедрам и всему телу в поисках того «не-шрама», который она выгравировала на мне, и вдруг — ее голос, шепотом, чтобы никто, кроме меня, не услышал:

— Тут была моя рука.

Ее щека касается моей макушки, ее дыхание согревает мою открытую фонтанеллу. Семья Йофе смотрит на нас. Неожиданный поцелуй фотоаппарата. Чьего? И тишина. Скажите сами: если это не было любовью, то чем это было?

— В будущем году он идет в первый класс, — сказал отец.

— Придешь навестить меня по дороге в школу? — сказала Аня.

— При условии, что не опоздаешь на уроки, — сказал ее муж.

Запах его кофе еще висел в их кухне. Круг его лысины еще сверкал над стулом. Я выглянул из окна — вот она, вырывает сорняки на дальнем краю сада. Я вышел из кухни в коридор. Дверь в конце коридора, за ней комната, книги покрывают четыре

стены, в центре — узкая кровать, а за мной ее тепло и ее дыхание. Вошла беззвучно, но даже каракал не может застать врасплох человека с открытой фонтанеллой.

— Это комната Элиезера, а это его кровать.

Кровать отшельника. Железо и морская трава. Не у стены и не перпендикулярно ей, а по диагонали, с северо-востока на юго-запад. Стол, и стул, и лампа, и два тонких сложенных одеяла. Одно — укрыться, его собрат — под голову.

— Если у тебя есть такая жена, как Аня, — сказал я про себя, — зачем тебе угол?

Она посмотрела на меня:

— Что?

— Почему у него кровать по диагонали? — спросил я.

— Так он привык.

Мы вернулись в кухню. Она выпила свой чай, полный лимона и «белого яда». Мой подсластила медом.

— А сейчас беги в школу.

Я встаю, ее объятие охватывает и отпускает.

— Подожди минутку. — Она протягивает мне завернутый в бумагу бутерброд. — Возьми, поешь на переменке.

Сначала, почти на бегу, задыхающимися откусываниями, потом, внезапно обессилев, то ли опустившись на землю, то ли упав на нее, — пожирая жадно, точно хищное животное, разрывая и глотая целиком, не жуя. Тело взлетает на мгновение, и тут же задыхается, и я уже стыну, но не от стремительного пролета сквозь



холодную ночь, а, как Апуца, — от стужи, расходящейся изо всех клеток моего тела.

— Останови! — кричу я.

— Нет!

— Я должен снять шлем.

— Сними на ходу.

Точно кит, поднимающийся на поверхность воды, — выбрасывает фонтан и мучительно вдыхает.

— На восток! — указываю я. — А на следующем перекрестке на юг. — И опять ухожу в свою воду. Я знаю, Габриэль сейчас улыбается. Он всегда веселится, когда я говорю «на запад» и «на восток», а не «налево» или «направо».

Каждый год, после дня рождения, который устраивала мне семья, я приходил к ней с отдельным визитом. Ведь и она тоже дала мне жизнь, и притом в тот же самый день. И в каждый такой визит мы устраивали нашу всегдашнюю церемонию — проверяли, «остались ли у нас знаки от пожара», и всегда одним и тем же способом: она сидит на стуле, а я стою меж ее коленями и даю ее глазам и рукам бродить, и трогать, и смотреть. Из года в год моя голова поднималась все выше, как на косяке двери Апуцы. От ее бедер к животу, от живота к груди, а оттуда — к ее шее и голове. И ее губы, что вначале целовали меня в тонкую кожу точно в том месте, где напухают лимфатические железки, теперь целовали мне бедра, и грудь, и уже поднимались к боли моей шеи и к моим губам.

Было лето. Ольха покраснела и издавала такой сильный запах, что моя фонтанелла ощущала его, как еще одну крышу над красной площадкой Аниного двора. Я помню: маленькие птички бились о стекло. Самец — бирюзовый, сверкающий, с черным переливом, самка — невзрачная, серая. Они пронзительно кричали, просили впустить. Аня встала и открыла им окно. Ее маленькая грудь с темно-красными сосками. У меня в паху — тогда и сейчас — напрягается жила. Сладкий ужас — тогда и сейчас — перехватывает мне горло. Ее правая грудь немного обожжена пожаром. Мне нравится проводить по ней ладонью, губами, языком, щекой, ощущать границу между сожженным и гладким.

— Огонь гнался за мной, но не смог укусить. Вот только здесь я немного сторепа, из-за кофты, потрогай, Фонтанелла, ты почувствуешь.

Возвращаясь из школы, я заходил к ней поесть — «перекусон», «какая-нибудь мелочишка», чтобы не прийти домой сытым и не вызвать подозрений: салат, для которого она рвала листья разных растений, из тех, что когда-то выращивал в этом дворе Фрайштат — до того, как попал под машину; теперь они росли без присмотра в каждом углу. Она рвала их и поливала каким-то соусом — я так и не угадал, что в него входило, если не считать пассифлоры. И другой салат, замечательный: равные порции мелко нарубленных листьев петрушки, укропа и кориандра, оливковое масло, крупная соль и кедровые орешки, которые

она прокаливала на сковороде так, что они становились почти черными и издавали запах гари. В те дни никто в деревне не знал кориандра, кроме Элиезера — он выращивал его у себя во дворе и говорил, что человечество делится не только на женщин и мужчин, а также на расы и религии, но и на любителей и ненавистников кориандра. Даже моя мать ненавидела его, но она ошибалась еще в одном: кроме аппетита, продиктованного голодом, есть еще аппетит, продиктованный любовью.

— Не наваливайся на меня так! Держись за ручки под сиденьем!

А иногда она варила белый суп, странный и удивительно вкусный, его поверхность была посыпана веснушками перца, а посередине плавало затерянное пугающее яйцо. Я хорошо помню его, потому что в тот период Рахель начала рассказывать мне истории из «Одиссеи», и это яйцо напоминало мне глаз утонувшего Циклопа. И «пасту Элиезера» она готовила — толстые, длинные вермишелины — и выжимала на нее помидоры, как выжимают половинки лимона. Я помню: половина помидора сминается в ее пальцах, протекает сквозь них зернами и соком. Я засмеялся, удивленный этим незнакомым способом, и тогда ее рука тоже засмеялась и смазала меня по лицу кислотатым соком. Она добавляла к этому соусу листья шалфея, которые поджаривала на маленькой сковороде до тех пор, пока они не становились коричневыми, сухими и твердыми, как кусочки пергамен-

та, — совсем так, как прокаливала кедровые орешки для своего салата. Я и сейчас, в те дни, когда Ури спит, а Алоны и Айелет нет дома, иногда готовлю себе такое блюдо: прожаренные листья шалфея лопаются, как тогда, на зубах, добавляя горьковатый и соблазнительный привкус дыма и пламени и еще что-то от ее вкуса. Вермишелины, висевшие у нее на губах, она перекусывала, широко открыв глаза. Я помню — губы оставались смеющимися, даже когда обнимали вермишелину, а потом она макала палец в стакан с вином и давала мне облизать. У нас дома пили вино только по субботам и в праздники. Моя голова кружилась от запаха и наслаждения. Если это не было любовью, то чем же это тогда было?

Стоило мне несколько минут посидеть «в нашей позе», и мое тело теряло почти весь свой вес и ослабевало, как тряпка. Я лежал на боку, моя щека пламенела на ее бедре. Мои закрытые глаза смотрят мимо нее вдаль, моя голова наполняется сиянием и теплом, которые излучает ее кожа. А однажды я повернулся на другой бок, и всё разом изменилось: мой взгляд, до тех пор направленный мимо и вдаль, в сторону мира, из которого ее ноги, постепенно удалявшиеся друг от друга, вырезали треугольный ломоть, был направлен теперь к месту встречи этих же ног. Рука Ани — правая? левая? — продолжала поглаживать волосы на моем затылке. Ее рот продолжал декламировать стихи — то ли о плаще парваимского золота, то ли о бочке, а может быть, о лужайке или о зонтике. Это она прижала

меня к своему телу? Или я сам прижался? Мой нос вдохнул, ее запах усилился, мои губы прикоснулись к холмику тонкой белой ткани, что еще оставался меж ними и ею, и она погладила мягкую точку на моей макушке, скользнула вдоль соединения черепных костей, — и Айелет, эй! улетает в далекий, в неведомый край! — а потом приблизилась к месту, где эти кости расходятся, и там начала ходить маленькими, медленными, кружащими голову обводами по устью моего колодца. Я близок к обмороку, а она — понимает ли она? — выпрямляется и отправляет вторую свою руку блуждать по моей спине и затылку. У нее сильные, приятные руки, но возле моей открытой фонтанеллы они становятся нежными и пытливыми — обходят ее по обводу и вдруг, словно ныряя вниз головой, — прикасаются прямо к ней.

Громкие голоса не будят меня. Но тихие, шелестящие звуки, осторожно стучащие в мое открытое темечко, будят сразу. Элиезера я услышал еще до того, как он очнулся от сна, в ту минуту, когда тело человека уже начинает просыпаться, но его обладатель все еще спит. Он закутался в простыню, вышел в коридор, босые ноги шлепают по плиткам коридора. Я видел, как он выходит в темный сад и идет к большому рожковому дереву, под которым не было растений. Он оперся расставленными руками на одну из больших ветвей — полная луна вырисовала его голое тело на экране простыни — и со вздохом и стоном помочился. А другой ночью я услышал слова. Тихий поток, что, судя по голосу, струился из его рта, был, судя по мелодии,

каким-то рассказом. Я поднялся с кровати, неслышно подошел к его комнате и в просвете между дверью и косяком увидел ее. Она сидела в кресле, профилем ко мне, укрытая белой простыней до шеи. Только ступни выглядывали, лежавшие на сиденье, да две белеющие верхушки ткани были двумя ее коленями, — а Элиезер, возлежа на жертвеннике своего ложа, что-то говорил и говорил.

Рассказ длился и длился, потом смолк, Элиезер глотнул из бутылки, стоявшей рядом с кроватью, и поставил ее обратно. Он ждал. Аня поднялась и стала против него, а он облизал губы и снова глотнул из бутылки. Глаза его затуманились. В наступившей тишине — только мое стучащее сердце и его тяжелое дыхание — моя любимая приблизилась к своему мужу и поднесла ему дар, — а может быть, вернула долг, — а может быть, внесла свою долю в сделку, подробности которой я не знал и уже не узнаю: позволила простыне упасть и обнажить перед ним ее тело. Моя фонтанелла и сейчас дрожит под волосами. Я познал всю полноту унижительной слабости, которую может испытать только мальчишка. Я ощутил всю полноту надежды, которую мальчишка может накопить на черный день.

И была у нас также игра, смысла которой я тогда не понимал. Ее колени поднимаются по обе стороны моих бедер, оковы ее ступней смыкаются на моей спине. Только намек на обхват, только слабый любящий знак скрытой силы, как годы спустя я видел в армии, когда «священные» боролись друг с другом.

— Посмотрим, как ты выберешься, — сказала она.

Я начал бороться с ней, а она смеялась, то ослабляя, то сжимая колени. Я тоже смеялся, но в моей душе закипала ярость, настоящая мужская ярость, которая — так же, как страсть, — опередила во мне свое время.

— Ребенок, ребенок маленький, мой ребенок... — пробормотала она, вытянувшись на спине, и вот я уже в ловушке объятья, прижатый к ее животу. И вдруг ее тело напряглось и изогнулось, и она застонала так, что я испугался, — но ее ноги уже разошлись. Она схватила меня, посадила на колени и прижала мою голову к груди:

— Какой ты красивый мальчик...

А когда я еще немного подрос, она придумала новую игру: я лежу на спине, на поле или в саду, а она надо мной, на локтях и коленях, и ее рот целует, и кусает, и дышит в мою шею, а иногда она на одних ладонях, оставляя между нами маленький промежуток, пустоту, которая заставляет мое тело подняться, а иногда она опускается, и прижимается ко мне, и даже совсем ложится на меня, проверяя — сколько из ее веса я могу вынести. Один раз, когда я был постарше — волосы на голове уже отрасли после того, как она меня побрила, — от нее ударило в меня таким жаром, что я спросил:

— Аня, когда мы с тобой ляжем, ты и я? — и, только когда она ответила, понял, к своему ужасу и стыду, что произнес это не про себя, а вслух.

— Еще немного, — сказала она, ее рот в углублении моей шеи.

— Еще немного сегодня или еще немного когда-нибудь?

— Еще немного когда-нибудь.

Ее бормотание дышит мне в шею, ее слова еще длятся, но уже растворяются до невнятности, и вот уже ее «к» почти сходят на нет, и «ш» уже шелестят еле слышно, а «м» и «н» сливаются в сомкнутом поцелуе, и каждая буква замирает и исчезает по-своему.

Не знаю, как обстоит дело на море и в воздухе, в этих пространствах беспрепятственных путей, но на суше есть два способа двигаться к цели, не отклоняясь с пути. Тот, которому учил меня отец: вдоль одной прямой, в конце которой один объект, и весь ты — прицел и мушка, глаз и твоя цель; и мой — способ точки, несущейся в широком просторе, на больших расстояниях, чуя стороны света, линии высоты, ширины и длины и выпуклый изгиб земли. Таким я вижу сейчас мотоцикл Габриэля — пожирает крохотный кусочек мира, а вокруг простираются океаны, эпохи, истории и материки, и такя чувствовал тогда ее руку, когда она брила мне голову в подарок к моей бар-мицве. Я помню: несколько коротких и выпуклых проходов стригущей машинки от лба к затылку, обрезки состриженных волос падают на пол. Вот сачок для бабочек, подаренный Рахелью, брошенный на красный бетонный пол, вот простыня, в которой Аня стригла Элиезера, большая дыра посредине, вот моя голова, торчащая из нее, и одна линия,



как стрела, проходит от центра земного шара ко мне, пронизывает мою фонтанеллу и взмывает к зениту.

Моя щупающая рука ощущает только короткую и колючую щетину. Аня окунула руки в миску с теплой водой, уверенно и осторожно потерла и смочила мою стриженую голову, потом взбила мыльную пену для бритья и, когда моя голова покрылась пышной белой короной, сказала:

— Не двигайся. И не думай, что ты двигаешься, это еще опасней.

Как большая оса, вилась она вокруг меня, ее бедра совсем рядом, под горящими анемонами, на уровне моего носа и глаз, а бритва приветствует мою голову, и поглаживает ее, и шепчет, и взлетает, восходит на лбу и заходит на затылке, поднимается на одном виске и опускается на другом, кружит вокруг, как топографическая линия высоты, обходящая округлый холм, и ее шелест то удаляется, то приближается, и каждый раз, подходя к моей фонтанелле, осторожно огибает ее — чуть восточнее, чуть севернее, чуть западнее, чуть южнее. Я впился пальцами в свое тело, страшась, что моя голова вдруг упадет от слабости — упадет и ее отрежут, — но вдруг сильный удар руки и громкий оклик:

— Не засыпай мне тут! Ты свалишь нас обоих! Что с тобой?!

Я встряхиваюсь. Отбрасываю забрало шлема. Ледяная буря хлещет мне в лицо.

— Все в порядке, — кричу я, — не беспокойся.

Передо мной возникает круглое зеркало.

— Посмотри, Фонтанелла, перед тем, как я сбрую и это тоже.

Бритая голова, и под ней — новое лицо, а в середине бритого черепа, на самой верхушке, — маленькая щетинистая клумба, как тот кружок травы возле шибера, который плуги оставляют на поле.

— Ты такой бледный, — сказала она. — Хочешь — упади в обморок, а потом мы продолжим...

Говорить я не мог, но мой палец изобразил движение бритвы на макушке. Не потом. Сейчас продолжим. Даже во время моей армейской службы, подарившей мне несколько бесспорно страшных минут, у меня не было такой страшной минуты, как эта. Бритва шла по пленке, прикрывающей устье моего колодца, погружалась в бороздку между костями, точно тот складной нож, который Жених изобрел для моего отца, — нож, который открывался одной рукой, когда он хотел разрезать персик по его бороздке. И пока я представляю себе всё это, я еще успеваю удивиться: каким образом мозг может увидеть, как его разрезают, в то время, когда его разрезают?

— Остановись! — кричу я Габриэлю, колотя кулаками по его спине.

— Нет!

— Остановись, я должен постоять несколько секунд.

— Я не остановлюсь! — Он только чуть замедляет, потому что ветер выхватывает слова. — И я не поверну назад. Доедем, а там ты решишь.

— Ну, вот, Фонтанелла, — сказала Аня. — Вот я тебя и побрила, как обещала. — И снова поднесла мне зеркало.

Первый раз в жизни я видел глазами то, что до этого чувствовал только внутри себя: ее пульсацию. Кожа на ней чуть приподымалась и снова опадала, как перистый покров над бьющимся сердцем птицы, только много-много медленней, и Аня, такая близкая — ее теплый живот почти касается моего лица, — лизнула свой палец и обвела ее круглыми влажными движениями, как Элиезер обводил пальцами край пустого коньячного стакана. Обводил и объяснял мне, как возникает звук зуммера, и как он достигает уха, и что с ним делает мозг, и как все это связано с пониманием.

Я хотел подняться, но ее вторая рука вдруг напряглась и прижала меня к себе, щекой к груди. И еще раньше, чем я понял, что должно произойти, ее руки уже охватили мое тело и стали опускать — то ли поддерживая, то ли заставляя, — пока я не лег на пол.

Сильная тонкая дрожь взобралась по моим позвонкам снизу до затылка, а оттуда поднялась к обнаженной вершине черепа. Дрожь и гул. Время сжимается в точку и растягивается вдаль. Ее тело стоит перед моими глазами — в эту минуту и потом, молодое и старое, со мной и без меня, в этом доме и в чужом городе, который уже тогда начал обретать во мне свою будущую форму, и свои камни, и дома, и стены, и я почти теряю сознание в тех безднах, что раскрываются между видением и предвидением.

## Глава седьмая. Аня

Аня лежала, прижавшись ко мне, вороненый хохолок ее венерина холмика ощетинился и встал дыбом, и вдруг я почувствовал, что ее рука прокладывает себе дорогу между нашими прижатыми друг к другу животами. Я испугался. Я думал, она схватит меня, и уже ощутил свою диафрагму и мышцы живота — первая растворялась, вторые напряглись, и, несмотря на желание, я смутился, но ее рука пошла дальше, и вдруг комнату наполнил странный аромат, как иногда бывает весной, когда последний дождь ударяет по теплым листьям майорана и микромерии.

Будь благословенно обоняние, запоминающее лучше, чем все другие чувства. Будь проклят язык, не снабдивший запах необходимыми ему прилагательными. В полях других чувств есть синий, и размытый, и вкусный, и соленый, и высокий, и низкий, и шершавый. Но у запахов, как у болей, нет названий и имен. У них обоих — только заимствованные слова, и оба они вынуждены запоминать и сравнивать: себя — с предыдущими болями и запахами или с древними словами, таинственное звучание которых наполняет меня обманчивым ощущением точности. Я извлекаю из памяти *мирру* и *нард*, *нахоат* и *лот*, а главное, *ахалот*, и чувствую, что все они явились в мир, чтобы предсказать мне Аню. И поскольку в отсутствие имени может оказаться полезным даже определение из словаря, скажулишь, что *ахалот* — это душистое растение из Библии, а метафорически — это аромат, исходящий от

чресел молодой женщины, с растрепанными волосами и высокого роста, в то время, как юноша, которого она спасла от смерти и которому только что побрила голову, лежит близко-близко к ней, и она касается себя, а потом его, чтобы помазать его, как царя или пророка. Есть ли в мире другой такой язык, в котором все это означается одним и тем же словом? Если есть — то мой это язык. Если есть в мире народ, который говорит на нем, — то мой это народ, его бог — бог мне, его страна — моя страна. Но на языке моего народа есть слова только для памяти, и для безумия, и для глупости, а на языке моей матери — только названия «ядов» да расцветок всех видов смерти.

Рука Ани вернулась из бездны, и ее запах — предположительный запах расплавленного золота и знакомого аромата цветущего раkitника и жженого шалфея. Ее пальцы прошли по моему лицу, скользнули по лбу, округлились над оголенной фонтанеллой, обходя ее вокруг, как будто очерчивая букет васильков или царскую корону, сошли над ней и освятили ее тоже. Я помню: мое лицо перед ее лицом и моя грудь перед ее грудью, ноги согнуты против зеркала ее ног, живот прижат к отражению ее живота. Ее рука снова вернулась к чреслам, набрала полную ладонь, снова поднялась и помазала мне глаза и лоб, спустилась и помазала мне губы, и поцелуй ангела поднялся к моему носу. Мои ресницы склеились. Ноздри раздулись. Лоб растворился. Каждый вдох заполнял пустоты в моем теле. Молод и стар я

был в эту минуту, знал, какое действие она свершает, но не знал его смысла.

— Сейчас ты мой, Фонтанелла. Куда мы ни пойдём, я или ты, ты всегда будешь мой.

И снова погладила меня, мою щеку и мой нос, мои раскрытые губы, и мой облизывающий язык, и мои склеенные ресницы. Ее голова наклонилась ко мне, колос ее шеи склонен, змея ползет по пшеничному полю.

Обгоняем мчащуюся машину, в ней — один из тех новых молодых водителей, которых так ненавидит Жених, — маленькая-крашенная-колючая головка, маленькие торчащие уши. Он пытается поравняться с нами, но на горном повороте тонет в зеркале заднего обзора. Габриэль наклоняет мотоцикл направо и налево, и я — то ли сам по себе, то ли брошенный силой поворота — наклоняюсь вместе с ним. Холодный воздух ущелья, последний каменный мост, вот кладбище на въезде — Иерусалим, как же иначе! — с надписями «На-Нах-Нахам-Нахман»\* на стенах, вот дома и балконы, заклеенные лозунгами на любой вкус — «а вдруг придет кто-нибудь, кто любит компот».

— Куда?

— Туда, — показываю я.

Я не знаю Иерусалима, и, хотя Жених просверлил мне дыру в шлеме, я снимаю его, чтобы лучше ориентироваться. Я узнаю Бейт-а-Керем, жильё Задницы, и

\* «На-Нах-Нахам-Нахман» — надписи, которые, по убеждению мистически настроенных последователей рабби Нахмана из Брацлава, следует писать везде, где возможно, так как это якобы спасает души пишущих.

гору Герцля, жилье ее брата, тоже узнаю. Ветер слизывает слезы с моих глаз, за горой Герцля еще какой-то незнакомый квартал, названия которого я не знаю, а потом вдруг — невероятный, одуряющий запах, в который мотоцикл врывается бешеной стрелой: это цветущий метельник, испанский дрок, высокий свет освещает его желто-сияющие соцветия по краям извиляющейся дороги, они словно вышли встретить меня, чтобы сказать, что я добрался правильно: вот она, большая больница, подстерегающая на склоне горы.

Охранник поднимает шлагбаум, цокает языком: «Ну и чудище!» — спрашивает: «Сколько он делает?» — и Габриэль отвечает: «Нет у нас времени разговаривать».

— Поезжай, друг, жми на газ. Здесь никто не спит. Здесь ты или лежишь без сна, или лежишь мертвый.

— Я подожду тебя здесь, — сказал Габриэль у входа в корпус.

Габриэль — мужчина высокий и симпатичный, у него заостренное, как у волка, лицо, и даже в пятьдесят пять он выглядит моложе наших лет. Две медсестры, ожидающие там попутки, смотрят на него с любопытством, а мне говорят:

— Зайди через приемный покой.

Серебристо-безмолвные коридоры, запахи лекарств, свет и мрак. Я бегу, ощущая своей фонтанеллой тех, что только что родились, и тех, что скоро умрут. Покинутые лестничные клетки. Лабиринт. Где ты? Крикни, чтобы я услышал. Туда. Я бегу, насколько

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Аня

позволяет больное колено, и моя фонтанелла останавливает меня на нужном этаже и выбирает мне нужный коридор. Туда. И, как палка по доскам забора, перебирает закрытые двери: не-та-не-та-не-та-не-та. Та. Здесь, Михаэль, эта. Черный прямоугольник распахивается, я вхожу, я приближаюсь, я здесь. Кашель глубокий, страшный, она хочет что-то мне сказать, и задыхается, и я опускаюсь на колени и кладу голову...

Рука протянулась, нащупала, покружила над моими берегами, нажала осторожно: я узнала тебя, Фонтанелла. Я знаю, я помню, ты мой, Фонтанелла. Это ты.



## ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

### МИХАЭЛЬ

Ястреб шел широкими кругами, рассматривая наш двор с высоты своего круженья. Перебирал в памяти старые приметы и отмечал новые. Обратил внимание на шесть домов, появившихся во дворе, на странный заостренный шатер, на цветастый флаг на нем, который показался ему схваткой сойки со щуркой.

Солнце вставало. Трое мужчин вышли из шатра, вынесли из соседнего дома ящик и положили его на веранде. Маленький старик лежал в нем — веночек из цветов у него на голове, кукольная одежда на теле и белая борода на груди. Один из мужчин остался возле него, другой поставил чайник на маленький костерок, третий вынес простыни и одеяла, чтобы проветрить на бельевых веревках.

Мгновенье ястреб парил на месте — мерцающие полосы на хвосте, хищные когти то втягиваются, то расправляются в ленивом раздумье. Потом поднялся повыше, и Двор стал тем, чем он в действительности

был, — четко выделенным, отделенным и огражденным прямоугольником в центре маленького городка, кварталы которого покрыли половину охотничьих угодий предков. Солнце поднялось выше. Его лучи подожгли улицы, и оконные стекла вспыхнули и потухли, пока ястреб пролетал. Чуть западнее он увидел большой черно-зеленый мотоцикл, бурей вылетевший на дорогу. Мотоцикл свернул к городу, прорезал главную улицу, повернул направо и поднялся по кипарисовой аллее к вершине холма. Ворота Двора распахнулись, мотоцикл ворвался, остановился, умолк. Сидевший позади человек свалился, как мешок, забился на земле и задергался, что-то крича. Водитель поставил мотоцикл на подпорку, поднял своего пассажира и помог ему подняться на четыре ступени.

— Позвать Алону?

— Иди спать, Габриэль, и спасибо за поездку.

«Священный отряд» подал мне чашку кофе с видом на простор.

— Доброе утро, мама, — сказал я высокой прямой старухе, вышедшей из ближайшего дома.

— Доброе утро, Михаэль. Что значит ты во дворе в такое время?

— Габриэль возил меня на ночную прогулку.

— У тебя скоро день рождения, что ты хочешь в подарок?

— Спасибо, что ты помнишь, даже я забываю.

Боли складываются одна с другой. Я листаю время назад, нахожу свое место и возвращаюсь на тропу.

Посланные мною раньше стрелы обратных азимутов возвращаются ко мне от дат и от мест. Вот я, вот поле, там был сад, вот дорога, телега с лошадьё в день ее приезда, зеленый грузовик в день ее отъезда, «праздника веселое волнение, празднуем сегодня день рождения», и будущее, что когда-то занимало большую часть времени, теперь стало тонким и решительным, как бритва. Внезапно я понимаю: не память иссякает, а забвение заливает, и умереть, какую бы дорогу ни выбрала смерть и в какие бы слова она ни нарядилась — помер, исчез, улизнул, погиб, преставился, упокоился, ушел в мир иной, сошел в могилу, ушел из жизни, приказал долго жить, возлег с предками, покинул сей мир, отошел к праведникам, почил навеки, — всегда означает: утонуть.

Я не жалею. Меж моим детством и ее старостью, от моей почти смерти тогда и ее настоящей смертью сейчас время подарило нам еще и семь тучных лет любви. Но когда она умерла, я ушел с ней вместе и потому разъясню: в свои пятьдесят (или пятьдесят пять — смотря по какому счету) я, сидящий в тени сладкого индонезийского лимона и под кровавым апельсиновым деревом из Испании, совершенно нормальный, женатый, отец двух детей, — единственный в мире мертвец, у которого все еще открыта фонтанелла.

Не стоит тревожиться или жалеть. Мы, Йофы, — у нас всегда есть про запас тубик сгущенки, чтобы утешиться и подкрепиться в минуту слабости. И у нас всег-

## Глава последняя. Михаэль

да найдется кружка муки или кувшин масла, и бензин, и вода, и картофельное пюре. И все мы дрожим, все мы помним, передаем ведра историй из рук в руки, сравниваем версии, пароли и семейные выражения. И есть у нас «суп-горячий-как-кипяток» для тех, кто может его проглотить, и «компот» для тех, кто его любит, и «таки-да хорошая рыба», и подzemелье на случай «большого несчастья». А если кончается сахар, Йофы бросаются на помощь, и если нужны деньги — у них всегда найдутся между подушками дивана несколько завалившихся монет, и Жених может изобрести новые плоскогубцы, и отец Апупы может появиться в цирке, и всегда можно подойти к чужой женщине на улице и закричать: «Покорми!.. Покорми!.. » — или попросить ее примерить платье.

И в телах наших тоже есть еще силы. Вспомнить или умереть, кто — перед последним прыжком, кто — перед великим исчезновением. Сегодня [завтра] [когда вернется Батия] [через год] — но «так это у нас в семье».

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Текст романа изобилует библейскими цитатами и аллюзиями. Здесь читатель найдет сведения, которые помогут ему найти соответствующие места в Библии. Мы постарались придерживаться наиболее доступного синодального перевода. Там, где особенности текста не позволили это сделать, мы приводили цитаты из перевода Давида Иосифона.

### Вступление

С. 6. *Что смерти — смерти, что памяти — памяти* — парафраз отрывка из Книги пророка Иеремии (Иер.15, 2): «Если же скажут тебе: “куда нам идти?” то скажи им: так говорит Господь: кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, — под меч; и кто на голод, — на голод; и кто в плен, — в плен».

С. 25. *По ее слову всё приходит и всё уходит* — отголосок известного библейского выражения (Быт. 41, 40) из рассказа об Иосифе Прекрасном. Когда Иосиф, находясь в

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Египте, истолковал фараону сон о семи тучных коровах и семи тощих, тот так восхитился его мудростью, что сказал: «ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой». Современный иврит переделал это библейское выражение в более простое «по твоему слову будет всё» («как ты скажешь, так всё и будет»), а Шалев, в свою очередь, использовал его по-своему.

С. 26. *Рука ее на всех и рука всех на нее* — парафраз благословения, которое ангел принес Агари, матери Измаила (Быт.16, 11—12): «Вот, ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя: Исмаил; ибо услышал Господь страдание твое [Ишма-эль: ишма — «услышит», эль — «Господь»]. Он будет между людьми, как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него; жить будет он пред лицом всех братьев своих».

С. 32. *Шор-а-бор* — легендарное животное из древнего еврейского мифа (возможно, предшествовавшего появлению Библии). Глухое упоминание о нем имеется в Книге Иова (40, 10—18). А в сборнике мидрашей «Ваикра Раба» (13, 3) говорится, что «в конце времен» произойдет сражение шор-а-бора (видимо, гигантского «огнеспинного» быка) с левиафаном (чудищем морских глубин), причем погибнут оба: шор-а-бор вспорет левиафана своими рогами, а тот его — своим плавником, после чего обоих зарежут и подадут к столу праведников. (Впрочем, некоторые праведники якобы откажутся отведать шор-а-бора, потому что мясо животного, убитого плавником, имеет сомнительную чистоту с точки зрения еврейских религиозных правил.)

С. 35. *Устье колодца* (так рассказчик называет свою фонтанеллу) — знакомое библейское выражение («Над устьем колодезя был большой камень», а также «Подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана») из рассказа о праотце Яакове (Иакове), который впервые встретил свою будущую жену Рахель (Рахиль), тогда еще молоденькую девушку, у колодца и, желая отличиться в ее глазах, отвалил от устья этого колодца закрывавший его огромный камень, который ни один пастух не мог поднять в одиночку (Быт. 29, 2—10).

С. 38. *Голос тонкой тишины* (перевод Давида Иосифона, в синодальном переводе — «веяние тихого ветра») — это библейское выражение впервые появляется в описании встречи пророка Ильи с Господом на горе Хорев (3 Цар. 19, 11—12): «И вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом; но не в ветре Господь. После ветра землетрясение; но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь; но не в огне Господь. После огня — веяние тихого ветра».

С. 50. *Хана и семеро ее сыновей* — во 2-й Книге Маккавейской весь раздел 7-й посвящен рассказу о еврейской женщине, семерых сыновей которой царь Антиох Эпифан склонял к отказу от иудейской веры. Каждый из семерых, отказавшись от измены вере предков, принял смертные муки на глазах матери, которая ободряла их в стойкости; седьмого, самого юного, она уговаривала особенно трогательно, одновременно «посмеиваясь жес-

## ПРИЛОЖЕНИЕ

токому мучителю» — царю. А «после сыновей, — рассказывает книга, — скончалась и мать». По легенде, ее звали Хана.

С. 60. *Мясной горшок* — из рассказа об исходе евреев из Египта (Исх. 16, 3): «И сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом».

С. 61. «*Пойду и увижу его, пока не умру*» (Быт. 45, 28) — восклицание праотца Яакова узнавшего, что сын его Иосиф отыскался в земле Египетской.

*Рицпа, дочь Айя* — наложница царя Саула. Когда сменивший Саула царь Давид хотел помириться с его врагами и те попросили у него за это семь человек из потомков Саула, чтобы «повесить их пред Господом», Давид выдал им двух сыновей Саула от Рицпы и пятирх сыновей его дочери Мелхолы, и «тогда Рицпа... взяла вретище и разостлала его... и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божии с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью». Испуганный Давид похоронил кости повешенных, а также самого Саула, и «умилостивился Бог над странюю после того» (2 Цар. 21, 3—14).



С. 62. *Сыны Божьи, сошедшие к дочерям человеческим* — из библейского рассказа (Быт. 6, 2—4): «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал... В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди». Бог воспринял это, как очередное свидетельство греховности человека («И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время»), и за это наказал его потопом.

*Рассказ о маленькой девочке из земли Израильской* — из библейского рассказа о сириянине Неемане, которого пророк Елисей излечил от проказы. Жена Неемана узнала о пророке от своей служанки — маленькой девочки из земли Израильской, которую сирийцы взяли в плен (4 Цар. 5, 2—4).

С. 70. *Парваимское золото* — из рассказа о строительстве царем Соломоном Первого храма (2 Пар. 3, 6): «И обложил дом дорогими камнями для красоты; золото же было золото Парваимское». Местонахождение страны, из которой Соломону доставляли золото, доселе не определено. Одни считают, что это Сепарваим на Евфрате, другие утверждают, что это Сефар в Южной Аравии. По всей вероятности, это была одна из индийских колоний в Аравии.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

С. 78. *Говори-раб-мой-ибо-слушает-тебя-Бог-тво* — иронический парафраз библейского «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой» (1 Цар. 3, 10).

С. 82. *Как человек в раю дал имена всем животным* — отсылка к рассказу о сотворении мира (Быт. 2, 19—20): «Господь Бог образовал из земли всех животных... и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их... И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым». Позже возникло представление, что назвать — значит получить власть над названным. Уже у римлян «nomen est omen», то есть имя — это предзнаменование, судьба, а потому назвать — значит повелевать судьбой.

С. 84. *И усилились воды* — вариации на тему потопа: «И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножилась вода... Вода же усиливалась и весьма умножалась... И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы...» (Быт. 7:17,19).

С. 85. *Держись за одно и не отнимай руки от другого* — слегка измененное библейское выражение: «Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого» (Еккл. 7, 18).

С. 91. *Шесть локтей и пядь* — рост библейского великана Голиафа (1 Цар. 17,4).

С. 111. *Вооруженные луком* — из рассказа о воинах царя Давида (1 Пар. 12, 2).

## Глава первая

*С.145. Спуститься в Египет* — намек на переход праотца Авраама с его женой Сарой (Быт. 12, 10 — 13,1): «И был голод в той земле [Ханаанской]. И сошел Аврам в Египет, пожить там; потому что усилился голод в земле той...» — а затем, получив дары от фараона, «поднялся Аврам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было...» (в еврейской традиции в Египет «спускаются», потому что изменность Нила лежит ниже Иудейского нагорья).

*Убить льва и медведя* — слова молодого Давида, который уговаривает царя Саула, что может сразиться с Голиафом (1 Цар. 17, 34—36): «Раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада... и льва и медведя убивал раб твой, и с этим Филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними...»

*Спуститься в яму снежным днем* — из 2-й Книги Царств (23, 20), где в перечне «храбрых у Давида» упоминается «Ванея, сын Иодая», который «сошел и убил льва во рве в снежное время» (в переводе Давида Иосифона: «во рву в снежный день»).

*Откатить камень от устья колодца* — из рассказа о встрече праотца Яакова с Рахелью (Быт. 29, 10), см. выше примечание к с. 35.

*Извлечь ладонями мед* — из рассказа о Самсоне (Суд. 14, 8—9): когда молодой Самсон голыми руками убил льва, то на следующий день решил посмотреть на него,

## ПРИЛОЖЕНИЕ

«и вот, рой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои, и пошел, и ел дорогою».

С. 153. *Стеной с одной стороны* — из рассказа о Валаамовой ослице, не желавшей идти, потому что увидела перед собой ангела Господня, который стоял «на узкой дороге, между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена» (Числ. 22, 24).

С. 157. *Гол и наг* — это известное по множеству поговорок и классических произведений выражение ведет начало из того места Библии, где Господь гневно судит впавший в язычество Иерусалим, как неверную жену, напоминая: «Ты была нагой и непокрыта... и простер Я воскрилия риз Моих на тебя и покрыл наготу твою... и вступил в союз с тобою» (Иез. 16, 7—8).

С. 167. *Вот, рядом с ним Сара* — обыгрывание библейского: «И вот — это Лея» (Быт. 29, 25, перевод Давида Иосифона) из рассказа о праотце Якове, который семь лет служил Лавану, чтобы жениться на его дочери Рахели, и которому Лаван потом в темноте подсунул вместо Рахели свою старшую дочь Лею.

С. 204. *Оруженосец перед Голиафом* — история единоборства Давида с Голиафом начинается с описания филистимского гиганта, перед которым «шел оруженосец» (1 Цар. 17, 7). Из этой истории «оруженосец» перешел во многие еврейские присловья: увидел оруженосца — жди великана (то есть того, что идет за оруженосцем) — например, боли идут перед болезнью, как оруженосец перед Голиафом, и т. д.

## Глава вторая

С. 211. *Лязг ножниц и улыбку Далилы* — намек на то, что остриженный Далилой богатырь Самсон потерял всю свою силу и был пленен филистимлянами (Суд. 16, 4—21).

С. 238. *Саул упал на свой меч* — из описания самоубийства царя Саула после поражения от филистимлян: «Тогда Саул взял меч свой, и пал на него» (1 Цар. 31, 4).

С. 244. *Мухрака* (высота около 500 метров) — гора в северо-восточной части хребта Кармель, прозванного у арабов Джабель эль-Элиас, то есть гора Илии. Само слово «Мухрака» означает по-арабски «огненное место», или пожарище, и легенда связывает его со знаменитым состязанием Илии и жрецов Ваала (3 Цар. 18, 20—40), когда жертвенники язычников никак не зажигались, а в ответ на молитву Илии «истинному Богу» был сразу ниспослан огонь. В честь этого чуда и других подвигов Илии в XII веке был создан орден кармелитов, один из монастырей которого и сегодня находится на Мухраке, неподалеку от белокаменной статуи Илии.

С. 254. *Не изливать слюну впустую* — обыгрывание греха Онана, который «изливал на землю» семя (Быт. 38, 9).

С. 269. *Умри, душа моя, с филистимлянами* — предсмертный возглас Самсона, обрушившего стены филистимского дворца на себя и на врагов (Суд. 16, 30).

## Приложение

С. 285. *Оз* — царь Васанский, побежденный израильянами, неоднократно упоминается в Библии (Числ. 21, 33, Втор. 3, 1 и др.), где сказано, что он был «последним из Рефаимов» (то есть последним из легендарных исполинов, родившихся от ангелов и земных женщин).

### Глава третья

С. 339. *Плачет на реках австралийских* — ироническое обыгрывание слов: «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе» (Пс. 136, 1).

С. 359. *Пометить мандрагоры* — Поверье о любовной силе мандрагор берет начало из библейского рассказа о праотце Иакове и его женах Лии и Рахили (Быт. 30, 14—20). Когда Иаков, сочувствуя бесплодной Рахили, перестал посещать шатер Лии, она послала сына собрать ей в поле мандрагор и купила у Рахили за эти плоды право провести одну ночь с Иаковом — от этой ночи у нее родился еще один сын.

С. 367. «*Вот, наступают дни*» — из Книги пророка Иеремии (31, 27): «Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота».

«*В конце света*», «*в последние дни*» — на иврите «ахерит а-ямим» (Ис. 2, 2), что может быть переведено как «последние дни» или «в конце времен»: «И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор...».

С. 370 *И двери заперты, и твое колесо покатилося в яму* — из описания старости и смерти у Экклезиаста (12:4, 6, перевод Давида Иосифона): «И будут заперты двери, и замолкнет звук жернова, и будут вставать по голосу птицы... И отцветет миндаль, и отяжелеет кузничник, и рассыплется каперс; ибо уходит человек в вечный дом свой; и порвется серебряная цепочка, и откатится золотая чаша, и разобьется кувшин у источника, и покатится колесо в яму».

### Глава четвертая

С. 490. *Некто сражался с Иаковым ночью, на переправе Иавок* — из рассказа о возвращении праотца Иакова в Ханаан (Быт. 32, 22—28): опасаясь мести обманутого им Исава, Иаков переправил за ручей «все, что у него было. И остался... один. И боролся Некто с ним, до появления зари... и сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль; ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь».

С. 510. *Жена Лота* — из рассказа о Содоме и Гоморре (Быт. 19, 26): города эти были наказаны сожжением за то, что жители их пытались изнасиловать гостей Лота (посланцев Божьих); Бог помиловал лишь Лота с его семьей, но на выходе из обреченного города «жена Лотова оглянулась позади него, и стала соляным столпом».

С. 513. *Пшеничный холм живота* — парафраз библейского выражения (Песн. 7, 3) «Чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями».

## ПРИЛОЖЕНИЕ

С. 514. *«Как пастух проверяет стадо свое»* — из Книги пророка Иезекииля (34, 11—12): «Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец Моих, и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный».

С. 516. *В шатре он живет или в укреплении* — из наставления Моисея (Числ. 13, 20) двенадцати лазутчикам, которых он послал в землю Ханаанскую, разведать, «какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб... и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях?». Еврейские комментаторы объясняют, что народ, живущий в шатрах, никого не боится, а значит, силен, тогда как народ, живущий под защитой стен, труслив и слаб.

## Глава пятая

С. 559. *Кривое делается прямым* — Насмешливое обыгрывание слов Экклезиаста: «Кривое не может сделаться прямым» (Еккл. 1, 15).

Стр. 562. *Отец буйный и сын непокорный* — насмешливое обыгрывание библейской заповеди (Втор. 21, 18): «Если у кого будет сын буйный и непокорный... тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти; и так истреби зло из среды себя, и все Израильтяне услышат, и убоятся».



С. 589. *Йоав бен Саруйя* — военачальник царя Давида, сын его сестры Саруйи, по приказу царя убил трех его главных врагов, в том числе Амессая, о чем в Библии сказано (2 Цар. 20, 9—10): «... взял [его] правою рукою за бороду, чтобы поцеловать... Амессай же не остерегся меча, бывшего в руке Йоава; и тот поразил его им в живот».

С. 590. *Четверо сыновей, и четыре праматери, и трое праотцов* — под этими «совсем уж дальними родичами» имеются в виду следующие. Четверо сыновей: Исаак и Измаил у Авраама, Иаков и Исав у Исаака; четыре праматери: Сара — жена Авраама, Ревекка — жена Исаака, Рахиль и Лия — жены Иакова, трое праотцов: Авраам, Исаак и Иаков. И, разумеется, «самый дальний родственник» всех еврейских семей, еврейский Бог — единый и одинокий.

*Нас опять покрывают пучины* — парафраз из «Торжественной песни Моисея» после перехода через Красное море и гибели врагов в его пучине (Исх. 15, 4—5): «Колесницы фараона и войско его ввергнул Он в море... Пучины покрыли их; они пошли в глубину, как камень».

С. 591. *Амума-Йохевед... Апуна-Моисей...* — в Исходе (6, 20) сказано: «Амрам взял себе Иохаведу, тетку свою, себе в жену; и она родила ему Аарона и Моисея». А поскольку фараон повелел убивать всех еврейских младенцев мужского пола (Исх. 1, 22), Йохевед положила сына в корзинку и оставила в тростниках на берегу Нила. В Библии Йохевед — прообраз страдающей матери, а Моисей — прообраз отца-заступника, поэтому в тексте Йохевед — Амума, а Моисей — Апуна.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

«Настигну», «обнажу», «введу», «насажу»... — слова из «Торжественной песни Моисея» (Исх. 15, 9—17), пропетой во славу Господа после благополучного перехода евреев через Красное море.

С. 620. *Песьи мухи* — четвертая «казнь египетская», вызванная упрямым нежеланием фараона отпустить евреев на свободу, состояла в появлении в Египте «песьих мух» (на иврите «аров»): «А если не отпустишь народа Моего, то вот, Я пошлю на тебя... песьих мух, и наполнятся дома Египтян песьими мухами...» (Исх. 8, 21). Многие комментаторы возводили это слово к ивритскому глаголу «смешивать» и полагали, что «аров» — это смесь всевозможных насекомых, но другие производили это слово от арабского глагола «жалить, кусать» и утверждали, что «аров» означает, как говорил Филон Александрийский, «мухо-собак».

*Пролей гнев Твой* — слова из «Псалма Асафа» (Пс. 78, 5—6), оплакивающего разрушение Иерусалима: «Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь? Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают».

С. 628. «*Помрачатся зеницы в глазницах*» — Екклесиаст о старости, перевод Давида Иосифона (Еккл. 12:3); в синодальном переводе: «помрачатся смотрящие в окно».

С. 638. *Сидит каждый под своим виноградником* — впервые в рассказе о Соломоне (3 Цар. 4, 25): «И жили Иуда

и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницею своею, от Дана до Вирсавии, во все дни Соломона», а затем повторено пророком Михеем (Мих. 4, 4): «Но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это».

С. 650. *Раскрутила пращу* — из рассказа о единоборстве Давида и Голиафа (1 Цар. 17, 49): «И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил Филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю».

С. 658. *«Ведь мы непременно умрем И будем как вода, вылитая на землю»* — из притчи, рассказанной мудрой женщиной из Фекои царю Давиду, когда он скорбел о сыне своем Авессаломе (2 Цар. 14, 14): «Мы умрем (на иврите «ки мот намут», грамматическая форма усиления: «ведь мы непременно умрем»), и будем как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать». Это же выражение повторяется в рассказе о рождении Самсона (Суд. 13, 22): «И сказал Маной жене своей: верно, мы умрем; ибо видели мы Бога».

*«Ибо отходит человек в вечный дом свой»* — фраза, описывающая человеческую смерть (Еккл. 12, 5).

## Глава шестая

С.695. *Отдать своего сына* — из рассказа о Хане (в русском переводе — Анне), жене Ельканы (1 Цар. 1, 11), которая молилась Господу, чтобы дал ей сына, и обещала: «Если

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Ты призишь на скорбь рабы Твоей... и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Последнее означает, что ребенок будет священником и «назареем», и действительно, сыном Ханы был пророк Самуил.

С. 734. *Яма-эта-пустая* — из рассказа об Иосифе, которого братья бросили в яму (в синодальном переводе — в ров): «...ров же тот был пуст; воды в нем не было» (Быт. 37, 25).

С. 737. *Мышцу и голову* — из Благословения Моисея сынов Израилевых (Втор. 33, 20): «О Гаде сказал: благословен распространивший Гада. Он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу и голову».

С. 747. *Перец и Зерах* (в синодальном переводе Фарес и Зара) — близнецы-сыновья Иуды от его овдовевшей снохи Фамари (Быт. 38, 1—30). Один из них «вышел погулять»: появился из утробы матери первым, и ему уже повязали было на ручку красную нитку для опознания старшинства, но он вернулся в утробу, и первым вышел его брат. Говоря: «Вышли на прогулку Перец и Зерах», рассказчик имеет в виду себя и Габриэля.

«Когда я шел из Месопотамии» — из предсмертных воспоминаний праотца Иакова о своей былой жизни и о самом дорогом в ней; в синодальном переводе Библии (Быт. 48:7): «Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской, на дороге, не доходя несколько до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефравфе, что ныне Вифлеем».

РАФАИЛ НУДЕЛЬМАН, АЛЛА ФУРМАН

## Глава седьмая

С.771. *Мирра, нард, нахоат, лот, ахалот* — названия благовоний и растений, упоминаемых в ивритском тексте Библии. Точные значения некоторых из них не известны. Мирра — благовонное масло для помазания (Песн. 1, 12); нард — растение, из завязей которого извлекают густое ароматное масло (Песн. 1, 11 и 4, 13); нахоат (ивр. текст Быт. 43, 11) — предположительно медицинское растение астрагал; лот — видимо, лотос (Иов. 40, 22); ахалот — скорее всего, алоэ (Пс. 44, 9; Прит. 7,17).

Рафаил Нудельман,  
Алла Фурман

תעמולה לקליטת עליה בחיפה  
חיפה ל פרץ 20 חיפה 41 033  
ספריה

9064

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ .....	5
Глава первая	
ПОХОД .....	118
Глава вторая	
ЖЕНИХ .....	209
Глава третья	
ВРЕМЯ .....	319
Глава четвертая	
МЕСТО .....	451
Глава пятая	
ПАРЫ .....	559
Глава шестая	
ГАБРИЭЛЬ .....	660
Глава седьмая	
АНЯ .....	753
Глава последняя	
МИХАЭЛЬ .....	776
Приложение .....	780

**Шалев М.**

Ш18 Фонтанелла: Роман / Меир Шалев; Перев. с иврита Р. Нудельмана, А. Фурман. — М.: Текст, 2009. — 797 [3] с.

ISBN 978-5-7516-0830-9 («Текст»)

ISBN 978-5-9953-0045-8 («Книжники»)

«Текст» издавал и переиздавал блистательные сочинения Меира Шалева, самого популярного прозаика современного Израиля, — «В доме своем в пустыне», «Русский роман», «Эсав», «Библия сегодня», имевшие громкий успех у русских читателей. Герой нового романа Шалева — человек, чей незаросший родничок даровал ему удивительные ощущения и способность предвидения. Это рассказ о необычной любви героя, причудливо вплетенный в драматическую историю трех поколений его чудаковатого рода. Автор ироничен и мудр, его повествование захватывает с первых же слов, раскрывает свои тайны до конца лишь на последних страницах и заставляет нас тут же вернуться к началу, чтобы читать заново.

УДК 821.41  
ББК 84 (5Изр)

**ПРОЗА ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ**

**Меир ШАЛЕВ**

**Фонтанелла**

Роман

Редактор В. Генкин

Корректор Н. Пушина

Издательство благодарит Давида РОЗЕНСОНА  
за участие в разработке этой серии

Подписано в печать 12.08.09. Формат 70 x 100/<sub>32</sub>.  
Усл. печ. л. 32,5. Уч.-изд. л. 28,77. Тираж 6000 экз. Изд. № 856.  
Заказ № 7265.

Издательство «Текст»

127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1

Тел./факс: (499) 150-04-82

E-mail: [textpubl@yandex.ru](mailto:textpubl@yandex.ru); <http://www.textpubl.ru>

Представитель в Санкт-Петербурге: (812) 312-52-63

Издательство «Книжники»

127018, Москва, 2-й Вышеславцев пер., д. 5а

Тел. (495) 792-31-10; 792-31-13

E-mail: [info@knizhniki.ru](mailto:info@knizhniki.ru); [lechaim@lechaim.ru](mailto:lechaim@lechaim.ru)

<http://www.knizhniki.ru>; <http://www.lechaim.ru>

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»  
143200 г. Можайск, ул. Мира, 93

OCR Давид Титиевский, ноябрь 2021 г., Хайфа

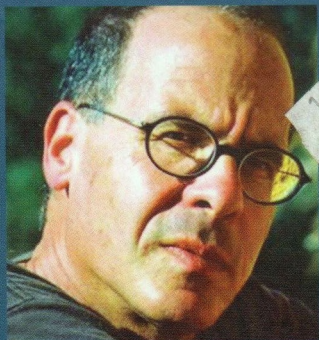




первый ежедневно обновляемый независимый ресурс,  
посвященный еврейским текстам и темам  
в литературе и культуре  
[www.booknik.ru](http://www.booknik.ru)

nextbook 

For English language readers, we introduce **Nextbook.org**  
Nextbook promotes the discovery and discussion of Jewish  
literature, culture and ideas and produces the critically  
acclaimed *Jewish Encounters* book series.  
For more, visit **Nextbook.org**



Ж

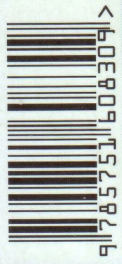
{книжники}

Меир Шалев (р. 1948) — самый популярный прозаик современного Израиля. В этой серии уже вышли его “Русский роман”, “Мальчик и Голубь” и “Эсав”.

Герой нового романа Шалева — человек, чей незаросший родничок даровал ему удивительные ощущения и способность предвидения.

Это рассказ о необычной любви героя, причудливо вплетенный в историю трех поколений его чудаковатого рода.

Автор ироничен и мудр, его повествование захватывает с первых же слов и раскрывает свои тайны лишь на последних страницах.



проза еврейской жизни